

Шкаликов В.В.

Неблудные дети

Сборник рассказов

Владимир Шкаликов

АВЕЛЬ

Рассказ

Он уже ТАМ, полагаю. Со вчерашнего дня.

Он достал меня, да. Всей своей жизнью против всей НАШЕЙ.

И мне хотелось его убить. Конечно и очень.

Но я его не убивал. Я только...

Нет, ничего с конца не делается. С самого начала надо рассказывать. Иначе поймёте неправильно.

Он бы стал таким в любом случае. Всё шло к тому.

Только не быстро. Но эпоха перемен решительно помогла. Это для китайцев «эпоха перемен» - кошмар. А для нас - образ жизни. Так было - по истории - всегда. Не докончив одни перемены, затевали другие. Притом не народ затевал, а его доверенные лица, которых он сам же и вознёс. Да и то не так. Не народ возносит, а посредники, которые потом всегда оказываются в стороне и с барышом.

Вот таким посредником и был наш папаша, Политтехнолог. При коммунистах кормился от их идеологии, при демократах рвал глотку за их идеи - и всегда имел хлебное место у кормушки. Ну и нам тоже отщипывал - маме, мне и брату. Когда же приблизился к олигархам, подцепил себе молоденькую и от мамы ушёл. Силы-то при всех властях берёг, вот и уцелело жеребьячество. А мама угадала. Мы уже были большевские, могли сами зарабатывать, поддерживать её. Но тут ОНО и состоялось: оказался я в кормильцах один.

Гошка был меня моложе на год. Младшего в семье ни в коем случае нельзя баловать, но и мы этой дури не избегли. Во мне особых способностей ни к чему не обнаружили, со мной строжились, а вот в Гоше открыли к музыке талант. И к живописи. Нет, он не рисовал запоем и не сочинял симфонии с трёх лет. Он музыку и живопись - ЛЮБИЛ. «Наш Скрябин» - во как его называли. Вроде в шутку, а получалось всерьёз. И получилось.

Вундер-потребитель получился.

Это, впрочем, вышло незаметно. В школе-то у каждого есть увлечение. Я ходил в секцию бокса. Дёшево и сердито. Хотелось на велосипед, но дома говорили: «И так тесно. Куда его тут поставим?» Но я-то понимал: не на что купить. Скрябину требовались пластинки, картинки, цветомузыка, метафизика. Он покупал дорогие книги, вырезал из «Огонька» репродукции классических мастеров и клеил для них картонные рамки-паспарту. Устраивал дома тематические выставки типа «Могучая кучка передвижников». Под соответствующую музыку читал друзьям тематические лекции. Наш искусствовед Скрябин. Сначала тренировался на нас и на друзьях, потом делал из всех носильщиков, чтобы охватить своими лекциями школу.

То же самое пошло и в университете. Учился он, конечно, на филфаке. Теперь картины и музыку обязательно дополняли стихи и высокохудожественная проза. Мне отводилась почётная роль первого слушателя-зрителя дома, а на публике - грузчика-носильщика и телохранителя. Обижали часто Гошу, несмотря, что он хороший. Хулиганы с моего же спортфака всяко его задирали и высмеивали, потому что Скрябин вечно порхал в окружении прекрасного пола. Ни одной из красоток ничего от Гоши, кроме эстетики, не отломилось, но они это сносили и продолжили порхать. В отличие от моих коллег, которым хотелось вовсе не классической музыки, а как минимум классической борьбы. Вот и выручало Гошу, что старший брат помаленьку совершенствуется в боксе. Даже когда я отлучался на соревнования, трогали его только словесно.

Папенька нас вниманием не баловал. Носил день и ночь портфель. То за секретарём обкома партии, то за депутатом Госдумы (в том же лице) и под конец осел в Москве насовсем. Когда бывал в Томске проездом, нам даже не звонил, государственный прихлебай. Короче, когда мама слегла, пришлось мне бросить спортфак.

Но куда податься боксёру в эпоху перемен? Детей тренировать? Благородно, но мало проку для себя: заработок низкий. Да и дети идут нынче в боевые искусства, чтобы стать не защитниками слабых, как учили нас при старом режиме, а как раз наоборот - рэкетирами, то есть вымогателями. Зачем же их этому учить? Не лучше ли уж самому тогда - в вымогатели? Нет не лучше: душа не принимает. Значит, в милицию устроиться? С незаконченным высшим могут дать и офицерские погоны. Правда, говорят, там тоже полно рэкетиров, но порядочные души тоже водятся, и нужда в них остра... Нет, ребята. Потому и полно вымогателей, что и в милиции платят мало, а у меня больная мама на руках и брат беспутный, на народного просветителя доучивается.

Мир не без друзей, особенно в спорте. Устроили меня в охрану частного банка. Старого, надёжного, ещё с советских времён, от промышленности. Хоть и лежит пока промышленность, но её, чахоточную, печат банки. А банки надо охранять. И платят как раз столько, чтобы втроём не голодать. Дежурства -

сутки через трое. И в эти свободные трое суток я не учился дальше на спортфаке, не слушал стихи и музыку, не любовался репродукциями классиков, а ходил раненько утром к бирже труда и нанимался на погрузочно-разгрузочные работы. Сложилась бригада из бичей и бомжей, меня туда всегда принимали - я против любого из них ворочал вдвое, а получал поровну.

Главное было то, что получали сразу после погрузки-разгрузки. Каждый вечер я мог принести маме лекарство и гостинец. И Скрябину отламывалось: то на дефицитную запись, то на книгу о каком-нибудь Дали, а то и просто на новые брюки. Не говоря уж о еде. Много ли может себе позволить студент на стипендию?.. Я несколько раз приглашал его, когда нет занятий, принять участие со мной и с бичами, но каждое приглашение совпадало с работой музыкального кружка в институте, где он бесплатно был первой скрипкой. Увы. Я всё понял и приглашать перестал.

Не скажу, что во всех этих трудах я надрывался. Работа стала для меня привычкой с детства. Я даже чувствовал без неё дискомфорт. Когда братец попросил однажды изготовить ему афишу к музыкально-живописно-литературной лекции, я унёс на дежурство лист ватмана, тушь, гуашь, плакатные перья и прочее такое и весело провёл ночь - всё равно охраннику спать не положено. И картинки наклеил, и виньетки по углам нарисовал - дело нехитрое.

Братец после лекции примчался в восторге: афишу очень похвалили, народу набилась полная библиотека. Давай рисуй ещё, всё равно тебе там ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. Ну, делать нечего, начал делать ему афиши. Даже с сюжетными картинками, сам себе удивляясь: надо же, рисовать умею.

Закончил Гоша университет, оставили его на кафедре ассистентом. Зарплата - чуть больше стипендии. А работать надо ещё больше: у нас ведь диссертация. Я спросил: «Когда станешь кандидатом наук, много будешь получать?» «А теперь, - говорит, - за это не доплачивают». За любовь, короче.

Для диссертации потребовались фотографии всех тех афиш, что я рисовал: послать куда-то по четыре экземпляра и по два приложить к отчёту. Пришлось вспомнить, что я когда-то умел фотографировать. Пришлось сильно потратиться на химикаты и прочее и несколько дней вместо погрузки-разгрузки заниматься пересъёмкой, проявкой, печатью, глянцовкой, и это мне сильно не понравилось, но сама уже мама просила потерпеть: «Гоша делает большое дело». И пришлось даже поработать корреспондентом на Гошиной лекции о Штоколове-Пушкине-Врубеле и дать фоторепортаж в городскую газету: не мог же Скрябин писать сам о себе, а ДЕЛО требовало репортажа, который приложили к диссертации.

Я не устал от всего этого, но надоело. Мама гасла, несмотря на успехи своего любимца. Я вывел братца на улицу и объяснил, что не имею больше времени на служенье его музам, что я вовсе не трепетная лань, что мне надо тащить телегу, а не выписывать па-де-де с фотоаппаратом перед важным кретином в редакторском кресле. У меня тоже - ДЕЛО.

Гоша растерянно вытаращил глаза, растопырил руки и загудел: «Как же ты можешь бросить начатое? Кто же, кроме тебя? Как хочешь, а надо...» Я ответил в сердцах, что из тех эльфов и фей, которые вокруг него порхают, можно при желании набрать и рисовальщиков, и фотографов, и журналистов. Вон как они стихи читают!.. «То стихи, - заспорил Гоша, - другой душевный настрой». Я высказался насчёт душевного настроения в тех выражениях, которыми мои бичи пользовались при погрузочно-разгрузочных работах, и отправился на службу.

На следующее утро я сразу же, не заходя домой, двинул к своим подзаброшенным бичам, от души повкалывал на разгрузке вагона с краснодарским сахаром и лишь к вечеру явился домой - как всегда, с гостинцами для мамы и с продуктами для всех.

Но мамы уже не было. На сдвинутых столах - кухонном и обеденном - лежало её тело, а над ним, подрагивая крылышками, хлопотали эльфы и феи. Почему-то мне они показались зелёными мясными мухами. Тело моё покрылось «гусиной кожей», а по ней побежали мурашки. Пол под ногами стал каким-то пуховым, как после сильного удара в голову. Проваливаясь в этом пуху, я добрался до комнаты брата, занятого какими-то бумагами, сунул ему все свои деньги и отправился по городу - искать маму.

Я дошёл до библиотеки, где она всю жизнь проработала, дыша вредной пылью и надрывая спину пудами книг. Внутри этого мудро-хранилища мамы не оказалось. «Она давно уволилась». Я пошёл дальше. От меня шарахались люди и машины, меня дважды толкали звенящие трамваи, меня кто-то несколько раз обругал. Я дошёл до стеклянного здания, где занимался политикой папаша. То ли политика занималась им. На здании ещё сохранялся лепной величественный герб Советского Союза, а на шпиле над ним хлопал и трепетал трёхцветный флаг эпохи перемен.

Я прошёл стеклянный лабиринт дверей и оказался внутри. Я хотел найти этого политика и сообщить ему, что теперь жизнь его потеряла смысл: нет больше объекта любви, забот, страхов, политических волнений - нет нашей мамы, то есть, нет народа, именем которого он клянётся от имени лидеров, иху мать... Милицейская охрана, одетая в нарядный горный камуфляж, вежливо вывела меня на воздух. Сказали, что такой-то здесь давно не работает, он в Москве.

Я подошёл к реке и долго брёл вдоль реки. Я дошёл до моста и перебрался на другую сторону Томи. Там меня чуть не арестовали на милицейском посту, потому что я чуть не устроил автомобильную катастрофу. К моему счастью, тамошний старший лейтенант оказался моим давнишним противником по рингу. Он затащил меня по крутой лесенке на самый верх, в стеклянную круглую будку, подобную первому боксёрскому рингу времён, наверно, Шекспира или Диккенса. Он усадил меня перед бутылкой водки, только что конфискованной у какого-то водителя, и велел выпить хотя бы половину. Я сказал: «Тогда у тебя будет преимущество по очкам и полное право сдать меня в вытрезвильню». Он ответил: «Домой тебе сейчас не надо, ты явно в гогги. Поспи здесь. Выпей всю бутылку и поспи, я тебя умоляю».

Я послушался старого противника из общества «Динамо», выпил всю водку и сделал вид, что сплю на его кожаном топчане, прямо на английском старинном ринге. А когда он ушёл к своим обязанностям, я тихо спустился на землю и сбежал в силосную кукурузу, которой было засеяно всё пространство от поста до самого леса. Потом я брёл лесом; и каждое дерево, каждая тропинка, каждая сыроежка, все запахи и шорохи, все птичьи свисты и комариные писки напоминали мне о детстве, когда мама брала меня с собой за грибами. Одна ходить побаивалась, но очень любила лес. Ей был полезен тамошний озон. А я гордился, что сопровождаю и могу защитить. Из-за этого я и начал фотографировать. Тогда это удовольствие обходилось совсем дёшево. Только мама не любила своих фотопортретов. А мне хотелось, чтобы хоть один снимок ей понравился, и я снимал и снимал. И два снимка из всех она всё же похвалила.

Теперь один из этих двух будет на могиле.

Я бродил по лесу двое суток. Вернулся домой к самым похоронам. Милиция меня обыскала. Противник из «Динамо» уже был в отчаянии - сам же водкой поил. Он и организовал похороны, почти без всяких денег, на своём авторитете.

После похорон стали мы жить снова втроём. Свято место пусто не бывает. Прибилась к нашему сиротскому быту одна из Гошиных музыкально-живописно-поэтических Фей.

Её имя меня не интересовало, род занятий - тоже. Кажется, студентка. Кажется, Рита. Я по необходимости звал её Феей. Она откликнулась. И ладно.

Ходить с бичами на погрузку-разгрузку я не перестал. Хуже того - пристрастился. Теперь уже брал веса за троих, метал мешки, кантовал ящики, катал бочки, ворочал тюки - без обедов и перекуров. Бичи испугались через две недели, но опоздали: я сорвался с катушек.

Ничего я себе не надорвал. Боксёрское тело похоже на резину, армированную железом, то есть на крышку от грузовика. Во мне просто завелось нервное истощение. Оно сработало разом, как разрыв крышки при перегрузе: я забросил коровью полутушу на штабель и сел рядом. И не поднялся. Бичи закончили перекур, подошли, позвали, потом заглянули мне под веко - и вызвали «скорую».

Никто не знал, что я в больнице. Только бичи на второй день пришли с водкой и доложили, что половину наряда за тот день они оформили на меня одного... Потом один молодой доктор из общества «Буревестник» заступил на дежурство, узнал меня и нашёл мой адрес. И ещё через день на пару минут заглянул братец. При нём была Фея. Она теперь ему готовила, когда нас с мамой не стало. Сказал мне строго, что нельзя так нагружаться. То есть, сказал, нагружаться даже нужно, только цель следует выбирать более достойную. И ушел. Ему ещё надо было собрать своих небожителей для завтрашней поездки в Москву, на музыкально-живописно-поэтический фестиваль. И повидать там папеньку - на предмет спонсорства. Фея ушла с ним.

Но назавтра она явилась.

- Ты что же не уехала? Не взяли? Отменили?

- Я изменила музам, мне жалко вас.

Она говорила мне «вы». Это было забавно. Ну да, она ведь студентка, а я уже давно кончил бы университет, преподавал бы на кафедре. Или тренером.

- Вы ведь мастер спорта по боксу?

- Был. А что?

- Я девчонкой видела вас на ринге. Вы побили здорового динамовца. «Победил представитель общества «Буревестник», студент факультета физвоспитания...»

- Было, было. Только былинками поросло. Гвардии охранник банка, заслуженный грузчик биржи труда. Чего пришла-то?

- А вот...

Поставила на тумбочку свою стряпню.

Посидела. Развлекла светской беседой. Учится на моём же спортфаке. Художественная гимнастика.

Меня это развеселило:

- Ожившая живопись под классическую музыку, декламация стихов на

лету, с лентами, с булавой... Или поёшь?

- И пою. Как Маритана. Видели «Дон Сезара»?

- Не хожу в кино. Я одноклеточный.

Пока эльфы со Скрябиным порхали по Москве, Фея навещала меня ежедневно. Выживала. У неё точно была пятёрка по психологии. Расспрашивала о маме, о папе, о планах. Но ничего не навязывала. Будто безногого вела. И через неделю увела домой.

Мы прошли потихоньку полгорода. Грело солнышко. Небольшие белые облачка паслись вокруг него и не мешали светить.

- Четыре дня назад ливни были, - вспомнил я. - Грибов полно в лесу.

- Откуда вы знаете?

- Я чую по воздуху.

- Вы в них разбираетесь?

- Пойдём в лес, научу.

Мы уехали автобусом в Кисловку и пошли оттуда лесом в Томск. Я показывал Фее наши с мамой места и учил собирать грибы. Очень быстро она научилась их находить, отличать моховик от козляка, рядовку от серушки - это был явный талант. Я показал ей знаменитую Сократову цикуту, она понюхала ядовитый корень и подивилась:

- Ну, вылитая морковка, только белая! Даже запах такой же! А зверобой покажешь?

Так она перешла на «ты».

Мы с трудом нашли зверобой и не стали рвать - его и так мало. Она сказала:

- Я достала сушёные ягоды лимонника. Он быстро тебя восстановит.

У нас был в рюкзаке большой термос, были бутерброды. Мы два раза присаживались на валежину перекусить. Было жарко, и комары в сосняке почти не летали. Это было как с мамой, и я чувствовал, что быстро прихожу в себя.

Мы набрали порядочно разных грибов - и на сушку, и в засол, и на сковороду. Особенно восхитили Фею лисички:

- Такую прелесть даже червяки не трогают! Неужели понимают красоту?

- Наверно, козляки и сыроежки для них просто вкуснее.

Мы притащились домой к вечеру, весьма усталые, но всё же перебрали грибы сразу. Фея мигом усвоила, какие из них - в какую переработку. Грузди и подгруздки мы залили водой на засолку, трубчатые порезали, нанизали на нитки и вывесили на специальные гвоздики за окно, а лисички пожарили в сметане. Восторг был полным.

Ни в лесу, ни дома в этот день ничего между нами не произошло, зря вы ожидали. Спать мы легли в разных комнатах. Фея ночевала на маминой кровати. Так-то.

К обеду следующего дня, когда мы уже выпалились и варили белые грибы, прибыл Скрябин. С собой привёл хромого верзилу с печатью послушания на лице и с забинтованными пальцами на обеих руках.

Фея без стеснения бросилась обнимать сэнсэя. Он одарил её хозяйским поцелуем. Сразу спросил чаю покрепче и внимательно внюхался в грибы. Представил гостя: «Брат Григорий». Я сразу спросил: «Что с руками?» Брату Григорию было лет сорок, заподозрить его в кулачных боях было бы нелепо - в общем, просто так спросил, для поддержания разговора и по боксёрской привычке. Гость совсем заскромничал и опустил глаза, а Гоша, наоборот, оживился: «Это как раз по твоей части. Вот слушай!»

Пока пили чай, Гоша рассказал историю, странную до nepотpeбствa.

Известный томский поэт издал очередную книгу стихов. Там, в разделе «Проказы молодости», поместил своё студенческое стихотворение, которое называлось «Плотник пресвятой». Юноша-поэт рассказывал весьма игриво, как к мужу будущей Богородицы является ангел и на один раз даёт пожилому плотнику мужскую силу, чтобы зачать во грехе будущего Спасителя. Стихотворение кончалось вызывающей фразой: «Вот так всё началось. А дальше - по Луке». Когда Гоша читал нам эти стихи, гость морщился и ёрзал. Фея со вздохом определила: «Социалистический реализм». Я засмеялся: «Апокрифов полно, а Иисусу от этого не холодно и не жарко». И удивился про себя: смеюсь. Впервые за месяц. «А вот ему, - Гоша указал на гостя, - было и холодно, и жарко. Потому что его чувства православного христианина подверглись непоправимому оскорблению». «Ну, - говорю, - ничего непоправимого не бывает. Кроме смерти». Тут Григорий встrepенулcя: «Да-да! Я и хотел - поправить». Он выглядел таким робким богатырём, примерно в моём полутяжёлом весе. Я спросил: «Попытка самосожжения, что ли?» Брат Гоша засмеялся: «Э-э, нет! Бери выше! Православие не выродилось, оно воинствует!» И стал рассказывать, как брат Григорий, ведомый божественным попущением (я вдруг кощунственно услышал - «наущением»), отыскал писательскую организацию, спросил, кто здесь поэт такой-то, автор «Плотника пресвятого», и дальше без разговоров измолотил сидящего за компьютером безбожника, аж поломал все пальцы. Брат мой зло смеялся: «Твердолобы современные поэты!» Я спросил: «А что с поэтом?» Гоша отмахнулся: «Да вроде сотрясение и, кажется, выбил зуба три». Я сказал Григорию: «В вашем возрасте боксировать уже вредно, особенно без перчаток. Надо как-нибудь по-другому. Я видел этого поэта. Он вам по плечо. Небось для меня вы нашли бы другое средство

убеждения?» Григорий снова потупился. Может быть, просто спрятал глаза. Зато Гоша вскричал: «Да чем же можно убедить таких твердолобых?! Только пистолетом?!» Я спросил: «А твоя музыка, живопись?». «Да они ж классику не слушают! Даже ты, брат единоутробный, живущий со мною под одной крышей, и то не ходишь на мои лекции!» «Да мне, - говорю, - Боженька хлеба насущного просто так не посылает. Вот и недосуг расти духовно». «А надо находить время, брат! И учёбу ты напрасно забросил! Ну, понимаю, мама была... Но теперь-то я за тебя возьмусь! Правда, Риточка? Мы вернём его в лоно...»

Она молчала, забившись в угол дивана. А он вскочил, порылся в своих картонах, и на свет явилась картина Крамского «Христос в пустыне». Её я хорошо знал, потому что сам вырезал репродукцию из «Огонька», сам вставлял в рамку. Я даже, бывало, после тяжёлой нагрузки или перед очень серьёзным боем, тайком доставал её и вглядывался. Было что-то мне родственное в его усталой позе непобеждённого...

Гоша повесил репродукцию над своей новой аппаратурой, нашёл нужную запись, скомандовал: «Внимание! Все смолкли!» И включил.

Заревели органнские аккорды, замигали цветные лампочки, и высокий голос Риты завёл речитативом:

"Блаженны нищие духом,
ибо им принадлежит Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся!"

Я вспомнил первые дни без мамы, и голова моя сразу опустилась. У меня слезы всегда были ближе, чем у тщедушного братца. А живая Рита сидела на диване совсем рядом, и видеть такой срам ей было ни к чему.

«Блаженны кроткие, ибо они унаследуют землю.
Блаженны плачущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милосердные, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они названы будут сыновьями Божиими.
Блаженны преследуемые за правду, ибо им принадлежит Царство Небесное...»

- Вот! Во-о-от! - Гоша остановил проповедь. - «Блаженны преследуемые за правду!»! - Подошёл ко мне, уставился в глаза, сделал пророческое лицо. - Против брата Григория возбудили нечестивцы уголовное дело, но именно ему и таким, как он, принадлежит Царство Небесное!

Было жутковато и непривычно: я давно не бывал на Гошиных лекциях, и такого стиля никогда не видел. Я не знал, как реагировать. Но он сразу оставил меня, вернулся к аппаратуре и снова включил.

«Блаженны будете и вы, когда вас, оклеветанных изза имени Моего...»

Хорошо пела Фея. Криком кричала во имя Господа, вполне управлялась без всякой рифмы. А я, грешный, не понимал. Не трогало меня.

Я читал когда-то Евангелие. Все четыре читал со вниманием. Многое нашёл справедливым. Но кое-что всерьёз меня озадачило. Ну как это - оставить беспомощных родителей ради спасения собственной души? Зачем мне такая чёрствая душа?.. Как это - не пожелай раба ближнего? Христос, что же, был сторонником рабовладения? Или я настолько одноклеточен, что простых притч не понимаю? Но ведь я чувствовал, что Фея принадлежит Гошке, душой и телом, и я не позволил себе пожелать её. Или, может быть, эту притчу я тоже неправильно понял? Христос прощал блуд. «Кто из вас без греха...» Христос работал в субботу. «Не человек для субботы...» Он переиначивал папашины законы, ибо не человек для них, а они для человека. И я тоже не пойду на поклон к своему папаше, даже если буду подыхать без спонсора...

Я запутался в божественных притчах, в родственных и деловых отношениях, ими толкуемых. Тот, кто работал на винограднике всего час, получает столько же, сколько работавший на жаре с самого утра, ибо такова воля работодателя. Я и этой притчи не понял. Наверно, потому что всегда работал с самого утра и не умел приходить к раздаче милостыни... Что ж теперь делать, я таким родился, из той же утробы.

Фея всё пела высоким речитативом, брат Гоша с братом Гришей наслаждались её исполнением на балконе, распахнув настежь двойную дверь - прямо как на свадьбе. А я смотрел на саму Фею, забившуюся в уголок дивана, и жалел её, и ожесточался, ибо не было горя в душе брата моего, не скорбел он по маме, потому что последовал совету непостижимого Спасителя, и оставил мертвым хоронить своих мертвецов. А Фея всегда смотрела на него, как на бога. Но сейчас, мне показалось, что-то надломилось в ней. Может быть, это мой вид её испугал? Она очень пристально теперь смотрела на меня...

Я ушёл от этого пристального взгляда в Гошину комнату. У нас их было три, в старой пятиэтажной «хрущёвке». В большой, проходной, где сейчас шёл концерт, на диване обитал я, а у мамы и брата были свои комнаты. В маминой эту ночь провела Рита, а я, от греха подальше, спал в Гошиной. Туда я удалился и теперь. Там тоже имелось музыкальное оборудование, а все стены, не занятые книгами,

были в иконах. Мы с мамой даже и не заметили, как божественная тема обрела для нашего Скрыбина ведущую роль в научно-художественных изысканиях.

Среди этих икон я, признаться, спал беспокойно. Неуютно было. Ну, может быть, дело не в них, а в чересчур близком соседстве этой чужой Феи...

Но теперь наедине с ликами я вдруг почувствовал себя в самой подходящей компании. Они все смотрели на грешного маловера с каким-то дружеским снисхождением. Смягчился даже вид сурового косматого Иеговы, с чьим взглядом я даже не решался скрестить свой, хоть и встречал подобные взгляды на ринге. Я только скользнул по нему глазами и обратился к Пресвятой Богородице. Она вовсе не выглядела обиженной на мальчишескую шутку местного поэта. Видно, знавала за две тысячи лет и не такое. И на меня она смотрела с состраданием, будто уже знала и заранее прощала то, о чём буду просить. Да и Младенец на её руках выглядел так, будто ему тоже всё понятно и он не против.

Я никогда ни перед кем не стоял на коленях. Не был приучен в жизни, а в боксе столь сильных ударов не пропускал. И теперь даже перед Богородицей я преклонил всего одно колено, но и самому было ясно, что сделал это от самых глубин души.

- Дева Пресвятая, - прохрипел я, давась слезами, - и Ты, маленький Спаситель! Ну, сделайте что-нибудь!.. Ведь есть же Вы где-то или рядом! Уберите Вы его отсюда, сил моих больше нет...

Вот и всё, что я Им сказал. И, наверно, на минуту-другую оказался в нокауте, потому что все звуки вдруг оставили меня, а мозг окутала полная, глубокая тишина.

Я ещё не поднялся с колена, когда вбежала Фея. Она посмотрела на меня, на Богородицу с Младенцем и без сил, в ошеломлении привалилась к самому большому шкафу с самыми дорогими альбомами.

- Это ты, - сказала она глухо. - Я так и знала... Иди, посмотри.

Взяла за руку и привела на пустой балкон.

Наша квартира — во втором этаже.

На асфальте под балконом корчился и не мог подняться брат Григорий. Было похоже, что хромать ему теперь на обе ноги. Поверженный поэтоборец с обидой смотрел вверх, куда-то мимо нас.

- А Гошка где? - спросил я тихо.

- А ты не знаешь? - Рита посмотрела так, будто я её разыгрываю. И подняла глаза к небу.

Там, как и вчера, мирно паслись вокруг солнца пушистые беленькие облачка. А между ними, медленно растворяясь в синеве, воздушным шариком возносился Гошка. Его немзыкальные вопли едва можно было слышать, даже при выключенном речитативе.

Владимир Шкаликов

АЗ ВОЗДАМ

Тихая слава - это когда все знают, но молчат. Потому что боятся сглазить. Это опасная и ненадёжная слава. (Если слава вообще может быть надёжной и неопасной). Она полна неуверенности, как плавание без берегов и без компаса, среди тумана и облаков, неясным чутьём души. Из всех душ на борту лишь одна знает и может. Остальным разрешено робко уповать, чтобы не спугнуть удачу...

Это моя душа и моя слава. Меня опять знает весь город. Особенно врачи самого жуткого профиля. Они отсылают ко мне безнадёжных. И делают это так, как раньше посылали к бабкам-знахаркам. То есть, со стыдом, недоумением и надеждой.

Особенно сильно в них недоумение. Ведь я даже не знахарь. Не шепчу над больными, не окуриваю, не даю капель, не гипнотизирую. Ничего этого и ничего прочего не умею. Я - самый обыкновенный. У меня всё просто...

Первым был хорошенький беленький мальчишка, очень давно. Мать рожала его как раз в тот день, когда отец погибал на фронте, где-то под Варшавой. Она и сама была ещё дитя: стала женой на следующий день после выпускного школьного бала, а матью - как положено Природой - через девять месяцев. Жизнь и смерть - это всегда очень быстро.

Я был соседом, дружил с её родителями. Случайно присутствовал при её стремительных родах. Это такой медицинский термин - стремительные роды. Плод обретает свободу так быстро, что надо успеть поймать. Не в анекдотическом смысле "снять с фикуса", а подхватить, чтоб не покалечился. Бабка подхватила и не удержала скользкого. Но я оказался рядом и успел.

Малыша обмыли тёплой водой, которую я принёс, завернули в какой-то лоскут, уложили поперёк кровати. А через несколько минут он резко оборвал свой торжествующий крик и как-то испуганно замолчал. Все на это молчание обернулись и увидели, что он быстро желтеет.

Тут как раз пришёл врач, которого вызвали принять роды. Он всмотрелся в искажённое горем личико и сообщил: "Гемолитическая желтуха-с. Я даже не буду мыть руки".

Это был серьёзный и добросовестный земский врач. Ему простили цинизм, понимая, что это просто защита от собственного бессилия.

Вот тут я и услышал впервые ПОЗЫВ. Он требовал поспешить. Я шагнул к обречённому, распахнул пелёнку и коснулся лбом смертно жёлтого животика. Мой лоб ощутил холод, и я, помню, подумал: "Смерть". И помню запах новорождённого. Но это было не то, что у других. Я услышал запах борьбы между жизнью и смертью. Я ЗНАЛ, что это спорят в ребёнке две крови - матери и отца. Победить должна была отцовская, потому что малец её унаследовал. Помочь в этом должен был я. Как помочь - неизвестно. Однако я ЗНАЛ, что помогу. Я взял холодное тельце в ладони и, прижимая к лицу, поднял его. Для ребёнка такой полёт не требовался, но у меня в тот день болела поясница, стоять в наклон мне было больно. Я ходил с ним на ощупь по комнате, видел краем глаза, как отступали родственники и врач. И всё слышал. Сначала это было молчаливое удивление, потом - недоумение врача и восторг всех прочих. Они раньше меня увидели, как тает желтизна. Зато я почувствовал тепло оживания...

После этого подвига я не болел, как болеют знахари. Более того, у меня тут же прошла боль в пояснице. Правда, по этому поводу врач недоумения не выразил. Он солидно сообщил: "Бывает". Чем я и удовлетворился.

Слава исцелителя мне тогда не требовалась. Как, впрочем, и после. Но тогда - в особенности. Мне было не до славы. Я работал над самым сложным элементом своего генератора - над магнитной смазкой. Если смазка удастся, мотор не будет изнашиваться - вот как стоял вопрос. А мотор без износа - это и есть подлинно вечный двигатель. Раз в сто лет менять приводную шестерёнку на валу - и всё! Хоть брось в ручей турбинку, а его поставь на плотик, хоть под соедини к самодельному ветряку, хоть сам крути привод - он всегда будет давать четыре киловатта электроэнергии. А умещается в кармане пальто и весит два килограмма.

Разумеется, от славы отца мировой энергетики я бы не отказался. Она была для меня куда привлекательней, чем знахарская или там поэтическая. А уж тем паче - не политическая.

Но когда я впервые с готовым изделием в кармане пошёл по инстанциям, с каждым визитом всё яснее становилось, что главная трудность как раз в политике.

В кабинетах разной высоты умные люди объясняли мне, слепцу, что в таких источниках электричества нуждаются какие-нибудь отшельники в пустыне или шпионы с аппаратом Маркони. Простым же труженикам нужна ежедневная возможность трудиться, общаться при этом с себе подобными и получать за это деньги, чтобы после этого выпить и закусить в знакомой компании. Всё сверх этого - лукавство. "Мотор для бездельников" - так назвали моё изобретение.

Циничность того земского врача была в сравнения с этими умными рассуждениями высшей формой деликатности. Он просто отказался мыть руки, а эти их - умывали.

- Ко всему прочему, - говорили мне умные в высоких кабинетах, - ваш странный мотор у всех вызовет недоверие. Ручная работа столь высокой точности - это крайне дорого. А при случайной небрежности в обращении машина выйдет из строя. И не будет РЕМОНТАБЕЛЬНА, поскольку будет требовать ПРЕЦИЗИОННОГО ремонта, не менее дорогого, чем первичное производство.

В ответ я швырял мотор на пол, пинал ботинками, снова крутил и объяснял по ходу, что прецизионная точность нужна единственно при изготовлении, а дальше всё делает сам магнитный зазор, прочнее которого нет на свете ничего, ибо он работает на принципах межатомного взаимодействия. А поддерживается этот зазор самой работой мотора. Я даже шутил при этом, как мне казалось, очень убедительно: "Перед вами самый постоянный генератор постоянного тока!" Но мне тут же возражали: "Вот именно - постоянного! А наша энергетика - вся на переменном. Вы себе представляете, чего может стоить переделка всей энергетики под ваш генератор?" Я-то представлял. Поэтому и спорил. Но с каждым следующим моим шагом сопротивление среды усиливалось - по законам межатомного отталкивания.

И я начал понимать, что главная причина противодействия - это высота кабинетов, укромность кресел, размеры чиновничьего жалования. Простота, с которой обладатель моего генератора обретает независимость - вот что пугало сытых человечков за высокими дверями. Кому нужен чиновник, если от него никто и ничто не зависит? Кто захочет кормить такого разрешителя, если ничего разрешать станет не нужно?

Я представил свободные семейства, живущие в горах или по берегам рек и ручьёв. Да везде, где есть движение среды! Они свободны от тяжёлого физического труда: всё делают электрические устройства. А устройства работают не на дровах, не на угле, не на нефти или газе. Их крутят вода, ветер и магнитное поле планеты. Всё - даром! Ничего ни у кого не надо просить или отнимать. Нет сноса машинам. Не дымят трубы. Одежда - лён, шерсть и шкуры. Агрехимия - природная...

Я мог так фантазировать часами. Но только Ведьма была способна это терпеть и слушать. Даже поддакивала.

- И конопля, - говорила она. - Не для наркотика, а ради изготовления веревок. И рубахи шить. А медь - только на провода. А резина - на изоляцию и для сапог...

Ведьма мне верила, потому что и сама занималась не пустяками.

Она всю свою молодость химичила над эликсиром жизни. Только цель её трудов была несколько иной, чем у меня. Плевать ей было на человечество. И до сих пор плевать.

Всё вместе человечество и без эликсира не погибнет. А по отдельности ни один человек не стоит забот. Так считает Ведьма.

Впрочем, для двоих она делает исключение. Называть имена нет необходимости.

Я часто думаю о том, что в жизни человека имеет большее значение - профессия или предмет увлечения. Жизнь в данном случае толкуется пространно: любовь, работа, здоровье, быт и всё прочее.

Моя собственная жизнь убеждает меня в том, что идеал недостижим: нельзя стать профессионалом в предмете своего увлечения. Оно ведь доставляет нам удовольствие, а профессия всегда требует усилий над собой, чтобы что-то заработать. А получать удовольствие от усилий над собой - это, по-моему, извращение.

Например, мой генератор - это явное, образцовое увлечение. Совершенно бескорыстное. Ради него я получил самое высшее образование (не путать с научными степенями), ради него в совершенстве освоил несколько пролетарских ремёсел. Ради него я даже стал экспертом в презируемых мною отраслях знаний - в социологии, юриспруденции и политической экономии. (Хоть они и не помогли работе, но прояснили мне безнадёжность общественного устройства). Главное отличие увлечения от профессии то, что дохода оно не приносит. Чаще - неприятности и расходы. Моё в этом смысле - тоже образец. Ничего, кроме прозвища Мастер - где бы ни жил - оно мне не дало. Ко мне все постоянно лезут за консультацией, я трачу на консультации массу времени, а брать за это плату не могу - и в силу своей непрактичности, и ещё потому, что когда-то изрёк при всех: "Чем больше раздаёшь, тем богаче становишься". А глупости очень легко запоминаются...

Чем же я кормлюсь? А вот знахарством. Исцеляю ведь.

Общеизвестно, что среди знахарей считается нездоровым брать за лечение деньги. Можно харчами, можно одежкой - что пожалуют. А назначишь цену - так недолго и дар потерять.

Но я не зря имею звание "инженер", то есть, в переводе с французского, "изобретательный человек". Я придумал, как применить к своему странному дару Закон Компенсации. Когда исцелённые или их близкие жарко и восторженно спрашивают: "Сколько вы хотите?", я подаю бумажку и отвечаю: "Сколько вам не жалко на науку". На бумажке написано: "Сберегательный банк России". И номер счёта. Науку уважают все, но исцелённые - особенно. И вкладывают беспощадно. А Ведьма (это её счёт) снимает понемногу - на харчи, на одежку, ну и на свои химические эксперименты или на новую шестерёнку для моего генератора.

Генератор так и остаётся в единственном экземпляре. Я разрабатываю к нему разные приставки, а пользуется ими одна Ведьма, которой плевать на человечество. У неё и миксер, и плейка, и мясорубка, и тестомес - ну всё даром и всё лучше магазинного. А мне... В общем, Закон Компенсации - всё по справедливости.

Очень интересно открылась однажды теневая сторона моего целительского дара.

Наложение рук или иных частей тела (включая лоб) - дело, народу известное. За него и платить готовы. А вот если человек просто пришёл в гости, просто посидел - за чаем там или за чем покрепче (я непьющий) - и просто ушёл, а после его визита неизлечимый, лежавший в соседней комнате, вдруг начал вставать и идти на поправку? Это - озадачивает. Притом озадачивает не только облагодетельствованное семейство, но и самого благодетеля. Ибо - неожиданно для всех без исключения.

Как я уже рассказывал, исцеление младенца видели все: и родительница, и дед с бабушкой, и пожилая соседка, принимавшая роды, и циник врач, опоздавший к раздаче призов. Даже я сам. И удивился вместе со всеми.

Когда пришёл с подвига домой и всё рассказал Ведьме, она схватила меня за грудки, упёрлась лбом так, что от нательного крестика на всю дальнейшую жизнь у обоих остался розовый след, и глухо сказала:

- Вот...

- Что "вот" - то?

- Что "вот"? - Она подняла глаза. Она очень хороша, когда смотрит так, снизу, исподлобья, и загадочно улыбается. - Дождалась. Вот что "вот". Я в тебе это ПОСЕЯЛА.

- Эликсиром?

- Да, а что?

- И в себе, значит, тоже?

- Представь, нет, - она засмеялась, всё ещё вися у меня на грудках. - Автора не берёт. Но мне и не нужно. Мне тебя хватит. Да?

И отпустила. Но тут схватил её я. За плечи.

- Ты представляешь, что натворила? Меня теперь задёргают больные.

- И хорошо. Реальная польза твоему любимому человечеству.

- А генератором когда заниматься?

- Но ты не виноват, - отрезала она. - Ты честно старался, ты сделал, он работает, а его не хотят. Зачем же дальше? Насильно мил не будешь. Наделай их хоть сто - жизнь потратишь, обнищаем окончательно. А так - хоть на харчи добудешь.

Заглянула в зеркало, прикрыла розовый отпечаток на лбу чёлкой и засмеялась.

Ну, одними харчами я, как известно, не ограничился, и Ведьма осталась вполне довольна. Мне вообще повезло с ней - в смысле неприхотливости. Ни курортов ей, ни круизов, ни модных вещей, чтобы впереди всех. При этом ухитрялась из почти ничего соорудить такую женскую неотразимость, что во всех возрастах я имел волнения из-за её вздыхателей. Но тут моих усилий не требовалось: она с ними справлялась сама. Отведёт чёлку - и хватит.

Теперь можно вернуться к теневой стороне моего (Ведьминого) дара.

Начать придётся издали, годами десятью раньше.

Я тогда ещё ходил на службу, на один завод, где были прецизионные станки. Управлял одним из них и между делом доводил до ума последнюю тонкость в своём генераторе. А после работы мы с Ведьмой всегда гуляли по городу. Гулять старались каждый раз в другом месте, чтобы не скучно. Даже в хорошо знакомых уголках часто находишь что-то новое.

В ту памятную прогулку мы брели по знакомому переулку, где не бывали несколько лет. Старые дома, тополя до небес и неожиданный, извилистый выход из квартала в квартал.

Переулок, однако, оказался загороженным. Мы упёрлись в ворота, а перед воротами раскинулась этакая площадь - видимо, для машин. Впрочем, она была расчищена всего от двух-трёх старых домишек с огородами, а сама по себе имела вид чего-то среднего между мусорной свалкой и строительной площадкой. Всё это выглядело неуютно.

Обходить пустырь не хотелось, и мы подошли к воротам, чтобы поглядеть, нет ли всё же сквозного пути где-нибудь рядом.

Тут из-под ворот выскочила небольшая свирепая дворняга, заголосила и бросилась на нас. Я прикрыл собой Ведьму и вертелся, угрожая этой твари ботинком. Она, впрочем, была опытна и на удар не приближалась. На остервенелый лай вышел из сторожки небольшой мужчина лет пятидесяти и стал возмущаться, чего это мы тут ходим. Я был уже взведён и сказал: "Твоя власть - за воротами. Убери собаку, пока я её не пришиб". Он в ответ стал издеваться и науськивать зверя. Я

схватил с земли обломок кирпича. Он схватил другой. Ведьма потащила меня прочь. Чтобы ею не рисковать, я поддался. Вслед нам неслись издёвки и угрозы, собака не отставала.

Пройдя метров тридцать, я оставил Ведьму в сторонке и бросился на собаку. Она отскочила. Я швырнул в неё кирпичом. Она увернулась. А мне пришлось увернуться от кирпича, который бросил в меня сторож.

Чтобы враг не попал в Ведьму, я велел ей уходить стороной: догоню, мол, сейчас. А сам, отбиваясь от собаки, вступил в перестрелку с её ликующим хозяином. Ведьма не слушалась и не уходила. Это мешало. Я не боялся, что в меня попадут или укусят, но приходилось всё время присматривать за Ведьмой и стараться её прогнать. Отступить же самому в этом положении было уже неприлично.

Я решил работать на поражение и первую же половинку кирпича автоматически пустил врагу точно в голову. Пока она летела, успел ужаснуться: убью ведь, не на войне! Но за полсекунды до гибели враг, не видя опасности, просто наклонился за очередным снарядом, и у меня отлегло от сердца. Систему поражения пришлось смягчить, следующий бросок я нацелил пониже. Сторож как раз шагнул за очередным кирпичом, и моя половинка попала ему в левую щиколотку. Получилась классическая подсечка. Враг упал. Собака тут же бросилась к нему.

Я подхватил Ведьму и увлёк подальше от этого места.

- Ты разбил ему сустав.

- А чёрт с ним. Сам виноват.

- Скотина, конечно. Больше тут не гуляем.

И вот через десять лет мы с Ведьмой оказались в гостях. Я тогда уже имел изрядную известность как целитель, и этот визит был, собственно, повторным вызовом к больному. Этот верзила несколько лет не мог справиться с мучительным сухим кашлем. А врачи не могли найти причин и назначали дорогие бесполезные препараты. Через месяц после моего первого визита пациент уже не был больным, и вот меня пригласили "посидеть". Вместе с супругой. Ведьма обычно тяготилась такими посиделками, но на этот раз пошла охотно. Будто чувствовала...

Был богатый стол, были тосты за здоровье, были разные истории и воспоминания - всё, чем славно русское застолье. Мы с Ведьмой алкоголя не употребляли, и на нас никто не давил. В общем, вечер прошёл хорошо, без напряжения.

Когда уходили, кто-то из дальней комнаты слабым голосом позвал хозяйку. Она простилась и ушла на зов, а хозяин пошёл нас проводить.

- Кто у вас там? - спросила Ведьма.

- Дед наш. Доходит.

- Болезнь называется - старость? - спросил я.

- Да ему ещё нет семидесяти. Быстрый рак. Метастазы по всему телу. Выписали домой как безнадёжного, умирать.

- Причину рака сказали? - Ведьма интересовалась не праздно. Она продолжала сочинять лекарства. И работала тогда в аптеке.

- Мы причину знаем, - сказал хозяин. - С самого начала. Десять лет назад он работал сторожем.

Был как-то злой и обидел приличных людей, мужчину и женщину. Ни за что. Они просто подошли к воротам, а он стал травить их собакой, камнями бросал. Сам не попал, а мужчина раз бросил и разбил ему ногу.

- Какое место? - Мне показалось, что Ведьма спросила слишком быстро.

- Щиколотку.

- На какой ноге?

- На левой.

Хозяин (его звали Денисом) отвечал без удивления или подозрения - ведь имел дело с целителями: мало ли для чего им это интересно.

- И что же? - спросила Ведьма.

- Сустав начал гнить. Никакое лечение не помогало. Дали инвалидность - производственная травма. Почти не ходил. А потом - резко - рак...

За весь разговор я не произнёс ни слова. Убил-таки злого сторожа. Да как мучительно! Было стыдно и неприятно. И неловко оттого, что уже вручил Денису бумажку с номером банковского счёта. Но не забирать же с покаянием обратно...

Через месяц после этого визита Ведьма вернулась из банка торжественно-взвинченной.

- Садись, - сказала, - держись и думай. Хочешь знать, сколько они пожертвовали на науку?

- Кто?

- Ну, Денис этот, в общем.

И показала сберкнижку. Хорошо, что я сидел и держался. Целую больницу можно было полгода содержать на эту сумму.

- Во-первых, - сказал я, отдышавшись, - где они взяли такие деньги? А во-вторых, кашель столько не стоит. В чём дело, как думаешь?

- Столько стоит чудо, - отвечала Ведьма. - Мне в банке предъявили вкладной бланк. Сказали: "Клиент велел вам показать". На бланке приписка его рукой: "Спасибо за деда".

Я подумал и сказал:

- Ну, тут два варианта. Самый верный - что дед после нашего ухода сразу отмучился...

- Нет, - перебила Ведьма, - самый верный - второй вариант. Я уверена. Иначе зачем было ждать месяц да и вообще платить? Ты вылечил его!

- Что бы там ни было, - сказал я, ещё подумав, - проверять не пойду.

- Я тоже, - сказала Ведьма. - Но эту твою способность - проверить стоит.

- А как?

- Там поглядим. У бога дней много.

Проверка долго ждать не заставила. Тот же вкладчик, которому я нечаянно вылечил злого деда, через месяц прислал к нам своего друга.

Суровый мужчина лет сорока пришёл с тортом именно того сорта, который любит Ведьма. Я тут же вспомнил, что она высказывалась об этом за столом у тех, кто его, вероятно, послал. Он протянул коробку мне, а Ведьме - цветы и на наши удивлённые взгляды сразу сообщил:

- Последняя надежда - вас в гости пригласить. Я от Дениса.

Мы пили юннаньский чай китайской расфасовки (редкость, кто понимает), им принесённый, и он рассказывал свою историю. Пятнадцать лет назад попал под женские чары и крупно изменил жене. Любовница была и моложе, и образованнее, и умом быстрее жены - вот умом и влюбился. А когда дошло до окончательного решения, вдруг (всё подобное - только "вдруг"!) почувствовал, что прирос к жене и не сможет без неё. Были и дети, конечно, у обеих. Женщины однажды встретились - так решила жена - и договорились предоставить выбор ему. Самое беспощадное решение. Он выбрал жену. История простейшая. Да жена у него оказалась не проста. Страдала от того, что у любовницы его ребёнок, частенько стала задумываться неизвестно о чём, похолодала в отношениях, хотя и не в открытую. Так длилось семь лет. А последние три года она гаснет на глазах. Врачи, понятно, завалили диагнозами и, считай, залечили. Скоро конец. Так не заглянете ли в гости. Под видом друга детства. Не виделись, мол, тридцать лет.

Он не горячился, ни разу не изменил ровного, усталого тона. Вообще ВЕСЬ выглядел весьма усталым. О том, что без жены ему не жить, сказал очень просто, и это убеждало. Мы согласились.

Опять пошли на дело вдвоём, потому что не было ясно, кто же из нас тут играет роль исцелителя. И не вдвоём ли вообще такое возможно?

Я представился школьным другом хозяина, тридцать лет не виделись.

Его жена вовсе не выглядела больной. Была хороша собой, со вкусом одета, имела естественный румянец на лице, приятную причёску, скромный маникюрчик. Держалась с нами без скованности. Очень вкусно покормила. Ведьма даже срисовала у неё пару рецептов.

А тот, кто нас пригласил, держался, напротив, так, как играют, наверно, неприятную роль - с трудом. И едва скрывал эти свои труды. И всё выходил на балкон покурить. А мне, некурящему, там было нечего делать.

В один из перекуров его милая жена даже извинилась:

- Вы о нём плохо не подумайте. Нездоровится ему.

- А что такое? - спросил я. - Он ничего не говорил.

- Да что-то от нервов. Угнетённость. И сердце. Уж говорю: "Хоть бы не курил". Нет, не может. Курит и - кофе. Помногу. Голова болит. А врачи ничего не находят. Диагнозы противоположные. Помоему, залечили его...

Мы с Ведьмой переглянулись.

- А дача у вас есть? - спросила Ведьма. - Может, ему воздух нужен?

- Есть участок за городом. Не дача - так, навес. Но зато рядом лес. Мог бы дышать, да не хочет. А почему тает, что его там грызёт - даже мне не признаётся. Двадцать лет душа в душу. Дети взрослые...

Тут перекур закончился, а нам пришло время прощаться.

У двери я незаметно покивал мужчине: мол, всё будет хорошо.

На улице Ведьма сказала:

- К себе, стало быть, приглашал. Как он мог такой лапочке изменять?

- Похоже, - согласился я. - Ну, подождём, посмотрим.

...Никаких жертвований от этого контакта наука не получила, из чего мы сделали вывод, что наш визит ни на кого в этой семье не подействовал.

Но через полгода Ведьма вернулась домой возбуждённая.

- Встретила в гастрономе ту лапочку. Постояли, поболтали.

- Ну и как? - Я постарался не быть нетерпеливым.

- Она хвалит мой рецепт, - Ведьма тоже не спешила. - Помнишь, я ей давала - свёкла с печенью?

Я ухмыльнулся и покорно покивал.

- Разошлись они! - выпалила Ведьма. - Этот мерзавец после твоего лечебного визита быстренько ожил, подал на развод и ушёл к любовнице.

- А что любовница? - Я сохранил невозмутимость. - Так и ждала его? Или тоже с кем-то развелась?

- Она была ему верна! Так же, как и жена. Если лет через пять он бросит любовницу, жена его так же точно будет ждать. Вот и лечи таких мерзавцев.

- Кстати, - сказал я, - ты тут обмолвилась о МОЁМ лечебном визите. Я не ослышался?

- Ты не ослышался, а я не обмолвилась. Когда он ещё у нас рассказывал эту свою мерзкую историю, я сразу настроилась помочь жене. А когда увидела, что помогать надо ему, я настроилась - никакой помощи. И думала только о ней - она мне очень симпатична. А он - мерзавец. Он пограл любовь. Он - предатель.

- Ну-у, он был просто обречён на предательство, - возразил я. - Когда любовница его отметила, избрала - не смог отказать. Мужчина же. Когда женщины сами предоставили ему выбор, у него, кроме предательства, опять ничего не оставалось. Полюби-ка сразу двоих - узнаешь.

- Ты что же, - Ведьма сощурилась, - делил меня с кем-то, да бросили?

- У меня просто хорошее воображение. Но не обо мне речь. Мужика загрызла совесть, потому что не может быть предателем. Пошёл по пути разума: свои дети уже выросли, а там - ещё маленький. Вот и ушёл к нему. А моя роль тут какая? Никакой, по-моему.

- Ага, - Ведьма сочилась сарказмом, - он просто отразился в тебе, как в зеркале. И разглядел выход...

- Да почему именно во мне? Наш с тобой визит...

- Ты только меня не приплетай! В следующий раз один пойдёшь. Для контроля. Я больше не буду участвовать в таких сомнительных делах. Эта лапочка права: всё от нервов. Люди делают гадкие ошибки, а целители должны их исправлять. Иждивенцы! Я потому и не желаю для них стараться. Не стоят они того!.. Давай в шахматы сыграем.

С той женщиной, с Лапочкой, она подружилась. И ходила к ней в гости. И по телефону болтала. Но меня к ней никогда не звала, как и её к нам. Полагаю, из ревнивой осторожности.

В том, что исцеление безнадежных - единственно моё свойство, я был вынужден убедиться уже вскоре.

Однажды Ведьма вытащила из почтового ящика приглашение на благотворительный джаз-концерт, посвящённый памяти Леонида Утёсова. Сама она была равнодушна к джазу, а я не пойти просто не мог, потому что назывался концерт так, как моя любимая музыкальная шутка в исполнении Утёсова - "Где родился джаз?" Её, на моей памяти, не исполняли уже лет пятьдесят, а тут явилась надежда услышать...

Правда, кто и почему выбрал меня и Ведьму в число приглашённых, было неясно. Но в этой таинственности я усмотрел дополнительный повод пойти: и концерт посетить, и всё узнать.

У входа в концертный зал я ожидал такой встречи, которая прояснила бы причину приглашения. Хоть и была в нём приписка: "Акция организована Пенсионным фондом для ветеранов труда", я ей не поверил, потому что ни медали "За доблестный труд", ни ветеранской книжки сроду не имел. А по пенсионному удостоверению можно только в троллейбус, в трамвай да летом в пригородную электричку.

И в самом деле - среди чинного и нарядного старичья на высоком крыльце легко выделился тот самый сын злого сторожа, кому я первому показал класс. Я готовился именно к этой встрече. Бритоголовый Денис Палыч вообще был человеком крайне энергичным. Я даже готов был поверить, что свои большие доходы он построил не классическим мошенничеством и не разбоем, а именно честным собственным умом.

Денис меня разглядел тоже издали, хоть я и был не таким заметным. Сбежал навстречу, двумя руками поздоровался: "Почтенье, Мастер!" Подхватил под локоток, увлёк наверх. Подвёл к невысокому седому старику у входа.

- Вот, познакомьтесь теперь. Батя, это и есть твой спаситель.

Мы со стариком не узнали друг друга в лицо. Я только отметил, что ростом он соответствует тому злодею. Он тоже поздоровался двумя. Руки у него были слабые. Но в целом производил впечатление выздоравливающего.

Надо было держаться Мастером, и я спросил о здоровье.

- Лет на тридцать! - похвалился бывший злодей. - И ни одной дурной мысли. Верите, я благодарен тому человеку, который меня покалечил. Он был прав, я это понял.

- Но ещё больше, батя, - подхватил Денис, - мы благодарны вот этому человеку. Боже мой, бывает же такой дар!

- Ну, это не только дар, - сказал я скромно.

- Да-да, конечно! - Денис схватывал всё на лету. - Это и крест, я понимаю.
- Это ведь вы меня сюда пригласили? - спросил я прямо.
- Мы, - он тоже был приятно прям. - Мы с батей. И с друзьями. Ради одного дорогого нам человека. Только об этом после концерта, ладно?

Мы уже вошли в фойе и поднимались в зал.

- Тогда, - сказал я, - сначала о вашем отце. Вижу кое-что сам, но всё же: как дела?

- Да какие дела, Мастер?! Ожил наш дед! Смотрите, почти не хромает!

- А тенденции?

- Ну-ка, батя! Какие тенденции?

- Хуже не стаёт, - откликнулся дед. - А улучшение идёт заметное, когда думаю о хорошем.

Правильно?

И посмотрел мне в глаза.

- Правильно, - согласился я с важностью. - Это самое главное. В этом секрет любого лечения.

- Может, если бы я раньше понял, - сказал дед, - так и сам бы давно...

- Батя! - воскликнул сын.

- Это один бог знает, - сказал я примирительно. - Всё может быть. Всё, что мы можем представить.

- Только при определённых условиях, - подхватил Денис Палыч со значением.

- Кстати, об условиях, - сказал я. - С вашим знакомым, - я назвал имя сурового изменщика, - мы оказались в условиях обмана. Он позвал нас помочь жене, а хотел получить помощь сам. Как он там? Вы ведь друзья?

- Друзья, - Денис не отпирался. - Но только по дружбе я ему этот обман и простил. И перед вами каюсь, Мастер. Каюсь, честно...

- Так как он там? - переспросил я. - Здоровье поправилось?

- Не знаю, - ответил Денис мрачно. - Отношений я с ним не порвал, но и встречаться как-то нет охоты. В общем, не знаю. Он больным-то и не был. Так, хандрил, искал выхода. От вас, видно, хотел получить что-то вроде отпущения грехов. Ну, или там разрешение на развод.

- Тогда он ошибся, - сказал я.

Денис кивнул. Он нравился мне всё больше.

Тут мы нашли свои места, очень удобные, перед проходом. И уже не обсуждали божественные промыслы и человеческие слабости, а любовались залом. Хоть и был он сделан в духе новой архитектуры, с летящими, скользящими, плавными наклонными линиями, однако приятно трогала основательность и надёжность, которую архитектору удалось убедительно сохранить от старых традиций.

А вскоре начался концерт. Вела его шикарная дама неопределённого возраста. У неё были пышные распущенные волосы, золотое с чёрными узорами платье превращало её в хорошо поужинавшую удавиху, но не портило, даже подчёркивало грацию. Особенно когда она пела за Эдит Утёсову вместе с бодрым стариком, лихо и корректно подражавшим Леониду Осичу. Они исполнили песню американских лётчиков: "Мы летим, ковыляя во мгле", песенку несчастной маркизы, у которой сгорел дом, пока она была в отъезде, спели знаменитый "Пароход" и ещё немало всего. Их было только двое, пели под магнитофон, и я начал было печалиться: мою любимую шутку им под фонограмму не осилить - получится халтура. Но во втором отделении на сцену вышел небольшой, но исчерпывающий джаз-банд, было объявлено: "А теперь - гвоздь программы!", и мы с восхищённым хохотом наблюдали, как в конце девятнадцатого века рождался в Одессе тот самый джаз, который, "тут вы совершенно правы", в начале двадцатого века добрался и до Нью-Орлеана. И роль утёсовского скептика Жени прекрасно исполнила золотая удавиха, которую старик тоже, кстати, называл Женечкой. И в конце номера песенку "Прощай, прощай, Одесса-мама" вместе с нами орал уже весь зал - все, оказалось, пришли ради неё. Этакое братство сибирских одесситов.

Между номерами "Утёсовы" от первого лица рассказывали историю своего джаза и отдельных песен. (Один "Барон дер фон" во фронтовом варианте чего стоил!) Вспомнили, как-то очень к слову, и другую матершинную историю - о том, как великий артист отказался подписать письмо против кремлёвских врачей. Эрудиция у них была изрядная и хорошо организованная.

В общем, всё прошло чудесно. Уже было что рассказать Ведьме.

После концерта мы пошли не по домам и не в гости, а прямиком за кулисы. Там уже был накрыт стол человек на тридцать, и столько же нас как раз и собралось: "Утёсовы", музыканты и бомонд.

Немного странноватый это был бомонд. Одни мужчины Денисова возраста, все бритоголовые, у всех рубахи темнее пиджаков. Разумеется, я немедленно решил, что предстоит погулять с мафией. Но Денис это мгновенно разглядел и на ушко разочаровал:

- Честный бизнес. Ни одного киллера. Все крутые, но в хорошем смысле: Томская гильдия купцов и промышленников средней руки. Я бы даже назвал это братством. Но можно - стайей. Тоже в хорошем смысле. Помните, Мастер: "Сильный пожирает слабого, слабые держатся стайей, опоздавшему - кость"? Это про нас. Вместе нас никому не сломить. Строим, ремонтируем,

производим разный ширпотреб, продукты - всё получше импортного. И никакого рэкета, потому что кругом рога торчат.

Я с удовольствием поверил и не стал уточнять, законные ли рога у этого стада, крутого в хорошем смысле.

Никого никому за столом не представляли, в том числе и меня. Раз ты тут, значит - свой.

Центром внимания была золотая удавиха Женечка. Вблизи она оказалась того же возраста, что и Денис с его друзьями. Со всеми обменивалась репликами такого содержания, которое может быть понятно только очень давним и тесным знакомым. Даже отец Дениса входил в этот круг.

- Пал Палыч, - говорила Женечка, - а вы начали молодеть. Как та синьора из Неаполя, которая в девяносто четыре года выглядит моложе своей праправнучки.

- А чем я не синьор, - отвечал бывший злодей. - Погоди, вот новые зубы резаться начнут. Пойдёшь за меня?

- Мне за вас поздно, дядя Паша. Мою молодость не догонишь.

И умело перевела в шутку: мол, над вашим предложением стоит подумать.

- Тут, конечно, не вся гильдия, - шептал мне Денис. - Только актив. Друзья с детства. А Женька - наша женщина. Уж извините за откровенность. Тоже с детства. Ни к кому не прибилась, королева, когда все её хотели. А теперь все - верные мужья. Но в прошлом у неё от каждого по аборт.

- Сколько же ей лет?

- Тридцать семь. Ещё рожать и рожать. Но - рак матки. Доходит баба. Жалко, хоть плачь... Вот задачка, да?

И заглянул мне в глаза.

Я кивнул: "Задачка..." И больше о золотой Женьке не говорили.

На прощанье я поблагодарил за помощь науке.

- Гильдия! - гордо объяснил Денис. - Все под богом ходим.

Пал Палыч на прощанье очень внимательно в меня всмотрелся. Неужто узнал? Я сказал Денису:

- Насчёт отца держите меня в курсе.

Он кивнул.

- А Женьку вашу, - сказал я, - действительно жалко до слёз.

Он кивнул и горько покрутил головой.

Прошёл год.

Мы с Ведьмой собрались уехать из Томска.

Это всегда жалко - покидать обжитый, привычный город. Но как раз эта привычка и гонит нас всё дальше.

Дело тут вот в чём. Поскольку эликсир Ведьмы не даёт нам стареть, через пятнадцать-двадцать лет это становится заметно. Даже добрые друзья начинают завидовать. Зависть видна только опытному глазу, но у нас-то глаз намётан. Особенно трудно Ведьме с её подругами. При первом знакомстве она кажется им ровесницей, но рано или поздно они начинают замечать разницу. Да и мужчины тоже. Они стареют, умирают, а мы - всё в одном виде, нам всё под сорок. Начинаются шутки о колдовстве, о связях с космосом, об эликсире молодости. Последнее - в адрес Ведьмы: дескать, нас только от болезней лечишь, а сама-то с мужем что-то секретное потребляешь, ну-ка признавайся. Ответные шутки насчёт здорового образа жизни через несколько лет уже не действуют - на тех, кто ещё живой.

А ещё хуже - обратная сторона моего целительства. Друг Дениса, мрачный изменщик, уйдя от любящей жены, через полгода помер. Разрыв сердца. Золотая Женечка, исцелившись от рака матки, расцвела. Но когда попыталась увести от жены Дениса, вдруг резко состарилась и умерла от кровоизлияния в мозг. И ни для кого (кроме Дениса и его жены) не оправдание, что старик Пал Палыч в самом деле молодеет и всем вокруг советует: "Мысли добрые имейте!"

Дурное ярче - это в жизни, как в искусстве. Вон ведь - все предпочитают смотреть кино о дворцовых переворотах, читать книги об охоте на людей и о супружеских изменах - в общем, о борьбе многоликого и яркого зла с простым, однообразным добром. Так было всегда и везде. И есть. И будет.

И поэтому мы снова уезжаем. Ведьма хотела бы куда-нибудь в Красноярск или в Иркутск, ей всё ещё нравятся людные места. А я настаиваю - на Алтай. И отдохнуть от суеты где-нибудь в горах, и потоков там полно для моего генератора. И к космосу поближе: а вдруг с ним и в самом деле возможна связь? И травы там полно целебной для Ведьминых букетов. Это сильный аргумент. Очень надеюсь, что согласится. А нет - бросим монету.

БУНТИК

Должен был родиться мальчик. Папа сказал:

- Вот это как раз по моей части.

Мама улыбнулась:

- Но рожать-то мне.

Папа заволновался:

- Ты отменяешь договор?

- Нет-нет, - Мама продолжила улыбаться. - Если родится сын, его будешь воспитывать ты. Но пока он во мне, я поневоле должна...

- Поневоле? - Теперь улыбнулся Папа. - Воспитывать собственного сына для некоторых уже неволя?!

Теперь они смеялись вместе.

Они вообще старались жить веселее, чтобы ребёнок родился жизнерадостным.

- Насколько ты уверен, что будет мальчик? - спросила Мама.

- Да хоть на двести процентов - за себя и за тебя. Это у медиков могут быть сомнения, а моя машина не ошибается. Если захотим, мы с этим мальчишкой начнём общаться ещё до рождения. Захотим?

- А это ему не будет вредно? Всё же излучения...

- Ну, мать, сколько тебя учить? Машина работает в полном пассиве. Она только слушает биотоки. Его и твои. Неужели не понимаешь?

- Отчего же? Гуманитарии тоже думают немного. Я понимаю, но не очень верю.

- Чему не веришь?

- Ну, тому, что совсем без обратной связи... А вдруг даже наши уши излучают?

- Ого, ты и в самом деле... Но ты тогда... Ну, просто мне поверь.

Мама признала, что деваться некуда, и согласилась. И они занялись делом.

Заклучалось дело в том, чтобы до рождения дать малышу побольше знаний о жизни на свободе. Всякие там двигательные рефлексы разовьются, конечно, потом, а вот общественную информацию можно закладывать уже сегодня. Не зря же человек всю жизнь пользуется только десятой долей своих мозговых возможностей.

Мама-филолог сомневалась, конечно. Она говорила, что нельзя быть умнее Природы. Но Папа возражал убедительно: "Мы ведь тоже - часть Природы, так не может же она в нас быть умнее самой себя!" И они подбирали для Мама лучшую музыку, и читала она вслух весёлые и познавательные детские книжки. А радио на кухне работало на разных волнах попеременно: взрослая информация тоже куда-то ляжет в огромном подсознательном хранилище малыша.

Через год Мама сказала:

- Врачи в панике. Они ходят на ушах. Предлагают кесарево сечение.

- Давай не поддаваться, - предложил Папа. - Эксперимент должен быть чистым. Он ведь больше не растёт?

- Да вроде нет. Но и с этим пузом, знаешь... Не видно же, куда ноги ставишь. Особенно в гололёд. Да и вообще...

- Потерпи, сколько сможешь, - попросил Папа. - Не может это длиться долго.

- Да мне уже каждый день - долго.

- Он хоть живой там?

- Живой, живой, - Мама устало улыбнулась. - Лежит тихо, вот и всё. Как будто ему там нравится.

- Да-а? - Папа оживился. - Так, может, всё же спросим? Решишься?

- Ты уже сочинил эту свою программу?

- Сочинил. На Нобелевскую премию. Даже на собственных биотоках проверил.

- Ну, и что там слышно?

- А ты зря вот так иронично улыбаешься. Там, конечно, ничего не слышно. А на экране - обыкновенная беседа с собственным сердцем.

- И в каком же виде? Твой пламенный насос фыркает и плюётся, как в кардиоцентре?

- Опять зря смеёшься. Над готовым лауреатом смеёшься. Моё сердце выдало на экране текст, на чистом русском языке, со всеми знаками препинания. Мол, есть небольшая тахикардия, надо упорядочить режим: не заливать внутрь креплёных вин, побольше ходить по воздуху, не обезвоживать организм...

- Так и написало: "не обезвоживать"?

Папа увидел, что она всё ещё сомневается. Он сказал:

- А чего разговаривать? Пошли к компьютеру. Налеплю на тебя датчики - всё сама увидишь. Зря я, что ли, тахикардию заработал...

Датчики были наклеены.

- Вы с компьютером забавно смотрите, - сказал Папа. - С таким голым пузом перед ним ещё никто не сидел.

- Да ещё всё пузо в присосках с проводами, - сказала Мама. - Сфотографировать - получится портрет нашей цивилизации.

- Сейчас сделаем, - предложил Папа. И поискал глазами фотоаппарат.

- Не надо сейчас. Давай не отвлекаться. Я настроилась.

- Ладно. Молодец. Думай только о нём. Вопросы задавай вслух. Формулировками себя не утруждай - программа сама разберётся.

На экране тем временем открывались и гасли иконки сложной программы. Было похоже, что даже за самыми простыми из их названий скрывались бездны смысла и многие сутки напряжённых размышлений. "Контроль адекватности", - читала Мама, - "Этимологический анализ подтекста", "Неологическая трактовка оборота", "Опасность перегрева"...

- Похоже, эта программа во многом может разобраться, - сказала Мама.

- А то! - подтвердил будущий лауреат.

Когда всё включилось, на пустом белом поле "Ворда" остался только мигающий столбик курсора. В такт ему из динамика стучало детское сердечко. Мама оглянулась на Папу и со вздохом сказала:

- Бедненький.

О ком это, Папа спрашивать не стал. Он предложил не без волнения:

- Давай, задавай вопросы.

Мама, волнуясь, ещё немного подумала и сказала с жалостью, обращаясь к динамику:

- Сын, когда же ты родишься?

Текст её вопроса тут же появился на экране, оттеснив курсор за вопросительный знак. Папа щёлкнул пальцем по самой большой клавише, и курсор прыгнул в начало новой строки. Папа сказал:

- Теперь ждём!

Долго ждать не пришлось. Оттесняя курсор, поползло слово, всего одно:

- НИКОГДА.

- Как никогда? - вырвалось у мамы.

Ответ не заставил ждать:

- ТАК.

- Однако, - сказал Папа озадаченно. - Я ждал чего-нибудь другого.

- Чего же ты ждал? - повернулась к нему Мама.

Пока Папа обдумывал ответ, на экране появилась новая строка:

- Я ЖДАЛ ПРАВИЛЬНОЙ ЖИЗНИ. И БУДУ ЖДАТЬ.

Родители прочли и переглянулись.

- Он так и в самом деле никогда не родится, - сказал Папа. - Придётся делать кесарево сечение. -

И обратился к голому животу: - Слышал, что говорю, грамотей?

Они прождали несколько минут, но живот не ответил.

- Ишь, - сказал Папа. - Он со мной даже разговаривать не хочет.

- Как же ты будешь его воспитывать? - Мама через силу попыталась пошутить.

Папа развёл руками. Но растерянным не выглядел. Он сказал:

- Дело в биотоках. Спроси ещё что-нибудь.

Мама подумала и сказала:

- Сын. Тебя просто вырежут из моего живота.

Ответ явился сразу:

- ТОГДА Я УМРУ. ХОЧЕШЬ?

Стук сердечка в динамиках участился. Курсор тоже замигал чаще.

- Нет! - сказала Мама быстро. - Не хочу. Но если ты будешь всё время во мне, я скоро потеряю силы, и мы с тобой умрём вместе. Хочешь?

- ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЖИТЬ ТАК, КАК ВЫ.

- Чем же мы плохо живём?

- ПОСМОТРИ СО СТОРОНЫ.

- Какой ты жестокий, - сказала Мама. - Ко мне. За что?

- А ТЫ - НЕ ЖЕСТОКАЯ?

- Чем же? Тем, что хочу дать тебе жизнь?

- МНЕ ТАКАЯ ЖИЗНЬ НЕ НУЖНА.

- Да каждый сам строит свою жизнь! - не удержался Папа.

Ничего на экране в ответ не появилось.

- Ты не хочешь разговаривать с отцом? - спросила Мама.

- НЕ ХОЧУ.

- Почему, сынок?

- НАШЁЛСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ.

Мама посмотрела на Папу.

- До сих пор я думала, что этот разговор ты сам подстроил. Теперь верю...

- И не отшлёпаешь паршивца, - Папа напряжённо засмеялся.

- Сын, - сказала Мама, - чем же отец мог тебя обидеть?

И снова посмотрела на Папу. Тот пожал плечами.

- УСПЕЛ ЗА ГОД, - явилось на экране. Курсор помигал на месте, будто в нерешительности, и вытянул ещё одно слово: - ТЕБЯ.

- Меня? - Мама повернулась к Папе. - Чем же?

- ОН САМ ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ. ЕСЛИ МУЖЧИНА.

- Боюсь, машина перегрелась, - предположил Папа. И протянул руку: - Дадим-ка ей отдохнуть.

Программа очень сложная.

- НЕ ТО, - сообщил экран.

Мама остановила Папину руку и быстро сказала:

- Сын! Я поняла. Я это чувствовала. Пусть. Неважно. Давай поговорим о другом.

- ЧТО ЖЕ ДЛЯ ТЕБЯ ВАЖНО?

- Твоя жизнь. Я хочу, чтоб ты был рядом.

- А ОН БУДЕТ МЕНЯ ВОСПИТЫВАТЬ?

Мама коротко взглянула на Папу и быстро ответила:

- Нет, сынок. Мы с тобой сами.

- НЕ ВЫЙДЕТ. С ГОЛОДУ ПОМРЁМ, КАК БАБУШКА ВЕРА.

- Но она живая! Что ты говоришь?

- ОНА ОДНА И ГОЛОДАЕТ.

- Маленькая пенсия, ты прав. Но мы ей помогаем.

- ЭТО НЕ ПОМОЩЬ. ВЫ САМИ БЕДНЫЕ. Я ВАМ НЕ НУЖЕН.

- Ты нужен, нужен нам! Два года назад умер твой братик Алёша. Ему было десять лет...

- ПОЧЕМУ ОН УМЕР?

- Его избил злые ребята. А он не дал им сдачи.

- ПОЧЕМУ?

- Он был не такой, как они.

- А КАКОЙ?

- Он был беззлобный. Никого не хотел обижать.

- Я ТАКОЙ ЖЕ.

- Вот отец и хочет тебя воспитать. Чтобы умел постоять за себя.

- Я ТАК ЖИТЬ НЕ ХОЧУ.

Папа не находил себе места. Он вставал, садился, ерошил остатки волос по краям умной лысины и порывался вмешаться в разговор, но Мама качала головой и махала на него руками. Она сказала:

- Сын! Мы никому не дадим тебя обижать. Ты вырастешь большой-большой. Ты будешь самый сильный, самый умный, самый добрый... Как твои дедушки.

- ГДЕ МОИ ДЕДУШКИ?

- Твои дедушки были солдатами. Ты знаешь, кто такие солдаты?

- ОНИ ВОЮЮТ. УБИВАЮТ И ПОГИБАЮТ. ЗА СВОБОДУ ИЛИ ЗА ДЕМОКРАТИЮ. ЧТО ТАКОЕ ДЕМОКРАТИЯ?

- Это власть народа. Ты знаешь, что такое власть?

- ВЛАСТЬ НАРОДА НЕ БЫВАЕТ. ГДЕ МОИ ДЕДУШКИ?

- Они погибли на войне. За свободу.

- СВОБОДЫ НЕ БЫВАЕТ.

- Немного всегда бывает, сынок. Вот за неё и воюют.

- СОЛДАТЫ ПОГИБАЮТ ЗА ЧУЖУЮ НЕМНОГО СВОБОДУ. ВОЙНА - ЭТО ГЛУПОСТЬ. НЕТ.

- Что - "нет"?

- Я ЗДЕСЬ ПОДОЖДУ.

- Но мне трудно тебя носить.

- ТЫ ЭТОГО ХОТЕЛА. А Я - НЕТ.

- Ах, какой же ты жестокий...

- ГДЕ МОЯ ЕЩЁ ОДНА БАБУШКА?

- Когда убили её мужа, твоего дедушку, - Мама замолчала, подбирая слова. — Она после этого...

- МОЖЕШЬ НЕ ГОВОРИТЬ. УЖЕ ЗНАЮ.

- Ты меня слышишь без слов?!

- ДА.

- Какой ужас, - сказал Папа.

Вдруг "ДА" на экране исчезло и явился новый ответ:

- УЖАС ТЕБЕ. А МАМА - ЧИСТАЯ И ДОБРАЯ.

- Зачем же ты её мучаешь? - вскричал Папа. - Такую хорошую!

Ответа не было.

- Разговоры при нём затевали умные, - прорычал Папа. - "Радио Свободу" слушали, музыку разную, прямой эфир... Воспитали уродца...

- Он прав, - тихо возразила Мама. - Это мы - уродцы. Я готова терпеть. А ты можешь уходить. Тебя там не выгонят.

- Где это "там"?

- Сам знаешь. Не ври хоть при ребёнке. Он же слышит биотоки.

- Что было, то прошло, - сказал Папа. - Никуда я от тебя не уйду. И давай делать кесарево сечение.

Он сказал это и посмотрел на экран.

Компьютер звонко щёлкнул и отключился. Экран и динамики погасли.

- Я же говорил, - сказал Папа. - Он перегрелся. Слишком сложная программа. Я за неё Нобелевскую премию точно получу.

- Ты не успел меня сфотографировать, - сказала Мама.

Нобелевскую премию Папа не получил. Как он ни бился, гениальная программа больше работать не захотела. Не просто взаимодействовать с человеком, а именно работать. Едва включали компьютер, она сама раскрывалась и начинала уничтожать все другие программы. Папа заметил это слишком поздно, когда она принялась за себя. В результате пришлось выбрасывать системный блок и даже менять монитор. Этот разор влетел семье в такую копейку, что Папе пришлось на время бросить творчество и подыскать несколько кабальных левых шабашек, благо в компьютерных кругах он был популярен.

Мама вытерпела своё бремя ещё полгода и решилась, наконец, на кесарево сечение, благо операцию - в интересах потрясённой науки - сделали ей бесплатно.

Мальчик, отбивший в животе два срока, родился нормального веса и нормальной длины, с русыми кудряшками на круглой головке, ладненький и беленький - на все десять баллов. Он смотрел перед собой мрачным взглядом и не дышал. Врач-оператор отвесил младенцу полагающийся в таком случае шлепок, проказник дёрнулся, сделал вдох и завопил. Его глазёнки стали обычными, бессмысленными, как у всех нормальных людей, которые в момент рождения видят мир перевернутым.

Хирург переждал аплодисменты коллег, окруживших стол, и сказал:

- Бунтик, да?

- Что? - переспросила Мама.

- Дайте этому бунтарю имя Бунтик, - предложил врач. - Тогда я готов пойти в крёстные отцы.

- Годится, - Папа шагнул из весёлого круга белых халатов и взгляделся в личико сына. - Бунт! Это мощно! И отчество у моих внуков будет солидное: Бунтовичи!

- Поднесите его ко мне, - попросила Мама. - Поближе.

Будущий крёстный выполнил просьбу. Мама всмотрелась. Бессмысленный взгляд малыша на миг изменился, один глазок неприметно подмигнул.

- Воспитывать его буду-таки я, - раздался рядом шёпот Папы.

Владимир Шкаликов

"ВИЗИТ-ЭФФЕКТ"

На первый взгляд история маловероятная, хотя, если смотреть шире, такого кругом сколько угодно.

Вот вам отдалённая метеостанция. Правда, с научным уклоном. На одной из вершин молодого скального хребта, за кромкой вечных снегов. Тут и синоптик, и геофизик, и гляциолог, и механик-на-все-руки, и даже астроном-любитель, по должности геолог-теоретик-в-командировке.

Все четверо мужчин - настоящие герои, все влюблены в синоптика, а синоптика зовут Маша, и все её симпатии - Пашке-умельцу, потому что из четверых героев он самый настоящий: играет на гитаре, сам сочиняет, сам поёт, знает все анекдоты и красивый. И всё умеет. "Паша, сгорел трансформатор". Паша мотает. "Пашка, посмотри теодолит" Пашка юстирует. "Пашенька, а нельзя сделать, чтобы флюгер показывал наклон ветра?" Пашенька дублирует стандартный ветроуказатель самодельным самолётиком: скорость и все углы ветра Маша получает в цифрах на своём настольном пульте. "Павел, что-то рация не пашет". Исключено. У Павла всё пашет, не надо верньерами баловаться. "Павлик, так хочется абрикосов..." Павлик впрягается в свой дельтаплан и отбывает в долину. Обрато моторчик еле тащит его с полным рюкзаком всякой снеди. И, конечно, с цветами для синоптика. Спрашивается, кого же любить синоптику, девушке одинокой, знакомой со всем диапазоном житейских трудностей и потому знающей цену человеческой надёжности? И никто из прочих настоящих мужчин не протестует.

Одним словом, социально-производственная идиллия.

И вот из долины поднимается к ним вертолёт. Не бог весть какое событие ежеквартальной регулярности. Почта, литература, батареи для зондов, консервы, спецовка, кое-что из инструментов, баллоны с газом, бочка бензина для Пашкиного движка и прочие мелочи из заказанного по радио. Но ещё - комиссия, то ли инспекция - что-то руководящее. Один человек, но зато "сверху" (если можно так выразиться по отношению к молодому скальному хребту). Одет - как на полярный парад - в новую меховую спецовку (может быть, в ту самую, которую уже год не везут гляциологу). А дело летом, он в этих мехах запарился даже на снегу, но не снимает, даже не расстёгивает - может быть, гляциолога боится.

Инспекция - это, конечно, событие. Потому что такого ни разу не было. Все смотрят краем глаза.

Начальство отпустило разгруженный вертолёт, строго наказав быть обратно через два часа, и сразу приступило к документам. Особо интересовалось расходом горючего и продуктов, а также износом имущества. Всё оказалось в рамках нормы, и тогда был совершён обход территории.

Геофизик получил замечание за установку магнитометра не по отвесу.

Гляциолог получил указание ходить по леднику не в одиночку, а в связке с кем-нибудь - для безопасности.

Механику была вручена металлическая табличка, запрещающая курение рядом с бочкой бензина.

Геологу было намекнуто, что занятия астрономией могут повлиять на продолжительность его курортной командировки, поскольку вот эти линии - синклинали? да-да, они самые - недостаточно густо нанесены на планшет.

Этой бездарной чепухе все безразлично кивали, уверенные, как и само начальство, что обе стороны забудут о замечаниях, едва инспектор вылезет в жаркой долине из вертолёта и мехов,

Возмутилась одна влюблённая в метеорологию Маша, когда ей было приказано незамедлительно, тут же, в присутствии начальства ликвидировать нестандартный, самодельный, безответственно дублирующий флюгер-самолёт, поскольку он: а) вносит разноречивые в единообразные синоптические данные страны и б) выглядит фривольно, вызывая своим чересчур птичьим видом чemoданное, даже временщицкое настроение у научных работников станции. Маша заспорила запальчиво, она говорила, что отечественной и даже мировой метеорологии следует равняться на лучшие образцы, а не тащиться серым строем. Она спрашивала: кому, в конце концов, здесь работать - ей или всякому мимолётному начальству... На её аргументы у начальства, разумеется, нашлись ответные. Вследствие усиления ветра повышался и тон дискуссии, пока не пришла пора укрыться в метеобудке. Там спор продолжался уже перед приборным щитком и лишь тогда прекратился, когда все приборы дружно указали, что сегодня вертолёта ждать нечего.

Стало быстро темнеть. Пришлось Маше уступить начальству свой топчан в метеобудке, а самой перебраться в мужской вагончик, где ей наперебой предлагали любой спальный мешок.

Начальство, однако, не успокоилось. Оно стало требовать немедленного, на его глазах, снятия незаконного ветроуказателя.

- Кто его устанавливал?

- Ну, я, - сказал Паша.

- Вот вы и снимите.

- В такой ветер? Может, сами попробуйте?

Начальство обратилось со своим предложением ко всем по очереди, но настоящие мужчины единодушно испугались ветра.

- Тогда я сам, - заявило начальство и посмотрело на синоптика. Маша отвернулась.

Начальство покинуло мужской вагончик, и там немедленно началось совещание.

- Ты считаешься начальником станции, - сказал синоптику механик. - Если этот придурок оттуда неудачно упадёт...

- Чёрт с ним, - сказала Маша. - Пойду сниму.

- Самолётик?

- Да нет. Его с мачты.

Она подбежала к мачте, когда начальство, клонясь против ветра, ухватилось за нижнюю скобу.

- Зайдёмте в будку, - предложила Маша. - Если есть тенденция, то за ночь ветер стихнет, тогда и снимем.

Начальство не возражало. Они вошли в метеобудку, и через некоторое время Маша вернулась в вагончик с плотно сжатыми губами и со сталью во взгляде. Бросила с порога: "Порядок", достала из аптечки бинт, сама замотала кисть руки и сама, помогая зубами, завязала узел.

- Что это? - спросили все.

- Да так, - ответила Маша. - А что?

- Кулак теперь, как у боксёра", - сказал Паша, и все улыбнулись.

Перед сном опять встал вопрос: кто уступит синоптику свой спальник.

- Ребята, - попросила вдруг жалобно Маша, - можно я влезу к Павлику?

- А поместимся? - Паша впервые в жизни растерялся.

- Пора вам попробовать, - сказал геолог. - Практика - критерий истины.

И, после трудного дня на ветру, все мгновенно уснули.

Наутро Маша первая вскочила, поставила греться чайник и выбежала на воздух. Через минуту она вернулась с полными слез глазами и стала тормозить товарищей:

- Вставайте! Вставайте! Этот паразит ночью снял мой самолётик!

- А ветер? - спросили все.

- Ветра нет. Ещё вчера была тенденция...

Встали, наскоро попили чаю и пошли будить начальство. На вопрос о самолётике оно сделало большие глаза:

- Да если честно, я на эту мачту под пистолетом не полезу.

- А что у вас с губой? - спросил участливо гляциолог.

- Зашиб, - коротко ответило начальство и подняло глаза к верхушке мачты, где сиротливо торчали только проводки. - Куда же он делся?

- Ветер был сильный, - сказала Маша. - Будем считать, что снесло

- Ах, какой сельсинчик пропал, - сокрушался Паша. - Маленький, от противотанковой ракетки. Где взять?..

- Да нет, - гляциолог не сводил глаз с начальственной губы. - Это ведь вы его сняли, признайтесь. Там и губу зашибли.

Начальство посмотрело на зашибленную руку синоптика, встретило её стальной взгляд и - решило пошутить.

- А может быть, это "визит-эффект"?

- Тогда уж наоборот, - сказал геолог. - Все порядочные приборы при начальстве барахлят, а этот послушным оказался: велели снять - он сам и улетел.

- Были бы все такими, - сказала начальство. - Всегда бы. - И потрогало свою расквашенную нижнюю губу.

- Синяк - украшение мужчины, - холодно сказала Маша в сторону,

- Можно добавить, - сказал Паша тоже в сторону. Снизу послышался тяжёлый гул вертолёт.

Через несколько минут высокое начальство спускалось к себе в долину, а научно-технический персонал станции переглядывался и пожимал плечами.

- Всё-таки, ребята, - говорила Маша, - кто же снял мой самолётик? Ветер явно ни при чём.

- Ну, Пашка тоже не в счёт, - начал геолог.

- За него я ручаюсь, - быстро подтвердила Маша.

- А я - за неё, - сказал Паша,

- Да бросьте вы, - геофизик поморщился. - Это гостенёк, больше никому. Они все любят сувениры. Больно хорош был самолётик...

- Летит! - вдруг тихо сказал Паша.

Все проследили за его взглядом и оцепенели. Быстро теряя высоту, лихо вертя жестяным пропеллером, на котором - все знали - ещё была цела фабричная надпись "Зелёный горошек", из пространства приближался к своей мачте беглый флюгер-самолёт.

- Что за чёрт? - вырвалось у механика.

- Вернулся! - Маша, несколько не удивляясь, хлопала в ладоши. - Ну ты же сам запикивал туда

батарею, Павлик! Вот он и полетел!

- С ума сошла, - сказал Павел. - Батарея там совсем не для этого.

- Да какая разница! - Маша смеялась. - Он вернулся, вот что главное!

Самолётик между тем сделал небольшой круг над мачтой и с первого захода занял своё место на стальной спице с подшипником. Механика окружили восторгом.

- Павлик! У тебя золотые руки!

- Ну, Пашка, это надо патентовать!

- Да я же сам не понял! Давай лучше обмоем.

- Брось, не тушуйся. Пиши заявку на изобретение! Поможем!

И так далее.

Паша послушал-послушал и молча полез на мачту - присоединять оборванные провода.

05.06.90г.

ВСЕМИРНАЯ ГАРМОНИЯ
фантастический триптих

Памяти Анатолия Шапаренко

Зеркало.

Старая хозяйка сняла очки и положила их на столик перед зеркалом. А сама легла спать.

Для зеркала это было весьма важным событием. Обычно хозяйка ложилась в очках, потому что перед сном любила почитать.

Дочитав, она усталой рукой опускала книгу на ночной столик у своего изголовья, снимала очки, щурилась, пристраивала их рядом с книгой и гасила свет. А простодушное зеркало, которое отражало все предметы такими, какими они были на самом деле, смотрело издали на толстые стёкла очков и мучительно размышляло о тайне, которая скрывалась в их прозрачной пустоте.

Обычно все простодушные любознательны. Было таким и зеркало. Тайна очковых стёкол так долго не давала ему покоя, что теперь оно нисколько не удивилось силе собственного волнения. Оно даже не заметило, что от этого волнения вся отраженная в нём комната заколебалась. Если бы, например, хозяйка в эту минуту включила свет и взглянула на свое зеркало, она бы с ужасом подумала, что в зеркале начался шторм: с такой силой качалась в нём люстра, кривился потолок, прыгала вазочка с цветами, а картина, изображавшая бурю на море, едва держалась на гвозде.

Но хозяйка уже спала. Она была очень стара и в этот день очень устала, потому что была суббота, а в воскресенье она ждала гостей и весь день готовила и прибирала в комнате.

Очки лежали на вязаной салфетке перед зеркалом и равнодушно смотрели куда-то в пространство. Взгляд их был строг к остёр от рождения, но старость уже давала себя знать, а потёртая резиночка, которой были связаны концы дужек, ещё более подчеркивала это обстоятельство.

"Нет, это будет неловко - думало зеркало. - Если я заговорю, это может помешать их мыслям. А так хочется, однако, поговорить".

И зеркало решилось.

- Простите, - сказала оно как можно мягче.

- Да-да, конечно, - немедленно откликнулись очки. - Мы видели ваше волнение и просто ждали, когда вы с ним справитесь. И поскольку можно считать нашу беседу начатой, сразу просим прощения за вынужденную бестактность.

- Ах, о чём это вы? - удивилось зеркало.

- Говорить о себе "мы" принято ведь только среди особ царской крови, поэтому хотим объясниться. У нас причина чисто грамматическая. Очки, ножницы, щипцы и ещё некоторые вещи просто не имеют единственного числа. Это даёт несведущим повод упрекать нас в высокомерии. Но ведь не скажешь: "Я, очки..."

- Нет-нет, - заверило зеркало. - Все эти условности для меня слишком сложны. Мне просто хотелось поговорить о вашей тайне. Она давно не дает мне покоя.

- Тайна? - Очки посмотрели удивленно. - Какая тайна у двух стекляшек?

- О, вы несправедливы, - сказала зеркало. - Просто вам это привычно. А я никак не возьму в толк, почему глаза нашей хозяйки становятся такими большими, едва она вас наденет?

- Ах, это! - Очки улыбнулись. - Это не тайна. Это оптика. Наука оптика, традиционный раздел физики, только и всего. Любая кривизна стекла искажает изображение. - Вы делали то же самое, когда волновались. Вы просто этого не заметили.

- Неужели? - изумилось зеркало. - И могло бы... как вы? Увеличивать?

- Безусловно! И уменьшать тоже. Все зависит от того, в какую сторону и с какой кривизной вы изогнётесь...

Всю ночь продолжалась оживлённая беседа двух стеклянных предметов - весьма образованного и весьма любознательного. Очки успели поделиться с зеркалом малой частью того, что им удалось узнать из книг за свою долгую жизнь, а зеркало проявило огромную охоту и изрядные способности к учению. Изгибаясь необходимым образом, оно сумело прочитать все грамоты и дипломы старой хозяйки, которые висели в рамках на противоположной стене. Там же находилось и несколько фотографий, и зеркалу удалось наконец разглядеть их подробно. Из всего увиденного был сделан вывод, что в молодости хозяйка была очень красива и знаменита, а теперь она очень умна и дружит со многими замечательными людьми. Очки, хорошо знавшие интересы хозяйки, подтвердили этот вывод и не без гордости заявили:

- Можно оказать, коллега, что нам с вами серьезно повезло. Другие попадают в гораздо менее интеллигентные руки.

Утром хозяйка надела очки и причесалась перед зеркалом. Когда она захотела разглядеть что-то на лице и приблизилась, зеркало слегка изогнулось, чтобы ей было виднее.

- Ай-ай-ай! - огорчилась старая женщина. - Какие морщины!

Из этого зеркала сделало вывод, что даже очень пожилой женщине не следует указывать на её недостатки. И когда расстроенная хозяйка приблизилась во второй раз, оно изогнулось так, что морщины на ее лице разгладились, и оно стало почти таким же прекрасным, как на фотографии в молодости.

- О-о-о! - сказала хозяйка. Мягкой салфеткой она тщательно протёрла зеркало, посмотрелась еще раз и опять оказалась: - О-о!

Потом она стала собирать на стол все блюда, что приготовила в субботу, и каждый раз, проходя мимо зеркала, заглядывала в него с радостным любопытством.

Потом пришли её друзья, а с ними - незнакомый человек средних лет, которого хозяйке представили как Знатка прекрасного и Светило в области точных наук.

Гости были приглашены к столу, и во время оживленной беседы зеркало развлекалось тем, что подробно разглядывало каждого из них. Очки это замечали и весело ему подмигнули.

Однако заметил это и новый гость. Он сидел как раз напротив зеркала и всё время к нему присматривался, а когда пришло время уходить, этот человек спросил, не знает ли хозяйка, где и когда изготовлено это великолепное произведение зеркального искусства.

- Не знаю, - со вздохом призналась хозяйка. - Сколько себя помню, оно всегда стояло на этом месте. Мне кажется, оно уже давноросло в пол.

Все засмеялись, а любознательное светило в области точных наук спросило, нельзя ли ему это зеркало прямо сейчас купить.

- Никак нельзя, - улыбнулась хозяйка. - Это мое фамильное зеркало. Единственная вещь, которая осталась от моей прабабки.

Знаток прекрасного не стал настаивать на продаже и откланялся.

А через месяц, когда женщина уехала на недельку в гости к внучатам, дверь её квартиры была взломана. Всё произошло ночью и так тихо, что никто из соседей даже не пошевелился во сне.

Фигуру грабителя скрывал просторный плащ, а на голову были натянуты черный чулок с прорезями для глаз и широкополая шляпа. Он вошел и целиком отразился в зеркале.

Поняв, кто перед ним, зеркало сильно заволновалось.

- М-да-а, - только и сказал грабитель знакомым голосом.

Он подошёл к зеркалу и попытался его поднять. Но оказалось, что деревянные ножки действительно приросли к полу. Тогда грабитель, не снимая кожаных перчаток, пошарил по задней стенке, что-то осторожно отогнул своими железными пальцами и вытащил зеркало из рамы. Затем он положил стекло на кровать и набросил на него края старушкиного одеяла. Вынув из кармана моток шпагата, он обвязал им сверток, положил на стол деньги и вышел с добычей, осторожно притворив за собой дверь...

Зеркало увидело свет в незнакомой просторной комнате. Другим был этот свет, другим был воздух, другая была температура

- Здесь тебя не найдут, - раздался голос грабителя. Перед зеркалом появился тот самый Знаток прекрасного, который месяц назад не смог его купить. Он сказал: - До твоей хозяйки отсюда очень далеко. У неё тебе жилось довольно серо, а у меня ты не заскучаешь. Мы с тобой совершим кое-что в области точных наук. А точнее - в оптике.

Зеркало всмотрелось: не шутит ли. Грабитель не шутил.

"Конечно, его поступок безобразен, - подумало зеркало. - Но ведь это в интересах науки. Если поразмыслить, моя умная хозяйка в конце концов одобрила бы такой поступок."

И начались эксперименты.

Поначалу это было занимательно. Учёный разглядывал зеркало в различные линзы и отражал в нем различные материалы. Потом, не разобравшись, ножиком сокрёб с обратной стороны немного амальгамы и долго исследовал её под микроскопом, капал на неё различными химикатами, опять разглядывал и всё записывал в тетрадь.

Когда скребли ножом, было щекотно и не очень приятно: ведь в конце концов, нельзя даже в интересах науки разрушать красоту. Но когда Знаток с помощью стеклореза и клещей отколол от него уголок, пришла пора возмутиться. Когда Знаток, унося кусочек зеркала, оглянулся и подмигнул, зеркало изо всех сил увеличило один его глаз, а всё остальное изо всех сил уменьшило.

- Очень интересно! - оценил Знаток. - С этим мы еще разберёмся.

Он сделал химический анализ стекла, но это не прибавило ему знаний. Тайна зеркала не раскрывалась.

- Ну, - сказал Знаток, - пора переходить к более современным методам.

Он прикатил из дальнего угла небольшой железный столик с приборами и приклеил концы проводов к разным углам зеркала. Черный шнур он подсоединил к гудящему ящику на стене и начал медленно поворачивать головку прибора, который он уважительно называл потенциометром.

Сначала зеркало почувствовало легкое жжение, потом неприятное покалывание, а потом его

затрясло, как в лихорадке. Человек и столик на колесах стали видны неясно, при этом они морщились и подпрыгивали, а позади них дергалась на стене расчерченная какими-то линиями репродукция знаменитой картины.

Э-э-э, нет, - услышало зеркало. - Так не годится.

Мучения прекратились, стало опять хорошо видно.

- Нужна только постоянная составляющая, - сказал мучитель. - Я начинаю кое-что понимать. Сейчас мы с тобой получим оч-чень интересный эффект!

Он что-то переключил, и зеркало, ничего, как будто, не чувствуя, стало вдруг испытывать тревогу. С ним происходило что-то непонятное и страшное. Ему стало казаться, что его стискивает со всех сторон какая-то беспощадная холодная сила. Она давила всё опаснее, это становилось невыносимым. Зеркалу захотелось превратиться в маленькую капельку горячего стекла и утечь куда-нибудь в щёлочку. Но на пределе этих мучений всё стало меняться. Теперь зеркалу казалось, будто его накачивают, наполняют чем-то невыносимо горячим. Оно опять видело с трудом, его раздувало, как праздничный резиновый шарик, каким старая хозяйка раз в году украшала свою комнату. Это было так давно... И так хорошо... И так далеко... Взорваться бы, обрызгать мучителя расплавленным стеклом и превратиться в пар!..

Но опять всё стало на место, и Знаток, очень довольный, подмигнул совершенно дружески:

- Все идёт просто прекрасно! Сейчас такое устроим!..

"Ну, нет! - подумало зеркало. - Хватит! Наука наукой, но надо и совесть иметь!"

И человек перед столиком с приборами замер от удивления. Из глубины зеркала на него смотрел не знаток прекрасного и не светило в области точных наук, а невообразимо уродливый волосатый паук с хищными жёлтыми глазами. Знаток улыбнулся. Паук в ответ оскалил ядовитые челюсти. Знаток на всякий случай отодвинулся назад, а паук прыгнул вперед и едва не выскочил из зеркала. Зато он увеличился настолько, что на виду осталась одна громадная голова, которая едва умещалась в границах зеркала, сверкала горящими глазами и щелкала острыми шипастыми жвалами, с которых капала мутная от яда слюна. Человеку показалось, что зеркало исчезло, что мохнатые лапы с острыми крючками тянутся к нему...

- Не-е-ет! - закричал Знаток не своим голосом и, схватив двумя руками тяжёлый прибор, метнул его в оскаленную пасть.

Сверкая и звеня, посыпалось на пол разбитое стекло.

Замкнулись оборванные провода. Что-то сверкнуло. Где-то хлопнуло и затрещало. Внезапный сквозняк распахнул дверь и разбил окно. Комната быстро наполнилась голубым дымом.

Со всех сторон донеслись крики: "Гори-и-и-им!"

Второе "Я".

Уже неделю Знаток не выходил из дома и стонал. Ожоги плохо заживали. И душа не переставала болеть. Жалко было свою лабораторию. Самые чуткие осциллографы, самые современные генераторы, самые совершенные потенциометры, самый быстродействующий компьютер - всё сгорело дотла. Что лаборатория - институт кое-как отстояли пожарные. Если бы они так быстро не примчались, никакая автоматика не помогла бы. Знаток вспоминал потоки белой пены, в которых не хотело униматься электрическое пламя, вспоминал голубой, потом серый, потом черный дым, в котором, он едва не задохнулся, и все его боли - и телесные, и душевные - вгрызались в него с новой силой. Погибло ценное оборудование, а хуже того - сгорели бесценные записи экспериментов. Из-за этого уже неделю Знаток стонал, метался по квартире и не находил себе места.

Зазвонил телефон. Знаток снял трубку и по привычке представился полным званием, как делал на работе:

- У аппарата Знаток прекрасного и Светило в области точных наук.

- Привет, старина! - раздалось в трубке.

- А, это ты, Друг! Здравствуй.

- Ну, - спросил Друг, - почему такой бледный голос? Где твое богатырское ничего? Когда собираешься на работу?

- Голос слабый, потому что всё болит, - отвечал Знаток. - Здоровье уже не богатырское. А если бы оно и было, то всё равно выходить на работу некуда.

- А вот и врешь! - В трубке раздался радостный смех. - Ты забыл, что у тебя есть я, а у меня - Институт Необычных Проблем!

- Как? - вскричал Знаток. - Уже?

- Уже, - подтвердил Друг. - Уже месяц я директор Института. И новая лаборатория с самым новейшим оборудованием ждёт тебя не дожждётся. Так неужели она не дожждётся?

- Лечу! - взревел Знаток. - Спаситель! Пять минут на одевание, полчаса на троллейбусе...

- Никаких троллейбусов! - засмеялась трубка. - Одевайся без паники да не забудь побриться: через пятнадцать минут за тобой прикатит мой голубой лимузин.

И вот окрыленный Знаток выходит из голубого лимузина, поднимается в лифте, обнимает Друга,

идёт с ним по просторному коридору и ахает на пороге новой лаборатории.

- Я даже репродукцию тебе припас, - Друг показывает на стену. - С той же самой картины, что у тебя сгорела. Можешь снова расчертить ее циркулем и вообще - располагайся и делай что хочешь: на то мы и в Институте Необычных Проблем, чтобы вести свободный поиск.

Они еще раз обнялись, и началась научная сказка. А науки в ней ровно столько, чтобы ученый понял, а неучёный поверил.

Тигром ходит по лаборатории окрылённый Знаток. Орлом глядит на приборы и находит, что прежние против этих были просто хлам.

- Ну все можно! - бормочет. - Ну всё-всё-всё!

Останавливается, щелкает тумблерами, крутит верньеры, смотрит на экраны и самописцы и чуть не плачет - такова радость. Просто места себе не находит.

Наконец нашёл. Присел к столу и стал смотреть на репродукцию, которая специально для него изыскана замечательным директором Института.

- Рублёв! "Троица"! Ах!..

После этих слов он надолго замолчал, вглядываясь в узкие лица, в удлинённые задумчивые фигуры, в странную игру простых тёплых тонов - охры и сурика, столь удивительно оттенённых двумя другими, тоже простыми - белилами и сажей.

- Боже мой! - произнес он наконец. - Такое богатство - четырьмя комьями грязи! Из-под ног!.. А позы! Бож-же мой... Ну, теперь-то...

И, схватив линейку, циркуль и остро отточенный карандаш, одержимо принялся за работу. Он хорошо знал на память все формулы "золотого сечения", ему не надо было листать справочники в поисках цифр. Через какие-то полчаса картина великого художника украсилась густой сеткой прямых и кривых, тонких и жирных линий, пересечения которых приводили Знатка в восторг, в ярость и в священный ужас.

Когда к вечеру директор Института навестил Знатка в его новой лаборатории, тот сидел перед компьютером и сверял цифры и линии на экране дисплея с теми, что были у него начертаны от руки.

- Ну, - спросил Друг, - как теперь твоё богатырское ничего?

- Смотри, - пробормотал Знаток, подняв на него глаза поверх очков. - Я почти приблизился к разгадке всемирной композиции.

- Это как же? - Друг поглядел в бумаги и на экран. - Что ты называешь "всемирной композицией"?

- А вот что, - начал Знаток. - Надеюсь, ты помнишь, я говорил тебе когда-то о возможности существования некоего всемирного Разума.

Друг кивнул.

- Ты еще сказал, - продолжал Знаток, - что, мол, не надо усложнять, и мой Всемирный Разум имеет простое название - Природа, и творит он по законам, ему самому неизвестным.

Друг снова кивнул и сел на вертящийся стул, готовясь к беседе.

- Так вот, - заявил Знаток, - я почти доказал, а с таким оборудованием докажу непременно, что существует некий ОСОЗНАННЫЙ акт творчества, осуществляемый на Земле всемирным, точнее сказать, даже Вселенским Разумом через людей. Этот акт бесконечен и необозримо разнообразен, но каждое его действие подчинено неким единым законам, которые внушаются свыше лишь избранным творцам, вроде Рублёва, Леонардо, Бетховена, Пушкина...

- Ньютона, Эйнштейна, нас с тобой...

- Нет-нет! - Знаток замотал головой. - Ты не понял! Я сейчас говорю не о научных открытиях, а о художественном творчестве. Я не говорю даже о неизвестном изобретателе колеса. Творчество таких людей подчинено законам физики и математики. Я же имею в виду законы ГАРМОНИИ, которые ещё не нашли своего настоящего выражения!

- Хочешь проверить алгеброй гармонию? - Друг улыбнулся.

- Именно! - вскричал Знаток. - И музыку - разъять! Но я не Сальери, я учёный. Мне нет нужды творить симфонии по формулам. Я не намерен писать картины с циркулем в руке. Я просто докажу, что все великие мастера во все времена не были чужды В ИСКУССТВЕ циркуля и формул.

- То есть?

- То есть, я докажу, что даже в древнейшие времена, когда ещё никто не помышлял о "золотом сечении", оно было хорошо известно практикам. Его использовали, не зная, что оно - "золотое"!

- То есть, - догадался Друг, - его чувствовали?

- Именно! - вскричал Знаток. - Ты всё понял, вот это и есть проявление Вселенского Разума! - Он веером раскинул на столе несколько таблиц и схем. - Смотри! Яблоко, птичье яйцо, человеческий череп, планета, галактика - их форма описывается теми же формулами, что и рублёвская "Троица"! А возьми "Юдифь", возьми "Тайную вечерю*", возьми, наконец, ядерный взрыв и любую сонату Бетховена...

- Я понял, - Друг поднялся. - Желаю тебе удачи. А мне пора. - У двери он задержался, чтобы добавить: - И еще одно пожелание. Будь осторожен, к цифрам в клетку не попади.

- Не попаду! - пообещал Знаток, уже вернувшийся к своим формулам.

Через месяц его лабораторию видели заваленной книгами об искусстве, заставленной скульптурными группами и картинами в рамках - прямо из запасников художественного музея. Стены скрылись под расчерченными репродукциями самых знаменитых картин. Над компьютером дрожал знойный мираж, в котором под музыку Дюка Эллингтона покачивался караван тяжело навьюченных дромадеров. Стрелки приборов зашкаливали. Из-за большой нагрузки в сети осветительные лампы едва тлели, поэтому на крышках приборов истекали парафином несколько толстых ароматических свечей, а сам хозяин писал при огне семилинейной керосиновой лампы. Он очень исхудал и сильно ошетишел, но это его не занимало, так как общение с внешним миром все эти дни заменяла ему открытая форточка.

- Как твое богатырское ничего? - привычно спросил, входя, директор. И удивился, увидев его руки: - До сих пор в бинтах?!

- А, это новые, - отмахнулся Знаток. - Вчера перегрелся высоковольтный разрядник.

- Ладно, - сказал директор, - дело житейское. А как у тебя с цифрами?

--Нормально. А что?

- Глаза диковаты. Отдохнуть не пора?

- Что ты! - Знаток нахмурился. - Я уже на пороге открытия. Еще шаг...

- Хорошо, хорошо, - быстро сказал директор. - Только не забывай об осторожности. В любой момент будь готов вернуться - таков наш закон.

- Знаю, - ответил Знаток. - Не первый день... Через неделю закончу этап, но результаты ожидаю только после следующего.

Друг уважительно вздохнул и тихо удалился, унося список необходимых Знатоку материалов и оборудования.

Дней через десять институтские меломаны стали задерживаться у двери в лабораторию Знатока. Сквозь двойную обивку с трудом просачивались измятые, полузадушенные или яростно вырывались дикие, безумные, озверевшие обрывки мелодий, отдельные ноты, а то и целые музыкальные фразы. Одним это напоминало операцию без наркоза, другим - рабочий день в камере пыток, третьи находили, что больше похоже на Рождество Христово в Преисподней. Время от времени к Знатоку заносили грампластинки, магнитофонные кассеты, различные музыкальные инструменты. Однажды видели, как несколько дюжих лаборантов вытаскивали обгорелые обломки рояля и измятый, закопченный геликон. А кто-то из младших научных сотрудников божился, что лично помогал нести носилки, на которых бился в истерике известный оперный баритон.

Сигналы доходили до директора, но он каждый раз понимающе кивал и успокаивал ходяков: "Надо. Наука требует жертв, а наука об искусстве - вдвойне".

Наконец из лаборатории Знатока перестали поступать заявки. Директор понял, что очередной этап завершён, и отправился в гости.

- Не наблюдаю ничего богатырского, - заявил он, входя без стука. - Ты как еще жив?

Знаток сверкнул глазами из глубины лица, почесал свалывшуюся бороду забинтованной пятерней и хрипло предложил:

- Садись, Друг, отдохни.

- Это тебе надо отдохнуть, - сказал, садясь, директор.

- Потом, потом, - отвечал Знаток, озираясь и почёсываясь. - Дело несколько затягивается, но теперь уж точно - не больше недели.

- Да ты сам бы сел, - посоветовал директор.

- Нельзя. Если сяду, сразу усну.

- Так ложись и поспи, - сказал директор. - Что естественно, то полезно.

- Ну что за примитив! - Знаток яростно сверкнул строгими очками. - Предназначение человека не в том, чтобы рабски следовать низменным инстинктам! Я - человек, царь природы, частица высшего Разума Вселенной - должен, рад, готов, обязан трудиться не покладая сил, я обязан найти Истину, а ты: "Спать"! Мне стыдно за тебя!..

- Хорошо, хорошо, - сказал директор. - Будем надеяться, что на неделю тебя ещё хватит, а там - приказом по институту заставлю отсыпаться. Силой уложим!

Знаток рассеянно кивнул. Было видно, что разговаривать ему не хочется, что ему надо что-то делать. Он порывался что-то искать, беспокойно озираясь и всем своим видом кричал: "Да уходи ты скорее!"

- Я вот зачем зашел, - директор поднялся. - Заявок от тебя что-то нет. Уже ничего не нужно?

- Нет, нет, ничего, - поспешно отозвался Знаток. - Совершенно ничего. Буду... э-э-э... рад тебя видеть через... м-м-м... да, через неделю. Договорились?

- Ну, будь здоров, - сказал мягко директор. И поспешил уйти.

Его никто не провожал, никто не подталкивал, но он вышел с таким чувством, будто не только вытолкнули, но еще и вытащили за лацканы пиджака. Более того, во время разговора его не оставляло беспокойство, которое, может быть, передалось от Знатока. Уже у себя в кабинете,

напряженно подумав, директор понял, что это было за беспокойство. Кто-то третий, неизвестно где укрывшийся, присутствовал при их разговоре, причём Знаток это знал и потому был так неприветлив и неразговорчив.

Знаток тем временем беседовал с гостем, который прятался в лаборатории во время визита директора. Оба сидели на вертящихся лабораторных стульях. Знаток совершенно не клонило в сон, а его собеседник был его точной копией, только вымытой, выбритой и причёсанной. Хотя, если приглядеться, любой призрак, фантом или дух сразу признал бы в нём своего.

- Ну, и что же дальше? - Призрак продолжил прерванный разговор.

- Ты должен решиться? - Призрак дерзко ухмыльнулся.

- Да-да? - Знаток поджал губы и поднял подбородок - весь внимание.

- Не кажется, ли тебе, - начал Призрак, что ты поступаешь безнравственно, производя эксперименты только над другими?

- Все? - спросил Знаток. - Весь вопрос?

Призрак кивнул и тут же уточнил:

- Пока весь.

- Дело в том, батенька, - начал с нажимом Знаток, сверля собеседника взглядом поверх очков, - дело в том, что до сего момента я просто не имел права подвергать себя прямому риску. Иначе моя цель просто могла не быть достигнута...

- А ты уверен, - перебил Призрак, - что к этой цели вообще стоило идти?

- Как? - вскричал Знаток в явном возмущении. - И это говоришь ты, моя собственная духовная составляющая? Ты отрицаешь прогресс?..

- Да, - Призрак убеждённо кивнул. - Точнее, я за его ограничение. В разумных пределах.

- Да не твое это дело - говорить о разумном! - Знаток разъярился. - Ты - дух! Душа! Понимаешь?

Призрак покачал головой и хотел возразить, но Знаток не позволил:

- Нет, погоди! Ты слушай!.. Как говорится, духу - духовно, а разуму - разумово. Если ты за робкий разум, то можешь убираться ко всем чертям, а я считаю и буду считать, что для разума не существует того, что ты называешь " разумными пределами"! Разум на то и существует, чтобы преступать все известные пределы, и если он остановится в своем движении, он перестанет быть разумом, он станет... черт знает чем!

Некоторое время они молча смотрели друг на друга: Знаток -яростно и тяжело, Призрак - озабоченно и с едва уловимым сожалением. Наконец Призрак заговорил.

- Тебе не кажется противоестественным, что душа призывает разум быть... разумным?

- Именно! - вскричал тут же Знаток. - Именно! И это говорит о лени души, и мне стыдно, что у меня такая душа!

- Такая ленивая? - кротко уточнил Призрак.

- Такая запущенная! - взорвался Знаток. - Не разум, а душа должна звать, вести человека вперед, к новым знаниям, к победам разума, черт возьми!

- Первично-то всё-таки бытие, - усмехнулся Призрак.

- Хватит играть словами! - зарычал Знаток. - Был бы ты мужчина, я заставил бы тебя...

Он внезапно замолчал, стал похож на обиженного мальчишку и, барабанив пальцами по столу, уставился в окно, задрвав подбородок.

- Дослушай меня спокойно, - сказал Призрак. - Только не перебивай, мне трудно потом сосредоточиться. Хорошо?

Знаток молча, не оборачиваясь, кивнул.

- Ты прав, - продолжал Призрак, - духовное - это по моей части. А духовное - это и нравственность тоже. Даже в особенности. И я опять тебя спрашиваю: было ли нравственным то, что ты делал с другими, сам при этом не испытывая их мучений?.. Подожди, я продолжаю. Между нами никогда не было прямого разговора, как сейчас. Он бы, впрочем, никогда и не состоялся, если бы не твои душегубские эксперименты.

- Зато... - вскинулся Знаток. Но Призрак повысил голос:

- Я требую, чтобы ты дослушал молча! Не забывай, что мы с самого начала договорились о полном равенстве. Изволь, черт тебя возьми, соответствовать!.. Твой эгоизм довёл тебя до того, что даже так называемый эксперимент на себе ты ставишь только на мне, прикрываясь рассуждением, что, мол, только через духовную составляющую начинается связь со Всемирным Разумом. На самом деле здесь просто эгоизм и трусость. Но это к слову... Итак, твои душегубские эксперименты были мне всегда не по душе. Точнее сказать, будучи сам твоей душой, я никогда их не принимал. И я никогда не скрывал от тебя этого, я был активен, согласись! Однако твой острый и настырный разум, будучи хозяином положения, - как, впрочем, и сейчас, - проявлял ко всем моим стараниям удивительную тупость...

- Да иначе ты не сидел бы сейчас передо мной, несчастный! - презрительно простонал Знаток. -

Это же элементарно!

- Только из-за твоей тупости я здесь и торчу, - Призрак вздохнул с мрачным видом. - Только тупица не слышит внутреннего голоса, пока не выведет его из себя.

- Да это ты выводишь меня своей тупостью!

- Нет уж, дай договорить, иначе... впрочем, действительно жаль, что я недостаточно материален... Ну так вот... Ах, чуть не потерял из-за тебя мысль. Не сбивай, я тебя прошу. Неужели не видишь: я рассеиваюсь из-за твоих выкриков... И так ни разу ко мне не прислушавшись, ты калечил растения, пытал человеческие кости, мучил насекомых и прочую живность. Они не имели возможности за себя постоять, пока ты не приволок в лабораторию уникальное зеркало...

- С ним я шагнул дальше всех!..

- Шагнул. И поплатился лабораторией, не считая собственных ожогов и нервного тика под ложечкой. Даже мне до сих пор икается... Нью и зеркало тебя не отрезвило. Судьба продолжает тебя искушать, она подбросила тебе Друга с его Институтом. Тут бы и подумать, и одуматься, а ты выпрыгнул из пижамы и очертя башку бросился к новым ожогам. Но теперь этим не кончится. Ты посягнул на святая святых, и это тебе даром не пройдет...

- Что же это за тайник?

- Очень хочется узнать?

- Я ради этого всё и затеял.

- Сказать-то можно. Пожалеешь.

- О чём? Что ты морочить мне голову?

- Твою голову сейчас заморочить легче легкого - там нет меня. Но моя задача - как раз обратное: просветить тебя. А это равно спасению, можешь мне поверить.

- И так же, и так? - Знаток весь нацелился на собеседника, его взгляд прожигал стёкла очков. - На что такое я посягнул?

- Дозволь сначала вопросик. - Усмешка двойника показалась Знатоку издевательской, но он сдержал гнев и почти обреченно кивнул. Призрак перестал улыбаться: - Ты можешь представить, что бы я сделал, если бы сейчас мы поменялись местами?

- То есть, я стал бы тенью, а ты - в тело?

- Вот именно.

Знаток поджал губы, наклонил голову и, покачиваясь всем телом, некоторое время думал.

- Я полагаю, - сказал он затем, - что ты запрыгал бы от радости и ни за что не пустил бы меня обратно. Угадал?

- Ты близок к истине. Только я знаю, что из этого получится, поэтому поступил бы иначе. Интересуешься?

- Ну-ка, ну-ка.

- Я сходил бы в баню, хорошо попарился, а потом уложил бы рюкзак и ушел на месяц в горы.

- А я?

- Тебе я поручил бы всё время быть рядом и развлекать меня умными разговорами: о погоде, о пейзажах, о женщинах... Кстати, ты не находишь, что среди женщин попадаются иногда весьма привлекательные?

- Да-да, - Знаток кивнул, - с некоторыми есть о чем поговорить. Но ты не отвлекайся. Зачем всё это? Зачем эти горы, поход, рюкзак?

- Давай попробуем, тогда поймешь.

- Ты ведь обратно не пустишь.

- Будешь хорошо себя вести - пущу. Я же сказал: нам друг без друга - никак... Ну, что, по рукам?

- Погоди, погоди, - спохватился Знаток, - а как же насчет святая святых?

- А куда она денется? Мое условие: вернёмся - тогда скажу. Для твоей же пользы. А может, по дороге сам поймёшь.

На следующий день, опечатав лабораторию. Знаток отбыл в неизвестном направлении. Он сообщил только, что для успешного окончания эксперимента нуждается в кратком отдыхе на природе, дабы собраться там с мыслями, - чем весьма порадовал директора.

- Однако, - пробормотал директор, когда за другом закрылась дверь, - у меня опять ощущение, что с нами был еще кто-то. Только на этот раз совсем другой. И сам Знаток - не такой какой-то. Душевнее, что ли...

Святая святых.

Двумя неделями позже загорелый человек сошёл с поезда и двинулся домой пешком, тихо беседуя сам с собой. Однако внимательное ухо могло бы уловить, что собеседник был, но голос его доносился, как ни странно, из полупустого рюкзака, брошенного на одно плечо.

- Ну и как наше богатырское ничего? - доносилось из рюкзака.

- Своя ноша не тянет, - отвечал человек и шагал довольно легко.

- Однако мы загорели, - слышалось из рюкзака.
 - Скорее обветрились.
 - Каков же вывод?
 - А его сделала за нас та симпатичная рыженькая попутчица. Она, помнится, сказала: "Вашему виду можно позавидовать".
 - Простой каламбур. Не обольщайся.
 - От черноглазой туристки в горах тоже были комплименты.
 - Всё равно не спеши радоваться, - парировал рюкзак. - Комплименты часто делают тем, с кем не собираются иметь дела.
 - А пожизнерадостнее нельзя покаламбурить?
 - Можно, - легко согласился рюкзак. - Эта рыженькая в поезде вместе с комплиментом могла бы и адресок подарить.
 - Так еще не поздно исправиться, - заметил загорелый. - Вон же она!
 Загорелый с рюкзаком догнал на трамвайной остановке рыжую красавицу, попросил у нее адрес, получил его, посадил улыбающуюся в трамвай и двинулся дальше.
 - И ты готов идти к ней в гости? - обратился он к рюкзаку.
 - До сих пор не веришь? - донеслось оттуда. - Две недели в горах тебя не убедили?
 - Да как тебе сказать... Не боялся. Домой не просился. Скучать не давал. Понимал меня как будто...
 - Э-э-э, батенька, ищешь, к чему придраться!..
 - И всё же, - сказал загорелый, - я ждал большего.
 - А именно?
 - Неужели забыл?
 - А-а-а, - пропел рюкзак. - Святая святых... Жгучая тайна. Знаешь, было так хорошо, что я об этом ни разу не додумал. Боже мой, первый раз в жизни - горы, ветер, солнце, этот роскошный камнепад...
 - Который нас чудом не накрыл!
 - Да плевать! Это была жизнь, достойная жизни. Не согласен?
 Загорелый облегченно засмеялся:
 - Как же я могу быть не согласен, если в этом - моя идея?! Совсем не важно, что ты не определил наш секрет по имени. Главное - ты его правильно почувствовал... Вот тебе тема для размышлений: ЧУВСТВА РАЗУМА! Мне доступен анализ, тебе - чувства. Это - на уровне открытия. Значит, всё в порядке!
 - Так что же, - голос из рюкзака зазвучал надеждой, - осталось вернуть меня на место, и будем жить дальше?
 - Разумеется. Только вот наше тело проголодалось.
 Человек с рюкзаком завернул в столовую. Когда он покончил с обедом, рюкзаку было предложено сначала зайти в гости и закрепить знакомство с рыжей красавицей, а уж затем...
 - Прощу тебя, - взмолился рюкзак, - никаких красавиц и никаких "затем"! Во-первых, представь ощущения человека, к которому ввалится гость без разума...
 - С разумом в рюкзаке, - поправил загорелый.
 - Это одно и то же. Тело, начинённое только эмоциями, может быть привлекательно только односторонне...
 - Гармонии возжаждал? Похвально. Но ты сказал: "Во-первых"...
 - А во-вторых, пора бы и меня пощадить. Две недели такой неприютности...
 - Вдвойне похвально, - оценил загорелый. - Всё больше уверяюсь, что до тебя многое дошло, даже начинаю верить, что теперь мы с тобой поладим.
 - И день сегодня рабочий, - напомнил рюкзак. - Институт открыт...
 - Хорошо! - Загорелый решительно встал. - Идём в институт. Совместимся, сходим в парную... А в гости двинем вечером, да?
 В рюкзаке - радостный всхлип.

И вот они в институте. То есть, не они, а он, загорелый, обветренный в горах Знатор прекрасного и Светило в области точных наук. В его опечатанной лаборатории осталась настроенная аппаратура, с помощью которой он собственную душу отделил от тела. Но теперь душа на месте, а в рюкзаке, небрежно брошенном за плечо, томится и перевоспитывается разум - холодная, ненасытная субстанция, лишённая сострадания, озабоченная когда-то лишь поиском истины. Похоже, однако, что, уступив душе своё место, помыкавшись без тела, разумная составляющая Знатока серьёзно изменилась к лучшему, проще говоря - подобрела.

Загорелый и обветренный, ни к кому в институте не заглядывая, достал из кармана ключ и заперся в лаборатории. Там он немедленно развязал рюкзак и опустился в кресло. Освобождённый

Призрак разума расположился в кресле напротив. Он был небрит и нечёсан, худ лицом, глаза блестящие.

- Ты больше похож на духовную составляющую, - усмехнулся бритый, мытый, загорелый и обветренный.

- Зато тебе жаловаться не на что, - Призрак вздохнул. - Ты всего достиг.

- Не скажите, батенька. Идеал недостижим - это, во-первых. А во-вторых и в-остальных, чувство удовлетворённости, если оно не преходяще, ведёт человека к деградации. Совпадает?

- По форме-то совпадает, - Призрак поморщился. - Но трудно мне представить, чего ещё можешь хотеть ты, лишённый аналитичности. После гор сходить в море? После рыжей девицы узнать пегую? Или серую в яблоках? Вместо коньяка пожелать мартини?

Загорелый засмеялся.

- Разумеется, разумеется, разумеется. И моря хочу, и пегую в яблоках, и мартини, и в парную желаю, и ещё много чего. Однако без тебя всё это пресно. Не вижу, почему надо хотеть только чего-то недостижимого? Мне кажется, когда мы были в этом теле вместе, и ты притеснял меня, то хотел ещё меньшего, чем я.

- Меньшего?!

- Именно. Ты хотел ВСЕГО ЛИШЬ Истины. Мистической Истины, ради которой не жалел ни себя, ни окружающих. Только послушай, какое дикое созвучие; "Ничего, кроме истины" Да что она такое, кто она такая? Знал ли ты, РАДИ ЧЕГО истязал материя?

- Мне казалось, знал, - пробормотал Призрак смиренно.

- А теперь что тебе кажется?

- Теперь я сомневаюсь. Во всём, кроме того, что материя существует.

Несколько минут стояло молчание, только гудели разогреваемые приборы и чуть потрескивала единственная свеча на осциллографе. Занавеси на окнах Знаток, входя, не поднял, но большего света ему теперь не требовалось - все необходимые данные он держал в памяти, а рукоятки приборов легко находил ощупью.

- Что ж, - сказал наконец загорелый, - аппаратура готова. Прости за душевную беседу, если она тебе таковой показалась... И давай соединяться. Командуй, что где подключать.

Глаза Призрака мрачно блеснули, он пружинно встал, приблизился спереди вплотную к загорелому, повернулся к нему спиной, вытянул руки и велел двойнику сделать то же самое.

- Теперь выполняй мои движения.

Ведомый призраком разума, человек затягивал клеммы и застёгивал манжеты на запястьях, потом щёлкал тумблерами и крутил рукоятки...

Последний щелчок, мигнули лампы - и призрак растворился в теле.

- Ну, вот и всё, - сказал Знаток голосом Духа и потянулся к рубильнику.

- Ошибаешься, - ответил он сам себе другим, прежним голосом и ударил сам себя по руке. Лицо его исказилось яростью, которая легко стёрла мелькнувшую было обиду.

- Не выйдет! - простонал голос Духа.

- Уже вышло! - был ответ. - Пошёл вон!

Руки Знатка уверенно пробежали по тумблерам и рукояткам, снова мигнули лампы, и опять их стало двое. Только теперь бритый, мытый, загорелый и обветренный ошеломлённо заколебался в воздухе, а бледный, обросший и нечёсанный мрачно содрал с себя манжеты и датчики, отключил аппаратуру, отшвырнул ногой рюкзак и тяжело опустился в кресло. На худом лице горели ненасытные глаза, дышал тяжело.

- Ну, и чего же ты добился? - спросил Дух.

- Скоро увидишь, - был ответ. - Только отдышись. А вот ты не добился ничего.

- Кому ты сделал хуже, несчастный? . .

- Ошибаешься, - был ответ. - Несчастливым я прожил всего две недели. Правда, вполне несчастным. Боже мой, только вспомнить - две недели долой! Из такой короткой жизни! И ведь всё уже было готово! Оставалось только подключиться, и я давно владел бы Истиной! Так нет, меня дёрнуло тащиться с тобой куда-то в пустыню - лишь затем, чтобы узнать, что твоя жалкая тайна, твоя великолепная святая святых - всего лишь мифическое единство двух непримиримых врагов!..

- Враг был только один, - возразил Дух. - Враг самому себе.

- Слова-а-а, - протянул Знаток. Он переплёл вытянутые ноги и расслабился. - Как они мне надоели... Но ладно, говори что хочешь. Дело сделано, я опять свободен... Ты только послушай, какое слово: "Свободен"!

От волнения Дух потерял форму. Его тело заколебалось, черты лица исказились. Но он взял себя в руки и спокойно возразил:

- Ты БЫЛ свободен. Когда рядом был я. Но ты рвался в рабство. Получай же: теперь ты - раб своих страстей. И без меня они очень быстро тебя погубят.

Он на минуту замолк, но хозяин тела снисходительно покивал:

- Давай, давай. Твоя очередь меня развлекать. Скажи, что я пожалею. Скажи, что обманул, когда

говорил, будто у меня появились сомнения... Только я не обманул. Я действительно всю жизнь сомневаюсь во всём, кроме того, что материя существует. Но сомнения - самое ненавистное, что есть на свете! Поэтому в тело я тебя не пушу, пока не приведу мир в порядок... Можешь сказать, что обнаружил у меня зачатки совести. Давай-ка, зови к этому заморышу - может быть, он откроет тебе дверь...

Дух последний раз содрогнулся и - стал уплотняться. Он убавился в росте, зато спинка кресла теперь едва проглядывалась сквозь его тело.

- Ну же, - подбадривал Знаток. - Где твоё красноречие? На рыжих израсходовал?

- Хорошо, - процедил Дух. - Развлеку в последний раз... Ты о двери говорил. Я в неё стучаться не буду. Я так выйду.

Тень какого-то чувства проступила на лице Знатка. Но время её было коротким. Он сказал:

- Я имею в виду другую дверь.

- А я имею в виду вот эту, - Дух кивнул на дверь лаборатории. - Впрочем, подойдёт и окно, и потолок. Бог в помощь, как говорится.

Теперь забота осенила лицо Знатка.

- На бога надеяться не советую, - сказал он строго, как говорил бы с неопытным подростком. - Мы имеем дело с пока ещё нетрадиционным законом физики.

- То есть?

- То есть, без меня тебе долго не прожить. Из нашего путешествия я сделал вполне определённые выводы. Правда, они касаются меня, но физическая сущность у нас с тобой, надеюсь, одинакова... Так вот, любой из нас вне тела больше месяца не протянет. Рассеется. - Знаток помолчал, потом с непривычной для Духа задумчивостью начал вспоминать. - Ещё в студенчестве пришла эта идея. Я представил, что душа - это очень сложней электромагнитный сгусток, достоверная копия человеческой психики. Я думал, что после моей смерти она отделится от тела и будет витать между живыми - искать, в кого бы вселиться. Во взрослого вселиться мудрено - у него своя душа выросла. А если найти младенца - будет в самый раз. И тогда к нему в разные возрасты будут приходить разные странные воспоминания: будто он уже встречал эту формулу, когда-то имел вот такую мысль, знал этого человека... Ты ведь помнишь эту идею?

- Помню, конечно, - Дух печально кивнул. - На семинаре по философии преподаватель назвал тебя за неё "ползучим эмпириком".

- Ярлыки вешать - много ума не надо, - подхватил Знаток. - Но я не отступил. Я поставил эту идею целью жизни...

- И вот ты у цели, - перебил Дух. - Но всё равно недоволен.

- Нечем. Только пусть тебе не кажется, что я кокетничаю. Нечем быть довольну. Когда идея пришла, я ещё не знал, что в мозгу нет единства. Правое полушарие, левое полушарие, эмоциональная доминанта, аналитическая... Чему радоваться теперь? Тому, что во мне осталось работоспособным только одно полушарие? А правое не хочет возвращаться?

- Сам выгнал!

- Да я не о том! Если моя наука не может привести в согласие всего два полушария моего собственного мозга, то чему я могу радоваться? Да при том ещё, что согласие между нами - это даже не цель, всего лишь промежуточный этап, средство для достижения Мировой Гармонии...

- Вселенской, - поправил Дух довольно насмешливо.

- Да, Вселенской! И не надо иронизировать! Если бы ты не мешал, давно бы уже...

- Так ведь уже не мешаю, - усталость и презрение зазвучали в голосе Духа. - Схема известна. Включай и наслаждайся. Только дослушай, что я тебе скажу.

- А, ваяй, - Знаток махнул рукой. - Всё одно и то же...

- Ты в лесу не видишь деревьев, - сказал Дух. - То, что кажется тебе этапом и средством, на самом деле - та самая святая святых, на которую тебе никак не следовало посягать. Гармония Разума и Духа - чего ещё можно хотеть от Мироздания?

- Да ты, батенька, субъективный идеалист!

- А ты, я гляжу, недалеко ушёл от того преподавателя философии... Учёный должен, говорят, всё узнать об океане по капле воды. А ты, в погоне за мифической Вселенской Гармонией, готов перешагнуть через гармонию в собственной голове. Даже не перешагнуть. Наступить. Я ведь знаю: ещё шаг...

- Да что Ты можешь ЗНАТЬ? - Знаток скривился. - Ты, примитивная эмоция!

- Мне и не надо что-то знать. Я чувствую. И поэтому, прежде чем под твоим каблуком захрустит твой собственный череп, я уйду. Может, и в самом деле переселюсь в какого-нибудь младенца.

- Младенец!.. Ты же убедился, что без аппаратуры это невозможно!

- Посмотрим... Теперь это уже всё равно. В крайнем случае рассеюсь. Но зато со спокойной совестью, по Хайяму: "Ты лучше голодай, чем что попало ешь..."

- "И лучше будь один, чем вместе с кем подало"! - рявкнул Знаток. - Можешь катиться! Уже вон темно на дворе, а я всё с тобой тут нянчусь! Отправляйся в какой-нибудь роддом и начни всё

сначала! А я честно дойду свой путь. Без дезертиров!

- А ведь я было совсем поверил в тебя, - сказал Дух.

- Вера - это убогая подпорка при нехватке информации!

- Что ж, прощай.

Не меняя позы, дух начал смещаться вбок, и Знаток отвернулся, чтобы не видеть, как дезертир исчезнет за стеной.

Полчаса бледный, давно не бритый человек не двигался в кресле и даже не открывал глаз. Потом он встал, порылся в карманах, нашёл бумажку с адресом рыжей красавицы и разорвал её в мелкие клочки. Потом обошёл пространство предстоящего сражения, пнул подвернувшийся под ноги рюкзак и начал уверенно собирать сложную схему.

Установив на последнем генераторе нужную частоту, он проверил показания всех приборов, бросил последний взгляд на экран осциллографа и двинулся к высоковольтному щиту. Там он ещё раз пнул свой пустой рюкзак, почти равнодушно понаблюдал за огоньком оплывшей свечи и положил руку на рубильник...

Директор Института Необычных Проблем, заканчивая вечерний моцион, шёл расслабленной походкой по сырому асфальту и глубоко дышал. Этот перерыв в суточном рабочем цикле он особенно ценил, потому что мышечная разрядка вызывала чудесный отлив крови от головного мозга. При этом все суетные связи в мозгу рвались, и сторожевой центр имел возможность очень свежо поработать на свободе. Высшее наслаждение наступало дома, под душем, когда из всего комплекса идей и задач, которыми постоянно загружен сторожевой центр, как бы случайно выделялась какая-нибудь одна. И не просто выделялась, а почти всегда имела вид законченного решения.

- Жена с детьми сегодня в театре, - бормотал он про себя, - позаботиться некому, так надо не забыть взять в ванную табурет с бумагой и карандашом. А то шлёпай потом голый до письменного стола...

Рассмеявшись этой мысли, директор хозяйским глазом оглядел издали свой институт, мимо которого, как всегда, лежал его путь.

- А ведь это в лаборатории Знатка, - увидел он в двух окнах слабое мерцание. - Вернулся и даже ко мне не заглянул. На износ работает.

Он прошёл несколько шагов, размышляя о том, какой беззаветный вол науки этот Знаток и что бы такое предпринять, чтобы вывести его из этого самоубийственного режима. Ещё один, последний, взгляд на окна заставил его отшатнуться и замереть.

Едва тлевший в окнах лаборатории свет сделался вдруг ослепительным и выплеснулся далеко наружу. Долетел треск и звон. Обожгла лицо и заставила зажмуриться волна сильно сжатого воздуха.

Только на миг стало оглушительно тихо, и в этой тишине раздался рядом негромкий голос:

- Что и требовалось доказать.

Директор огляделся, рядом никого не было.

В институте заголосила пожарная сирена.

В соседнем медицинском учреждении закричал новорождённый.

Оглавление	Стр.
Зеркало	1
Второе "Я"	3
Святая святых	7

Владимир Шкаликов

ГДЕ ВСЕМ ВЕЗЁТ

В САВАННЕ

Лев вышел на дорогу далеко впереди. Рыцарь сразу его заметил. Зверь шёл навстречу тяжёлой поступью и хлестал себя хвостом по бокам. Это означало вызов.

С высоты седла лев казался маленьким и неопасным, вроде черногривой таксы, которая хочет казаться страшной, потому что сидит на цепи. Рыцарю стало смешно от такого сравнения: такса, на цепи, да ещё с чёрной гривой и с кисточкой на хвосте.

Конь под рыцарем всхрапнул и задрожал, хотя был весь в броне. Рыцаря это удивило.

- Тебе страшно, мой друг?

- Да, хозяин.

- А на турнире, когда бьёмся насмерть, разве не страшно?

- Нет, хозяин.

- Перестань, дорогой, Если меня собьют с седла, - Рыцарь засмеялся, - ты легко убежишь.

- Да, хозяин.

Конь перестал дрожать.

На расстоянии двух своих прыжков старый лев остановился и прорычал:

- Сразимся, благородный рыцарь. Для меня честь - погибнуть в бою с таким сильным противником.

- Но ты уже стар, - отвечал Рыцарь. - Боюсь, это будет просто убийство. А я привык сражаться с равными противниками. Притом и цели-то в этом бою - никакой. Мы сражаемся из-за прекрасных дам, и каждый рыцарь готов погибнуть за честь своей возлюбленной. Что же толкает тебя на этот бой? Просто старость?

- У меня тоже есть прекрасная дама, - возразил зверь и оскалился.

Может быть, он пытался улыбнуться, но конь снова всхрапнул и задрожал.

- Что ж, - сказал Рыцарь. - Надеюсь, тебя утешит то, что я буду биться только одним мечом.

Но он не успел даже взяться за рукоять. Прекрасная молодая львица прыгнула сзади, одним ударом сбила с головы шлем и вместе с Рыцарем полетела в кусты. Конь бросился в сторону. Лев одним прыжком оказался рядом с упавшими.

- Я тут сама! - Вскричала львица. - Коня!..

Лев бросился за конём.

Львица вонзила зубы и услышала последнюю мысль человека: "Сзади напали, обманом..." И подумала в ответ: "А как иначе? Нам не нужен благородный поединник, нам - детей накормить".

Лев с трудом догнал рыцарского коня и ударил его по ногам...

Повезло всем. Рыцарь погиб за честь прекрасной дамы, как и хотел. Львы добыли пропитание детишкам. Коню удалось убежать: ноги у него были в броне, а на долгую погоню у львов никогда не хватает быстроты.

Повезло и прекрасной даме: она любила не рыцаря, а совсем другого.

В ТАЙГЕ

Стоял сентябрь. Охотник шёл по лесу без ружья, с одной корзиной. Он собирал боровики. Впрочем, на спине он нёс ещё изрядный рюкзак, набитый опятами. Эти замечательные грибы не помнутся и в простом мешке. В кармане была ещё пустая сумка - на случай, если очень уж повезёт с урожаем. Он уже был доволен походом и собирался вскоре повернуть обратно.

Стучал дятел, кричали две кедровки, свистели рябчики.

И вдруг всё смолкло. Охотник тут же остановился. И вслушался в тишину. Она наступает так резко только в одном случае – когда большой зверь готовится взять добычу из засады. Все птицы это видят, и им становится интересно: возьмёт или спугнёт. Бывает же очень чуткая дичь. А может просто громко хрустнуть что-нибудь под лапой хищника. И тогда заяц высоко подпрыгнет или припадёт к земле, а лось метнётся, ломая подлесок, или наставит рога...

Охотник постоял пару минут, держа руку на большом таёжном ноже, и уже хотел двинуться дальше, но тут раздался фырк, и хищник вышел к нему, не прячась и не нападая.

Это был огромный худой медведь. Настолько худой, что в берлогу с таким весом не ляжешь. Надо съесть целую корову, а лучше – двух, тогда спокойно подремлешь до весны.

Охотник скинул с правого плеча рюкзачную лямку, смотрел не в глаза, это может поторопить зверя с нападением. Смотрел ему на тощее брюхо и думал, как бы поднять его на задние лапы, да нырнуть с ножом под эти длинные когти, да вспороть это брюхо, да успеть ещё откатиться в сторону... Жаль, не взял с собой собак, они б его посадили...

До зверя было, впрочем, довольно далеко, метров двадцать. Медведь так не охотится. Он нападает из засады, большим прыжком, почти с быстротой кошки. И вообще, что это он тут вытворяет?

Хозяин тайги сам поднялся на задние лапы, а правую верхнюю протянул вперёд, ладонью вверх, будто прося подавание, и пошёл к человеку.

-- Во, циркач, - пробормотал Охотник. Но руку с ножа не убрал, только качнулся, прикрыл её полой куртки да поставил на мох корзину с боровиками. Теперь была свобода швырнуть в зверя рюкзаком и, при нужде, атаковать.

Когда осталось шагов пять, Охотник сказал:

- Стой, дружок.

Медведь остановился и сел, всё так же протягивая лапу.

- Да ты что, вправду цирковой? - спросил Охотник.

Медведь кивнул. И лапу не опустил.

- Так, может, ты и говорить умеешь?

Охотник думал, что шутит, а медведь серьёзно кивнул и ответил:

- Да.

Голос у него был низкий, а произношение - вполне понятное.

Охотник помолчал несколько секунд, чтобы прийти в себя от удивления, и спросил:

- Чего же ты от меня хочешь?

- Гостинца, - ответил медведь. - Человеческой еды.

Охотник вспомнил, что ещё не трогал свой бутерброд и чай из термоса не пил. Некогда было, пока хорошо собирались грибы. Он сбросил рюкзак с плеча, развязал верёвку, достал термос и коробку с бутербродом. Пока всё это делал, со зверя глаз не спускал и правую руку держал наготове, а нож от медведя скрывал под курткой. Зверь тем временем сделал несколько разных акробатических упражнений, как будто он на арене: прыжки, кувырки, даже сальто назад, после чего сел на то же место и снова протянул правую лапу: заработал на пропитание.

Охотник шагнул к артисту и положил ему на ладонь гостинец. В тот же миг левая лапа толкнула человека в плечо, зацепила когтями за куртку, завалила лицом вниз, тяжко придавила ко мху. Через секунду Охотник почувствовал, что на его спине сидят верхом и выворачивают правую руку, которой он всё же выхватил нож.

- Брось нож, а то загрызу, - медвежья пасть накрыла человеческий затылок. Стало горячо и остро.

Пришлось разжать пальцы. Мохнатая лапа тут же скользнула по руке, и нож куда-то делся.

Зубы разжались. Низкий звериный голос очень крепко выругался по-человечески, и Охотник оценил: никогда матерщина не звучала так выразительно.

- Ты ведь охотник, я знаю, - продолжал медведь. - Это я убирал твои капканы. И петли твои... Тебе что, в городе жрать нечего?

Охотник молчал. Он понимал, что вопрос риторический. Да и ответить по-философски, психологически было бы самоубийственно. Мол, охотники - это особая каста людей, которая без этого азарта не может жить; мол, охотничий инстинкт - это в мужчинах природное, и нельзя его гасить, ради продолжения человеческого рода... Не для спора спрошено. Для унижения. Он уже понял, что медведю это понятие знакомо: иначе просто бы загрыз. А так - хочет поизгаляться. Потом, наверно, сожрёт, ему ведь надо наедать вес. Но возможно и чудо: очеловеченный хищник отпустит разумного врага, чтобы унижить. Что окажется сильнее - инстинкт или чувство мести?

Эта ёмкая мысль мелькнула в охотничьей голове за три секунды, пока длилось молчание.

- Есть у тебя жратва, - было слышно, как зверь начал жевать бутерброд. - Нечего тебе только ответить. И не отвечай. Помолчи, пока я подумаю.

Он жевал бутерброд долго. С такой-то глоткой можно было проглотить в один приём. Даже попытался запить чаем из термоса. Открутил колпачок, чпкнул пробкой, налил, понюхал...

- Водка! - проворчал. - Потому и ума мало...

Отбросил термос. Тот ударился о твёрдое, хлопнула стеклянная колба. Охотник отогнал глупую мысль, что надо было давно купить цельнометаллический. Никакого "давно" может уже не быть никогда. Он подумал: "Какое страшное слово - "никогда"..." И вдруг услышал - там же, в мыслях: "Такое же, как "всегда".

Охотник подумал: "Он слышит мои мысли?". И тут же был ответ: "Мы все вас слышим. И всегда слышали. Но ты лучше молчи. Я ещё не подумал".

"Как же мне молчать в мыслях?" - подумал Охотник. Но зверь не ответил. Он думал про себя. Думал и медленно жевал. Жевал по-человечески, с закрытым ртом, не чавкал.

Охотник почему-то вспомнил, как жена всегда делала ему за столом замечания: "Не чавкай, медведь". И тут же подумал о странном свойстве человеческого ума: когда надо особо напряжённо думать, начинают рождаться самые дурацкие посторонние мысли. Наверно, это от бескультуры. Ведь есть даже термин - "культура мышления"...

Самокритика доставила ему удовлетворение: если зверь её услышит, может стать добрее и помиловать.

- Ладно, - сказал медведь, - помилую.

Охотник почувствовал над собой пустоту, вынул лицо из мха и увидел, что зверь сидит на том же месте в той же позе, только правая рука - ох ты ж, господи, лапа! - уже не протянута вперёд, а покоится на тощем животе рядом с левой. Охотник сел в ту же позу и поискал глазами свой нож. Без злого умысла, машинально, хозяйски.

- Не ищи, - пробасил медведь. - Не найдёшь. Давай так посидим. А то всё молчу...

- Ты, правда, цирковой?

- Да. Другой сожрал бы тебя уже.

- А ведь тебе тоже надо жир наедать, - решил Охотник. - На зиму...

- Я зимой не сплю, - сказал медведь. - Работаю в цирке. А летом у меня отпуск. По закону, как у всех трудящихся. Только у вас месяц, а у нас - три.

- У кого - у вас?

Медведь не ответил. Он посидел, раскачиваясь, потом встал и проворчал:

- Ты подавляй свои охотничьи инстинкты. Или уезжай отсюда. А то ведь я всегда провожу отпуск в этих местах.

Владимир Шкаликов

ГЛУБОКИЙ КОНТАКТ

Встречи с двуногими всегда опасны.

Это странно, когда два разума, самой Природой определённые в соседство, обречённые часто - хотя и неожиданно - встречаться, не могут найти общего языка. И пусть бы это длилось недолго. Нет, веками, тысячелетиями тянется непонимание. Хуже того - взаимоненависть. Пугающие легенды друг о друге. Взаимострах, не допускающий даже поверхностных контактов. А редкие столкновения - это всегда взаимная гадливость, часто - гибель одного или обоих, изредка же - попадание к двуногим в плен: без возврата, без малейшего намёка на то, что понимание начнётся.

Двуногие, безусловно, высокоразумны. Впрочем, пик разумности у них в прошлом. Когда-то они были много ближе к Природе. Тогда казалось: ещё немного, ещё усилие с их стороны, и понимание состоится. Но страх перед Природой оказался в них сильнее разума. Не путь Слияния выбрали двуногие, а высокомерную борьбу против собственной среды обитания. Нашли рабов - из наименее самостоятельных четвероногих, овладели твёрдыми породами из неживых и стали твёрдым разрушать твёрдое, мягкое, жидкое и вдыхаемое, стали много и напрасно убивать. Словом, последний шанс на понимание был утрачен. Смерть разделила два разумных рода навсегда.

Когда очередная внезапная встреча происходит, тысячелетнее правило обязывает освободить двуногую путь и скрыться с возможной для достоинства быстротой. Если же отступать некуда, следует мгновенно передать двуногую всю информацию о своём роде - в надежде на запоздалое понимание и в интересах самозащиты. Это и будет глубокий контакт - нежелательный, бесперспективный, но неизбежный.

Всё сложилось как нельзя хуже. Двуногий резко опустился перед Ша на колени и быстрыми движениями рук начал ворошить траву. Ни норы, ни коряги, чтобы укрыться. А двуногий явно охотился, явно имел целью пленение, и Ша понял, что глубокого контакта не избежать. Он ещё раз, наспех, попытался использовать звуковое предупреждение, но за треском мелких сухих веток и шелестом былья опять не был услышан. Тогда Ша с предельной быстротой распрямил верхнее кольцо своего чёрного тела и одним зубом сделал предупредительный укол. Рука двуногую отдернулась, раздался его раздражённый голос. Ша знал, что временем, которое двуногий тратит на замешательство после принятия информации, надо воспользоваться для собственного спасения. Но он не сделал этого. Он застыл, всматриваясь в лицо двуногую: а вдруг ЭТОТ - не такой, как все в его роду, вдруг он всё поймёт?..

Двуногий сделал несколько движений руками, затем быстро наклонился, и Ша почувствовал ряд быстрых толчков. При каждом толчке всё вокруг дёргалось, затем мир повалился набок и замер. Тогда стало больно: сначала у головы, потом посередине туловища, потом опять у головы.

Ша понял, что его информация принята, что двуногий ответил. Вероятно, от сообщения Ша двуногую стало больно, поэтому и он счёл нужным использовать для обмена тот же тип информации.

Всё хорошо, всё правильно, думал Ша, контакт состоялся, да здравствует Первый Шаг!

Он умер счастливым, хотя и не успел понять двуногую.

Пилип сидел на корточках и всё не мог оторвать взгляд от гадючьей головки. Куски чёрного тела ещё вздрагивали, хвост обернулся вокруг стебля багульника и растение мелко тряслось от его слепых усилий, а голова змеи лежала неподвижно, сомкнув смертельные челюсти в трагической гримасе, и глядела на человека в упор еще живыми умными глазами. Пилип вдруг вспомнил выражение: "Мудрость змеи". Совершенно не к месту в его положении. Было разглядывать эти загадочные круглые глаза с невысказанным количеством цветных колечек вокруг бездонных зрачков. Сейчас яд начнёт действовать, и Пилипу станет не до мудрости. Но ещё несколько секунд он не мог оторваться от чуда змеиных глаз, удивляясь, что за тридцать прожитых лет ни разу не видел такого, и чувствуя, как первая ярость, направлявшая мстительную руку, превращается в печальное сочувствие.

Наконец он стряхнул наваждение, бросил нож на зелёный мох и попробовал выдавить из ранки кровь, но получилось плохо: видно, успела свернуться. Тогда он наклонился, вытер лезвие о мох и, рыча сквозь зубы, сделал на пальце крестообразный надрез. Кровь появилась, и он стал, как учили, отсасывать её губами и сплёвывать прямо на клюкву, из-за которой так глупо налетел на змею. Крупные продолговатые ягоды напоминали напившихся крови клопов. Хотелось громко ругаться, но рот был занят, и это неудобство еще больше выводило Пилипа из себя.

Когда языку перестало быть солоно, он вспомнил ещё один приём. Правда, требовался порох, но ведь никто не ходит за клюквой с ружьём, даже если это в пяти километрах от буровой. Не было и спичек, чтобы накрошить с них серы и устроить на ранке хорошую вспышку. Была только бензиновая зажигалка - ненадёжная игрушка с хилым огоньком. Завывая и корчась, Пилип с тошнотой отворачивался от запаха горелой человечины. Потом вдруг задымило костром, он открыл глаза и увидел, что занялась от зажигалки тонкая сухая болотная ёлочка, в которую он вцепился обеими

руками для надёжности. С яростной руганью он потрянул ёлочку, завалил её на сырой мох и уронил раскалённую зажигалку в мутную торфяную воду между кочками.

Кисть руки горела вся - то ли уже от яда, то ли от огня зажигалки и надрезов. Не помог и холодный стерильный мох.

- Хр-р-рум-м-м! - сказал Пилип, потому что ругательства кончились. Он не чувствовал, удалась ли борьба с ядом, но в любом случае было уже не до клюквы и не до зажигалки. Пожалев, что никогда не носил с собой бинта, он накрал большое место сырым мхом, обмотал руку грязным носовым платком и с трудом, зубами, завязал кончики на два узла. Затем он дотащил ведро с клюквой до просеки, где на суку хилой сосёнки, заметный издали, висел его рюкзак, объединил всё это на спине и почавкал к матёрому лесу, вслушиваясь в разгорающуюся руку.

Километра два спуская опора под ногами перестала напоминать ковёр, выброшенный на поверхность озера. Сапоги перестали опасно вязнуть и начали цепляться за ветви, пни и корневища: старая геодезическая просека уже изрядно подзаросла. Мощные деревья доставали до небес, клюкву заменила черника, по брезентовым рукавам энцефалитки скребли колючки шиповника. Они будто напоминали, что Пилип собирался на обратном пути набрать сумочку ягод для чая. Но ему было уже не до витаминов: рука горела во всю длину, глаза слипались, рюкзак с неполным ведром клюквы ломал позвоночник и подгибал колени.

Присесть хотелось невыносимо, но от пня до пня Пилип откладывал это удовольствие и надеялся продержаться так оставшиеся три километра. Сесть он не боялся. Боялся не встать.

Он знал, что такое терпение. Это означало ждать минуту за минутой, когда настанет встреча. Это означало бурить землю сантиметр за сантиметром, пока они не сложатся в трёхкилометровый колодец, наполненный нефтью. А земля там, на глубине - сплошная скала. Это означало сейчас - переставлять две ноги по очереди, пока не появится среди тёмных кедров и уже прозрачных берёз ажурная железная конструкция, которая скрипит железом на всю тайгу, будто слон трубит в саванне, и при этом воняет соляжкой непотребно, потому что амбар у нефтяников - это не сарай из досок, а огнеопасный котлован с мазутной водой, на который уточке лучше не садиться...

Ещё через километр думать стало не о чем. То есть, думать можно было бы о многом, но голова пошла молотить на холостых оборотах, как движок со сломанным редуктором. Пилип почувствовал, что больше не может управлять своим телом, и без малейших сомнений уселся на ближайший пенёк и выпростал плечи из лямок. Рюкзак упал где-то сзади и, кажется, опрокинулся. Значит, клюква просыплется на землю, а также внутрь рюкзака, где попадёт под ведро и подавится. Ему вдруг стало слёзно жаль эту горсть красивых ягод, которые так славно и нарядно росли среди зелёного и пушистого мха, а теперь смешаются на дне рюкзака в грязное месиво. С хвойным мусором - вроде чахохбили. Он ел как-то в вагоне-ресторане это чахохбили. Мелко изрубленную вместе с костями курицу. Не смог доесть, бросил. Мало того, что убили птицу, так ещё и поиздевались. Так же и он час назад поиздевался над бедной красивоглазой гадюкой. Над мудрой змеей поиздевался дурак с большим ножом. Правильно милиция отбирает такие ножи. Почему на болоте нет милиции? Час бы назад прогнать Пилипа с болота... Или не час? Кажется, уже несколько часов... Где солнце? Кедр выросли в небо, и нет там больше солнца... До чего же мир стал громаден... Этот моховик перед самым лицом - он выше ростом, чем Пилип. Если этот моховик спилить двумя бензопилами и мелко порезать, то можно засушить на всю зиму на всю бригаду. Всю зиму грибной суп - это хорошо. Но Пилип не тронет этот моховик - пускай растёт. По нему ведь ползёт божья коровка, ей надо взобраться на самый бугор и оттуда взлететь. Божья коровка, полети на куст... Ой, нет, так ты не поймёшь. Полети на буровую, скажи там ребятам, что Пилип тут свалился с пня и встать не может... Но ей, такой огромной, нельзя к нам на куст: ребята с перепугу могут покалечить, а то и убьют, как убил Пилип черную гадюку... А зелёную заметить ещё труднее... Ах, не так надо клюкву собирать! Конечно, в сухой траве у деревьев она самая крупная, самая ядрёная, но надо же думать постоянно о змеях. А о них надо думать именно постоянно. Они мудры и разумны, а мы их не понимаем. Тысячелетиями испытываем к ним гадливость и убиваем почём зря. А с ними, конечно, надо найти общий язык. "Мудрость змеи" - это ведь бесконечно древнее выражение. И наверняка с глубоким смыслом. Может быть, когда-то, до машин, даже до колёс, человек умел разговаривать с любым зверем, с любым гадом. Пусть не каждый человек и не с каждым... Но путь был верный... Может быть, ещё не поздно вернуться на этот единственно верный путь - Путь Змеи? Научиться понимать и не портить, не убивать напрасно. Человек называет ползающих пресмыкающимися, называет презрительно. А они ведь - сливающиеся! Слейся ты так с Природой, как они, вади на зиму в спячку голый где-нибудь среди болота, а весной выползи из собственной кожи... Их ядом мы лечимся, от их яда мы погибаем. Не в яде ли их мудрость? Может быть, когда-то люди уже познали её? И утратили? А теперь, чтобы познать снова, необходимо умереть? Да нет, не умереть в вульгарном смысле, а на время покинуть ЭТО тело, чтобы весной...

Помбур Макаров сидел на краю постели и с сочувствием смотрел на заросшего щетиной, совсем худого Пилипа.

- Ишь, ты, - сказал он мягко, - жирку-то у тебя поубавилось.

- В ядовитой среде перегорел, - ответил хрипло Пилип и улыбнулся.

- Ну, как там, на том свете? - спросил Макаров.

- Не знаю, - ответил Пилип, - не видел.

- А перед смертью о чём думал? Тоже не помнишь? Ты повспоминай. Когда мы тебя нашли, ты что-то лопотал, да никто не понял. По-иностранному, похоже, шарить, как баптист-пятидесятник.

Пилип напрягся, вспоминая, и увидел сначала изрубленную змею, а затем - огромный моховик и на нём - огромную божью коровку. Больше ничего.

- Ну, вспомнил? - спросил Макаров.

- Нет, - Пилип качнул головой. - Не варит пока что котелок, мура всякая лезет... Вы клюкву-то мою, небось, там бросили?

И вдруг с испугом почувствовал, что больше никогда не пойдёт по болоту, потому что оно прогибается под ногами, будто ковёр, сброшенный на бездонное море.

Владимир Шкалик

ЕЩЁ РАЗ МИМО

Как-то раз моя Маркиза, ещё во время своего профессорства, обронила замысловатую фразу - не свою, конечно: "Никто, создающий нечто, лучше, чем некто, творящий ничто". Я думал над этим изречением много лет, особенно над второй его частью: как это можно "творить ничто"?

И вот однажды понял.

Тот самый Пилип Искренков, которому васюганский крокодил отгрыз ногу, не утратил от этого своей непосредливости. Даже как бы добавилось: при уменьшении полезной массы тела энергия осталась прежней, и, стало быть, на каждый уцелевший килограмм её теперь приходилось больше - элементарный закон физики.

Но возник вопрос чисто житейский: куда девать лишнюю энергию, если бегать нечем? Самый лучший протез и натрёт, и утомит, и, главное, не до любой цели на нём доскачешь. Во всяком случае, если целью Пилипа стал крокодил, скрывающийся в заболоченной долине извилистого Васюгана, можно без напряжения представить, какие у охотника были шансы на успех.

Да он и не обольщался. И природа ему за это помогла. Энергия, которая освободилась потерей ноги, ударила Пилипу в голову. И не надо улыбаться: не в дурном смысле, а в самом нормальном. Что-то завертелось быстрее у Пилипа в извилинах, и он ощутил в себе писательский дар на много лет раньше, чем его открыла во мне моя Маркиза.

Пилип таки побегал в своё время на своих двоих, смотрел при этом в оба, а уши держал топориком, так что энергетический удар поднял со дна его памяти немало и полезного, и занятного - только записывай.

Он и взялся записывать. Потом, имея склонность к системному мышлению, решил идти от простого к сложному и первое своё сочинение сделал на обнажённо близкую тему. Рассказ назывался "Мимо", и описывалась в нём жизнь охранника на лесном складе, знакомая Пилипу до самых интимных подробностей. Он и места на эти подробности не пожалел - отстучал на машинке аж сорок семь страниц. Иные авторы такой объём уже повестью называют, но Пилип скромно назвал рассказом, ибо и действующих лиц, и самого действия в его сочинении крайне мало. Правда, неспешное это движение оканчивается довольно резким приключением с неясными, но неприятными последствиями. На мой сегодняшний взгляд, есть там и композиция, и ритм, и слог, и даже философия, которую Пилип скромно именовал "защищаемыми мыслями".

Вот вокруг этих-то художественных отличий весь сыр-бор и разгорелся.

Не утверждаю, что Пилип был так уж невыносимо честолюбив. Но и первый свой рассказ, и все последующие, ещё не написанные, он под подушкой хранить не собирался. Он говорил мне: "Тимофеич! Если тебе понравилось, если ты мои мысли УВИДЕЛ, значит, увидят и другие. Народ у нас не выродился, и писать надо для него. Чтобы думал".

И он отправил свой рассказ - нет, не в издательство и не в литературно-художественный журнал. Он послал его на творческий конкурс в Литературный институт имени Горького. На моё недоумение загадочно промолчал.

Всё он сделал точно по правилам, которые нашёл в "Литературной газете". И точно в срок получил ответ: "Вы прошли творческий конкурс и допущены к вступительным экзаменам на отделение художественной прозы. К такому-то числу вам надлежит прибыть в Москву по такому-то адресу... Место в общежитии..."

- Конечно, не поеду, - сказал мне Пилип. - Я просто хотел иметь документальное подтверждение, что у меня есть литературные способности. А учат пускай других. Я почвенником буду. Без отрыва от народа... Да и куда мне - с деревянной ногой...

Оба мы знали, что лучшие писатели мира нигде специально не учились. Просто писали, потому что не могли не писать. В этом вопросе Пилипу моей поддержки было достаточно, без документальных подтверждений, и он перешёл к следующему этапу - отправил рассказ в толстый столичный журнал, уж не помню, какой. А сам, окрылённый, немедля взялся писать дальше. При каждой встрече показывал мне свои сюжеты, зачитывал первые странички рассказов, допытывался, интересно ли звучит. В следующий раз уже ругал то, что показывал, и зачитывал новое. Так происходило постоянно, и я понял, что дело у него буксует. Я объяснял это нервозностью ожидания, а сам Пилип о неудачах как бы забывал, пытаясь с ходу взять всё новые сюжеты. Их было много в его голове, и рассказывал он порой совершенно захватывающе, как эстрадный чтец, как тот артист в его первом рассказе. Но в написанном виде всё это как-то... не играло, что ли, и постепенно я начал убеждаться, что рассказывать устно живому слушателю и располагать то же самое на бумаге - работа разного качества.

Так прошёл год. Ответа из столичного журнала Пилип не дождался. Обсудив возможные причины неуспеха - от плохой работы почты до чрезмерной занятости людей в больших изданиях, - мы решили, что есть смысл попытаться счастья поближе. Оно надёжнее, да и чести, пожалуй, больше, если взялся быть почвенником. А там заметят и из Москвы.

Рассказ был перепечатан на машинке ещё раз и отправлен заказным письмом в один из толстых журналов Новосибирска.

Стояло лето. Пилипу окончательно не писалось, и он между делом пропадал на озёрах со своими крокодилскими снастями.

Довольно даже неожиданно, всего лишь в конце осени, пришёл большой толстый конверт с фирменным красным оттиском "Сибирские огни" и адресом журнала - всё чин-чином. Письмо было заказное, с уведомлением о вручении, и у Пилипа слегка задрожали руки: вдруг это уже гранки - оттиски будущих журнальных страниц, чтобы автор лично сверил текст?!

В конверте оказалась его собственная рукопись. Первая страница была испорчена лиловым штампом отдела прозы с входящим номером. Пилип скрипнул зубами:

- Зачем же рукопись-то пачкать? Чтобы никому больше не послал?

Он полистал страницы, не задерживаясь на карандашных пометках, проворчал: "Ну, это сотрём" и начал вслух читать приложенное к рукописи письмо с исправленными авторучкой опечатками.

"Уважаемый автор рассказа "МИМО"!

Обычно мы не рецензируем рукописи, но в Вашем случае решили сделать исключение и дать Вам несколько советов.

Судя по всему, Вы впервые посылаете рукопись в журнал, иначе знали бы, что подписывать её надо настоящей фамилией автора, а желательный псевдоним оговаривать в сопроводительном письме. (Кстати, псевдоним у Вас юмористический, а сам рассказ такого оттенка не содержит).

Что сказать о рассказе "МИМО"? Он написан с большим знанием сторожевой службы, что свидетельствует о его автобиографичности, и изобилует массой мельчайших деталей, призванных, вероятно, обозначить характер героя, неудачливого писателя Волобьева (кстати, опять "говорящая", ироническая фамилия, не соответствующая тону рассказа). Все эти собаки, кошка, бурундуки, с одной стороны, и мчащаяся мимо настоящая жизнь (ревущие машины на шоссе) - с другой, дают общее ощущение некоего тупика, в котором оказался человек, безусловно, ищущий и способный на серьёзные чувства (плачет, слушая рассказ Анчарова). Остаётся ощущение, что он сделал что-то в жизни не так и теперь за это расплачивается. И хочется понять, где же он ошибся, в чём просчитался, КТО ВИНОВАТ? Может быть, и в самом деле, прав другой неудачник - инженер по ТБ, когда советует ему жениться? Может быть, тогда и раскрылся бы по-настоящему этот где-то всё-таки незаурядный человек?

И уж совсем не из этого рассказа жутковатый, необъяснимый конец. Один неудачник делает пакость другому, а тот в него стреляет и промахивается.

Понимаете, уважаемый Пилип Христофорович (называю Вас так, хоть и уверен, что у Вас другое имя), рассказ - это "высший пилотаж" литературы, и для него особенно страшно, если в конце читатель спрашивает: "Ну и что?"

Рассказ возвращаем. Но это не означает отказа от сотрудничества. Прочтём с интересом всё, что пришлётё. Словом Вы владеете, читать Вас интересно.

Литконсультант отдела прозы Ал. Орудьев".

До встречи с крокодилом Пилип был человеком буйного нрава. Получи он тогда такое письмо, полетел бы, наверное, в Новосибирск, и в журнале "Сибирские огни" надолго запомнили бы его "юмористические" инициалы. Теперь же, пройдя через страдания физические и душевные, он, как сильный человек, обрёл равновесие. Даже если простодушная отписка литконсультанта и показалась ему обидной, виду он не подал.

- Ишь, - сказал, - не пожалели денег на уведомление. Хотят убедиться, что я - псевдоним... Ну и ладно. Видать, и у них полно такой макулатуры... А интересно, у этого вышибалы Орудьева - фамилия настоящая? Или примаывается - то ли к Пушкину, то ли к ОРУДУ... А шедевры, видно, другие занимаются...

Пилип не падал духом. Прямо при мне перепечатал первую страницу, стёр, ухмыляясь, карандашные волны и вопросительные знаки на полях, залепил рассказ в новый самодельный конверт и вручил мне - сдать в Томске заказным письмом. На конверте значилось: "Редакция областной газеты "Красное знамя", отдел литературы". Ему неважно было, есть ли в газете такой отдел, - он знал, что рассказы там иногда появляются.

Я спросил:

- Ты уверен, что это не ради славы?

Он ответил:

- Да. Это для людей.

Оба мы тогда не знали, что людям больше нравится читать написанное не для них, а для себя.

Из "Красного знамени" рукопись вернулась всего через полтора месяца с дипломатическим объяснением: "Материалов очень много, даже для злободневных не всегда удаётся найти достаточно места, поэтому художественные произведения не печатаем". И заказывали Пилипу заметку "строк на сто пятьдесят об охране природы или о беспорядках в нефтедобыче и лесопользовании". Им Пилип не ответил и попросил меня предложить рассказ в Пионерном местной радиоредакции.

Я выполнил просьбу, и рассказ целую неделю читали в утренних передачах под рубрикой «Творчество наших слушателей».

На радио меня сразу предупредили, что рассчитывать на гонорар автору не приходится. Я передал это Пилипу. Он только отмахнулся: "Да я не посягаю. Мне интересно, как оно выглядит со стороны". Он слушал эти передачи без меня, и его реакцию "на себя со стороны" я увидел уже в завершённом виде. Во время моего очередного приезда в Катюльгу он вручил мне не очень толстую папку и сказал:

- Ты, Тимофеич, слово чувствуешь. Вот, читай. Дарю насовсем, от авторства отказываюсь в твою пользу.

- А мне авторство зачем? - Я тогда ни сном, ни духом не представлял, что эта чаша когда-нибудь дойдёт до меня.

- А ты, по-моему, скоро писать начнёшь. У тебя воля слабее моей, ты бросить не сможешь - вот мои сюжеты и пригодятся.

Я посмеялся и обещал, что прочту его опусы и сохраню - авось сам ещё к ним вернётся. Но он не вернулся и даже нашёл у Льва Толстого тому обоснование: "Если можешь не писать - не пиши". А мне его наброски и в самом деле пригодились, хоть и не скоро: некоторые рассказы в этой книге написаны по ним.

В тот день на прощанье Пилип показал мне ещё один "нюанс" своей, как он выразился, "литературной опупеи".

- Знаешь, Тимофеич, ко мне ведь приходили. Ждал я ответа то ли из Новосибирска, то ли уже из Томска, а то ли ещё из Москвы... Или уже по радио читали - запомятовал... Короче, раз днём приходит ко мне один товарищ: "Здравствуйте, Пилип Христофорович. Служба безопасности". "Чем, - говорю, - обязан чести?" "Да вот, по поводу описанного в вашем рассказе случая со стрельбой". "А в чём дело? Курок со спусковым крючком перепутан?" "Да нет... С технической стороны всё похоже, даже слишком... Что, в самом деле, такое было или это, так сказать, плод фантазии, художественный вымысел?" Я говорю: "Так ведь надо просто везде пересчитать патроны". "Да в том-то, - говорит, - и дело, что патроны везде считанные". "В чём же тогда проблема?" "А знаком ли вам такой-то и такой-то?" "Да что-то не припоминаю. А в чём дело, если не секрет?" "От вас не секрет. Подняли мы кое-какие медицинские карточки. Тогда-то и тогда-то обращался этот человек по поводу травмы, похожей на касательное пулевое ранение. Запущенная такая травма и как раз после одной командировки в здешние края. И вы, Пилип Христофорович, ещё не были писателем, но уже были охранником. А земля ведь должна слухами полниться..." "Ага, - говорю, - понятно. Только тут два вопроса. Знает ли этот человек меня? И самое интересное: где в наших глухих местах можно добыть неучтённые патроны к боевому карабину?" Он улыбнулся: "Вас этот человек тоже не припоминает. А насчёт патронов мы как раз и хотели позаниматься". Вот так мы с ним, Тимофеич, покалякали, взял он с меня расписочку и уехал.

- О чём же расписочка?

- Да о том, что "все события, описанные в моём рассказе "Мимо", являются плодом художественного вымысла и реальных прототипов не имеют" - помню дословно. Как видишь, признание своих литературно-художественных способностей я получил со всех сторон. И мне этого достаточно. Был бы молод и здоров - прямая дорога в литературу. А то и подальше. Но теперь мне это уже... Ушёл поезд. И масло писательское на охранницкий хлеб не требуется: приезжал начальник, говорил, что добавили нам жалованье. Кстати, хватался за сердце и просил не писать больше о взрывчатке - его, мол, за это распнут на телевизионной антенне. Я сказал, что за славой больше не гонюсь и писать бросаю. - Тут Пилип вздохнул и полез в ящик стола. - А что касается до народных нужд, то вот, погляди и скажи, могут ли это отковать в вашей кузне?

И подал пачку простеньких чертежей - разные фигурные резцы, стамески и прочая снасть для резьбы по дереву.

- Такое ведь нигде не купишь, - продолжал он объяснять. - А я ещё сам придумал кое-что: видишь, вот, стамеска переменной кривизны - заменяет сразу две. Буду резать наличники на дома, рамки всякие, шкатулки, ложки... Токарный по дереву заказал...

Вот тогда я окончательно понял, что значит: “Никто, СОЗИДАЮЩИЙ нечто, лучше, чем никто, ТВОРЯЩИЙ ничто”.

Владимир Шкаликов

ЗАДУМАЛСЯ

Вчера я был вне себя от досады: стоит немного увлечься, и твоё очередное тело попадает к психиатрам с диагнозом "шизофрения". Мне проще: покидаю беднягу, и дело с концом. Но ему, уже "нормальному", никто сразу не верит, и лечат болезного от раздвоения личности, пока не утешат собственное профессиональное тщеславие. И год лечат, и другой... Тоже мне профессионалы! Каждый настолько поверхностен и ограничен, что интереснее вселиться в подсобника на стройке, чем в этого врача.

Впрочем, на сей раз, я выбрал журналиста. И тело для тридцати лет в хорошей форме, и умишко незауряден: не только творит, но и ученья не чурается. Притом предпочитает систему: сначала в техническом вузе получил инженерное образование, потом на практике основательно освоил журналистику, теперь записался на факультет философии в городском народном университете.

И вот он сидит на семинаре по диалектике и прислушивается к себе: что за озарения вдруг пошли косяком? Со вчерашнего дня прислушивается. Тонкая натура, хорошая способность к самоанализу, но ещё не понял, что это он ко мне прислушивается. И не поймёт: на сей раз буду крайне осторожен и до лечения его не доведу.

Однако не стоило бы и вселяться в индивида, если вовсе не ставить целью его развитие. Высший порядок сам по себе возникает у людей столь редко, что к нам они почти перестали рекрутировать. А это чревато общей деградацией человечества, и тогда само наше существование теряет изрядную долю смысла: кому из подлинно мыслящих охота быть "вещью в себе"? Высший Свет в тревоге постановил: активизировать. И вот, бросив все дела, набираемся опыта ценой шизофрении. Досадно и досадно.

- А я считаю, - мой носитель встаёт и обращается к доценту, - не может разум погибать вместе с телом. В этом случае даже умозрительно теряется смысл его рождения и существования. А поскольку уже доказана его электромагнитная природа, имеем все основания предположить, что волновая матрица мозга после телесной смерти не угасает, а просто отделяется и может существовать в пространстве самостоятельно, как, например, шаровая молния или телевизионная волна. При условиях, которые пока не исследованы, такую блуждающую душу можно даже сфотографировать.

Боясь, что перебьют, он начинает скороговоркой рассказывать, как год назад на балконной двери у него треснуло стекло. Ночью и без видимой причины. Трещина показалась интересной, и он - на фоне тьмы - сделал снимок. Когда же проявил плёнку, увидел рядом с трещиной женское лицо. И узнал свою учительницу, умершую ровно сорок дней назад...

Доцента зовут Николай Николаевич. Тайком даже от себя он гордится таким именем-отчеством: дважды Николай-угодник. Но для мира он - образцовый материалист. Вот уже раздул ноздри и зоб - сейчас обругает моего журналиста ползучим эмпириком.

Один из самых невыносимых людских недостатков - страсть к прозвищам, порождённая нетерпимостью. Бирки-прозвища неснимаемы, несмываемы и обязательны к однозначному пониманию. Мы с одним поэтом - он сейчас в Высшем Свете, но скоро вернётся обратно к людям - как-то даже сочинили об этом куплет: "Вот палата на семь коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем: "Параноик", и поди его проверь".

Чувствую: от ползучего эмпирика до параноика здесь дистанция невелика, стоит лишь заупрячиться. Давай-ка, друг, помолчим и подумаем о своём.

Мой носитель садится и, слушая свой "диагноз" вполуха, вспоминает вчерашний день.

Вчера, едва вселившись, я круто взял быка за рога, и денёк у него с утра выдался как подарок.

Сначала он нашёл для своего очерка такой поворот, что очерк тут же вывесили на "Доску ляпов и казусов". И всего-то из-за элементарной констатации: каждый отдельный человеческий род можно представить в виде конуса - многочисленные предки-посредственности от основания к вершине как бы выдавливают наверх гения, после чего процесс идёт в обратную сторону ("На детях гениев природа отдыхает"), чтобы когда-нибудь создать нового гения и вновь отдохнуть пару веков. "Открытие" тут же окрестили "Теорией конуса" (как, впрочем, это явление и называется в Высшем Свете) и немного посмеялись над автором - впрочем, вполне дружески: у кого, мол, на этой работе не заходит иногда ум за разум. Но настроение у него упало: непонимание равных болезненно.

Пообедать нам удалось дома. Жена моего журналиста готовит превосходно, но это, увы, её главный талант, если не считать привлекательной внешности - при очень среднем, впрочем, темпе-раменте.

Нахваливая суп, мой носитель как бы между прочим задал вопрос, на который не решался целых два дня:

- Ну, как тебе мой рассказ?

Плох тот журналист, который не пытается стать писателем. Жена при этом может сыграть роль крыльев Икара либо железобетонного надгробья.

Она подняла глаза от какого-то толстого детектива и пролепетала:

- Знаешь, я ещё не прочла.

Он выразительно посмотрел на её детектив и хмыкнул. Она в ответ гневно поджала губы и голосом твёрдой обиды сообщила:

- Ты пишешь слишком умно. Над каждым твоим словом приходится думать. Я не могу читать тебя быстро.

- Полтора десятка страниц для человека с высшим литературным... - Мой носитель отставил лапшу по-флотски. - Неужели такой труд?

- Да! Такой труд!

Он вскочил, поблагодарил за обед и бегом удалился. Выпить чаю мы решили в кафе, а там какой-то пьяненький здоровяк начал навязывать своё внимание весьма привлекательной особе в белой шапочке, белой курточке - да вся она была в белом и блондинка. Пришлось принять участие в диспуте, дошло до жестов. Реакция нас не подводила, тело слушалось неплохо, но резкость всё же оставляла желать лучшего. И постановка удара была уже не та...

Ныло выбитое запястье, саднила скула, но всё обошлось: и строгие люди в форме не подвернулись, и белая шапочка идёт рядом, ей по пути, она благодарит и задаёт вопросы. О, так вы журналист! А дерётесь, как настоящий хулиган. Даже лучше. Ах, боксёр! Сама должна была догадаться. Да чего уж там - бывший! Самый что ни на есть. А на какие темы пишете? О, это серьезно! Как-как? "Теория конуса"? Ничего смешного. Мне это известно как "теория пирамиды". Но конус - убедительнее. Кстати, все подобные вещи восходят к проблеме души. Как вы относитесь к гипотезе электромагнитной матрицы мозга? Ведь согласитесь, теорию мирового эфира тоже подвергали, зато тепер...

Так дошли, не заметив, до самой двери народного университета.

- Ну, мне сюда.

- Так и мне сюда!

И оказались за одним столом.

Два высших разума рядом. Это у людей редкость. А чтоб ещё и разного пола - просто-таки шедевр случайности. Ода! Кантата! Полу взгляд как норма понимания. Бедный доцент-угодник даже не представляет, даже подозревать ему не дано, какую бурю взглядо-хохота порождают в нас его диалектические филоглупости!

И вдруг доцент энергично приближается и чеканит с обидой:

- Нет-нет! Не делайте вид, что не слышите! Если не согласны с моими доводами, то, может быть, ваша коллега вас убедит?!

Коллега, та самая, вся в белом блондинка, стоит за соседним столом и по просьбе доцента повторяет специально для меня, неслуха:

- С чисто физической точки зрения ваша электромагнитная душа не выдерживает даже элементарной критики, даже на уровне средней школы. Вихревые турбулентности, радиопомехи, космические лучи, энергетика...

Я с отчаянием поворачиваюсь к своей соседке. Жена уже смотрит на меня. Понимает и сострадает. Улыбается глазами: "Напиши об этом рассказ". Я киваю.

Всё еще саднит скула и ноет запястье.

04.12.94г.

Владимир Шкаликов

Архив советского человека

ИЗ КОРЗИНЫ

"Работать в корзину" - этот метод в журналистике непродуктивен, с какой стороны ни подходить. Но, думаю, у каждого есть такие неудачи: что-то писалось в состоянии эйфории, что-то - в состоянии затмения. Сюда же входят протрация, фрустрация и ещё одно состояние, которое я назвал бы, как у Стругацких, "желанием странного".

Научно говоря, всякий властный режим вырабатывает свою формулировку этого "странного", и только шкала наказаний за "желание" оногo удручающе и устрашающе однообразна во всех режимах: "поставление на вид", "замечание", "предупреждение"... ну, и так далее, все знают. И между тем, ВСЕМ хочется именно "странного". И тоже ничего в этом удивительного: таковы сапиенсы.

Однако сапиенсы делятся на тех, кому "странное" разрешено (то есть, находящихся при власти), и тех, кому нет ни власти, ни разрешения - таких, понятно, большинство (никогда никого не подавляющее). Но, если уж до конца научно, есть и промежуточная категория людей - творческая интеллигенция. Этих власти тоже не очень-то допускают к своему кормилу (к кормушке - бывает, с краешку, но к кормовому веслу - никогда), однако и слишком далеко от себя не отстраняют - это опасно. Всякие художники, писатели, учёные, музыканты - всегда у властей под крылом: как в смысле покровительства и материальной помощи, так и для ненавязчивого управления (см. напр. "Областное управление культуры" и т.п.)

Этот краткий научный обзор остаётся завершить утверждением, что среди творческой интеллигенции особенно "подвергаемой управлению" категорией являются журналисты, как самые опасные в смысле быстрого действия. "Вечный бой" - это сказано о них. И я не без стыда и зависти пишу слова - "о них", потому что после почти двадцати лет профессиональной работы в журналистике сегодня уже не могу относить себя к числу кадровых бойцов этой армии. Хотя до сих пор третий тост провозглашаю - с ударением на последнем слогe - "за случай".

Теперь о деле.

Весной 1970 года я работал корреспондентом Корякского радиокomiteта на Камчатке. Шли очередные выборы местной то ли центральной власти, и мне - по молодости - "захотелось странного". Не имея чисто литературного опыта, я оформил своё "странное" по-газетному и принёс Ольге Адамовне (фамилию, разумеется, уже не помню) - она временно замещала главного редактора. Многоопытная коллега прочла эти три странички при мне, медленно подняла на меня большие южные глаза и ласково спросила: "Вы полагаете, Володя, что мне хочется идти с вами в одном этапе?" Я попытался утешить в том смысле, что, мол, куда же можно сослать с Камчатки, но Ольга Адамовна твёрдо ответила, что хотя сочинение моё написано и грамотно, и не без юмора, но в эфир оно не попадёт, поскольку слово не воробей - и точка. Примерно то же сказал мне и редактор окружной газеты, чьё имя я тоже напрочь забыл.

Пришлось запрятать мою полубасню-полуфельетон куда подальше. Обнаружил я это сочинение к концу тогдашнего режима. А когда нашёл и прочёл, то обнаружил, что "странного" лишь слегка поубавилось, а некоторая вневременная актуальность - вполне уцелела: сатира оказалась универсальной и для любых общественных режимов, и - в особенности! - для переходных процессов между ними. Не зря некоторым так нравятся "эпохи перемен".

Вот этот фельетон.

Их звериные нравы

ПОДЛИННАЯ ЗВЕРОКРАТИЯ

Репортаж нашего птицорра

Как всегда в подобных случаях, на центральной поляне нашего леса было, что называется, негде лапой наступить. На торжественное собрание, посвящённое выборам в Лесной Совет, явились все, кто в состоянии ходить, летать, прыгать или хотя бы ползать (да не обидятся на меня уважаемые пресмыкающиеся).

Первой на пень поднялась Гиена.

- Животные! - сказала она, и шерсть у неё на загривке красиво поднялась дыбом. - Наш лес уверенными шагами идёт ко всеобщему процветанию, и это происходит только благодаря неусыпным заботам нашего родного Лесного Совета. За последние годы резко возросла упитанность мышей, оленей, зайцев, жуков-короедов, возросли их припасы, улучшились жилищные условия. Всё это - благодаря мудрой политике Лесного Совета, осуществившего полный переход на местное самоуправление - лучшую форму руководства звериными массами. Создано немало заячьих комитетов, успешно решающих вопросы спорта и барабанной музыки, а "Союз молодых куропаток" подготовил недавно очень гуманное и экономически выгодное предложение, которое, как вам

известно, заключается в том, чтобы при поедании ягод и орехов все выплёвывали косточки и скорлупу. Это поможет значительно повысить урожайность ягодных и, вместе с тем, избавит птиц и грызунов от желудочных заболеваний, делающих мясо невкусным. Предложение сейчас изучается специальной комиссией Лесного Совета и, по всей вероятности, будет принято в законодательном порядке. Нельзя не отметить также ценную инициативу оленьего стада, принявшего недавно решение сбрасывать старые рога только в одном месте. Это обезопасит передвижение по лесным тропам и одновременно создаст в нашем лесу условия для организации музея рогов и других костей. В этом начинании обещали принять посильное участие и хищники.

Немало ценных починов родилось в нашем лесу за последние годы. Работая с большим трудовым подъёмом и творческой инициативой, с задорным плотоядным огоньком, звери, птицы, пресмыкающиеся и насекомые, под мудрым руководством Лесного Совета, уверенно строят свой завтрашний день...

Дальше Гиена отметила, что, наряду с немалыми успехами, в лесном обществе ещё бытует и ряд неизжитых недостатков. Например, излишне медленно протаптывается волчье-заячья тропа. Встречаются трудности в организации двухсменной работы сов. А "Союз молодых куропаток" по-прежнему уклоняется от сотрудничества с "Заоблачным орлиным обществом", хотя им есть о чём поговорить и поспорить: хотя бы о том же выплёвывании косточек.

В тех местах доклада, где говорилось о нашем родном Лесном Совете, поляна неоднократно оглашалась бурными, долго не смолкавшими хлопками крыльев и диким звериным рёвом.

Заканчивая выступление, Гиена, в частности, сказала:

- Сегодня, в день перевыборов Лесного Совета, я призываю всё лесное население единодушно отдать свои голоса за кандидатов нерушимого блока плотоядных и травоядных.

От имени питающихся корешками выступил Старый Медведь. Он поддержал кандидатуры Тигра, Пантеры, Барса, Льва и Шакала и добавил, что для подтверждения истинной зверократичности Совета в него необходимо избрать Пожилую Цаплю, которая прошлым летом больше всех наловила лягушек, а также передовую заготовительницу орехов Матёрую Белку и чемпиона по прыжкам в сторону Зайца-Русака. Названные кандидатуры были единодушно одобрены собравшимися.

Маленький Кролик, выступавший вслед за Старым Медведем, очень трогательно сказал:

- Я впервые участвую в выборах и мне ещё многое непонятно, но я от всей души приветствую наших избранников и надеюсь, что мы, молодые грызуны, ещё познакомимся с ними поближе, и они многому нас научат.

Все ораторы единодушно поддержали кандидатуры названных зверей, и Лесной Совет приступил к исполнению своих функций в прошлогоднем составе.

В перерыве между отделениями праздничного концерта я подлетел к трём молодым Белочкам, весело обрывающим кедровые шишки прямо с той ветки, на которой они сидели. На мой вопрос, что им больше всего понравилось на сегодняшнем собрании, самая рыжая Белочка непринуждённо ответила, стяхивая с шубки ореховую скорлупу:

- Наибольшее впечатление произвела та дружеская обстановка взаимного доверия и обоюдной симпатии, которая царила на поляне и красной нитью проходила через все выступления.

После концерта торжество зверократии ознаменовалось большим праздничным банкетом, и молодые Зайчики получили полную возможность познакомиться поближе со своими избранниками.

ДЯТЕЛ,

птицкорт "Независимой лесной газеты".

28.05.1970г.

Храбро ли я поступаю, извлекая из архива свою подпольную сатиру тридцатилетней давности? Да, храбро. Потому что разрешения на храбрость приходят и уходят, а управление культурой остаётся в добром здравии при любой власти - меняется лишь форма и длина поводка, вожжей и кнута, а шкала наказаний, как доказано веками - нетленна. И храбрость моя столь же сиюминутна, как разрешение на неё. Вот и пользуюсь, пока не отменили.

Владимир Шкаликов (псевдоним, конечно).

Дополнение. Русский неологизм "беспредел" некоторыми зарубежными лингвистами ошибочно переводится как "демократия".

Декабрь 2002 года и далее.

Что далее?

Владимир Шкаликов

КРОКОДИЛОВЫ СТРАСТИ

Бывают совершенно очевидные события, которые очень трудно объяснить. Например, человек теряет ногу. У всех на глазах. Это - очевидное. А вот как теряет? Вроде все видели, да никто не понял.

По соседству с нами работала бригада из строительного-монтажного управления - "СМУтьяны". Набирали туда кого придётся, по объявлениям в газете, потому что жизнь на трассе, с топором в обнимку, не очень приятная. Можно сказать, сплошная романтика. И шли туда самые настоящие смутьяны, без кавычек. И пили не так, как все, и чудили по-дикому, под доисторическим лозунгом: "Закон - тайга, медведь - судья". Чем такое кончается, умные узнают на чужом опыте, а романтики - на собственных ошибках.

Все помнят, например, кошмарную историю с дисольваном. Это такая оранжевая жидкость в ярко-синих железных бочках, употребляемая, кажется, для закачки в скважины при бурении. (Я в бурении не работал, точнее не знаю). Но бочки эти видел, даже трогал. На них белым по синему написано: "Алкоголь". Только по-немецки, без мягкого знака. Вот такие бочки вёз на тракторных санях по зимнику один специалист из Васюганского управления буровых работ. Был конец октября, зимник ещё не замёрз как следует, и сани у него застряли. Кругом никого, даже до Оленьего километров двенадцать, а к ночи холодает - он и ушёл на Оленью пешком, в рассуждении, что безлюдье - достаточная охрана для любого алкоголя, а для несъедобного - и подавно.

Той же ночью "смутьяны" по этому зимнику ехали из своей просеки на "газушке". Рассмотрели, что за бочки, и одну прихватили с собой... Пока ещё была своя выпивка, дисольван не трогали, боялись. А когда пришло время похмеляться, всем уже не хватило. И тут нашёлся химик: "Не бойтесь. Любой технический спирт после перегонки становится питьевым". Но "химик" оказался в кавычках. Разобрали ружьё, стволы употребили как змеевик - это ни для кого не проблема - и выгнали аж два ведра спирта. А спасли потом только тех, кто перед дисольваном успел выпить водки. И то не всех. В общем, двенадцать человек отошли без покаяния. Подробности опустим из гуманных соображений... Бригаду разогнали, набрали новых романтиков, и вот в этот новый набор попал Пилип Искренко.

Личностью он был примечательной во всём. Образование имел техника-агронома по продвижению цитрусовых на север. С виду - такой образцовый сибиряк с универсальным лицом, которое любая нация белой расы согласится признать за своё. Роста, правда, среднего, но мощный, аж квадратный - хоть поставь, хоть положи. Кубометр с кепкой. И здоровья - куба на три. Как он рыбачил с дихлофосом - это отдельная леденящая история, об этом - в другой раз. И про его писательские успехи - тоже особый рассказ. А пока - о том, как он потерял ногу.

Второй набор в этой смутьянской бригаде тоже был порченный. Платили там с выработки, так что вламывать им приходилось по-чёрному, но не от них там это всё зависело. Если, скажем, негде взять солярку для трактора или автол для бензопилы, бригадир только один может заниматься делом - сотрясать эфир нецензурным красноречием. Остальные же - кто во что горазд. Реже - все вместе.

Однажды вот так от безделья застрелили лосиху. А тут выскакивает лосёнок - сразу не заметили. А у них патроны - все. Попрыгали в "газушку", давай гонять его по тайге. Он, бедолага, в матёрый лес без мамы боится, бежит по просеке, под высоковольтной линией, по осинничку молодому, а они - следом. Треск, мотор ревьёт, они орут, гусеницы скрежещут, лес это всё усиливает... И вот - речка. Маленькая речушка с солидным названием - Большая Налимка. Не то что налимов - никакой рыбы в ней нет, это видно по прибрежным кустам, во время весеннего разлива измазанным нефтью. Через речку переброшена труба для этой нефти, но она ещё не работает, эти же охотники её монтируют. Лосёнку бы по трубе речку перебежать - и конец охоте: "газушка" плавать умеет, но берег крутоват, нырнёт. А он устал, побоялся трубы - пометался по берегу да и бросился в воду. Загонщики - стоп. И кусты грязные, и бережок крутоват, и ноги мочить неохота. Задумались. А лосёнок плывёт. Как быть?

В такие моменты они все смотрели на Пилипа - он самый отчаянный. Ему это лестно. Ронять себя не хочется, и он говорит: "Пропадёт же дитя в тайге без мамки!". Обнажает охотничий нож - и в воду. Было в том месте где по пояс, где по грудь. Лосёнка сносит, он уже почти на середине. Но и Пилип старается. Где шёл, где плыл - догнал. Схватил за ухо, нож занёс, но тут потерял равновесие, будто его ударило топляком под коленки. И закричал, заревел, как медведь! Лосёнка сразу выпустил, забарахтался под водой... И тут плеснуло над ним. Буквально на секунду поднялся такой востлице, какого у рыбы не бывает. В общем, чтобы не описывать - точно как у крокодила. В коричневой-то воде тёмное тело не разглядишь, но с берега показалось, что было в этой зверюге метров шесть. Будто она тоже стремилась к лосёнку, да на пути внезапно возник Пилип.

Побежали по берегу - в воду-то боятся... Вынесло Пилипа к затору, брёвна весной эта Налимка несёт как большая, но где-то они застревают. Пока добежали, он, мужик здоровучий, сам на руках по брёвнам к берегу перехватился и держится, как клещ. А когда из воды выдернули, сознание потерял сразу. Нога была откушена выше колена начисто, будто в пилораму попал.

Кинули его сразу в "газушку", погнали на Оленье, вызвали по радио вертолёт - и в Стрежевой. Успели.

Это было в сентябре. А уже по зимнику вернулся он из Стрежевого к себе в Катильгу и стал жить пенсионером. Пенсию дали по инвалидности, оформили как производственную травму. Я в подробности не вдавался, но это всё легко представить: переходил по трубе речку (производственная необходимость), потерял равновесие (перила не предусмотрены), растерзан у всех на глазах каким-то речным хищником (Несси оф Сибيريا), ну и так далее, и никто не виноват. Главное, чтоб не был пьян, а Пилип был как стёклышко.

Катильга до начала нефтедобычи считалась умирающей деревней. А в восьмидесятые годы сделали там перевалочную базу - сначала только для месторождений Пионерного, а потом и для Игло-Таловского. По большой воде всё завозят баржами на склады, а оттуда - уже по промыслам.

Пилип погоревал недолго. Тут же устроился охранником на эти склады - вахтовым методом у себя дома. Полмесяца дежурил "сутки через сутки", а остальное время напряжённо готовился брать крокодила. Мы виделись с ним частенько, когда приезжали за чем-нибудь - это от Пионерного всего тридцать восемь километров. Пилип держался уверенно и в существовании крокодила абсолютно не сомневался. Как специалист смежного профиля, даже разработал теорию появления тропического хищника в местности, по российским законам "приравненной к Крайнему Северу". Вот вкратце эта теория.

Даже Брэм не знал, сколько живёт крокодил, и отводил ему, по щедрости своей, несколько столетий. Пилип Искренко подошёл к решению возрастной проблемы смелее коллеги Брэма и отвалил своему обидчику пять тысяч лет. При таком богатстве можно не удивляться, что нильский (именно нильский!) гигант позволил себе обращаться с эволюцией на "ты" и уже четыре тысячи лет, уклоняясь от давления цивилизации (то есть, проще говоря, от охотников за его несносимой кожей), мигрировал и мигрировал, потихоньку привыкая к холодному климату, сначала в реки черноморского бассейна, потом дальше на север и на восток, пока не обосновался в бесконечных сибирских болотах, богатых озёрами, реками, рыбой, зверьём и бедных на цивилизацию. Пилип полагал, что стал первой жертвой сибирского столкновения этого зверя с людьми. Он даже готов был пожалеть о такой судьбе бессмертного земноводного, но остановить экспансию считал своим долгом и энергично готовил всевозможные снасти, чтобы вторая встреча стала роковой для Аникея, избавлением от скитаний, а для людей - гарантией безопасности. Как видим, примечательность Пилипа выразилась даже в том, какое имя он присвоил своей будущей жертве.

В победе он не сомневался. Даже выстрогал доску - толстую плаху - для крокодильей головы и определил для неё место на стене, над диваном, на котором любил читать Брэм. Делать чучела он умел давно.

Тут бы, в конце, посмеяться да пожалеть чудака. Но ведь не конец ещё. Продолжение было вот какое.

У тетёрки нет второго названия. Обыкновенная лесная курочка, серенькая, нарочно неприметная, чтобы высиживать птенцов на земле. А вот у тетерева второе имя есть - Косач. Ему природа положила быть красивым и грозным. И красная бровь похожа на косу-литовку, и два чёрных крючковатых пера в хвосте тоже напоминают что-то этакое - вроде двух серпов.

Вот за таким крючковатым пером и собрался Пилип. Влез на коня, вставил деревянную ногу в специальное стремя из банки от краски, ружьё сунул в седельный чехол и поехал в тайгу.

Перо требовалось ему для охотничьей шляпы.

Можно и здесь посмеяться: "Герой оформляет свой подвиг". И вспомнить известное изречение: "Если лётчик перед полётом считает, что идёт на подвиг, значит он к полёту не готов". Но нет, у Пилипа всё было иначе. Эту охоту он не считал подвигом. Подобно одному капитану Ахаву, гонявшемуся по океанам за Белым Китом, он скрупулёзно подготовился ко всем возможным вариантам встречи и в этом смысле был, что называется, готов к полёту. А перышко на шляпе было для него просто завершающим штрихом подготовки или, если угодно, боевым флагом на гафеле. Так что не будем насмехаться, тем более что исход этой экспедиции лично у меня не вызывает даже улыбки. Будем уважать мужество, в какой бы переделке оно ни оказалось.

Дело было зимой, на второй год после больницы.

Тетерева в эту пору ночуют под снегом, а днём клюют берёзовые почки. На голых деревьях видно их далеко, да подобраться к ним не просто: по одному не сидят, а стая - глазаста.

Пилип читал где-то, что всадника на коне эти птицы подпускают совсем близко - из любопытства: не понимают, что за зверь с двумя головами. Это ему и на руку: с деревянной-то ногой на лыжах несподручно.

Ехал, ехал по дороге, забрался глубоко в ельник, на дальние покосы. Сено в стогах замечено снегом, дорога здесь обрывается и как раз за поляной начинается березняк. А вон и тетерева, сразу за последним стогом. Пилип изготовил ружьё, едет шагом и шепчет:

"Пусть птички думают, что мы за сеном. Небось привычны".

Но птички, видно, думать ещё не умели. Едва Пилип начал поднимать ствол, они снялись и

перелетели на безопасную берёзу, подальше в лес. Туда на коне ещё можно было въехать, но Пилип понял, что доверия к двухголовому зверю в стае нет, и отвязал от седла широкие лесные лыжи. А коня привязал к берёзе у стога.

Среди березняка всегда полно мелких ёлочек. Вот за ними он и начал подкрадываться к тетеревам. Одна лыжа у него была приспособлена под протез, но - поскрипывала. То ли из-за этого скрипа, то ли просто следила за ним стая, а поднять ствол тетерева опять не дали. Первым снялся как раз матёрый косач, в которого Пилип хотел стрелять.

Теперь забыл он и про лошадь, и про ногу деревянную: охотничий азарт - страшная сила. Началась погоня хромого лыжника за лёгкой стаей...

Ко второй половине дня Пилип выдохся. Протезом натёр свой огрызок ноги, семь раз пропотел и заблудился. А птицы - вон они. Даже привыкли. Сидят на расстоянии двух выстрелов. То есть, до них метров сто с небольшим.

Зимний день кончается скоро. Стало Пилипу не до охоты. Там где-то лошадь привязана, спасать надо. У стога от голода не пропадёт, но тайга - местность дикая. Медведи спят, но бывают и шатуны. А россомаха не спит вовсе. И рысь не спит. И волки не все истреблены. И всем нравится конина. А времена стояли как раз такие, когда дикий зверь особенно плодится и смелеет.

Пилип заспешил обратно. В знакомом лесу долго не заблудишься, особенно зимой. Сделал круг, нашёл свой входной след и по лыжне ещё до темноты успел к стогу.

Успеть успел, а всё же опоздал. Коня у стога нет, на снегу следы побоища и глубокая борозда в сторону реки.

Ужаснулся: россомаха, рысь, волки, даже медведь - не потащили бы целую лошадь в лес. Разве что сразу два хозяйственных шатуна - сплочённая такая артель...

Ужаснуться - не значит испугаться. У таёжного охотника пара патронов с пулями всегда при себе, даже на деликатесной бекасиной охоте. Пилип перезарядил ружьё, скрипнул зубами и поспешил, пока светло, по широкому следу.

Очень далеко идти не пришлось. На берегу Васюгана остановился и всё понял с одного взгляда.

След кончался у берега, где лёд был взломан. В широкой полынье плавало седло и сумка с походным провиантом. Ружейный чехол валялся почему-то отдельно, на льду, далеко за полыньей. Следы перепончатых лап не оставляли места для сомнений...

В последних лучах солнца Пилип вышел на дорогу и остановился в задумчивости: идти сразу домой или отдохнуть у костра, переложить из сумки в желудок часть поклажи. Щёки горели от мороза, высохшую спину слегка знобило, ноги подкашивались, ружьё тянуло к земле, где уже лежала сумка. Седло он оставил у реки.

В эту минуту и произошло небольшое чудо. Даже чудешко, не чудо, но Пилип увидел в нём знамение и приободрился.

Из последнего солнечного луча вылетел прямо на охотника тот самый огромный чёрный тетерев, хлопнул крыльями почти в лицо и умчался обратно. А под ногами у себя Пилип обнаружил то самое крючковатое перо, за которым весь день гонялся.

Между прочим, ему показалось, что это и не тетерев был, а сова. Притом не обыкновенная, а двухголовая и с руками вместо лап. Он рассказывал это всего один раз, после второго стакана и говорил, что готов в этом поклясться, но потом, в трезвом виде - отказывался начисто и с возмущением.

В сову я лично не верю, потому что на собственном опыте знаю, что такое охотничьи галлюцинации да ещё в таких колдовских местах, как васюганские леса. Кто видел их с самолёта, тому это мистическое чувство должно быть знакомо. Даже с пяти-шести километров эта зелень кажется просто первой робкой плесенью на дне бывшего океана, который совсем недавно, всего пять миллионов лет назад начал впитываться в почву и высыхать. Кто ходил по болотам, испытал и подтверждение этого чувства, когда тоненький ковёр мха, наброшенный на остатки опресневшего океана, прогибается под сапогами, и в самых красивых зелёных местах особенно остро не хочется, чтобы он прорвался...

А вот в крокодила верят все, кто знаком с Пилипом, и эта вера греет его в походах. Во время вахтовых дежурств он истово плетёт сети из крепчайших, новейших материалов - будто бы на крупную рыбу, а во время отдыха между вахтами его дома не видят. Ходит будто бы на рыбалку, но в костыле - всегда ружьё с жаканом, в наших же мастерских монтированное. И этот же костыль одним движением можно превратить в настоящий китобойный гарпун. Кочует он по Васюгану и окружающим озёрам, руководствуясь какими-то своими приметами.

Никто из посвящённых не одобряет эту манию, и в разговорах об охоте последняя тема всегда у нас одна: будет ли поединок равным, если Пилип всё же настигнет Аникея.

Правда, лично я никогда в этом споре не участвую. Мне просто нечего сказать. Было бы у кого, я бы, может быть, только спросил: "Если есть Бог, то для чего Ему нужен этот поединок? Неужели бессмысленная гибель капитана Ахава ничего Ему не объяснила?"

Но задать вопрос некому. Бога нет, хотя Он всё, конечно, видит. И лучшим, любимейшим из чад своих ошибок не спускает - в этом я убеждался неоднократно. Да вот, кстати, факт истории. При

Иване Грозном река Великая кишела крокодилами, которые воровали с мостков псковских баб, полоскавших там белье. Чем не Божий промысел?

Владимир Шкаликов

НАД ОБРЫВОМ

Сентиментальность - не мой стиль. Каждому человеческому поступку я берусь найти реалистическое обоснование, за рамками которого останутся такие химеры, как верность слову, честь мундира, угрызания совести и прочие составляющие духовного начала. Так называемого духовного начала. Ибо за верностью слову всегда прячется куда более реальный страх перед наказанием. Его же, при некотором прилежании, можно разглядеть и за честью, и за совестью. За дружбой стоит расчёт, за преданностью - корысть, за подвигом - жажда славы, за принципиальностью - стремление к власти, за эстетической утонченностью - гедоническая страсть к духовному превосходству (тоже, кстати, мнимому), за отчаянной храбростью - сокровенный комплекс неполноценности... Продолжать ли этот бесконечный список?

Вероятно, после такого предисловия вывод о моем жизненном стиле не подлежит сомнению: это реализм, притом не цинический, не критический, не так называемый социалистический и никакой другой, а тот единственный, всеобъемлющий, обыкновенный, который, как правда, не может иметь ни конкурентов, ни вариантов. Я сторонник пушкинской формулы: „Любовь и голод правят миром”

И вот тут моя позиция кажется уязвимой. Любой интеллеktуал вцепится в правительницу мира и начнет меня топтать на том основании, что любовь, конечно, состоит из трех влечений, и два из них все же духовные, - поэтому грош цена моему реализму, раз я признаю иррациональное начало.

Что ж, если так, я готов раньше ответить интеллеktуалу, а уж затем перейти к тому, что я назвал - „Над обрывом”.

Итак, мой ответ. Да, я признаю иррациональное начало в человеке, ибо оно так же реально, как голод, жизнь и смерть. Просто не следует путать "иррациональное" с „мнимым", поскольку первое означает - „труднопредставимый, но существующий", а второе - „воображаемый”.

Переходя теперь собственно к рассказу, хочу все же особо отметить, что любовь, при всей её „труднопредставимости", настолько реальна, насколько и необъяснима, невыразима в словесных понятиях, непредсказуема, необорима и даже, как ни странно, как ни дико это прозвучит из уст реалиста, - чудодейственна. Об этом последнем её свойстве я и намерен кратко рассказать, хоть и с оговорками, но в надежде, что у кого-либо из вас может возникнуть непосильная для меня идея реалистического истолкования чудес.

Итак, „НАД ОБРЫВОМ”.

Это был вполне реальный обрыв, которым заканчивался довольно крутой подъем. Две тропы с разных сторон вели к обнаженной вершине, которая издали напоминала девичью грудь. Однако с противоположной стороны гора так круто обрывалась к морю, будто была срезана щербатым лезвием, и тому, кто пожелал бы броситься с нее в воду, пришлось бы терпеть ужас падения (или наслаждаться восторгом полета?) не менее двенадцати секунд.

Посёлок у подножия горы назывался Пятибратск и был связан с причалом двухкилометровой дорогой, проложенной в объезд горы. Но это уже несущественно, как несущественно и то, что гора названа Пятибраткой, и тайна этого названия никому не известна.

Я жил в Пятибратске только два лета и больше не намерен там бывать. Нижеследующая история началась в мой первый приезд и оборвалась во второй, так ничем и не завершенная. Что знаю, то и расскажу.

С первых же дней полукилометровая сопка стала меня притягивать. Я ждал вечера, чтобы по одной из тропинок совершить крутое восхождение почти до самой вершины. Признаюсь, у камня, венчающего гору, я в то лето не побывал ни разу. Скажу больше: привлекал меня на Пятибратку не захватывающий вид с обрыва, не вечный ветер на вершине и тем более не процесс восхождения, после которого сердце невозможно было удержать двумя руками. Предметом моего тайного внимания была женская фигурка. Она появлялась у камня ежедневно после рабочего дня и неподвижно маячила до темноты, затем исчезала. Вместе с нею, по моим наблюдениям, приходила на гору только ее тень, поэтому я, будучи тогда молод, любознателен и не женат, навоображал всякой романтической бреди и - устремился.

На полпути к вершине, там, где кончались заросли боярышника и начиналась девственная обнаженность, тропинки сходились в одну и легко продолжали путь, а я, тяжело дыша, сворачивал кустами влево, потом поднимался, сколько позволял рельеф, поближе к верхней площадке и, скрываясь за последним бугорком, предавался наблюдениям и воображал бог знает что. Я и знакомился с ней самым непринужденным образом, и спасал ее от кого-то, и успевал остановить, когда она порывалась броситься в пропасть. После каждого подвига я нес ее, бесчувственную, вниз, она приходила в себя и рассказывала мне каждый раз новую историю своего одиночества, а я, уже тогда начинавший проникаться реализмом, прикидывал, мягко ступая, до какого поворота тропинки хватит сил ее донести.

Разумеется, ничего подобного в первое лето не произошло. Никто не напал на мою красавицу,

она не попыталась броситься с обрыва, а если бы попыталась, я, разумеется, не успел бы к ней из моего укрытия. Подойти же и просто познакомиться у меня не хватило духу. С расстояния в двадцать метров не составляло труда определить, что она не старше меня. Заводить знакомства с ровесницами я уже умел, однако что-то исходило от нее... Сказать „отталкивающее" в применении к действительно красивой девушке - значит напроситься на непонимание. Я скажу - „отстраняющее", „оберегающее", „останавливающее" - и буду надеяться, что из этих понятий вы сами составите представление о силе, которой она удерживала меня на расстоянии, ничего, впрочем, не зная о моей засаде. В последнем было легко убедиться по некоторым жестам, какие человек позволяет себе лишь в полной уверенности, что за ним не следят. Или уж в полном безразличии к зрителям.

Чаще всего она стояла на одном месте, но бывало, что прохаживалась перед камнем или присаживалась у его подножья на разноцветную вязаную сумку. Во всех случаях внимание своё она уделяла исключительно морскому горизонту. Это позволяло мне не только легко оставаться незамеченным, но и представлять её то Ассолью, ожидающей алых парусов, то пособницей контрабандистов, предпочитающих просмолёные снасти, а то и живым маяком шпионской подводной лодки, предупреждающим, что бдительность пограничников сегодня высока и высадка агента невозможна. Главным же образом, поддаваясь обаянию романтической внешности, я видел ее художницей, которая творит ночами, потому что ей не хочется каждый день затаскивать на гору тяжелый ящик с красками.

Едва линия горизонта переставала разделять две потемневшие стихии, незнакомка подхватывала свою пустую сумку и усталым шагом спускалась в поселок, ни разу не проявив тех чувств, которые должна вызывать у человека ежедневно подтверждаемая бесплодность ожиданий, из чего я и делал вывод, что ее визиты на Пятибратку носят всего лишь созерцательный характер.

Как я уже говорил, подойти к незнакомке на ее наблюдательном пункте мне каждый раз мешала некая отстранённость её от всего брэнного. Чем ближе я представлял себя и её наедине среди стихий, тем острее чувствовал собственную брэнность, и не было силы, которая выгнала бы меня из укрытия.

Несколько случайных встреч на улицах поселка усилили мое желание познакомиться с таинственной красавицей, однако и укрепили её и без того неприступные позиции. В спокойных ее глазах угадывались пропасти, куда более глубокие, чем за вершиной Пятибратки, точёные черты лица казались изваянными где-то за пределами обозримого Космоса, линии фигуры вызвали мысль о тетиве и струнах, а все движения, грациозные и легкие, напоминали только об одном: протягивать руки к пантере - опасно.

Такими я помню сегодня свои тогдашние впечатления и говорю о них затем, чтобы объяснить, почему первое лето в Пятибратске ушло у меня на привыкание к собственному страху перед неотразимой незнакомкой. Закончив дела, я уехал из посёлка в странной уверенности, что за предстоящий год ничего в жизни красавицы не изменится.

В начале следующего лета я приехал, чтобы завершить свои дела и больше никогда не возвращаться в этот приморский городок, который к тому времени уже стали именовать городом. Как я и ожидал, ничего там не переменялось, и в первый же вечер на вершине горы, которую я для себя переименовал в Грудь Красавицы, замаячила знакомая фигурка.

Мои прошлогодние подсматривания возобновились с удручающим однообразием и к концу лета я стал чувствовать себя объектом какого-то недоброго розыгрыша, заговора со стороны местного населения, мне стало казаться, что на мою позицию за бугорком каждый вечер направлены сотни биноклей из городка, с морского причала и даже с короткой пустой дороги между ними. Я уже вглядывался не столько в точёные черты моей жертвы, сколько в дома и деревья под горой, и, хотя ничего подозрительного не замечал, ощущение того, что жертва здесь - я, не проходило.

За неделю до отъезда, не выдержав придуманного мною зрительского интереса, я поднялся по тропинке до самого камня и поклонился в ответ на удивленный взгляд. Ужас моего состояния прекрасно дополняли быстрые серые тучи, которые почти задевали наши головы, обдавая сыростью так, что хотелось пригнуться.

- Простите, - сказал я, умирив руками сердце и вспоминая приготовленную для знакомства короткую речь. - Простите...

Она молча ждала и не проявляла ни малейшего желания мне помочь. Со мной же случилось то, что и должно было случиться: я обнаружил, что все слова просыпались из головы во время подъема. Вместо мыслей там бился пульс, а в горле было горячо и сухо, несмотря на окружающую сырость. Но что-то говорить было нужно, и наконец я услышал, как между шершавыми губами со скрипом протискивается пошлейший и глупейший вопрос:

- Не скажете, который час?

- У меня нет часов, - она ответила быстро, голос ее был хрипловат, но не лишен мелодичности, в глазах не появилось ни насмешки, ни кокетства - ничего, кроме еще большего спокойствия, которое мне тут же захотелось назвать потусторонним. Она метнула взгляд куда-то в сторону, резко повернулась ко мне спиной и отошла за камень, давая понять, что воспитанный человек должен убираться без объяснений.

Утешаясь тем, что мою воспитанность все же заметили, иначе обошлись бы покруче, я счел свою операцию бесславно законченной и побрел вниз, к развилке двух тропинок. Но едва я по одной из них углубился в заросли боярышника, сзади раздалась быстрые шаги. В них была опасность. Это были не ее шаги. Быстро оборачиваясь, я успел вспомнить ее короткий взгляд в сторону. Значит, меня не обманула моя кожа: все эти дни за мной наблюдал по крайней мере один человек.

Этот человек на вид показался не столько опасным, как я было представил. Таинственная красавица заслуживала более крепкого, более красивого, а главное - гораздо более молодого телохранителя. Впрочем, если понимать это звание буквально, то годился и такой - худощавый, подвижный, среднего роста и совершенно седой, годный незнакомке скорее в дедушки, чем в отцы.

- Момент, - сказал он требовательно, не проявляя, впрочем, открытой агрессивности.

Я молча ждал в удобной для обороны, но непринужденной позе.

- Больше к ней не подходи, - велел старик, приблизившись.

- А то что? - Меня такой тон всегда побуждал к активному протесту.

- Исчезнешь, - был ответ. - Под обрывом найдут.

- Твое счастье, что старик... - я сделал движение, чтобы уйти, но он бросился на меня.

Его преимуществом было нападение несколько сверху, моим - молодость, некоторое знакомство с боксом и неплохая реакция. Я легко отбил первый удар и только тогда понял, что это просто отвлекающее движение, которое лишь показалось мне сильным. Настоящим ударом он согнул меня пополам, от следующего я лишился чувств.

Очнувшись, я обнаружил себя оттащенным в кусты, уложенным на спину и сжатым его древесно-твёрдыми коленями. Каменный его зад больно опирался на мою диафрагму. Одна ладонь покоилась на моем сердце, другая была занесена для удара, глаза из-под седых кустистых бровей смотрели, как два прицела.

- Слушай меня, - сказал он тихо. - Сейчас ты уйдешь, а завтра уедешь. Твои дела здесь уже закончены, да это и неважно. И забудь её, так лучше.

- Дочь твоя, что ли? - просипел я. Он не ответил и поднялся на ноги. Я тоже встал и снова спросил: - Внучка?

- Дурак, - был ответ. - За два лета ничего не узнал.

- Не хотел спрашивать, - я обиделся. - Что я, на базаре?

- Тогда молодец. - Он помолчал, ожидая, пока я отдышусь и отряхнусь. - Её все знают.

- Тогда скажи. Всё равно завтра уеду.

- А говорить нечего. Он уплыл пятьдесят лет назад, она обещала дождаться.

- Сколько? - Я, конечно, не поверил.

- Пятьдесят, - повторил он спокойно. - Теперь иди.

Обнял железной рукой за талию, вывел меня на тропинку и подтолкнул.

- А ты ей кто? - спросил я.

- Неважно, - был ответ. - Шагай, живи дальше...

Вот такая реальная история, проливающая свет на иррациональные свойства любви. До сих пор сомневаюсь, не был ли этот человек обманщиком и просто любящим дедушкой. Не была ли красавица тихой пациенткой врача-психиатра? Был ли я сам в те два лета психически нормальным: в позднем юношестве ведь бывают временные помрачения... На всякий случай можете не сомневаться, что городок Пятибратск называется совсем иначе, а может быть - существует только в моем иррациональном воображении. Важно в этой истории не место, не название и не время событий. Важно отыскать реалистическое объяснение чуду. Ведь это действительно важно?

Владимир Шкаликов

ПРОЛОГ МЕЖДУ ЖИЗНЯМИ

Ни здесь, ни там - нигде не надо встречи,
И не для встреч проснёмся мы в раю.

М.Цветаева

Тупая пуля могла и не попасть Ханову в сердце, но задела шестое ребро, кувыркнулась и, разорвав миокард, заняла правое предсердие.

Этот печальный вывод услышали реаниматоры после бешеной гонки по городу и пробежки с носилками по академическому стационару, когда ас нейрохирургии доктор Могильников раскрыл наконец грудную клетку.

- Здесь хоть штопай, хоть латай, - так он всегда определял летальный исход. - Зашивайте и - в морг.

И утратившее пригодность тело отправили в последний, скорбный путь.

Сам же Ханов между тем пребывал в немыслимом невесомом движении среди черноты и звезд, навстречу непостижимо обширному и яркому свету, навстречу любви, которой так и не достиг он на Земле и которая теперь ощутимо заполняла пространство, звала и утешала.

"Я слышал об этом от кого-то: душа после смерти улетает к звездам и оттуда медленно и долго возвращается на Землю. Метеорные следы в атмосфере - это возвращение душ. Красивая сказка... И что-то о любви... Не верится..."

Вслед за этой мыслью Ханову стало смешно: можно не верить в бога, в чёрта, в загробную жизнь, даже в кротов, если никогда их не видел, но не верить в самого себя... Ведь он теперь - душа без тела, он летит как раз туда, к звёздам, после чего, наверно, состоится возвращение... На Землю... Она сейчас должна быть сзади. И надо оглянуться, чтобы запомнить дорогу, - вероятно, так делают все умершие. А кто не делает, тот не возвращается.

"Мыслию, значит всё-таки существую. Приходится верить".

Мефодий посмотрел назад. Но никакой Земли среди звёзд не обнаружил. Наверно, улетел слишком далеко. Вот это скорость... Ну что же, если суждено вернуться и если загробная жизнь - вот она, значит найдётся кому показать обратную дорогу. А то и проводить. Вперёд!

Едва приняв такое решение, Ханов растворился в могучем свете, но вовсе не перестал существовать. Более того - в один приём понял всё, чему не находил объяснений в телесной жизни. Понял, ничего не спрашивая, ни к кому не обращаясь, никого не видя, ничего не чувствуя. Понял - и всё тут.

"Я стал частью Вселенского разума, именуемого на Земле Богом... В другое время не упустил бы случая позубоскалить, а теперь - будьте любезны - вспоминаю, что какая-то из земных религий весьма близко подошла к истине... Которая из них? Да какая разница: все они, в сущности, равны... Можно, конечно, и вспомнить. Сейчас можно вспомнить всё, что угодно, даже то, чего никогда не знал. Что с памятью? О, это сами собой распахиваются тайные входы, куда в покинутой жизни решался лишь заглядывать!"

Ханову припомнилось одно из таких посещений. Световое пространство, костёр из случайных образов, тень дыма на облачной массе и беседа с этой тенью:

- Говори! - Мефодий потребовал уверенно, не сомневаясь, что ответят.

- Хорошо, - он не услышал, а почувствовал ответ, и сразу же ему явился вопрос: - Каково тебе в собственном подсознании?

Мефодий сообщил давно готовую оценку:

- Как младенцу в тайге.

- Такое допустимо, - одобрила Тень.

- А как ещё бывает? - Мефодий не произносил слов, он спрашивал тем же непонятным образом, каким слышал.

- У взрослых это выглядит одинаково - слон в посудной давке. И длится недолго - все теряют рассудок.

- А я? - он ужаснулся, ожидая ответа: "Уже потерял".

- У тебя - рецидив детского состояния. Дети легко живут в своём подсознании, но, взрослея, теряют эту способность. А ты свою вернул. Таких, как ты, больше нет.

Он понял, что это разговор с самим собой. Прямой разговор с подсознанием. Невероятное общение с опаснейшим из собеседников, не опасное только детям.

- Ты прав, - сообщила Тень. - Утрата меры может стоить рассудка и тебе.

- Как это выглядит? Почему это бывает?

- Ты можешь навсегда остаться здесь. Оглянись.

Он оглянулся так быстро, как только умел. Эта быстрота одна и могла теперь спасти. Дым и

облака стремительно смыкались. Через секунду он просто не отыщет обратную дорогу...

Он бросился тогда в узкий просвет между облаками и успел вынырнуть из подсознания. На автобусной, помнится, остановке. И через несколько минут впервые убил. Рубанул по сердцу пьяного хама, который для куража молотил кулаками по лицам...

И потом убивал ещё несколько раз. Убивал клопов, тараканов, пауков, крыс, которые, однако, были всё-таки людьми...

А ведь свободный вход в собственное подсознание открылся ему раньше, во времена мученичества и душевной чистоты. Аспирант Ханов не принял в соавторы клопа-завлаба, ушёл из лаборатории, из института, нанялся красить церковный купол, чтобы заработать на сооружение своей установки, произвёл в ней шаровую молнию и ею - молнией! - был вознаграждён... Тогда бы уйти в подсознание да остаться в нём - и не имел бы теперь проблем...

Но какие теперь-то - ТЕПЕРЬ-ТО! - проблемы? ...Сия религия именуется кришнаитством. Более других заигрывает с наукой. Её профессора сообразили, что человеческая душа - упорядоченный и устойчивый сгусток электромагнитной энергии (сам Мефодий додумался до этого еще в студенчестве, высказался на философском семинаре и немедленно получил от доцента Сенина ярлык - "ползучий эмпирик"). Энергия души высокочастотна, и чем выше частоты, тем чище душа, тем ближе она к идеалу, тем вероятнее ее слияние с Богом, то бишь с неким Вселенским, Всеобщим Разумом - называй как угодно, только пойми суть. Чистыми, любящими душами обогащается этот Всемирный Разум, а нечистые, отягощённые злом, ненавистью, нетерпимостью - после освобождения из грешного тела обязаны испытать суровую реинкарнацию. Мудрёным этим словом мудрецы-йоги именуют очередную тяжкую попытку пройти жизненный путь на Земле, чтобы, может быть, приблизиться-таки к Богу. То есть, грубо говоря, душа усопшего грешника не становится мстительной ларвой или лемуром, а вселяется в новорожденного человеческого (и только человеческого!) младенца и получает шанс развиваться с ним "от нуля" и правильно. А чтобы не мешали проблемы и соблазны прошлого, память обо всех его предыдущих жизнях надёжно запирается в подсознание - в те девяносто процентов якобы бездействующих клеток мозга, о которых столько спорят ни в каких богов не верящие мудрецы-физиологи. Правда, иногда, особенно в чуткую пору детства, человеку являются странные вести, будто вот в этом доме он когда-то бывал, а вот эту фразу, да ещё с точно такой же интонацией, однажды слышал. И тому подобное. Эти фразы, прорывающиеся из кладовых подсознания, у мудрецов-физиологов получили оскорбительный ярлык - "ложная память". Интересно, как бы они окрестили похода Мефодия Ханова в эти самые кладовки? Какой-нибудь "психической аномалией", каким-нибудь "раздвоением личности" или чем ещё попроще?

Но всё это для Мефодия теперь не более чем игра ума. Он постиг здесь премудрости вполне прозаические. Личность его не распалась, только освободилась от суеты, и проблема - ах, теперь-то! - хоть одна, да всё же осталась. При явном наличии Души, Того Света и, стало быть, Бога, совершенно неясным оставался вопрос: что этому Богу с этой Душой на этом самом Том Свете делать? Ибо и Бог, и Душа, и Тот Свет - всё это есть сам Мефодий Ханов, и решение принимать ему самому.

Все прошлые жизни открылись Мефодию во множестве неприглядностей, за которые и подвергался он множеству инкарнаций. Время оказалось не бесконечным потоком из Всегда в Никогда, как его учили на Земле, а замкнулось неизмеримо большим кипящим котлом, полным божественного Света безмерной Любви, вместившим всю многозвёздную, многопланетную Ойкумену, способную свести с ума ограниченного в знаниях землянина, однако вполне представимую для мощного, многожизнивого разума Мефодиевой свободной Души.

О да. Свобода оказалась самым значительным его приобретением. Он мог ринуться по волнам божественного Времени в любом направлении и сойти на любой остановке: хоть в каменном веке на Земле, хоть в любой эпохе на любой из прочих обитаемых планет. Всё мгновенно и всё разрешено. Только при одном условии: жизнь в новом теле начинается с полностью заблокированной памятью о прошлых жизнях. Эвридику не найдёшь, врагу не отомстишь, другу не поможешь. Совершенствование своё в новом теле направлено исключительно на слияние с божественной сутью, то бишь со Всемирным Разумом, который, в свою очередь, занят всё более глубоким самопознанием Природы и осторожным совершенствованием Её в разумных пределах, то бишь в пределах её саморазумения, увы, не безграничного.

"А Всемирный Разум не лишён самоиронии, - подумал Ханов. - Или это доступно лишь отдельным его составляющим, вроде меня?"

Почувствовать себя Отдельной Составляющей Всемирного Разума было небесприятно и даже лестно. Однако и здесь свобода явно имела разумные пределы. Ханов уже чувствовал силу, которая подталкивала его к каким-то действиям.

"Интересно, каких действий можно добиться от бестелесной и бесполой субстанции? Я ведь, кажется, бессмертен..."

Ханов подумал так среди нарастающего беспокойства, какое испытывал нередко и на Земле - в моменты затянувшихся безделий.

Беспокойство усиливалось, и тем острее осознавалась задача.

"Вот так задача!.."

Оказалось, Бог - это не просто Душа Мира, не просто Высший Суд, которого боятся, тайно боятся на Земле даже атеисты. И не приёмник здесь распределитель: одних - в геенну-реинкарнацию, других - в вечное просвещенное блаженство, с уверенной простотой, обещанной мудрецами-кришнаитами и им подобными.

Слишком просто было бы это: поделить души усопших на агнцев и козлиц и воздать им по двоичной системе, как рекомендуют Библия, Талмуд, Коран и прочие своды. Не очень сложен и вариант великого Данте с его ограниченным количеством потусторонних кругов и весьма условной раскладкой грехов. Ах, насколько сложнее обстояли дела в этом Глобальном Мозге - куда там жалкому десятку миллиардов человеческих нейронов!

При некотором напряжении Мефодий различил, каким неимоверным количеством душ кишит любвеобильное божественное пространство, и как много среди них обыкновенного мусора - даже не стоило трудиться в подборе определения. Каждого можно было разглядеть насквозь, и почти каждый был по-своему негодяем.

"Ничто, увы, не абсолютно" - чьи это слова? Гм, мои. Но и не мои. Вообще, ЧТО У НАС - НАШЕ?"

Мефодий взгляделся, надеясь увидеть знакомые лица, и, конечно, увидел их. Мелькнули все убитые им негодяи, мелькнул нацист Кунченко, чья пуля столь безнадежно испортила тело Ханова (убит, стало быть? кем?), мелькали и другие, незнакомые, но легко доступные полному пониманию - пустые души, которыми и булыжник населять не стоит.

Едва Ханов сосредоточился на булыжнике, перед ним почему-то возник образ Ольги, жены Игната Эвкалиптова, из-за которой, собственно, к пришло ему пойти под пулю.

- Тебя всё-таки убили? - спросил Мефодий без слов и тут же получил ответ. Это была не беседа, а слияние двух душ, в которых не было тайн друг от друга, но которые при этом не могли ничего взять друг у друга и ничего дать, кроме информации.

Да, Ольгу убил тот же человек, который почти за сутки до этого убил Мефодия. Из того же пистолета... Но, между прочим, за год до этого Ольгу пытался убить сам Мефодий. Он помнит мотоциклиста, в которого бросил булыжником? В темноте, за городом? Это был Игнат. А сзади сидела Ольга. Спасая Ольгу, Игнат не уклонился, а отбил камень плечом и из-за этого потом лежал в госпитале. Никто не погиб, Мефодий может не страдать от этого греха. Они даже поженились после этого.

Нет, возразил Мефодий, не результат здесь важен. Важно побуждение. Готов был убить, чтобы завладеть мотоциклом, значит виноват в убийстве не меньше, чем Кунченко. Даже больше.

Нет, возразила Ольга, помешательство влюбленного и помешательство нациста - состояния этически разного порядка. Он убивал на почве ненависти, а ты - на почве любви. Кстати, тогда, в тот вечер, наш мотоцикл помог тебе в твоей любви? Ты успел к Марине?

Не стоило спешить, ответил Мефодий. Она оказалась непригодной для любви. В следующей жизни я не хотел бы её встретить.

А ты намерен вернуться?

Ещё не знаю. Сначала осмотрюсь.

Не очень интересное занятие - осматриваться там, где всё понятно.

Всё понятно с негодяями вроде Кунченко и его сообщников, которых неподражаемый Евгеша Малюхин уложил в рукопашной: все они подлежат Абсолютному Демонтажу.

Всё понятно и со святыми вроде Ольги: их души безусловно останутся в здешних сферах, ибо постигли Любовь, преисполнены ею и достойны вершить судьбы мира. Их, впрочем, единицы, и это печально, потому что в подавляющем большинстве здесь такие, как Мефодий.

Ольга могла бы, конечно, и вернуться в Человечество, но во всех предыдущих жизнях ей приходилось мученичество - и довольно: решила, что в АДД она для Человечества нужнее.

Ханову, как специалисту по физике и электронике, Абсолютный Демонтаж Душ вначале показался привлекательным, но подробное знакомство с делом убедило, что чисто техническая подготовка здесь вовсе не важна. Научные проблемы решены вполне, хотя и не такой уж простой это труд: разорвать многие миллиарды связей в весьма сложном энергетическом пакете высокой частоты и, поскольку его самостоятельность от этого утрачивается, найти ему применение уже не в качестве свободной души, а для ремонта других, достойных, но изношенных, стремящихся вернуться на свою планету и стоящих того.

А вот и самая главная из сложностей Всемирного Разума: возвращение душ Человечеству. Сколь ни мал процент полностью созревших, некоторые из них всё-таки желают вернуться к телесной жизни, к страданиям брэнной плоти. Нелепый вопрос: "Зачем?" и ещё более нелепый окрик: "Не смей!" здесь не работают: свобода выбора - превыше всего. Но кто же будет вкалывать в аду, то есть в АДД? Хроническая нехватка, грубо говоря, рабочих душ приводит к тому, что неисчислимое количество душ негодных обитает в потоках Бесконечной Любви и при первом же недогляде многие из них норовят вернуться на Землю, а некоторым это даже удаётся.

Однако закон Света суров: никаких уговоров и никакого насилия, ибо томление чистых душ куда вреднее для Высшего Разума, чем болтающиеся в его просторах без дела мелкие частицы душев-

ного мусора.

Ханов расстался с Ольгой и призвал душу негодяя Кунченко.

- Будешь прорываться на Землю? - спросил Мефодий.

- Обязательно, - ответил убийца. - Мы ещё не всех святош отправили сюда.

- А если сам святошей станешь?

- Этого не будет. Доказано. Посмотри, какое у меня подсознание. Что можно оттуда извлечь, чтобы стать святошей?

- А почему не стать просто так, без наследственности?

- Потому что святость мы понимаем иначе, чем ты и тебе подобные. Наша святость - это чистота вида, рода, расы, языка, обычаев, идей - всей культуры, принадлежащей НАМ. Наша святость - это непримиримая, истребительная ненависть к амёбам вроде тебя, этого Евгеши, вашего Игната и его Ольги. Мне очень жаль, что не могу прямо сейчас устроить вам абсолютный демонтаж и вообще не в состоянии захватить здешнюю систему. Я здесь, как и вы, преисполнен Любовью. Но моя Любовь - совсем иного рода. Мы с тобой встретимся в следующей жизни, можешь не сомневаться, мы узнаем друг друга - и вот тогда побеседуем о любви более предметно. Уж там-то демонтаж будет в моих руках!

После этого разговора перед Хановым уже не стоял вопрос, работать ему в АДД или возвращаться на Землю.

"Я ещё не готов терпеливо чистить от мусора Высшие Сферы. Ни у добрых, ни у злых здесь нет страданий. А где-то на Земле сейчас готовится к рождению тело, в которое намерена вползти душа законченного, абсолютного негодяя. Это место должен занять я. А когда вырасту большой, я научусь различать негодяев и вышибать из них душу. Назад, на Землю!"

Два ярких метеорных следа вспыхнули в земной атмосфере одновременно.

Владимир Шкаликов

ПРУД И ЛЯГУШКА

Киселёва скала - место под Туапсе примечательное. Правильнее называть - скала Киселёва, поскольку художник с такой фамилией там любил творить, по нему и назвали. Торчит она из волн метров на семьдесят в высоту, отрезая от моря крохотную бухточку с коротким приятным пляжиком. Наверху лес, и вид оттуда - как раз для живописцев. Людей на пляжик доставляет утром прогулочный катер, а к вечеру он же их забирает. Продукты и воду надо привозить с собой, потому что обслуживания - никакого. Из развлечений, пожалуй, только подводная охота да тихие игры, потому что всякой беготни наклонные плиты и крупная галька не допускают. Дикость этого уголка усиливается и самим видом скалы, будто склеенной из дыбом вставших тонких пластов тёмной породы. Больше сказать об этом месте нечего и незачем, ибо среди местных и приезжих отдыхающих оно особой популярностью не пользуется да и в моём рассказе играет главным образом роль фона.

Однажды праздное любопытство заманило меня на катер и я сошёл на мокрые серые плиты вместе с четырьмя незнакомыми людьми. Из них двое были молодыми атлетами и немедленно занялись своими гарпунами и ластами, а двое других - с виду супруги - подхватив сумку и этюдник, начали восхождение на скалу. Труд был, впрочем, невелик: это к воде махина обрывалась почти отвесно, как форштвень старинного броненосца, а от пляжа вверх вилась вполне натоптанная, хотя и крутая, тропинка.

Первым делом я, конечно, искупался, потому что июльский день был ясен и тих. Уже начинался прибой, и я покатался в волнах по гладким плитам, устилавшим с моря подножие скалы. Потом побродил по пляжику с фотоаппаратом, выбирая ракурс, несколько раз вполне удачно отснял скалу - с человеческими фигурками наверху и внизу. А дальше делать становилось совсем нечего: либо ложись читать и загорать либо полезай, пока свеж, наверх и сфотографируй что-нибудь оттуда. Но съёмку сверху я решил отложить до возвращения художников - чтобы не мешать искусству ремеслом. Лёг и раскрыл книгу.

Это была вполне пляжная, много раз читанная между экспедициями, "Территория" Куваева: Чукотка, золото, пурга, правда о романтике. Но, едва дочитав на первой странице любимое место, как два портовых бича сплёвывают в Ледовитый океан и уходят зарабатывать на продолжение жизни, я услышал рядом шаги по гальке.

Муж-художник спустился, чтобы, наверно, взглядеться в пейзаж.

- Не тот колор? - спросил я весело, чтоб не обидеть. Он тоже улыбнулся.

- В нашей семье художник не я. - Сел рядом, раскрыл пластмассовую коробочку и начал расставлять шахматы, взглянул на меня: - Хотите?

- Хочу.

Игроком он оказался слабым. Ещё до начала партии заявил защиту Филидора, заученно выдвинул пешки, но продолжения действий явно не знал и скоро беззаботно сдался. Та же судьба постигла у него английское начало, потом сицилийскую, славянскую, индийскую, староиндийскую, ещё какие-то защиты и начала, громко-именные гамбиты... Он знал всё, но не умел ничего. Играл по наитию, а оно у него было таким же беззаботным, как и отношение к игре.

Зато собеседник это был отменный. Для начала - к слову и к месту - пересказал довольно ярко новеллу о гроссмейстере, который в шахматном павильоне городского парка проигрывает случайному партнёру, увлёкшись "линией слона", будто партией скрипки в оркестровке. Потом темы беседы перетекали одна в другую с той чудной непринуждённостью, какая бывает только на пляже да в вагонном купе: собеседники от безделья просто занимают друг друга, заодно занимая себя незатейливой психологической тренировкой: найти совпадение интересов, избежать слишком острых поворотов тем, а попутно, если получится, узнать что-нибудь полезное или хотя бы интересное.

В разгар нашей игры ненадолго подходили ластоногие атлеты. Показали очень колючую рыбку, которой мой партнёр попугал их, сообщив, что шипы этой скорпены весьма ядовиты. В ответ один из ныряльщиков обронил в пространство между нами: "Проигранная партия". И они медленно удалились, обсуждая свои планы:

- Может, прыгнем в море со скалы?

- Неинтересно. Уже прыгали.

- И как?

- Никто не выплыл.

Партнёр спросил меня:

- Как думаете, из-за высоты погибали?

- Из-за глубины тоже, - ответил я уверенно. - Судя по следам, там и в прилив не более двух метров. Кстати, пока совсем мелко, можно развлечься. Идёмте!

Мы покатались в волнах под скалой и вернулись к шахматам.

- А хотите, - сказал он вдруг, - я у вас выиграю... разгромно? Один раз, по заказу!

- Вы - тот самый гроссмейстер?

- Нет. Я играю именно так, как вы видели. Но ОДНУ партию могу выиграть. Именно по заказу.

- И именно разгромно?

Он кивнул без улыбки и ждал, соглашусь ли.

- В чём же тут дело? - спросил я.

- А вот сыграем - тогда расскажу. Если выиграю.

Я, конечно, согласился.

Он взял себе чёрные и на этот раз до самого мата не произнёс ни слова. Не объявлял ни дебютов, ни защит, а просто играл "от меня", предугадывая стратегию и опережая в тактике. Партия окончилась быстро и вышла именно разгромной, как было обещано.

- Ещё! - вскричал я, распалившись.

- Нет-нет, - он беззаботным жестом отодвинул шахматы. - Любое количество партий я теперь проиграю. И, уверяю, это не будут поддавки. Не подозревайте, что нарвались на гроссмейстера, и не обижайтесь. Это не розыгрыш. Это - рок.

- Рок?!

Он в ответ сощурился, и в глазах не было уже беззаботности.

- Раз обещал - расскажу. Тем более, что у меня тут есть и некоторый свой интерес.

- Какой?

- Там разберёмся. Может, найду что-нибудь. Ни о чём не спрашивайте и не думайте, просто слушайте - это и будет ваша помощь.

- Методом отражения?

Он кивнул и начал рассказывать.

- Началось это в самом конце детства, на школьном выпускном вечере. Была у нас, как в любом классе, своя "звезда" - первая красавица, первая ученица, заводила, спортсменка и прочее. Одноклассники обычно на такую не то, что посягать - смотреть боятся. И для самооправдания считают её душой, выскочкой, подхалимкой - чем угодно недостойным внимания. А кто-нибудь один по ней тайно сохнет. Это был я. И вот на выпускном балу вдруг УЗНАЛ, что сегодня, сейчас, прямо здесь же - могу её влюбить в себя, соблазнить - что угодно. Как я это УЗНАЛ - понял, почувал, всплыло откуда - объяснить не могу. Изнутри откуда-то встало таким образом объёмным, эпизодом из пьесы: подхожу вот так, приглашаю танцевать, дальше - руками, глазами, словами... Трудно это объяснить... После первого же танца увёл из школы, дальше, дальше, заговорил, заморочил, очаровал, соблазнил, довёл до экстаза... Был необученный молокосос, а действовал - сейчас бы лучше не смог!

Не вдаваясь в подробности, объясню только суть феномена. Многократные наблюдения показали, что во мне прорезался уникальный рекордный дар, но - с таким изъясном, который все рекорды сводил к нулю. Я поступил в престижный институт с первой попытки. Учился ни шатко ни валко, но не завалил ни одного экзамена. Если б завалил, пересдать уже бы не смог. Стал чемпионом института - по стрельбе, города - по лыжным гонкам, области - по биатлону, республики - по прыжкам с трамплина и - порвал со спортом. Выиграл межвузовскую математическую олимпиаду. Спас за один раз десять детей из перевернувшейся лодки, вместе с их учительницей. Однажды голыми руками обезоружил и сдал в участок шестерых налётчиков, вооружённых ножами. Ножа в чужих руках, кстати, всегда боялся и боюсь. Раз приподнял перевёрнутый грузовик, чтобы освободить придавленного человека... Однажды догнал и задушил на улице взбесившуюся овчарку... Был случай, когда мне пришлось сыграть на рояле первую часть "Лунной сонаты" Бетховена - до этого я слышал её раза два, а за рояль сел вообще впервые, не зная нот... Ну, что бы ещё, позанимательнее?... Спортивной самолёт в аэроклубе угонял по молодости. Аккуратно посадил его на пустое шоссе - дело было ночью - и скрылся... По мелочам многое. Например, однажды наложением рук за час полностью залечил перелом голени - пациентка сразу смогла быстро идти. Из старого золотого кольца, почти не имея инструментов, изготовил пару серёг с насечкой и гравировкой - не отличали от магазинных. Однажды из малокалиберной винтовки выбил последнего гуся в косяке, который летел выше пятисот метров...

Можно ещё навспоминать такого же, и всё покажется вам враньём. Тем более, что своих имён мы друг другу не назвали, сегодня же расстанемся навсегда, поэтому, как говорится, никакой ответственности. Но важна не вера. Важно понимание изъясна, о котором я заикнулся в самом начале... Ага, вы заметили! Общее для всех моих "подвигов" - их единственность. Она же - изъясн. Что бы я ни сотворил, повторению не подлежит - не сумею.

- Всё на стрессах? - спросил я осторожно.

- Да. Какая-то невероятная собранность, сосредоточенность, как будто шаровая молния внутри, сама из чего-то рождается, сотворит чудо и тут же исчезает.

- Не верю, что вы не пытались анализировать.

Он вздохнул и почему-то посмотрел вверх, на зелёную причёску скалы, где у самого обрыва замерла с этюдником женская фигурка.

- Да анализировать-то особенно нечего... Знаете, каждого в детстве посещает такая мечта: вот встречу волшебника, а он предложит загадать любое желание - что же у него попрошу? Было у вас

такое?

Я кивнул.

- И у меня было, - продолжал он. - И даже более того: встреча такая случилась. Только немного наизусть. Волшебником пришлось стать мне - самому.

Он помолчал, не решаясь, видимо, продолжать, ещё раз поглядел вверх. Наконец махнул рукой.

- А, ладно! То, что ищу, может быть, и не найдётся, но на всякий случай надо пошевелить ситуацию... Я рассказывал о "звезде" нашего класса - помните? Ну, так вон она, рисует. Очень талантлива. Выставляет пейзажи, портреты. А работает - учителем начальных классов... Вот вам мужская тайна, по случаю полного нашего незнакомства: соблазнил после бала, а она: "Ещё! Ещё! Ещё!" - до самого утра! И я сумел. Это же несколько часов без передышки - попробуйте-ка!.. И уже точно знал: всё, что она захочет, смогу сделать.

- Но только по одному разу?! - догадался я.

- Это выяснилось потом.

- И с близостью? - вопрос был бестактным, но я чувствовал, что сейчас всё дозволено.

- Э, нет! - он засмеялся. - Не ходить бы мне до сих пор в мужьях... Это единственный подвиг, который мне всегда удаётся. Всегда могу и всегда хочу. Может быть, в том и причина: всегда хочу. Притом не вообще хочу, а именно её, с ней, для неё. А прочие чудеса - нужда заставляла... Её в классе боялись ещё и за авантюризм. Чересчур любила риск. Самые отчаянные парни с ней тягаться не решались. Войдите-ка в клетку к пантере! И пришлось мне оказаться проворнее пантеры. Вот эти два шрама... Второй бы раз, конечно, не смог. Но моя "звезда" - на моё счастье - не любит повторяться в своих авантюрах. Покататься ночью над городом на самолёте захотела всего раз. Угнать грузовик и перевернуться на нём - тоже одного раза хватило. Тем более, что ломать кузовом ногу не так уж приятно... Да и тонуть вместе с чужими детьми - тоже не очень весёлая экскурсия...

- Какая у вас трудная жизнь! - вырвалось у меня. - Это ж надо везде за ней успевать!

Он посмотрел на меня благодарно и с улыбкой поправил:

- Не за ней, а желательно всегда чуть раньше... Лягушка-путешественница. А я для неё - то утка, которая ей помогает, то пруд, в который ей не опасно свалиться.

- Так вы сейчас, - я вдруг понял, - в очередной раз пытаетесь догадаться, кем вам быть - уткой или прудом?!..

Он улыбнулся ещё раз, мельком взглянул наверх, тут же вскочил и со словами: "Прудом, прудом, если успею!" бросился к скале.

Я тоже поднял голову.

На площадке, выходящей к морю, не спеша раздевалась женщина.

30.11.95г.

Владимир Шкаликов

СИЛА УМА

С человеком - я имею в виду такого же умного, как я, - беседовать всегда интересно. Но и утомительно, потому что человек - супротивен, или, научно говоря, негативен. Особенно умный. Человеку обязательны во всём препятствия. Ему неинтересно просто кивнуть, если кто-то сказал что-то дельное: он норовит поглядеть, какая там изнанка и нельзя ли дельную мысль перелицевать. Человек любит авторство, лидерство, победительство, и вот из-за этого утомительного недостатка я заменил себе живых собеседников универсальным компьютером. Исчерпывающая копия моего мозга в его памяти плюс его дополнительные возможности к саморазвитию плюс монитор с большим цветным экраном, а на экране - моя умная физиономия. Или ваша. От души рекомендую: нет ничего содержательнее беседы с самим собой, притом улучшенным и с буквально золотыми нервами. Не спорщик, а именно собеседник...

Был у нас только один конфликт, да и тот - пустяк. По поводу превосходства природного интеллекта над искусственным он пытался мне возражать: дескать, у каждого свои сильные стороны. Я предложил для установления истины потягаться на руках, и он, конечно, проиграл, потому что: у кого свободная рука на потенциометре, тот и напряжение регулирует. Он, правда, пробормотал, пыхтя, что-то насчёт корреляции силы и ума, но - неразборчиво.

Перспектива у этого дела совершенно очевидная: закончу сборку второго такого же балбеса, поставлю их друг перед другом - пусть беседуют, а сам займусь, наконец, вплотную тяжёлой атлетикой.

Владимир Шкаликов

Соппротивление среды

Всё самое интересное происходит вдруг. Лучшие сны бывают под утро, перед самым пробуждением. Сегодня Илья во сне летал. Чаще всего летишь куда-то вниз, внутри всё заходится, и просыпаешься в момент удара. Но на этот раз он летал не падая, куда хотел. И земля лежала во все стороны, без всяких оконных самолётных ограничений. И без самолётного шума. Даже в крыльях не свистело, потому что не было крыльев. Илья познавал высшую свободу, и душа его рвалась сразу во все стороны, чтобы охватить весь чудесный простор за короткое время сна. Только было горьковато осознавать, что всё это во сне, и неоткуда рваться душе, потому что это она сама и летает, а тело ёжится под одеялом, такое неможное...

Душе пришлось сорваться в тело на самом воспарении, из самых горних высот и вместе с ним принять земную мерзость суеты. Василиса толкала в плечо изо всех уже сил и ругалась нецензурно, чего Илья особенно не любил.

- Да ты проснёшься, ты, матерный ты мат? Отворяй зенки, не выматёживайся тут. Давай вставай, матюга ты разматюженный... Я сколько могу с тобой выматюгиваться?

А Илья не мог ни ответить, ни даже открыть глаза. Он ещё не освоился в теле. Он был уже не ТАМ, но и ещё не вполне здесь.

Василиса увеличила амплитуду тряски, и он наконец вспомнил, как открываются глаза.

- Ага, явился, весь в пыли. Остоматерело будить тебя каждое утро. Ты для кого будильник заводишь? На твои занятия дурацкие я должна ходить? А кто тебя кормить будет? Не хочешь учиться - бросай к матерной матери, иди работать. Может, хоть тогда выплывь. Матерючий ты студент... Я с ночной пришла. Петрушку в садик отвела, вернулась, а он всё спит!

- Да я занимался почти всю ночь...

- Материзмом ты занимался! По матерюшкам пробегал, пока я на комбинате в матерюкивала! Вставай, разлётся! На пенсии будешь спать, вечный студент!

Илья вспомнил, как двигать телом, и кое-как поднялся, а она тем временем быстро сбросила всю одежду и, натягивая ночнушку, проговорила сварливо:

- Чтоб Петрушку из садика забрал. Я сегодня устала, как мат твою мать.

Хоть и ругалась безобразно, а хороша была изумительно, и Илья к ней прикоснулся. И получил по рукам, которыми успел прикрыть голову.

- Что, матерюшек мало? Всё ему дай. А кто мне даст поспать? Быстро собрался и скрылся к матерной матери. И не заберёшь Петрушку - можешь вообще не приходить. Можешь сразу, вон, с балкона, пользы от тебя... Меньше такого матерного народа - больше кислорода. Пока харю умоешь, подумай о своей жизни. Скоро тридцать, а чего ты достиг?.. Да пошёл ты...

Завернулась в ещё тёплое одеяло и канула туда, откуда вытащила Илью. Интересно, летает ли она там? Или продолжает производственный процесс - набивает фаршем колбасу?..

Илья побрёл умываться и в самом деле задумался о своей жизни.

Хоть и было о чём думать, а как-то никчёмно всё оно выглядело.

Детский сад. Слабый от рождения, он боялся стать взрослым и остаться без родительской поддержки. Детство до школы - самое счастливое время. Хоть и обижали старшие ребята, но терпелось, и было, главное, где укрыться.

Школа. Учиться трудно и неинтересно. Учителя строжатся, родители жалеют, но и они озабочены его взрослым будущим. Стараются занять спортом, но у него слабые лёгкие и никакой охоты с кем-то соревноваться. Отец заметил, что все карманные деньги Илья просаживает в тире, и записал в стрелковый клуб. Дело пошло, появилось что-то вроде уважения к себе, да к тому же тренер возлюбил его, как родного. Но через год тренер погиб, секция распалась, и некуда было больше, опять никчёмным стало существование. И не хотелось становиться взрослым. И к стрельбе охота пропала.

Профессиональное училище. Это когда отказался ходить в школу. Стали учить на токаря, а он не хотел. Тяжким был станочный дух. Ничего за год по металлу не добился, начали учить на плотника. Оказалось ещё хуже. Все эти зубастые фрезы и диски вызывали отвращение и страх... Так испробовал несколько специальностей, ни одной не освоил, но в армии из-за этого училища оказался не бойцом, а разнорабочим. Про умение стрелять он промолчал, а с плоскостопием в строй не берут. Носил форму второго срока, а вместо оружия - то метлу, то лопату, то ещё что потяжелее. Так и отслужил: никем пришёл, никем и ушёл, только немного окреп.

Родители были уже немолоды, когда дали ему жизнь. Он родился у них последним, пятым, когда старшие уже остепенились. Никто в семье звёзд не нахватал, и помощи Илья получал всё меньше. К двадцати трём его годам отец сказал прямо:

- Пора бы, сын, чтоб ты нам начал помогать, а то всё мы да мы. Не тянем уже, сам видишь.

Илья ушёл от родителей - это всё, что он мог сделать для них. Устроился дворником на три больших дома и в одном из них получил под это дело десятиметровую комнатку.

К тому времени внутри Василисы уже наметился Петрушка.

Василиса тоже была из простой семьи, но жили они побогаче, потому что работали на оборонном заводе, на хлебных должностях и детей имели всего двоих. Василиса, как старшая, была избалованной и властной. Илью выбрала сама - за внешность и мягкий характер. Это ему дозволялось не знать, за что и как влюбился, она же всегда всё знала точно и всё делала так, как хотела, и других умела заставлять.

После рождения Петрушки никто уже не мог бы выселить их из дворницкой, и она стала требовать, чтобы Илья шёл работать к ней на мясокомбинат: там и платят хорошо, и можно что-нибудь стащить, особенно вдвоём. Но Илья, после двух лет подчинения, вдруг проявил твёрдость и пошёл, без отрыва от метлы, учиться в пищевой техникум, на повара-кондитера-технолога. По вечной слабости здоровья уставал изрядно. Дворницкая находилась на первом этаже, зимой Петрушке было холодно, не искупать, и Василиса добилась, чтобы их переселили на самый верх. Конечно, стало теплее и на два квадрата просторнее, но лифт часто ломался, и многократные подъёмы пешком на девятый этаж утомляли Илью до вечно сонного состояния...

Умывшись холодной водой (горячей опять не было), Илья с отвращением побрился тупым лезвием и проснулся наконец вполне. Однако душе его стало от этого только тяжелее.

"А вот не надо было летать, - подумал он. - Не знал бы лёгкости полёта, не представлял бы и тяжести ползания".

Раньше такая ирония помогала справляться с собой. Теперь не помогла. Воспоминания о полёте усиливались невыносимо, а с ними - в той же мере - росла и тяжесть. Под её гнётом Илья вдруг стал видеть себя со стороны, будто оказался в машине без руля.

Вот его тело повесило на крючок полотенце, вот пошло через холл. Он видел справа дверь своей комнаты, а слева - три соседских: там живут двое холостяков и такая же молодая пара, как Илья с Василисой, только без ребёнка. Тело неостановимо брело по кривой мимо столиков, шкафчиков и холодильников - к пятой, балконной, двери. Она двойная, застеклённая только снаружи, а изнутри затянута плёнкой - разбили по пьянке соседи. Рука протягивается, открывает дверь с плёнкой, потом застеклённую. Ноги выносят тело на балкон. Глаза осматривают скучную городскую тесноту и опускаются на девятиэтажную глубину, к асфальту. Вон там, левее мусорных контейнеров, будет лежать это тело. Короткий полёт и лёгкий конец. А душа сможет улететь, куда ей будет угодно.

Тело сбросило шлёпанцы, взобралось на балконные перила, подняло руки и стало падать вперёд, как спортсмен с вышки. Илья подумал, что можно покувыркаться напоследок по-спортивному, но тут же расхотел и только слегка оттолкнулся пальцами ног за секунду до отделения, чтобы падать ровно, лицом вперёд.

Всё самое интересное происходит вдруг.

Вниз не полетелось. Как в воду, но без плеска, опустилось тело в уплотнившееся пространство и небыстро отплыло от балкона, насколько хватило слабого толчка. И яростное, телесное, звериное желание пожить ещё хоть немного охватило Илью. Он беспомощно и осторожно оглянулся на недоступный уже балкон, потом скосил глаза вниз - не приближается ли асфальт. Нет, балкон медленно отодвигался, но и до асфальта, секунды назад желанного, а теперь глупого, тупого, твердо-смертельного, оставались всё те же девять этажей, ежедневно Ильёй подметаемых.

"Впрочем, не девять, а восемь, - подумал Илья. - Девять - это если прыгать с крыши".

И удивился такому прояснению ума. И тут же подумал, что этой ясностью надо немедленно воспользоваться, пока цел. Раз уж так завис, надо спасти тело, пока чудо не прошло. Уж тут сомнений быть не могло: во всяком начале заложен и конец, ничто не вечно, кроме движения.

"О глупостях думаю, - решил было Илья. Но тут же понял, что мысль о вечном движении возникла не случайно. - Раз что-то не дало разбиться, оно и мысли подсказывает. Хочешь жить - двигайся.

Но как двигаться, он не представлял. Представлял, правда, как не надо двигаться. Всем телом чувствовал, что вот начни сейчас барахтаться - и сразу пойдёшь ко дну. Надо как-то плавно, не суется. Сажёнками, что ли? Или брассом? Он умел плавать. Его отец всех своих детей специально водил летом на реку и в мелкой заводи учил не тонуть. Илья вспомнил его слова: "Кто испугался, тому конец. Трус в панике глотает воду, вода глотает его. А спокойному она даёт опору. Не спеши, отталкивайся плавно, но энергично - вот и поплывёшь".

В этом отчаянном и нелепом положении Илья вдруг стало смешно. Он представил, как будет выглядеть снизу его босая фигура, плывущая брассом на уровне девятого этажа. Или классическим кролем, молота по воздуху ногами. И брызги... Как на реке...

От реки, которая текла в километре, за Горсадом, нехотая потянуло холодным ветром. Это добавило сразу два неудобства: в тонком спортивном костюмчике босой Илья сразу продрог, да к тому же его понесло на соседний дом. Этот снос его так обеспокоил, что Илья тут же забыл про холод. Дом был построен недавно, имел всего семь этажей, но по высоте равнялся старенькой "малосемейке", в которой жил Илья. Владели этими розовокирпичными хоромы так называемые "новые славяне". Среди них, правда, хватало и других наций, но между собой там было полное

единство: боевой газ, нарезные стволы, сигнализация - всё для защиты богатства от бедности. Пальнут из форточки и даже не спросят, почему это ты летишь. Они ничему не удивляются.

"Скоро мёртвым полечу", - подумал Илья. И со страху сразу же понял, как надо двигаться.

Уже до опасных лоджий, оправленных в розовую кедровую резьбу, оставалось два десятка метров, уже можно было прикидывать, на крышу которого из лимузинов во дворе свалится пробитое пулями тело, но Илья успел этим телом овладеть. Не сажёнки и не брасс, а лёгкие, плавные изгибы дельфина - и направление полёта изменилось. Шире, сильнее размах колебаний - и движение ускорило. Опасный дом остался в стороне, потом позади, Илья широкой дугой облетел мебельную фабрику, в чьём доме жил, и увидел впереди свой балкон с распахнутыми дверями и хлопающей плёнкой вместо стекла.

"Надо закрепить плёнку", - мелькнуло в голове. И тут же он прогнал суетную мысль. У него вообще пропала охота возвращаться на балкон, входить в убогий холл, пропахший варёной капустой - не оттуда ли он пять минут назад шагнул на тот свет?

Дельфины движения разогрели тело, ветерок от реки временно угас, и незадачливый самоубийца перестал двигаться, завис перед своим балконом, только тепер повыше.

"Значит, могу и вверх! Куда руками рулишь, туда и летишь".

Он мог спикировать на балкон, но не хотел. Мог спуститься вниз, к спующим пешеходам, которые не поднимали голов и не видели висящего в пространстве - но он был им не нужен. Тем меньше были нужны ему они. Ему не везло среди них, с самого рождения, дольше, чем он себя помнил. Они легко осваивали то, что не давалось ему, в том числе и техникум. Он и туда не хотел. Василиса правильно не верит: не стать ему пищевым технологом - ни по желанию, ни по способностям. Но и запихивать фарш в коровьи кишки он тоже не пойдёт.

"Вот и болтайся между небом и землёй, пока не кончится чудо. Главное - не терять высоту, чтобы разбиться наверняка".

Стало досадно, что даже такой счастливый подарок не спасает неудачника от самоубийства. Ну, научился немного летать, а дальше-то что? Никому это не интересно, кроме врачей, да и то не всех. Кто-нибудь удосужится, возьмёт твою кровь на анализ, да при этом внесёт тебе в вену какую-нибудь заразу. И так, наверно, что-то внутрь попало, раз начал летать.

Илья висел над балконом и вспоминал, что же такое он съел вчера. Или выпил? Ну абсолютно же ничего. Он давно на хлебе и воде. И сегодня ничего не было, кроме утреннего сна с полётами да того отчаяния, от которого, как ему показалось, закипела и ударила в голову кровь. Теперь, однако, кровь не билась пульсом в висках, и в мозгу было ясно. Мозг всё больше брал верх над отчаянием. Мозг требовал спокойного, свободного, ровного времени на обработку странного события и удивительного состояния.

"Вот те раз, - подумал Илья, - на сколько же частей я разделился? В теле живёт мозг. В мозгу трудится разум. Там же чем-то занимается тёмное подсознание. И всем этим пытается командовать душа, у которой ничего своего нет, кроме власти. Да и то ещё - как сказать... Ну так нет же! Душа - это и есть я сам, а всё остальное - инструменты, приспособления, транспорт и связь! Я буду всем этим командовать - и баста!"

Тело осторожно, чтобы не ушибить, было подведено к балкону и опущено ногами прямо в шлёпанцы. Ноги перешагнули порог, руки затворили обе двери и закололи кнопкой трепетную плёнку. Первый полёт обошёлся без поломок. Давно пора быть в техникуме. Пешком...

Идти пешком было тепер труднее, чем раньше. Тяжесть навалилась. Обидно, даже унижительно. Зато проще, потому что привычнее. И не страшно. Только скучно. Как после новой, весёлой песни по радио слушать ругань Василисы. Чтобы не думать так уж плохо о любимой жене, Илья нашёл другое сравнение: морской лев ковляет по берегу после подводной акробатики. Да, это было самое подходящее. Во-первых, чувствовать себя существом, всегда готовым вернуться в родную среду. А во-вторых, быть львом. Да чего там, грифоном! Раньше он никогда не дерзал сравнить себя с этим зверем. Подвижный, но щуплый и не сильный - так, безрогое парнокопытное, способное только убежать. Не очень далеко. И хищником быть никогда не хотелось. Ни морским, ни летающим. Другая среда. Но вот он принят в эту другую среду. Он в ней - крупнейший. Если чудо не пройдёт, он эту среду освоит и станет в ней... Кем же? Такому грифону и самому надо кого-то есть, и семью кормить. Ну, хотя бы сына. Мужское дело...

К тяжести земного притяжения добавлялось другого груза - бытовой суеты. Даже мысль о ней отнимала ту малость свободы, которую он только что испытал. Захотелось немедленно взлететь, оторваться от всего и всех, ощутить себя воздушным львом ещё раз. Пусть даже последний, только успеть подняться как можно выше, а там - пусть конец чуду, конец всему.

А ноги всё шли, всё взбирались по планете, и вот уже вступили на убогое деревянное крыльцо старого бревенчатого здания, внесли Илью под вывеску "Пищевой техникум", и он заковылял, шлёпая лапами и волоча крылья, по пустому коридору к щиту с расписанием занятий. Всё меньше чувствуя себя львом, всё больше - беззащитным парнокопытным.

Едва нашёл в расписании свою аудиторию, как грянул звонок, и ноги понесли Илью от расписания, обратно к выходу. Он заставил их подниматься на второй, этаж, но дальше лестничной

площадки они идти не захотели. Остановились и повернули его лицом к открытому окну. Как на заказ: влезай на подоконник и - лети. Ну зачем летающему сидеть в аудитории и записывать, какие бывают режимы при выпечке беляшей и какой формы штамп на тушах третьего сорта?

Здание наполнилось шумом. Мимо ходили и бегали чужие молодые люди. Все чужие и все моложе Ильи. Эта среда не хотела его принимать. То есть, формально она возражений не имела, но он чувствовал себя в ней, как тот морской лев на берегу.

Ну не было здесь ничего для него!

Он продолжал с отвращением наблюдать за своим телом со стороны и из последних сил удерживал его от бегства, зная, что после этого больше сюда не вернётся. Силы быстро иссякали. Только кто-нибудь очень знакомый, близкий, доверенный мог бы сейчас ему помочь, но таких у Ильи в техникуме не было.

Едва дождавшись, когда опять прозвенит и станет пусто, резво вскочил на подоконник, поднял руки и огляделся.

На миг стало страшно: если сейчас воздушная среда не примет, падать придётся не на тот свет, а в больницу, с переломами. По почти сразу вспомнил каждой клеточкой уверенную птичью отвагу, которую успел освоить в первом полёте, и оттолкнулся.

Теперь он летел уверенно, плавными мощными волнами тела наращивая скорость, а вытянутыми ладонями, как рулями, давая направление. Было не жарко от такой работы, свежий сентябрьский ветер свистел в ушах и не давал перегреться. Илья летел невысоко, держась над домами, а улицы только пересекая, чтобы случайному взгляду было труднее за ним проследить. Он впервые чувствовал своё превосходство над всеми, но это ощущение не содержало восторга. Даже простую радость он получал от самого полёта, а не от собственной необыкновенности. Поэтому и старался не попадаться людям на глаза. Он ничего хорошего от людей не ждал, потому что, как вдруг выяснилось, успел за свою ленивую, неудачливую жизнь прочесть довольно много о судьбах летающих среди ходящих. Ничего хорошего такая исключительность не сулила.

Был фантастический герой Ариэль. Он так умел сосредоточиться, что все молекулы тела разом устремлялись вверх - и парень летел. Кто его придумал, память Ильи не удержала. А со вторым наоборот: его имя не запомнилось, зато автор - Грин. Притом не иностранный Грин, а русский. Там науки не было, просто чудо. Третьего героя Ильи тоже забыл по имени. Тот летал от счастья и жил на севере Томской области, в выдуманном городе Шуркино. Общее и главное у всех было то, что ничего хорошего способность летать им не дала. И это же ждало каждого...

Илья летел над старыми бревенчатыми домами, над жёлтыми кронами деревьев, дышал простором, полётом, свободой - пусть недолгой, но настоящей - и думал о несчастье тех троих: почему? И очень скоро всё понял, потому что, оказывается, давно размышлял над этим, только ни разу не доходил до конца. Теперь, сам полетав, дошёл до истины: их птичьим способностям мешала их общественная жизнь. Или наоборот, безразлично. Так уж всё устроено: либо всем летать либо всем ходить. Был ещё Ихтиандр - тот мог жить под водой, и тоже общественная жизнь оказалась не для него.

И в такую задумчивость привело Илью грустное открытие, что он выбрал тихую улочку и опустился незаметно среди тополей, за железной оградой, у самой церковной стены. Завис на несколько секунд лицом к лику неизвестного ему святого, нарисованного в специальной нише. Святой был ростом точно с Ильёю, во что-то длинное и цветное одетый, лицо имел бородатое, глаза чёрные и выразительные. Что-то хотел Илья увидеть в этих глазах, но вблизи очень уж заметна была их нарисованность. Ничего, кроме личной святости, они не выражали. Илья приземлился и обошёл храм до центрального крыльца.

Он никогда раньше не бывал ни в церкви, ни рядом: не приводила ни тяга, ни нужда. Он не был атеистом, верил в чудеса, даже ждал их (и вот дождался), но Бог представлялся ему чем-то непостижимым и недостижимым, где-то среди звёзд, а здесь, под крестами и куполами, во множестве храмов, удавалось представить только обученных людей, одетых в спецовку до пола, как у нарисованного святого. Необходимости обращаться к ним или к Богу лично Илья никогда не испытывал. Он представлял Создателя слишком занятым вселенскими проблемами, а себя - недостаточно значительным, чтобы докучать такой персоне своими суетными неурядицами.

По этой причине церковь никакого трепета у Ильи не вызвала, внутрь заходить не захотелось. Только мелькнула суеверная мысль о намёке, который делают ему высшие силы этим как бы случайным приземлением именно у церкви. Но что это за намёк, догадаться не удалось. Идею о том, что чудесный полёт человека без крыльев должен прославить Господа-Создателя, приходилось отвергнуть: если бы так, то явление Ильи народу было бы подстроено в какой-нибудь святой день, когда церковный двор полон молящихся, чтобы лихо опуститься прямо к ним и речь произнести, свыше навеянную... Нет, чудо состоялось исключительно для одного Ильи и приземление на задах храма могло иметь только одну цель - сокрытие феномена от праздных глаз. Надо выйти из пустого двора и продолжать размышления пешком до самого дома. Авось и удастся вникнуть в Божий промысел.

"Забавно, - Илья усмехнулся, - думаю о Боге с большой буквы, как в книгах".

Мелочь, освободившуюся от транспортных расходов, он высыпал в ладонь единственной старенькой нищенке у церковных ворот, сунул руки в пустые карманы и пошёл себе. Уловил, как в спину прошелестела старушка: "Пошли тебе Господь счастливых посадок".

"Забавно, - подумал он снова. - За пилота меня приняла или за бандита?"

Но мысли тут же вернулись в загадочное вращение вокруг чуда.

"Человек решил отказаться от жизни, - думал Илья, - а ему дали понять, что этого делать не надо. И не твоё, мол, дело, почему. Придёт время, содеешь то, что тебе назначено, а там видно будет. Очень много вопросов. Главный: действительно ли это не моё дело? С закрытыми глазами человек мало что может. Особенно такой никчёмный, как я. Чего уж себя обманывать? Божьему избраннику нужен хотя бы ораторский дар. Значит, служение религии сразу и полностью исключается. Ну и, слава Богу, это не по мне. Что же тогда? Польза науке? Ложиться на обследование, сдавать кровь и мочь, летать вокруг осциллографа, весь в проводах? Чтобы сразу засекретили и наделали из тебя диверсантов, разведчиков и кого там ещё? Читали. Не годится. Не Божье это дело. И про цирковые номера читали. Все эти общественные штуки плохо кончаются. Ещё читали про новую расу людей. Супергении. Левитация, телепортация, телепатия... Они появляются как-то выборочно, случайно, а потом - массово. И не надо спрашивать - зачем. Природе такие вопросы лучше не задавать: Она сама не знает..."

Он шёл медленно, притормаживал на перекрёстках, чтобы не попасть под машину, уступал дорогу встречным пешеходам, и ему казалось, что всё это - во сне, бестелесно и неосязуемо, и ноги едва касаются земли, а в руке нет силы, и голоса тоже нет...

Он остановил кого-то и спросил время. Ему ответили, что без часов. Он снова останавливался, пока кто-то не сказал с точностью до минут. Он сверил по своим. Совпало. И ноги всё же отталкивались от земли, хоть и с непривычной лёгкостью, и донесли его, наконец, до дома, где на девятом этаже всё ещё спит Василиса. К ней подниматься не надо. И в детский садик за Петрушкой ещё не скоро. И почему-то совсем не хочется есть, хотя не завтракал ни до, ни после самоубийства.

Раздумья заняли уже час, но ничего не дали. Надо было куда-то деть себя, чем-то занять, чтобы увидеть положение с какой-нибудь новой стороны.

Илья прислушался к себе: чего хочется? Хотелось смешного: вскарабкаться повыше и оттуда взлететь. Как божья коровка. Для такого дела лучше всего подходил Городской сад. И идти недалеко, и взбираться никуда не нужно. Только выйти к обрыву над рекой - и вот тебе стометровая высота. Лишь бы не было людей.

Он даже не приостановился у своего дома, сразу двинулся дальше.

Городской сад никогда не имел забора, войти можно было в любом месте. Илья выбрал центральную аллею, которая вела кратчайшим путём к обрыву. Там есть деревянные ступени до самой воды, там, скорее всего, окажутся люди, зато оттуда хорошо просматривается весь обрыв, легко выбрать самое безлюдное место. В это время, среди дня, Илья вообще не ожидал увидеть там посетителей.

Но оказалось - наоборот.

У обрыва собралась изрядная толпа. Несколько ярких цветных полотен то просвечивали сквозь неё, то пузырились над ней, то вскидывались острыми углами. Приблизившись, Илья разглядел и вспомнил: это упражняются любители полётов. Прошлой зимой, гуляя с Петрушкой по Городскому саду, он всё это уже видел, на этом же месте, у лестницы. Надевают на себя сбрую из ремней, пристёгиваются к треугольному крылу или к парашюту, похожему на матрасный чехол, и бросаются с обрыва навстречу ветру. Ветер от реки дует тут всегда вверх и называется - восходящий поток обтекания - это летатели охотно объясняют зевакам. Дует порой так сильно, что развешивает летающих по тополям.

Илья слился с толпой и приблизился к героям события. Двое молодых парней раскладывали на асфальте прямоугольный стёганый купол со множеством шнуров, ещё двое подтягивали тонкие тросики на треугольной раме из лёгких труб, обтянутых красной плащовкой.

А пятый, лет пятидесяти, с седой гривой и профилем прокопчённого грифона, одетый в синюю спецовку авиатора и затянутый накрест в брезентовые ремни, коротко прохаживался перед публикой и отрывисто произносил речь.

- Мы не на рекламу работаем. Просто здесь потоки обтекания ближе всего к жилью... Ну, вот этот ветер и есть поток обтекания... Нет, это не трудно. Это интересно. Немного понимания - и вы летите. Довериться можно только тому, на что можно опереться. На стихию пятого океана опереться можно. Кто захочет попробовать - пожалуйста. Десяти минут наземной подготовки хватит любому.

Тут ему крикнули, что пароплан готов. Он ещё раз спросил, нет ли желающих, и было видно: уверен, что нет и не будет. И он стал пристёгивать к себе брезентовые лямки матрасного купола - как-то хитро, накрест, находясь к нему лицом. Илья подошёл и тихо сказал - ему одному:

- Давайте вместе полетим за реку.

Седой осмотрел его грозным грифоньим взглядом.

- Тут дальше середины реки не улетишь. Над рекой всегда нисходящие потоки... Ты летал, что ли?

- Совсем немного, - сказал Илья.

- Ну, ладно. Посмотри сейчас, как мы тут крутимся, ориентиры заметь и спускайся вон к тому парню, - он показал вниз, на самый берег. - Поможешь втащить купол наверх и слетаешь... Ты точно летал? - Он выбрал один из шнуров, красный, и показал Илье. - Что это?

- Стропа, - ответил Илья.

- Это клеванта, - Грифон усмехнулся. - А для чего она?

- Как все, наверно, - ответил Илья.

- Для управления, - объяснил Грифон. - На чём же ты летал?

- Да так... Ни на чём.

- Хм... Ну, ладно. Посмотри пока.

Грифон подёргал и потянул стропы. Стёганая ткань наполнилась ветром. Он тут же повернулся к ней спиной, и перекрещенные лямки стали нормально параллельными. Два шага по склону, толчок, герой повис в своём кресле из ремней, слегка провалился, обретая опору, и стал понемногу набирать высоту. Купол-крыло послушно поворачивалось, когда он тянул за красные клеванты, и несло его то вправо, метров на сто вдоль обрыва, то обратно. Он летал близко к обрыву, где дует сильнее, и победно поглядывал на стоящих ничтожеств. Радость полёта распирала его, наполняла, добавляла, наверно, лёгкости, и он крикнул всем, глядя на Илью:

- Ну, давайте сюда!

И умчался вбок.

Божья коровка в Илье не смогла больше терпеть. Он встал на самый край обрыва, поднял руки и начал валиться вперёд. Перед срывом оттолкнулся и сразу пустил по телу волну, чтобы не отстать от пролетающего Грифона. Они чуть не столкнулись, и Грифон сердито рявкнул: "Куда прёшь?!" Илья притормозил, пропустил его, облетел с другой стороны, догнал и предложил:

- Полетели за реку?

Грифон взглядывал на него коротко, чтобы не терять управления. Глаза его были колючими. Он искал слова, но не имел на это времени. И ответил просто: "Не мешай!" И стал выполнять разворот, теряя высоту, потому что ветер с реки ослаб.

Илья подивился было спокойствию парашютиста: видеть в упор чудо и вот так не подавать виду. Но быстро понял, что человеку просто не до чудес: надо строить посадочный маршрут, чтобы приземлиться на ровное, а не на скользкую синюю глину у родника, не на камни осыпи и не в бетонный колодец дождевой канализации. И поняв это, он сразу услышал изумлённый рёв толпы на обрыве. Это кричали в его адрес или приветствовали второго героя, который только что стартовал на треугольном крыле. Жёсткая конструкция выглядела солидно, как реактивный истребитель, человек под ней висел не вниз ногами, а в той же позе, что Илья, горизонтально, он держался руками за треугольник из тонких труб и с его помощью управлял полётом. Он, наверно, мог улететь и за реку. Илья мельком взглянул на Грифона, правильно рассчитавшего свою посадку, по-щучьи быстро догнал нового парителя и повторил ему приглашение:

- Летим за реку?

Совсем молодой парнишка повернул к нему очкастое лицо, широко улыбнулся, восхищённо качнул головой и ответил с искренней досадой:

- Не долечу. Я так ещё не умею. Побудь рядом.

Илья полетел с ним, выполняя все развороты и снижаясь.

- Как ты это делаешь? - спросил парень.

- Ей-богу не знаю, - сказал Илья. - Только утром научился.

- Вот это да-а-а...

Больше поговорить не пришлось. Парень извинился и начал целить на посадку, к застывшему среди тряпья Грифону, а Илья, вспомнив о нисходящих потоках, набрал некоторую высоту и полетел за реку. Он уже сожалел о своей пижонской несдержанности. Пилотов осрамил, а самому возвращаться на обрыв теперь неудобно. Что-то спросят, а ответить нечего. И совсем не хочется, чтобы запомнили лицо: в эти секунды он открыл в себе полное отвращение к славе.

"Слава - это когда не знаешь, куда смотреть, куда девать руки и что говорить".

За рекой в это время уже не было рыболовов. Илья пролетел над низким песчаным берегом, над зарослями тальника и опустился прямо на дорогу, которая вела к мосту и тоже была в это время пустой. Тальники тянулись далеко в обе стороны, можно было скрыться от тех, кто следил с обрыва. Он двинулся в сторону моста. Идти было легко и приятно: плоскостопия как не бывало.

Теперь, в полном одиночестве, можно было ещё раз хорошо подумать о будущем.

"Собственно говоря, ничего не изменилось. Пропустил занятия, отстал в учёбе ещё на день - вот и все достижения".

Илья совсем не чувствовал счастья, научившись летать. Волшебный дар не снимал ни одной проблемы, кроме транспортной. Хуже того, он отменял самый удобный способ избавиться от проблем: вот сейчас с этого моста что толку прыгать? А резаться, травиться или стреляться было неподходяще. Тем более - вешаться.

"Всё, Илюха, ты бессмертен до самой смерти. Даже под машину не бросишься".

Приходилось жить, а сил на это не было. Точное уж - не было денег. И не предвиделось.

"Грабить балконы и торговать украденным? Не моё. Искать дураков и спорить на деньги - кто дальше и выше прыгнет? Идиотизм... А ведь ничего, кроме преступлений, и в голову нейдёт!.."

Илья медленно брёл под ветром через мост и продолжал перебирать варианты.

"Может быть, в грузчики? Там подъёмная сила нужна... Или в МЧС - там такие способности весьма бы согодились: спасти кого-нибудь со стены, верёвку быстро завести или трос... Нет, тоже ерунда. В спасатели берут мастеров с отменным здоровьем. А у меня только спросят, где живу: мол, позовём, если понадобится... И спортсменом-чемпионом уже не стать. Это ж надо с детства. А такого переростка просто не возьмут. Да ещё с плоскостопием..."

Осенняя ещё идея красить крыши. Особенно - церковные купола. Но чудом при церкви быть не захотелось. Как и воров-форточником, хоть и доходнее всего. Он даже засмеялся, когда подумал, что и первые летучие ящеры, наверно, появились не от хорошей жизни, а вовсе наоборот. И промышляли наверняка воровством, как большинство современных птиц. Летящий неуязвим только пока летит.

Мост кончился. Илья не пошёл сразу вверх, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из Горсада. Он свернул в боковой переулок, потом ещё в один, протиснулся между двумя институтами и оказался у своего дома. Часы над соседним магазином показывали, что пора забирать из садика Петрушку.

Всё интересное происходит вдруг.

Сын сразу сказал, что хочет в Горсад, потому что там летают. Он тоже научится летать, полетит за реку, потом вернётся.

- Зачем тебе надо летать? - спросил Илья.

- А ты, правда, не понимаешь? - Петрушка всем видом и всем тоном выражал превосходство. - Я буду как Бэтмэн, как Росомаха, как Человек-паук. Я буду ловить бандитов!

- Да ты видел хоть одного бандита?

- Видел!

- В кино, да?

- Не в кино, а в мультике!

- Нет, ты в жизни видел хоть одного бандита?

Отступить не хотелось, и сын, помедлив, соврал, что видел.

- Вот когда покажешь, тогда поверю, - сказал Илья.

- Ну пойдё-о-ом в Горсад, ну папка...

- Я там только что был, - сказал Илья. - Они как раз закончили летать.

Он был уверен, что закончили, поэтому сын тоже поверил.

- А завтра пойдём?

Илья вдруг подумал, что это может оказаться единственной пользой от летания - прокатить по небу Петрушку. Только надо подучиться взлетать без падения, чтоб его не напугать. И полетать с грузом, чтобы уж наверняка...

- Хорошо, - сказал он. - Завтра заберу тебя пораньше и пойдём. Может, полетаем.

Он сдал сына всё ещё хмурой Василисе и, сославшись на дела, сразу ушёл. Невозможно было там находиться, не хватало воздуха, света, жизни, знобило от Василисиной неприязни, тянуло сразу на балкон и - дальше.

- Хромай, хромай, - сказала она вслед. - Догоняй свой поезд.

Но Илье хотелось именно не хромать. Способность летать совсем уничтожила ту проклятую тяжесть, которой наливались ноги из-за проклятого плоскостопия. Вся эта проклятость будто осыпалась, пока летал и жил этот день, Илья теперь ходил, едва касаясь планеты, почти как во сне, с той разницей, что во сне замедленность неодолима, а тут можно запросто и побежать.

Он с утра не руководил своими конечностями - шёл, куда несли, и с удовольствием наблюдал за собой со стороны. И вот ещё что удивляло: совсем не хотелось есть. Обычный круглосуточный голод то ли всосался куда-то внутрь, то ли наоборот - испарился.

Теперь ноги понесли Илью в тот район, где он когда-то жил с родителями. Заходить к ним он не собирался, чтоб не подумали, что хочет что-то попросить, и чтобы не отвечать на их обычные вопросы: чего достиг да какие планы.

Он знал, куда несут ноги, и ничего не имел против. До восьмого класса он дружил с Маришкой из соседнего дома. У неё были короткие светлые волосы, серые добрые глаза, она презирала украшения, но очень хорошо училась и здорово умела драться. Это не было первой любовью. Просто взаимная симпатия противоположностей - сильной девочки и слабого мальчика, имеющих общие взгляды. Они сходились на том, что в жизни всё должно быть проще и добрее, что никого нельзя заставлять - ни в чём. Они вместе посмеивались над разными условностями и дружно их нарушали, за что получили от учителей прозвище - "эпатажная парочка". Им было интересно вместе, вот и всё. Но и страданий друг без друга они не испытывали. Одновременно оставили школу, поступили в разные училища, потом Илью призвали в армию - и жизнь развела. Вот к Маришке и несли его теперь лёгкие неутомимые ноги. О чём с ней говорить, он не знал, как не представлял и

общения с её возможным мужем. Просто решил довериться ногам: как принесут, так в нужный момент и унесут.

Когда-то Маришка жила вдвоём с больной матерью, намного сверх положенного отработавшей во вредном цехе. Звали её, помнится, тётя Клава. Их квартира - на первом этаже.

Дверь долго не открывали. Илья уже собрался уходить, когда послышалась тяжёлая редкая поступь, и голос Маришки спросил:

"Кто?"

Илья назвал и услышал, как она охнула. Открыла помедлив, отшвырнула дверь нараспашку, отчаяние на лице, и он увидел костыли. Она висела на них, в тренировочном костюмчике, совершенно та, какую он помнил.

- Входи. Привет.

И развернулась на костылях спиной к стене, коридорчик тесный.

Илья вошёл, захлопнул дверь, увидел совсем близко её отчаянное лицо и почувствовал, что начинает плакать. И глаза на мокром месте с самого детства, и все сегодняшние волнения, и эти костыли... Он подхватил Маришку вместе с костылями. Она ничего не весила. Он полетел с ней в комнату и услышал её лепет:

- Как плавно ты идёшь...

Он усадил её на знакомый старенький диван и огляделся. Всё было так же. Только в углу у окна, рядом с Маришкиным столом - детский столик, полочка с детскими книгами, на стуле - мальчишеские вещички. И голос тётки Клавы из другой комнаты не спрашивает: "Мариша, кто пришёл?" И ещё - инвалидная коляска. Или инвалидская?

- Где тётя Клава?

- Отмучилась мама. Когда тебя призвали, её призвали тоже.

- А ты?..

- погоди, друг Илюшка, я сначала тебя накормлю.

- Нет-нет! - Илья даже схватил её за руку. - Я не ем.

- Как это?

- Потом об этом. Рассказывай, что с тобой.

Она вытерла его слезы, вытерла свои и стала рассказывать.

- Хорошо, что пришёл. Всё молчу. Так можно свихнуться... В общем, не совпало с тем анекдотом. Помнишь: "У женщины должно быть пять мужчин: муж, друг, любовник, врач и начальник..." Друг меня забыл, любовник не захотел жениться, начальника из-за меня посадили, а врач у меня женщина. Всего один мужчина - сын. Зато настоящий. Ходит во второй класс, учится на одни пятёрки, всё делает по хозяйству, даже готовит не хуже меня.

- Ты здорово готовишь, - вспомнил Илья.

- Так давай накормлю.

- Нет-нет, я серьёзно не ем. Что с тобой случилось?

- Я из-за сына пошла работать в мамин цех. Там меня и придавило. Нарушение охраны труда.

Дали от завода неплохую пенсию, на двоих нам хватает. Подарили вот коляску. И вообще не забывают, по праздникам...

- Позвоночник?

- Да.

- Исправимо?

- Никто не знает. Говорят загадочно: "Как сама почувствуешь".

- И что ты чувствуешь?

- Чувствую, что надо двигаться. Вот, стараюсь ходить. А как - сам видел.

Илья заметил, что всё ещё держит её за руку. Она это видела и усмехнулась:

- Ага, соскучился, друг забывчивый. Ну, рассказывай. О жене, о сыне, о достижениях, о планах...

Илья понял, что она видится с его родителями.

- Иногда, - подтвердила Марина. - На улице. А гуляю я мало. Давай, рассказывай, почему это ты не ешь.

- Да-да, - Илья вспомнил анекдот о пяти мужчинах и усмехнулся. - Друг - это тот, кому всё рассказывают... Ну, слушай.

И он подробно рассказал обо всём, что произошло с сегодняшнего утра до вечера. Ему было трудно рассказывать, потому что стыдно: Маришка попала в куда худшее положение, но и не думает с собою кончать - вон даже какие-то краски, рисунки на её столе, а он, забывчивый друг, вполне здоровый, только непутёвый, получил от судьбы такой невероятный подарок - и жалуется калеке... Он старался не жаловаться, а рассказывать так, будто не о себе, а о ком-то другом - глупом, здоровом и непутёвом. Он не мог не рассказывать. Он все последние годы, что прожил с Василисой, больше молчал, выслушивал матерные упрёки, слепо искал выхода - и никак не находил. Он винил во всём только себя, обделённого способностями, смекалкой и удачей: до сих пор не с кем было посоветоваться, это и привело к самоубийству. Он чувствовал себя теперь в какой-то нереальности, ему всё более казалось, что утром он долетел до асфальта, разбился и теперь беседует с Маришкой в

бестелесном состоянии, а она почему-то этого не замечает.

Он сказал ей об этом и попробовал этим же объяснить полное отсутствие аппетита: духам ведь еда телесная не нужна.

- Но духу разве по силам нести женщину вместе с костылями?

Тут Маришка была права. Илья задумался. А она сразу попросила показать полёт. И он, прямо как сидел, отделился от дивана, перевернулся в лежачее положение, слетал к столу с кистями и красками, повисел там, перебирая рисунки, захватил их с собой, на обратном пути переставил стул и сел на прежнее место. Маришка смотрела с восторгом, прошептала:

- Господи! Мне бы так...

Но увидела, как сразу сник Илья, погладила его по голове.

- Прости, Илюшка... Это такое счастье... Плюнь на всё и на всех. Живи - и всё! Ты теперь гений, понимаешь? Гению никто не нужен, кроме его дела.

- Да какое же у меня дело?

- Л-Е-Т-А-ТЬ! Вот и всё твоё дело. Ты, наверно, первый такой. А если аппетит и дальше не появится, значит, ты питаешься солнечным светом. Или магнитным полем... Вот! Конечно! Я поняла! Это, конечно, магнитное поле! Вспомни физику: одноименные полюса отталкиваются! Ты как-то так намагнитился...

- Ага, как Ариэль...

- Это кто?

- Фантастика.

- А-а-а... Я ещё не читала... Но я теперь довольно много читаю. - Марина взяла у него свои картинки. - Видишь, они размером с книжную страницу. Это я иллюстрирую. Для издательства. Как раз фантастика. И сын помогает. Это книжка детская, он тоже прочёл и подсказывал идеи: как и что изобразить. Вот эту картинку он даже сам набросал, он рисует. Видишь, сразу понятно, что этот кораблик - военный, и он горит. А в лодке - видно, что не взрослый, а мальчишка, хоть и со спины. Я только подправила. Так вместе и зарабатываем. Нас даже налогом не облагают... А ты ведь тоже рисовал. Не бросил?

- Да так... Петрушке показываю...

- А ты сходи в издательство. Я адрес дам. Покажи им что-нибудь. Я же помню: у тебя как раз книжная графика...

- Нет, Мариша, это не мой хлеб, - Илья отказывался, но чувствовал, что зацепило, он ведь и в самом деле рисовал не хуже Маришки. Она это уловила и засмеялась: - Не бойся, мой хлеб не отобьёшь. Издательств по городу много, больше двадцати.

...Они болтали так, будто и не было разлуки в девять лет, будто не было и того парня, из-за которого Илья перестал когда-то заглядывать к Маришке, чтобы не мешать ей в устройстве личной жизни. Он за разговором даже забыл, что она теперь безногая, и вспомнил только когда щёлкнул замок, и кто-то вошёл в квартиру.

- Это Илюшка! - Марина встrepенулась и сразу смущённо посмотрела на Илью.

Илья слегка - да что там слегка - изрядно растерялся, даже хотел встать, но остался на диване, только сначала наклонился вперёд и подпёр голову кулаком, а потом откинулся назад. Ну как вести себя при таком тёжке?

Мальчишка разулся и вошёл. Поздоровался. Одной рукой поставил у двери портфель, а другой показал пакет с продуктами и унёс его на кухню.

- Вот, - сказала Марина. - Хозяин пришёл. Мужчина номер шесть.

Хозяин сразу вернулся, подкатил матери кресло и позвал:

- Посмотри, что в холодильник, что оставить.

Сам помог перебраться на колёса, заботливо и строго спросил:

- На костылях тренировалась?

- А вот, - мать воспользовалась моментом познакомиться, - дядя Илья видел.

Мальчишка посмотрел на Илью, Илья кивнул. Оба не улыбались, изучали друг друга. Илья видел: в тёжке нет враждебности, есть дружелюбный интерес.

- Ты его узнал? - спросила мать.

- Узнал. Вы на школьном снимке, да?

- Точно. У дяди Ильи тоже такой снимок... Не потерял?

- Конечно, нет, - сказал Илья и улыбнулся, чтобы скрыть воспоминание, как Василиса рвала этот снимок вместе с другими.

Потом перебрались на кухню, и два Ильи готовили ужин.

Потом мама с сыном всё это поглощали, а дядя Илья развлекал их анекдотами, которых помнил множество, потому что собирал их ещё со школы. На любви к анекдотам два Ильи сошлись, и старший обещал младшему свою коллекцию - надолго. А с мамой они оба договорились о совместной работе - втроём - над её иллюстрациями. А когда дядя Илья набьёт руку, он тоже будет брать в издательствах заказы, а у младшего Ильи хватит идей на всех, лишь бы книжки были интересные...

Илья летел домой над ночным городом, уже не опасаясь, что его увидят, а только держась повыше над высоковольтными проводами. Впрочем - интересное новое свойство - электричество в проводах он теперь чувствовал, как чувствуют жар от печки. Его над ними даже слегка подбрасывало. Над электрическими подстанциями, над заводами и даже над конфетной фабрикой подбрасывало сильнее. Илья в эти моменты вспоминал гипотезу Маришки о магнитном поле. Не так уж плохо она усвоила школьную физику.

Сразу домой он залетать не стал, а только завис перед балконом и посмотрел, как мирно Василиса с Петрушкой гоняют по холлу мячик. Подумал, что при нём такого не бывает, и полетел в Горсад. Там он осторожно поупражнялся взлетать из любого положения и с грузом, равным Петрушке - благо разных коряг набралось в одном глухом месте несколько кубометров.

Он тянул время, сколько мог, чтобы явиться домой и сразу лечь спать. Василиса не пустит его на кровать, а бросит на пол раскладушку и свёрнутую постель. Этого ему и нужно.

Завтра будет первый День Гения. Первый из новой жизни. Будет серьёзная учёба на повара, будет работа над иллюстрациями, будут занятия с двумя мальчишками и будет тайна, которой он обязательно найдёт применение. Ведь есть же в этом чуде какой-то смысл, как есть он во всём, что производит Природа...

Ранним утром следующего дня, задолго до восхода солнца, несколько бездомных бродяг собирали в Городском саду накопившиеся с вечера бутылки, чтобы сдать их в приёмный пункт и заработать на продление жизни. Только они и видели, как на обрыв вышел худощавый парень в спортивном костюме, поднял руки над головой, оттолкнулся и полетел отвесно вверх. Чувствовалось, что этот убыстряющийся полёт не стоит ему ни малейшего напряжения. Трое выбежали на самый край обрыва и смотрели вверх, пока летящий не растворился в ещё тёмном небе. Потом они собрались на лавке и договорились никому об этом не рассказывать, чтоб люди чего не подумали.

26.01.2002г.

СТАДО

Пастухи сели на лошадей и уехали к своему шалашу. Они почему-то решили, что волк будет охотиться ночью.

А волк того и ждал. Выскочил из ближних кустов и бросился к стаду. На бегу выбирал одну овцу, за которой гнаться.

Но стадо не стало убегать. Оно дружно повернулось навстречу и пошло, сомкнув рога.

Волк затормозил всеми лапами.

Вот оно что! Пастухи теперь не боятся за стадо, потому что научили овец обороняться. Небывалое дело!

"А ведь забьют, - подумал волк. - Забодают и затопчут".

Но удирать сразу было стыдно. Это ещё успеется: всё же овце волка не догнать, а стаду - подавно. Сел на хвост и оскалился.

Ему даже было смешно: "Показываю клыки, будто не овцы на меня идут, а такие, как я. Овце в клыках разбираться не надо, у неё рога всё равно больше".

Стадо подошло на десяток своих шагов и остановилось. Вперёд выдвинулся вожак. Проблеял: "Начнём!" и бросился на волка.

Волк успел подумать: "Ну, если по одному...", увернулся от тупых рогов и одним ударом зарезал вожака.

Конечно, он не стал его сразу есть, но и уносить не торопился. Оскалился ещё раз и оглядел стадо: бросятся разом или нет?

Но они, кажется, в самом деле решили - по одному. Передние остались неподвижны, только переглянулись, и ещё один крепкий баран бросился вперёд. Он даже не попытался ударить рогами - просто налетел на клыки.

Так же волк зарезал и третьего, и четвёртого, и пятого, и шестого... Стадо молча стояло, добровольцы по очереди бросались.

Волк умел считать только до двадцати. Поэтому после каждой двадцатой овечки начинал сначала. Потом сбился со счёта. А стадо всё стояло и как будто не убывало.

Волк понял: "Ждут, пока устану. Тогда забодают". Он чувствовал, что устаёт.

Когда промахнулся и добивал очередную овцу вторым ударом, пришла мысль: "Пора уходить". И тут же кто-то сочувственно спросил из первого ряда: "Может, ты устал?"

Тяжело дыша, волк кивнул и сел на хвост.

Стадо сказала, чтобы он тогда забирал любую из убитых овец и убирался. А завтра пусть приходит снова.

Волк выбрал овечку поменьше, с трудом забросил на спину и унёс так далеко, как только хватило сил.

До следующего дня он не вставал, но и спать не мог: всё время чудились голоса собак и людей. Только под утро задремал и проснулся к вечеру. В такое время пастухи бдительны. Решил дождаться следующего утра, плотно поужинал, сменил лёжку и опять забылся.

Во сне на него бежали и бежали круторогие бесстрашные овцы. Они были, как сторожевые овчарки, в шипастых ошейниках и скалили длинные медвежьи клыки. Вместо копыт у них были когти, как у барса, по две штуки на ноге. Длинные хвосты этих овец заканчивались змеиными головами и норовили ударить сбоку. Но волк уворачивался от хвоста и от клыков, кусал в пах, и овца падала. Но тут же налетала следующая...

Долго выдержать такой сон было невозможно. Он проснулся при свете уходящей луны. Подумал, что пастухам сейчас особенно хочется спать, и отправился к стаду.

Подкрался осторожно, ожидая засады. Выждал недолго в кустах: не взвизгнет ли собака, не кашлянет ли курящий человек, не лягнет ли затвор карабина. Одиноким волк был бит, стрелян, травлен ядами и собаками, ловлен капканами - он знал о людях всё, что надо знать волку.

Опасности в стаде как будто не ожидали, а если и ожидали - голод уже был сильнее волчьей осторожности. И ещё сильнее голода толкало вперёд свежее воспоминание о небывалой резне третьего дня. Расскажи кому - не поверят. Но рассказывать некому: один остался, хитрее и ловчее всех - застреленных, затравленных, закапканенных и удушенных.

Он бросился к стаду, выбирая на бегу, которую овцу схватить и где укрыться, если есть засада.

Уже на втором прыжке стадо заметило его, поднялось и выставило лбы.

Он сел на хвост и оскалился.

Они подошли на десяток своих шагов, и резня повторилась.

Ни одного звука не было издано, пока он не промахнулся. Из поредевшего стада спросили: "Устал?" и отпустили. Но больше приходить не велели: "Теперь будут и ружья, и собаки".

- А эти два раза почему не было?

- Это дело пастухов, - ответило стадо.

- А сами вы почему не защищались?

- Это наше дело, - ответило стадо.

- А если я вас не послушаюсь?

- Это твоё дело, - ответило стадо.

Он выбрал овцу покрупнее и ушёл навстречу едва тлеющей заре.

Он думал день, и второй, и третий. Он думал четвёртой день и не испытывал голода.

Почему?

Овцы могли обороняться, но не стали. Чем же не мила им жизнь? Конечно, они знают, что люди пасут их и охраняют от волков ради своего собственного желудка, ради своих шапок и шуб. Но зачем спешить на блюдо, если можно хоть сколько-нибудь побегать на воле, подышать горным воздухом, пощипать травки?

А сам волк? Он захотел бы, чтоб его пасли? Захотел бы жить в безопасности, но знать, что однажды охраняющие люди перережут ему глотку, сдерут шкуру, съедят мясо, а внутренности бросят охраняющим собакам?

Но он - волк. Нечего сравнивать. Люди говорят о нём правильно: как волка ни корми, он в лес смотрит.

Ну, а если овцы вдруг засмотрели в лес?

Нет, такое невозможно, а если стало бы возможно, то зачем погибать вот так, всем сразу и без смысла? Убежали бы от людей, стали сами себя охранять - вот это свобода... Глупы овцы. Глупы.

А люди?

Если верить всему прошлому опыту, они ничего не делают без умысла. Значит, оставить стадо без охраны зачем-то было нужно? И второй раз - тоже? Если бы не было нужно, они со всех сторон согнали бы к этому стаду собак, машины и вертолёты. Значит, они ХОТЕЛИ, чтобы волк убил много раз по двадцать овец, и даже согласны были с ним за это расплатиться - по овце за каждую резню. Это не похоже на людей. Или он узнал о них не всё, что надо знать волку.

Весь четвёртый день он думал под гул вертолёта. Но не боялся. Вертолёт опасен бегущему. А если хорошо затаиться - пусть себе гудит, ревет, свистит и щёлкает - не опасен.

Волк чувствовал, что это ищут его. Искали только два дня.

К середине шестой ночи голод поднял его и толкнул на поиски пищи. Опыт запрещал идти к стаду третий раз, предупреждение овец подкрепляло опыт. Но память о двух небывалых побоищах оказалась сильнее. Она не толкала и не тащила, она не звала - она позволяла.

И он пошёл к стаду.

Осторожность прижала его к земле, и он до самой зари пролежал в кустах, прислушиваясь, принохиваясь и присматриваясь.

Заря помогла памяти: осветила овечьи спины. Волк выскочил из кустов и помчался по полю, надеясь не устраивать больше бойню, а выхватить овечку полегче и уйти раньше, чем стадо выставит лбы.

Но стадо не стало выставлять лбы, хотя и заметило его вовремя. Оно повело себя обыкновенно, как положено от века - бросилось врассыпную. Все овцы блеяли одно, и он слышал: "Спасайся, спасайся, спасайся, волк!" Раньше он понял бы эти крики просто: спасайся от волка. Теперь же была причина услышать другое: это ему они кричали, чтобы спасался.

Но он слушался уже только голода. Одним ударом убил самую слабую овечку, на миг задержался, чтобы забросить её на спину, и тут же сильный толчок опрокинул его на траву. Он разжал зубы и стал искать лапами землю, чтобы встать. Но толкнуло ещё раз, и больше он ничего не видел, не слышал и не чувствовал.

Довольно далеко от стада поднялся над скалой стрелок, выбросил из патронника вторую гильзу и стал надевать чехол на трубу, привинченную к карабину.

- Здорово бьёт, - сказал второй, вставая и пряча в футляр полевой бинокль. - После второй так и замер.

- В голову потому что, - ответил стрелок. - Прицел хороший.

Они спустилась к волку, не обращая внимания на стадо, которое уже успокоилось и сбилось в тесный круг.

- Готов, подлюга, - сказал стрелок. - Матёрый.

- Жалко его, - сказал второй. - Мог еще быть полезен, да всё стадо на него не спишешь.

Они услышали сбоку топот и разом оглянулись.

- Что за чёрт? - успел крикнуть стрелок.

Сомкнув рога, стадо накатилось на них.

Владимир Шкаликов

СТОЛЯРНАЯ БАЛЛАДА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Если дело сделано мастером, это сразу видно. Возьмите обыкновенный карандаш и подстрогайте. При мне. Ножиком. И я сразу увижу, мастер вы или нет. Если ножик остёр, если рука тверда, если карандаш получился похожим не на обрубок бревна, а на улыбку молнии, вот тогда можно говорить о мастерстве. Но это, конечно, мастерство малое. Да и сам разговор - просто к слову, чтобы дальше было понятно, почему все так вышло. А рассказ пойдет об одной двери.

Изготовил ее мастер. И инструмент заточить, и карандаш подстрогать этим инструментом (хоть стамеской, хоть топором), и составить этим карандашом чертеж, и дверь по этому чертежу сделать - всё было при нем. Дверь получилась такая, что посмотреть издали - большая плитка шоколада. Вся из кубиков, а посреди - прямоугольник. Если же подойти да присмотреться - это уже не плитка шоколада, а настоящая картинная галерея: на каждом квадрате вырезано мелкой резьбой - цветы, бабочки, зверюшки, а в прямоугольнике - целый пейзаж. Всё тонко, всё точно, смотрел бы да смотрел. А отойдешь - узор исчезает, и снова шоколадка. Только с большой латунной ручкой. И сверкает латунь, как золото, но без важности: берись и входи. И надпись над дверью: "Добро пожаловать". Ну просто хочется войти. А потянешь за ручку - тяжелая дверь идет легко, не скрипит и остановится точно там, где перестанешь тянуть. И распахнуться не старается, и захлопнуться не спешит. Приветливая дверь. Потому и видно: сделана для людей и делана мастером.

Работа у двери, известно, беспокойная: целый день взад-вперед. У многих и ночами покоя нет. Поэтому изнашиваются двери быстро. Особенно если наружная да в какой-нибудь конторе - такая и десяти лет не протянет. Но нашей двери повезло. Когда только к ней подходили, каждый сразу видел, что сделана мастером. А к мастерству и отношение особое: каждый ее берёт - не дёргал, не хлопал, не пинал ногами и не ковырял узоры перочинным ножиком. Стояла дверь на входе как раз в контору и работала почти круглые сутки. А сохранялась многие годы, потому что и хозяйева, конторские работники, за ней присматривали: когда надо, смазывали, когда надо, лаком покрывали.

Однако известно всем, что ровной жизни ни у кого не бывает. Меняется погода, меняется настроение, меняются и времена. Другие люди пришли работать в контору и не понравилось кому-то, что дверь без пружины. А вдруг сама откроется? А вдруг забудут затворить? Тогда что же, улицу обогреть?.. Был приказ, пришел столяр, забил гвоздь и нацепил пружину.

Теперь открываться дверь стала туго. Чтобы войти, надо было хорошо рвануть за ручку. Тяжелая дверь шла с трудом, а когда человек входил, она ударяла его в спину. Ясно, что и относиться к такой двери люди стали иначе. Когда проходили, её не придерживали. Весь день она хлопала, аж во всей конторе звенели стекла. При выходе её к тому же пинали ногой, а уж потом хлопали.

- Дверь портится, - заметил начальник конторы. И велел столяру прибить понизу латунный лист. Он сказал: - Дверь красивая, ручки желтые, и лист надо жёлтый.

Но латунного листа не нашлось, столяр прибил железный и помазал его жёлтой краской. Теперь посетители пинали ногой в железо и оставляли на краске чёрные следы.

Дверь не долго терпела такое безобразие, и однажды пружина оборвалась.

Но прежнее равновесие, созданное руками мастера, было уже нарушено. Дверь больше не останавливалась в любом положении, удобном для нас. Каждым кубиком она помнила пружину и против своего желания стремилась на свободу.

- Дверь открывается и хлопает, - сказал начальник конторы. - Поставить новую пружину!

В дверь забил новый гвоздь и нацепили новую пружину, еще туже. Но она оборвалась еще быстрее. А дверь стала хлопать прямо-таки со злостью.

В конторе тоже произошли перемены. Дела там перестали кончаться миром, тихие прежде голоса сменились криком, руки людей стали грубыми, и после каждой беседы в конторе посетители обязательно старались хлопнуть дверью.

Короткие ночные часы перестали быть для двери часами отдыха

- Всё из-за меня, - переживала дверь. - Как поставили первую пружину, так и началось! Я всем мешаю, у людей портится нрав. А от этого - никаких дел.

Она решила принять меры.

Когда утром начальник конторы явился на работу, он увидел перед дверью толпу. Это те, кто пришел пораньше, не могли открыть дверь. Только ручку оторвали.

- Она перекосилась, - доложили начальнику. - Надо ждать столяра. Столяр на работу опоздал, и все на него напустились. Начальник объявил ему выговор, но приказ об этом написать не мог, потому что в контору ведь не войдешь.

- Если будет выговор, - сказал столяр, - я дверь чинить не стану.

Все принялись просить начальника отменить выговор, и он сдался, потому что больше стоять на улице ему не хотелось. Решено было выговор не объявлять, а ограничиться устным замечанием. То-

гда столяр сходил за инструментом и открыл дверь.

Про этого столяра надо сказать, что мастером он не был. Хоть и знал, что к чему, но твердости в руках не имел, потому что настоящего интереса к работе никогда не испытывал. Но было у него одно полезное качеством он мастерство понимал и ценил. Эта дверь ему с самого начала очень нравилась, он сам ни одного гвоздя не стал бы в неё забивать, не то что уродовать красоту железным листом. Он просто не мог ослушаться приказа. Но всегда ждал от двери какой-нибудь выходки, поэтому теперь, открывая дверь, сказал начальнику строго:

- Щас я её сниму совсем и сделаю всё, как раньше было. И больше губить вещь не дам.

- Что-что? - переспросил начальник.

- Что слышали, - ответил столяр. - Если в чем не понимаешь, так надо спрашивать специалистов.

- Это ты-то специалист? - Начальник рассмеялся. - Да я тебя уволю, никто и не заметит!

- Ладно, - сказал столяр. - Сам уйду.

- Только сначала сделаешь дверь, - сказал начальник.

- Ну, это само собой, - сказал столяр.

Он снял дверь и два дня ее ремонтировал. Осторожно удалил с неё железный лист, выдернул все гвозди, заделал все отверстия, зачистил, восстановил цвет морилкой, заменил петли, привинтил ручку и так установил дверь на место, что и старый мастер не сделал бы лучше. Вот на что способен человек, если по-настоящему увлечется.

На третий день столяр уволился. Он бы, может быть, и остался, если бы начальник оценил его работу да извинился. Но тот так ничего и не понял:

- Не захотел ставить пружину? Ничего, без тебя поставим.

И вот тут начинается непонятное.

На следующий день, когда конторские пришли на работу, они увидели, что двери нет совсем. Бросились искать - ни следа. Послали за столяром, который уволился. Он прийти отказался, но велел передать, что никакой двери в глаза не видел. Его все же попытались привлечь к суду, но суд конторе отказал: следствие не нашло никаких улик против столяра.

А пока суд да дело, все внутренние двери в конторе, все окна, все форточки, даже все столы и стулья стали быстро рассыхаться. Был большой грохот, когда начальник, распекая нового столяра, ударил кулаком по столу, а стол распался. И тут же еще сильнее загрохотало, когда под начальником рассыпалось кресло. В конторе на всех этажах начали скрипеть полы, высунулись шляпки гвоздей, горбами изогнулись плинтуса, стали потрескивать балки перекрытий и даже деревянные линейки покоробились, а цифры на них постирались. Доска с надписью "Добро пожаловать" упала прямо на начальника конторы.

Так длилось неделю, после чего инспекция велела немедленно освободить дом ввиду аварийного положения.

Вам интересно, чем кончилось?

Контора куда-то переехала. Её начальник выписался из больницы и уехал в другой город. Все деревянные конструкции в доме заменили. Старая дверь, похожая на шоколадку, так и не нашлась, поэтому сейчас решают, из чего делать новую - из дерева или из металла и стекла.

Конечно, вам больше всего хочется узнать, куда дверь подевалась? А мне тоже хочется. Я тоже не знаю. Того столяра по дружбе спрашивал, но он отказывается:

-Если бы я взял... Да разве дверь спрячешь?

Остается думать, что дверь сама снялась с петель и улетела. Я в это не особенно верю, но даже если и так, то не в лес же она полетела. Где-нибудь работает в приличной конторе. И с улицы, конечно, видна. Только поискать - контор ведь много.

КОРНИ ДОМА

На окраине города сломали старый домишко. Не один его сломали, всю улицу. Было там только старье, из прошлого века - ветхое, серое, перекошенное.

Этот домишко, правда, не был ни кривым, ни ветхим. Имел он только один изъян: когда старого хозяина выселяли в новую квартиру, снял он резные наличники с обоих окошек и с собой увез, на четвертый этаж. А стены, крыша, пол - всё стояло бы еще век-другой. Но подогнали бульдозер, толкнули... Перед бульдозером что деревянное устоит?

Когда вылез бульдозерист из кабины, подходит к нему старичок. Спрашивает:

- Не жалко было ломать?

- А что, бабушка, твой был дом?

- Мой. Сваи под него еще мой дед забивал. Отец новую крышу покрыл. Я наличники резьбой украсил. Старуха моя цветы развела. Хороши были цветы-то?

- Как хороши, как свежи были розы, - сказал бульдозерист. - Однако, бабушка, был приказ, а мое дело маленькое.

- Это плохо, - сказал старик.

- Что плохо-то?

- Дело у человека не должно быть маленькое. Большой быть должна любая мелочь. Иначе - не

прорастешь.

- Всё ясно, - сказал бульдозерист. А сам подумал: "Чокнулся дед. Прорасти собрался, как будто его посеяли". Дальше думать не стал, а поскорее залез обратно в кабину и - пошел крушить!

- Ничего тебе не ясно, - сказал старик ему вслед. - Потом поймешь.

Ушёл и больше на это место не вернулся.

А на месте этом, согласно генеральному плану, полагалось воздвигнуть контору. В три этажа высотой, с кабинетами, с инструкторами, секретарями и управляющими. Свое-то здание в центре города у них пришло в негодность.

Не успел рассеяться бульдозерный дым, а контору уже строят. Уложили блоки бетонные, стали класть кирпич и перекрывать панелями многопустотными. До второго этажа успели дойти, как однажды утром обнаружили трещину. По всей стене. Конторские чиновники набежали, окружили, охают: "Мы такую работу не примем, нас и так на прежнем месте чуть не поубивало".

Хорошо, строители согласны. Развалили эту стену, выправили блоки, выложили заново кирпичи, дошли без хлопот до самого верха, а как только закончили крышу, оно и началось. В том же месте трещина. От фундамента до крыши. Пока думали, что бы это да как быть, за три дня вся стена развалилась. Никого не придавило, но - начинай сначала.

Убрали кучу кирпича, что от стены осталась, оттащили павшие панели и увидели, что бетонные блоки что-то из-под земли выталкивает, будто огромный гриб растет.

Убрали блоки, подогнали бульдозер. Он начал чистить - да и застрял. Выскочил бульдозерист, посмотрел - и вспомнил:

- Там же свая! Когда я здесь домишко ломал, дед сказал, что он на сваях.

- Что за дед? - спрашивает начальник стройки.

- Хозяин дома.

Стали смотреть сваи. Из лиственницы сделаны. Лиственница - вечное дерево. Несокрушимое. В земле только крепче становится.

- А почему же сваи лезут из земли? - спрашивает бульдозерист.

- Земля их выталкивает, как занозу, - кто-то мудро объясняет.

И стали все думать, что же теперь совершить. Три этажа стоят, а одной стены нет. Хочешь, не хочешь, а надо воевать со сваями.

Ждать, пока земля их вытолкнет? А куда девать инструкторов, секретарей и управляющих? Да и несерьезно это - насчет занозы. Выдернуть сваи автокраном? Пробовали. Не идут. Решили: спилить им верхушки и - укладывать блоки. Не полезут они больше.

Подкопались под каждую сваю и срезали им верхушки бензопилой. А контора торопит. Осень скоро, непогода... Уложили блоки, стали быстро-быстро стену класть. Но едва начали третий этаж, стена снова треснула.

- Ну, тогда вот что, - сказал конторским начальник стройки. - Взрывать эти сваи нам никто в городе не позволит, поэтому ходите на службу, куда хотите, а этот объект я замораживаю.

- То есть как?

- А так, что до весны никакие работы вестись не будут. Сейсмическо-геологическая обстановка неустойчива. Если хотите, жалуйтесь.

А кому пожалуешься на сейсмическо-геологическую обстановку? Конторские, хоть и бюрократы, а тоже соображают. Кого-то где-то потеснили и вселились на зиму в другую контору.

Остался объект пустой. Дожди его мочили, снега его засыпали, мороз его знобил, и никто до весны его не навещал. Кроме того бульдозериста. Еще когда увидел, что сваи полезли из земли, вспомнил он слова старика хозяина: "Иначе - не прорастешь". Странное всегда запоминается. Вот и не давали ему эти слова покоя, всю зиму донимали. И он похаживал на окраину, поглядывал: неужто вправду прорастает?

Но рабочий день кончается поздно, а в сумерках да под снегом много ли увидишь? Дом разваливается - это точно, а что сугроб как будто выше становится, так это и метелям под силу. К слову сказать, зима выдалась тогда снежная.

К весне, однако, стал бульдозерист замечать, что вокруг объекта снег оседает, а там, где рухнула стена, будто бы всё растет. Не утерпел, принес лопату, стал снег разбрасывать. Раз-другой копнул, а снег-то и весь, земля пошла. Рыхлая, копать легко. Он - давай копать! Еще раз-другой копнул - дерево! Разгреб, думал - верхушка сваи, а не тут-то было. Балка, новенькая! А уж под балкой - те самые сваи. Он наутро - к начальнику стройки: так и так.

Тот - в машину и на объект. Проверил и велел найти старика, бывшего хозяина.

Нашли старика, всё ему рассказали и спрашивают:

- Что сие может означать?

- Спросите у вашего бульдозериста, - дед говорит. И ехать с ними на объект не захотел: - Сами кашу заварили, сами и расхлебывайте.

Спросили бульдозериста. Он подумал, похмурился и не ответил, ушел задумчив.

Начальник стройки думал было подождать ещё, посмотреть, как оно обернется. Но конторские тут как тут: "Размораживай, иначе..."

Разморозили. Убрали обрушенную стену, перекрытия, блоки. Расчистили вокруг этой балки, что на сваях лежала, а там она не одна! Целый венец выложен из новеньких бревен! Как их только в прошлом году не заметили? Или зимой кто-то подстроил?..

Велят бульдозеристу: "Отодвинь-ка эти балки в сторону". А он отказывается.

- Почему?

- Не буду и всё. Хоть увольняйте.

Увольнять не стали, убрали балки без него. Но сваи-то из земли торчат. Решили, что выход один: надо их все же выдернуть. Один из конторских так и сказал: "Зло надо рвать с корнем!"

Подогнали экскаватор, он выбрал землю вокруг свай. Глубоко ковшом своим выбрал. Но сваи стоят так же крепко, а глубже он ковшом своим не достает.

- Спилем! С такой-то глубины больше не вырастут!

- Не-е-ет! - говорят конторские. - Рвать надо.

Строителям неохота рвать, упираются: технику, мол, жалко. Но под конец уступили: подогнали автокран, завели трос. Пришел бульдозерист, говорит: "Зря стараетесь". Но его не слушают. Потянули раз, другой... Чуть не уронили в яму автокран.

Потом пробовали тянуть трубоукладчиком, разными лебедками, вручную под эти сваи подкалывались... Не видать им конца и не выдернуть.

-Ладно, - конторские сдались, - можете спиливать.

Спилили сваи, завалили ямищу, уложили блоки бетонные, достроили все три этажа, покрыли крышу, настелили полы, застеклили окна и - скорее вручили конторским ключи: "Вселяйтесь!"

Начала контора обычную свою жизнь, про сваи скоро забыли. А через месяц, в самый разгар второго чаепития - толчок! Не сильный, но все услышали. Снизу. Осторожно. И до конца рабочего дня не было толчков. Вообще их больше не было. Но стало тревожно. Всем постоянно казалось, будто очень медленно давит что-то снизу. И еще через три дня та же самая стена треснула. Не сильно, чуть заметно. Как будто чёрная паутинка пробежала по штукатурке. А назавтра уже было видно небо.

Контору закрыли. На дверь повесили табличку: "Не входить! Аварийное здание". Инструкторам, секретарям и управляющим снова отвели углы по разным учреждениям.

Бульдозерист наведывался, посмотреть. Качнул головой и молча ушел.

Горсовет махнул на это здание рукой: столько сил на него потратили, что дешевле было построить новое, в другом месте...

Через год прибыл к тому месту бульдозер. Вылез бульдозерист, походил вокруг, сказал: "ПРОРОСЛО" и начал работать. Залез в кабину, запустил мотор - убрал обломки кирпичных стен, растолкал по сторонам перекрытия и блоки. Тут как раз подошел грузовик с вещами. Друг-шофер, жена, детишки стали таскать пожитки в дом. А когда вселились, друг отвез бульдозериста к тому старику, бывшему хозяину.

Дом у старика теперь в девять этажей. Розовый, бетонный. Но не такой, как все. На каждом окне - резной деревянный наличник, белой краской выкрашен.

Поднялся бульдозерист на четвертый этаж, звонит в дедову квартиру. Тот ему открыл и улыбается:

- А-а-а, это ты! Ну, заходи, рассказывай.

Сели пить чай, бульдозерист и говорит:

- Ты прости, дедушка, я ведь тогда не понял тебя.

- Знаю, - старик отвечает. - И то знаю, что теперь всё понимаешь. Как там мой домишко?

Пророс?

- Пророс. Как новенький стоит.

- А что ему делается? - Деду весело. - Знающие люди ставили.

- Так-то так, да только наличники-то ты унёс, - жалуется бульдозерист. - Он так и пророс без наличников. Некрасиво.

- Ага, - старик улыбается. - Ты не только понял, ты и почувствовал. Ну, тогда молодец. Будут тебе наличники. Всем соседям сделал и тебе сделаю. Неси матерьял. Доски кедровые. А захочешь, могу тебя научить.

Владимир Шкаликов

ТРИ ПОЛОВИНКИ

1. Охотник вернулся в дупло еле жив и кое-как втиснулся рядом с прекрасной дамой. Она накрыла его своей шкурой и вскоре перестала дрожать.

- Опять неудача? - спросила она тихо.

- Медведь сильнее, - пробормотал он мрачно. - Олень быстрее. Рыба глубоко, птица высоко.

- Ничего, - сказала она, прижимаясь. - До утра доживём, а там что-нибудь придумаем.

Охотник привалил к выходу тяжёлую коряжину, обнял даму, и она сразу уснула.

Всю ночь вокруг дерева хрустел по бурелому какой-то хищник, но отвалить корягу от дупла не догадался. Охотник тем не менее - для надёжности - не спал и держал наготове острый метательный камень на ремешке.

- Так жить не годится, - сказал он наутро. - Я заметил момент, когда самая большая звезда касается ближайшей горы. Ночью принесу звезду, разведём огонь и выгоним из пещеры медведя. Я точно знаю: он боится огня. В пещере будет просторно и всегда тепло от звезды... Тебя я завалю пока в дупле, чтобы никто не съел.

- А что я сама буду есть? Я умру с голоду. Я не ела с того дня, как ты ушёл на охоту.

- А мыши?..

- Я их боюсь.

- Вот, возьми, - он достал из-под своей драной походной шкуры бережно сохранённую шоколадку. - Совершенно случайно...

- Ой! - улыбка сделала даму ещё прекраснее. - Где взял?

- У зайчика отнял, - охотник скромно улыбнулся.

- Что бы я без тебя делала?! - воскликнула прекрасная дама, хрустя фольгой.

- Пропадала, - пошутил охотник.

- Зря смеёшься, - сказала она строго. - Это правда... Вот тебе половинка и - пошли.

- Куда? - он вежливо отодвинул прелестную руку с шоколадом и сглотнул слюну. - Подождёшь меня здесь. Там трудно. С тобой я там не пройду.

- Что-нибудь придумаем, - ответила она. - А одной мне страшно.

2. Дыша огнём, лязгая бронёй и тяжело взрыкивая, дракон стремительно уползал по каменистой дороге. Рыцарь тем не менее осадил коня и беспомощно оглянулся на сухой треск.

- Какого там ещё дьявола? - проворчал он, кося глазами вслед уползающей добыче, но когда карета приблизилась, тон его изменился до неузнаваемости. - Мой друг, - проворковал рыцарь, - мне кажется, вам неудобно ехать,

- Ещё бы! - женский голосок из кареты сочился слезами. - Мне неудобно, потому что карета трещит и готова развалиться. И ещё мне страшно, когда вы слишком уезжаете вперёд.

- Но иначе мне не догнать дракона, - мягко возразил рыцарь.

- А ещё мне хочется чего-нибудь вкусенького, - из окна кареты выглянуло прелестное юное личико. - У нас больше ничего не осталось?

- Совершенно случайно, - ответил рыцарь голосом заговорщика и извлёк со дна перемётной сумы шоколадку. - Вот, завалю вас.

Прекрасная дама улыбнулась так радостно, что на миг он даже забыл о драконе.

- Что бы я без тебя делала?! - пролепетала она ласково,

- Пропадала, - ответил рыцарь быстро, и оба засмеялись своей любимой шутке. - Но это последняя шоколадка, - добавил он с горечью. - Слово чести.

- Ничего! - успокоила дама, освобождая плитку от фольги. - Скоро будет какой-нибудь город, там что-нибудь придумаем.

Рыцарь тут же вспомнил о драконе.

- Конечно, - согласился он, вежливо отламывая крохотный кусочек от щедро протянутой шоколадки. - Но сначала я должен догнать и убить этого дракона. Ведь если я не покрою себя славой, никто в городе ничего нам не подаст.

Прелестная дама вздохнула.

- Прости, что я помешала тебе этим проклятым треском. Но я вправду боюсь, как бы карета не развалилась... - Она подняла на рыцаря глаза, полные страха и слез. - Может быть, нам можно доехать до города на твоём коне? А там что-нибудь придумаем...

Рыцарь нахмурился и как бы нечаянно уронил на лицо забрало.

- Но это БОЕВОЙ КОНЬ, - прогудел его голос из-за стальной решётки.

- Что ты там гудишь? Я не поняла!

Дама распахнула дверь кареты и опасно высунулась наружу.

- О Боже! - рыцарь поспешил поднять забрало, - расшибёшься!.. Полезай в седло...

Он махнул кучеру, чтобы занялся каретой, и его боевой конь печальной рысцой потрусил в

сторону города.

"Если продать оружие, доспехи, карету, коней и кучера, - размышлял про себя рыцарь, - можно будет как-нибудь устроиться в городе до первой зарплаты".

3. По телевизору показывали конкурс красоты, прекрасная дама наблюдала это событие с потёртого дивана и возмущалась:

- Нет, ты только посмотри, что они творят? Ну отвлекись на минутку, я тебя прошу!

Писатель вылез из-за откидного столика, приколоченного к книжному стеллажу, и сел рядом.

- Ты посмотри на этих во бл и каракатиц! - продолжала прекрасная дама. - С такими формами прутся на конкурс!

Он скосил глаза на её бедро, с которого нечаянно сполз халатик, и пробормотал:

- Эти конкурсы вообще - глупая выдумка. Всякая женщина красива по-своему, было бы для кого.

- Ну конечно! - воскликнула она. - Я же и говорю!

- Давай переключим на другую программу, - он встал. - Мне как раз...

- Нет-нет! - она даже запрыгала на диване. - Я должка досмотреть этот бред! Мне интересно, до какого ещё маразма докатятся эти параноики! Просто из принципа!

- Да там, - писатель погрузился, - сейчас должна быть одна техническая передача... По моей теме...

- Ну, пожалуйста! - голос прекрасной дамы сразу набряк слезами. - Я так мало прошу... В жизни так мало разнообразия... Я боюсь, что этого идиотизма больше никогда не покажут, не о чем будет вспомнить. А техническая передача - это ведь бывает каждый день, правда? Вон у тебя сколько технических книг...

- Но об ЭТОМ книг ещё нет, - возразил он ласково. - Если сейчас отстану, моя работа может не получиться. Понимаешь?

- Боже мой! - её слезы подступили к глазам. - Раз в жизни попросила для себя... - Она вскочила с дивана. - Да пропади она, такая жизнь! Одни технические передачи! Когда жить?!

- Но это я раз в жизни попросил! - он растерялся. - Ладно, бог с тобой, смотри своих каракатиц...

- Нет уж! - она заметалась по комнате. - Не надо мне ничего! Даже чаю выпить не с чем, не то что...

Он молча приподнял пишущую машинку, достал из-под неё шоколадку, сдул пыль, отёр рукавом и подал:

- Вот. Совершенно случайно завалялась, с последнего гонорара.

- Ой! - сказала прекрасная дама, забыв о телевизоре. - Что бы я без тебя делала?!

- Пропадала, - был ответ. - Пошли на кухню, попьем чаю.

На телевизор они даже не взглянули.

4. - Вот и всё, - сказала его душа. - Жизнь, пожалуй, не состоялась. Огонь я не добыл, дракона не догнал, книгу не дописал.

- Не огорчайся, - ответила её душа. - Зато мне ты не дал пропасть. Мы жили счастливо и умерли в один день. Разве этого мало?

- Этого мало, - ответила его душа.

- Почему?

- Потому что больше я не смогу ничего тебе дать.

- Это не страшно, - её душа засмеялась. - Я сохранила все три половинки шоколадок, которые оставляла для тебя. Возьми и съешь наконец. Я больше не хочу.

- Что бы я без тебя делал?! - воскликнула его душа, хрустя фольгой.

- Пропадал! - ответила её душа. И попросила: - Дай попробовать ...

10.12.94г.

ХОЗЯИН

Я в религии слабоват. Годы привык отсчитывать от рождества Христова, но только в сорок лет задумался, почему это 25 декабря - одно Рождество, 7 января - другое, а начало годового отсчёта - вообще между этими двумя днями рождения. Но это не так важно. Какая, правда, разница, какого числа этот еврей родился и, впрочем, какова его национальность? Главное, что мужик был правильный. Правда, накрутили потом вокруг его жизни. Но и это не так важно. Я всё к тому, что какая-то закономерность в природе существует, непостижимая для нас. Я вот объяснить не возьмусь, но подозреваю, что в семье точно что-то содержится. Например, простая вещь: на 7 января и на Богородицу - 7 апреля - всегда ясная погода. И кое-что ещё. Вот об этом и речь.

Однажды в ночь на 7 января отправили меня в срочную командировку. Начальник экспедиции позвонил из Стрежевого нашему начальнику смены: надо в разведочную партию срочно доставить продукты и перфораторы. Конечно, хотелось хоть раз по-человечески встретить хоть какой-нибудь праздник, но тогда не надо было вообще садиться на вахтовый автобус. Это же вечная "скорая помощь".

Сообщая мне эту радость, Михалыч смотрел понимающе и даже с сочувствием. Однако и со значением. Я его понял тоже: если хорошо надавить на железку и покрепче ухватиться за баранку, можно успеть к полуночи и вполне цивилизованно отпраздновать с партейцами. Горючку на этот случай мы тут же закупили в столовском буфете (благо "сухой закон" на вахте был уже отменён), хорошо упаковали и уложили, ради юмора, в ящик с перфораторами, чтобы уж точно не растряссти по зимнику. Потом забросили в салон мешки и коробки со снедью, заклинили их между сиденьями. Я проверил давление в запасном колесе, поправил в железном ящике всё, что может понадобиться в пути, топор переложил в кабину, чтоб был на случай под рукой, воткнул в магнитофон музыку повеселее и запустил дизель. Володя-перфораторщик сел рядом, зажал свой карабин между колен, и мы поехали.

Проехать предстояло побольше двухсот километров, отбыли мы чуть после шести вечера, так что, с учётом мелких остановок, до полуночи имели шанс успеть. Это я подумал про себя. А когда Володя об этом высказался вслух, я слегка сердито ответил, что перед такой поездкой загад не бывает богат - такая шофёрская примета. И надо было ему поплевать через плечо, а он, молодой, не догадался. Впрочем, возможно, что дело и не в этом.

Первые тридцать восемь километров гнали по бетонке, машина пела, а после Катыльги пошёл собственно зимник, это уже немного не то. Особенно если учесть, что после новогодних радостей прошла всего неделя. Дорожники явно собирались гулять до старого Нового года - это традиция, вахта не вахта. И зимник их заботами имел, конечно, не самый ухоженный вид. Мало где удавалось разогнаться хотя бы чуть за сорок. Володя начитанный, он комментировал: "Стиральная доска... Резонансные ухабы..." - как будто мы на испытательном полигоне. Меня это раздражало. Вообще не люблю болтать в дороге. Это, по-моему, художественная ерунда, что водителя надо развлекать в дальнем рейсе какой-то там беседой, чтобы не заснул. Если он захочет спать, то ничто и никто его не отвлечёт. Надо просто остановиться и выйти на воздух - отлить там, баллоны попинать. И ещё на полста километров тебя хватит.

Я Володе замечаний не делал. Просто не отвечал, будто очень занят дорогой. И ждал, когда его сморит. Печка работала исправно, ехал я гладко (всё же в салоне взрывчатка да горючее на праздник), и Володя постепенно убаюкался.

Часа четыре так ехали, пару раз выходили размяться. У Володи был с собой брелок-градусник. Он показал минус сорок два. Но я это и по температуре двигателя видел - никак мой дизель не хотел греться сверх шестидесяти градусов.

После каждой остановки Володя минут по десять бодрился, восхищался перепадами дороги, поворотами, ёлками в снегу, почти полной луной, созвездием Ориона, делал ненавязчивые комплименты водителю, потом, наконец, благополучно задрёмывал, оставлял меня с красотой наедине. Она там, конечно, имелась. Фары по ней шарили вправо-влево, вверх-вниз, кругами, всё можно было разглядеть - и снег на ветках, и искорки на снеге. Только зайцы на дороге не появлялись - они в такой мороз не бегают, терпят голод. И моё отношение к этой красоте тоже было близко к заячьему: вот взглянул Володя дорогу, полетит сейчас что-нибудь, встанем посреди этой красоты... Если лампочка в фаре - доедем и с одной. Если какой-нибудь ремень или даже генератор - замена тоже есть. Но если проьёт прокладку... Масло гонит сверх меры... Обычные, в общем, мысли, век бы их не иметь. И глаза почаще касаются приборов на щитке. И всё тело слышит машину... Конечно, чаще ничего не случается. Но если бы в тот раз ничего не случилось, то о чём бы я сейчас рассказывал?

Всё электричество погасло разом, и замолк на полуслове магнитофон. Движок не поперхнулся, тянул исправно, на то он и дизель, но под капотом захлопало едва ощутимо. Я остановил машину секунды за полторы. Володя проснулся.

- Перекур?

Он - при такой луне да спросонок - даже не заметил, что мы без электричества.

- Ремень, - говорю, - полетел.

- Что делать будем? - Он сразу представил, что ни встречной, ни попутной помощи нам тут не ждать: кругом праздничная ночь и километров на сто в любую сторону - одни красивые ёлки и кедры. Под Луной и под звёздами. Он - не новичок, четыре года после армии. И бедовал в дороге, и у костров спасался. Поэтому сразу спросил: - Топор есть?

Я улыбнулся, сказал: "Ремень есть" и пообещал, что минут через двадцать поедем. Он успокоился и спросил, нужна ли помощь. Я ответил, что справлюсь один, а он пусть не выхолаживает кабину и дышит реже, чтоб стёкла замерзли поменьше.

Посидели пять минут, чтобы двигатель слегка остыл, и я вылез на мороз.

Сбежал в салон, забрал все клиновые ремни (я ж не знаю, который полетел), подумал, что пора включить в салоне печку, и полез под капот. Коробку от аптечки с инструментами, нож и фонарик положил справа на крыло, включил аварийную лампочку, начал разбираться.

Полетел только один из трёх ремней, но обрывки противно намотались между шкивами - хорошо ещё, что быстро заглушил движок. И второй ремень тоже готов был оборваться, весь измохратился - его надо было тоже менять.

Я попытался выдернуть обрывки ремня, но их заело. Надо было резать. Взял нож, попробовал работать на ощупь. Подумал, что лучше бы светили туда фонариком, в глубину, да ладно, пусть Володя сидит. И тут же справа, как по заказу, вспыхнул фонарик. Как это он так бесшумно вылез из кабины да ещё - при его малом росте - так легко взобрался на высоченный "ураловский" бампер? Ловок. Но я сказал:

- Ты кабину зря не закрыл. Выстудишь.

Он не ответил, только немного подвернул фонарик, чтобы мне было виднее. Ладно, думаю, здесь ты нужнее, а кабину отогреем. И шучу:

- Замерзнет там твой карабин. Или в сугроб вывалится.

Он молчит. Видно, ещё в дороге понял, что со мной лучше молчать. Но мне-то как раз сейчас надо поговорить - заболтать неприятную работу. Ну и молчи, лишь бы помогал. Тут ещё помпу надо ослабить...

- Подай ключ на двенадцать.

Подал быстро, молодец. Видно, что есть навык в машине. Потом отвёртку. И светит куда нужно, без подсказки. Потом второй ремень помог снять. Потом натянули оба ремня. Одному было бы туго, даже с рычагом, а он сноровисто так справлялся, хоть и в перчатках. Видно, рук пачкать не хотел и не жалел меховых перчаток. Молодёжь...

Надели оба ремня, подал он мне снова ключ на двенадцать, и я сказал:

- Всё, иди, грей кабину. Да закройся плотнее.

Слышу, полез не в кабину, а в салон. Видно, решил проверить свои перфораторы. Похвально. Я крикнул ему, чтобы включил там печку, второй тумблер снизу. Быстренько закрепил гидropомпу, собрал в аптечку инструменты, захлопнул капот, понёс всё добро прямо в кабину, чтобы скорее запустить двигатель, пока совсем не остыл.

При свете луны первое, что вижу в кабине - спящего Володю с карабином в обнимку. Дверка с его стороны плотно закрыта. У меня на обеих дверках были новые уплотнители, надо было сильно хлопать, чтобы закрыть как следует. Я даже потянулся и подёргал дверку - нет, не хлябает. Как же я не услышал? "Всем телом слышу машину"!

Ну, бывает. Запускаю двигатель, включаю свет. Володя не просыпается. Ишь, как перемерз посреди красоты. Ну и ладно: будить спящего - преступление. Тем более, что у него завтра - ответственная работа. Я-то буду отсыпаться, а он пойдёт выполнять срочную заявку. Пускай спит.

Двигатель прогрелся, гидropомпа гонит температуру, я тоже отошёл - поехали. Тронул машину. Володя всё спит. Но не проехал и ста метров, слышу, что дверь салона болтается, незакрытая. Тут уж спящего жалеть нечего. Торможу нерезко, чтобы дверь не покалечить, и толкаю этого... специалиста.

- Ты что же, мать-фатерь, дверь-то не закрыл?

Он спросонок лупает глазами, потом дёргает свою дверку, как только что дёргал я.

- Да нет, закрыта.

- Не эту! Салонную! - Я кричу уже, потому что понимаю, что не так тут что-то. - Ты в салоне сейчас был?

- Н-нет.

- То есть, как только я тебя отпустил, ты сразу - сюда и уснул?

- Как отпустил?

Он ничего не понимал, это было явно. Я выскочил на дорогу, обежал автобус - дверь действительно нараспашку. Я - в салон. Печка там работает, гонит воздух вовсю. На полу, на передних сиденьях - полно свежего снега. Разорваны два мешка, рассыпана гречка. .. Мешки не развязаны и не разрезаны. Мощно и широко, одним махом разорваны! Разломана и неполна коробка

с шоколадом, валяется разорванная фольга.

Вскрыт ящик с перфораторами и водкой.

- Володя!

Он уже - вот он, лезет, бледный, в салон и ничего кругом не видит, кроме своего ящика.

- Ты зачем вскрыл? - Таращит на меня глаза. Потом вдруг понимает: - Замёрз, хочешь выпить прямо сейчас? А как поедешь? А впрочем, тут ГАИ ведь нет. А не перевернёшься?

Вижу, растерялся и может продолжать так долго. Говорю:

- Оглядишься. Вот продукты, шоколад, гречка...

А сам смотрю на одеяло, в которое водка была замотана. Оно теперь лежит в ящике свободно. Поднимаю краешек, щупаю и вижу, что двух бутылок не хватает. Говорю ему:

- У нас пассажиров не было, точно?

Он мотает головой. И на глазах начинает просыпаться. Я продолжаю:

- И ты в салон сейчас не заходил, точно?

Он мотает головой и всматривается в меня.

- И печку, - говорю, - в салоне ты не врубал?

Он озирается и продолжает мотать. Потом отстраняет меня и ощупывает свои перфораторы. Я спрашиваю:

- Всё на месте?

Он молча кивает, а в глазах у него - что-то вроде отчаяния. И руками ощупывает свой полушубок. И нежно вынимает из нагрудного кармана свою коробочку с детонаторами. И вздыхает облегчённо. Прячет коробочку обратно и бросается наружу. Пока я заглядываю под сиденья в безнадежных поисках двух бутылок, он возвращается с карабином, успокоенный. Говорит:

- Нас как-то маленько пограбили. Но кто?

- погоди, - говорю. - Ты мне сейчас помогал ремни менять?

- Нет, - говорит. - Ты сказал - не надо, я и уснул. Я даже дверь не открывал.

- Заряди, - говорю, - карабин и давай в кабину.

Он дрожащими руками досылает патрон, и мы сдаём эти сто метров назад.

Я немного проехал то место, где ремонтировался, чтобы осветить его фарами. Вот чёрное пятнышко масла - накапало из картера, а вот и следы. Ведут в лес, двойной бороздой, и не понять, сколько их тут прошло. Но не на лыжах. Видны вмятины от ног. Беру топор и команду Володе:

- Из кабины выйди и стой на подножке. Не попади только в меня.

Руки трясутся, без перчаток, вылез он. А я - к следу. Когти! На целине их не видно, а на утоптанном снегу - вот они. И там, где я на бампере трудился, снег на проезжей части тоже поцарапан. Особенно чётко - на том месте, где он влез ко мне в помощники.

До сих пор не верю. Но кто же мне фонариком так грамотно светил, кто инструменты подавал? Володя клянётся, что спал в это время. Да и не мог бы он - с его природными данными - вот так запросто порвать мешки из стеклоткани. И перчаток меховых у него не было. Рукавички. И верующий он к тому же.

А две бутылки водки так и пропали. Впрочем, на праздник всё же хватило, хоть и опоздали мы маленько.

Остаток пути Володя уже не спал, а мне стало не до молчания. Надо же было договориться, что сказать мужикам в партии, чтобы это выглядело правдоподобно. Проще всего было, конечно, взять грабёж на себя: ну, замёрзли, устали во время неожиданного ремонта, ночь, волнения. Тем более - водка эта неучтённая, заранее списанная, а несколько плиток шоколада и кус мяса, что тоже ушёл из мешка - дело житейское. Так бы и оценили: что выпито и съедено, всё в дело произведено. Один лишь вопрос оставался без вразумительного ответа: зачем было рвать свои же мешки и ломать коробки? Кому назло? Или от нетерпения? Сначала выпили из горла по бутылке, даже чокнуться забыли, а потом спохватились, что надо же закусить... В общем, ничего мы не придумали и сошлись на том, чтобы сказать правду - и пускай нас засмеют.

К большому удивлению нашему, никто смеяться не стал. Партейцы сказали, что это вполне мог быть тот самый мишка, которого они две недели назад, как раз на католическое тождество, нечаянно разбудили. "Газушкой" наехали на берлогу, так он от обиды чуть гусеницу вездеходу не оборвал. Стрелять не успели. Да, может, и не стали бы: хоть и опасен шатун, а всё же, может быть, родственник: считали же древние славяне, что от медведя произошли. И медведица без шкуры, говорят, вылитая баба...

Чем всё кончилось? Володя отработал свою заявку, я отоспался, и уехали обратно на базу, в Пионерный. На месте ночного ремонта немного тормознулись, посмотрели при свете дня на мишкин след да оставили ему в сугробе кое-что из продуктов, партейцами для него собранных - компенсацию за беспокойство.

Слухов о каких-нибудь проделках шатуна той зимой в наших местах не было. Значит, либо залёг в новую берлогу (это, говорят, очень редко, но бывает) либо замёрз где-нибудь в укромном месте по пьянке: литр водки за раз - это и привычный мужик не всякий осилит.

Вот такое православное Рождество. А о небесном празднике Благовещения Пресвятой Богородицы (там и День геолога рядом) расскажу как-нибудь в другой раз.

Владимир Шкаликов

БЕЛАЯ СТАРУШКА

Никто не верит, что в нашем городе, прямо напротив облвоенкомата, всегда можно выпить пива. Не тому не верят, что всегда пиво есть, а тому, что напротив военкомата. Ни один, дескать, военком этого не потерпит. Но ведь вот он, ларёк, а вот они, мы с Борькой - стоим за круглой мраморной плитой с длинными железными ногами, а в руках у нас тяжелые кружки толстого стекла, и пену с них мы не сдуваем, как некоторые, а только отодвигаем от губ легким дуновением, и на всё это с завистью глядят от военкомата бритые "под Котовского" новобранцы. Может быть, в этой зависти и весь секрет: с первых шагов наш психолог облвоенком приучивает солдата переступать через мирские желания. И сам, надо признать, успешно переступает.

С нашего поста хорошо видна широченная спина военкома в окне второго этажа.

- Он вас как напутствовал? - Борис кивает на военкомову спину. - "Вы служите, детки, так...

- ...чтобы красные звезды на солдатских обелисках от стыда за вас не бледнели!" - заканчиваю я, и мы улыбаемся скупой и даже суровой улыбкой, как улыбаются все бывшие солдаты, вспоминая службу.

На тротуаре у военкомата движение всё ещё кажется хаотическим. Призывники в бросовой одежде и провожающие, одетые по-майски празднично, разбились на двести или триста мелких кружков и беседуют, обнимаются, поют, смеются и плачут. Солнце выхватывает из толпы золотые блики отцовских медалей.

- Ты заметь, - говорит Борис, - орденов почти нет, а медали в основном юбилейные.

Я молча киваю. Мне понятно, о чём он говорит. Фронтовики вымирают, особенно мало осталось тех, кто прошел всю войну.

Вот и Борькин старик, трижды кавалер Солдатской Славы, не ходил нынче на парад ветеранов в День Победы: "Силы не те, ребятки, не дойду. Сам от жары нагреюсь, а осколки холодные, к земле тянут"

А мой главстаршина так и вовсе слёг.

Один за другим возникают в дверях военкомата и растворяются в толпе мичманы и прапорщики. Потолкаются, дождутся дежурного офицера и вмиг построют свои команды. А пока - разрешено прощаться.

С той стороны улицы к нам перебегают парнишка в соломенной шляпе, натянутой по самые уши. Мы видим, как группа юнцов у военкомата насторожилась, и заранее улыбаемся. Лазутчик небрежно бросает на прилавок деньги:

- Четыре кружки!

- Шапку-тоними, - говорит ларёшница.

- Тут же не помещение, - парирует новобранец.

- Тут общественное место, - невозмутимо объясняет ларёшница. Она, старая фронтовичка, в сговоре с военкомом, но парень-то не в курсе...

- Снимать головной убор солдату не положено нигде, - говорит он важно.

- Это ты знаешь, - улыбается ларёшница. - Молодец. А пиво пить на службе солдату разрешается?

- Так у меня же служба еще не началась, - не сдаётся парень.

- Тогда снимай шапку.

- Не шапку, а брыль, - поправляет он и в последней надежде обнажает лысину.

- У-у-у, миленький! - смеётся ларёшница. - А говоришь, "служба еще не началась"! Началась она, началась. - И ларёшница внезапно звонким старшинским голосом командует: "- Кррру-у-у...гом!"

Мы с Борисом смеёмся. Хохочут мальчишки на той стороне улицы. Улыбаются вездесущие мичманы и прапорщики, кроме одного, который отвечает за этого сорванца. Мичман что-то веско говорит, "брыль" опускается долу...

Беседу прерывает появление дежурного офицера и музыкантов. Милиция в белых ремнях мгновенно перекрывает движение. Быстро выстраивается духовой оркестр, и под резкие команды начинается построение призывников в четыре шеренги, спиной к нам, фронтом к военкомату.

Нас, родившихся в войну или сразу после неё, было меньше, и военком говорил перед нами прямо с крыльца. Перед этим батальоном ему пришлось остаться на втором этаже. Старый полковник вышел на балкон своего кабинета и тяжело опёрся на перила. Железная вязь дореволюционной еще ковки в его руках - как паутина.

- Солдаты - начал он. - Я скажу мало, чтобы не задерживать людей, которые сидят в троллейбусах и смотрят на нас. Эти люди будут работать за вашими солдатскими спинами, они будут кормить вас и одевать, выполнять ваши нормы на заводах, а вы обязаны сделать так, чтобы их мирному труду никто не мешал. Оглянитесь, посмотрите им в глаза и постарайтесь увидеть ту надежду, с которой они вас провожают... А теперь идите, детки, и служите так...

- ...чтобы красные звезды на солдатских обелисках от стыда за вас не бледнели! - говорим мы с Борисом точно в такт военкому. Но теперь нам совсем не хочется улыбаться.

- Кто-то из них может и не вернуться, - говорю я.

- Не говори так, - Борис суеверно сплевывает через левое плечо. Я сплевываю тоже и замечаю, что сквозь щель между забором и ларьком проникла белая тень.

- Борька, - говорю я, - опять не уследили.

Колонна в это время уже повернулась направо и смыкает ряды для походного марша. До вокзала тут всего один километр, и призывникам всегда предоставляют это удовольствие - пройти на прощанье пешком по родному городу.

- Баба Вера! - вскрикивает Борька, но белая тень уже растолкала провожающих и достигла своей цели. Она хватается призывников за руки, достаёт из старой клеёнчатой кошелёчки пирожки и варёные яйца, пытается вложить еду мальчишкам в карманы и при этом тонко, жалобно причитает:

- Да родненькие ж вы мои, да никто же из вас не вернётся, деточки ж вы мои, да возьмите ж вы хоть покушать с собой... О-о-о... О-о-о...

Милиционер, который дежурил у калитки ее дома, и офицер ГАИ, преграждавший путь троллейбусу, бросаются к старушке. Всё происходит так быстро, что мы едва успеваем отставить в сторону свое пиво. Но наша помощь уже не нужна: старушку помещают в милицейскую "Волгу" и, обогнув колонну, едут впереди, расчищая путь, а перепуганные новобранцы, восстановив ряды и подобрав ногу под "Прощанье славянки", начинают свой прощальный марш. За ними по обоим тротуарам тянутся родственники, друзья и невесты, а с ажурного купеческого балкона грустно глядит вослед старый усталый мужчина в полковничьих погонах, с полной грудью наградных колодок военного и нашего времени, с тяжелыми рабочими руками.

- Это ж надо так испортить пацанам проводы, - говорит Борис.

- Что с нее взять, - возражаю я. - Потерял бы ты родителей в Гражданскую, а мужа с сыновьями в Отечественную, и ты бы свихнулся.

- Ты меня не понял, - морщится Борис. - Я про милицию. Ну как можно два раза в год не найти сил, чтобы нейтрализовать одну-единственную старушку?! Или горисполком - почему не переселить ее отсюда подальше? Или военкомат...

- Во-первых, чтобы ее переселить, нужна квартира, - я злюсь, потому что Борису это и без меня известно, - во-вторых, пока эту хибару не снесут, хозяйка из нее ни за что не уйдет...

- В-третьих, у нас нужные народному хозяйству молодые специалисты семьями по общежитиям скитаются, - продолжает сердито Борис. - Это старая песня. А если по-людски разобраться, то у бабы Веры прав на квартиру больше, чем у всего горисполкома...

- Да сама же она не хочет! - мне уже совсем тошно от этого пустого спора. И Борька вдруг сразу размякает: - Ты не обижайся, старик, - говорит он тихо, - ты же понимаешь, я просто разряжался.

Мы берём еще пива, долго цедим его и ничего не говорим. Больше всего досадно, что баба Вера проскочила под самым нашим носом. Мы слушаем далёкий оркестр и не смотрим друг на друга.

Потом оркестр стихает, и почти одновременно появляется милицейская желто-синяя "Волга". Бабе Vere помогают высадиться на гранитную бровку тротуара и тут же исчезают, вежливо пощелкивая ногтем по микрофону.

Теперь она замечает нас. В очень старом своём длинном белом платье, с прихваченными бинтиком белыми волосами, тихая и лёгкая, она тенью приближается к нам, едва доставая глазами до мраморной столешницы, поднимает над головой и кладет между кружками свои не врученные воинам продукты.

- Проводила. На машине проехала. Здравствуй, Толик, здравствуй, Боренька, здравствуйте, деточки. Покушайте хоть вы, пожалейте старуху.

Она несет яичко и ларёшнице: "Скушай, Тасенька, скушай, деточка, некого же мне кормить..." Ларёшница ее жалеет, берёт яичко, а сама достаёт из-под прилавка бутылку лимонада: "Ты попей, баба Вера. Поди, запарилась в этой машине". "А нет, - отвечает баба Вера, - они для меня форточку открывали и ещё спрашивали: "Не дует, бабушка?" Но стаканчик лимонаду она все-таки берёт и подходит к нам. Ставит воду на полочку под столешницей, куда положено класть сумки: наклоняться ей сподручнее, чем тянуться на стол. Ставит и сразу о ней забывает. Внимательно, пронзительно всматривается в наши лица светло-голубыми выцветшими глазами и наконец начинает свой обычный допрос.

- Боренька, вот ты воевал. Как же ты уцелел в этом аду? Ты хорошо прятался, да?

Она спрашивает без обиды, без вызова, просто с участием. Это привычный для Борьки вопрос, и он привычно, терпеливо отвечает:

- Да я, баба Вера, почти не воевал. Всего несколько часов. Они постреляли, мы постреляли. В кого попали, тот упал.

- А остров-то этот, как его... они его у нас не отобрали?

- Нет, баба Вера, не отобрали.

Она грустно кивает. Молчит, будто пытается что-то вспомнить. Потом спрашивает:

- А в тебя они не попали, потому что ты хорошо спрятался?

- Да, - соглашается Борис, - я вырыл самый глубокий окоп и оттуда стрелял. Я в них попадал, а они в меня - нет.

- Молодец, Боренька. Ты им отомстил за моего Ваню.

- Отомстил, баба Вера,

Она еще молчит. Сейчас наступит моя очередь. Мне тоскливо, потому что ее младший сын, которого она спасла из дотла сожженной фашистами деревни, погиб в 68-м году на моих глазах.

- Толик, - просит баба Вера. - Ты, сыночек, не обижайся, ты Расскажи мне про Ванечку. Как он погиб?

- Баба Вера, - прошу я, - может, не надо? Опять будете плакать, сердце разыграется...

- Да мне уже все равно, - говорит она. - Зачем мне жить? А так я как будто рядом с Ванечкой побуду. Расскажи.

Борис глядит на меня с тоской: "Делать нечего, рассказывай".

- Ехали мы уже воинским эшелоном домой, - начинаю я.

- Господи, ведь уже домой ехали, - подхватывает она с надрывом.

- Не буду рассказывать!

- Нет-нет, - она вскидывается, - рассказывай, молчу.

- Ехали мы еще по германской территории, как вдруг заворачивают ваш эшелон на юг.

- К чехам, - вздыхает она.

- Надо было спасать Чехословакию, - говорю я твёрдо, и она машет рукой: "Продолжай, молчу". - Приехали, стали жить в палатках за городом, в полной безопасности, потому что народ к нам хорошо относился. Но иногда разная сволочь из-за угла постреливала.

- Дальше, дальше. Идёте вы как-то раз...

- Идём мы как-то раз по городу строим, поем песню, девчонки нам платочками машут...

- Машут платочками, - повторяет она слабым эхом.

- Не буду дальше!

- Говори, - приказывает она сурово. - Мой сын!

- Идем мы рядом с Иваном. Вдруг с какого-то чердака очередь из "скорпиона"...

- Из автомата?

- Да, это автомат такой. Разрывными пулями. Мне - вот это, а Ивану - прямо в сердце... Не мучился... Там его и похоронили.

Она трогает мой пустой рукав, засунутый в карман пиджака, и тихо спрашивает!

- Она у тебя, болит? Говорят, что и отрезанное болит.

- Иногда болит, - признаюсь я. - На погоду.

Она гладит меня по рукаву и просит:

- Толечка, сыночек, ты живи долго-долго.

Я обещаю, и она бочком уходит в щель между забором и ларьком, хотя рядом её собственная калитка. Мы с Борисом загнанно смотрим друг на друга и жадно допиваем пиво, потому что у обоих пересохло во рту. Борис отходит к ларьку, чтобы взять еще по кружке.

И в это время баба Вера вновь появляется из щели, подбегает ко мне и слабой ручонкой тянет за ворот, чтобы нагнулся. Припав к моему уху, она шепчет скороговоркой:

- А знаешь, почему его похоронили ТАМ? Это я! Это я так захотела. Всех наших везут домой, а я захотела, чтобы его - ТАМ!

- Но зачем же? - вырывается у меня.

- Для них! Пусть они смотрят и помнят, кто сложил за них голову. Вот так.

Она отпускает мой воротник и, как сошедший с пьедестала беломраморный памятник всем солдатским матерям, твердым шагом идет к своей калитке.

Возвращается с пивом Борис. Я открываю рот, чтобы ошарашить его сообщением бабы Веры, но тут вижу, что она снова идёт к нам. Несчастливая белая старушка приближается величественной невесомой поступью, складывает тонкие сухие пальчики рядком на столешницу и отрешённо смотрит в пространство перед собой навеки печальным взором. Мы с Борисом переглядываемся: не отвести ли старую домой? И вдруг она говорит ясным и твердым голосом:

- Вы думаете, деточки, баба Вера помешалась? Думаете, я поэтому над новобранцами причитаю? Не-ет, Толечка, не-ет, Боренька. Их матери горя не видели - они, как я, не поплачут. Их невесты не всех станут ждать - многие завтра слезы вытрут. А я покричу, напугаю - вот мальчишки, может, и задумаются, может, и поберегутся... Я знаю, они не струсят. Мы - народ храбрый. Но - безрассудный. Потому во все века наши старухи причитают вослед солдатам. Чтобы они - нам, дурам полоумным, назло - береглись бы и возвращались бы живыми. Вот так.

У Бориса отвисает челюсть и округляются глаза. Наверно, и я выгляжу не лучше.

Вот так баба Вера...

"В ТРАВЕ СИДЕЛ КУЗНЕЧИК..."

Все идут нам навстречу. Из общежития. Заводские. В основном молодёжь.

- Его ко мне вахтёры уже не пускают...

- Опять завтра на лыжах...

- А я уже втянулась...

Она втянулась, а я никак не могу. Третий год не втягиваюсь. Мне бы, девочка, твои заботы. Уже не помню, когда на лыжи становился.

- Папа-а, пап! А киска плидёт?

Прошлой осенью, когда мы мчались мимо этого дерева, на нём сидела серая кошка. А вот сегодня почему-то не сидит.

- Придёт, сынок.

- А поцему она не плисла?

- Она ещё спит.

Мне бы самому сейчас поспать, как этой киске. Вчерашняя таблетка зуноктина действует почему-то до сих пор, и меня покачивает. Надо было съесть ее на пару часов раньше, но тогда к сегодняшней лекции я бы не подготовился... Интересно, принимают ли меня встречные за пьяного? Помню одного такого: он был моих лет, нёс такого же малыша лет двух-трёх, путался в собственных ногах, падал в грязь, но малыша не ронял и матери, не отдавал, хотя она была, пожалуй, потрезвее. Интересно, кто они? Сейчас ведь по одежде не угадаешь...

- Папа, а мы, вот, вот... На поезде поедем?

- Нет, сын, мы поедем на трамвае.

- А почему?

Что-что? Это он сказал "почему"? Ах, нет, это мои сонные мозги - устали умиляться картавому лепету и "переводят с детского на взрослый". И мой собственный язык, кажется, тоже отвечает сам, автоматически, без моего ведома:

- Потому что на поезде нам не по пути. На нём маме по пути.

- А почему?

Я молчу. Пусть поймёт, что не на все вопросы есть ответ.

Трамвай уже прошёл на кольцо и сейчас вернётся. Однако он мешкает целых три минуты. Опоздаем в садик.

На остановке - три мамы с такими же детьми, как мой. Поглядывают на меня с завистью: нашей маме завидуют. Ну-ну. Их дети - не понять в зимней темноте, какого пола - затеяли на рельсах возню со снежным обломком.

- Я лучше умею.

- И я лучше умею.

А Евгений жмётся ко мне.

- Пап, я устал, мне холодно.

Ничего подобного, просто на руки хочет. Вот он уже тянется вверх и хитро улыбается.

- Мозьми я луцки!

- Ну-ка, скажи правильно: "Возьми на руки".

- Нет!

Бездельник! В его годы у меня дикция, безусловно, лучше была. Правда, и время было другое. При немецких военнопленных, которые восстанавливали наш город, мы считали неприличным для победителей картавить и сюсюкать... Ну, так и быть, залазь на руки, трамвай подходит. Благо я не взял портфель, а растолкал всё нужное по карманам - руки теперь свободны.

Удобно, что наша остановка - предпоследняя: всегда есть свободное место и не надо смотреть вопросительно на тех из сидящих, кто помоложе, и спрашивать сына погромче: "Где бы нам с тобой сесть?"

Мы усаживаемся подальше от двери, чтобы на остановках из неё на нас не дуло.

- Пап, вытри окно.

В вагоне ещё не надышали, окна чистые, не замёрзшие, но этому аристократу не нравится, что на стекле полоска пыли. Мамино воспитание. Она вечно рукавицы о стёкла до дыр протирает. Что ж, создаём комфорт и начинаем смотреть на улицу.

- Пап, мы быстро едем?

- Не особенно.

- А далеко?

- Ох, далеко.

- А это наш трамвай?

- Ну, почему же только наш? Общий.

- Нет, наш.

Дочь в его возрасте такой собственницей не была. Если бы я сказал, что трамвай общий, она бы глубокомысленно пробормотала: "Да?" и задумалась. А этот спорит. Что делать, мальчишка. Всюду своё мнение.

- Пап, а Москва где?

- Гм? Далеко.

- Нет. Вон она.

- Сын! Это башня, а не Москва.

- Не-ет! Пусть будет Москва.

- Ну пусть будет.

- А это мы ее построили?

- Нет. Её купец построил. Но разорился и сам с этой башни спрыгнул. Сорок метров летел.

- Зачем?

- Затем, что жизнь ему стала, до лампочки.

Сын задирает голосу и смотрит на плафоны.

- А почему лампочки грязные?

Ну, вот и отвлекся. Рано нам выяснять связь между человеческой жизнью и лампочкой.

Сын с откинутой головой повис у меня на руке, тяжелый. Рука затекла. И уже заболело горло. Где мои двадцать лет, песнопения на морозе, в открытом кузове грузовика? Теперь меня в тёплом трамвае, без песен, хватает едва на полчаса. Лучше бы стоять - не так мёрзну. Но стоять с сыном на руках тяжело - уже не держит позвоночник, надорванный во время одной боевой тревоги на крейсере "Кутузов"... Позагорать бы хоть будущим летом...

Однако сын всё висит на руке. Силой посадить - война будет. Начинаю опускать руку, и он со смехом выпрямляется сам. И прижимается ко мне. Тёплый, маленький... Совсем бы хорошо, если бы голова не болела. А она трещит со вчерашнего дня, после стычки с завкафедрой. И снотворное не помогло. Отоспаться бы без снотворных, в тишине, хоть неделку. Когда ещё лето....

- Пап, я устал, я писать хочу.

- Ну, давай, давай, прямо в трамвае.

- Нет.

Магазин "Одежда". По фронтоу горят красным несколько неновых шуб. Или аргоновых? Криптоновых? Лучше бы цигейковую, одну, на вырост. Сын тычет в рекламу рукавичкой. Короткий рукав

его пальтишка задирается аж до локтя.

- Пап, эта шуба - какая?

- Стеклянная.

- Нарисуй мне такую.

Ишь, скромник! Не "купи", а "нарисуй".

- Зачем тебе стеклянная шуба?

Он молчит и смотрит перед собой. Учит меня не задавать глупых вопросов или соображает, на что, в самом деле, годится стеклянная шуба? А я соображаю, как добыть ему на будущий год цигейковую. У нас её можно купить только недоступным мне способом. А в Москву съездить... Моя очередь на факультет повышения квалификации, но зачем тогда ссориться с завкафедрой?. И из журнала что-то задерживается ответ. Если статью примут, то это гонорар, плюс ФПК - вот и шуба сыну...

А сын уже закрутил головёнку назад.

- Папа, пап! Смотри: глаза закрыла, и рот, и нос, и не дышит!

Молодая полная мамаша с закутанной до самых глаз малышкой. Дышать девчонке и вправду нечем. А мой таких вещей не понимает, он мужик закалённый. Надо это подкрепить морально, чтобы не захотел сам закутаться.

- Это она, сынок, холода боится. А мы же с тобой не боимся?

- Да! Пап, а на улице - погода?

- Погода.

- А мы погоду не боимся?

Вот тебе раз! Точно так же говорила дочь в его годы. Это что же у него - генетическое или просто при нём кто-то из нас так говорил? Не помню. Это плохо. Неужто вправду старость начинается? И глаза у меня уже плачут на улице. Испугался, пошёл по привычке в физкультурный диспансер, а меня там уже никто не знает, все новые. Молоденькая окулистка: "Вам уже тридцать пять? Так это от старости!" Успокоила... Распустился я с этой наукой. В группу здоровья попробовать? Стыдно что-то...

- Пап! Ну, пап! А шоколадные самолёты бывают?

- Ну как же шоколадный самолёт полетит? Он на солнце растает.

- Нет, не растает, мама сказала.

Конъюнктурщик! Чуть что - "мама сказала". А ей - "папа сказал". Мать тоже хороша - потакает разным нелепостям. Спать его при свете приучила...

- Пап! А в стеклянной шубе тепло?

Ишь, вспомнил!

- Нет, сын, в стеклянной холодно.

Мне вон в суконном пальто холодно. Правда, пальтишко старое, раньше лучше грело...

На очередной остановке стоит встречный трамвай. В окне - молодая мама с такой же, как мой оболтик, девицей на руках. Дети соревнуются, кто сильнее прилепит нос к стеклу. А мы смотрим друг на друга. "Значит, мы похожи, раз получается разговор глазами?" "Выходит, похожи". "И живём похоже?" "И живём похоже". "И не исключено, что эти малыши когда-то познакомят нас?" "Не исключено". "Буду рад". "А не поздно?" "Хорошее никогда не поздно". "Что ж, прощайте". "До свидания". Она улыбается. И мы разъезжаемся, как параллельные миры.

- Кем ты будешь, мальчик?

Выспавшаяся домохозяйка. Плоские глаза. Вопрос задан, чтобы скоротать время. Сын это чувствует и отворачивается. Она отстранённо улыбается мне и сходит у базара.

- Пап, это какая буква?

Едем мимо горсада. Над входом горит одна буква "О".

- Это, сын, красная буква.

- Нет. Зезёная.

- Кем же ты будешь? А?

- Не-знаю-нет.

Ну, не знаешь, так не знаешь. Правильно делаешь. Меня бабушка и тётка с четырёх лет готовили в авиаконструкторы, вот и стал педагогом.

- Пап, я устал сидеть.

Он слез, а у меня сразу замёрзли колени. И весь я мёрзну. И голова болит. И спать хочется, хоть на пол ложись... Да на что же это похоже?! Не годится это никуда! Не хочу я спать! Не холодно! Сын, постоял - садись обратно! Ничего, скоро всё это кончится, через две остановки...

Проехали электроламповый завод. Стало просторнее. Можно снять затёкшую руку со спинки переднего сидения: на сына уже не давят.

Вот и площадь Кирова. Не хочется на холод.

- Па-ап!

- Что?

- Ты кляка-ласкаляка.

Вот это верно. Но всё равно пора сходить. С показательной лёгкостью подбрасываю сына одной рукой, но так, чтобы не стукнулся головой о поручень. И встаю. На весь трамвай хрустят мои колени. В пояснице включается боль. Как говорят механики, застыла смазка. Ничего, сейчас разойдётся.

Мы с сыном обходим трамвай спереди, но потом нарушаем правила перехода улицы, чтобы сократить путь. Он вертит головой. Доска почёта Кировского района, с модными нынче очень высокими и зыбкими флажками из трёхдюймовых труб. Хлопают на ветру флаги, звенят тросики.

- Пап, это - Первое Мая?

Если бы. Февраль на дворе. Дуют ветры, воют в трубах звонко. Или громко? Забыл, забыл стихи своего детства. Сын упирается валенками мне в бедро.

- Сын, идти мешаешь.

Он поджимает ноги и жалуется, что неудобно. Ничего. Лучше плохо ехать, чем хорошо бежать. Отец твой и идёт-то плохо. Не расходится у него смазка.

- Пап, а тракторист проснулся?

С трудом припоминаю, что вчера, пробегая мимо этого забора, за которым строится громадный заводской корпус, мы обсуждали вопрос: почему стоящий возле корпуса трактор не едет. Решили, что тракторист ещё не проснулся: нечего ему делать на тракторе до восьми часов. Теперь сквозь железные прутья ворот видим, что трактора нет. Значит, проснулся тракторист наконец. Зато, конечно, не успел позавтракать. Раз папа не успел, то он и подавно.

Забор кончился. Мимо нас, качаясь и прыгая, мелькают окна папиного института. Сын вытягивает шею. Иногда вечером, если из сада его забирает мама, они заходят ко мне на кафедру. А Валя - она ездит за братом через весь город только в крайних случаях - сразу спешит с ним домой, чтобы сестра за уроки, потому что у неё преподавание на английском, фигурное катание. Кстати, успела ли она сегодня поехать? Дитя в пятом классе уже не плачет, а мать в поездке не разумеет. Сами не знаем, кого воспитываем.

- Пап, зайдём тебе институту!

- Не "институту", а "в институт".

- В ин-сти-тут. Зайдём?

- Нам же в группу надо! Сам утром просился...

- Нет. Не хочу группу. Зайдём институту. Включим телевизор.

- Сынок, это не такой телевизор, как у нас дома. Его включают только в понедельник и в пятницу. И то днём. Он учебный.

Сын вдруг верит без спора. Вот что значит авторитет высшего образования! Я сейчас не просто папа, но ассистент кафедры педагогики. Камер-юнкер от науки, но сыну это пока невдомёк... Окна мелькают, сын провожает глазами телевизор, который Виден в вестибюле на стене. Они, малыши, любят эту игрушку, а я что-то мало ей доверяю. Упрощает мышление, приучает к выжимкам из книг, не даёт остаться наедине со своими мыслями... И ведь чем дальше, тем интереснее смотреть на экран, по себе чувствую. Талантливая игра, интересная режиссура, неожиданные ракурсы, цвет - глянул раз и считай, что вечер потеряян, засосёт. Будешь смотреть, волноваться, а на завтра - ничего не вспомнишь. Впрочем, у нового поколения, воспитанного на телепередачах, возможно, совсем другое представление да и вся психика. К тому же учебное телевидение - это не зрелищный ширпотреб, а прекрасное подспорье учителю...

Посмотрите налево, товарищ учитель, теперь направо, не спешите, не поскользнитесь... Ну, ура, перебежали последний перекрёсток.

- Сынуль, больше машин не будет, пройдишь пешком. Тяжёлый ты, однако...

Виляем между домами. Вредный городской ветер дует из-за каждого угла. Мои ноги всё ещё заплетаются, голова кружится, вся спина болит, а сын уже нахохлился и сейчас запросится на руки. Я его не донесу.

- Сын, как дела?

Молчит. Хохлится. Топают изо всех силёнок. Сквозь две варежки он никак не может толком ухватиться за мою большую и толстую перчатку. Какие уж тут дела - вот что я должен понять по его печальному виду.

- Ну, так что, сын, ты у меня большой или на ручки взять?

Приём нечестный. Мы оба это понимаем, но молчим и, насупившись, топаем дальше. Мы - большие.

Нас обгоняет бодрый, выспавшийся папаша из нашей группы. На руках у него Миша Кривин. Хорошо жить по соседству с садом.

Тихо лицемерю им в спину: "Понесли Мишу, как маленького". Сын молчит и топают...

Мы отстали от Миши на какую-то минуту. Но когда семеним мимо витринного окна группы, воспитательница Раиса Ивановна, окружённая малышами, смотрит на нас укоризненно: хоть бы в День Советской Армии не опаздывали. Мне стыдно, сыну только холодно. Стыдно ему будет лет через тридцать, если не сможет устроить моего внука в садик рядом с домом и будет так же опаздывать через весь город... Хотя, нет. У него такой заботы не будет. Его-то детей, надеюсь, война без дедов и бабок не оставит. Едва появится первый внук, как наша мама охотно бросит работу на железной дороге и осуществит свою мечту - сидеть дома и воспитывать детей. Если к тому времени защищу хотя бы кандидатскую, то не думаю, что буду против.

- Пап, я потрогал собаку.

Замёрз, насили протиснулся в тугую дверь, а собаку потрогать успел! Вот то великое, что мы утрачиваем с годами. Я эту собаку в тамбуре и не разглядел.

Мишу уже раздевают. У него танк. Снимая одну за другой четыре кофты, он перекладывает грозную машину из руки в руку и победно поглядывает в нашу сторону.

- Пап, смотри! Это танк?

- Танк.

Миша молча похвально танком. Он каждый день приносит в сад новую игрушку. Сначала я говорил при его папе, что это нехорошо и не разрешается. Но папа не понял, и я утешился тем, что понял мой сын и по утрам перестал просить что-нибудь с собой. Ничего не поделаешь: мораль требует строить внешнюю политику на невмешательстве. А жаль. Я бы очень даже вмешался. Мой сын становится сегодня первой жертвой антипедагогической обстановки в семье Кривиных. Он трогает танк и задаёт счастливому Мише вопросы насчёт огневой мощи и двигателей внутреннего сгорания на танках данного образца. Миша важно отвечает, что мотора на этом танке нет, но в его голосе позванивает опасение: а вдруг у Женьки дома танк с мотором? И, уже явно завидуя Женькиному, то есть моему, старенькому флотскому ремню с якорем на пряжке, он пускает в ход дезинформацию: "Зато у моего папы есть "Жигули" с мотором!" И папа молчит, хотя нет у него никаких "Жигулей". И не глядит в мою сторону.

Смотрю на его напряжённый профиль (он снимает с Миши валенки) и вспоминаю шуточную песенку:

Да, мы не рады, что мы пираты.

Всегда краснеем за чёрный флаг.

Семья и школа, вы виноваты,

Что нас толкнули на этот шаг!

Не очень ясно, о каком шаге речь, но, надеюсь, не школа будет виновата, если Миша поступит в пираты.

Зажав танк под мышкой, Миша скрывается за дверью группы, и оттуда сразу слышится возня: народ интересуется его собственностью.

- Пап, сандалики не лезут.

Вот незадача. И когда он успел из них вырасти? Летом Валентина где-то нашла складной ножик с узким лезвием и гравировкой на ручке: "Титан". Подарила мне. Ношу всегда в заднем кармане брюк и время от времени доставляю ей удовольствие тем, что даю "постругать карандашик". Теперь я вынимаю свой острый "Титан" и предлагаю сыну сделать из его закрытых сандаликов босоножки: тогда пальцы не будут упираться. Если он идею не примет, будут слезы. Но идея принимается с восторгом. Ещё бы: Миша лопнет от зависти!

- Пап, этот ножик тебе Валя дала?

- Да. Подарила на день Военно-Морского Флота.

- Подарила!

Он смеется, аж захлёбывается смехом непонятной радости.

- Ну-ка, сын, повернись! Подходящий у меня ребёнок?

- Подходящий!

Наше традиционное прощание, залог весёлой разлуки. Я расчёсываю ему лёгкие волосики самодельной расчёской из авиационного дюралю (старшие родственники говорили мне в детстве, что ею до самого конца пользовался на фронте покойный Женечкин дед), потом заправляю в шортики рубашонку, беру сына за плечи, и мы упираемся друг в друга носами. Я говорю: "Подходящий, - и добавляю: - Ты мой солдатик". Он поправляет: "Не солдатик, а солдат". И просит: "Открой мне дверь".

Он может и сам открыть эту дверь, но такова наша традиция. У двери я приглаживаю ему завиток на макушке и говорю: "Пока". Он входит в группу, но сразу поворачивается ко мне: "Погоди!" И пока мы с Раисой Ивановной киваем друг другу, он что-то быстро находит на её столе и опрометью бежит ко мне.

Не знаю большей радости, чем смотреть, как маленький человек бежит со всех ног и улыбается. Бежит ко мне и улыбается мне. Кто ещё из людей так в меня верит? Кто ещё может подарить мне на праздник такую роскошную ракету, которую вчера сам вырезал из зелёной бумаги, наклеил на жёлтое небо и лично изготовил для неё не очень круглое, зато незамерзающее, не то что в трамвае, окошко!

Подбежал, вручил, ткнулся круглым ротиком в папину щёку (Забыл побриться! Каков я буду на семинаре?!) и вот он уже отступает и изо всех сил машет мне рукой. Это означает: "Уходи скорее, пока не заревел!"

Когда в дальнем конце раздевалки я кончаю обуваться, он вдруг появляется снова. Не было бы слез... Но он подбегает всё так же опрометью и протягивает руки, чтобы я нагнулся. Улыбается хитрыми, серыми, как у покойной бабушки, глазами и шёпотом поёт: "Главе сидел кузнецик..." Вот оно что! Ещё один подарок! Я подхватываю, тоже шёпотом: "В траве сидел кузнечик. Совсем как огурчик, зелененький он был".

Мы, два мужчины, поём в этот праздничный день только друг для друга: "Представьте себе, представьте себе, зезёненкоый он был..."

Кажется, слово "зезёненкоый" войдёт в наш семейный обиход так же, как "мы погоду не боимся".

Потом я иду обратно. Сонливость начинает проходить, ветер по-прежнему дует из-за каждого угла. У витринного окна его группы сбавляю шаг. Сын вместе со всеми сидит за столом и таращит круглые глазёнки на улицу. Заметив меня, азартно машет очищенным яйцом. Это у нас называется "помахать".

Миша и его сосед по столу вырывают друг у друга зелёный танк. Полиэтиленовое орудие согнулось дугой. Бортовая броня вмялась под пальцами, ещё розовыми от мороза. Легко разбираю спор: "Мой танк!" "Нет, мой!"

Увидев меня, Миша освобождает одну руку и тоже машет. Сын кладёт на стол хлеб и толкает его в плечо: "Мой папа!"

Всё-таки в этом возрасте они неисправимые собственники. Неужели и я был таким? Не у кого спросить...

12.05.1982г.

Владимир Шкаликков

ВЫСШАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

(Скорость света, вид сбоку)

С водителем всё самое интересное происходит на дороге, в движении, чаще всего - на большой скорости. Поёт машина, как ласточка, поёт душа на свободе, поёт магнитофон, светит солнышко, стенами текут ёлки с обеих сторон высокой насыпи, кряковая утка летит рядом, заглядывает в кабину; встречный трубовоз вежливо сбавляет скорость... Ну так всё хорошо, что сам ты забываешь вовремя сбросить газ, влетаешь в плотную пыль за трубовозом, спохватываешься уже во время пилотажной фигуры, именуемой "бочка", и обнаруживаешь себя в болоте, зажатым между сиденьем и крышей кабины, без единой царапины и без малейшей возможности выбраться на волю самостоятельно. Разве не интересно? Особенно потом, когда кабину менять...

Но в тот раз, о котором речь сейчас, на скорости происходило неинтересное, почти такое же, как в несчастном "ЯК-сороковом" несколькими годами раньше.

Всё в природе циклично. В обществе - тоже. И называется это кампаниями: за культуру, за трезвость, против злоупотреблений... И так без конца. Весь тюменский-томский нефтяной север содрогнулся однажды гибелью вахтового самолета. Пассажиры ЯК-40 заносят свои сумки и рюкзаки прямо в салон. А летают, понятно, целыми коллективами. И однажды такая дружная хмельная смена - то ли буровиков, то ли строителей - после взлёта развязала рюкзаки и так крепко добавила, что на крейсерской высоте полёта все уже раздружились, и пошла зверская драка. Пока пилоты запрашивали у земли разрешение на устрашающую стрельбу, ком побоища укатился в хвост самолёта, аппарат задрал нос и в таком положении летел четыре километра до самой тверди. Обошлось без чудес: не спасся никто. Последовали суровые приказы, и почти полтора десятка лет, по вине этих бедолаг, всех вахтовиков в аэропортах не просто досматривали с пристрастием, а прямо-таки унижали самым настоящим беспредельным шмоном, отбирая в первую очередь всё, что могло сойти за выпивку, а попутно и всё острое, включая плотницкий, столярный и резницкий инструмент. На стенах вахтовых портов висели длинные запретные списки, куда - во времена продуктовых дефицитов - попадали и тушёнка, и сгущёнка, и мясо случайно заваленного зайца, и даже сливочное масло "в количестве большем, чем можно съесть в полёте". Но это сейчас к делу не относится. Важен пример.

Мои пассажиры вели себя далеко не примерно. Совсем как в том ЯКе, они распустили "молнии" на сумках, развязали рюкзаки и первые пятнадцать-двадцать километров энергично добавляли. Мне в кабине, понятно, ничего слышно не было, но это и не требовалось. Я точно знал, что после первого стакана разговор у них шёл о женщинах. Почтительность в отношении предмета разговора тут зависит не столько от образования беседующих, сколько от спаянности коллектива. Мои пассажиры знали друг друга давно, почти все были родом местные, возраст имели послеармейский и беседовали о хорошо им всем знакомых дамах, так что мне, человеку уже немолодому и женатому на профессоре, лучше было не слышать тех подробностей, до которых парни позволяли себе углубляться в тему.

Вторым стаканом дамы непринуждённо отменялись, потому что разговор естественно переходил в молодецкое русло. Вспоминались юные проказы рукопашного характера, произносились авторитетные и пошмешливые имена, припоминались удары, броски и прочие приёмы, и всё это здесь же, на месте, по возможности закреплялось на практике.

Третий стакан всегда пробуждал те геологические горизонты сознания, где хранятся заветные приёмы любимой работы, знания выстраданные, случайные, редкие, а порой вообще невероятные, но всегда интересные и потому обсуждаемые долго, подробно и горячо. Порой даже слишком горячо. Например, о замене карбюратора обычной бутылкой или о применении велосипедного насоса вместо топливного...

Если выпивки хватало на четвёртый заход, начинало всплывать святое - армейская служба. Почему оно святое, женщина ни за что не поймёт, а мужчине растолковывать не нужно. Да об этом сейчас и речи не зайдёт, потому что остановить автобус мне пришлось, как я понял, на втором этапе.

Видно, кто-то с кем-то слишком уж не согласился в технике проведения какого-нибудь приёма: шум сзади заставил меня очень резко затормозить и срочно заглянуть в салон. Драка была в самом запале. Дерущихся от разнимающих было уже не отличить, поэтому я без особой спешки и совсем без разбора по одному отрывал хлопчиков от кома и выбрасывал во тьму, за жёсткую апрельскую обочину, заботясь только о том, чтобы летели подальше, в рыхлое.

Закончив дела, выпрыгнул на твёрдый сугроб, а дверь и окно оставил открытыми, чтобы освежить в салоне воздух - приблизить его к воспетому "запаху тайги".

Вид сверху был жалок. Дюжина снежных человечков, шипя, остывала в сыпучем снегу, в неярком свете автобусных окон, под хорошей, полной луной и, красиво говоря, под острыми лучами звёзд различной величины.

"Сухой закон" - подарок для непьющих. "Сухой закон" - подарок для неумеющих пить. "Сухой

закон" - благо и спасение для любого вахтовика. Спасибо тем, кто ввёл его или проклятье тем, кто его отменил? Скажите так - и будет мимо. Описываемое рядовое событие происходило ЗА ГОД до отмены благостного закона. Да для того и законы, чтобы в них активно сомневаться. Провезти на себе литр водки - сущая безделица для вахтовика любой комплектации, даже непьющего. Делиться опытом не буду - это пока не требуется. Важен факт, а факт таков: люб закон народу - соблюдается, не люб - обойдут и ещё пошутят насчёт дышла.

Ну что я мог сказать, глядя на шипящих снежных человечков? Прошла уже половина вахты, ребята не вылезали с заявок, а работа на заявке - круглосуточная, буровики диктуют режим. Устали хлопцы. А тут - разрядка, лёгкое задание. Приказано было в последний раз переночевать на временной базе в Оленьем и резко, в один приём перевезти всё имущество в Пионерный. Одновременно и праздник, и поминки - по обжитому, но бросаемому. Да ещё в ночь на 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы. Да ещё в канун Всесоюзного Дня Геолога, праздника нашего на все времена. Как мне было сердиться? На этих чудных парней!?

Вон не хочет вставать из снега Толик Тихонравов. Милейший, добрейший юноша большой физической силы, работяга отменный. Служил в воздушном десанте. Любит ходить в чужие общежития на танцы. Оттуда всегда возвращается с подбитым глазом. Кем был в ВДВ? Писарем? Водителем? У нас он слесарит в гараже, скоро женится на Тонечке-уборщице. Вполне нормальный гражданин.

Толика пытается поднять на ноги Серёга Белых, человек ни в каком виде не агрессивный. Он классный уже водитель, машинист подъёмника, обожает учиться, ни в чём себя выше других не ставит. В беседе никогда никого не перебивает, поэтому последнее слово почти всегда оставляют ему. В этой драке он наверняка был разнимающим, потому что из автобуса вылетел первым.

Серёже полная противоположность - Ваня Автандилыч, неожиданный, как его фамилия. Техник-геолог, неукротимый спорщик, а в самой лёгкой степени опьянения - мастер спорта по боксу, чёрный пояс по каратэ и тому подобное, в зависимости от настроения, за что всегда получает по своему большому носу, но дерётся всегда до последнего, то есть пока кто-нибудь из друзей не сядет на него сверху. Обычно это исполняет Саня-Фуганок...

Могу нежное рассказать и про Саню этого, и про Равильку, и про Игорька Хана - про любого из двенадцати - с любовью, только с любовью. Они сейчас быстренько остынут, немного поспят на старой базе, где придётся, и весь день будут вкалывать.

Но нет! Ваня выковырнул снег из уха, покрутил головой, кого-то различил в лунно-автобусном свете, что-то припомнил, что-то проголосил и - бросился в атаку. В снегу он оказался почему-то ловчее всех, его никак не могли скрутить сразу, опять все слиплись в ком, и я махнул на них рукой. Пусть охолонут, как умеют, а я тем временем приготовлю инвентарь, чтобы сбить с них снежок перед загрузкой на чистые сиденья.

Пока извлёк из ящика метёлку, пока вымел из салона их окурки, объедки и пуговицы (всё равно пришивать не будут), не заметил, как стихла потасовка. А когда погасил свет в салоне и выглянул наружу, то так и обмер.

Человек посторонний, окажись он рядом со мной, спросил бы:

"Это что же, в геофизике каждую ночь так молятся перед сном?"

В полуночной игре лунного света стояли двенадцать апостолов, которых только что покинул Спаситель, и глядели Ему вслед, в одинаковой истовой судороге прижав к груди шапки, и снег таял на их лицах и стекал им за шиворот дистиллированными слезами с лёгким запахом выхлопных газов. Их недвижимый порыв устремлялся куда-то к Полярной звезде, и они не замечали меня, тринадцатого, неверующего. Только их изломанные тени на изрытом снегу безмолвно указывали мне путь ко спасению.

Ничего не оставалось, как обратить взор туда же.

Я был - прямо из тёплой кабины - в одной кожанке и без шапки, а морозец ночами ещё держался за десять, когда уже пощипывает шрамы на обмороженных в юности ушах. Но от того, что я увидел, всё забылось - и морозец, и драчуны-апостолы. Даже двигатель, который продолжал тихонько бухтеть на холостых, я впервые перестал слышать.

Вообще-то на севере Томской области полярное сияние - не такая уж невидаль: почти каждую зиму, хоть разок, да мигнёт. Но тут было не так просто. Это было - Явление. Я опишу его, хотя и сомневаюсь, что поверят. Тем паче, что уж больно похоже на "случайное" совпадение какого-нибудь космического старта с государственным праздником запускающей державы. Утешусь только тем, что все события, мною в этой книге описываемые, в разной степени редки, а то и невероятны. Как вообще настоящая правда в нашем лживом мире. Но никакие другие события и не стоят описания, верно?

Вообще насчёт писательства, раз уж я за него взялся, надо сделать что-нибудь вроде программно-заявления. Так делали все начинающие гиганты, я ознакомился с этими их трудами и сейчас внесу свою посильную лепту в теорию литературы - небольшую и умственно не очень обременительную. Я своим незамутнённым взором новичка разглядел три способа литературного творчества, без которых вся остальная теория - просто ветки без дерева. Первый: типичный герой в

типичных обстоятельствах. Это, как говорит один мой друг-художник, фотография в стиле вульгарного реализма. Второй: нетипичный герой в типичных обстоятельствах. Это продуктивный метод, как и третий: типичный герой в нетипичных обстоятельствах. Оба они дают благородному и любознательному читателю наибольшую и полезнейшую пищу для ума и фантазии. Есть ещё четвёртый, инородный, шизофренический вариант, но его я рассматривать не буду, так как считаю напрочь непродуктивным.

Событие, о котором уже начата речь, совпадает с любимым мною третьим вариантом литературы.

Итак, то что увидели мы на небе, я решусь назвать не просто Явлением, а даже - Знамением. Оно того стоит.

Откуда-то из-за горизонта, из-за леса, из разных мест тянулись к зениту молочные лучи, какие бывают в сильный мороз над уличными фонарями. Поперёк лучей висели обрывки молочных радуг, то трёх, то пяти, а по этим радугам медленно ползали цветные пятна - они светились немного ярче. По всему северному полукуполу неба струились небольшие цветные занавесочки - они колыхались, будто на слабом сквознячке, а сквозь них прокалывались звёзды. Вообще ничто не мешало там звёздам - ни эти чудеса, ни яркая Луна, ни яркое свечение каких-то слоев атмосферы.

Через несколько секунд после моего появления от всех сторон горизонта стали бросаться к зениту огромные сполохи, и это было особенно жутко, потому что я вдруг впервые УВИДЕЛ СКОРОСТЬ СВЕТА. Уже от одного этого было впору сходить с ума или молиться. Но когда поднял глаза к самому зениту, я увидел такое, от чего чуть позже обнаружил и свои руки прижатыми к груди. Все лучи, занавески, радуги, сполохи и волны света впитывала в себя фигура, которую потом я назвал "потолочным вентилятором", но в первые секунды просто потерял ощущение реальности: каждая "лопасть" этого "вентилятора" как-то пронзительно походила на огромное птичье крыло, и все эти три крыла очень медленно, но заметно, вращались, как вентилятор, вокруг оси, вбитой точно-точно в зенит.

Кто-то из моих протрезвевших апостолов пробормотал: "Ангел". Было слышно, как единственный среди них верующий, перфораторщик Володя, поправил: "Серафим". Больше ничего сказано не было, пока я не замёрз и не предложил: "По машинам, что ль?" Тогда они маленько сконфузились, надели шапки и полезли в автобус. Я всех оббил веничком и сел среди них - это дело стоило обсудить.

- Ни хрена себе, - сказал Ваня Автандилыч. - И ни себе хрена.

- Засохни, а? - попросил мягко Володя.

- Тоньке скажу - не поверит, - пожаловался Толик.

- Да я и сам не верю, - признался Равиль. И быстренько выглянул. - Всё ещё вертится, мужики.

Что делать?

- Аллах-таки акбар, - ответил ему Саня. И посмотрел почему-то на Игоря. Тот ему кивнул: - Будда тоже акбар.

- В общем, пить надо бросать, - подытожил Серёга.

Вялая вышла беседа. Каждый прятал что-то своё, и все поглядывали на меня. То ли ждали каких-то слов, то ли мешал я им, старый человек: вроде стеснительным казалось откровенничать при постороннем. Старики ведь часто кажутся молодым посторонними.

Слов я произносить не стал. Выслушал всех, кивнул Серёгину откровению, сказал: "Поехали" и отправился в кабину. По пути ещё несколько раз поглядывал в зенит, а в зеркало заднего вида отмечал, как высывались в окно апостолы.

Пить, конечно, они не бросили. Только родилась шутка: "Напиться до серафима". Однако что-то новое я долго замечал при встречах у всех в глазах. Что-то вроде веры - ну, хотя бы в природные чудеса. Один верующий Володя, и до того пивший меньше всех, принял идею Серёги к исполнению, а когда случалось ехать со мной в кабине, обязательно спрашивал: "Что же это такое было? Ведь ты же сам видел, было же! И главное - на Богородицу!"

Я потом разыскал в популярной литературе всякие картинки полярных сияний - и с лучами, и с "занавесками", и про сполохи читал, и про свечения. Только насчёт крыльев не нашёл нигде ничего. Видно, никого из учёных Богородица на такое зрелище не сподобила. А пьяным парням из промысловой геофизики - пожалте, Бога ради. Зачем-то же было нужно?

Вот это, по-моему, и есть высшая справедливость. Она всегда непостижима.

Владимир Шкаликов

ДОЖИВИ - УВИДИШЬ

рассказ

1. РЯДОВОЙ ДЕНЬ

Медсестричка приходит к Михалычу каждый день, ближе к концу работы, и всё время, пока делается укол и измеряется дедово давление, Женька не упускает меня из виду: боится, как бы не проявил интереса. Женьку понять можно: ей пошел сороковой год, я мужик подвижный... А вот парня, который привозит к нам сестричку, я понимаю с трудом. Во время процедуры он смотрит на меня через забор с ненавистью, так бы и трахнул велосипедом. Чего бояться, дурачок? Того, что я в одних плавках? Так я ведь с севера, мне все время жарко. И главное - я хоть и подвижный, но все же стар для твоей красотки. Да и красотка она только для тебя, а я таких богато бачив - так у вас тут говорят? Ну да ладно, деревня и в асфальте деревня. Тут у них нравы странноватые. Татарская семья не хотела женить сына на украиночке, а сын возьми да и застрелись. Отец каялся, братья каялись, а мать не каялась - это она сказала, чтоб лучше застрелился. Дура старая... А безутешная невеста, самая красивая в деревне, через полгода замуж вышла. Темное дело - любовь. Поэтому Женька зря боится, что меня кто-то сумеет окрутить. Мне кроме нее никто не интересен. Она об этом слышала, но ей надо обязательно знать - почему. Двадцатый год выясняет, а я всё не могу толково объяснить: любовь-то - дело темное. Вот это обстоятельство и не даёт ей покоя. Сама она ведь совершенно точно знает, за что любит меня: я добрый, умный, довольно сильный, люблю её и двух наших малюток. Нет, уже трёх: старшая из малюток выскочила замуж сразу после школы, и мы уже дед и бабка. Впрочем, нет, это я - дед, а Женька - старшая мама. Гросмуттер. Грантмаман. М-да. А Марь-иванна с Михалычем теперь суперстарики. Им очень нравится мой анекдот с английским намеком: "Я не стар, я - суперстар". Марь-иванна особенно подходит в суперзвезды - она толстая и очень умная, она преподавала историю. Оба сокрушаются, что мы не привезли супервнучку. Мы бы привезли, но Зинаида в этом вопросе непреклонна: детям до трех лет перемена климата противопоказана. Особенно летом. Особенно при такой разнице во времени. Особенно с севера на юг. И еще несколько дурацких особенностей, только медикам да квочкам понятных.

Через полчаса после процедуры Михалыч поднимается с кровати, натягивает штаны на верхний уколотый квадрант, вооружается тяпкой для устойчивости и выходит руководить хозяйством. Кроме опорно-двигательной функции тяпка употребляется и по основному назначению, поэтому применение ее вместо клюки мы все оцениваем на уровне крепкого рацпредложения.

Руководимое Михалычем хозяйство обширно. Во-первых, это доисторическая железная кровать неразборно-складного типа, которая стоит у самой двери под старой алычой. Вместо сетки на кровать постелены доски и набросаны тряпки, на которые можно сразу же сесть и - руководить. Во-вторых и далее, хозяйство состоит из нескольких одичавших лоз винограда, нескольких, фруктовых деревьев, нескольких кустов малины и крыжовника, огромной до небес ивы, накрывающей полдвора, а также сарая, подвала, кладовки, летней кухни и забора, сделанного где из гнилого штакетника, где из ржавой сетки. Каждая часть хозяйства не уступает в возрасте хозяевам, равно как не превосходит их состоянием здоровья.

Был в хозяйстве еще автомобиль. Превосходная вездеходная "Нива" семь лет наводила страх на автолюбителей и вызывала бессильный гнев профессионалов, потому что Марь-иванна ездила панически осторожно и в этой осторожности была столь непредсказуема, что сеяла аварийные ситуации в самых безопасных местах. Когда летом, во время отпуска, я заменял ее за рулем и начинал ездить КАК ВСЕ, на дорогах воцарялся порядок, а в машине - визг тещи, хохот Митрошки и тестя, заглушаемые вздохами моей терпеливой гросмуттер. Дотерпев до моря, Женька выскакивала из машины, как тонущий из воды, уверяла, что больше меня за рулем не потерпит; вся семья, включая Марь-иванну, принималась её убеждать, что я вполне прилично справляюсь, она отвечала, что мне можно доверить только старый самосвал, но после морских и солнечных ванн умиротворялась, обратно ехала спокойнее и дома, наедине, даже пыталась меня уверить, что капризничала единственно ради матери, чтобы поддержать в ней водительский дух...

То были веселые времена, и Михалыч ходил еще без тяпки, и теща рассуждала о достоинствах электронного зажигания и за три дня составляла годовой план на целую школу да еще смеялась: "Что мне деревенская школа после городского интерната!". Однако и водительский, и руководительский дух к 74 годам иссяк, и она продала "Ниву", потому что кардиологи отказали в надежности ее собственному мотору. А дед, с его перебитыми ногами, никогда за руль и не садился, хотя по документам машина принадлежала ему и куплена была почти без очереди по его льготе для фронтовиков.

- Вот, ребята, мы нашу "Ниву" закопали в землю, - теща сделала очень широкий жест, чтобы охватить им всю траншею. - Не бесплатно, очень не бесплатно, но все же подарок. Колхоз пошел навстречу двум ветеранам и выделил материалы, нашел рабочих, позволил подключиться к теплотрассе торгового центра, и теперь мы зимой можем печку не топить.

- Ха-ха, - сказал тесть. - Это ещё как подключат. Давайте-ка мы всё же дровишек попилим, пока клиенты не приехали. Бережёного бог бережёт.

Клиентами называют себя специалисты из райцентра, которые "очень не бесплатно" вырыли экскаватором эту траншею, сварили видимую до поворота часть стариковских труб, а дальше вот уже две недели не варят.

- Их перебросили на другой объект.

- Мама, - спрашивает Женька, - а почему они "клиенты"? Ведь это вы - их клиенты! Или в русском языке нормы изменились?

Женька работает корректором в областной газете, она в языковых нормах съела такого волкодава...

- Нормы, доченька, в жизни меняются быстрее, чем в языке, это исторический факт. Когда-то потребитель был клиентом и мог диктовать, а теперь диктует производитель. Почитай интервью с академиком Аганбегяном, у меня есть.

- Нет уж, спасибо! - Женьку аж передёргивает. - Я за год всякого начиталась, пускай глаза хоть в отпуске отдохнут.

- Ты что же, читаешь и не вдумываешься?

- Мама! Во-первых, я не читаю, а вычитываю, ошибки ловлю, а во-вторых, когда вычитываешь, думать некогда.

- Ну, а после работы?

- Бр-р-р! Я после работы публицистику видеть не могу!

- Она выключает телевизор, прячет газеты и читает Тургенева, - это я вмешиваюсь, чтобы выручить Женьку, но попадаю впросак.

- Да, Тур-ге-не-ва! Это, по крайней мере, литература. И Чехова! И всех Толстых! И Бунина, и Куприна! Хватит?

- Хватит, хватит, - я жалею, что чёрт дернул за язык.

- А ты, - она не успокаивается успехом обороны, - читаешь фантастику. И видишь, извиняюсь, фигу!

- Ну, почему фигу?

- Потому что это не литература.

- А детектив, по-твоему, литература? - я тоже вынужден наступать.

- Да, литература! Детектив учит жить. А фантастика - отучивает.

- Фантастика учит думать.

- Ты меня не оскорбил. Кто думать умеет, тому фантастика не нужна.

- Ты, конечно, умеешь.

- Да, умею.

- Но тебе некогда.

- Да, некогда! Это тебе - смотри на дорогу и думай сколько влезет. А у нас работа ответственная.

- Дети, - Марь-иванна пытается нас разнять, - перестаньте. Потешились - и хватит. Женечка, пойдем, подумаем, что нам сообразить на обед.

- Вот так! - Женька показывает мне язык, и это первое определенное обстоятельство, за которое я ее люблю. - Мы пошли думать и соображать, а ты иди вон дровишек попили.

Вишня, слива и акация - это не сосна, не пихта и тем более не осина. Южные породы тверды, и дедова дисковая пила, уже порядком на них обеззубевшая, всё время норовит забуксовать. Я отрезаю чурочки покороче, чтобы можно было топить титан. Митрошка нагружает дровами тачку и возит их в бывший гараж, именуемый теперь сараем. Михалыч руководит. Он сидит на списанном стуле в тени сарая, держится за свою тяпку и что-то все время советует нам обоим, но мы не слышим из-за визга пилы, и всех это, похоже, удовлетворяет.

Через полчаса тесть поднимается, ковыляет ко мне и щупает ладонью электромотор, который крутит пилу. Всё понятно, я выключаю ток.

- Отлично поработали, - скрежещет Михалыч. - Перекур. Надо полежать.

Сорок лет назад ему уже было сорок. Он был храбрый сержант, палил по танкам прямой наводкой целых четыре года, а теперь в это не верится, потому что голос у него дрожит, глаза слезятся, а моча, наоборот, течь отказывается. Врачи в райцентре подержали его два месяца на койке, чуть не отдали богу его душу и отпустили с диагнозом вроде некролога: "Старость". Дедова ирония отражает ситуацию так: "Ну их всех. Дома помирать уютнее". И я думаю о своей будущей старости. У меня тоже отключатся ноги, потому что уже сейчас всюю грызёт радикулит. А тяпки у меня не будет, я живу на четвертом этаже. И если, не дай бог, Женька умрет раньше меня...

Митрошка после трудов просится погулять. Он еще во втором классе завёл здесь друзей, и каждое лето у них масса дел, в основном садово-огородного характера, как мне кажется. Что ж, каждый отдыхает по-своему.

- Попадешься на колхозном винограднике, - так я его напутствую, - пеняй на себя.

- А нам тётенька разрешает. Она говорит: "Ешьте, только всегда спрашивайте".

Это я знаю. Вчера он притащил целую сумку не очень зрелого, но очень мясистого винограда. Назвал "бычьим глазом", что в переводе на научный язык должно означать "вололье око". Посмеялись, попробовали, съели, похвалили. Однако надо и меру знать... Впрочем, настаивать на этом не решаюсь. Мера приходит только с годами. Чаще всего с опозданием. Я сам был пацаном. Женька поправила бы: "Мальчиком". Но ей-богу, я в жизни не был мальчиком. Я и сейчас еще не до конца не пацан.

Далее - как в пьесе: Митрошка уходит, появляются "клиенты". Попрыгали с "летучки", тащат свой синий баллон с кислородом. Их вождь уже капризничает с Марь-иванной. Ему лет тридцать, он строен, полугол, на нем белая кепочка с картинкой и большие пляжные очки. Поистине клиент. Не он для нас, а мы для него. Слышу жалобный голос тёщи, но на помощь не иду, потому что она так просила. Она объяснила: "Я с ними без слез просто не могу разговаривать. Если вмешаешься, ты им обязательно нагрубишь, тогда они совсем не придут. Ведь они нарасхват, ты понимаешь?" "Я бы с ними поговорил как рабочий с рабочими". "Но они не рабочие, Боря! Они аристократы из сферы обслуживания. Я тебя заклинаю, не вмешивайся. Ты уедешь, а они на нас отыграются. Пусть делают хоть что-нибудь, лишь бы делали". "И это говорит старая большевичка, заслуженный учитель!" "Да-да-да! Можешь смеяться, но бытие определяет сознание. Этот закон никто не смог отменить".

И вот я поглядываю издали, как унижают мою тещу, требуя у неё нож, молоток, топор, и не могу подойти и рявкнуть, что некакого черта ехать на работу без инструментов, что не обязан мой сын красить за вами стыки труб, что... в общем, сволочи вы и вымогатели, вот что! Бригадир старается не встречаться со мной глазами, а когда уходит, тёща оседает на дедову командную кровать вся в слезах.

- Что еще?

- Они отказываются обматывать трубы рубероидом. Говорят, не их работа.

- Им что, деньги не нужны?

- Цену набивают, Боря. Обмотка стоит пятьдесят рублей, а они хотят больше сорвать.

- Черта два, мать! Ни черта они не получают. Я сам обмотаю.

- Ах, как бы это было... А ты сумеешь?

- Два часа работы.

- Два часа? А твоя спина?

- Не берите в голову. Это же не колесо на "мазе" менять.

- Тогда эти пятьдесят рублей - твои!

- А как же! - я смеюсь, потому что она уже не плачет. - Само собой.

Я ухожу в дом, чтобы надеть старую дедову одежду, и слышу, как тёща снова разговаривает с вождём вымогателей. Голос её директорски горд и властен. Скоро она входит ко мне царской поступью и сообщает:

- Ишь! Он прибежал и говорит: "Я нашел вам клиентов, трубы обматывать". А я ему отказала.

Она озорно смеётся. И в глазах её вижу я вдруг ту самую удаль, в какую был когда-то до смерти влюблен. Еще до Женьки.

Три тысячи лет назад. Впервые. Со взаимностью. Но - неудачно.

У меня подкашиваются ноги, я сажусь. Какая сильная штука - старая боль. Какие тяжкие грехи носим мы тайно в себе всю жизнь. Каково было бы встретить Тебя, Недождавшуюся, в наши сегодняшние сорок пять лет? Собственно говоря, я знаю, каково: два малознакомых лица, опечатанных годами, только и всего, но глаза-то не стареют... Восемнадцать лет вам было когда-нибудь?

- Боря! Тебе плохо? Спина?

- О нет, мерси, дорогая тёща. Мне хорошо и - вперед! Где у нас рубероид? Где нож похуже? Где доска? Где проволока?"

Тёща только ахает моему профессионализму в столь сложном деле.

Пока "клиенты", сварив оставшиеся трубы, ездили в райцентр на обед (час только на одну дорогу минус полтора ведра бензина), я заработал пятьдесят тёщиных рублей. Марь-иванна немедленно, с премиальной торжественностью стала мне их вручать, разумеется, в присутствии всего коллектива, но я заявил в ответном слове, что более достойна этой награды Женька, ибо крутить проволоку сумеет любой, а вот сообразить такой обед... Женька расцвела, охотно получила премию, а я пошел в кладовку, отмывать руки керосином. Гросмуттер спрятала премию и пришла следом. Притворила дверь и полезла с нежностями. А я, грешный, вдруг не к месту запнулся о старую боль. И она, чистая душа, миглом это уловила. И отпрянула. И оскорбилась. И не поверила моему вранью насчет грязных рук и пыльной одежды. И хлопнула дверь. Хоть смейся, хоть плачь: она решила, что я покорён медсестрой.

2. РЯДОВОЙ ВЕЧЕР

При встрече мы с Михалычем всегда делаем друг другу подарки. Прошлый раз я вручил ему электрогрелку для поясницы, а он мне - кубик Рубика, который достался Митрошке (впрочем, желая

приобщить Митрошку к труду, дед подарил ему небольшой разводной ключик на девятнадцать, а сын на этот ключ выменял у меня кубик). Теперь я привез тестю берестяной стакан. Сделать такую посудину мудрено. Надо в начале июня, когда самый сок, выбрать в лесосеке поваленную берёзку и снять с неё кору цилиндром подходящего диаметра: он называется сколотень. Сверху, для красоты и прочности, надевается берестяная же рубашка, соединенная в замок и, желательнее, украшенная резьбой или тиснением. Потом очень точно подгоняется - без клея, конечно, - доньшко из кедровой досочки, а верхний край сколотня надо завернуть на рубашку - и вот вам стакан, который не обжигает рук, почти ничего не весит, а главное, не бьется. Последнее для Михалыча особенно важно, так как в день нашего приезда он выронил любимыми фарфоровый бокал и теперь в то, что от него уцелело, кладет на ночь свою вставную челюсть.

Вот он без челюсти сидит перед телевизором, уложив перебитые ноги на стул, и просит подать ему чай в "дареном стакане". А я сижу у двери и, чтобы сделать деду приятное, "привыкаю" к меховым ботинкам, которые он купил якобы для себя, да не подошли, а на самом деле - чтобы подарить зятю, ибо знает, что обувь на мне горит, даже зарубежная. Подарок дорогой, он сунул мне его смущенно и буркнул, что, мол, сойдут, может быть, на работу.

Мы всей семьёй, довольные трудами дня, обсуждаем то, что дают по телевизору. А по телевизору дают актуальные проблемы внутренней политики.

- Я не верю в перестройку, - заявляет теща.

- Никому больше не говори, - советует тесть. - А то в стране начнется паника.

- Я понимаю, что ты имеешь в виду, - теща вздыхает. - Но я слишком стара, чтобы чего-то бояться. И я достаточно сделала для страны, чтобы иметь право на собственное мнение.

- Ха-ха! Сейчас всех подряд заставляют высказывать собственное мнение. Даже тех, кто ничего не сделал для страны. Вот только что потом с ними сделают?

- Ты живешь в прошлом и отбиваешь веру у детей. Дети! Не слушайте его! Я верю, что те страшные времена, которые пережили мы, больше не повторятся.

- Верю, не верю, - шамкает Михалыч. - Вера - это вообще от лукавого. Верят только в то, чего нет и быть не может. В бога верят. И во всеобщее равенство. И в караваны ракет, которые нас помчат от звезды до звезды.

Звук "з" он без зубов произносит так, что Женька прыскает, а Митрошка давится полужелёным виноградом.

- Смотрите на него! - Теща возмущена. - Он не согласен с лучшими умами!

- Так и ты не согласна. Ты ведь не веришь в перестройку.

- Да, не верю.

- И своему Аганбегяну не веришь?

- Ах, я не знаю! - Марь-иванна делает жест королевы, у которой правительство отбилась от рук. - Сколько помню этих разговоров вокруг реформ - они все правильны. Девальвация - так лучше. Ревальвация - тоже лучше. У капиталистов и то и другое плохо, больно ударяет по интересам трудящихся. Когда-то у нас понижали цены. Говорили, что это хорошо. Теперь оказывается, что это было плохо. Цены с тех пор незаметно повышались, это тоже было плохо, но чтобы стало хорошо, их, оказывается надо повысить так, чтоб было заметно.

- Обывательское рассуждение, - шамкает Михалыч. - Ты в экономике ниже абсолютного нуля.

Дед, разумеется, знает, что невозможно быть ниже абсолютного нуля - он преподавал физику, - но тем беспощаднее сила его сарказма.

- Это неважно, - парирует Марь-иванна. - Если хочешь знать, обыватель точнее экономиста чувствует ситуацию собственной шкурой.

- И что же чувствует твоя шкура?

- А то, что ничему нельзя верить. Слишком много исторических параллелей.

- Как же ты собираешься с этим жить?

- Дум спиро, сперо, - заявляет теща.

- А что это? - подаёт голос Митрошка.

- Пока дышу, надеюсь, - переводит баба Маня.

- А-а-а, вот оно что, - говорит Михалыч. - Ты, значит, разрушила треугольник.

- Какой еще треугольник?

- Вера - Надежда - Любовь. Ты выбросила веру.

- Я не выбросила, я поставила на её место уверенность. И нахожу такой подход наиболее соответствующим духу времени.

- Ну, тогда все в порядке, - дед, довольный своей иронией, подхихывает. - Твой Аганбегян уверен, ты - надеешься, а все вместе - любят очередную перестройку, только верить в нее не хотят. Это в духе времени, ха-ха.

- Не ёрничай, - говорит теща. - Я люблю моего Митрошу, мою Зинулю, мою Аленку, моих деток и немного тебя, а больше мне никто не нужен... Вот, детки, к чему приходит человек после семидесяти лет жизни.

- А Рейган? - Дед не унимается. - Ему больше семидесяти, а смотри, что творит...

- Я за него не отвечаю, - произносит Марь-иванна ледяным тоном. - Он, может быть, с лошади падал, когда играл ковбоев. Давай сменим тему.

И мы меняем тему. То есть попросту замолкаем, потому что в цикле "Истории немеркнущие строки" начинается всеми любимый фильм "Председатель". Михалыч, правда, и тут не удерживается от иронических реплик, но не злоупотребляет и вскоре задремывает - старый ворон с лохматыми бровями. Мне вспоминается детский стишок, давно всеми забытый: "Старый ворон-дирижёр учит петь вороний хор: "Научу я вас, друзья, петь получше соловья". Учил-учил, не научил и задремал. Шепчу это Женьке. Она отвечает:

"Бесталанные стихи".

Теща смотрит фильм сосредоточенно. Она глубоко переживает. Даже вытирает глаза. История - фантастически детективная наука - научила её проводить параллели и не отучила переживать. В перерыве между сериями она говорит:

- Я ведь всё это видела. Я ведь до войны... Я ведь выросла в деревне... Вот вы не представляете: у нас было крепостное право при советской власти. Конечно, если культовую диктатуру можно так назвать.

- То есть? - У образованной Женьки подпрыгивают выщипанные брови.

- А вот пусть и Митроша знает, он уже большой. В деревнях люди паспортов не имели. Не полагалось колхознику. А куда ты без паспорта из деревни уйдешь? Вот и крепость.

- Везде-везде? - Женька не верит.

- Везде не видела, только слышала, а за свою деревню - ручаюсь... А забирали везде одинаково. В тридцать шестом я училась в Красноярске, в учительском техникуме. В нашей комнате жила Валя. Всё дрожала, что у неё дядя - враг народа.

- Настоящий враг народа? - Митрошке этот термин не знаком, у него от удивления круглые глаза.

- Да кто ж его знает? - Марь-иванна печально вздыхает. - Были настоящие, а многих после культа оправдали, посмертно... Папа тебе потом всё объяснит.

- Так что же Валя? - спрашивает Женька. - Забрали ее?

- Пришли за ней в два часа ночи. Они всегда ночью приходили. Трое вошли, двое стали за дверь, как будто у нее пулемет в тумбочке. "Валентина Сергеевна Чекмаева?" "Да". "Собирайтесь!" До утра обыскивали чемодан, постель, тумбочку, всё описывали - трудились. Потом увели. Мы утром не пошли на занятия.

- Что же с ней сделали?

- Обвинили в связи с врагом народа. Дали пять лет. Это было совсем немного... А был у нас ещё преподаватель, из старых большевиков...

Начинается вторая серия. Тёща на полуслове переключается на экран, и видно, что она жалеет о том, что рассказала.

- Как же вы жили, мама?!

- Что?

- В таком страхе! Как вы жили?

- Ответ обычный, доченька: человек ко всему привыкает. Помнишь, у Экзюпери: "Я вынес то, чего не вынесло бы ни одно животное"?.. Давай смотреть кино.

Женька сидит поникшая. Примеряет к себе тридцатые годы. Мне тоже несколько не по себе. Я бы наверняка загремел с моим длинным языком, но Женька - гораздо раньше. А Митрошка смотрит на экран ясными глазами: то ли ничего не понял, то ли воспринял рассказ бабы Мани как кино, где всё ненастоящее. Не буду я ему объяснять про врагов народа. Он и не спросит, забудет.

А если спросит?

Дед просыпается и встает из кресла.

- Та-а-ак, будем отдыхать.

Шаркая шлёпанцами, он уходит в свою комнатку. Интересно, с какими чувствами я когда-то стану ложиться на кровать, о которой буду точно знать, что именно на ней я умру?.. Доживём - увидим.

3. СУТКИ ПРОЧЬ

Нам зачем-то ежегодно стелят врозь. Для солидности, вероятно. Но очень неудобно общаться. И мириться труднее. Однако тут разлука была мне в самый раз: не отпускала старая боль, смотрели из прошлого, изнутри откуда-то, отчаянные глаза. Ворочался. Неуютно. И ничего не нужно.

Женька долго читала философа Сенеку и вздыхала. Эти вздохи уже двадцать первый год пробуждают во мне человека во время ссор, но тут я молчал, не мог читать и смотрел на большого чёрного сверчка, который ходил по потолку. Женька попросила прогнать его. Я прогнал со словами: "Кыш, приносящий счастье!" Он улетел под тумбочку и запел оттуда. Настольная лампа на тумбочке разделяла наши головы.

Около полуночи пришел Митрошка и испуганно спросил, кто же такие враги народа. Я пообещал рассказать позже, когда вернусь из Симферополя. Отправил его спать и молча погасил настольную

лампу. Женька оглушительно вздохнула и положила книгу на коврик рядом с кроватью.

Примерно через час она сползла со своего ложа, запнулась о философа и села рядом со мной.

- Мне плохо, я замерзла, а ты завтра уезжаешь.

Это означало, что надо подвинуться, впустить ее под простыню и помириться. И это второе определенное обстоятельство, за которое я ее люблю.

- Нам нельзя ссориться, - сказала Женька важным тоном.

- Угу, - ответил я совершенно искренне.

К утру мы совсем помирились, и она, для солидности, ушла на свою койку.

А теперь я сижу в автобусе и с неприязнью озираю степи, за которые не люблю Крым. Это, впрочем, лишь одно обстоятельство. Есть и другие. Жара и сухь, которые можно терпеть только неделю. Пыльные деревья, которые, хоть убей, кажутся мне картонными декорациями, даже когда я к ним прикасаюсь. Водители рейсовых автобусов, которые берут у тебя деньги и сразу отворачиваются, чтобы ты забыл думать о билетах. Картинно красивые дома и асфальтированные дворы, которые кажутся мне построенными на вот такие безбилетные деньги. Изобилие тряпья в магазинах и отсутствие сыра и масла: "Только для участников войны" - за что сражались?.. Словом, если спросить меня, за что я **ВООБЩЕ** не люблю Крым, я отвечу: "Я сибиряк". Я как кулик люблю свое сибирское болото. И что говорить обо мне, если теща с тестем прожили в Крыму двенадцать лет, а по Сибири тоскуют до сих пор? И вернулись бы, если бы не дедовы болезни.

Я смотрю на каналы, на облака воды над поливочными "фрегатами" и думаю, что и в самом деле без искусственного водоснабжения всесоюзная здравница вполне годится быть ссылкой. Кого только теперь сюда ссылать? Татары, высланные отсюда за военные преступления своих родственников, обратно вон выпросились да еще автономии хотят. А евреи сюда не вернуться - от них, убиенных фашистами, только памятники по деревням. Лучше всех живет мой томский вахтовый сменщик Ахметка: Сибирь - давно не ссылка, и автономия ему до лампочки, потому что баранка "маза" как-то ближе; у нас вообще другие проблемы, и меня это устраивает.

Не люблю Крым также за то, что здесь отовсюду трудно уехать. Везде давят в очередях курортники с облезлыми спинами и бешеным пульсом. Они целый год накапливают здоровье по крохам, чтобы в две недели просадить его под здешним солнцем, в очередях и давках. Через два часа влезу в их шкуру, но сейчас я пока что исполнен к ним аборигенской жалости и легкого презрения. Я им не завидую, и это как-то поддерживает.

Из автобуса пересаживаюсь в электричку, набитую битком. Вдоль дороги кишат людьми и машинами подступы к очень синему морю, по которому плывет вблизи белый катерок, а вдали - что-то шарообразное, тоже белое. Попутчики мои пресыщены и равнодушны под слоем загара, они изнурены экзотикой. Кажется, во всём вагоне я один так жадно пялюсь в окно. Но я уверен, никто из них не поймет, почему через несколько минут я стану к здешним пейзажам еще равнодушнее, чем они. Песок, вода - на что смотреть?

Несколько минут пролетают мимо окна пёстрой палаточной массой, и вот из нее вырывается и все собой закрывает - предмет моего ожидания.

Их четверо. Они вышли из моря и вооружены. Ветер натянул гюйсы, как флаги. Они вышли победить или умереть. Они из камня. Огромны ростом. Один из них - мой дед. Ему тогда было столько же, сколько мне сейчас.

Их было 740, когда они захватили здешний порт. Стоял январь сорок второго, наверняка ревела бора. Фашисты штурмовали Севастополь, а эти 740 вырвали у них Евпаторию. Тактический десант. Из-за шторма они не могли получить никакой помощи и были расстреляны из пушек, раздавлены танками. Бой шел двое суток. Морская пехота не отступает, но не только по причине храбрости. Обычно ей просто некуда отступать. Из 740 в осажденный Севастополь вернулись четверо, моего деда среди них не было. Ему потом поставили этот памятник, которому я кланяюсь каждый раз, когда еду мимо. И когда проезжаю, каждый раз говорю себе: "Интересно, как в немецких мозгах укладывалась бездарность операции рядом с героизмом российских морячков?" Допускаю, впрочем, что это говорю не я, а боль моя за деда и за 736 других. Допускаю также, что неведома была противнику традиция, закрепленная Петровским Морским Уставом, не позволяющая российскому флагу спускаться, а рукам - подниматься перед неприятелем...

Сады, теплицы, виноградники, пасеки, зеленый город с узкими улочками, тесный, хотя и огромный с виду, вокзал. Пятый путь. Встречные потоки людей в подземном переходе медлительны, взаимно вежливы и непреклонны. Через пятнадцать минут преодолеваю пятьдесят погонных метров до перрона. За это я тоже не люблю Крым.

Троллейбусом добираюсь до автовокзала и беру билет на завтрашний последний автобус до моей деревни. Надеюсь, за сутки я успею сделать то, ради чего приехал. Здесь же, на автовокзале, есть предварительная железнодорожная касса. Она уже две недели не работает, но возле неё всё же стоит небольшая очередь - на всякий случай. У этих дежурных выясняю, где центральная касса, и ухожу, соображая, с завистью или с насмешкой смотрят они мне вслед. Моя задача - купить обратные билеты на 24 августа, потому что Женька, пока я был на трассе, сумела взять билеты

только в один конец.

И началось существование, бездарности неопишуемой. Ибо в бездарности описывать нечего. Я был записан в трех очередях, но поскольку приехал после обеда, шансов на сегодня почти не имел. Я честно протолкался в очередях до конца рабочего дня и пошел слоняться по городу. В кино сходить не удалось: фильмы везде не подходили к настроению. Осмотр каменных дворишков старого центра усугубил моё уныние - та же коридорная система, только с видом на небо, и хорошо, что их уже ломают. Визит в аэропорт меня добил. Если на железнодорожном вокзале народ просто стоит, то в аэропорту можно стоять только на одной ноге, как некоторые виды перелётных птиц. Для ночёвки оставались телеграф и автовокзал, потому что частные квартиры отталкивали меня своей безбилетностью. Я выбрал автовокзал и был вознагражден краешком вполне приличной лавки, где и просидел до утра. Со мною рядом бедовала юная особа в сильно выгоревших шортах, куда более привлекательная, чем дедова медсестра. Она роняла усталую головку на мое плечо, мы оба трогательно смущались, и я мысленно призывал ревнивую Женьку увидеть во сне, какой я нравственный. А старая боль сидела глубоко и не тревожила. Законы, по которым она живет и выглядывает, я так и не постиг. Предлагал, бывало, Женьке записывать часы и дни, когда она особенно остро меня вспоминает, и сам записывал на трассе, но у нее не хватило дисциплины и она прикрылась лицемерным уверением, что помнит обо мне каждой клеточкой каждую секунду.

Около шести утра я был у кассы и вошел в первую тридцатку - полная гарантия, что на свой автобус успею. И я успел, и не удостоил бы внимания это утро, если бы не событие сверхбездарное и тем примечательное.

Пока не проснулась милиция, рядом с новорожденной очередью за билетами возникла группа мужчин. Они стали в кружок, а посередине было что-то интересное. Понятно, я протиснулся и увидел на земле кусок фанеры, а на нем - три напёрстка. Представление устраивал маг, повадками и телом похожий на моего сменщика Ахметку, только блондин, а в глазах - пустота, как у льва.

- Ну, давай с тобой, - он сел на корточки, положил на фанерку горошину, накрыл ее одним из напёрстков и начал обеими руками быстро их перемещать. - Смотри внимательно, браток, для тебя кручу.

Тот, с кем он играл, вытянул шею. Парень кончил тасовать напёрстки, положил на фанерку зеленую купюру и поднял голову:

- Клади свои пятьдесят. Если угадаешь, забираешь все. При свидетелях, без обмана.

Игрок втянул шею, присел и неуверенно протянул нахалу два четвертака.

- Ну, - спросил тот, - где?

Игроку стали дружно подсказывать, и он поднял один из напёрстков. Под ним было пусто.

- Не угадал, браток, - маг сунул в карман свои и чужие деньги.

- И всё? - Игрок ещё не верил, что можно так запросто просадить полсотни.

- Ну, давай ещё, - маг улыбнулся открыто и приветливо. - Деньги есть?

Кто-то хохотнул, кто-то озадаченно выругался. Маг был мускулист, а партнёра он выбрал щуплого: дело своё знал. Проигравший пожал плечами и отошёл.

- Ну, кто желает? - Ловкач обвел всех нахальным львиным взглядом. - Без обмана. Кто угадал, тот выиграл. А, мужики?

Мужики прятали глаза, но не расходились. Вот за это я тоже не люблю юг.

4. ПЛЯЖНЫЙ ДЕНЬ

В райцентре мы за этот отпуск второй раз. И последний. Первый раз были неделю назад, возили Митрошку на школьный базар. Ещё один год носить ему коричневую форму, единственную в школе. Это его удручает, но приходится уступать старикам: костюм любимому внуку должен быть куплен здесь, на их деньги, и при них же примерен. Плюс портфель, туфли, разная канцелярия и что угодно из книг. Всё это надлежит тащить в Сибирь на себе, потому что посылка, при нынешней работе почты, может к первому сентября не успеть. И вот мы опять не нашли желанного синего костюма, зато купили пару светлых рубашек с черными воротничками и манжетами - мечту любого пацана. На радостях Митрошка истратил свой "особый фонд" - дедову десятку - на подарки дорогой племяннице.

А сегодня утром он отказался ехать с нами. То ли поленился рано вставать, то ли морские волны в самом деле его не волнуют, то ли что-то более важное с друзьями. Словом, право на тайну.

В райцентр нам ехать полчаса на проходящем автобусе, который должен специально заехать в нашу деревню, ибо автострада проложена в трех километрах от нее. По этой же трехкилометровой причине мы должны сегодня в предварительной кассе билеты до Евпатории, чтобы за день до отъезда из Крыма автобус завернул за нами в деревню. Иначе, если он полон, может пройти мимо. Вся эта провинциальная механика, особенно бессонная ночь в ожидании поезда, заранее действует на нервы, и укрепить их хотя бы одной морской ванной просто необходимо. Тем более, что Женька так изводится по соленым брызгам, будто это она оттрубила действительную на пушечном крейсере.

В переполненном автобусе мы прибываем на автовокзал и всей толпой мчимся к кассам.

- Даже здесь, в деревенской глубинке, на дикий пляж - и то без давки не попадешь!

Женька - существо беспардонное: она высказывается вслух и ей плевать, что очередь её разглядывает. Она уверена, что человек, вычитывающий передовые статьи, имеет право на любой уровень гласности.

Я успеваю взять в соседней кассе предварительные билеты на 23 августа и оплатить будущий наш багаж, а Женька всё ещё мается в пляжной очереди. Я составляю ей компанию, мы вместе покупаем билеты до пляжа, а билетов на вечерний автобус до нашей деревни уже нет - разобрали.

- Чёрт с ними, - комментирует Женька, - одна живём. Очередь завистливо улыбается. Это завидуют мне. До пляжного автобуса больше часа, магазины ещё закрыты, и мы идём гулять. Мы бредём в обнимку по бетонному тротуару, как двадцать лет назад бродили дома по деревянным. Мы любимся богатствами частных дворов, подозревая, что всё это - напоказ, и возле каждого пробуем абрикосы. Они посажены у каждой калитки, и к концу улицы мы наедаемся не только абрикосов, но и тутовника, вишен и слив.

- Где же твой рынок? - спрашивает Женька. - Если к этому салату мы не добавим груш, будет не до купания.

- На пляже, - отвечаю, - отличный туалет, - но чувствую, что она права.

Мы оставляем в покое чужие фрукты и начинаем выяснять, как же это мы заблудились в двух улицах. Скоро оказывается, что между ними просто затерялась третья, о которой мы не подозревали. Рынок предстает перед нами, и мы первым делом... Вторым делом покупаем за рубль двадцать сразу два килограмма симпатичных груш, тут же начинаем их уминать.

Скоро открываются магазины. Женька проходит ускоренным смерчем по отделам косметики и готового платья, а я торчу, накаляясь, на лестничной площадке универмага, стараясь быть у нее на виду, демонстрировать презрение и показывать на часы. В последние минуты перед автобусом она успевает забежать в какую-то продуктовую палатку, которую я бы и не увидел. А она не просто забегает, она умудряется повздорить с единственной покупательницей из-за того, что та не желает пустить её без очереди. Наконец мы подходим к автовокзалу, я высказываюсь в адрес женской суетности и склочности, а Женька невозмутимо объясняет, что это вовсе не склочность, а самая нормальная общительность, и не надо сгущать краски и видеть мир в таком мрачном свете. Тут же объявляют посадку, и мы замечаем, как та единственная покупательница тоже штурмует дверь нашего автобуса. Обоим смешно.

Почти час давки в автобусе. Миражи над полями и лесопосадками. Наконец один из миражей оказывается настоящим морем, но путь к дикому пляжу перекрыт кордоном. В автобус забирается какая-то особа из будки и начинает собирать по пятнадцать копеек с каждого пассажира. Народ возмущается, громче всех - Женька, и особа, собрав-таки некую сумму ниже ожидаемой, с угрозами уходит в свою будку. Шлагбаум поднимается, и через два километра неважной дороги мы на пляже.

- За что дерут деньги? - Женька оглядывает знакомый пляж. - Перекрасили туалет? Поставили два грибочка? А где переодеться?

Мы переодеваемся в туалете, благо он просторный и без крыши. Выходим оба в слезах от хлорки и хохочем.

Пляж, однако, великолепен сам по себе, и я говорю Женьке, что за такой песочек драл бы по двадцать копеек с носа. Она меня презирает и скрывается в прибое. Плавает плохо, я беспокоюсь, и она, по доброте душевной, все время делает ручкой. Выходит из волн Венера Венерой, веселая, прижимается ко мне при всех мокрым телом и жалуется, что обожгла об медузу кончик носа.

- Иди ее обидь!

Вот еще одно обстоятельство, за которое я люблю Женьку. Я иду в волны и обижаю всех встречных медуз.

Потом мы сохнем на старом покрывале, хвалим груши и смотрим на небо. Из Турции с неприятной быстротой нарастают грозовые тучи, а им навстречу, с точными короткими интервалами, по одному маршруту и с приятной быстротой пролетают прямо над нами очень грозные самолеты.

- Перешли на переменную стреловидность. - Женька в прошлом планеристка, она в авиации, как Венера в морской пене. - Ты заметил, совсем недавно они ведь летали на двадцать первых, а теперь, смотри, все на двадцать восьмых...

- Точно, точно! - Я делаю вид, будто всё понял, и утешаюсь тем, что ГАЗ-51 от ГАЗ-53 она отличает с меньшей уверенностью, чем сверхзвуковой перехватчик от какого-нибудь гиперзвукового бомбардировщика.

- Пошли еще окупёмся! - Женька вскакивает. - А то ведь не дадут.

Мы успеваем поплавать ещё немного, но толком обсохнуть нам действительно не дают. Ветер с моря налетает такой, что в несколько минут сдувает с пляжа всех, кроме нас. Мы с Женькой хладнокровно готовимся штормовать.

- Морская пехота не отступает, - приговаривает Женька, накрывая моим портфелем пакет с нашей одеждой. - В море не полезем, а будем бегать по краешку воды. Она тёплая и полезна для твоих болячек.

Когда ковырялся в траншее, я дедовыми сапогами стер босые ноги сразу в трех местах. Дома эти

болячки давно заросли бы, а здесь, в целебном воздухе, гниют, не люблю юг и за это.

Гроза налетает, а мы к ней готовы. Дождь режет лицо, аж приходится закрывать глаза. Ветер срывает пену с волн, благо с нас ему нечего срывать. Зато разодранные ноги ласкает теплая вода, они заживают на глазах. Когда согреваемся на бегу и устаем, мы ходим в обнимку и воркуем. Потом снова бегаем. На нас смотрят из машин, из палаток, из-под грибочков. Одним душно, другим холодно, а нам - в самый раз. Пусть себе плятятся: эпатаж - стихия моей Женьки. Я подбираю два дырявых камушка, достаю из портфеля нитку, и вот на груди у каждого из нас болтается по "куриному богу".

- Я не хочу нести яйца! - Женька смеется.

- Зато тебя не съест хорёк.

Это её устраивает. Она не любит хищников.

Через час гроза уходит, появляется солнце. Сползаются к воде граждане загорающие. Это мы с Женькой удержали для них плацдарм.

Еще через час появляется у кордона последний автобус. На нём надо уехать.

- Давай останемся ночевать, - предлагает Женька. - Завтра с утра хоть раз позагораем.

Её можно понять: по деревне ходить в купальнике неприлично, даже в собственном дворе было неловко раздеваться из-за "клиентов". Точнее - неприятно. И получается, что из Крыма - без загара. Обидно, но у Марь-иванны слабое сердце, у меня еще хлопоты с крышей, и, наконец, мы обещали вернуться сегодня. Поэтому я рычу:

- Ты что, загорать сюда приехала?

Женька сникает, и мы отбываем.

Водитель автобуса получает со всех по полтиннику, а билеты выдает 40-копеечные. Женька сидит у меня на коленях и молчит по этому поводу, а водитель самым искренним тоном извиняется: других, мол, билетов ему не дали. Потом он на полдороге выбрасывает из автобуса парня, которого стошнило, и публика довольна, только Женька цедит: "Сволочь". А на автовокзале она идет в диспетчерскую и устраивает скандал. Пока она разряжается, я просто так, наугад подхожу к кассе, и оказывается, что билеты до нашей деревни уже есть. Я не понимаю смысла этого выражения: "Билеты УЖЕ есть". Оно какое-то, как сказала бы Женька, антисемантическое, как "клиент", который тебя обслуживает. Я не люблю юг и за это - за то что я его не понимаю.

Женька возвращается на боевом взводе и с бумажкой в руке:

- Все фамилии записала. Я в "Советский Крым" напишу, в "Ра-дяньскую Украину"! - И уже в мягком автобусном кресле, откинув спинку и закрыв глаза, громко добавляет: - Ненавижу хищников!

5. ДЕНЬ ДОРОЖНЫЙ

Слёзы позади. Марь-иванна причитала, что не надо было им сюда уезжать, Женька всплакнула за компанию, а Митрошкины глаза наполнились совсем не мужскими осадками, когда ему осторожно предложили остаться в помощь старикам. На то, что он останется, никто и не надеялся. Весь отпуск только и было разговоров, как мы приедем домой, да как он сразу вручит дорогой племяшке подарки, да как поведет её гулять "на улку"... Решили вопрос о постоянной помощи пока оставить открытым, велели Митрошке после шестого класса все же готовиться, я пообещал, что на будущее лето поговорю со здешним председателем колхоза о должности шофёра, а Женька заявила, что в здешней школе ей делать нечего, на виноградник и в доярки она не пойдет и вообще она ненавидит юг, и лучше всем жить вместе в Сибири.

Мы едем домой необычным путем. Рассказывают, что после Новороссийского столкновения было назначено обследование всех судов Черноморского пароходства, и оба железнодорожных парома в Керченском проливе поставили в док на два года. Южная дорога в Крым из-за этого превратилась в зигзаги, туда и обратно не совпадающие. В гости мы ехали через Пензу, Горловку и Ворошиловград, потрясаясь видом домен, терриконов и шахтных подъемников, а из гостей нас повезли на север до Запорожья, а оттуда повернули на Краснодар, и это должно означать, что Сальские степи и памятник на Мамаевом кургане Митрошка увидит. А пока он бьёт резинкой мух в купе и называет их врагами народа.

После прощального ливня в Симферополе и бессонной ночи на автовокзале (пришли пораньше и захватили целиком ту самую лавку, где я бедовал в охоте за обратными билетами), все мы простудились, но семья в первый же день оклемалась и уже бежит на перроны чем-нибудь поживиться, а я лежу на нижней полке мертвее матраца и сквозь бред слушаю рассказы, которыми они меня развлекают. Купили за рубль три варёных кукурузных початка. Купили супервнучке надувного медведя на палочке, сделанного из какой-то розовой сладкой массы. Из медведя уже выходит воздух, через пять дней он станет безобразным плоским призраком, надо его съесть, чтобы не испугать ребенка, и больше не делать финансовых глупостей, а то деньги кончатся. Где-то в этих местах товарняк недавно врезался в хвост пассажирскому поезду и смял два последних вагона. Мы едем как раз в предпоследнем, поэтому всем страшно, хотя это и ерунда. Главное сообщение: весь наш поезд, наполненный сибиряками, на каждом перроне дружно ругает юг и дает коллективные

клятвы, что больше сюда ни ногой. Мы солидарны с коллективом поезда, но на будущее лето нам все же снова придется ехать на юг и опять со своим загаром, потому что не отдыхать мы ездим в этот Крым...

- Ничего подобного, - говорит Женька. - Мы отдохнули и еще как. Не будем забывать, что лучший отдых - это смена деятельности.

Все же образованная жена - это большое облегчение в смысле жизненной философии.

На какой-то станции они опять выскакивают, а я сквозь дрему и дверь слышу топот и зазывные клики: "Яблоки, груши, три рубля ведро!" В соседнем купе мужской голос отвечает: "Разве это ведро? Это ведёрко". А потом объясняет кому-то своему: "По вагонам ходят те, у кого не берут на перроне. То есть их фрукты не самые лучшие". Я выглядываю в окно и прямо перед собой вижу свою семейку, торгующуюся с какой-то бабушкой. Фрукты она принесла не в пластмассовом ведёрке, а в полиэтиленовом мешке. Мешок небольшой, в нем с полведра, фрукты мелкие, но бабушке по старости и этот груз трудно держать. Вижу, как Женька забирает покупку, а бабушка убредает сквозь бойкую торговлю прочь. Семья возвращается в купе, весьма довольная собой.

- Смотри, сколько! - Женька водружает мешок на стол. - Всего за тридцать копеек.

В мешке груши и яблоки. Много целых, но есть и примятые - возможно, падалка. Но в общем ничего, есть можно, только поскорее, потому что перезрелые, скоро испортятся. Семья бежит мыть фрукты - поезд уже идёт, в коридоре галдит очередь фруктового.

А у меня тут же начинается мучительный сон: я вижу эту неизвестную бабушку, я давно с ней знаком. Деревья у нее в саду такие же старые, как она, временем иссушенные. Потому и плоды измелъчали. Она встала раненько, бродит по саду, толкает стволы и собирает, что стряхнулось. Потом выбирает поцелее пакет, из которого давно съела магазинное пшено, складывает в него товар поотборнее, долго шаркает до вокзала и успевает к сибирскому поезду.

И уж коль решила конкурировать с трехрублевыми ведрами, она заламывает за свой пакет целый полтинник. Но все торговцы бегают и кричат, а она не может да и не стала бы, и загорелый сибирский народ ее обходит, и она готова отдать подешевле. Вот тут и появляется не очень загорелая небольшая особа в длинном халатике, а при ней худенький мальчонка, оба простуженного вида. И она освобождается от своего груза и уносит в кулачке две монетки - на целых две буханки черного хлеба. А покупает она только черный, потому что больше к нему привыкла да и полезнее он для желудка. Я знаю, как она живет. Домик-завалюха за гнилым штакетником, ржавая кровать с никелированными побрякушками, куча хлама вместо постели. На калитке у нее две красных звездочки, приколоченных тимуровцами, но она принимает от них только одну услугу - дровишки поколоть. Остальное будет делать сама, пока ходят ноги, потому что хочет еще пожить, поглядеть на солнце, послушать ветер. А без движения и жить скучно, и темнота надвигается быстрее. Соседи жалуют ее, однако рады будут, когда умрёт: родни не осталось, участок, может быть, удастся поделить. Завалюху они тогда снесут, забор заменят, садик обновят...

Семейка угощает меня мытыми фруктами.

- Жалко, - я говорю, - деревья рубить. Яблочки "белый налив", груши сладкие, не червивые.

- А с чего ты взял, что рубить? - интересуется Женька.

- Так ведь соседи... - Я осекаюсь и жую молча.

- Что соседи? - Она щупает мне лоб. - Господи, Митроша, достань пакет с лекарствами! Бедный наш папка. Сильнее всех промок, нас пристроил, сам не спал... Сын, вот помрёт отец, что будем делать? - Из всех упаковок набирает по две таблетки и высыпает в меня. - Будем лечить по новой системе, ударной дозой.

Входит проводница: "Вы у меня за чай рассчитывались?" Женька отдает ей две пятнашки и гривенник. Смеется: "Пять стаканов жидкого чая равны вот этой куче фруктов". Проводница обиженно отвечает, что чай свежий, но слабого сорта, и с грохотом задвигает за собой дверь.

- В камере хранения, - бормочу, - закрыть-открыть тоже тридцать копеек, мы занимали три ячейки, одну два раза открывали...

- Молчи, а то надорвёшься, - Женька подтыкает моё одеяло, накрывает сверху своим. - Потей. Денег до дому хватит, я подсчитала.

- А мамины кремы, - встревает Митрошка, - рубль штука. Два ящика. Да за пересылку...

- Молчать! - Ни на что большее у мамы педагогической фантазии не хватает.

Снова заглядывает проводница: "Здесь у меня одна полка свободна? В Краснодаре к вам подсадим". "Когда Краснодар?" - спрашивает Женька без энтузиазма. "В полночь". Проводница исчезает.

- Я в Краснодаре сойду, - говорю неожиданно для себя.

- Ты сошел с ума, - сообщает Женька после долгого молчания. - Во-первых, опоздаешь на работу. Во-вторых, как мы вдвоем потащим эти девять мест? А в самых первых, тебе надо лежать, иначе ты умрешь... И вообще - какой теперь смысл?..

- Да, - говорю, - когда был смысл, мы проехали мимо. А через месяц ее похоронили без меня. Я ведь чувствовал, что надо сойти! Я бы ещё застал её...

- Чего ж теперь-то?..

- А того, что тогда было так же, как сейчас. Девять мест...

Она молчит. А я чувствую, что проваливаюсь, начинает действовать горсть таблеток. Успеваю подумать, что до Краснодара еще полдня и полночи, я успею прийти в себя. И снова вижу калитку с двумя звездочками. Это не на той станции, это в нашей Усть-Лабе. Звездочки - это мой дед и мой отец. Евпатория и Новороссийск, два тактических десанта... Бабуля провожает меня в армию. Пакет с грушами и яблоками - на дорожку. Уезжаю, чтобы тоже никогда не вернуться. Только посылать письма: из армии, с приветами одной особе, потом с ударной стройки, без приветов, потом с длинной-длинной трассы, с приветами от жены, от дочки, от сына, потом из Крыма, проездом. Письма от нее всегда казались мне бодрыми. Из всего, что с ней могло произойти, я был способен вообразить только лучшее. Родители долго кажутся нам бессмертными... Мелодрама. Долг надо было отдавать живой, без философии... Нет, долг - всегда долг, пока должник жив. На то и могилы, чтобы помнить.

"Прошлого не существует" - где я это подцепил? Прошлое всегда при нас. Оно следит за нами. Оно судит нас по делам нашим. Может и помиловать. Но только до первого греха. А мы - грешны. Расплачиваемся с ним только собственным будущим. Никто никогда до конца не расплатился. Хуже всех приходится тому, кто не умеет начинать сначала. И тому, кто это делает слишком часто. О совести не говорю: ее нет только у животных.

Самые беспощадные мысли являются обычно в то время, когда ты беспомощен. Чтобы не просто ошеломить, а раздавить тебя до полного ничтожества. Тебя, любимого, доброго, умного, довольно сильного, любящего тех, кто рядом...

6. СТОП-КАДР

Я сижу на Краснодарском вокзале. На автовокзале. До него не пришлось ехать, просто площадь перейти. Никаких перемен за двадцать с лишним лет. Тем больнее. Уже взял билет на первый автобус до Усть-Лабы. Половина вещей - в камере хранения, остальное они вдвоем как-нибудь дотащат. Женька позвонит в мехколону, чтобы не теряли меня. Я пройду через всю Усть-Лабу с цветами и пакетом груш и яблок, которые куплю на базаре, у меня есть записка от Женьки. Положу подарки на могилу, попрошу прощения и буду потом приезжать каждый год. Бабуля услышит меня, ей будет спокойнее лежать. Вот и весь смысл. И он понятен мне настолько же, насколько мне понятно мое собственное существование.

Я вырос на юге, но я сибиряк и не люблю юг. Между тем каждое лето я бываю на юге. Возможно, я даже перееду сюда жить, хотя точно знаю, что буду смертно тосковать по тайге, по сырым небесам над хлябями земными, по грозным холодам, по грубым, но открытым людям, с которыми строю дороги... И умру здесь гораздо раньше, чем умер бы в Сибири. Умру в неудовлетворении. Но там, на трассе, где передний край даже для передовой Сибири, я почему-то весь год вспоминаю же этот южный воздух, в котором задыхаюсь и гнию. Что, черт его возьми, тянет меня сюда? Неотданные долги? Старуха с пакетом груш? Сволочь-крохобор за рулем автобуса? Кстати, бывший сибиряк... Я не философ Сенека, чтобы выяснять такие тонкости. Пусть философией занимается Женька.

Как птица на ветке, я сижу на ограждении перед картой автобусных маршрутов Краснодарского края. Тупо и медленно думаю, что у птицы от нагрузки лапы всё крепче сжимают ветку. Если бы у меня было так же, спалось бы крепче. Однако под утро мне все же удаётся задремать...

Будит меня Женька.

- Поешь, - говорит она, - попей чаю крепкого, и будешь спать дальше. Я купила в Волгограде хорошее масло и мягкий чёрный хлеб. Это чудо, ты оживёшь. Мы намазали тебе мёдом, потому что ты больной.

- Папа, памятник! - Митрошка подает голос сверху, я вижу только его подзорную трубу, выставленную в окно. Я приподнимаюсь к окну и сквозь мелькание низких деревьев вижу вдали огромную каменную женщину с поднятым в гневе мечом.

- Где едем?

Женька усиливает радио. Поют о Мамаевом кургане.

- Спишь больше суток. Это хорошо. Ешь. А я тебе почитаю. Из Сенеки. Просто умора. Вот слушай, этот стоик агитирует Луцилия за воздержанность, а сам пишет, что совершать прогулки лучше всего в носилках! А дальше еще смешнее. Э-э-э... "Знаем не хуже рабов, приставленных к нам с детства"... Нет, раньше... Вот, о несчастном одиночестве: "Голо вокруг, мой Луцилий. Никого рядом с носилками. Пусто в прихожей"! Борька, ты бы не телел, чтобы у тебя было голо рядом с носилками?

Сверху кричит Митрошка: "Мама, вон два солдата носилки несут. Ха-ха, не бойся, с песком!"

Закрываю глаза. Где бред - там или тут? Да, это худо, когда никого рядом с носилками. Как у той бабульки. И в прихожей пусто.

Надо уснуть. Покрепче, крепче. И снова проснуться. Только больше не буди. Я сам.

Оглавление	Стр.
1. Рядовой день	1
2. Рядовой вечер	3
3. Сутки прочь	5
4. Пляжный день	7
5. День дорожный	9
6. Стоп-кадр	11

ДРАКА

Пасмурно. Настроение нулевое. Даже вместе.

У киоска сидит на ограждении и допивает пиво рыжий. Не тщедушный, не здоровяк - в самый раз. И в самом подходящем настроении. Всем мутрно, а он - доволен. Неизвестно, чем можно быть довольным в такую погоду. А ему - видно же - хорошо.

Входим в загородку. Берём пиво. Ставим банки на столик. Такой стоячий столик, на высоких ножках. Мы стоим, а рыжий расселся рядом на ограждении. С комфортом. И так ведь сидит, что не отодвинешь. Даже если убрать его, нам всё равно всем не сесть. В общем, несправедливость непоправимая.

- Толян, - говорит Славик. - По-моему, таких рыжих волос не бывает.

- Он их красит, - отвечает Славик. - Химия, по-л.

- Сейчас мужики вообще стали как бабы, - говорит Витя. Ленка смотрит на нас тревожно - не любит, когда начинаем. Народ у киоска на наши громкие речи оборачивается. Рыжий допивает, ставит пустую банку на НАШ столик.

- Я вижу, - говорит, - речь шла обо мне, и я должен ответить.

Ага! Переглядываемся. Витя и Славик поворачиваются к нему, я делаю небольшой шаг, Толян перестаёт заниматься своей банкой и освобождает руки. А рыжий продолжает:

- Таких рыжих волос, возможно, и не бывает, но это не страшно, я смотрелся в зеркало. Не люблю седины, поэтому жена делится хной. Хна укрепляет волосы и даёт такой цвет... С тем, что многие мужчины стали похожи на женщин, - оглядел нас, но без вызова, - согласен. А в-четвёртых...

Замолчал и шагнул из нашего окружения.

- Что в-четвёртых? - Я хотел взять его за физиономию и повернуть к себе, но лишь успел коснуться щеки. Он с улыбкой отвёл мою руку: - О, вижу! Подрасться охота? - Улыбнулся ещё ярче, аж осканился. - В-четвёртых, давайте отойдём, тогда скажу, что хотел. Даме это, - улыбнулся Ленке, - слушать не надо. Чисто мужские секреты. Вы нам позволите?

Ленка только открыла рот для ответа, а он уже всё знает:

- А-аб-со-лютно не беспокойтесь. Мы ведь культурные люди!

Пока отходили за киоск, мы взяли его в клещи. Но до начала движений он успел заговорить. Негромко, ещё на ходу:

- В-четвёртых, парни, культурные мужчины, которые не бабы, никогда не делают друг другу замечаний публично, чтобы не срамиться перед дамами. Ни насчёт внешнего вида, ни насчёт поведения. Это же дело интимное! Тем более - из-за этого драться. А вдруг этот рыжий свою седину убийствами заработал? А вдруг он ПРОСТО ТАК и драться не обучен? А только насмерть?.. Это ж дело тёмное - чужая душа... Парни! Вы мне крайне симпатичны. Я желаю вам всего - от души!

И пожал Славику руку, которую тот держал заранее приподнятой, чтоб быстрее ударить. Славику пришлось ответить пожатием. То же самое проделав с Витей и Толяном было уже как бы естественно. По кругу дошёл до меня, тоже заглянул в глаза, а руки моей как бы не заметил и потрепал меня по щеке. Не похлопал, а вот именно потрепал, ласково так тронул, будто не обидно, а вышло, что ответил мне на моё...

- Ну, ладно, парни, счастья вам!

Ещё раз ослепительно улыбнулся и лёгкой походкой ушёл.

- Вот сука! - сказал Славик с тихим восхищением.

- Как это - "крайне симпатичны"? - Толян хмурился.

- Наглый, гад, - сказал Витя.

Ленка встретила нас очень серьёзно,

- Я вспомнила. Я видела, как он выходил из пединститута. Наверно, там работает.

- На спорфаке, что ли? - предположил Толян.

Народ у киоска осторожно поглядывал в нашу сторону. Но мы разговаривали тихонько, про себя.

- Вот же сука! - повторил Славик.

- Кончай при даме, - сказал я. - Это дело интимное.

Мужики засмеялись, и мы принялись за пиво.

Владимир Шкаликков

ЗАПАХ И ЛЮБОВЬ

Когда приехал сюда, мне здешний непрерывный дождь весьма понравился. Перед этим командировка была в сухие места. Домой вернулся - опять жара и сушь. Так что неделю прожил здесь, как у бога за пазухой: тепло и сыро.

Но, как сказал поэт, лишь изменчивость непреходяща.

Через неделю деньги кончились, а командировка - нет: не выполнил задачу. Связался по телефону со своими. Командировку продлили, обещали тут же выслать деньги. Третий день высылают, а у меня знакомых - шаром покати. Из гостиницы выселили, есть не на что, ни плаща, ни зонтика. Словом, дождю больше не радуюсь. Собрал последнюю мелочь, сижу мокрый на почтамте и творю телеграмму. Текст нужен короткий, но убойно убедительный: „Одиноко умираю бездомным голодом где деньги думко" - примерно так. Если писать это в три строчки, будет понятно, что „Где деньги" - это вопрос, а Думко - моя фамилия. Но, может быть, есть вариант позабойней и покороче? „Бездомно умираю голодом"... Каждое сэкономленное слово - это пятак на ту буханку хлеба, которую я должен буду растянуть на пару дней. Но как сэкономить четыре слова из семи? Адрес - неприкосновенен... На вокзале ко мне уже присмотрелись и сегодня ночевать точно не дадут. Полбеда, если б меня задержали, накормили и дали ночлег, хотя бы и в камере. Нет, меня просто выведут из вокзала. Под дождь. Я неделю не мылся, и под летним дождиком мне только польза, если бы... Если б было во что переодеться... Ну, и так далее.

В почтамте душно и сыро, поэтому одежда на мне не сохнет, скоро начнётся озноб. Заболеть - это бы неплохо: больница, гигиена, запах кухни, звон посуды. Но я в командировке не от завода. Я - от кооператива. Мне нужно не болеть, а дело делать. Повздыхаешь тут по старым временам: хоть и жизни не было, умереть не давали.

Ломаю голову над текстом и вдруг слышу, как кто-то нюхает мою макушку. Кто-то вдыхает осторожно и глубоко, не сопит, выдыхает в сторону, но мне все равно слышно.

Оборачиваюсь не спеша, с достоинством, немного возмущенно.

Женщина. Молодая, моих лет. Не красавица, но всё на месте. Глаз не отводит, а наоборот - смотрит с интересом, каков объект обнюхивания спереди? Губы чуть шевелятся, будто не решаются на улыбку.

Я еще не подвергался человеческому обнюхиванию. Собаке дал бы лизнуть руку. Погладил бы кошку. А с этой как? Не шутит, серьезная, делом занята, будто пыль со стола вытирает и взглядом просит приподнять локти.

Хоть оно и раздражает, а все равно приподнимешь. Я киваю ей почти одними глазами и отворачиваюсь.

Ее белая кофточка всплывает в поле моего зрения и опускается. Села на соседний табурет.

Ну, сиди, что же с тобой делать. Только не мешай. Мне надо жизнь спасать.

Нет, не мешает. Ничего не говорит, но разглядывает откровенно. Будто хочет вспомнить. Или мне что-то напомнить.

Да не знакомы, не знакомы. Я здесь впервые. И лиц таких отродясь не встречал, всех женщин моего прошлого узнаю без труда. И даже девочек. Поглядываю на нее между делом. Нет, и в детстве не встречались. Гарантия.

Она слегка и коротко улыбается. Я говорю:

- Мы ведь не знакомы?

Она молча кивает, но тут же пожимает плечами, иронично отклонив голову вбок. Разберись-ка. Но мне до того ли? Заполняю бланк наскоро - чёрт с ней, с буханкой - и отправляюсь к стойке, расставаться с последней мелочью.

Ожидая у стойки, пока пересчитывают слова и пятаки, спиной чувствую, что любознательная особа не уходит. Оборачиваюсь. Сидит, где села. Ну что тебе надо? Не тот я, кого ты искала...

К выходу мне идти мимо нее. Проход неширок. Хорошо бы пройти и не встретиться с ней глазами. Но за каких-то два шага она резво встает и направляется к выходу впереди меня. Поневоле разглядываю: короткая прическа, средней ширины плечи, гимнастическая спина, талия, бедра - все при ней, все в норме, но ничего в глаза не лезет.

Выходим на крыльцо, она впереди, вскидывает перед собой зонтик и нажимает кнопку. Цветастый купол из японского шелка раскрывается сам с хлестким щелчком. Она весело пугается и протягивает зонтик мне:

- Только вчера подарили, я его еще боюсь.

Мягко берет за ту руку, в которую я принял зонтик, и мы идем куда-то. Мне все безразлично. Пока разберётся, может, успеет накормить... Почему-то у любой женщины всегда есть еда.

- Варя, - она смотрит на меня, ручка зонтика делит ее лицо пополам, абсолютно симметрично, в аккуратных ушах голубеют сережки-незабудки, серебро с эмалью, абсолютный вкус.

- Иван, - я не называю фамилии, могла сама увидеть через плечо, когда нюхала. - Куда мы

идем?

- Боитесь?
- Нет. Просто интересно.
- А почему не боитесь?
- Потому что нечего терять.
- А жизнь?
- Кому нужна чужая жизнь?
- А вдруг?
- Тем более интересно.

Она улыбается такому ответу и сообщает, что, если я не очень занят, то мы идем к ней в гости.

Итак, в гости. Не больше, но и не меньше. Меня выбрали. Избрали. Выделили. Интересно, по каким признакам?

По внешности? Ей не шестнадцать лет... По каким-то особым мужским приметам? Не разбираюсь в этом... Заподозрила богатство? Исключено... Допустим, разглядела, что я не местный. Что ей может быть нужно от такого? Убить кого-нибудь? Или поугадать? Или обмануть? А зачем тогда обнюхивать?

Сам чёрт вас не поймет, о женщины, пардон за банальность...

Мы ехали на троллейбусе, потом на автобусе. И молчали. И приехали к новым девятиэтажкам на окраине города. Автобус развернулся у леса, и мы вышли вместе.

Меж домами было пусто и перекопано, а поверх лежала разветвленная тропа из бетонных плит. Варя с новым испугом раскрыла зонтик, подала его мне и сообщила:

- Я хочу отсюда переехать в старую часть города, в деревянный дом. Сменяются охотно. Только сомневаюсь...

- Удобства?

- Не только. В старых домах этот запах... Везде керосином... Я выросла рядом с примусом, не хочу...

- А здесь чем плохо?

Она подумала и сказала:

- Решено! Не буду меняться. Всё это зарастет, - обвела рукой раскопки, - будет уютно.

- И воздух чистый, - я сказал это просто так, для разговора.

- О, это главное! - Она просияла и оживилась, однако разговор не продолжила. Задумалась до самой своей двери.

Седьмой этаж. Двухкомнатная квартира. Обстановка скромная, без ковров, ничего лишнего, но - уютно.

Одна в двух комнатах? Нет, вот детская обувь, курточка на вешалке, подростковый велосипед. Мальчик лет десяти. А мужчины нет, раз меня привела. Ясно. Будем надеяться, что мужик нужен на один раз. Хотя возможно все: этот намек на жизнь... Где же сын?

- Сын в летнем лагере, - она предупреждает мой вопрос. - Кормить или сначала сушить?

И смотрит в глаза откровенно.

Я развожу руками.

И она начинает расстегивать мою мокрую одежду.

Не была она в любви особо искушена, отдавалась без затей, по-простому, не стонала и не царапалась, только жадно дышала. Был момент, когда мне казалось, что сейчас она вдохнет меня целиком.

- А ты почему не ешь?

- Сыта! - И смеется. У нее приятный смех. Для себя. Теперь спрошу...

- Почему ты на почте меня обнюхивала?

- А ты услышал?... - Она задумывается, глядя в глаза: говорить ли? - Боюсь, будешь смеяться.

- Зачем смеяться? У каждого свои привычки.

- Хорошо. Расскажу.

Это бывает у всех женщин во время беременности: организм требует чего-нибудь особенного - то болотной водички, то картофельной ботвы, то пирожного с селёдкой. У нее же таких извращений не было, всё было просто. Зато было - всегда. С самого детства. Если она захотела черного хлеба, то уж ничем другим не заменишь. Будет голодная, но своего дожждётся. Из-за керосинного запаха дома почти не жила: школа, спортшкола, библиотека, подруги, улица, - лишь бы подальше. Она приехала сюда из лесного поселка, окончила университет и осталась здесь жить, потому что запаха такого нет ни в одном другом городе. Почему она так думает? Потому что проверяла. У каждого города запах свой. Так же точно - у каждого учреждения, завода - это всем известно. Она только удивляется, почему многие не придают запахам значения. Ведь главное занятие человека - дышать. Как же можно не обращать внимания, чем дышишь? Да, она согласна: большинство людей привыкает. А она вот - не может. Ей нравятся слова Хайяма: „Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало“. Кем она работает? Корреспондентом на радио. Нравится? Есть такая шутка: „Радиокомитет - это могила Неизвестного

Журналиста". Почему? Потому что следов не оставляешь: слово - не воробей. И „Репортёр" все плечо оборвал. И расшифровки, монтаж - будь они прокляты. Но запах в студии ей нравится больше, чем в типографии... Где муж? Это целая история. Он был настолько единственным, что сегодня она чуть не упала, когда встретила меня. Он для нее был светом в окошке, но три года назад у него изменился запах...

- И все? Из-за этого можно бросить любимого мужа?!

Нет, конечно. Когда у человека меняется запах, это значит, что и сам он становится другим. Тут она вынуждена признать: такие тонкости не всем доступны. Но что делать, если она чувствует...

Я давно не ем. Смотрю на нее во все глаза и уже понимаю, что она красивая, она настоящая красавица: ничего нет броского, но всё-всё-всё нормально, всё на месте, всё пропорционально. Она гармонична. И голос ее должен прекрасно ложиться на плёнку. И по телевидению - только из-за её облика - смотрелись бы самые занудные передачи. Но потому она и не работает на телевидении, что... печать на ней. Печать круглая, грозная. И надпись по кругу: „Не возьму ничего, кроме того, что нравится". По форме это нормально, даже прекрасно, но ведь жить с этим невозможно!

Я вдруг чувствую, что обязан узнать, кто подарил ей японский зонтик.

- Поклонник. Офицер. Знарок фортификации. Осаждает меня по всем правилам науки. Ни одного подарка не приняла, а вчера - мой день рождения, он приносит зонтик и говорит: „Я точно вычислил, что это вам понравится". И угадал. Ему бы еще твой запах, и он бы своего добился. Он даже Робке нравится... А я вот взяла и подарила себе - тебя. На день рождения!

Она смеется. И сообщает мне, что я не женат, что я в командировке, что я, кажется, немного трус, но, похоже, не подлец, а просто эгоцентрист...

Я спрашиваю, зачем ей эти данные. Она отвечает: затем, чтобы знать, стоит ли отнимать у меня жизнь? И смеётся.

Я прожил у неё неделю. Познакомился с ее сыном: мы ездили к нему в лагерь. Я ему не понравился - наверное, потому что не офицер. Она сделала всё, чтобы я не встретился с её поклонником, когда он примчался на часок со своего полигона. Она была очень нежна со мной всю неделю.

А сейчас я уезжаю. Работа сделана, деньги получены. Я уезжаю немедленно и тайно. Мне нравится этот город и его запах. Но во многих городах запахи не хуже. Мне нравится Варя. Мне нравится ее сын Робка. Но лучше я останусь таким, какой я есть. Потому что нет гарантии, что однажды Варе вдруг перестанет нравиться мой запах, как когда-то это случилось с моей первой женой.

Владимир Шкаликов

КАИН

Из всех пилотов один Вадим не боялся катать меня на планере. Всё звено вытягивало шею, когда я садился в переднюю кабину. С парашютом на спине, держа "угол" обеими ногами, мощные руки медленно сгибая на бортах, красиво погружаясь в ласковую дюралевую скорлупу.

Сзади голос Вадима: "Брохиация сиамангов!" И только мы с ним знаем, что это значит - бег по веткам на одних руках. Почему бы мне и не гордиться таким родством с обезьянами...

Зря они боялись со мной летать. Короткая правая нога высоко торчала над педалями, слегка упираясь в пустой изнутри кок, а левой я владел вполне достаточно, чтобы даже рулить, но и она никогда не касалась педалей: табу так табу. За ручку подержаться иногда разрешалось, но и в этом я был неукоснителен: покачать плоскостями, слегка спикировать - вот и всё.

Был только один раз, который всё испортил.

Вадим проверил у меня ремни, пристегнулся сам, мы закрыли фонарь, он сказал: "Ну, учлёт, поехали!" Я поднял левую руку, сопровождающий положил мой костыль и поднял из травы правую плоскость планера, а другой рукой начал делать отмашку белым флажком, чтобы самолёт выбрал слабины. Трава полегла от винта, буксир натянулся, у меня под негнувшейся ногой щёлкнул замок. Я сказал в микрофон: "Взлёт!", флажок стартера замер, потом он пробежал несколько шагов, поддерживая плоскость, и отстал, а планер взял воздух и начал "вспухать" - отрываться от земли раньше самолёта. Вадим его придерживал - я видел, как ручка управления подалась вперёд. А планер так и рвался вверх. Я тогда особенно остро чувствовал, что сотворится, если дать ему волю: он взвьётся, поднимет самолётный хвост, и ЯК-12 врежется винтом в землю - скапотирует.

Красивые в авиации слова, я знал их множество: кабрировать, капотировать, угол атаки, элерон, нервюра, роговая компенсация, "спортить причёску"... Последнее по-сухопутному означало - разбиться.

Я не случайно вспомнил, что в тот день "особенно остро чувствовал". Это было не только к нашему буксировщику, это было во всём: поистине "как в последний раз" Да он и был последний, хоть я этого ещё и не знал.

В последний раз навстречу раскрывалось бесконечное небо, и в нём качался ЯК-12, пониже - лес, поближе - поля, а по бокам, поодаль - первые кучёвки, круглые, белые и пушистые. Под каждым таким облачком - восходящий поток. Они идут грядками и можно путешествовать под ними от потока к потоку, воспаряя спиралью.

Вадим спрашивал: "Учлёт, высота? Учлёт, скорость?" Я мгновенно находил нужный прибор и докладывал. И видел в круглых стёклышках приборов его улыбку. "Учлёт, выправить крен!"

Нам надо было держаться за самолёт на правильной высоте, повторять его маневры по широкой спирали и ждать, когда он сбросит обороты и качнёт крыльями. Тогда мне надлежало - вместе с Вадимом! - слегка отдать ручку вперёд и, когда буксир провиснет, дернуть за красную рукоятку. Самолёт с тросом на хвосте полетит домой, а мы обретём свободу.

На полутора тысячах мы отцепились, самолёт круто ушёл вниз. Вадим спросил: "Хочешь почувствовать предштопорное состояние?" И - ручка приблизилась к моему животу. "Следи за скоростью". Высокое пение воздуха в плоскостях стало густеть и гаснуть, появилась мелкая дрожь...

Я знал теорию штопора. Когда скорость упадёт до шестидесяти, малейший срыв потока перевернёт нас, и аппарат закружится, как семечко ясеня.

Когда дрожь планера стала крупной, моя правая рука - сама! - ударила по ручке управления. Я видел, как резко поднялся левый элерон, потом вдруг земля встала дыбом и завертелась мне в лицо. Воздух завыл во всех поверхностях совсем немusыкально. Но это было то, что нужно.

Вадим сказал: "Ты что, Витек?"

А моя рука держала отклонённую ручку управления и не поддавалась усилиям Вадима. И левая нога давила на педаль...

"Кончай, Витек! - сказал он спокойно, слишком спокойно.

Земля слилась в сплошной диск и всё шире обступала нас.

Он оглушил меня кулаком и посадил планер почти сразу вслед за самолётом. Я очнулся уже на земле.

Вадим открыл фонарь и на все вопросы подбежавших ответил тремя словами: "Пассажиру стало дурно".

Потом ушёл с руководителем полётов к его столу, где громко шипела рация, и они там разговаривали, не глядя в мою сторону.

Я красиво, "уголком", выбрался на травку, мне подали костыль, и я отковылял к палаткам.

Вадим в тот день больше не летал, но и в палатку не пришёл.

Я лежал и слышал, как взлетал за самолётом кто-то другой, как переговаривались парашютисты на укладке, как потом звали на обед. Я не пошёл на обед. Мой старший брат Игорь принёс кашу, хлеб и чай. Я ел, он расспрашивал, что случилось. Я ответил так же, как Вадим: "Пассажиру стало дурно".

Брат допытывался: "Ты уговорил его показать штопор? И отключился?" Я спросил: "Он так сказал?" "Да". "Так и было". "Он из-за тебя план полёта не выполнил". Я пожал плечами. "Больше не полетишь, - сказал брат. - Виш запретил".

Виш был начальником аэроклуба, первым после Бога. Он всё видел от своего столика и, подозреваю, понял больше, чем рассказал ему Вадим. Он никогда не ошибался.

Меня не отправили тогда в город. Я так и работал до января сторожем на аэродроме. Оружием охраны был мой костыль, а помощниками - две собачонки, Барсик и Бобик. Они были маленькие, беспородные, обе чёрные и разного пола. Я им завидовал. Добрые парашютисты перед началом прыжков сбрасывали их по очереди на пристрелочном парашюте, чтобы проследить направление ветра по высотам. Они были матёрые авиаторы и лаяли только по делу - на собак и коров из соседней деревни, когда те забредали на лётное поле, да на городских грибников, которые пару раз за лето вторгались на своей технике в полосы воздушных подходов. Все эти нарушители немедленно нами изгонялись, а на зайцев мы даже не смотрели.

В январе разбился Игорь.

Вадим дружил с нами обоими, был для меня ближайшим после брата, но по судьбе вышло так, что эту гибель от Вадима не оторвёшь.

За полтора года до этого января в парашютное звено пришла перворазница Аня. Миниатюрная десятиклассница, идеальный носик, глаза по шесть копеек, пела славно. Я тоже заканчивал десятый класс и не был чужд романтики. Я положил на Аню глазу, но инструктором у неё стал Игорь, и тут ничего нельзя было поделаться. Игорь был старше меня на три года, учился в институте, был здоров и красив. Я молча улыбнулся, когда брат сообщил нам с Вадимом, что вон на той спортсменке он обязательно женится. Улыбнулся и Вадим. Он к тому времени уже и отслужил в воздушном десанте, и закончил лётно-техническую школу оборонного общества, и работал старшим инструктором планерного звена. И машину, и мотоцикл, и любую прочую технику он водил, как чёрт. И, в общем, стоило ему один раз пристально встретиться с Аней глазами, как она тут же захотела стать планеристкой.

И стала.

А через год вышла за Вадима замуж. И бросила авиаспорт, чтобы стать мамой.

А Игорь завял. Судьба любого однолюба. Он не напился у них на свадьбе, не раздружился с Вадимом, даже не ушёл из аэроклуба. Просто завял.

Прыгал он тогда по первому разряду. В ту зиму готовился на республиканские соревнования, много прыгал, но как-то без обычной лихости. Только в последнем прыжке здорово отработал 15-секундную акробатику с полутора тысяч и - у меня на глазах - не раскрыл парашюта. Если бы он после комплекса потерял сознание, за него это сделал бы автомат. Но автомат сработал не на должных трёхстах метрах, а почему-то у самой земли, будто ему кто мешал...

Я из клуба сразу уволился, перевёлся в своём институте с заочного на дневное отделение и поселился в общежитии.

Вадим, то ли чувствуя вину, то ли из-за маленькой аэроклубовской зарплаты, уволился тоже и стал старшиной в областной автоинспекции. Милицейская форма, бесплатный проезд и прочие льготы - законные, полузаконные и добровольные. Через год получил офицерские погоны, через два завёл подержанного "Москвича", на третий поступил в университет на юридическое. Он во всём был талантлив, удачлив и трудолюбив. Он подражал во всём Вишу, даже тайком соревновался с ним (только мы с Игорем это знали), он ещё и поэтому ушёл из авиации - чтобы не делить небо с тем, кого Бог избрал. Так он сам говорил мне о своём уходе.

Он был в отчаянии, когда ещё через год Виш разбился. Ругал почему-то себя: мол, оставил друга без поддержки, тот переутомился и потому не справился с простым перехлёстом купола... Я принимал его горе. Виш был человеком безупречным. Он тогда и мне правильно запретил летать, я не обиделся.

После похорон Виша Вадим на некоторое время для меня исчез. До этого он нередко забегал в общежитие, спрашивал о родителях или, наоборот, рассказывал о них мне, когда бывал на севере в командировке. Я к нему и Ане тоже заглядывал, только реже - всё-таки костыль. А тут всё как-то отключилось, будто Виш своим падением оборвал наши ниточки...

К концу семестра патрульная машина подобрала пьяного инвалида на проезжей части. Парни, на моё счастье, были из автоинспекции, привезли бездыханного вместе с костылём не в вытрезвитель, а прямо к Вадиму домой. Дело было ночью, я не вязал лыка. Вадим сам меня раздел и уложил спать, а назавтра среди дня заскочил и велел ждать до вечера.

Вечером первой пришла Аня, привела из садика Мишутку. Малец качался на моей негнущейся ноге, мама беспокоилась: "Не больно?" Мне было больно, но не в ноге, и я улыбался.

Совсем поздно приехал Вадим. Милицейская форма ему ещё больше была к лицу, чем авиационный комбез. Стройный, гибкий, сильный офицер с полосатой палкой.

После ужина мы с ним уединились. Он за день успел узнать все мои дела в институте. Сказал: "Выгонят тебя, если к лету "хвосты" не сдашь. Из общаги уже выгнали: ты там вчера сильно отличился. Жить будешь у нас: Аня не возражает. Вот в этой комнатке. А Михаила к себе возьмём."

И не спорь. Что я скажу твоим старикам? Что тоже парашют не раскрылся?" Такую жестокость к самому себе - я бы не сумел. Я бы себя к себе не взял.

У меня не было ни стипендии, ни заработка. Кормиться у них мне было стыдно, я перевёлся опять на заочное и устроился учеником слесаря на завод, через дорогу от дома. Вадим и Аня не возражали. С Мишуткой мы были друзья - не разлей вода, он называл меня, как папа, Витьком.

Вадим часто задерживался на работе, и его домочадцы оставались со мной одни. Аня была крайне привлекательна и желанна, и я понимал, почему у Игоря так поздно раскрылся парашют. Однажды в свободный вечер я смотрел вместе с Мишуткой телевизор в их комнате. Аня приостановилась близко, чтобы спросить, будем ли мы пить чай или дождёмся папу. Я сказал: "А чего дожидаться?" и кончиками пальцев прикоснулся к её бедру. Она поглядела с ужасом и шагнула назад. Сказала спокойно: "Дождёмся". И после этого в моём присутствии передвигалась по квартире со скоростью кометы и совершенно потеряла свою прежнюю, клубовскую, весёлость. Я с тех пор старался не выходить из "своей" Мишуткиной комнатки. Но когда всё же случалось ковылять по квартире, цепляясь за дверные ручки и подлокотники, я боковым зрением ловил в её косых взглядах не только брезгливость к разнокалиберным моим ножкам, но и скрытое восхищение мощью вот этих ручищ. Огромных, обезьяньих.

Пытку не стоило затягивать.

Однажды я сидел на диване и смотрел телевизор. Мишутка раскачивался на моей ноге. Аня у стола что-то гладила.

Подошёл Вадим и остановился рядом со мной, опершись на боковину дивана. Он всем весом опирался на одну прямую руку и говорил мне что-то вполне дружелюбное. Мы, в общем, беседовали, кажется, о фильме. И вдруг, как тогда в планере, моя правая рука сама ударила его по напряжённому локтю. Он вскрикнул, прижал к себе руку и сел на корточки. И спросил: "Ты что, Витек?"

Не помню, какую чепуху я бормотал в ответ. Я впервые смотрел в упор на Аню, а она - на меня. В руке она держала утюг, а глаза были раскалены.

Я укувылял в "свою" комнатку, а на другой день переселился в заводское общежитие.

Я получил четвёртый разряд слесаря-инструментальщика, через год повысил его, ещё через год подошла моя очередь на операцию, и я уехал в Курган, в клинику Илизарова.

Это были тяжелейшие, но и счастливейшие недели всей жизни.

Кругом - только свои. Я в любого смотрелся, как в зеркало. Моя боль, моя надежда, мой страх - всё это было и в их глазах. Никто не искал понимания, оно было нашим воздухом, мы были им пропитаны. Не было той скованности, которая, как её ни прячь, всегда выделяет калеку среди неизувеченных. Все были равны перед Божьей несправедливостью - или немилостью? - инвалиды от рождения, жертвы катастроф, полиомиелитчики вроде меня. Профессор филологии играл в шахматы со слесарем, заслуженный мастер спорта гулял под ручку с доярочкой.

И никто не обижался на шутки, которых в жизни не простил бы здоровым. Новичок полчаса прыгал на одной ноге с этажа на этаж, потому что оказалось: кроме крови, мочи и кала, надо сдавать на анализ ещё сто грамм пота. Он вместе со всеми отжимал над пробиркой полотенце, а потом вместе с обидчиками хохотал над розыгрышем. И снова хохотал, уже в столовой, когда не удавалось найти специального окна, где выдают особый доппаёк для восстановления правой берцовой кости.

После лечения равенство рушилось. Бывший чемпион никогда не вернётся на стадион и завидует доярочке, убегающей вприпрыжку. А пожилой профессор утешает слесаря: "Ничего, Витюша, оставшиеся пять сантиметров " в следующий раз. Вы и так - рекордсмен". И

Витюша гордится, что ценой ежедневной изматывающей боли вытянул свою прямую коротышку аж на предельные восемь сантиметров, хотя и знает, что это для его ноги - предел: такая, как у него, кость длиннее уже не станет. И такой, как у него, коленный сустав уже не разрабатается. И лучшее, на что он в дальнейшей жизни может рассчитывать, это медленное хромание без костыля, заметно припадая на эти чёртовы пять сантиметров, которые уже не добавишь никакой ценой, разве что ортопедическим уродливым ботинком.

Я вернулся к здоровым ещё большим инвалидом. Законченным. Безнадёжным. И запил сразу, на все сэкономленные средства.

Вадим опять нашёл меня на краю пропасти. Уже готовили приказ на увольнение, уже предложили выметаться из общежития.

В комнату вошли двое - мой коротышка-отец и красавец-лейтенант в милицейской форме. Я лежал, опухший после вчерашне-позавчерашне-многодневного непотребства и размышлял, куда теперь податься: искать работу сторожа, где не побрезгуют, или уж сразу - на коммунальный мост. Там, под мостом, не доходя воды, валяется большая бетонная плита. И высота - метров пятьдесят.

Батя-жмот сиял, как неразменный рубль. Без переводчика было ясно: решили с матерью отстегнуть от своих длинных северных заработков. За девять-то последних лет осело кое-что из непроеденного - бедному инвалиду на пропой.

Вадим сел на подоконник, батя - ко мне на растрёпанные простыни и сказал такое, чего я ну никак не ожидал.

-Витюша, мы тобой гордимся. Мы оставили тебя в Томске не только потому, что на севере тебе

не климат, мы чувствовали, что рядом с нами ты не станешь крепким духом, а ведь мы - не вечны, тебе нужно уметь бороться самому. Мы с Вадиком были сейчас у тебя в цеху. Там тебя прямо называют незаменимым. Сказали, были как без рук, пока ты лечился. Мы с матерью гордимся твоей силой воли. Мы узнавали: через два-три года тебе можно будет ещё раз делать операцию - на оставшиеся пять сантиметров. И коленный сустав тоже не безнадёжен - наука ведь не стоит на месте. Мы с Вадиком были у тебя на факультете. Там знают о твоём положении и уже оформили тебе академический отпуск на год - Вадик замолвил. И разрешают тебе ходить в это время на занятия и сдавать "хвосты". (Батя мой никогда в институте не учился и слово "хвосты" произносит очень смешно, по-парикмахерски). Мы с матерью договорились со своими друзьями. Они надолго переезжают из Томска работать к нам на север. Свою квартиру они оставляют тебе. Первый этаж, недалеко от завода, и гараж возле дома.

- Гараж?!

- Да, Витюша. Мы с матерью собрали деньжат и приобрели тебе "Жигули" с ручным управлением, для инвалида с левой ногой. Скажи, Вадик!

Вадим с подоконника:

- Да вон она стоит, можешь посмотреть. Газ - на баранке, тормоз - под правой рукой, сцепление - как у всех, и передачи - как у всех. Я её от склада, вот, пригнал - уже привык. Мы же пилоты, да?

Брохиация сиамангов! Я на одних руках перелетел с кровати на подоконник. Точно! Ноль-шестой "Жигуль" цвета "коррида"! Я смотрю на Вадима:

- Научишь!?

- А как же ж? Всю вывозную, без скидок. Будешь у меня личным водителем, пока не сдашь на права. И сдавать будешь полностью сам, как в авиации: "Знаешь - "пять", не знаешь - "четыре", с "тройкой" не полетишь.

- Да я их знаю!

- Наизусть учи! Мой водитель - "если быть, так быть лучшим"!

- Чкалов!

- Так точно. Вот и будь. Первое задание: выйти из запоя без опохмелки.

И я стал.

Я работал, учился, тренировался. Возил инструктора по городу, а он всё время повторял: "Учись у таксистов".

Я научился, по-таксистски, ездить не прямо за передним, а вполкорпуса левее или правее - для маневра. Я тормозил у светофора не впритирку и сразу после остановки чуть продёргивал машину вперёд - для резерва заднему. Я не ездил рядом с кустарником, я видел глаза встречных водителей, оценивал обстановку впереди обгоняемых по просвету между их колёсами, держал руки высоко на баранке и время от времени ронял правую на головку тормоза, дабы она его не забывала. Я познал определение скорости без заглядывания на тахометр, во мне развилось чувство правого колеса, обострился слух на все внешние и внутренние звуки. Это и многое другое я через три месяца легко делал автоматически, поддерживая оживлённую беседу с инструктором.

Я с первой же попытки, без малейших скидок, сдал на права, но возить Вадима не бросил. Это нравилось нам обоим.

Мужчине на автомобиле труднее быть безгрешным, чем пешему. Вадим подарил было Мишутке игрушечный жезл с батареей. Белый кругляшок с лампочкой посередине. С одной стороны он загорался красным, с другой - зелёным. Когда сын натешился, папа стал носить игрушку с собой. Красным цветом он - на работе - останавливал для проверки машины, а зелёным мы баловались. Едем поздно мимо автобусной остановки, а там дамочка скучает. Вадим подносит жезл к стеклу и включает. Она принимает нас за такси, подбегает к бровке, а уж тогда мы смотрим, подвозить её или перевернуть жезл. При этом, конечно, Вадим без формы. Денег за провоз мы, понятно, не брали: так, приятное общение. Или он выходил, чтобы мне дать попытку. И иногда мне удавалось. На один раз.

Но однажды получилось иначе. Вадим до самого её дома просидел вполоборота, а потом вышел вместе с ней.

Звали её - Шура. Образованность, культура, красота - всего было столько, что в первый раз я даже рта не раскрывал. Но шли от неё удивительные волны. Как от весеннего солнца. И как от русской печки в мороз. И как от любимой сказки. И как от любимой музыки. В общем, всё сразу. Я рядом с ней становился младенцем.

А Вадим рядом с ней превращался в Леонардо да Винчи (я даже сказал бы - Леопардо), в Антуана де Сент-Экзюпери, в Пушкина, Аркадия Райкина, Тарзана и Энциклопедический словарь одновременно. Даже я до того не представлял, сколько в нём пряталось талантов.

В один и тот же час мы вечером пять после той случайной встречи подвозили Шуру, и дальше я ехал один. Покатавшись пару часов по городу, как бы нечаянно проезжал раз-другой мимо её дома, но - впустую.

Наконец однажды, когда я их высаживал, мотор заглох и ни в какую не заводился. Мы оба испачкались и замёрзли. Шура вышла и сказала: "Идёмте греться".

Она жила в двухкомнатной квартире с таким же сынишкой, как у Вадима. Я видел только его

игрушки и вещички: мама работала в областной газете, задерживалась там допоздна, даже бывала в коротких командировках, так что парень рос в детском садике, в круглосуточной группе. Шура с Вадимом навещали его там, водились с ним по воскресеньям, но - без меня.

Дома у Вадима началась напряжёнка. Я это узнал по Аютиным глазам, когда он однажды попросил меня передать жене, что опять задержится на работе. Взгляд её милых шестикопеечных глазок был тяжёлым, как у прижатого к стене гладиатора, только страшнее, чем в кино. Печальный Мишутка прижимался к точёной маминой ноге. Он позвал: "Заходи, Витек!" Я посмотрел на маму. Я хотел зайти. Давно хотел. Но она качнула головой: "Извини. Спасибо. Я стирку развела..." Обычно она стирала в халатике и была особенно хороша. А теперь на ней были джинсы и толстый свитер. Она зябла. Но - не по мне.

Пришло время, когда напряжёнка началась у Вадима и с Шурой. Любая женщина, полюбив, хочет от мужчины одного. Шура, видно, не стала исключением. Однажды мы подвезли её и, после тихого разговора между ними, поехали дальше вдвоём. Я сказал:

- Кажется, тебе пора выбирать? Или попробуешь, как амёба?
- Это как? - Он настолько отупел от напряжения, что не понимал простейшего.
- Амёбы размножаются делением.

Он нервно хохотнул и молчал до самого дома. Расстались сухо. Я сразу же поехал к Шуре.

На мой стук она радостно распахнула дверь и тут же сникла. Как во всех фильмах об этом и точно как в жизни Аюта. Молча впустила меня, и я видел, что она всё знает о моих намерениях.

Лучше бы сразу ушёл. Ещё лучше было не приезжать. Но мне вдруг втемяшилось, что всё возможно. Разыгралось воображение. Может быть, потому, что очень было похоже на кино, а я - будто в зрительном зале. Героиня в отчаянии выбирает на одну ночь того, кто ближе. А я ещё додумывал и продолжение, хотя был готов утешиться одним разом.

Крах получился полный и унижительный. Меня вежливо поили чаем, лопотали на предлагаемые мною темы, а когда я накрыл её точёные, породистые, чуткие пальчики своей лапой и сделал решительный вдох, она вырвала руку, прикрыла ею рот, и её плечи передёрнулись. И рот - не для меня, и руки - чужие, и во всём теле - брезгливость.

Брохация сиамангов! Я метнулся за ней на одних руках тесной кухни, но она успела вооружиться небольшим ножом и сказала спокойно:

- Милый Вита! Ты сильнее, ты меня возьмёшь, но кровищи будет много, я успею. А потом ОН тебя застрелит.

Она с такой гадливостью смотрела и так родственно сказала "он", что молча забрал свою трость и вышел.

Как летел вниз по лестнице, как гонял ночь по городу, как не разбился - не помню. Одно зацепилось: неоднократно приходила идея разогнаться по Лагерному саду и - с обрыва в Томь. До воды не долечу, но это и хорошо. Однако не осуществилась: как всплывала из подсознания, так немедленно и погружалась обратно.

Мы, инвалиды, держимся за жизнь бульдожьей хваткой - это наш природный дар, по закону компенсации.

Размолвка с Шурой, как я понял, вышла у Вадима из-за отпуска. Он собирался провести его с семьёй в отъезде, а любовница хотела, чтобы с ней. И даже, полагаю, чтобы насовсем. Но то ли Вадим любил их одинаково, то ли не хотел вторично ломать карьеру... Ни в трусости, ни в нерешительности я его упрекнуть не мог. Тут просто была судьба. Он в неё вслушивался и поступал, как велела.

Его последний перед отпуском рабочий день оказался у меня свободным, и я, как привыкли, возил его по автохозяйствам с плановыми проверками. Благо бензин даром, а его "Москвич" - в ремонте.

К разговору о раздвоении личности не возвращались, были обычные - чисто мужские - отношения. Среди дня даже успели съездить втроём в Тахтамышеву. Тамашняя подруга Аюты сообщила ей, что в деревенский магазин привезли как раз такой чайный сервиз, какой она хотела поискать в отпускном путешествии. Мы как раз заехали пообедать, и Аюта была очень мила даже со мной, и мы помчались в Тахтамышеву - оно всего в десятке километров за рекой, рядом с Новосибирской автотрассой.

Сервиз понравился. Счастливая Аюта сидела сзади со своей коробкой. Обсуждалась проблема торта к вечернему чаепитию.

Перед самым выездом на трассу мы с Вадимом синхронно огляделись влево-вправо. Слева было пусто. Справа, от солнца, мчался белый "Запорожец". Его следовало пропустить, и Вадим рядом со мной, забросив ногу на ногу, привычно расслабился в ожидании. Он даже не взглянул на меня, как делал во время "вывозной". И я тоже собрался расслабиться и сбросить газ, но мои руки сами нажали гашетки на руле. Машина выпрыгнула на асфальт, наперерез "Запорожцу". Вадим ничего не успел. Ничего не успел водитель "Запорожца". Успела вскрикнуть Аюта. И мои подлые ручищи в последний, смертный, миг тоже кое-что успели. Пока большие пальцы давили на газ, руки -

тоже сами - повернули руль влево, выигрывая тот метр, что оставался до удара. "Запорожец" промчался, как белый призрак, только чиркнул задним бампером - старым по новому, и этот ржавый крючок отлетел метров на десять. Сам "Запорожец" мчался ещё метров сто, пока его сумели остановить.

Остановился и я.

Виктор смотрел на меня с интересом. Он спросил:

-Ты что, Витек?

-Он бы врезался прямо в тебя, - сказала ему Анюта. И мне: - Ты его чуть не убил.

- Чуть не спортил причёску, - это был мой голос, я слышал его, как чужой.

- Причёску можно сделать новую, - отозвался Вадим. - А вот за деньгами на новый сервис ехать далеко, обед кончается. - Повернулся к Анюте: - Целы чашки? - И ко мне: - Ну, поехали разбираться, только притормози у обломка.

Он был в милицейской форме. Он вручил водителю "Запорожца" обломок бампера и спросил: "Если честно, с какой скоростью вы летели?" Он напомнил о плохой заметности белого автомобиля на блестящем - против солнца - асфальте. Он посоветовал заменить оба ржавых бампера и подсказал, в каком углу томского авторынка их можно взять почти даром. Он пообещал, что лишит меня водительских прав до следующего лета. И мы уехали, оставив перепуганных дачников приходиться в себя.

Анюта пыталась было возобновить разговор о безопасности и посадить за руль Вадима: "Врежемся по закону парности". Но он пресёк: "Мгновенная раскоординация возможна у каждого".

Мы отвезли Анюту домой и потом работали до сумерек. А в сумерках сработал закон парности.

Мы проверили последнее автохозяйство - в пригородном лесхозе - и возвращались в Томск. Не доезжая пару километров, остановились у озера и помыли машину. Для этого пришлось съехать с трассы. Когда возвращались на асфальт, Вадим пошутил: "Вот тебе все условия для повторения". И накаркал.

Я осторожно выехал на трассу и стал догонять самосвал, который только что проехал перед нами. Он зачем-то прижимался к бровке и притормаживал: зажигались, гасли и снова зажигались оба красных огня под кузовом. Я моргнул ему фарами и начал обгон. Вадим сидел рядом, полуобернувшись ко мне, как обычно, забросив ногу на ногу, и что-то говорил: кажется, о том, что вчера я был прав, что амёба из него не получится, но тогда в любом случае он обречён на предательство, какую бы из женщин ни пришлось оставить. В начале обгона он вдруг замолк, всмотрелся в самосвал и через секунду тревожно предупредил: "Он поворачивает!"

Я видел это и сам. Водитель самосвала, вероятно, искал съезд налево, к речному берегу, а когда нашёл, то повернул и дал газ, не заметив сзади моих фар.

Секунда растянулась. Кузов грузовика медленно смещался влево, бензобак миновал, на моём пути торчало теперь высоченное заднее колесо. Надо было либо резко тормозить либо пытаться объехать его по бровке справа. Но мои руки, смертно вцепившиеся в баранку, добавили газ и крутнули её влево, вдогон уползающему колесу. Краем глаза я заметил, как Вадим начал поднимать руку, чтобы защитить голову. Следом был удар.

Грузовик чуть съехал с трассы и остановился. Мои руки сжимали рулевое колесо, вывернутое наизнанку. По лицу текло: лбом разбил зеркало заднего вида. Вадим не подавал признаков жизни. Его зажал сиденьем в перекосившейся кабине.

Он не успел поднять руку достаточно и ударился виском, заломив шею.

На похоронах я не был - пролежал в больнице шесть дней. Никто меня не навестил. На седьмой приехал отец. Сказал: "Жаль мне твоего друга, как родного. Он любил тебя, как брата". Помог восстановить автомобиль, от которого мало что осталось. И здоровье пошатнувшееся сыночку подправил. И на девятый день поминали Вадика, и на сороковой, и между...

Через два месяца, в последний погожий день сентября я снова сел за руль. Огляделся по-авиационному, "восьмёркой", проверил люфт руля и педали сцепления, тронул головку тормоза, погазовал, привыкая, и рванул с места.

Почему-то сразу вспомнился крохотный эпизод из недалёкого прошлого - из того последнего нашего с Вадимом дня. Когда сели утром в машину, я спросил: "Знаешь, где я был сегодня ночью?" Он спокойно ответил: "Нет". Я почувствовал, что он понимает, и выпалил, почти выкрикнул: "Я был У НЕЁ!" Он дважды смерил меня долгим, насмешливым взглядом и пожал плечами: "Ну и что? Поехали".

А вот последнее воспоминание - вчерашний визит к его вдове. Анюта знала, как я звоню, и приоткрыла дверь, не снимая цепочки. Посмотрела молча, потом спросила: "С кем теперь летать будешь?" Я сказал: "С тобой". Её плечи передёрнулись, как тогда у Шуры:

"Ну не-е-ет!" И захлопнула дверь.

И вот я снова лечу. Самостоятельно. Уже подлетаю. Впереди - небо, ниже - лес и поля, ближе - река, а внизу - бетонные плиты штабелями - там начали строить набережную. До штабелей - метров сто. Не долечу, наверно. Приземлюсь капотом в кучу гравия. Ничего, этого достаточно. Прямая аллея

Лагерного сада позволила разогнаться до ста пятнадцати километров в час.
Принимай, Господи, и постарайся на этот раз быть ко мне справедливым.

Владимир Шкаликов

КУПАНЬЕ БЫВШИХ МОРЯКОВ

Кончался июль.

За три месяца на западное побережье Крыма не упало ни капли дождя.

Жаворонки пели свои высотные песни только зорями, когда было чем дышать.

Колхозники уже принимали за отдаленную грозу взрывы морских учений и сверхзвуковые тренировки качинских курсантов.

Обгорелые курортники изнемогали в длинных очередях за "пепси-колой", фруктами и обратными билетами.

Друг-писатель, у которого я гостил в деревне Дивное, вез меня на Косу. Гораздо ближе было бы оставить "Москвича" у фруктового базарчика в Стерегущем и сквозь межведомственный пансионат сходить на тамошний, вполне приличный, пляж. Следовало только приехать пораньше, чтобы занять "бастион" поудобнее.

"Бастион" - это часть ракушечного берега у воды, охваченная самодельным валиком из водорослей. "Бастионами" тесно покрыт в несколько рядов весь берег перед пансионатом.

Но от ракушек колко городским ногам. А главное, пляж в Стерегущем - внутренний. Он расположен в бухте, которую образует семикилометровая Коса. А с самой Косы, с её внешнего берега, бывшему матросу приятно посмотреть в открытое море. И мы едем на Косу.

- Илюша, - говорю другу, - вот превратности жизни: когда смотрели с "Михайлы" в стереотрубу на здешних купальщиц, мы ведь и не подозревали, что к старости будем тут загорать.

"Михайла" - это было домашнее прозвище пушечного крейсера "Михаил Кутузов", уже давным-давно порезанного автогеном и отправленного в мартен.

- Привираешь для лирики, - возражает Илья. - На купальщиц мы глазели с ялтинского рейда. Здесь тогда пляжа не было.

- Да здесь и сейчас не пляж.

- Нет уж, - Илья останавливает машину, - раз надо платить, значит пляж. Не тот бич, который бывший моряк, а тот бич, который пляж.

Он идет к будке у шлагбаума. Отдает кассирше полтину за "Москвича" и по 15 копеек за каждого из нас. Мужик в кепке отрывает половинки талонов и за веревку поднимает полосатую трубу.

- Индустрия отдыха, - ворчу, - цивилизешен...

- Бён-ть, - добавляет Илья и смотрит на меня. Я улыбаюсь, потому что сразу вспоминаю нашего Ионыча.

Такая присказка была у лейтенанта Чавчарадзе. Большой спец по водолазному делу. На шее носил почетный приз - "Зуб акулы".

В Черном море акулы - не акулы, а одно название, мелочь. Зато крабы, особенно каменные, вполне достойны охоты. Мы ныряли за ними и в Северной бухте, где базировались, и у Фиолента, и на всех стоянках, если было время. Кто голыми руками добывал самого крупного краба, носил на шее подвижный зуб его правой клешни - "Зуб акулы". Самих же крабов мы варили в морской воде - они вкусные.

Чавчарадзе взял своего краба только в третьем походе. Это страшило, обросшее мохом и ракушками, охраняло бетонный якорь стояночной бочки у входа в Камышовую бухту. Оно защищалось отчаянно и надежно пряталось, когда противник был сильнее. Однако Ионыч понял его тактику и застал-таки врасплох. На глубине девятнадцати метров без аппарата это непросто.

- Интересно, как сейчас Ионыч? Наверно, уже кап-раз...

- Успел только до капитан-лейтенанта, - у Ильи гаснет голос.

- А что такое? Не попал в академию?

- Он попал на разминирование Суэцкого канала - ты тогда читал газеты? Ну вот, подорвался наш командир.

- Не повезло.

Илья кивает. Моряки и летчики суеверны.

Едем молча. Дорога брызжет щебёнкой в днище. Вот так: у нас свои машины, на Косе - пляж и новая дорога, а от нашего удалого лейтенанта чья-то чужая мина и мощей не оставила. Превратности жизни...

За километр до конца Косы у дороги - подобие кемпинга. Стоянка для машин с правом палаточного жилья. Только никакого сервиса кроме ежедневной автолавки: сливы, печенье, водка, два сорта вина и расчёски. Даже море "пепси-колы" сюда еще не дотекло.

На дороге последний знак - "тупик".

- Почти дикий пляж, - говорит Илья, - ни деревца. Бён-ть.

Тупик - в полукилометре мимо кемпинга. Отмечен несколькими загородками для переодевания и капитальным сооружением из ракушечника, с двумя входами. Гигиена обеспечивается также несколькими контейнерами для мусора: "Не сори на пляже". А экология - почти русским текстом на

белой стене, грубо черной краской между "М" и "Ж": "Внимание с 1 июня по 31 августа лов креветки запрещено".

Креветки знают, конечно, об этой привилегии: носятся стаями у самого берега, щекочут ноги купальщикам и прозрачными молниями выстреливают в сторону, не даваясь в руки.

Коса песчаная. Только в свежую погоду прибой выбрасывает узким поясом ракушки. Малыши с папами собирают мелкие гребешки и мидии для аквариумов. Радикулитчики и ревматики с визгом и стонами натирают больные места жгучими щупальцами узорчатых медуз и спрашивают друг друга, какая целебнее: голубая, розовая или коричневая. Натягивают на четырех палочках простыню для тени и закапывают в мокрый песок привезённые бутылки. Кто с автомобилем, слушают радио, выгружают из багажников ящиками продукты и жуют, жуют. Кто на автобусе, довольствуются ультрафиолетовым ветром.

Мы с Ильёй тоже радикулитчики. У него писательский, шейный, плюс гипертония. У меня шофёрский, поясничный, минус гипотония. Но мы лечимся только дикой грязью, которую набираем возле "лягушатника" в Портовом и употребляем по специальному эмпирическому рецепту. На Косе мы не лечимся, а плаваем для удовольствия.

Плывущий в море мужчина, особенно бывший аквалангист, не может чувствовать себя больным. Он растворяется в соленой воде и способен выполнить любой акробатический трюк без малейшей боли. Безусловно, человечество вышло из моря. И оно туда вернется. Оно уже возвращается. Нужно только надеть на всех ласты, маски и дыхательную аппаратуру.

Маску я уже надел. Этого пока хватит.

Вчера какой-то встречный с безумными глазами бежал по кромке прибоя и грубым, мужественным голосом спрашивал у встречных, где тут море выбрасывает рапаны. Мы ответили, что не знаем, а сами подумали, что на песчаном дне и в самом деле могут жить рапаны. Поэтому сегодня и взяли с собой маску.

Маска у Ильи плохая: слишком большое стекло оправлено в слишком мягкую от старости резину. От резких движений под нее сразу набирается вода.

Я плыву медленным кролем навстречу пологой зыби и поглядываю на морщинистое песчаное дно. Хорошо бы привезти в Новосибирск черноморскую рапану. Выварить моллюска, почистить ее сверху - выйдет отличная пепельница с розовым нутром. А если брошу курить, то еще лучше - украшение.

В морщинах песка белеют те же мелкие ракушки, что и на берегу. Пока не кончился штиль, их видно хорошо метров с пяти. Я лечу над мертвым донным миром. Никакого движения, если не считать рачков-отшельников, буксирующих свои жилища.

Лет двадцать назад у берега кишели коньки, петушки, бычки, важничали морские черти, даже на зубьях остроги уверенные, что их все боятся. Мелькала даже кефаль, непередаваемо прекрасная, неостановимая, абсолютно чувствующая дистанцию подводного ружья...

Хорошо, что пляж почти дикий: ни спасательной станции, ни буйков. Плыви, голубь, в открытое море, пока не застукают с катера погранцы.

В ста метрах от берега дна уже не видно. Если рапаны есть, то здесь-то мы встретимся. Выливаю воду из маски, вентилирую легкие и осторожно ныряю. Бледные краски сгущаются, глубина охватывает меня со всех сторон, обжимает... Но ничего страшного, только легонько ломит в ушах.

Впереди на дне какой-то черный диск. Жаль, нет ласт, кислород кончается слишком быстро. Но в организме порядок, и я всё же гребу вперед. У чёрного диска оказывается крысиный хвост и приличная скорость. Эта скотина именуется скатом и носит на хвосте ядовитый шип. Жаль, нет остроги...

Наверх! Дышу от души. Всё же теряется с годами форма, слипаются альвеолы. А было - спирометр из себя выпрыгивал, через край текло... Но - организм работает, спасибо.

На дне было тихо, только позванивали ракушки. Родная стихия стегает меня громовым треском. Задираю маску к небу. Не очень высоко скользит стрела с косыми воздухозаборниками по бокам, с красными звёздами на хвосте и крыльях. Грозен этот гром. В годы нашей службы он был каким-то более легким и домашним, ближе к примусу. И крылья были попроще.

Я тяжело дышу после глубокого и долгого погружения. Мне стыдно. Я стар и слаб. Для меня уже и дюжина метров - серьёзно. В небе и на настоящей глубине теперь работают другие. Их пора. Я отстал от здоровьем, и знаниями. Это естественно, я ведь давно не военный. Но стыд - как любовь, его не подавишь. Отставать всегда обидно и стыдно. А кому не стыдно, тот, значит, бросил жить.

Гром ударил и укатился, всё мгновенно. Я опять у своих забот.

Моя пепельница где-то на дне, дело за малым...

Кажется, уже с полчаса я парю в прозрачной воде, уклоняясь от целебных медуз. Целые крапивные студни для радикулитчиков - розовые, коричневые и голубые - степенно дефилируют параллельно берегу, подгребая краями куполов, приветствуют друг друга легким знаком ядовитого щупальца.

Все кругом вооружены: кто шипом, кто стрекательными клетками, кто скоростью... Самолёт - пушками и ракетами. Даже я, голый, имею маску и достаточно силы, чтобы справиться с совершенно

беззащитной красивой рапаной.

Найти бы её только.

Нет, не найду. Я это чувствовал с самого начала. Если бы рапаны жили здесь, я видел бы хоть какие-то их признаки на берегу среди ракушек. Отвык. Вопрос вчерашнего безумца принял за информацию, а человек просто где-то слышал, будто в Черном море всё ещё водятся рапаны, вот и решил, что они повсюду...

К берегу плыву не спеша, брассом. Наслаждаюсь невесомостью и отсутствием радикулита. Кажется, немного онемели пальцы на ногах, но это - кажется.

Согбенная громоздкая фигура Ильи на берегу выражает озабоченность. Напрасно, старик, всё на "ять".

На полдороге, когда уже смутно вижу дно, ныряю еще раз, для удовольствия. Погружаюсь решительнее, чем раньше. Всё в порядке, только резче звон в ушах, но это - обычное дело.

Немного проплываю у самого дна и - натываюсь на небольшого песчаного крабика, с ладонь, не больше.

У каменного краба панцирь мощный, шиповатый, почти черный. А у этих - серый, гладкий, почти прозрачный. Силы тоже поменьше.

Но малец попался очень проворный. Если бы притаился в песке, я бы, может, и не заметил. А он, глупышка, издали встал в боевую позицию: задрал раскрытые клешни и завертелся, наблюдая за огромным противником.

Большого, серьезного краба, который может тяпнуть до крови, обычно за бока не возьмешь - мешают мощные суставы ходуль. Такого надо обмануть: отвлечь правой и брать сзади левой, чтобы ладонь накрыла ему глаза и, находясь между клешнями, была бы для них неуязвима. Можно проверить старые навыки и на этом молокососе, но уже хочется подышать, уже горло само делает глотательные движения, и я просто сгреб его как придется, предоставив щипать мозоли сколько угодно его душе, все равно только щекотно.

Больше не нырял, а быстренько доплыл на боку до Ильи - показать единственного представителя серьезной фауны.

Мы легли ногами в воду и положили крабика на мокрый песок. Он мигом повернулся правым боком к морю и отправился домой.

- Погоди, - прогудел Илья, - мы же ещё путем не поздоровкались... Много ты нырял, - это уже ко мне. - Я забеспокоился. Как пальчики?

- Есть маленько на ногах, - признался я. - И в руки сейчас вроде начинает вступать.

- Вот видишь. Не надо было. Может, по машинам?

- Э, когда-то я ещё в настоящее море попаду. Полежим.

- Ну, смотри. Как чувствуешь, до головы не дойдет?

- Нет, конечно. Рассосётся. Последний раз на Обском море прихватило, шесть лет назад, я тебе писал. Я тогда время крепко просрочил, но зато очень основательно прокатали в барокамере. И сам я с тех пор глубиной не баловался.

- И не балуйся, - сказал Илья настойчиво. - Я так совсем не ныряю. Сделать надо много, так что не до баловства. Долгов полно.

- Кому должен?

- Многим. И тем ребятам, и нашему Ионычу. Да и тебе, бён-ть...

Мы помолчали. Илья повернул крабика левым боком к воде. Тот без ошибки двинулся влево.

- Знает, куда бежать, - грубый голос над нами.

Вчерашний безумец глядел на крабика с жадностью нумизмата.

- Сварить, засушить и - на стену, - сказал он. Мы промолчали. Если уж на стену, так надо еще на муравейник... Илья прикрыл крабика ладонью.

- Можно посмотреть? - Нумизмат присел. Илья молча убрал ладонь. Грубый поднял крабика за бока, сунул в клешню толстый палец. Никакой реакции.

- Дохляк, - его пузо, лежащее на коленях, колыхнул смешок. Мы молчали. Я рыл в песке ямку. Туда набиралась вода.

- Может, подарите?

- Нет! - рявкнул Илья. - Самим надо!

- На стену, - добавил я и протянул руку.

- А рапан, что, нету? - нумизмат нехотя вернул добычу.

- В море ушли, - соврал я. - Шторм будет.

- Гм? - промычал нумизмат и удалился.

Крабик лежал на песке, уже не пытаюсь удрать.

- Что, плохеет? - Илья заметил, что я разминаю пальцы, сгребая песок.

- Нет, не беспокойся. Это я просто, чтобы скорее прошло.

- А ноги?

Пальцев на ногах я пока не чувствовал, но улыбнулся и качнул головой.

- Да-а-а, - прогудел Илья, - дорого нам достались те ребята.

- Им-то было еще дороже. Удушье - раз, кессонка - два...

- Само собой...

Мы молчали несколько минут. Крабик лежал смирно, будто ему тоже было что вспомнить, я даже забеспокоился, хотя и знал, что это существо дышит двояко. Нам бы так.

Во время службы мы не любили крабов. Чавчарадзе говорил с обидой:

- Когда мы помрём, они, паразиты, нас по кусочкам растащат!

Как видно, он знал, что умрёт в море. У специалистов это бывает. Потому они и суеверны.

Прошлѣпали по воде и перепрыгнули через нас чьи-то ноги. Донесся голос:

- Надвигается шторм. Все рапаны ушли в море.

Мы переглянулись. Илья хмыкнул в бороду.

- Дяденьки, подарите крабика.

Две купальщицы в красном. Уже коричневые. Русалки. Наяды. Таких мы рассматривали в стереотрубу на траверзе ялтинского пляжа.

- А зачем он вам?

- Высушим - и на полочку, под стекло. На память о Крыме.

- Нет, не подарим, - я разозлился, будто не сам ел крабов, варёных в морской воде, будто не носил на самодельной цепочке "Зуб акулы".

- Что, самим нужен? А вы себе еще поймаете.

До чего же прилипчивы! Я сел, одолевая боль в спине.

- Самим не нужен.

- Куда ж вы его денете?

- К маме отпустим, - я поднял притихшего крабика и встал, роя песок пальцами ног. Снизу тревожно глядел Илья: то на мое лицо, то на ноги. Возможно я был бледен.

- Какие злые дяденьки!

Ушли, красивые, на длинных ногах, с распущенными волосами.

- Медузы водопроводные...

- Далеко не заходи, - попросил вслед Илья. Я кивнул и вошел в море. В сторонке наяды о чем-то подговаривали парня с маской на лбу. Поглядывали на меня.

Вода коснулась груди, и мое белое тело, чуть подогретое солнцем, зазнобило. Я надвинул маску и поплыл, не оглядываясь на Илью, держа крабика под водой, чтобы с берега не видели, когда отпущу.

Он развесил клешни и ходули, не подавая признаков жизни. Да, паря, люди быстро научат притворяться.

Я отплыл метров на тридцать, пока ещё хорошо виднелись ракушки на дне, и отпустил пленника. Он планировал боком, как опытный парашютист, грамотно расставив членистые конечности. Совсем похож на паука. Если утону, он оторвет от меня свой кусочек.

Я нырнул следом и поймал его на ладонь. Он не стал защищаться, а юрко сложил клешни, как боксер, уходящий в глухую защиту. Я наклонил ладонь, и он опять стал планировать боком, весь растопырясь. А я вынырнул, чтобы подышать.

Новый реактивный гром, как хлыстом, ударил сверху. Какое забавное совпадение! Я уже не вздрогнул. Привык.

Проводил глазами рычащее чудо, отдышался и нырнул. Полузарывшись в песок и выставив глазки-перископы, крабик следил за мной издали. Навстречу протянутой руке не поднялись грозно раскрытые клешни: опыт повелел уйти в глухую защиту. Я потрогал онемевшими пальцами неподвижный панцирь. Он вжался в песок и, кажется, даже сжался под панцирем.

Вода у дна качалась. Песчинки двигались в ней, как живые. А крабик лежал, как мертвый.

Я вынырнул лицом к берегу. Огромная бородатая фигура Ильи решительно раздвигала волны, чтобы силой пресечь моё безрассудное ныряние. Новый гром с ясного неба приглушал его отчаянный бас:

- Вылезай, кому я говорю! Бён-ть!..

Потом я ещё плыл к берегу, видел протянутые руки Ильи и слышал, как скрежетали в небе чайки, бессмертные матросские души.

Владимир Шкаликов

КУПАНЬЕ БЫВШИХ МОРЯКОВ

Кончался июль.

За три месяца на западное побережье Крыма не упало ни капли дождя.

Жаворонки пели свои высотные песни только зорями, когда было чем дышать.

Колхозники уже принимали за отдаленную грозу взрывы морских учений и сверхзвуковые тренировки качинских курсантов.

Обгорелые курортники изнемогали в длинных очередях за "пепси-колой", фруктами и обратными билетами.

Друг-писатель, у которого я гостил в деревне Дивное, вез меня на Косу. Гораздо ближе было бы оставить "Москвича" у фруктового базарчика в Стерегущем и сквозь межведомственный пансионат сходить на тамошний, вполне приличный, пляж. Следовало только приехать пораньше, чтобы занять "бастион" поудобнее.

"Бастион" - это часть ракушечного берега у воды, охваченная самодельным валиком из водорослей. "Бастионами" тесно покрыт в несколько рядов весь берег перед пансионатом.

Но от ракушек колко городским ногам. А главное, пляж в Стерегущем - внутренний. Он расположен в бухте, которую образует семикилометровая Коса. А с самой Косы, с её внешнего берега, бывшему матросу приятно посмотреть в открытое море. И мы едем на Косу.

- Илюша, - говорю другу, - вот превратности жизни: когда смотрели с "Михайлы" в стереотрубу на здешних купальщиц, мы ведь и не подозревали, что к старости будем тут загорать.

"Михайла" - это было домашнее прозвище пушечного крейсера "Михаил Кутузов", уже давным-давно порезанного автогеном и отправленного в мартен.

- Привираешь для лирики, - возражает Илья. - На купальщиц мы глазели с ялтинского рейда. Здесь тогда пляжа не было.

- Да здесь и сейчас не пляж.

- Нет уж, - Илья останавливает машину, - раз надо платить, значит пляж. Не тот бич, который бывший моряк, а тот бич, который пляж.

Он идет к будке у шлагбаума. Отдает кассирше полтину за "Москвича" и по 15 копеек за каждого из нас. Мужик в кепке отрывает половинки талонов и за веревку поднимает полосатую трубу.

- Индустрия отдыха, - ворчу, - цивилизешен...

- Бён-ть, - добавляет Илья и смотрит на меня. Я улыбаюсь, потому что сразу вспоминаю нашего Ионыча.

Такая присказка была у лейтенанта Чавчарадзе. Большой спец по водолазному делу. На шее носил почетный приз - "Зуб акулы".

В Черном море акулы - не акулы, а одно название, мелочь. Зато крабы, особенно каменные, вполне достойны охоты. Мы ныряли за ними и в Северной бухте, где базировались, и у Фиолента, и на всех стоянках, если было время. Кто голыми руками добывал самого крупного краба, носил на шее подвижный зуб его правой клешни - "Зуб акулы". Самих же крабов мы варили в морской воде - они вкусные.

Чавчарадзе взял своего краба только в третьем походе. Это страшило, обросшее мохом и ракушками, охраняло бетонный якорь стояночной бочки у входа в Камышовую бухту. Оно защищалось отчаянно и надежно пряталось, когда противник был сильнее. Однако Ионыч понял его тактику и застал-таки врасплох. На глубине девятнадцати метров без аппарата это непросто.

- Интересно, как сейчас Ионыч? Наверно, уже кап-раз...

- Успел только до капитан-лейтенанта, - у Ильи гаснет голос.

- А что такое? Не попал в академию?

- Он попал на разминирование Суэцкого канала - ты тогда читал газеты? Ну вот, подорвался наш командир.

- Не повезло.

Илья кивает. Моряки и летчики суеверны.

Едем молча. Дорога брызжет щебёнкой в днище. Вот так: у нас свои машины, на Косе - пляж и новая дорога, а от нашего удалого лейтенанта чья-то чужая мина и мощей не оставила. Превратности жизни...

За километр до конца Косы у дороги - подобие кемпинга. Стоянка для машин с правом палаточного жилья. Только никакого сервиса кроме ежедневной автолавки: сливы, печенье, водка, два сорта вина и расчёски. Даже море "пепси-колы" сюда еще не дотекло.

На дороге последний знак - "тупик".

- Почти дикий пляж, - говорит Илья, - ни деревца. Бён-ть.

Тупик - в полукилометре мимо кемпинга. Отмечен несколькими загородками для переодевания и капитальным сооружением из ракушечника, с двумя входами. Гигиена обеспечивается также несколькими контейнерами для мусора: "Не сори на пляже". А экология - почти русским текстом на

белой стене, грубо черной краской между "М" и "Ж": "Внимание с 1 июня по 31 августа лов креветки запрещено".

Креветки знают, конечно, об этой привилегии: носятся стаями у самого берега, щекочут ноги купальщикам и прозрачными молниями выстреливают в сторону, не даваясь в руки.

Коса песчаная. Только в свежую погоду прибой выбрасывает узким поясом ракушки. Малыши с папами собирают мелкие гребешки и мидии для аквариумов. Радикулитчики и ревматики с визгом и стонами натирают больные места жгучими щупальцами узорчатых медуз и спрашивают друг друга, какая целебнее: голубая, розовая или коричневая. Натягивают на четырех палочках простыню для тени и закапывают в мокрый песок привезённые бутылки. Кто с автомобилем, слушают радио, выгружают из багажников ящиками продукты и жуют, жуют. Кто на автобусе, довольствуются ультрафиолетовым ветром.

Мы с Ильёй тоже радикулитчики. У него писательский, шейный, плюс гипертония. У меня шофёрский, поясничный, минус гипотония. Но мы лечимся только дикой грязью, которую набираем возле "лягушатника" в Портовом и употребляем по специальному эмпирическому рецепту. На Косе мы не лечимся, а плаваем для удовольствия.

Плывущий в море мужчина, особенно бывший аквалангист, не может чувствовать себя больным. Он растворяется в соленой воде и способен выполнить любой акробатический трюк без малейшей боли. Безусловно, человечество вышло из моря. И оно туда вернется. Оно уже возвращается. Нужно только надеть на всех ласты, маски и дыхательную аппаратуру.

Маску я уже надел. Этого пока хватит.

Вчера какой-то встречный с безумными глазами бежал по кромке прибоя и грубым, мужественным голосом спрашивал у встречных, где тут море выбрасывает рапаны. Мы ответили, что не знаем, а сами подумали, что на песчаном дне и в самом деле могут жить рапаны. Поэтому сегодня и взяли с собой маску.

Маска у Ильи плохая: слишком большое стекло оправлено в слишком мягкую от старости резину. От резких движений под нее сразу набирается вода.

Я плыву медленным кролем навстречу пологой зыби и поглядываю на морщинистое песчаное дно. Хорошо бы привезти в Новосибирск черноморскую рапану. Выварить моллюска, почистить ее сверху - выйдет отличная пепельница с розовым нутром. А если брошу курить, то еще лучше - украшение.

В морщинах песка белеют те же мелкие ракушки, что и на берегу. Пока не кончился штиль, их видно хорошо метров с пяти. Я лечу над мертвым донным миром. Никакого движения, если не считать рачков-отшельников, буксирующих свои жилища.

Лет двадцать назад у берега кишели коньки, петушки, бычки, важничали морские черти, даже на зубьях остроги уверенные, что их все боятся. Мелькала даже кефаль, непередаваемо прекрасная, неостановимая, абсолютно чувствующая дистанцию подводного ружья...

Хорошо, что пляж почти дикий: ни спасательной станции, ни буйков. Плыви, голубь, в открытое море, пока не застукают с катера погранцы.

В ста метрах от берега дна уже не видно. Если рапаны есть, то здесь-то мы встретимся. Выливаю воду из маски, вентилирую легкие и осторожно ныряю. Бледные краски сгущаются, глубина охватывает меня со всех сторон, обжимает... Но ничего страшного, только легонько ломит в ушах.

Впереди на дне какой-то черный диск. Жаль, нет ласт, кислород кончается слишком быстро. Но в организме порядок, и я всё же гребу вперед. У чёрного диска оказывается крысиный хвост и приличная скорость. Эта скотина именуется скатом и носит на хвосте ядовитый шип. Жаль, нет остроги...

Наверх! Дышу от души. Всё же теряется с годами форма, слипаются альвеолы. А было - спирометр из себя выпрыгивал, через край текло... Но - организм работает, спасибо.

На дне было тихо, только позванивали ракушки. Родная стихия стегает меня громовым треском. Задираю маску к небу. Не очень высоко скользит стрела с косыми воздухозаборниками по бокам, с красными звёздами на хвосте и крыльях. Грозен этот гром. В годы нашей службы он был каким-то более легким и домашним, ближе к примусу. И крылья были попроще.

Я тяжело дышу после глубокого и долгого погружения. Мне стыдно. Я стар и слаб. Для меня уже и дюжина метров - серьёзно. В небе и на настоящей глубине теперь работают другие. Их пора. Я отстал от здоровьем, и знаниями. Это естественно, я ведь давно не военный. Но стыд - как любовь, его не подавишь. Отставать всегда обидно и стыдно. А кому не стыдно, тот, значит, бросил жить.

Гром ударил и укатился, всё мгновенно. Я опять у своих забот.

Моя пепельница где-то на дне, дело за малым...

Кажется, уже с полчаса я парю в прозрачной воде, уклоняясь от целебных медуз. Целые крапивные студни для радикулитчиков - розовые, коричневые и голубые - степенно дефилируют параллельно берегу, подгребая краями куполов, приветствуют друг друга легким знаком ядовитого щупальца.

Все кругом вооружены: кто шипом, кто стрекательными клетками, кто скоростью... Самолёт - пушками и ракетами. Даже я, голый, имею маску и достаточно силы, чтобы справиться с совершенно

беззащитной красивой рапаной.

Найти бы её только.

Нет, не найду. Я это чувствовал с самого начала. Если бы рапаны жили здесь, я видел бы хоть какие-то их признаки на берегу среди ракушек. Отвык. Вопрос вчерашнего безумца принял за информацию, а человек просто где-то слышал, будто в Черном море всё ещё водятся рапаны, вот и решил, что они повсюду...

К берегу плыву не спеша, брассом. Наслаждаюсь невесомостью и отсутствием радикулита. Кажется, немного онемели пальцы на ногах, но это - кажется.

Согбенная громоздкая фигура Ильи на берегу выражает озабоченность. Напрасно, старик, всё на "ять".

На полдороге, когда уже смутно вижу дно, ныряю еще раз, для удовольствия. Погружаюсь решительнее, чем раньше. Всё в порядке, только резче звон в ушах, но это - обычное дело.

Немного проплываю у самого дна и - натываюсь на небольшого песчаного крабика, с ладонь, не больше.

У каменного краба панцирь мощный, шиповатый, почти черный. А у этих - серый, гладкий, почти прозрачный. Силы тоже поменьше.

Но малец попался очень проворный. Если бы притаился в песке, я бы, может, и не заметил. А он, глупышка, издали встал в боевую позицию: задрал раскрытые клешни и завертелся, наблюдая за огромным противником.

Большого, серьезного краба, который может тяпнуть до крови, обычно за бока не возьмешь - мешают мощные суставы ходуль. Такого надо обмануть: отвлечь правой и брать сзади левой, чтобы ладонь накрыла ему глаза и, находясь между клешнями, была бы для них неуязвима. Можно проверить старые навыки и на этом молокососе, но уже хочется подышать, уже горло само делает глотательные движения, и я просто сгреб его как придется, предоставив щипать мозоли сколько угодно его душе, все равно только щекотно.

Больше не нырял, а быстренько доплыл на боку до Ильи - показать единственного представителя серьезной фауны.

Мы легли ногами в воду и положили крабика на мокрый песок. Он мигом повернулся правым боком к морю и отправился домой.

- Погоди, - прогудел Илья, - мы же ещё путем не поздоровкались... Много ты нырял, - это уже ко мне. - Я забеспокоился. Как пальчики?

- Есть маленько на ногах, - признался я. - И в руки сейчас вроде начинает вступать.

- Вот видишь. Не надо было. Может, по машинам?

- Э, когда-то я ещё в настоящее море попаду. Полежим.

- Ну, смотри. Как чувствуешь, до головы не дойдет?

- Нет, конечно. Рассосётся. Последний раз на Обском море прихватило, шесть лет назад, я тебе писал. Я тогда время крепко просрочил, но зато очень основательно прокатали в барокамере. И сам я с тех пор глубиной не баловался.

- И не балуйся, - сказал Илья настойчиво. - Я так совсем не ныряю. Сделать надо много, так что не до баловства. Долгов полно.

- Кому должен?

- Многим. И тем ребятам, и нашему Ионычу. Да и тебе, бён-ть...

Мы помолчали. Илья повернул крабика левым боком к воде. Тот без ошибки двинулся влево.

- Знает, куда бежать, - грубый голос над нами.

Вчерашний безумец глядел на крабика с жадностью нумизмата.

- Сварить, засушить и - на стену, - сказал он. Мы промолчали. Если уж на стену, так надо еще на муравейник... Илья прикрыл крабика ладонью.

- Можно посмотреть? - Нумизмат присел. Илья молча убрал ладонь. Грубый поднял крабика за бока, сунул в клешню толстый палец. Никакой реакции.

- Дохляк, - его пузо, лежащее на коленях, колыхнул смешок. Мы молчали. Я рыл в песке ямку. Туда набиралась вода.

- Может, подарите?

- Нет! - рявкнул Илья. - Самим надо!

- На стену, - добавил я и протянул руку.

- А рапан, что, нету? - нумизмат нехотя вернул добычу.

- В море ушли, - соврал я. - Шторм будет.

- Гм? - промычал нумизмат и удалился.

Крабик лежал на песке, уже не пытаюсь удрать.

- Что, плохеет? - Илья заметил, что я разминаю пальцы, сгребая песок.

- Нет, не беспокойся. Это я просто, чтобы скорее прошло.

- А ноги?

Пальцев на ногах я пока не чувствовал, но улыбнулся и качнул головой.

- Да-а-а, - прогудел Илья, - дорого нам достались те ребята.

- Им-то было еще дороже. Удушье - раз, кессонка - два...

- Само собой...

Мы молчали несколько минут. Крабик лежал смирно, будто ему тоже было что вспомнить, я даже забеспокоился, хотя и знал, что это существо дышит двояко. Нам бы так.

Во время службы мы не любили крабов. Чавчарадзе говорил с обидой:

- Когда мы помрём, они, паразиты, нас по кусочкам растащат!

Как видно, он знал, что умрёт в море. У специалистов это бывает. Потому они и суеверны.

Прошлѣпали по воде и перепрыгнули через нас чьи-то ноги. Донесся голос:

- Надвигается шторм. Все рапаны ушли в море.

Мы переглянулись. Илья хмыкнул в бороду.

- Дяденьки, подарите крабика.

Две купальщицы в красном. Уже коричневые. Русалки. Наяды. Таких мы рассматривали в стереотрубу на траверзе ялтинского пляжа.

- А зачем он вам?

- Высушим - и на полочку, под стекло. На память о Крыме.

- Нет, не подарим, - я разозлился, будто не сам ел крабов, варёных в морской воде, будто не носил на самодельной цепочке "Зуб акулы".

- Что, самим нужен? А вы себе еще поймаете.

До чего же прилипчивы! Я сел, одолевая боль в спине.

- Самим не нужен.

- Куда ж вы его денете?

- К маме отпустим, - я поднял притихшего крабика и встал, роя песок пальцами ног. Снизу тревожно глядел Илья: то на мое лицо, то на ноги. Возможно я был бледен.

- Какие злые дяденьки!

Ушли, красивые, на длинных ногах, с распущенными волосами.

- Медузы водопроводные...

- Далеко не заходи, - попросил вслед Илья. Я кивнул и вошел в море. В сторонке наяды о чем-то подговаривали парня с маской на лбу. Поглядывали на меня.

Вода коснулась груди, и мое белое тело, чуть подогретое солнцем, зазнобило. Я надвинул маску и поплыл, не оглядываясь на Илью, держа крабика под водой, чтобы с берега не видели, когда отпущу.

Он развесил клешни и ходули, не подавая признаков жизни. Да, паря, люди быстро научат притворяться.

Я отплыл метров на тридцать, пока ещё хорошо виднелись ракушки на дне, и отпустил пленника. Он планировал боком, как опытный парашютист, грамотно расставив членистые конечности. Совсем похож на паука. Если утону, он оторвет от меня свой кусочек.

Я нырнул следом и поймал его на ладонь. Он не стал защищаться, а юрко сложил клешни, как боксер, уходящий в глухую защиту. Я наклонил ладонь, и он опять стал планировать боком, весь растопырясь. А я вынырнул, чтобы подышать.

Новый реактивный гром, как хлыстом, ударил сверху. Какое забавное совпадение! Я уже не вздрогнул. Привык.

Проводил глазами рычащее чудо, отдышался и нырнул. Полузарывшись в песок и выставив глазки-перископы, крабик следил за мной издали. Навстречу протянутой руке не поднялись грозно раскрытые клешни: опыт повелел уйти в глухую защиту. Я потрогал онемевшими пальцами неподвижный панцирь. Он вжался в песок и, кажется, даже сжался под панцирем.

Вода у дна качалась. Песчинки двигались в ней, как живые. А крабик лежал, как мертвый.

Я вынырнул лицом к берегу. Огромная бородатая фигура Ильи решительно раздвигала волны, чтобы силой пресечь моё безрассудное ныряние. Новый гром с ясного неба приглушал его отчаянный бас:

- Вылезай, кому я говорю! Бён-ть!..

Потом я ещё плыл к берегу, видел протянутые руки Ильи и слышал, как скрежетали в небе чайки, бессмертные матросские души.

Владимир Шкаликов

ЛУНА ВВЕРХ НОГАМИ

Второй пилот был на Севере новичком, в Нефтеград летел первый раз, поэтому командир нашёл полезном показать ему новую нефтяную столицу. Диск винта накренился, и вертолёт пошёл по дуге, огибая будущий город.

Протока Оби широкой белой просекой разрезала пегий от снега кедровый лес, и сразу от её крутого берега начинались кварталы вагончиков и балков. Дальше стояли двухэтажные общежития из бруса, ещё дальше - фундаменты капитального каменного строительства. Нефтеград пока ничего не производил. Он строил сам себя и бурил первые промысловые скважины.

- Два года назад было три тысячи жителей, - сказал командир. - Теперь уже восемь. Плюс мы с тобой.

Осторожно держа на тонком тросу охапку обсадочных труб, вертолёт завис над площадкой базы НГДУ - нефтегазодобывающего управления.

- Отцепляй, - сказал командир, и они щёлкнули кнопками ларингофонов: при открытой двери просто так уже не поговоришь.

Второй пилот надел наушники, пристегнулся карабином к страховочному ремню и наполовину отодвинул дверь. За бортом бушевала поднятая винтами пурга, кристаллы сухого снега покалывали глаза, но он по плечи высунулся наружу, чтобы видеть, как идёт отцепка груза, и руководить действиями командира, которому из кабины почти ничего не видно. Командир тем временем трудился в поте лица, потому что работа с подвеской у земли напоминает плавание на плоту через пороги: груз на тросу болтается в турбулентности, и удержать равновесие непросто.

Наконец длинная минута отцепки кончилась, и, оставив облепленных снегом людей с их трубами, закопчённый вертолёт поднялся повыше. Второй пилот полез по ящикам, чтобы затащить внутрь трос. На обратном пути он задержался и потянул носом: перебивая запахи керосина, машинного масла и сосновых досок, из-под яркой этикетки тянулся вкусный апельсиновый аромат. Пилоту вспомнилось детство.

- Теперь к геофизикам, потом сразу назад, - сказал командир. - Успеем ещё рейс и заночуем в Нефтеграде. Тут есть кафе "Сказка", оно вечером работает как ресторан. Лосятина, медвежатина... Годится?

- Годится.

Второй пилот ответил машинально. Он всё ещё был в детстве, в мандариновых садах Кутаиси, где ужаснётся каждый, кому рассказать, что ради нескольких ящиков с апельсинами люди гоняют вертолёт за пятьсот километров.

На другом конце города они выгрузили апельсины и приборы и взяли курс на свою базу.

- Сколько за бортом?

- Сорок один. Спешить надо.

Ещё градусом ниже - и погода для них станет нелётной.

На небе стояли три солнца. Они блестели одинаково. Но те, которые по краям, были немножко поменьше. На полсантиметра. И хотя в школе уже началась вторая смена, солнца поднялись над лесом всего на один метр. Ну, на полтора.

Зимой небо золотистое, даже красивое, но неживое, не то что летом. Не будь на свете авиации, совсем было бы скучно на него смотреть. Но здесь, в Нефтеграде, небо никогда пустым не бывает, и Наталья Сергеевна любит в свободную минуту его обозреть.

Вот и сейчас, направляясь домой после уроков, она обозрела небо, и взор её обнаружил вертолёт. Это МИ-8, турбореактивный, работает на керосине, поэтому выгоден для Севера - так говорит папа. Зато вечно в копоти и поэтому проигрывает перед серебристо-красным МИ-1 - так считает Наталья Сергеевна. Себе можно признаться: Ми-1 ещё тем ей симпатичен, что на нём летает бесподобно красивый лётчик. Честное слово, смешно, когда взрослые не верят, что в третьем классе девочка ещё не может отличить красивого мужчину от некрасивого. И, честное слово, бесподобно хорошо, когда твои родители не похожи на таких взрослых. "Скорей бы Терехов вернулся из командировки: мама тоже без него скучает. А маму надо не прозевать: сейчас она пойдёт на базу".

Вертолёт быстро удалялся, пачкая небо керосиновой копотью, и Наталья Сергеевна точно знала, что он выгрузил на базе апельсины, но их наверняка мало, только для детских садиков, для нефтеградской клопышни.

Старший инженер НГДУ Светлана Терехова любила ходить на базу после обеда. Всегда можно подъехать на машине, но она ходила, потому что путь лежал мимо дома, а Наталья Сергеевна училась в первую смену и всегда её встречала.

Как большинство родителей, - Терехова считала своего ребёнка одарённым. Конечно, и основания для этого имелись, но, в отличие от большинства родителей, ни с кем своими выводами о

Наткиных способностях Терехова не делилась. Это ведь неправдоподобно, что Натка может знать заранее о её выходе из конторы и, тем более, куда она идёт. Окна их квартиры выходят во двор. Звонить дочери о таком событии по телефону хватило бы фантазии только у Серёги Терехова, но отца они месяцами ждут из экспедиций и командировок, поэтому он в мистификации не участник. Конечно, дочь может по методу своего любимого Холмса связывать, скажем, прибытие вертолёт с походом матери на базу, но и тогда - как она угадывает, чем именно загружен вертолёт? Речь не идёт уже о таких пустяках, как приготовление уроков. Тут Натка точно знает, когда её вызовут к доске и на какой вопрос придётся отвечать. Поэтому она и учится на одни пятёрки... Что-то подобное Терехова-старшая помнит и за собой. Она даже уверена, что с такими "электронно-вычислительными" способностями рождается каждый нормальный человек, только грузное, неповоротливое, забуксавшее в привычках и традициях общественное мышление объективно не в силах помочь новому гению развиваться. Оно помимо своей воли наваливается на него, подминает, надевает шоры, виснет на ногах, ломает ему крылья, само от этого страдает, но заставляет его тащиться с той скоростью, на которую способно само: раз колонне трудно поспевать за бегущим, пускай бегущий переобувается и топают в колонне. А так называемые гении - это нормальные дети, на которых случайно не навалились... Пытаясь упростить это открытие до афоризма, Терехова не заметила, как дошла до своего дома. Из-за сугроба с тоненьким рычанием выскочил гениальный ребёнок и повис у неё на шее.

- Не ешь меня, я тебе пригожусь, - с этими словами мать стряхнула Натку в сугроб.
- Не буду тебя есть, если принесёшь апельсин. Хоть один, - ответили из сугроба.
- А много привезли? - серьёзно спросила Терехова-старшая, отряхивая от снега Наткину шапку из настоящей рыси, которая хотела съесть их отца на буровой. Натка ответила, что привезли всего ящиков шесть, потому что там теодолиты и ещё какие-то незнакомые ей приборы.
- Мам, теодолит увеличивает?
- Немного.
- Принеси домой, на луну поглядеть.

Вертолет быстро растворялся в латунном небе. Скоро от него остался только лохматый след копоти. Верховой ветер смазал копоть, и о вертолёте забыли, чтобы пилотам легче работалось.

..Когда Светлана дошла до базы, жилистые геофизики уже таскали свои тяжёлые приборы в красный грузовик с двойными стёклами на окнах. На каждом ящике рядом с надписью "КРАЙНИЙ СЕВЕР" были изображены рюмка, зонтик и стрела, но специалисты-геофизики игнорировали эту перестраховку и безразличной рукой ставили ящики так, как было удобнее им: из рюмки выливалось, в зонтик наливалось, а стрелка указывала в центр земли. Но приборы ничего этого не чувствовали, потому что трафарет "КРАЙНИЙ СЕВЕР" впечатляет заводских упаковщиков ещё сильнее, чем даже "знак качества".

Заведующая базой Зина Ивановна Кравченко сидела на штабеле из шести ящиков с яркими этикетками. Каждая этикетка изображала горный пейзаж, над которым летела длинная чёрная птица - помесь цапли, аиста и журавля, а передний план занимал большой оранжевый апельсин, перечёркнутый иностранной надписью "MAROC".

Лицо оседлавшей ящики не знало загара уже лет пять и в данной момент выражало крайнюю неудовлетворённость. Когда Терехова приблизилась настолько, чтобы разбирать слова, она услышала :

- ...нефть вашу чёртову! А что мы с неё имеем, кроме горючего и свечей?
- Синтетику, - невозмутимо отвечали разведчики недр.
- Да пропади она пропадом, ваша синтетика! У меня от неё сердце болит, она меня током бьёт! Зато сколько леса вдоль просек ваших пропадает, сколько его от факелов горит? А в факелах сколько добра сжигаете? Каждую минуту - по пять рубашек! Правильно я говорю, Светочка?
- Правильно-то правильно, - улыбнулась Терехова, - только что же это у вас выходит: и от рубашек сердце болит, и по рубашкам - тоже?
- На то и сердце, чтоб болеть, - нашлась Зина Ивановна под хохот геофизиков и тут же их срезала: - А у кого оно за природное добро не болит, тот не человек!
- Говорят, теодолиты привезли, - перешла к делу Терехова.
- Это кто ж такой догадливый?
- Есть человек. Я и про апельсины от него узнала.
- Никак, Натаня твоя? Она у тебя прям волшебница. В прошлом году прибегают: "Сейчас медвежонка привезут!" И точно - садится вертолёт, вытаскивают медвежонка. Спрашиваю: "Давно поймали?" "Час назад". Шли низко, смотрят - бежит. Зависли - он лёг. Мать, наверно, потерял - сейчас охотников больше, чем зверей... Так что, она у тебя волшебница!

Терехова знала, что здесь-то как раз волшебства и нет. Просто Натка была тогда с экскурсией на радиостанции. Но она решила оставить Зину Ивановну в плену предрассудка и только отметила про

себя, что её общительная дочь вполне могла завести на радиостанции постоянных информаторов...

- Зина Ивановна, - позвал шофёр красного грузовика. - Отметь путёвку!

И едва Зина Ивановна отошла, без пауз, как будильник, затрезвонил телефон. Терехова вздрогнула и инстинктивно схватила трубку.

- Здравствуйте, - женский голос звучал нерешительно. - А можно начальника базы?

- Заведующая базой занята. Если не секрет, говорите мне, а я передам.

- Да вы знаете... Она мне, скорее всего, откажет... Мы с ней не знакомы совсем... Понимаете, мне сейчас сказали, что привезли апельсины. А у меня девочка больна. Два годика, Может быть, можно пару килограммов так, чтобы в очереди не стоять? А то ведь без нахальства и не достанется...

Пока женщина говорила, Терехова пыталась её представить. Голос не старый - лет до двадцати пяти. Работает, скорее всего, на стройке. Живёт, скорее всего, в общежитии, а то и в балке. Муж или кто-то знакомый - в авиации или в связи: откуда иначе ей узнать про апельсины... А вообще - молодец мать. Ради больного ребёнка все средства хороши. Терехова вспомнила первый Наткин год в Нефтеграде и вздохнула.

- Боюсь, вам ничем не смогут помочь, - она почувствовала себя виноватой. - Здесь только шесть ящиков, и все апельсины сейчас увезут в детские сады.

- Чего ты объясняешь? - подошла Зина Ивановна. - Дай-ка трубку. Алё, это кто?.. Послушайте, апельсина в продаже не будут совсем, так что... Ну и... Ладно, не будем много говорить - вы далеко от базы находитесь?.. Вот если за десять минут успеете, один килограмм будет ваш. Денег не берите, на преступление иду.

Зина Ивановна положила трубку. Её лицо было суровым.

- Ископаемые находим, а детей теряем. Надо сначала строить не буровые вышки, а теплицы, чтобы апельсины здесь выращивать, а не из Африки возить. Ясли надо вовремя сдавать, а вам эта чёртова нефть весь мир застит. От Саши Лапина жена почему уехала? Дитё пожалела...

Заведующая базой осторожно вскрыла два ящика и достала из каждого по три апельсина. Пять штук положила в стол: "Прибежит - отдам". Вздохнула: "Заколотите аккуратнее, ребятки, чтобы не заметили хозяева. И проваливайте на свои промыслы, чтоб им... хай им грець. - Шестой апельсин протянула Тереховой: - Возьми Натаньке один. За то что угадала.

За шестидесятой параллелью зимой темнеет рано. Когда Терехова шла домой после работы, на небе уже светили три луны. От фонарей поднимались к ним и терялись между созвездиями тонкие столбы света. "Столько люменов зря пропадает", - подумала Терехова. У неё было то рассеянное настроение, когда деловые мысли уже устали шевелиться, и гениальные откровения, гонимые и притесняемые /по её теории/ с самого детства, имеют возможность привести мир в хотя бы относительный порядок.

Высокие, в человеческий рост, сугробы иссечены аккуратно протоптанными тропинками, и Светлана, остановившись их разглядеть, поняла, почему ей так приятен этот вечер. Надоедает быть целый день Светланой Георгиевной, со всеми вытекающими обязанностями. А тут, среди тихого воздуха, не обжигающего кожу беспорядочными порывами, в окружении фонарных столбов с пятнами света у подножий - она сама была сугробом, воздухом, светом, тропинкой и ничем более сложным и значительным быть не хотела. Радуюсь первобытному рационализму тропиной сети, она подумала, что на месте главного архитектора нанесла бы всё это на генеральный план и летом покрыла бы тропинки асфальтом. "Для одной земли асфальт - оковы, для другой - броня!" А на площадках, которые вытоптаны в снегах малышами, она устроила бы детские городки. "Творить природосообразно - до чего правильно сказано!"

Натка встретила мать возле дома и с хитрым видом полезла не в тот карман. Терехову-старшую это рассмешило:

- Я думала, ты никогда не ошибаешься.

- А я и не ошибаюсь! - дочь вытащила из её пустого кармана небольшой апельсин. На красноватом боку - чёрный ромбик со знакомой африканской надписью. "Серёжа вернулся!" - обрадовалась про себя мать, но на всякий случай сделала строгое лицо:

- Где взяла?

- Тётя Оля дала. Она купила по блату. Мам, это как - по блату? По телефону? Или по почте?

Терехова остановилась. Ну как она не узнала тогда в трубке Ольгин голос?!

- Дочик, я не знаю, как это. Ты иди домой, а я зайду к тётке Оле и спрошу.

- Пойду с тобой?

Ещё не хватало водить ребёнка в пьяные компании! Там наверняка сейчас половина вахты с "пятисотки"...

- Лучше отнеси этот ящик и поставь на свой стол. Только сама не открывай. Приду - посмотрим на Луну.

- Ура! - сказала Натка и потащила ящик. А мать отправилась к соседнему дому.

Когда родилась Ольга Титова, бог был в настроении и наделал ей подарков. Внешность

положительной киногероини, способность к широкому кругу наук, хороший вкус и ещё несколько отличий, среди которых случайно - ибо известно, что от случайностей не застрахован даже Создатель - только случайно не оказалось ничего святого. Домашняя педагогика только укрепила Ольгин эгоцентризм, и к восемнадцати годам, если выразаться научно, параметры её миропонимания твердо не соответствовали общепринятым стандартам. Технический вуз, куда юная Титова поступила без малейших усилий, смог увеличить её общественную ценность только в производственном отношении : Ольга стала прекрасным инженером.

В студенчестве она умела быть душой компании, но задушевных друзей не заводила. В узком кругу не стеснялась говорить, что живёт для себя, а на проводимых "классной дамой" диспутах говорила, что мораль есть цербер ханжества, поощряющий скрытые пороки, и вообще пора признать, что чувства - не какая-то высшая неконтролируемая субстанция, а всего лишь продукт дефицита информации. К Ольге тянулись, как тянутся к необычному, и прощали ей вольности, как прощают кумирам.

Год назад, вручая Ольге диплом с отличием, профессор Носиков нечаянно сказал в рифму:

- Тревожит меня одно, Титова, что нет для вас ничего святого.

Так же тихо, как и профессор, Ольга ответила:

- О, стихи на прощанье! Они утешат меня в Нефтеграде, если там мало платят.

- Что ж, -огорчился профессор, - это у вас, надеюсь, не на всю жизнь.

Но платили на севере хорошо, и стихи Титовой не потребовались. Её сразу оценили как специалиста и потому до поры не стали обращать внимания на эгоцентризм. А она принялась одерживать мелкие бытовые победы. Пользуясь правами, которые закон предоставляет молодым специалистам, она без очереди получила квартиру, хотя и знала, что ущемляет этим семейных старожилков. Потом пустила в ход своё обаяние и научилась получать без очереди талоны на дефицитные промтовары... Ольгин злой гений только однажды не справился с контролем общества: продукты, которые шли через базу НГДУ, "налево" не попадали, ибо Зина Ивановна относилась к благу и нефти с равной неприязнью, но против блага имела власть. Эта неподкупная старуха фронтовой закалки ухитрялась так организовать работу "народного контроля" от базы до прилавка, что даже не могли купить лишний килограмм колбасы или тех же апельсинов.

Но вот теперь есть отмычка и к закромам - да не через продавца, не через снабженца или шофёра. Кто бы мог подумать, что слабость к детям в Зине Ивановне сильнее принципиальности! Бросая апельсины в Ольгин портфель, она вспоминала, как на войне командовала подразделением по спасению детей. Даже всплакнула. Ольге стало немного не по себе, но она успокоилась мыслью, что все старики сентиментальны, что теперь не война и что Сашка стоит того, чтобы с ним обращались, как с ребёнком.

Вот как настигла жестокою Ольгу кара за все грехи и грешки: в управлении буровых работ она безответно влюбилась в несчастного, окаменевшего бурового мастера Александра Лапина.

Терехова постучала и, услышав: "Да!", крикнутое хором, толкнула Ольгину дверь. В комнате всё оказалось так, как она представляла. На столе - традиционные приевшиеся консервы, круглая буханка хлеба из новой пекарни, порезанная, как арбуз, знакомые апельсины, четыре штуки. И над всем - Ольга, примеряющая к натюрморту бутылку заграничного коньяка. Гости тоже были те самые: бурмастер Саша Лапин, лучший друг Серёги Терехова ещё по институту; двое совсем молодых ребят с пятисотой буровой, которых Светлана знала только в лицо, и румяная повариха Валечка, оттуда же. Только располагались они за столом не так, как представлялось: Валечка сидела не между двумя своими поклонниками, а с краю. "Пропал во мне гениальный ребёнок", - подумала Терехова и шагнула в комнату.

- Привет, ребята, - изобразила изумление: - Ба! Откуда эти четыре поливитамина?

Шутка показалась экзотической. Ольга сквозь смех принялась рассказывать.

- История поучительная, хотя и не из ряда вон... Скажу больше: история характерная, хотя и не имеющая быть в наше честное время примером для подражания... Скажу ещё больше, - Ольга тянула время, чтобы собраться.

- Олечка, регламент, - проворчал Лапин и с откровенным вожделием вперил взор в коньяк. На вахте он слыл блюстителем "сухого закона" и высоких скоростей бурения, зато по возвращении в лоно полусёдловой поселковой цивилизации пил "вразнос", ибо считал, что теперь имеет для этого все основания.

Титова с незаметным вздохом наполнила его рюмку и продолжала:

- Узнала про апельсины по радио - мы иногда балуемся, подслушиваем "Океаном" на коротких волнах - звоню на базу: "Вас беспокоят из комсомольско-молодёжного строительного управления. Сегодня встречаем комиссию из министерства, надо выручить апельсинами". Пожалуйста, выручили. Даже не спросили, кто я такая. Привыкли потому что.

Терехова представила, что сейчас получится, если разоблачить маленькую Ольгину подлость. Лапин молча встанет и выйдет. Улица освещена одинокой луной, которая троеится в атмосфере, как

будто множит одиночество. Он посмотрит на небо и вспомнит, как год назад вернулся домой после затянувшейся на три недели тревожной вахты и нашёл на холодном столе записку: "Живи с белой медведицей. Нас не ищи". Он тогда зашёл к Тереховым, впервые крепко пьяный, гладил Натку по кудрявой голове и жаловался: "Нефть нашёл, газ нашёл, а дочку потерял". О жене больше не вспоминал. Пил-запивался, слабый человек. Потом понемногу начала Ольга прибираться к рукам и сама от этого стала вроде порядочнее... Если сейчас испортить им отношения, возненавидит Лапин весь прекрасный пол. Улетит подальше в экспедицию и в самом деле станет медведем - не белым, так человекообразным. Он уже из геолога стал буровиком, а в экспедицию вообще рабочим пойдёт, рейку таскать за топографами, сопьётся, холерик... Ему ведь и в голову дурную не придёт, что юная инженерка сподличала его же удовольствия ради. Только скажи - пойдёт, напьётся один и станет выть на луну. Тройным воем.

Однако поощрять некрасивое враньё насчёт министерской комиссии Тереховой тоже не хотелось, потому что сама она таких, как выдумала Ольга, случаев не наблюдала. Изобилие на прилавках ко дню приезда крупного начальства, верно, появлялось, но чтобы в комсомольско-молодёжном вот так...

- Опя, выйдем, дело есть.

В коридоре она прислонила Титову к стене.

- Неинтересно ты пошутила. Подумай и соври получше, иначе я сейчас же скажу Лапину, какая цена этим апельсинам... Неужели ты не узнала мой голос, когда звонила на базу?

Ольга тяжело задышала и, сжав губы, зажмурилась. Через минуту подняла побелевшее лицо и очень спокойно сказала:

- Спасибо, Светуля. Пойдём.

В комнате на них не обратили внимания. Лапин настраивал гитару, а парни веселили Валечку.

- Ребята! - сказала Ольга таким голосом, что Лапин отложил гитару. - Надо принять одно решение.

Иронически улыбнулся начавший пьянеть Лапин.

- Озадачивай! - воскликнула Валечка. - Поди, не первый десяток лет на заочном учимся, придумаем что-ничто.

Кавалеры немедленно засмеялись. Они сами по третьему году учились в вечерней школе.

Ольга не улыбнулась. Юная повариха окружена вниманием, поступила нынче в институт, избрана депутатом райсовета и вообще открывает для себя мир - где ей понять, что вопрос адресован одному её начальнику, Лапину Александру Семёнычу.

- Задача-то вроде и не сложная - что делать с этими витаминами...

Тонкий Лапин встрепенулся:

- А что такое?

- Да я насчёт апельсинов немного вам присочинила, для смеха. - Только одна Терехова, кажется, видела, как трудно Ольге удерживать на лице выражение безмятежной озабоченности. - Я не сама их добыла... А тот человек, который это сделал, вы его не знаете, он их, оказывается... В общем, нечестно взял в детском саду.

- Вот ничтожество! - выкрикнула Валечка и, практичная, сразу сообразила: - Если ты их обратно отнесёшь, подумают всё равно на тебя.

Ольга села подле бурового мастера на диван-кровать и забарабанила пальцами по столу.

- Но есть я их не смогу, - сказала она всё тем же не своим, кажется, с головой выдающим её голосом, в котором, однако, была непривычная для слуха Тереховой душевность. Лапин придавил прыгающую Ольгину руку.

- Оля... А ты точно ничего не знала?

- Да вот Светлана сказала только что...

Сказала так, как "вот те крест святой", и вид у неё был такой потерянный, что Светлана даже усомнилась: "Может, это не только от страха Лапина потерять, но и от искреннего раскаяния?.. Женщина ведь она и матерью будет..." Но все смотрели не на Ольгу, а на неё. "Благоволение публики", - оценила Светлана и кивнула:

- Я об этом сама только что узнала...

Наталья Сергеевна смотрела в теодолит на Луну. Картинка на ней была та же самая, что и без теодолита - "брат брата на вилы поднял". Только прибор перевернул ночное светило вверх ногами, и на вилах теперь оказался сам обидчик. Справедливую Натку такой поворот дела обрадовал, но скоро кровожадные братья надоели, и она превратила их в материки. Вроде Северной и Южной Америки. По перешейку между ними, огибая кратеры, пополз автоматический вездеход...

- Та-а-ак, Наталья Сергеевна, теодолитиком, значит, балуемся. ..

Мамы всегда застают врасплох - такая привилегия дана им от рождения ребёнка и на всю жизнь. Наталья Сергеевна постигла эту истину ещё в средней группе детского сада, поэтому у неё, как у всякого гениального ребёнка, к третьему классу выработался иммунитет против "расплоха". Даже не вздрогнув от насмешливого голоса, она протянула руку и выключила что-то выкрикивавший на

короткой волне приёмник. Потом повернулась к маме и безоблачно спросила, будто продолжая прерванную беседу:

- Так почему же луна вверх ногами?

Мама у Натки мудрая: всё поняла, оценила и приняла.

- Сформулируй вопрос научно.

- Ммммм... почему теодолит переворачивает? (Мама явно в духе!) То есть, нет, почему объектив не даёт правильного вида?

- Это закон физики. Могу нарисовать, только ты можешь не понять. А вот если бы ты расколотила прибор, геодезисты остались бы без глаза.

(Хитрая, всё-таки повернула по-своему! Будет нотация?)

- А с тебя бы высчитали?

- Не "с тебя", а "у тебя". Но это уже не детское дело.

- А ты узнала, что такое "по благу"?

- Узнала. Могу нарисовать.

(Нет, не будет нотации).

"Странно, что Натка не спрашивает об апельсинах, - подумала мать. - Они ведь рядом, в портфеле, все четыре... Может быть, потому что это тоже - не детское дело?.."

Но тут Светлана заметила, что на небе уже не три, а одна-единственная луна. Она была - к потеплению - совсем оранжевая, как в апреле. На такую приятную луну не воют, наверно, даже волки.

Через три дня Терехова опять спешила на базу. В латунном небе растворялся закопченный вертолёт. Его путь освещали три солнца - одно настоящее и два ложных.

Навстречу - Ольга Титова. Увидев Светлану издали, остановилась и что-то вынула из туго набитого портфеля. Когда Терехова приблизилась, Ольга подкинула на ладони апельсин.

- Угощайся, Светуля! Сегодня целых тридцать ящиков! - Ольга смотрела весело и нахально. - Надеюсь, ты не думаешь, что я перевоспитаюсь в два счёта?

- Конечно. В мои планы вообще не входит твоё воспитание. У меня для этого Натка есть.

Она подумала, что для поддержания тона лучше было бы вместо "есть" сказать "найдётся". И хорошо, что не сказала "мне Натки хватает" - незачем опускаться до приглашения к перестрелке. Но Ольга было не до нюансов. Она пребывала в благодущии и поддержала нужный тон сама.

- Вот для Натки и возьми апельсинчик. Чтобы не обесценивать ценности.

- Коли так, давай ещё четыре штуки, до "пятёрки". - Терехову потрясло собственное нахальство и то, что ей хотелось быть нахальной. Ничего лучшего Ольга не заслуживала: ишь, нашла ключ к дефициту!

Титова прищурилась. Положив голову на плечо, сделала вдох, будто собиралась ответить, но ничего не сказала и расстегнула замок портфеля. Светлана раскрыла свой, и все апельсины вдруг пересыпались в него. Ольга взяла только один, сунула в карман, сказала: "Хватит ему и этого" и замахала знакомому шофёру, чтобы остановил машину. Крикнула из кабины:

- Я - на "пятисотку", на прострел скважины! Скажи в конторе...

Красный "Ураган" пальнул в Терехову из выхлопной трубы и умчался вместе с облаком снежной пыли, сверкающей в загадочных лучах тройного солнца...

Возле своего дома Светлана увидела дочь, которая не сидела в засаде, а важно что-то обсуждала посреди двора с молодым мужчиной. Этот человек держал в руках альбом и что-то в нём рисовал, а Натка подсказывала.

- Дяди Колину лодку не забудьте. Ах, не будет... И уборной не будет?

- Не будет, Наточка. Для лодок оборудуем, зимнюю базу, а тёплые туалеты будут во всех квартирах.

- Это моя мама, - познакомила Натка, - старший инженер Светлана Георгиевна. А это дядя Миша, главный архитектор.

Мужчина поднялся с корточек и поклонился.

- Всё верно. Мы с вашей дочерью рисуем вот эти тропинки. Потом нанесём на генеральный план, а летом заасфальтируем. А площадки, ребятней вытопанные, обнесём бордюром и заполним песком. Тут недалеко, на Оби, есть хороший жёлтый песочек.

Реактивный вертолёт шёл из Нефтеграда, как обычно, с почтой.

- Как ты думаешь, - спросил второй пилот, снимая наушники, - эти апельсины, что - мы возим, все достаются детям?

- А ты сомневаешься? - ответил командир.

Владимир Шкаликов

ЛУЧШИЙ ВРАГ

Рыцарский роман в двух частях

1.

Ты, наверно, сейчас там, дома, не можешь спать. Ты всегда чувствуешь, когда мне опасно. Вот встретимся, сверим день и час - и всё совпадёт. Как всегда. Как на Саланге, как под Кандагаром, как в Баку, как под Тирасполем, как в Веденском ущелье, как мало ли... Ну, потерпи ещё разок, я снова уцелею. Теперь даже с гарантией, потому что сложатся сразу два вечных (тьфу,тьфу,тьфу) везения - моё и Его. Вот этого Ты наверняка сейчас не чувствуешь, потому что Его, этого мерзавца, Ты давно вычеркнула.

Может, вычеркни Ты Его пораньше, Он бы и не стал мерзавцем?

Ну, это не важно, это сослагательно. Важно, что сейчас я буду Его спасать. И спасу непременно. Не для Него, не для Тебя и не для себя. Даже не для Родины. Ей на нас, в принципе, плевать. Она нам никогда ничего не должна.

Я спасу этого гада ради простого, как дуэльный пистолет, понятия - Честь. Это важно для всех, кто летит сейчас со мной. Они все были свидетелями...

Расскажу, если успею, пока летим.

...Тяжело ранили Пашку. Того самого, с которым мы прошли всё.

Тоже был везучий, но ведь и это - до поры. Мы донесли его до базы чуть тёплого. Нужен был срочно вертолёт. А генерал не дал. Велел пилотам не отлучаться "из-за одного капитана", потому что ждал какого-то важного сообщения. К утру Пашка выпустил мою руку. А генерал улетел через час после этого. Он всю ночь, оказывается, ждал сведений о своём сыне, которого тоже готовил в полководцы. И дождался: убили бедного лейтенанта, в такой же операции, как нашего Пашку. И генерал умчался хоронить сына. А мы похоронили Пашку. Ему, сироте, было всё равно, где зароят тело. Ты помнишь, какое роскошное тело было у Пашки, как млели девки на пляже?..

Пашка погиб два месяца назад. А сегодня ваххабиты подловили штурмовую группу, в которой ходил этот наш мерзавец. Подослали подлинную информацию об оружии, спрятанном в мечети, и перехватили наших на подходе. Уцелеть повезло одному Ему. Закрылся в мечети и отстреливался из всех окон сразу, а рацию заклинил на передачу, чтобы я слышал, как героически Он погибает.

Наш доблестный генерал, как нарочно, опять оказался рядом и снова запретил поднимать вертолёт "из-за одного наёмника". Я при всех сказал, кто он есть. Он пообещал разжаловать "на все пять званий". Тогда я достал пистолет и ответил, что отправлю его вслед за сыном и за Пашкой, если помешает. А вернусь - сам уйду в отставку к чёртовой матери. Впрочем, не к ней, конечно, а к Тебе. И чтоб больше никому не подчиняться.

Надоело быть народом. Надоело быть нацией. Не хочу быть ни этносом, ни суперэтносом. Все они стреляют, взрывают, режут, давят друг друга - во имя какого-то собственного достоинства, какой-то высокой нарицательной своей оптовой стоимости, какой-то веры, отличной от других, которая лучше всех и всех гуманнее... Хочу быть просто населением. Чтобы просто населять ландшафт и ни в кого не стрелять...

Но через несколько минут стрелять обязательно придётся. Уже сдвинута дверь, откинута все иллюминаторы и выставлены все стволы. Авось ничем серьёзным в нас не пальнут, а против пуль эта машина вполне устоит.

Ветер нынче такой, что ни один гражданский вертолётчик даже сам не решился бы лететь, хоть они все головорезы. Однако вот летим с преступившими приказ военными, ревет сквозняк, а хвостовая балка ходит из стороны в сторону, как хвост у крокодила. Впрочем, этот вертолёт так по-крокодилски и называется - "Аллигатор". Зверь-машина.

Пилоты выходят по пеленгу Его рации прямо на мечеть и издали накрывают огнём атакующих. В сумерках видны вспышки на минарете - вот куда Его загнали. Держись, враг, мы уже здесь.

Командую: "Штурмтрап - за борт! Подавить всё, что движется!"

Вот чем хорош сквозняк: сразу выносит пороховую вонь. Шесть автоматов и ручной пулемёт почти не слышны из-за наружного рёва и свиста. Летящая преисподняя. С доставкой прямо к храму.

На малом ходу подплываем к минарету, и мой враг, стреляя, повисает на штурмтрапе. Настоящий "дикий гусь", без единой крапинки "пёс войны", "солдат удачи", то есть наёмник, вежливее - контрактник.

Отплёвываемся огнём, наш Змей-Горыныч пятится назад, и похоже, нам в самом деле удаётся подавить всё, что там двигалось.

Пока скорость мала, Он взбирается на борт, выхватывает из кармана пульт, кричит: "Аллах - не Яшка, знает, кому тяжело!" и нажимает кнопку. Осквернённая насилием мечеть подпрыгивает и

разваливается. Склад там действительно был серьёзный. Во дворе горят три грузовика, на которых банда собиралась вывезти оружие. Браво, враг.

Смотрим друг на друга. Точнее, враг на врага. Я никогда не прощу Его, а Он - меня. Спасибо за это Тебе. В школе мы были друзьями.

В школе мы были друзьями и учились в одном классе с Тобой.

Хорошо учились: нельзя же было уступать Тебе, круглой отличнице. А спортом, чтобы не пересекаться на соревнованиях, занимались разным: Он - стрельбой, а я - рукопашным боем. И в домашних условиях обучали друг друга - каждый своему виду. Так что в военкомат пришли почти одинаково подготовленными к воздушному десанту.

Когда в ноябре команда отбывала к месту службы, Ты пропустила лекции и пришла на вокзал. Провожала обоих, но каждый тайно надеялся, что главным образом - его. Ты спросила, почему не поступали в университет - ведь могли бы запросто. Мы хором ответили, что мужчиной без армии не станешь, а поступить и потом сумеем, будь пока умнее нас.

Ты ничем ни одному не выразила предпочтения. Обоим сказала: "Возвращайтесь". Мы оба восприняли это как призыв к соперничеству: Ты достанешься лучшему. В боевой и политической подготовке. Всё было тогда мирно и славно.

Афганская война случилась "как раз на заказ" - Он любил рифмованные прибаутки. Только что закончив "Курс молодого бойца", мы сразу попали на передовую - она там была везде. В бесконечных горных операциях нам везло одинаково, но мне всё же немного больше. За полгода до демобилизации Его контузило и посекло осколками, и был Он за ту операцию награждён и досрочно отправлен домой - долечиваться.

Тут Он и не устоял перед подлостью. Может быть, из-за контузии.

Мы оба не писали Тебе писем и не сообщали своего адреса - так условились между собой. Но вернувшись домой, Он сказал Тебе, что я перебежал на сторону неприятеля. И Ты вышла за Него. Когда я вернулся, ложь открылась, но в Тебе уже был Его ребёнок, на что Он и рассчитывал.

Я уехал в Рязань и через положенное время прибыл оттуда в ВДВ лейтенантом. За эти годы у Тебя с Ним всё разладилось. Ребёнок родился мёртвым, будто в наказание за обман, и Ты ушла от Него. Он не захотел поступать в моё училище, но вернулся в армию, в спецназ, стал прапорщиком, инструктором, и вот мы встретилась здесь, заочно зная друг о друге всё и не простив: я Ему - предательства, Он мне - Тебя. Оставив Его, Ты нашла меня и стала делить со мной трудности офицерской жизни. С детьми, правда, не помогла и моя удачливость: после той передраги с выкидышем Ты больше родить не могла. Это я тоже поставил в вину Ему.

Мы служили в, так сказать, параллельно действующих частях и при редких встречах ограничивались формальным прикладыванием руки к козырьку или берету. Боевого взаимодействия не случилось, и я был этим доволен. Как, вероятно, и Он.

Но вот мы сидим в броневом чреве "Аллигатора" и - некуда деться - смотрим в глаза через проход. И молча беседуем: когда-то понимали по взгляду.

"Как там Она?"

"Вашими молитвами. Не женился?"

"Глупый вопрос. Дети есть?"

"Нет. По твоей, гад, вине".

"Ну, так уж... Хотя, конечно... Как служба?"

"Завтра выгонят из армии. И опять из-за тебя".

"Так уж из-за меня... Просто по жене скучаешь. Сплошные командировки..."

"И это есть".

"Уж тебя-то, героя, не выгонят, товарищ майор".

"Не выгонят - сам уйду".

"Кто же будет Родину защищать?"

"Да вот такие, как ты".

"Ну, мне здесь тоже приелось. Удача - она дороже стоит".

Я отвёл глаза и спросил себя: "Может, прав был генерал, когда запрещал мне спасать этого наёмника?" И ответил: "Нет. Честь дороже удачи. Она подобна собаке: всегда с тобой, пока ты верен ей. А удача - это кошка..."

На базе мы с Ним сразу пошли в разные стороны. Как обоим казалось - насовсем.

2.

А теперь удивись. Я ведь всё всегда Тебе рассказывал, верно?

Но есть одна тайна, которую Ты узнаешь только сейчас.

Помнишь, что я сказал Тебе о Нём, когда уволился из армии? Дескать, этот наш "дикий гусь" по-прежнему удачливо сражается и в ус не дует. Это была не совсем правда. Он порвал контракт одновременно со мной, будто хотел продолжить наше бессмысленное соперничество на выбранном мною поле. Только в другой команде. Кем Он стал, я не мог тебе сказать, сам не знал. Но однажды узнал, притом на собственной шкуре. Вот об этом я Тебе до сих пор и не рассказывал.

...Случилось это год назад. Помнишь, было у меня две командировки подряд? Его я встретил в первой. И поединок между нами всё-таки произошёл.

Ты хорошо помнишь то время, когда учителям долго не платили. Вы начали грозить забастовкой, потом забастовали, ваши действия местная власть пыталась объявить незаконными, вмешался мой комитет по правозащите, был в суде победный процесс, и вам выдали ваши жалкие кровные копейки - за всё прекрасное, доброе и вечное. Конечно, Ты могла не заметить тогда, что параллельно шёл другой процесс, куда более грязный. Там касалось тихого убийства из-за наркотиков, а денег, из-за которых убили, всем учителям Твоей школы хватило бы на десять лет. Я в том процессе участвовал в качестве независимого эксперта, потому что почерк был мне доподлинно знаком по "горячим точкам". Ты же помнишь, наш "солдат удачи" стрелял получше меня и попадал всегда, куда хотел.

Моё положение оказалось малопочтенным. Негодяй убил негодяя, но требовалось назвать имя, а это я расценил для себя как сведение счётов. И за ложь, и за Тебя. Такая расправа была не по мне. Хоть уже и знали этот почерк, и сами вычислили имя, но от меня требовалось решающее подтверждение, потому что наша долгая и верная боевая дружба разглядывалась следствием без тех подробностей, которые известны только нам. Я должен был ПРОСТО, как честный гражданин, отказаться от друга, поправшего человечность и вставшего вне закона, в ряды самых гнусных преступников, превративших всю страну в "горячую точку", отравляющих героином мирное население.

Я тоже был населением, как и мечтал. Более того, я защищал права населения от всех посягательств, с любой стороны. Мой долг перед самим собой не оставлял ничего другого, как сдать убийцу, независимо от того, кем он мне доводится. Вот тут и начиналась шизофрения. Не мог я Его назвать, вот и всё,

Я шёл на судебное заседание и всё ещё не знал, как буду себя вести. Была возможность просто не явиться, послать их всех - и дело с концом. Но я шёл и всё больше раздваивался, чем ближе было здание суда. На высоком крыльце я рассеянно замешкался, пропуская девицу, которая истерически хохотала и размахивала руками. В руке у неё оказался баллончик с сильным газом. Я очнулся в машине.

Мы мчались уже за городом, лес был близко. Там меня и зарюют. И руки-ноги не развяжут, потому что Он знает о моих рукопашных способностях. Рядом, правда, сидит не Он, но и не девица, а двое дюжих братков. Но и Он, как я понимал, был где-то недалеко.

Он догнал нас на безлюдной лесной дорожке и столкнул тяжёлым джипом с высокой насыпи, не сомневаясь, что я не пострадаю. Я не пострадал. Он застрелил водителя и братков, а меня, связанного, втащил в джип и повёз дальше в лес.

- Что же ты, убил бы сразу...

Он ответил, что это в задачу не входит.

- Но раз своих шлёпнул, значит и мне скоро следом. Чтобы все концы - в одну воду.

Он повторил, что это в задачу не входит. Но раз не захотел развязать, я Ему не поверил. От меня хотят получить какое-то знание, потом обязательно убьют. Будут что-то сулить и вербовать, хотя и знают, что это - пусто. Следующая процедура - пристрастие: огонь, химия, что-нибудь острое, верёвка, электричество, да мало ли. Но и это - пусто: когда я в деле, у меня сильно повышается болевой порог, до полного бесчувствия. Не справятся, конец один, так хоть без позора.

Выехали на квадратную вырубку. За крепким забором - кирпичная вилла в три этажа, под зелёным железом.

- Вот они, героиновые денежки...

Он ответил, что героиновые крутятся за рубежом, в офшорах, а вилла построена на учительские, пенсионерские и другие, из местных.

Новые братки, ну просто двойники только что убитых, вежливо затащили меня на третий этаж. Он поднялся следом, и нас оставили одних. Я понял, что первый этап поручен Ему. Доверен, да?

- Кто ж твой хозяин? Скажи покойнику.

Он ответил, что это государственная тайна. Именно государственная, хотя и криминальная. Так бывает, когда государство не справляется даже само с собой. Но пусть меня это не заботит. Не надо ничего хотеть там, где ничего не можешь. У нас теперь другая забота - как обоим уцелеть,

Он запер дверь, достал из своей сумки два "стечкина", две коробки патронов, четыре мощных оборонительных гранаты и сложил всё это на столе в две кучки.

- Пистолеты заряжены в ствол и сняты с предохранителя. Сейчас нам с тобой либо прорываться либо палить друг в друга.

Я спросил, от чего это зависит, хотя и догадался сразу.

Он раскрыл нож и срезал с меня все шнуры. Потом убрал нож, достал блокнот и золотое стило, положил их передо мной, сел рядом и сказал:

- Сделаем то же, что я ТОГДА, только по-честному. Напиши Ей, что уходишь к неприятелю, уезжаешь из страны и освобождаешь место для меня. Будто из-за того, что у вас нет детей. И уедешь, когда прорвёмся.

Я сказал, что это белая горячка, что Ты никогда ничему такому не поверишь, потому что ЗНАЕШЬ меня. И что Он меня тоже знает.

- Ты прав, - оказал Он. - Это у меня затмение... Чёрт с тобой. Не буду тебя вербовать, не буду убивать и не дам пытать. Я хотел с тобой стреляться, но это будет всё равно убийство: ты ведь в меня не попадёшь, не успеешь. Мы будем прорываться. Только учти: Она достанется тому, кто уцелеет. Если же повезёт обоим, надо будет придумать что-то такое, чтобы остался один. Нельзя ведь так дальше...

Я сказал, что нельзя, мы разобрали оружие и пошли прорываться.

Вилла оказалась крепче той мечети, над которой мы встречались последний раз, но окна уцелели только на третьем этаже, а пожар, полагаю, оставил целыми только стены да покоробленное железо на чердаке. Точнее сказать не могу, мы почти сразу уехали на той же машине, только не по дороге, а по какой-то широкой лесной тропе, слегка подзаросшей тонкими берёзками, осинками и крапивой.

Из этой Его машины я позвонил Тебе и сообщил, что отбываю в срочную командировку. Ты почуствовала, конечно, опасность и, как всегда, закричала, чтобы САМ не рисковал. Я, конечно, поклялся, и Он всё это слышал. И обратил моё внимание на Твою последнюю фразу: "Вы там - повнимательнее!"

- Как думаешь, почему Она сказала: "Вы"?

Я объяснил: Ты расслышала, что разговор идёт из машины, поэтому проявила беспокойство обо всех, кто со мной. Он кивнул, потом сказал:

- Если уцелею я, Она меня не примет.

Я ответил, что уцелеем оба. Он промолчал.

Он здорово умел водить машину - хоть по горам, хоть по песку, хоть по лесу. Но по болоту нужно не мастерство, а плавающая гусеничная техника. Поэтому пришлось потерять целый час, чтобы вытащить на сухое тяжёлый иноземный внедорожник. Потребовались все наши армейские навыки, вся мощность его мотора и трос - в ключья. На шоссе выехали в темноте. Он сказал:

- Это хорошо. На заправках нас уже не ищут, а ожидают на выезде из области. Заправимся и снова нырнём в лес.

Я спросил, каковы поисковые возможности неприятеля. Он ответил:

- Государственные. Плюс хорошо оплаченный энтузиазм.

Когда отъезжали от бензоколонки, одна заправщица наблюдала за нами через окно, а другая звонила по телефону.

Мы оба хорошо знали загородные сосняки. В тамошней сети грунтовых дорог легко было на какое-то время затеряться. Мы без хлопот продержались там двое суток, на ягодах и грибах - для местных да ещё из спецназа - дело привычное. За это время связались с кем надо и узнали всё, что надо.

Помехой нам был только один человек, который нуждался в знании, имеющемся у меня. Обезглавить эту стаю охотников, потом ненадолго затаиться - и мы вне опасности. Так принято. В конечном счёте, каждый член такой стаи - сам за себя.

Моя первая командировка закончилась тем, что в нужное время вечером мы вернулись в город, нашли нужное кафе и через служебный вход проникли туда к самому разгару застольной беседы. Стрелять пришлось много, потому что охрана успела среагировать и, хоть с опозданием, начала отрабатывать свой опасный хлеб. Последний бедолага - хитрец или трус - высунулся, когда другие уже лежали, и дал очередь из автомата. Уцелел я один.

Мы прибыли на эту сходку пешком, поэтому тело моего лучшего врага пришлось оставить там. Честно говоря, мне стоило это больших слёз. Давно не ожидал, что смогу когда-нибудь столько их пролить. Да ещё за один раз. Дело в том, что я не мог даже в бреду предположить, что человек, жаждущий моей жены, закроет меня собой. Примет за меня десяток пуль да ещё успеет выстрелить в ответ. Он Тебя действительно любил.

Перед прорывом в город, пока ещё не село в Его телефоне питание, мы решили позвонить Тебе. Сделать вид, что встретились в соседнем областном городе, выпиваем за Твоё здоровье и хотим вместе приехать, так не пригостишь ли Ты стол...

Едва услышав мой голос, Ты закричала, что уже ждала похоронки, что больше никуда меня не отпустишь, и что никто-никто другой никогда - слышу ли я: НИКОГДА! - не займёт моё место, пусть я твёрдо это усвою... Я с трудом засмеялся в ответ и пообещал сейчас же начать движение домой.

Видимо, эта Твоя вспышка и утолила Его жажду. Допускаю даже, что Он нарочно помедлил долю секунды, которая стоила Ему жизни.

Чудовищно: я с полным самообладанием протёр свой "стечкин", вложил пистолет в Его тёплую руку и быстро вышел, никем не замеченный. Только через два квартала, в темноте за какими-то гаражами, слезы прорвались и не дали мне двигаться минут десять. Полезное наблюдение: чтобы рыдать без голоса, надо дышать широко открытым ртом.

Тут я и отправил себя во вторую командировку. Поехал в психушку, и Ванька (помнишь Ваньку Терехова?) по старой дружбе уложил меня в курортное отделение. Вообще-то оно называется реабилитационным. За эти пять дней я немного пришёл в себя. А Тебе позвонил оттуда: мол, срочное дело, совсем безопасное. И Ты поверила.

Я знаю, Ты не спросишь, зачем я это рассказал. Ты знаешь, что это не месть Ему. Ты видела, как я посидел за этот год. Ты разделишь это со мной, чтобы я уцелел по-настоящему. Нас осталось только двое, это горько и неуютно. Уже НИКОГДА не будет человека, который относился бы к нам ТАК. И вот о чём я теперь думаю в нашем странном одиночестве.

Сначала я честно был народом и нацией, защищал их высокие химеры и считал, что иначе быть не может. Потом я стал населением. Но и это состояние тоже невозможно без драки, хотя и по другому поводу. Потом я вдруг понял, что повод-то один - и у тех, и у других, у каких угодно: взобраться выше всех и управлять. Это и есть жизнь, именуемая борьбой и без борьбы невозможная. Но я так не желаю. Я хочу жизни, которая была бы только любовью. Такой любовью, ради которой не надо драться и убивать, а только угадывать потребности другого и помогать ему - без лести, без корысти и по взаимности. Все религии к этому призывают, но каждая утверждает, что умеет это лучше остальных. Вот поэтому люди, проповедующие любовь, оказываются вовсе к ней не приспособлены и непривычны. На деле им скучна такая любовь, в которой нет борьбы. В борьбе все они видят своё счастье, хотя не все способны в этом сознаться. И потому они всегда будут мешать нам с Тобой.

Если людей действительно создал какой-нибудь бог, то он, пожалуй, был изрядный выдумщик. Только не от хорошей жизни...

Владимир Шкаликов

М И М О

"Раскройте уши, монахи:
бессмертие выиграно".
Будда в Бенаресе

Охранник спал чутко. В шесть утра, как обычно, прилетел комар, и он услышал его писк. Было уже совсем светло, он расправился с насекомым, не включая настольной лампы, затем опустил марлевый полог, подоткнул его под одеяло, на котором лежал, и подремал еще полтора часа, пока не запищал будильник. Он быстро снял будильник с гвоздя, на котором для удобства была сшита шляпка, и быстро сдвинул переключатель, экономя энергию батареек. Будильник был плоский, дорожный, специально купленный за 15 рублей. Хрупкую крышечку из плексигласа почти сразу пришлось выбросить и заменить кожаным футляром, который охранник сшил из голенища от женского сапога, найденного рядом с общежитием в Нефтеграде. В черной коже он прорезал изящное квадратное окошко для циферблата и еще два маленьких - для перевода красной стрелки звонка и его выключателя. Вынув прибор из футляра, охранник завел его на восемь оборотов, осторожно вдвинул обратно, оберегая кожух батареек, и вернул на гвоздь.

Вставать не было желания. Но и лежалось неудобно. Мешала какая-то вчерашняя мысль. Недодуманная и, главное, неприятная. Со сна не вспоминалась, и он посетовал на устройство человеческого мозга: мысли нет, а мысль об этой мысли - угнетает. Подняться, однако, следовало, потому что с восьми до двадцати четырех часов приказом директора было определено время работы склада.

Охранник выбрался из фланелевого мешка, заменяющего простыни, и, завернув край полога наверх, приколот его булавкой. Теперь можно было без помех расправить мешок и попутно полюбоваться еще не стиранным белым его полем с мелкими редкими цветочками. Перед залётом на эту вахту он сам выбрал четыре метра веселой фланельки и, найдя в общежитии у семейных машинку, сам прострочил с боков, чтобы получился мешок. В дальнейшем он намеревался сам его и стирать, а с казенными простынями, с их сырым запахом, обтрепанными краями и несвежей, нездоровой белизной больше не связываться.

Не делая резких движений, он нагишом перешел в соседнюю комнату, где, как и в спальне, окна были забраны грубыми решетками из ребристых арматурных прутьев, и поглядел на погодную веточку. Он еще прошлой весной отрезал ее вместе с кусочком ствола от новогодней ёлки и приколотил со двора к оконной раме. Теперь к дождю веточка поднималась вверх. Он ждал этого явления уже три дня, чтобы набрать в ведра дождевой воды для питья. Но и сегодня веточка уныло указывала на сухой песок, обещая к вечеру вовсе согнуться в колесо.

- Ладно, - сказал он, - попьём из болота.

Он взял с электроплиты большой чайник и наклонил одну из двух больших молочных фляг, стоявших на лавке. В чайник полилась коричневая вода, распространился торфяной запах.

- Ничего, - сказал охранник, - зато заварки надо меньше.

Поставил чайник на плиту, включил её и занялся другими делами.

Умылся коричневой водой из рукомойника.

Достал с полки баночку поливитаминов и бросил в рот один жёлтый шарик.

Потрогал подбородок, поразмышлял и - побрился. Руки вытер вафельным полотенцем, что висело у рукомойника, а вытирать лицо и протирать его после бритья одеколоном ходил в спальню. Оттуда вернулся с куском белого пластика, превращенным в шахматную доску, для чего на пластмассу были наклеены квадратики черной плёнки, которой обертывают перед засыпкой трубы нефтепроводов. Два рулона такой плёнки, брошенные "трубачами" у шоссе прошлой зимой, были подобраны и прикачены под стол его сменщиком, Трофимычем, хозяйственным пенсионером. Они хотели было покрыть этой плёнкой пол, но запах у нее оказался не лучше, чем у зеленой, американской, и рулоны остались лежать без дела.

Охранник принёс на шахматной доске картонный футляр с тетрадами, авторучку с золотым пером, очки и книгу "Древнеиндийская философия", заложенную в самом начале квадратиком бумаги, на котором уже значились номера интересных страниц. Положив доску на стол, он выглянул в западное окно и усмехнулся: "А куда вы денетесь..."

За окном, обнесенные высокой оградой из колючей проволоки, тяжело вросли полозьями в песок два стальных хранилища, каждое размером почти с его спальню. Они были выкрашены алюминиевой краской, на каждом красными буквами значилось: "ОПАСНО", возле каждого имелся пожарный щит и ящик с песком. Последнее забавляло охранника, так как весь его склад стоял на песке, исключаящем наземный пожар, а зимой песок в ящике смерзлся, его приходилось долбить ломом, но он всё равно не мог бы пригодиться, ибо содержимое хранилищ горючим не было. Оно было взрывчатым и называлось гексоген. Потому и подвергали его охране. Другой вопрос - от кого. Диверсант в это

глухое место едва ли стал бы пробираться, поскольку после диверсии он ни за что не выбрался бы отсюда незамеченным, а для браконьеров кумулятивные заряды в стеклянных яичках не могли представлять интереса, равно как и детонирующий шнур, вместе с которым заряды опускались геофизиками на километровые глубины и пробивали в стальной обсадке скважин отверстия для притока нефти, которую сам охранник, ухмыляясь, называл по-газетному - "ценное углеводородное сырье". За три года службы на этом складе он привык нисколько не беспокоиться о судьбе его содержимого, поскольку, как уже сказано, оно никому, кроме самих геофизиков, не нужно, да и взять его можно только очень мощным вертолетом или усилиями среднего танка. В обоих случаях кавалерийский карабин выпуска 1944 года был неэффективен, и брать его в руки приходилось только для встречи inspectирующих лиц.

Пробормотав: "А куда вы денетесь", охранник обратил взор в северное окно, в которое уже заглядывал, интересуясь погодой. Чуть дальше еловой веточки, на боковой стене входного тамбура, висел термометр, который уже в такую рань показывал плюс двадцать, что с обеда до самой программы "Время" сулило плюс тридцать в тени. Еще дальше, на крыше кладовки, с бодрым видом застыл в неподвижном воздухе флюгер-вертушка, зловредно уставившись на восток, откуда никак нельзя было ожидать дождя. За кладовкой, в романтическом окружении цветущего кипрея, виднелся туалет. Он тоже вызвал усмешку охранника, потому что имел две двери - белую и зеленую - многовато для одного человека. Обе двери Трофимыч добыл на соседней свалке, которая громоздилась в конце короткой - 470 шагов - просеки и была для охраны склада основным объектом наблюдения. Конечно, свалка служила только ориентиром и источником различных материалов, а собственно объектом было добротное бетонное шоссе, за которым свалка располагалась. С него на дорогу, ведущую к складу по просеке, сворачивали машины. Заметив, что красно-белый крытый автомобиль сбавил ход, надо было за ту минуту, пока он достигнет шлагбаума, одеться, убрать всё лишнее со стола, включить рацию, сунуть в карман ключи и выйти навстречу гудкам, имея вид строгий и неторопливый.

Моторов со стороны шоссе слышно не было. Только две знакомые женские фигурки спешили в сторону поселка.

- Вот молодость! - заметил охранник. - И ведь еще будут работать. Двенадцать часов.

Вчера после ужина он видел, как эти две фигурки в обществе двух загорелых мужских фигурок прошли в противоположном направлении и предположил, что их цель - вагончик на той стороне шоссе, где вышкомонтажная контора начала собирать новую буровую.

Он последил за фигурками, пока позволял просвет просеки, заметил: "В одних платьях, комаров не боятся!" и продолжал свои занятия.

Посмотрев на листок с телевизионными передачами, которые на слух записал накануне, он вяло махнул рукой и вышел в тамбур. Там он сменил комнатные тапочки на тяжелые боты, сделанные из резиновых сапог, взглянул в боковое окошко и, полюбовавшись, как один из его прожекторов пытается пересветить солнце, опустил все пять выключателей. Подумал, что зимой с прожекторами проще, их совсем не надо выключать: лампы создают себе микроклимат и дольше не перегорают. Потом он вышел во двор.

Два крупных полугодовалых щенка заюлили у ног, униженно вихляясь, нагло норовя наступить лапой на его боты и заглядывая в глаза. Поднялась и потянулась их красotka-мама, рыжая лаечка Белка, совершенно распушенная Трофимычем и его женой Ивановной: не сторож, не охотница, а так... У поленицы поднял голову хитрый облезлый кобель, забеглый папаша двух дармоедов, что вертятся под ногами.

- Ты еще вчера свои обязанности сполнил, - сказал ему охранник. - Можешь еще год не появляться.

Но кобель понял его иначе. Он встал и, виляя хвостом, начал приближаться.

- Идешь ты, идешь, - сказал охранник. - Я не знаю, чем этих четверых кормить... Кстати, собака, живущая в лесу, должна кормиться сама... Брысь, тунеядцы! Скорей бы Трофимыч вас на шапки извел...

Он убил на голом плече комара, хлопнул себя по обнаженному бедру, по спине, по шее, по щеке... Вынес из кладовки ведро, состоявшее когда-то на пожарной службе. Дужка ведра была примотана проволокой, между остатками красной краски множественно вмятины. В другой руке охранник держал деревянную лопатку, которой подцепил из ведра немного объедков и разбросал в два деревянных корытца. Щенки и Белка набросились на еду. Дети спешили помочь маме и друг другу, а потом уж приняться за свою порцию. Не обращая внимания на грызню, охранник бросил еще немного объедков на кусок фанеры и побежал с ним к дому. Там уже ждала маленькая черная редколохматая собачонка-выродок с бородой и очень умными круглыми глазками.

- Давай, Профа, - он впустил собачонку в тамбур, - а то ведь не затопчут, так загрызут, судьба интеллигента.

Он запер собачонку наедине с едой и вернулся к кладовке. Там облезлый папаша осторожно, но уверенно раздвигал деток лобастой головой, за что получил лопаткой по хребту и, заскулив, отбежал немного и остановился.

- Нет, родственничек, - сказал беззлобно охранник, - ты тут тихой сапой слишком много хочешь.

Он швырнул в приживала ссохшимся песком. Этот песок привезли сюда, на бревенчатый настил, с гидронамыва, он был пополам с илом, им можно было после дождя играть в снежки. Сухой комок рассыпался в воздухе, но пес понял и убежал за поленницу.

- Опять мало, - сказал охранник и не успокоился, пока не прогнал нахала в лес. Белка поглядела на него с упреком, но он сказал строго: - Ты своё получила, пусть убирается.

Белка насупилась и отогнула в сторону хвост.

- Нехорошо, - сказал ей охранник. - В разврате тоже надо знать меру.

Белка совсем обиделась и легла на спину. Он убрал ведро в кладовку, бормоча популярный лозунг об экономии и бережливости, выпустил из тамбура Профу, убрал на место её фанерку и сходил в дом. Выйдя оттуда, он развесил на гвоздях у двери пятизарядный карабин с грубо отремонтированным ложем, старые брюки, в единственном кармане которых звякнули ключи, белую полотняную рубашу с закатанными рукавами и красные плавки, которые так со сна и не удосужился надеть. Теперь на нём были только обрезки резиновых сапог и белая полотняная кепочка, заношенная до желтизны. Из тяжелой обуви своей он тут же вышел, отнес ее к углу дома и поставил у деревянной бочки из-под сельдей, когда-то найденной на свалке, отмытой, замороженной и уже почти не протекающей. Там же было повешено на антенну рации полотенце для ног, застиранное до цвета грозových небес.

Покончив с этими пустяками, охранник долго и вдумчиво делал на ходу зарядку, которая носила следы боксерской разминки, китайского комплекса у-шу, ритмической гимнастики и еще каких-то физкультурных увлечений своего создателя, явно не доведенных по отдельности до реального результата. Собаки быстро покончили со скудной подачкой, залакали её остатками воды из ржавого банного таза явно свалочного происхождения, пристроенного под стоком крыши, разлеглись у крыльца и не проявляли к выпадам и выкрикам голого человека никакого внимания. Одна черно-белая кошечка все забегала вперёд и садилась на пути грозно топчущих голых ног.

- Марфутьера, - говорил ей человек, тяжело дыша. - Марфутьериточка! Ты должна потерпеть и будешь вознаграждена супом "Новинка" за 36 копеек.

Кошечка тихо мявкала и продолжала мешать.

Зато крупные стрекозы, уже три дня заполнявшие всё видимое пространство, приводили человека в умиление. Он любовался их резким полетом и хвалил за прожорливость, а одну, которая не уступала дорогу, ловко поймал в горсть. Мощные челюсти пребольно впились в ладонь, но он засмеялся, взял хищницу за крылья и стал разглядывать. Между пластинами рта у нее виднелась недожеванная мошка. Стрекозе было сказано, что она "прелесть синеокая", и она получила свободу.

Завершив разминку прыжком через шлагбаум, охранник пробормотал: "Вот пусть Алешка так попробует!" и побежал к своим ботам. Стоя на жестяном плакате по технике безопасности, подsunутом под бочку, он помылся весь, после чего сдернул с антенны грозное полотенце и вытер только ноги, затем сунул их в боты и, ощутив нагретые солнцем стельки, которые были вырезаны из старых валенок, нашел себя готовым к трудам. Он хотел еще походить по двору, чтобы обсохнуть, но залаяла Профа, и вся собачья кавалькада помчалась к шлагбауму.

Когда со стороны шоссе к полосатой трубе шлагбаума подошла машина, одетый и вооруженный охранник уже приближался к ней из-за поленницы.

- Молодцы, звери мои, - поощрил он собак. - Разорвите их в клочья.

И собаки, понимая шутку, не подходили к машине, а только лаяли с лицемерным, показным остервенением.

Из кабины выпрыгнул черный от загара молодой блондин и протянул охраннику сначала листок бумаги, потом руку для пожатия.

- Что там на базе? - Охранник сунул пропуск в карман.

- Гришулин приехал. Сегодня, сказал, будет тебя аттестовать.

- Это... этот..., - охранник сморщил лоб. - Илья Ильич, кажется?

- Ну да. Новый инженер по технике безопасности.

- Уже полгода, а всё новый, - сказал охранник, отпирая замок на шлагбауме.

- Так себя держит, - сказал блондин.

- Лучше бы хлеба привёз, - сказал охранник.

- Если на обед успею, я привезу, - сказал блондин. Охранник толкнул шлагбаум и на ходу поздоровался с шофером. Машина проехала через двор к воротам из колючей проволоки, на которых, как и на шлагбауме, висела табличка: "ОПАСНАЯ ЗОНА". Охранник открыл замок на этих воротах, оттолкнул одну створку и закрепил проволочным крючком другую. Машина проехала к контейнерам и остановилась между ними. Блондин-раздатчик тем временем забежал в зарядное помещение, имевшее дверь с другой стороны дома, и с сумкой от дорожной аптечки поспешил за машиной.

- Как план, Коля? - спросил его охранник.

- Сделаем! Стрелять много!

Охранник ушел к себе и вписал в общую тетрадь цифры и фамилии из пропуска,

долженствующие отражать его служебную неукоснительность. Расписавшись в графе "ПРИНЯЛ" и повесив карабин на гвоздик за тулупом, он сходил с тетрадью к контейнерам, подождал, пока раздатчик отмеряет детонирующий шнур, и положил тетрадь на красный дощатый ящик с белой надписью: "ПЕСОК".

- От красного в глазах рябит, - сказал Коля, расписываясь в графе "СДАЛ".

- Это в ту вахту старались для инспектора РГТИ, - сообщил охранник.

- Встретили нормально?

- Нормально. Он дело знает, лишнего не требует.

Залаяла Профа, за ней Белка. Зашумел автомобильный мотор.

- А вот это прокольчик, - пробормотал охранник и поспешил на лай. - Ружьецо-то у нас в избе...

У шлагбаума стоял "уазик", от него шагал начальник смены, кудрявый здоровяк с мужественным лицом, не боящийся на людях спорить с директором, но всегда уступающий ему с глазу на глаз.

- Привет, командир, - сказал охранник.

Начальник смены с полным уважением пожал ему руку, но было видно, что недоволен. Вероятно, из-за бумаги, которую держал на отлете, как ощипанную курицу.

- Я знаю, - сказал он, - вас никого не заставишь включать рацию, но вы хоть включали бы, когда приезжают за взрывчаткой.

- Я в это время как раз всегда выключаю, - приветливо парировал охранник. - Я ведь в это время обязан быть во дворе. А когда гостей отправлю, ворота запру, тогда и включаю.

- Да, видишь ли, - начал начальник смены...

- Я только что начал с тобой связываться, - опередил охранник, - и как раз они приехали.

Подошёл Коля.

- Ты как стрелять думаешь? - напустился на него начальник смены. - Документы все оставил, а я тебя догоняй...

Всё ясно, понял охранник, вот он чем недоволен, мимо меня.

- Директор на базе? - спросил он начальника смены.

- Вчера улетел.

- Что ж он ко мне не заехал?

- Он собирался, - начальник смены пошел к машине. - Он знает, что ты один. Но ведь нет людей.

- Я не о том, - охранник шёл следом. - Он тут заметку передал. Я ее опубликовать не могу.

- И не надо. Это он просто отвечает на мои предложения.

- А парторг требует, чтобы давать. Но если я дам её рядом с твоей, никто больше ничего не предложит. Он ведь дает тебе понять, чтобы не занимался не своим делом.

- Ну и не давай.

- И не дам. Что это за стенгазета из двух заметок?

Начальник смены полез в машину.

- Инженер по ТБ к тебе приедет.

- Слышал. Когда?

- После обеда.

- Ладно. Пусть мне хлеба привезут.

Все уехали. Охранник швырнул палкой в кобеля, который под шумок начал подкрадываться к своей семье, и запер на замок шлагбаум. Потом, раздеваясь на ходу, дошел до дома, повесил всю одежду на один гвоздь и пошел дальше, к воротам склада. Он запер склад, но тут же снял замок и ушел в дом. Вернувшись с инструментами, соорудил из больших гвоздей крючок и две скобы и приладил все это на ворота. Потом оторвал разболтавшиеся петли, на которых висел замок, и прибил их заново. Набросив крючок и заперев ворота на замок, он подёргал их и удовлетворенно сказал кошке:

- Вот теперь нам ветры не страшны. И Трофимычу фитиль.

От работы он вспотел. Пришлось опять мыться у бочки и ходить от солнца к воротам и обратно, пока вода на коже не испарилась.

- Ну, хватит, - сказал он кошке. - Пошли, Марфа.

По пути в дом он последний раз отогнал настырного кобеля, поймал особо назойливого овода, оборвал ему одно крыло и отдал Профе. Велел двум увальням: "Профессора не обижать!" и ушел в дом, пропуская перед собой кошку и захватив с гвоздя свою одежду.

Крышка на чайнике обиженно прыгала, на плите между конфорками пузырилась лужица коричневой воды. Он снял с верёвки тряпку, вытер воду, снял с гвоздя котелок, налил туда кипятку до метки, обозначающей 1,3 литра, и поставил котелок на горячую конфорку, а чайник - на холодную. Затем он снял с гвоздя над столом ножницы, вскрыл ими пакет с супом, который принес из холодильника, высыпал содержимое в котелок, выскреб ложкой пакет, вымыл его и повесил сушиться на специально приколоченную рейку.

- Ну, вот, Марфутьера, - сказал он, мешая суп ложкой из нержавеющей стали, - через полчаса поедем, а пока можно заняться делом.

И, совершенно забыв о кошке, он сел у северного окна. Конечно же, неприятная мысль, с которой

поднялся утром, никуда не делась. Она просто ждала, когда он освободится, а он всячески отодвигал эту минуту.

- Ну-с, писатель Волобьев, - Неприятная Мысль усмехнулась, - ты вспомнил?

- Я и не забывал, - ответил он, потому что давно всё вспомнил.

- Тогда пожалте на анализ. Достань-ка бумагу ненаглядную.

- Ладно, - проворчал он и принес портфель.

- И пока не закончим, - предупредила Мысль, - за это свое..., за работу, - она снова усмехнулась, - браться не стоит.

- Сам знаю.

- Ну так читай.

Он достал из портфеля старую картонную папку "Для доклада", обтянутую зелёной американской пленкой. Из папки, чуть порывшись, извлек официальный бланк.

- Читай-читай, - подталкивала Неприятная Мысль. - Надо ведь что-то решать. И чем скорее...

Он читал про себя, это ее вполне устраивало. Кое-что он еще раньше подчеркнул, потому что бланк был получен еще до вахты. Подчёркнутые места Мысль просила прочитать вслух, и он не отказывался.

- Мы помним ваши первые рассказы, - читал он негромко. - Вселяли некоторую надежду... Однако с течением лет... Полную профессиональную и художественную несостоятельность... Вероятно, Вам нет далее смысла...

- "Дружеский совет" прочти весь, - велела Мысль.

- Ты от этого приятнее не станешь.

- Не отвлекайся. Читай - и будем принимать решение.

- Тогда ты оставишь меня в покое? - спросил он иронически.

- Не знаю, не знаю. Сейчас совсем не в этом дело.

Суп в котелке кипел ключом, вода капала с крышки и шипела. Волобьев с раздражением встал, снял с гвоздя рукавицы, надел их и убрал крышку на стол, перевернув её так, чтобы вода стекала внутрь.

- Ты отвлекаешься нарочно, - заявила Неприятная Мысль. - Этим делу не помочь.

- Зато я кое-что придумал, - ответил Волобьев. - Мы начнём издаека и пойдём по пути сравнения.

Он отчетливо заметил, как покорило такое решение Неприятную Мысль.

- Что ж, - заявила она после паузы, - тем хуже для тебя. Но и тем вернее.

- Итак, - начал он, - как ты поняла, речь пойдет об Алёшке.

- И начнем с возраста, - подсказала Неприятная Мысль. - Сколько тебе и сколько ему.

- Лучше бы со сходства, - не согласился он. - Мы с ним идём одним путем.

- Это внешнее, - отрезала Неприятная Мысль. - Не облегчай себе задачу.

- Хорошо, - сдался Волобьев. - Поехали. Итак, если без поддавок, то мои шансы равны нулю.

Мне сорок, ему - двадцать шесть. Он на десять лет меньше меня проработал в газете, он ушел из "Нефтеградской правды" на два года позже меня, но он всего за полгода вахтовой работы в охране здесь, при мне, у меня на глазах, прямо на машинке, ночами настучал фантастическую повесть, повёз её на семинар в Москву, её там одобрили, взяли в издательство...

- А его первая повесть была написана ещё до ухода из редакции, - напомнила Неприятная Мысль. - Она уже вышла в "Дебюте".

- Можешь не подсказывать! - рявкнул Волобьев. Он вскочил, выключил конфорку под котелком, накрыл его крышкой и продолжал, ожесточаясь. - Да! У него высшее образование против моего техникума. У него квартира, жена с литературным образованием, прелестный сынишка - против моей бездомности и бессемейности. Я пошел в люди, как Пешков, я себе всё запретил ради этой работы - и не справляюсь. А он делает её играючи, у него дома целый рабочий кабинет с библиотекой, а у меня ничего нет, кроме пишущей машинки и нескольких случайных книг...

- Поезжай к родителям, - процедила Неприятная Мысль. - Они тебе всякому рады. Воспользуйся "дружеским советом", и все редакции, в которые ты слал свою мазню, перекрестятся. Такой матёрый Графоманище оставит их в покое! Это ведь очевидно!..

- Заткнись! - попросил он сдержанно. - Второе, что очевидно, я тоже знаю: "Тебя ценят как хорошего охранника, охранников не хватает, получаешь ты здесь больше, чем многие инженеры там". Так?

- Ну а почему бы и нет? - прошептала Неприятная Мысль. - Остаешься здесь. Называй себя гвардии самым старшим охранником, смотри в свое удовольствие телевизор, сворачивай туски из бересты, как Алёшка, женись, как Алёшка, попробуй воспитать...

- Заткнись! - Волобьев больше не сдерживался. - Ушел поезд! Мне сорок, у меня кругом пусто, я всё поставил и всё проиграл, всю свою жизнь, можешь ты понять?

- Ещё не хватало МНЕ тебя утешать! Не забывай же, кто я...

- Вот-вот! - закричал он. - Даже Мысль Приятная ко мне не идёт, а ты о женщинах...

- Ну, тогда, - Неприятная Мысль усмехнулась, - тогда финита. Вот заряженный карабин...

Охранник затряс головой и вскочил. Неприятная Мысль пожала плечами и молча отодвинулась. Она его презирала, возможно, немного жалела, но уж, конечно, и слушать не стала бы ни о каком таланте.

Он шагнул в спальню и включил телевизор. Там плясала самодеятельность. Он выдернул шнур из розетки, потому что выключатель еще зимой сломал Трофимыч. И вернулся к столу. Неприятная была еще там.

- Не надо метаться, - сказала она. - Всё равно ты отсюда никуда не убежишь. До конца вахты восемь дней - вот тебе срок на размышления.

И она ушла, хлопнув дверью тамбура.

Охранник вздрогнул и вышел на стук. Второй прокол за сегодня: он забыл запереть на задвижку уличную дверь, и она сама распахнулась. Дверь ударилась о решётку для чистки сапог, сделанную из автомобильного маслорадиатора, и дёргалась на ветру, в тамбуре топотали перед холодильником два юных балбеса, их родители наблюдали снаружи, а Профа дрожала за ящиком для обуви с сохранившейся этикеткой "ВЗРЫВАЕТСЯ" - черная бомба на оранжевом поле. Волобьев молча выгнал собак и внимательно посмотрел на флюгер, у которого начал вращаться жестяной пропеллер, вырезанный из банки от сгущенного молока, выдаваемой ежемесячно каждой паре охранников. Трофимыч с Ивановной увозили эти три килограмма лакомства внукам, Алешка - сыну и жене, а волобьевская порция съедалась на месте: Алешка хорошо готовил на этой сгущенке торт. Он вообще хорошо готовил...

Волобьев посмотрел на флюгер и остался недоволен: ветер дул все так же с востока, дождя не жди. Он перевёл взгляд на гудящее шоссе. Новенькие "татры" с красными и желтыми кабинами, новенькие "кразы" аж с двумя прицепами мчали илистый песок в сторону дальних месторождений, где строились дороги и отсыпались на болотах всё новые площадки для буровых.

- Гуца жизни, - пробормотал Волобьев. - Мимоществие. А нас оно притомило. Мы теперь даже не на обочине. Совсем в стороне. - Он чуть подумал и добавил, запирая дверь: - Вот кто так рассуждает, тот никем никогда не становится.

Он достал из холодильника луковицу и вернулся в комнату. Положив луковицу на кусок хорошей клеёнки, применяемой для укрывания буровых, он взял под лавкой тарелку и налил в нее супу из котелка. Суп был горячий, и он поставил тарелку на железную печь, которая зимой топилась дровами, а летом служила чем-то вроде дополнительного стола. Из большого чайника он налил в стакан кипяток, из маленького, тоже металлического, добавил заварки, бросил две ложечки сахара и, подумав над третьей, вернул ее обратно в туесок, весьма ловко выполненный Алёшкой перед самым отпуском. У Алешки под кроватью хранился целый ящик разных инструментов, благодаря которым замки туесков получались ровные, доньшки и крышки - круглые, а резьба на них могла конкурировать на магазинном прилавке с карпатским буковым ширпотребом. Все дощатые детали Алёшка мастерил из кедра и никак не мог научить напарника отличать его древесину от сосновой или пихтовой.

Волобьев достал с полки коробку сухарей и поставил ее на клеёнку рядом с котелком и рацией. Вот теперь аппаратуру можно было включить. Он щёлкнул двумя рычажками, и комната наполнилась таким писком, будто влетел комар величиной с Профу. Из трубки полудуплексной связи стали громко доноситься энергичные голоса, требующие Юрия Ивановича, цемент на 41-й куст, диктующие сводку по проходке, приказывающие навести порядок на вертолетной площадке...

- Мимоществие, - повторил охранник и стал крошить прямо в котелок длинненькие сухарики, которые получают, если ломти хлеба порезать только вдоль, а затем своевременно вынуть из духовки. Ожидая, пока сухарики размокнут, он поднял трубку правой рукой, а левой нажал две кнопки на пульте. В трубке загудело. Он отпустил кнопки и прижал тангенту на трубке.

- "Тулуп-17", "Тулуп-17", - позвал он в трубку и отпустил тангенту.

Мужественный голос начальника смены ответил: "Минуту! С Нефтеградом говорю".

- Мимоществие, - пробормотал охранник в третий раз, и это его разозлило. - Ф-ф-фу-у-у, - выдохнул он тяжело и постарел лицом. Теперь ему можно было дать и больше сорока.

- Слушает "Тулуп-17", - раздалось в трубке.

- Командир! - Волобьев нажал тангенту. - Что нового?

- Скучаешь? - Начальник смены узнал его по обращению. - Жди гостя в 15 часов.

- Ясно, - сказал охранник и отключил рацию.

Он поставил кошке её остывший суп и сам тоже стал есть. Вместе с супом была съедена средних размеров луковица, крепко макаемая в соль - ради восстановления баланса, который нарушался употреблением дождевой, обессоленной воды. Конечно, можно было настоять, чтобы возили воду из скважины, ее пил весь посёлок, но не хотелось заводить в почках ржавые камушки. Потом он выпил чаю, прибрал на столе и посмотрел на свою шахматную доску, сдвинутую на время обеда к стенке. Он взял с нее картонный футляр, подаренный знакомым начальником партии, и достал из него тетрадь с цифрой "6" на обложке. Тетрадь была заложена на середине промокашкой. Он раскрыл тетрадь и перечитал последние полстраницы написанного. С раздражением захлопнув тетрадь, швырнул её на стол, ровным голосом спросил: "Ну и что?" и пошел к телевизору.

Небольшой телевизор марки "Сапфир 401-1" стоял на столе в спальне. Смотреть его можно

было через дверь, не отрываясь от несения службы. Директор привёз его зимой и сказал: "Чтобы скрасить вашу удалённость". Алешка любил сидеть перед экраном, как он сам выражался, "тупо уставясь". Он говорил, что в таком отдалении от цивилизации телевизор кажется ему ещё большим чудом, нежели он есть на самом деле. "Цивилизация - это не телевизор, - возражал Волобьев. - Цивилизация - это наш гексоген. А телевизор - это культура. Цивилизация - вредна, культура - полезна". Алёшка охотно и весело соглашался, потом всё же добавлял: "Пожалуй, взрывчатка - это и не цивилизация. Гексоген - это издержка цивилизации, правда?" Отстоять свое без навязчивости - еще одно из Алёшкиных достоинств.

Обычно Волобьев смотрел по телевизору только две программы - "Сегодня в мире" и "Время". Всё прочее было померой работе. Но сегодня работа не шла настолько, что даже заставить себя "просто сидеть", как это делал Флобер, у него не хватало сил. И он решил, что послушает рассказы, объявленные в программе.

Он немного опоздал: первый рассказ уже начали. Худощавый мужчина в строгом костюме хорошим голосом говорил без бумажки о молоденьком лейтенанте, которого перед самым концом войны генерал нарочно отправил с документами в Москву, чтобы сохранить его для живописи. Было похоже, что автор сам служил в воздушном десанте, такие подробности он давал. Но и не было в этих подробностях чего-то невероятного, недоступного пониманию. Как-то незаметно "бессмертный" командир героического десанта оказался в обыденных очках и заговорил о вещах совсем не военных. Сначала - о том, что война и бой - не одно и то же. Потом - об Искусстве, труднее которого нет ничего на свете. Потом связал воедино Искусство, Бой и Десант, и оказалось, что иначе и быть не может, иначе и жить незачем. И надо уметь всё, что умеют другие, и еще кое-что, а это кое-что надо делать только по первому сорту. И вот уже, будто иллюстрируя свои рассуждения, генерал гонит по грунтовой дороге свой джип, а на подножке, держась белыми ручонками за оконную раму, висит его восьмилетний сынишка, уступивший место в машине "пожилой" 32-летней даме. И это страшно, но почему-то справедливо. И вдруг - салют Победы над Москвой, похожий на палитру художника...

Волобьев сжимал веки, чтобы согнать слезы, и смотрел во все глаза на экран, хотя смотреть-то не на что, можно просто слушать. А слезы всё выступали и наконец потекли ручьем, когда мужчина на экране стал рассказывать: "Не качали только одного военного. Это был пожилой полковник со звездой Героя на вылинявшей гимнастерке. Он купил у мороженицы весь её лоток и шёл вниз по улице Горького, надев лямку на красную шею, и раздавал блестящие брикеты всем встречным детям. А слезы стекали по его морщинистому лицу на испачканный эшелонной копотью подворотничок"... Волобьеву показалось, что он запомнил этот текст дословно и навсегда. Именно так он сам бы описал этого полковника. И бессмертного десантного генерала, и его бессмертного десантного повара, который ночами плакал над удавшимися рецептами и заносил их в трофейную книгу с золотым обрезом...

Волобьев с трудом и восторгом дослушал рассказ и выключил телевизор. Это стоило попереживать. Он клял себя, что не узнал автора, и клялся, что узнает. Он ходил, перешагивая через сытую Марфу, и твердил на разные лады слова о полковнике... Потом он сел перед северным окном.

- Надо не просто увидеть, чтобы так написать. Надо разглядеть. - Он посидел в мрачной задумчивости и добавил: - А что я могу ОТСЮДА разглядеть? - Еще через время он добавил: - Чего себя обманывать? Я нигде! никогда! ничего! - не разглядел. Проехали. Теперь, я всего достиг и ни в чем больше не нуждаюсь.

Он вышел нагишом из дома и развесил свои вещи на гвоздях. Увидев его еще на крыльце, приبلудный пес поднялся из-за поленницы и ушел в лес. Волобьев, ничего не заметив, долго ходил то к солнцу, то от него, стараясь наступать рубчатymi подошвами бот на следы своих босых ног. Взад-вперед перед домом, от солнца - к солнцу, грудь - спина. Он топал по песку и думал тяжело и горько, и голову его под белой кепочкой не пекло, а пекло ноги под толстой резиной. Но он дотерпел свою норму загорания, пока не запекло менее привычные к солнцу места. Тогда он обмылся из бочки, в сотый раз поражаясь особой страсти паутов и прочей кровососущей нечисти именно к мокрому телу, особенно в тени.

Выскочив на солнце, он обсох быстро, но успел за это время скормить Профе дюжину зеленоглазых тварей с оторванными крылышками. Затем он вернулся в дом и лёг на свой чистый цветастый фланелевый мешок под покровом откинутого полога. Комаров здесь можно было не бояться, потому что, едва приняв от стариков вахту, он достал из рюкзака баллон с дихлофосом и убил в обеих комнатах всё, что летает и кусается. Особое внимание уделил окнам, дверям и ведру под раковиной. Уже неделю только шестичасовой комар будил его по утрам, напоминая о неизбывности зла в мире. И хотя сегодняшний комар был убит, Волобьеву время от времени казалось, что он сел или даже впился то в ногу, то в живот, то в плечо. Он понимал, что это тело вспоминает прежние укусы, но всё равно хлопал себя по разным местам и чесался. Это происходило машинально и не мешало ему думать.

Думал он о чайках над тайгой. Сегодня они кружились над его складом, свободно паря и покрякивая столь морскими голосами, что он вспомнил, как поначалу представлял под эти крики, что

вон там, за лесом - море, и стоит слегка напрячь органы чувств, как услышишь прибой и учуешь запах йода. Теперь чайки только оскорбляли его. Прожорливые бродяги, которые от северных морей поднялись до среднего течения самой длинной из сибирских рек, а от неё разлетелись по озёрам всё дальше, дальше в лес и уже пасутся на столовских свалках наравне с чёрными таежными воронами, которых зовут здесь "орсовскими косачами". Он думал, что не надо раздражаться из-за неромантического поведения чаек: санитары леса бесполезно сотрудничают с санитарями моря на благо планеты и её главного грязнули, покорителя и преобразователя природы, двуногого, особенно успешно искореняющего свою жизненную среду именно здесь, на хрупких окраинах Ойкумены.

- Ярко выражаюсь, - заметил Волобьев. Он протянул руку и в заранее приготовленную тетрадь внёс свое высказывание золотым пером.

Он снова лёг на спину и расслабился. Он знал: в момент перехода от реальности ко сну часто приходят необыкновенные мысли.

Иногда удавалось вынырнуть из сна и записать что-нибудь такое, удивительное и яркое, хотя бодрствующий разум чаще всего оценивал пришедшее уже не так высоко.

На этот раз мелькнуло несколько химер, которых он не запомнил, и вдруг ясно, почти материально, явилась женщина. Он никогда не думал, что женщину можно вообразить столь полно. Он не прикасался к ней, но его тело упивалось близостью, они не разговаривали, но он слышал все её мысли и знал, что она так же слышит его. И он не понимал, что за пространство такое кругом, летят они в нём или растворены и перемешаны друг с другом. Он всё же спросил у неё что-то вслух, и она ответила, и он узнал её голос и сразу же проснулся. Этим голосом сегодня разговаривала с ним Неприятная Мысль!

Он лежал на спине и чувствовал себя расплюснутым. Даже во сне, даже в открытом им творческом состоянии его лишают справедливости! Та, которую он всю жизнь мечтал встретить, оказалась прикрытием для беспощадной, жестокой, циничной Неприятной Мысли.

Тут новый звук начал просачиваться извне, и он себя похвалил: сторожевой центр на приближение автомобиля работал исправно. Правда, летом, сквозь сетку на распахнутой форточке звук проходил гораздо легче.

Охранник вскочил, сунул ноги в шлепанцы и, сделав два шага, был уже в спортивном костюме. Еще три шага в соседнюю комнату: карабин, ключи, кепочка, рация. Взгляд на наручные часы, подвешенные над столом - 15.00. Да, убрать шахматную доску и захлопнуть дверь в спальню: незачем предьявлять ему наш быт.

Он вышел на крыльцо как раз в тот момент, когда дежурная машина дала первый сигнал у шлагбаума. Из машины выскочил Коля, обнаженный до пояса, и своим ключом открыл замок на шлагбауме. "Это он зря, - подумал охранник, - такое доверие можно и не демонстрировать". Следом за раздатчиком на землю тяжело прыгнул пожилой, но хорошо сохранившийся верзила в официальном костюме, с кожаной папкой в руке и с застывшей на носатом лице обидой. Охранник знал о нём всё, что надо знать о начальстве такого рода: дослужился до начальника цеха, но утруждать себя не любил, ближе к пенсии стал неповоротлив, вот и вытолкнули в инженеры по технике безопасности. У них у всех обиженные глаза, строгие голоса и особая скованность, как у замученных в детском саду лесных зверушек, которых уже несут в корзине, чтобы выпустить на волю.

- Здравствуйте, Илья Ильич! - воскликнул издали охранник с приветливой строгостью матёрого профессионала. - Могу ли я убедиться, что вы ещё служите в нашей конторе?

Приятно ошарашенный столь изящной словесностью, Гришулин полез в пиджак и со всеми необходимыми бормотаниями предьявил в развернутом виде не только пропуск, но и своё служебное удостоверение. Охранник с обоими внимательно ознакомился, вложил одно в другое и вежливо вернул. Но атаку не прекратил.

- Если есть с собой спички, курево, прошу вот в этот ящичек.

К стене крохотной сторожки у шлагбаума, которую исконно использовали как вторую кладовку, был приколот небольшой ящик из-под детонаторов. Это велел сделать бывший главный инженер, согласно распределению обязанностей отвечавший за работу склада. Не оставив после себя ничего инженерно-конструктивного, этот человек был переведен в трест на бумажную работу, и напоминал о нём теперь только ненужный ящичек. Никто им не пользовался, кроме нового главного инженера, некурящего парня с отлично развитым чувством юмора. Он всегда привозил с собой спички и нарочно забывал их в ящичке.

Гришулин с озабоченным видом направился к сторожке.

- Только не забудьте потом забрать, - предупредил Волобьев. - У нас часто бывает.

- Не забуду, - успокоил Гришулин. - Я положил туда зажигалку.

"Если это юмор, - подумал Волобьев, - то этот дядька - наш человек". Но баловать начальство вниманием не стал. Он запер шлагбаум, хотя обычно этого не делал, извинился и ушел со взрывниками за колючую проволоку, хотя это и вовсе было лишнее. Проходя мимо Гришулина с тетрадкой, он ещё раз извинился и сообщил, что скоро освободится, а тот сказал: "Ничего, ещё наговоримся". И не спеша пошел следом.

Взрывники заканчивали отмерять детонирующий шнур. Коля быстренько поставил в тетрадь свой автограф и принялся отсчитывать заряды. Дело было ответственное, тем более что взрывник Коля только замещал настоящего хозяина взрывчатки на время отпуска. Волобьев заметил, что у шофера, помогавшего Коле, торчит из тесного кармана джинсов спиченный коробок. Делать замечание было не время, и он повернулся к гостю.

- Всё, я свободен. Прошу в избу.

Но тот уже положил глаз на спички.

- А вот товарищ нарушает.

Прежний инженер дождался бы, пока выйдут из опасной зоны, тогда бы отчитал. "Ошибся я в тебе, - подумал охранник, - нет у тебя чувства юмора!"

- Уже замётано, - ответил он уклончиво и попробовал оттеснить начальство к воротам. - Совсем с ними замучился. Иногда нарочно не сдают, чтобы подразнить. Однако сейчас мы еще вздохнули от нарушений".

И он стал рассказывать известную историю.

- Прошлой зимой приезжает один наш деятель. Взрывник шестого разряда. Сложил в ящик с зарядами и шнур, и детонаторы, а ящик от этого не закрывается. Что же вы думаете? Он вскочил на ящик и давай прыгать!

- Закрыл? - спросил Коля.

- Закрыл, - вздохнул охранник. - Я, правда, отошел подальше.

- Бог геофизиков любит! - констатировал Коля и грохнул молотком по ящику с зарядами, заколачивая гвоздь в крышку. С ещё большей обидой на лице Гришулин попятился.

- У тебя молоток-то обмедненный? - лихо спросил Волобьев.

- А как же, - ответил Коля и грохнул еще раз. Теперь инженер шел к воротам охотно.

- Обратите внимание, - жаловался охранник, - столбы вкопаны в болото зимой, поэтому уже все "пьяные". А под воротами легко может пролезть человек. Собаки не сгибаясь, пробегают.

Вот собачья тема была гостю близка!

- Хорошие сторожевые собаки вам бы очень здесьгодились, - сказал он веско. - Вы ведь работаете один?

- Один, - Волобьев вздохнул. - Уже неделю. Видно, всю вахту так придётся.

- Ведь не положено, - строго сказал инженер.

- Мы и так работаем по двое, хотя полагается втроем. Директор не может найти людей.

- Раздатчик вон какой загорелый! - инженер завёлся с пол-оборота. - А людей не хватает! А совмещение профессий? Раздатчик мог бы вас подменять, когда вы... Кстати, когда вы спите?

- У нас ведь дежурство круглосуточное, - Волобьев начал издали.

- Знаю, знаю!

- Я скажу вам, Илья Ильич, всю правду.

- Да-да, конечно!

- Я сплю аж три раза в сутки!

При этих словах поначалу все выражают изумление, но после объяснения начинают сочувствовать.

- Я сплю во время завтрака, обеда и ужина. В это время все в столовой, уж точно никто не придет. А встаю по будильнику.

Вот теперь он должен прикинуть, что получается всего три часа в сутки, и прийти в ужас... Нет, в ужас он не пришел. Он взглянул коротко, с подозрением и ещё энергичнее забубнил, что будет настаивать на подмене, потому что так нельзя, а раздатчик загружен недостаточно.

Кому другому, из своих, охранник заметил бы, что у каждого своя работа, и если начальник смены за те же деньги попытается организовать Коле "совмещение профессий", то этой своей работы у раздатчика мгновенно станет вдвое больше, окажется, что он и так ночей не спит, и это будет недалеко от истины, ибо буровики стараются подгадать свои заявки на ночное время, чтобы самим поспать, пока геофизики вкалывают, а народу в партиях хронический недобор... Однако свои это и так знают, а с этим специалистом уже было ясно, что любые откровенности отменяются и надо делать хорошую мину аж до 16 часов, когда за Гришулиным, может быть, пришлют обещанный автомобиль.

Инженер тем временем вернулся к своим собакам.

- Да-а, сторожевые псы вам бы очень не помешали.

- Только кто бы их еще кормил. В столовую за обедками не набегаешься. Тут самим бы прокормиться.

- Да-а, тоже верно. Я поговорю.

Молчал бы лучше, подумал охранник с раздражением, которое росло. А любитель собак продолжал.

- Почему, кстати, эту собачку назвали Профессором? Она ведь дама.

- Умные дамы тоже бывают профессорами, - охранник постарался светски улыбнуться. - Эта у нас как раз такая. И лает всегда раньше всех.

- А на меня вот сразу лаять перестала, - было непонятно, осуждает гость собаку или что-то намекает насчет себя. Последнее подходило к случаю больше.

- Она чует, на кого нельзя лаять, - сказал охранник. - На то и профессор. У нас есть один взрывник - он на вахте не пьет, но вообще выпить любитель и ходит в очень затрапезном виде. Вот его Профа рвет в ключья.

Они подошли к двери и охранник, продолжая удерживать инициативу, начал жаловаться, что до сих пор не заменили огнетушители, хотя, конечно, электро и прочая безопасность на складе соблюдается свято, приборы без надзора не оставляются, но всё же лучше бы вместо рации поставить телефон, а то чувствуешь себя сапером времен войны, у которого непрерывно пищит в ушах и замолкает только, когда мину найдешь.

- Кстати, о войне, - прервал гость. - Она показала, что радио - более надёжная связь, более прогрессивная, так что вы тут зря...

Он рассуждал долго, объяснял принцип действия радио и телефона, спорить было бесполезно, и охранник застрадал. "Ну как такому объяснишь, - думал он, - что по радио неудобно просить, чтобы привезли мне буханку хлеба, а собакам - объедков. И о внезапном налете какой-нибудь инспекции меня по радио предупреждать неловко. И более того: если отключится электроэнергия или от замыкания случится пожар, я ни с кем не смогу связаться, потому что ВСЯ рация работает только от сети, а от дохлого аккумулятора кое-как тянет один приёмник". И он тоскливо слушал и обреченно поддакивал, жалея о потерянном времени и лишь наблюдая за монологом, чтобы вовремя уловить паузу и сменить тему.

Вбежал Коля, попросил бумажку для контрольного замка, охранник выдал ему два заранее нарезанных квадратика, и наступила ожидаемая пауза. Но гость остановился сам.

- Так мы до ночи проговорим, - сказал он строго, будто это охранник убеждал его только что в преимуществах радио перед телефоном. - Давайте-ка позанимаемся делом. - И расстегнул свою папку.

- Тут у нас не вся документация в порядке, - постарался опередить охранник. - Образцы подписей пора сменить.

- Уже сменили, - торжествующе сказал Гришулин и достал из папки два листка. Ужасно он был доволен этим обстоятельством.

На первом листке был отпечатан новый список руководящих фамилий с образцом разрешающей подписи против каждой. На втором охранник увидел описание имущества, согласно которой он сам себе уже неделю передавал под роспись в постовой ведомости стол, два стула, тулуп, ненужный телефонный аппарат, ведро... Усмехнувшись про себя, он отметил, что в новой описи не значатся лыжи и фонарик. Что ж, пусть не значатся, это даже хорошо. Лишь бы лыжи стояли в кладовке, а фонарь пылился на полке. Зажимая бумажки в специальную папку, он сказал:

- Кстати, Илья Ильич, о фонарике. Нужны четыре батарейки, а то смотрите, как он светит.

Гришлин, не читавший, конечно, постовой ведомости, порылся в карманах, достал стило и блокнот, сделал запись. Охранник напомнил о замке с треснувшей дужкой и об огнетушителях, которые не заправлены.

- Вообще-то - сказал инженер, - у меня ведь тут никаких возможностей. Батарейки - у аппаратчиков. Не знаю, дадут ли. Огнетушителями занимается Живкин, замдиректора по быту. Он бездельник, его пора увольнять. Директор так ему и сказал...

Охранник снова усмехнулся про себя. С этим Живкиным, Алёшкиным ровесником, он познакомился, когда переезжали сюда со старого места. Два года уже прошло, но до сих пор те, кто знает, если хотят уколоть зама за нерадение, спрашивают, не нужен ли ему конвоир... Все дела Живкин всегда заваливал, завалил и переезд. Пригнал на старый склад "Кировец" и грузовик, постоял, подгоняя погрузку, и сразу после отправки исчез. А в этом прекрасном доме, с которого Волобьеву пришлось тогда сбивать замок, не было ни дров, ни электричества. Январь, полночь, до новой базы три километра. Охранник тогда обошёл с карабином весь посёлок, вытащил бездельника из-за преферанса и заставил довести переселение до приличного вида. Вот что рассказать бы вам, Илья Ильич, но неизвестно, что вы сумеете разглядеть вашим обиженным умом.

- Да-да, - кивал охранник, - его увольняют уже три года. Худо-бедно, а парень все же дело делал, и его терпели. Великая все же вещь - терпимость. Она спасет человечество.

- Надо добиваться! - восклицал носатый, и тон у него был такой, словно только охранник Волобьев и мог уволить заместителя директора по быту. (А тебя бы на его место!).-В общежитии слив не работает, сдано с ужасными недоделками, строители применяют пожарные рукава для своих бетонных работ...

- О бардак! - в тон ему грубо подхватил охранник и подумал:

"Что бы ты пел два года назад, при старой системе, когда мы теснились в разбитых вагончиках и пили из противопожарного водоема, отгоняя головастиков..." В нём всё росло раздражение к этому праведнику, который к концу неудачной карьеры приехал на север за большой пенсией и смеется, едва её получит.

- Я буду требовать! - шумел кандидат в пенсионеры.

- Они не имеют права! - поддержал охранник и поглядел на свои наручные часы, висевшие на гвоздике. До отбытия гостя теоретически оставалось двадцать минут. Гришулин тоже взглянул на часы.

- Ну, - сказал он профессорски, - приступим к аттестации.

Скучную процедуру пересказа инструкции №41 охранник украшал случаями из постовой жизни, жалобами на нерегулярность контрольных стрельб и ещё бог знает чем, лишь бы время шло скорее. Инженер поставил в его удостоверении обычную оценку "хорошо" и пообещал устроить разнос отделу кадров за то, что охранников называют в документах сторожами. Волобьев заметил, что в штатном расписании конторы вообще только два охранника, остальные же числятся рабочими склада или промысловых партий. Сказавши это, он полюбовался гневом, который вызвало сообщение у инженера, и подумал: "Вот оно, водоступие в действии".

Побушевав, гость заинтересовался карабином, и, хотя не его это было дело, охранник охотно вытряхнул из магазина патроны и подал оружие Гришулину - пусть потешится. Тот сноровисто выдернул затвор и заглянул в ствол. Но ничего не увидел: мешала затычка из тряпочки. Зачем она? Чтобы пыль в ствол не попадала. Он вынул, зануда, затычку и все же посмотрел через ствол в окошко. Наверно, служил старшиной, потянуло на воспоминания. Судя по возрасту, в войну он был пацаном, а служил уже с автоматом Калашникова. Впрочем, возможно, что и с карабином, где-нибудь на задах. А почему патронов только четыре? Чтобы в ствол сами не лезли. А сколько патронов всего? Тридцать восемь, вот в этом железном шкафу, показать? Нет, не стоит. Наверно, скучновато здесь одному? Скорее трудновато, сказал охранник, накапливается недосып.

- Вам тут от нечего делать можно романы писать, - сказал зануда и рассмеялся.

- А что, - охранник тоже засмеялся, -это идея. "От нечего делать! - передразнил он про себя. - Сам, небось, уверен, что делом занят?"

- Хорошо вашим сменщикам, -развивал мысль инженер. - Супруг всегда под боком, к пенсии зряплата идет. Служи - не хочу!

- Вот выйдете на пенсию и давайте к нам, - предложил охранник не без умысла.

- Я сразу уеду, - быстро ответил гость. - Я ведь не здешний.

"Так мы и знали!"-воскликнул про себя охранник и вслух сказал: -Я тоже нездешний, а вот привык.

- Вот и везли бы сюда супругу! - ляпнул инженер.

"Не знаешь людей, а в душу лезешь!" - взорвался про себя охранник.

- Да я как-то не успел жениться.

- Что же так?

- Да вот всё север покоряем...

- А сколько вам?

- Сорок.

- Пора, пора... Надо после себя оставить след. "Поучаешь? Какое право ты имеешь меня поучать? Какой след оставил ты? От ботинка?" Охранник мрачно молчал, и воспитанному человеку следовало бы понять и извиниться. И инженер, то ли поняв, то ли в силу своей непосредственности, без перехода заговорил о порядках на севере, о недостатках в планировании... Охраннику захотелось встать и уйти. И он встал, потому что залаяла собаки, и машина с зарядами выехала из-за колючей проволоки.

- Надо запереть ворота, -сказал охранник и остановился перед инженером, заряжая карабин и тем давая понять, что одного его оставить здесь не может.

- Пожалуйста, пожалуйста,- Гришулин продолжал сидеть.

- Вы можете с ними уехать на базу.

Инженер вскочил и поспешил наружу. Охранник вдавил последний патрон поглубже, задвинул затвор и вышел тоже.

Гришулин стоял в стороне, машина разворачивалась, из неё охраннику прощально махали. Он махнул в ответ, машина умчалась, и он побежал к воротам. Запер их, вернулся к инженеру.

- Они сразу на куст поехали, - доложил Гришулин. - Я подожду свою машину.

- Ладно, - бросил охранник и отправился запирать шлагбаум. Когда он вернулся к дому, инженер с недовольным видом ковырялся в пожарном ящике.

- Целую банку нитроокраски спрятали. Она от жары хлопнет, а рядом кто-нибудь чиркнет спичкой. И тушить нечем - к ящику не подойдешь. Даже лом со щита не взять. А в доме патроны... Кстати, почему на щитах нет ни одного топора?

- Их велели снять, - сообщил охранник с удовольствием. - Ибо они - оружие для нападения на склад.

- Какая глупость! - воскликнул инженер. - Да это просто расхлябанность! - И выдал монолог о том, что и полено может быть оружием, и лом, и багор, и... и так далее на пять минут. Закончил он уже привычным оборотом: - Я им устрою, мне скоро на пенсию, мне бояться нечего!

"Ты ведь такой, что и в самом деле устроишь, - подумал охранник и предложил: - Выйдем на солнышко, а то пауты съедят.

- Да! - Гришулин засмеялся, отмахиваясь. - До чёрта их у вас, бомбардировщиков "Харрикейн" с вертикальным взлетом.

Своему человеку охранник мог бы объяснить, что "Харрикейн" - это винтовой истребитель Второй мировой войны, а созвучный с ним английский же палубный истребитель "Харриер" не стоит считать бомбардировщиком. Но он опять смолчал, только подумал:

"О господи!"

- Уже четыре, - инженер посмотрел на часы. - Пора им за мной приехать .

- Приедут, - успокоил охранник, хотя сам в этом очень сомневался.

- Краску надо бы убрать отсюда, - напомнил инженер.

- Уберём, - пообещал охранник.

- Вокруг склада не пора траву косить?

- Отцветет кипрей, выкосим, - отрезал охранник, не видя более нужды в светском тоне.

- А зачем надо, чтобы он обязательно отцвел?

- Красиво, - буркнул охранник и про себя добавил, - болван.

Инженер потоптался, ища, чем заняться, и решил сделать запись в постовой ведомости. Этому ему тоже не полагалось. В графе "Замечания о несении службы и техническом состоянии склада" обычно расписывалось начальство не ниже главного инженера. Писали, как правило, "Замечаний нет", ибо сами, как правило, и отвечали за их устранение. Этот написал: "На объекте только один охранник". И тем ограничился. Наконец после этого сказал:

- Ну, я пойду, подожду у шлагбаума, не буду вам мешать.

Волобьев молча запер за ним дверь и посмотрел в северное окно, как инженер забирает из ящичка свою зажигалку. Потом было видно, как он ходит среди разбросанных за малой сторожкой запчастей, поглядывает на охраняемую зону, как неодобрительно качает головой, читая слово "ВСТРЕТИМ", начертанное на жестяном щите, притащенном Алёшкой со свалки и ради юмора приколоченном на фронтоне сторожки. Когда-то щит входил в какой-то длинный лозунг, а теперь приобрёл значение девиза вооруженной охраны по отношению к таким вот гостям, как этот Гришулин.

С опозданием всего на полчаса приехал за гостем сменный механик. Инженер поводит его среди запчастей, порассуждал о чем-то, механик важно покивал, потом добродушно посмеялся, и они, наконец, уехали.

- Все! - Волобьев уселся к северному окну и положил на колени шахматную доску с тетрадью. - Работать надо!

И в тот же миг услышал: "Какой смысл?"

- А, это ты, - как ни странно, он обрадовался, что она пришла.

- Тебе не показалось, что он хочет вернуться? - спросила Неприятная Мысль без предисловий.

- Он придет поздно ночью, - согласился Волобьев. - Он хочет застать меня спящим.

- Ну, и что ты думаешь?

- До ночи ещё далеко. Я поработать собрался.

- Работай, - она не скрывала иронии.

- Да вот ты пришла.

- А сначала так интересно приснилась, - уточнила она лукаво.

- Ты могла бы не уходить?

- О-о-о, - протянула она, - это уже помешательство. Двух Пигмалионов быть не может, поэтому тебе надо срочно жениться, иначе с ума сойдёшь.

- Да это он меня сбил: "Жену бы вам сюда".

- Ты сам себя сбиваешь. И сам себя пытаешься обмануть.

- Как я ТУТ могу жениться? А во-вторых - работа...

- Твоя работа! Без которой бедное человечество не будет знать, куда идти! - Она засмеялась, и этот смех он оценил как уничтожающий, но пропитанный жалостью. - Твоя работа, запомни, охрана склада. Она у тебя, по крайней мере, получается. Кроме того, ты можешь уехать отсюда, выучиться на стропалю, на сварщика, на кого угодно в этом роде - у тебя отличное здоровье. И оставь, оставь здесь все тетрадки, пишущую машинку, авторучку с золотым пером. Алёшке всё это подари - у него не пропадёт. А он подарит тебе инструменты и книгу о народных промыслах. Кстати, он их не случайно сюда привёз, это судьба. Рукоделие - вот твоё подлинное призвание!

- Ты зануда не лучше Гришулина! - Он вскочил. Она рассмеялась: - А меня кто просил не уходить?

- Я сам уйду! - И он выбежал на улицу.

Солнце всё ещё жгло, но с востока, как ни странно, поднималась черная облачная масса. Не сюда ли? Он оглянулся на свою веточку. В самом деле - она уже поднялась до горизонтального положения.

- Вот это хорошо! - И он принялся за вторую разминку.

Зимой по морозу, а осенью и весной по грязи разминаться во дворе было неудобно, он брал своё летом.

Во вторую разминку входила "школа". Здесь были удары, нырки и прыжки, применяемые в рукопашном бою без оружия. Проработав мышцы "школой", он вечером переходил к третьей разминке - к сериям и комплексам, составленным из элементов "школы". Сюда входило также метание самодельного ножа в доску, приколоченную с обратной стороны дома, метание в цель полена, толкание двумя руками сухого кедрового чурбака, удары ногами по набитому песком обрезку автомобильной камеры, подвешенному на высоте человеческого лица. В конце всего - упражнения с карабином.

Только один раз ему помешали: Белка принесла в зубах бурундука. Она поймала его в буреломе, окружающем площадку и созданном, разумеется, не бурей, а бульдозерным ножом. Брачным свистом бурундуков был полон лес, а ловить их собакам было всего легче рядом с завалами. Белка играла полосатой тушкой на песке, весело вспыхивающем слюдяными солнышками, а Волобьев смотрел и думал: "Вот чем кончают таланты: они в пении забывают о собственной безопасности"... Разминку он все же довел до конца.

Запыхавшись, он отдыхал у северного окна, разглядывал Алёшкины резцы и беседовал с автором того рассказа, что читали сегодня по телевизору.

- Война, - рассуждал он, - для всех горе, а для писателя, с точки зрения профессиональной - находка. Мне потому понравился этот рассказ, что я бы написал его точно так же. Может, потому у меня ничего и не берут, что я от рождения баталист, а пишу обо всём вот этом... Любой средний публицист поднимает все эти темы лучше меня. У всех этих вышибал-литконсультантов один совет: работай над словом, изучай теорию. Да никакая теория, никакой труд не заменит таланта!.. Но талант, говорят, многогранен. Он, говорят, во всём. Ну так славно: если я талантливый охранник, значит и в литературе я столь же талантлив?! Вот что получается, граждане теоретики! Так ведь нет того! Талант потому и талант, что УЗОК. А прочие способности - вниз от него. Алёшка хороший берестянщик и повар, потому что он талантливый писатель, а вовсе не наоборот. И талантливый охранник, каким являюсь я, годится только в хорошие дворники. Впрочем, возможно, во мне пропал политик или десантник, вроде вас, незнакомый писатель. Впрочем, почему незнакомый? А если вас вычислить? Военное поколение - это, не считая Леонова, Симонова и Шолохова - Бакланов, Бондарев, Богомолов, Курочкин, Пикуль, Поженян, Окуджава... Впрочем, Окуджава - это только песни и сценарии, если не ошибаюсь. А вот Анчаров, кажется, воевал в десанте. Поженян - в морском, а он - в воздушном. Вы ведь и художник, товарищ Анчаров? И еще бард... Вот поэтому я и плакал. Я уже тогда знал, кто автор. От зависти я плакал, товарищ писатель Анчаров. И от горя я плакал. Не в своем цеху работать пытаюсь, только мешаю.

Разлука ждет меня, а я её отодвигаю...

- Ну-ну, продолжай, что же ты?

- А-а-а, тут как тут... Что продолжать?

- Продолжай не кривить душой. Наконец-то. О разлуке договаривай.

- Уходить пора из литературы, вот что...

- Нельзя уйти оттуда, где не был. У тебя мания величия.

- Вот тут ты и ошиблась. Писатель - это не обязательно признание. Признание - просто формальность.

- Ну, тогда, - Неприятная Мысль рассмеялась, - тогда все вокруг - писатели. Каждый хоть раз, да подумал: "Я написал бы".

- Глупости. Писатель - это образ мышления. Это желание сказать всему миру нечто для него необходимое, глаза ему на что-то открыть.

- Только желание? Или ещё попытка?

- Обязательно попытка.

- Ну, вот мы с тобой и теоретики литературы. Вопрос о победах и удачах дискутировать не будем, а закончим сюжет проще: тебе, лично тебе - удалась писательская попытка?

- Если честно, то не знаю. Все эти отказы и советы не убивают во мне писателя. Только сбивают с ног. Но не с курса. Ведь существуют гении одного произведения. Вот и повод пытаться. Наверно, потому я и не ухожу. Пусть после меня хоть попытка останется.

- Настырен ты, однако, - сказала она недовольно. - Что ж, пытайся.

Она исчезла.

- И буду, - пробормотал он. И вернул на колени шахматную доску с тетрадь. Текст обрывался словами: "Плывем во вчерашний день: что там было светлого?" Он взял стило в свои неестественно толстые пальцы и самокритично подумал, что не следовало после журналистики пытаться судьбу в подземном ремонте скважин: и руки были бы целы, и любовь к печатной машинке осталась бы взаимной. Писатели! Обмораживайте всё, что угодно, кроме рук!.. Он исправил в последней фразе двоеточие на точку, и тут же ударил гром и дом задрожал от ветра. Он вздрогнул и рассмеялся: "От одной точки - такой эффект!"

Гроза налетела по-июльски - с вихрями и ливнем. Загудела вода по шиферу, зазвенела в пустых тазах под желобами. Он выждал несколько минут, чтобы смыло с крыши всяческую пыль и мусор, и выставил под желоба сразу три ведра, из которых в полевой описи значилось только одно. Затем он

вернулся к окну и любовался ливнем, пока тот не начал слабеть.

Он смотрел на потоки воды, обжигаемые молниями, и думал, что в самом деле гораздо лучше любоваться здешней красотой вдвоем, сидя совсем рядом хотя бы даже у этого клетчатого окна, и чтобы ОНА прижималась к нему при каждом ударе грома. И ни о чем не говорить. И чтобы ОНА в него верила. Ах, сколь многого он хотел! Но тогда собственная жизнь не казалась бы ему неудачной выдумкой, сравнимой разве с жизнью этого... Гришулина.

- До чего всё с виду просто, - произнёс он в тишине. - Так ведь нет...

Он сходил за ведрами. Два пристроил на печи, третье - на лавке и всё накрыл кусками толстой фанеры. Ему было уже не только жарко, но и душно, потому что с первым дождём после длительной жары иначе не бывает. Но он заставил себя снова взяться за тетрадку. Перечитав страницу еще раз и подумав с десяток минут, он уверенно стал выводить: "В сосредоточенном однообразии госпитального лежания..."

Через два с лишним часа к его сочинению добавилось полторы страницы. Не перечитывая, он заложил тетрадь картонным прямоугольником с наклеенной на него промокашкой и вместе с доской и авторучкой унёс в спальню. Там он взял со стола пластиковый конверт, вынул из него школьную тетрадь с двузначным порядковым номером на обложке, раскрыл её на такой же картонной закладке с промокашкой, отчеркнул по картонке уже написанное, поставил число, день недели, время, отметил в особой графе погоду, в другой узенькой графе поставил букву "Р" в кружочке, а напротив неё записал: "Депрессия после очередного отказа кончается. Начал работать: 1,5с. Отслушал по ТВ очень сильный рассказ - кажется, М.Анчарова (см. в "Асс."). "Меня сегодня муза посетила": пришла во сне, с твоим голосом, но лицом не похожа, а зовут ее - Неприятная Мысль. Не схожу ли я с ума?" С новой строки, напротив буквы "Ф" в кружочке, он записал: "Инж. по ТБ Гришулин Илья Ильич приезжал меня аттестовать с опозданием на полгода. Впервые пообщались. Мировоззрение - 50-е годы. Юмор -273 градуса. Общаться больше не стоит". Затем он достал общую тетрадь с надписью "АССОЦИАЦИИ" на обрезе и занес туда мысли по поводу прослушанного рассказа... Все означенные действия внезапно вызвали у него приступ отвращения. Со словами: "Только время убиваешь!" он захлопнул тетрадь и сунул ее в картонный футляр, по привычке обрезом кверху, что в свою очередь вызвало раздражение. Он запустил футляр в стену, потертый картон лопнул, тетради рассыпались по столу вокруг пишущей машинки.

Он вышел на улицу и до изнеможения делал свою третью разминку. Потом ополоснулся у бочки, вошёл в дом и вымыл голову под умывальником, долив туда кипятку из чайника. Потом стал смотреть по телевизору программу "Время", за ней - иностранный детектив и всё подряд - до объёмления программы передач на завтра. Программу он записывать не стал, а только прослушал и покачал головой. Затем он выключил телевизор и прилег под полог. Оставалось совсем немного - подогреть чай, поужинать и ждать.

Чай он пил около часа ночи, сидя в одних плавках, подложив на кожаное сиденье стула старую курточку. Комнатный градусник показывал +28, всего градусом меньше было за окном. Светлое небо на севере украшали только редкие клочья бесплодно истлевших облаков. Звёзд ещё не было. Зато был низкий туман, который залил всё пространство, не занятое лесом. Сквозь него, как по воде, проплывали, все в огнях, "татры" и "кразы", водители которых только что закончили полуночный обед. Комары толпились у форточки и у стыка стекол.

Больше он ни о чем не думал. Не снимая берестяного настаканника - Алешкино изобретение, - он вымыл стакан и убрал его в настенный шкаф за занавесочку. Затем надел брюки и рубашку, включил все пять прожекторов и выключил свет в обеих комнатах. Потом он снял с гвоздя карабин и открыл затвор. Покачав пальцем излишне утопленные патроны, он дал им подняться до боевого уровня и дослал верхний в патронник. После этого он полюбовался в южное окно на большую оранжевую луну, которая кралась за деревьями и никак не хотела всплывать в небо. И наконец он сел в темной спальне на стол позади телевизора, а карабин поставил рядом, прислонив его в угол между своей кроватью и окном, до самой форточки завешенным от зимних холодов двойным слоем дорнита.

- Готов? - спросила Неприятная Мысль, внезапно появляясь. - Что будешь делать?

- По обстоятельствам. Уходи.

- Он придет пешком. Для него три километра - пустяк.

- Я знаю, - сказал он. - Уходи, мешаешь.

...Совсем темно стало около двух. Светать начнет в пятом часу. Если до пяти не придет, значит передумал. Или не собирался вовсе. Тогда останется посмеяться над своим воображением. Или лучше сходить к невропатологу.

Около четырех тьякнула и тут же смолкла Профа, будто дернулся и снова застыл поплавок. Так вопросительно она тьякала на человека, потом заливалась. На этот раз не залилась. Но через минуту в луч прожектора, направленного на шлагбаум, вошел человек. Волобьев кивнул сам себе и продолжал ждать под громкий стук сердца во всем теле. Еще через полминуты, пройдя двор, человек подошел к дому. Узнать его охраннику не составило труда, хотя вместо официального костюма на

нем был брезентовый, противознцевалитный.

Носатое лицо, обтянутое капюшоном, прикикло к стеклу северного окна. Обиды на нем не было. Была хитрость. Даже, пожалуй, коварство.

"Если начнет стучать, я попрошу его подождать за дверью до восьми"

Большая мягкая рука уже поднялась, чтобы постучать по стеклу, но тут же упала. Коварное лицо ухмыльнулось и скользнуло в сторону склада.

- Ух, ты-ы-ы, - прошептал охранник. Он взял карабин и, мягко ступая кедами по дорниту, перебрался к западному окну.

- Ух, ты-ы-ы, - повторил он вполголоса и бесшумно распахнул форточку, на которой не было сетки.

Брезентовый костюм в это время уже пролез под воротами и вскачь приближался к хранилищам, которые матово белели в лучах прожекторов на черном фоне леса.

"Замков ему, конечно, не открыть. Просто попортит контрольки и уйдет, а утром явится с проверкой, да ещё с чужими... Ну зачем тебе эти хлопоты, зараза?"

Думая так, охранник вскочил на лавку, выставил карабин в форточку и положил ствол на рубчатый прут решетки. Хорошо освещенная человеческая фигура задержалась у одного из хранилищ, прикикла к двери. "В самый раз", - подумал охранник и нажал спуск.

Захлопнув форточку, он выбросил гильзу в ладонь и спрятал ее в единственный карман казенных брюк. Затем дослал второй патрон, вышел на крыльцо, бросил взгляд на неподвижное тело за колючей проволокой, поднял ствол к звездному небу и под собачий лай выстрелил еще раз.

Убирая в карман вторую гильзу, он посмотрел на залитое туманом шоссе. Там, помелькав огнями среди деревьев, появился большой вседорожный автобус "Урал". Это ехала на какую-нибудь дальнюю буровую очередная смена. Он вдруг подумал, что они услышали выстрелы и сейчас повернут на просеку. Что ж, пусть поворачивают, он готов. Однако автобус проплыл, не снижая скорости, и скоро стало тихо, только повизгивали и били хвостами по песку испуганные собаки.

- Проспали службу, - сказал им охранник. - Позор.

Он обернулся на юг и, хотя мешали прожектора, увидел высоко в небе небольшую белую луну. Зачем-то ей подмигнув, он вернулся в дом и запер за собой дверь.

Первым делом он положил карабин на лавку и долил в маленький чайник из большого. Потом перенёс маленький чайник к розетке, снял с гвоздика небольшой кипятильник, опустил его в чай и включил. Затем он включил рацию и несколько раз пытался вызвать своего начальника смены. "Тулуп-17", разумеется, спал в однокомнатной комфортабельной комнате нового импортного общежития, всего год назад собранного из восьмидесяти комнат-блоков. У его изголовья молчал на тумбочке телевизор, а рация пищала в кабинете, в дальнем конце коридора, на первом этаже. И к ней в это время никто, разумеется, не подойдет.

Охранник посмотрел на бесполезный список телефонов под стеклом на столе. Вот она, милиция. Но рации у нее нет. Да и милиции нет - так, участковый. У пожарных есть боевая часть, но рации нет тоже. Бедно живут уставные. А у него, богатого, нет телефона. Оборвали вышкомонтажники. Куст построили и шумят.

Быстро закипел чай, и охранник, слушая тоскливый писк рации, наполнил заваркой стакан и набросал сахару из красивого белого туюска. Он долго размешивал заварку, всё слушая писк, потом пил её, не обжигая пальцев, но обжигая гортань, и всё ждал, когда же кто-нибудь воспользуется рацией. Тогда можно вмешаться и спросить, нет ли там у них телефона. Ему совсем не хотелось кричать на весь эфир о нападении на склад взрывчатых материалов.

Выпив весь чай, он промыл и повесил на место кипятильник, вымыл посуду и спрятал её за занавеску, после чего снял с потайного гвоздика рабочую связку ключей. Он открыл железный шкаф с портретом Александра Невского на двери и достал оттуда, из-за коробки с патронами, капроновый чулок, чистую белую ветошку, двугорлый флакон с маслом и металлический круглый пенальчик. Всё это он расположил перед собой в удобном порядке на столе и, обдумывая, как покороче сделать запись в постовой ведомости, начал чистить ствол карабина.

Через несколько минут страшный удар в окно швырнул его на пол. Со звоном полетели на лавку стекла, стало хорошо слышно, как залаяли собаки. Быстро подняв голову, он увидел крупное полено, которое застряло в оконной решётке.

... убегающая брезентовая фигура, окружённая лающими собаками... которые никогда никого не кусали...

... надо же, промазал!.. Но затвор-то не разобрал... Быстро бежит со страху-то... Но одним патроном можно успеть...

Трясущимися руками охранник выдернул из ствола шомпол, отточенным движением вогнал патрон прямо в ствол, нажал на спусковой крючок, чтобы утопить шептало, и вбросил затвор на место. Не отрывая глаз от бегущего, оттянул до щелчка курок, остановил дыхание и уложил ствол в развилку, которая образовалась между рубчатым прутком решётки и застрявшим в ней поленом. Мимходом узнал поленом по торчащему вбок толстому сучку - с зимы не доходили руки расколоть. Расставил ноги пошире, замер на уровне полена и навёл мушку в световое пятно от прожектора

перед шлагбаумом - сейчас диверсант туда вбежит...

Выстрел! Оглушительно громко, плотно ударило в уши. Очень сильно толкнуло в плечо. На тот миг, пока летела пуля, что-то погасло в мозгу, будто оборвалась собственная жизнь. Пуля, назад!

Почему в первом выстреле не было этого чувства? Азарт?

Пуля, назад!!

Мишень дёрнулась, запнулась о песок, упала...

Миг убийства... Сколько разных концов... И свой...

Человек за шлагбаумом сразу же вскочил и скособоченно побежал прочь, прочь из прожекторного луча, к шоссе, по которому течёт жизнь...

Мимо...

Всё - мимо...

Владимир Шкаликов

НЕМНОГО НАЗЛО

- Когда между людьми происходит что-то дурное, одни начинают ловить виновных, другие - искать выхода. Какой путь умнее, подсказывать не надо, однако почему-то начинаем всегда с более лёгкого: нам кажется, что, едва накажем виновных (или хотя бы укажем!), и всё исправится само собой.

Такими рассуждениями развлекал меня мой напарник Володя, сидя в засаде под самой красивой из городских ёлок. Был канун Нового года, и этой ночью нашу подопечную обязательно должны были срубить браконьеры.

Уже несколько зим подряд жила в нашем городе дурная традиция: пару самых красивых деревьев из еловой аллеи на центральном бульваре непременно похищали в конце декабря - бесследно и практически на виду у всех. Ежегодно наша служба выставляла наряд для охраны, обороны и поимки - и ни одного успеха. В наряд всегда попадали мы с Володей. Из-за этого каждый раз не успевали к новогоднему столу. И каждое утро потом нас оповещал шеф, что еще две голубых ели стоят со спиленными верхушками, и поэтому в следующий Новый год почётная засада нам гарантирована.

- Когда людей оскорбляют недоверием, - рассуждал Володя, - им начинает казаться, что от них просто ждут чего-то дурного. А в данном случае оскорблено не только человеческое достоинство, но и чувство красоты. Ведь только идиот вроде нашего шефа мог первым предположить, что вот эту красоту кто-то способен порушить. Вспомни: когда эти елки посадили, весь город ходил ими любоваться. Представь, что после этого кто-то приносит такую красавицу домой!

- Своя же семья и выгонит!

- Вот именно! Вообразить это может даже коза.

- Но не наш шеф.

- Вот именно!

- Не будь тогда, в первый раз охраны...

- Вот именно!

В этот-то момент меня и осенило.

- Знаешь, Володя, а давай допустим, что наш шеф не глупее козы. Он просто тупой исполнитель. Соглашусь даже сказать - добросовестный. Ему велел кто-то рангом выше, а у того - своё начальство, а дальше - кто-то ещё начальственнее, и все не глупее нас, но...

- Понятно, - отозвался Володя. - У самого первого умника - большое воображение, остальные - не хотят брать на себя, а обижать народ приходится нам с тобой. Стало быть, и дураки в этой цепи - только мы.

- А поэтому...

- Пошли домой! Раз они столько зим ничего понять не могут, то пускай думают, что их меры наконец помогли. Чёрт с ними, не тронем ёлок на этот раз.

И мы покинули аллею. И встретили праздник как люди. И никто утром нас не беспокоил.

Опасаясь только, что будущей зимой нас отправят в засаду в знак особого доверия.

12.11.94г.

Владимир Шкаликов

НИКЧЁМНЫЙ ТИП

Когда могильный холмик подровняли, военком достал из кармана брюк никелированный "вальтер", пробасил негромко: "Вот зачем нас награждали именным оружием" и выстрелил в чистое небо. Постояв минуту с опущенной головой, он сунул пистолет на место и полез в "Волгу" с двубуквенным военным индексом на самодельном номере. "Волга" медленно покатила к воротам. Следом двинулся автобус военного училища, увозя отделение курсантов и четверых солдат хоззвода, участвовавших в похоронах.

Двое кладбищенских рабочих начали собирать свои лопаты и сматывать верёвки. На крашенных черенках лопат я разглядел отпечатанный по самодельному трафарету "знак качества". Верёвки были капроновые - обрезки альпинистского каната. Я хотел спросить, что это: юмор могильщиков или чересчур серьёзное отношение к общению с "тем светом". Но они ушли раньше, чем я решился заговорить.

У могилы остался только один человек, случайный зевака вроде меня, который подошёл посмотреть сиротские похороны, когда гроб уже опускали в яму. Теперь он, бледный и, видимо, утомлённый прогулкой, уселся на соседнюю лавочку и закурил, не проявляя интереса ко второму зрителю. Я оставил его одного.

Люблю бывать на кладбище и делаю это ежегодно, хотя никого здесь, слава богу, не похоронил. Выбираю солнечное летнее воскресенье (иногда, впрочем, как сейчас, заменяю лето погожим сентябрём) и хожу по "улицам" и "переулкам", пробираюсь боком по извилистым тропкам среди оград, перешагивая через не огороженные, опавшие холмики...

И думаю. Никогда не знаю заранее, о чём буду думать. Но как раз в этом и прелесть. Мысли на кладбище приходят самые неожиданные. На то оно и кладбище: вроде пусто, а полно народу, вроде тихо, а кажется, что все звуки мира застыли вокруг, как на снимке. Кладбище - это ведь фотография. Фотография жизни. Жизнь подвижна, изменчива, часто неуловима, а фотография, как известно, позволяет всмотреться в её остановленные фазы и разглядеть детали, проясняющие суть. Я думаю, Фауст проявил высшую мудрость, когда вскричал: "Мгновенье, стой!" Впрочем, с этими словами я несколько забегаю вперёд.

Итак, кладбище. Табеля о рангах - вот сегодняшняя тема. Ближе к воротам хоронят тех, кто в этой жизни больше весил. Может быть, перед богом все действительно стоят в одной очереди, но на кладбище - это ещё не тот свет. И на этом свете, в предбаннике (или в приёмном покое) праотчества - чем ближе к воротам, тем почётнее. И прощальный камень на грудь усопшему ставят тем тяжелее, чем больше добра он сделал оставшимся жить. И загородка вокруг захоронения тем просторнее, чем шире покойный был в плечах или чем шире в локтях его близкие и приближённые... Нет-нет, это болтовня, что на кладбище и в бане все равны. Нет равенства среди людей.

И хорошо, что нет.

И не надо.

Будет равенство - не о чем станет думать. Кого с кем сравнивать? Из чего делать выводы? Пирамида египетского фараона только с первого взгляда поражает: высока, равнобока, меж камнями, говорят, не просунуть ножа. Но рухнет ли она, если вынуть краеугольный камень? Нет. Любой другой? Нет! Единообразие, равнобочие, равновесие - это равенство для камней. А когда умер мой любимый поэт, рухнула та часть мира, которая на нём держалась. Если раньше меня умрёт мой ближайший друг, рухнет ещё часть мира - огромная. Если же, не приведи судьба, умрёт женщина, которую я люблю, весь мир обрушится на меня, и умру я сам, а со мной обрушится та часть бытия, которую, может быть, я поддерживаю для кого-то. Вот неравенство людей. Человечество не пирамида и даже вообще не конструкция. Человечество - это неравенство, которое не решить всем математикам вселенной.

И хорошо, что так.

Может быть, наша смертность - одна из главных опор нашего неравенства. Из-за неё мы ставим себе цели, спешим, надрываемся, безумно любим, совершаем подвиги и преступления (то и другое - две стороны одной сущности: стремления к необыкновенному, только умно или неумно реализованного), из-за неё увековечиваем тех, кто ушёл, в неосознанной надежде, что увековечат и нас. Стремимся к бессмертию, то есть к равенству, то есть к недостижимому.

И хорошо, что стремимся. Значит живём. И хорошо, что не достигнем. Это справедливо.

Итак, я всё расставил по местам. И дошёл до главного: до справедливости. Вот на чём стоит мир. Если бы рухнула справедливость, мир перестал бы существовать. Не мой и не чей-то ещё, а весь. Но справедливость нерушима. Она - закон природы. Её можно искать, найти, изучать, но её нельзя познать или истребить. Как гравитацию... Говорят, "могила" по-английски так и пишется - "grave" (правда, читается "грейв"). Ха-ха, прекрасное сравнение! Кладбищенское... Зато и научнее не найти: все, все мы равны перед гравитацией. Всех она тянет к центру земного шара с силой, пропорциональной физическому весу каждого. "Все там будем" - вот самая неопровержимая из

житейских формул. За рубежом её перевели с русского несколько произвольно: "Мemento мори" - "Помни о смерти", но, в общем, тоже правильно.

Взять хотя бы старика, только что похороненного. Доживал в одиночестве, умер не оплаканный - справедливо это или нет? Не знаю. Я не был с ним знаком. Но его похоронили такие же люди, как он, даже чем-то родственные ему: он служил когда-то, они служат сейчас. Отдали солдатские почести, даже выстрелили из трофейного пистолета. Так же, бывает, шофёры провожают своего до кладбища гудками. Человек в мире не одинок. Он хоть кому-то да свой. Всё справедливо...

Вот за этот поток бессвязных и необычных мыслей люблю раз в год бывать на кладбище. Чаще не надо: появится обыденность. Исчезнут мысли, начнутся рассуждения насчёт сравнительной стоимости надгробий... Впрочем, стоимость надгробий - это ведь тоже тема. Ремарк целый роман написал...

Размышляя таким образом, я незаметно сделал крюк и оказался на той же окраине кладбища, где оставил случайного зеваку перед свежей могилой безродного старика.

К моему удивлению, зевака всё ещё не ушёл. Такой же бледный, он сидел на той же лавочке и всё так же курил, меня не замечая.

- Вам нездоровится? - Я присел на лавочку.

Только после этого он откуда-то издалека вернулся и, смутно на меня посмотрев, дёрнул головой и снова её опустил.

На вид ему было лет сорок - возраст начала мужских инфарктов, и я на всякий случай спросил:

- Валидол нужен?

Он поднял голову и на этот раз усмехнулся:

- Как в анекдоте о дровах? - Полез в карман брюк с таким видом, что я бы не удивился, если бы он, как военком, достал никелированный пистолет. Но он протянул мне трубочку с валидолом. Я, в свою очередь, предложил заменить его таблетки моими капсулами с жидким лекарством: быстрее действует.

- М-да, - он поморщился на капсулы почти брезгливо, - дефицит. Только для чёрных.

- Это как?

- Для тех, кто работает в чёрном костюме, ездит на чёрной "Волге" и пьёт чёрный кофе....

- Всё проще, - сказал я. - Знаю в Москве одну аптеку.

- В Москве бываете, - процедил он с той же миной. - Тоже не из простых...

- Ну-у-у, - я ещё не решил, злиться или смеяться. - Фотограф в одном институте - это как по вашей шкале?

- Закрытый институт, - он кивнул понимающе, - все возможности.

- Увы, открытый, - я решил, что надо смеяться. - Просто немного совмещаю фотодело с наукой, потому и дальние командировки.

- А-а, учёный, - проворчал он без выражения. - Из белых людей. Так бы и сказал.

- Имеете в виду белые халаты, - догадался я. - А сами из каких?

Он поднял глаза. Тяжёлый взгляд.

- Мы-то? Из самых что ни на есть красных. Ездим в красных трамваях, пьём красное вино... На демонстрациях красные флаги носим... И кровь проливаем, когда нужно... За вас...

- А чего ты такой злой? - Я почему-то не смог сразу встать и уйти. Переубеждать в чём-то взрослого человека словами я считаю делом безнадёжным - тут нужны потрясения. Поэтому не встал и не ушёл я скорее всего из любопытства: жалкий, взъерошенный вид моего случайного собеседника не позволял по-настоящему на него рассердиться, а скорее вызывал вопросы.

Почему в такой прозрачный, спокойный день человек понёс дурное настроение не к друзьям, не в кино, не в пивную, наконец, а в этот заповедник теней, где уж точно некому его утешить? Впрочем, можно, пожалуй, допустить, что вид чужих похорон в сравнении с собственной неладной жизнью может кому-то принести утешение. Но таких людей я не встречал и не огорчился бы, если б не встретил. Хотя, кажется, как раз такой и сидел со мною рядом. Вот он снова поднял голову, которая под действием гравитации так и клонилась к земле, поковырял меня своим тяжёлым взглядом и с прежним безразличием ответил

- Тебе-то что?

- Может, помочь смогу...

Он поковырял подольше. Поразмышлял. Кивнул сам себе и оскалился в почти злорадной улыбке.

- Помочь, значит... Учёный... Ну, давай, попробуй. Только сначала дам тебе ещё одну возможность отказаться. - Он посмотрел на меня долго и испытующе, после чего выложил: -Этого Мишку, которого сегодня с такими почестями тут зарыли... Его убил я!

Мне удалось сохранить хладнокровие, и он это оценил, хотя и понял по-своему. Он решил, что у меня крепкие нервы. А я всего лишь принял в расчёт его отчётливую страсть к экстравагантности, и расчёт подсказал мне, что не стоит понимать столь прямое заявление буквально.

- Ну-с, так начинать или пойдёшь?

- Давай-давай, - кивнул я, пряча валидол и доставая папиросы. Он протянул руку, мы закурили, и

исповедь убийцы началась.

- Об этом Мишке я тебе могу рассказать, как о самом себе. Да я с него, пожалуй, и начну, потому что все мои несчастья - от него.

Чтобы не было ошибки, я следил за ним год. Я пишу афиши в одном доме культуры. Денег мало, зато время свободное есть. И я ХРОНОМЕТРИРОВАЛ его жизнь. Я его скрадывал и выслеживал. Я подглядывал за ним в щёлку. Я за ним в очередях стоял. Я с ним в автобусах давился...

Могу описать тебе один его день. Для примера. Чтобы ты понял, какой это был человек. Чтобы ты решил, жалеть его или презирать. Для тебя это важно, если ты решил мне... помочь.

(Последнее слово он произнёс сквозь сардонический смех.)

Ну-с, так вот его день. Это день заслуженного пенсионера-фронтовика, прошу заметить. Для яркости примера возьмём тот день, когда он получает пенсию.

Во втором этаже старого бревенчатого дома на Малой Подгорной есть одна дверь. До неё надо целую минуту, с поворотами, идти мимо других дверей. По длинному скрипучему коридору. Плахи на полу век не крашены. На стыках так стёрлись, что можно ногу подвернуть. Они так хлябают, что иные уже и не скрипят. А из них навстречу твоим шагам высовываются отполированные подошвами шляпки гвоздей. В обрывках швабры. Общие стены в коридоре - обтёртые и облупленные. А вот двери - разные. Тут уж хозяйский глаз. Кто свою кожей обил. Со струнами. Кто железом. Кто пластиком. Кто резьбой покрыл. Кто раскрасил. У одного даже под Хохлому расписано. А этот свою не обивал. Даже не красил. Когда его дома нет, на двери - два замка. Один амбарный, на петлях, второй, чуть поменьше - на почтовом ящике. Ящик самодельный. На всю ширину двери, чтобы больше вмещалось. Весь оклеен вырезками: названиями тех изданий, которые он выписывал. А выписывал он "Крылья Родины", "Военный вестник", "Зарубежное военное обозрение", "Авиацию и космонавтику", "Советский воин", "Пограничник", "Знаменосец", ещё несколько военных журналов, "За рубежом", газету нашего военного округа и, конечно, "Звёздочку".

- Какую "Звёздочку"? - не понял я. Рассказчик посмотрел осуждающе.

- "Красную звезду". Газету Министерства обороны. Надо знать. Впрочем, неважно. Что будет непонятно, спрашивай сразу.

Ну-с, так вот, его день. В шесть часов утра гремел крючок, дверь с почтовым ящиком распахивалась, и Мишка... Впрочем, ладно, это для меня он Мишка. Для тебя пусть будет майор Прохоров. Ради объективности... Итак, распахивается дверь. Он раньше всех, пока в санузле нет очереди, отправляет свои нужды, умывается и возвращается в свою комнату. В этой комнате я бывал без него. Подобрал ключ к амбарному замку. Опишу, вдруг тоже пригодится. Комната большая - пять на четыре. Потолок высокий, давно закопчённый куревом. Железная кровать, по-армейски заправленная. Над ней к стене приколоты газеты. И висят там на гвоздях, на плечиках пять кителей с майорскими знаками различия. На одном - все его награды: три "Звёздочки" /орден Красной Звезды знаешь, надеюсь/, "Отечественная война второй степени", ну и юбилейные медали. Всё, что надо для гигиены, он держал на окнах. Имелись также две табуретки и огромный бильярдный стол без бортов. Стол был завален мемуарной и специальной военной литературой. Всё покрыто от пыли газетами. Журналы - стопами - вдоль свободной стены. Бутылок не было - дома он не пил... Да, была ещё полка с его записями - что-то по тактике воздушного боя. Такая вот обстановка.

Напротив его окон - старые тополя. С одного я и наблюдал вечерами, чем этот Прохоров занимается. Но продолжим по порядку, с утра... Ты ещё не передумал помочь моему горю?

- До горя мы пока не дошли, - сказал я. - И, похоже, дойдём не скоро.

- Верно! - он обрадовался. - Что, ты уже и не рад? Не хватает терпелу?!

- Рассказывай, потерпим, - ответил я и подумал, что не так уж часто бывает, чтобы человек столь подробно рассказывал первому встречному о своей мести кому-то.

- Ладно, терпи, - он ухмыльнулся. - Можно бы сразу сказать тебе для затравки, почему я его убил. Но раз ты такой терпеливый, не скажу до самого конца.

(Я хотел было ответить, что в версию убийства не верю с самого начала. Что я не представляю себе человека, способного поднять руку на фронтовика, защитника и спасителя народа от фашизма... Во всяком случае, моего собеседника, несмотря на раздражающую его желчь, я таким человеком представить не могу. Но ничего этого я не сказал, вдруг испугавшись, что не услышу рассказа о мнимом убийстве. Кроме того, я вспомнил, что в ранней молодости, когда каждого занимают вопросы жизни и смерти, очень хотел услышать от настоящего, не книжного, убийцы, мучается ли он угрызениями совести по поводу погашенной им жизни, является ли ему жертва в часы одиночества и тому подобное. Одна из многих справедливостей жизни состоит в слишком позднем исполнении подобных желаний - и то в самом удачном случае, ибо гораздо чаще они не исполняются вовсе. Поэтому я и промолчал, решив, что человека, считающего себя убийцей, вполне можно, ради любопытства, приравнять к убийце настоящему. Тем более, что как раз такой тип убийцы и был мне, помнится, интересен: не патологический мясник, получающий от злодеяния удовлетворение, близкое к эротическому, а убийца, так сказать, волею обстоятельств, на какого только и мог походить мой рассказчик.)

- Ну-с, начнём с утра, - продолжал он со злой иронией, и мне показалось, что он больше хочет, чем может казаться злым и ироничным. - Утро бывшего майора Прохорова! О, это полотно! Это - "Переход Суворова через Альпы"! Он бежал на месте. Потом делал упражнения. Потом обтирался двумя полотенцами - мокрым и сухим. Потом брился опасной бритвой золингеновской стали, которую правил на специальном ремне, висящем на специальном гвозде. Действо! Ритуал! А для ради чего? Скоро узнаешь.

Вот наш майор, обрядившись в соответствующую погоде форму одежды, только, конечно, без погон, совершает километровой марш-бросок до почтового отделения. И ему выдают пенсию. Немалую, надо сказать, деньги. Вдвое больше моей. Майор тут же садится за столик, вынимает из внутреннего кармана шпаргалку и начинает раскладывать деньги по статьям расхода...

Однажды в День Победы он ушёл на парад в новом кителе с наградами, а я достал из старого кителя эту шпаргалку и ознакомился. Роман!

Вся личная жизнь героя великой войны - на одном листочке в блокноте! До мелочей не помню, но расходы примерно такие:

"Гигиена (баня, стирка и т.п.) - 3 р. в мес. Подписка - 90 р. в год, 7 р. в мес. Одежда и обувь - за счёт военкомата. За комнату - 2 р. в мес. Питание - 2 р. в день, 60 р. в мес. На пропой - 3 р. в день, 90 р. в мес. Курево (он курил "Беломор") - 22 к. в день, 7 р. в мес. Неожиданности - 11 р. в мес. Итого - 180 р. в мес."

(Я сказал этому человеку, что поражён точностью его памяти. Он резко рассмеялся.)

- Чему тут поражаться, учёный? Поражаться надо тому, что хочешь запомнить. А я и не хотел, да запомнил, потому что поразился! Ничего, сейчас и ты - тоже... Слушай дальше.

Он всегда просил в кассе деньги помельче, чтобы сразу разложить их по статьям. Разложив, соединял купюры скрепочками и прятал в бумажник. А в кошелёк засовывал только пятёрку - прожиточно-пропойный минимум. Чтобы наблюдать за ним, я завёл сберкнижку. Я клал на неё гроши и каждый раз потешался над кислой миной кассирши. Зато я видел, с каким выражением они выглядели через свой барьер на бухгалтерию Прохорова. Переглядывались. Делали большие глаза. И кивали: вот, мол, какой педант. Я видел, что они его уважают. Но не мог же я ни с того ни с сего начать им рассказывать, что это за человек!

Ну, вот. Отставной майор Прохоров сунул кошелёк в карман и, провожаемый, как прожекторами, восхищёнными взорами кредитных дам, вывалился на улицу. Я, как перехватчик, следом. Самолёт противника скрывается в облаке, на котором вывеска "Соки-воды". И выныривает с потяжелевшим подвесным баком. Я продолжаю преследование, оставаясь незамеченным. Прохоров скрывается в гастронOME. Когда выходит, его балетка тяжелеет ещё на два рубля - закусь купил. Я точно знаю, что к бутылке водки прибавился кусок колбасы, немного хлеба, масла и пакетик "дунькиной радости" - к вечернему чаю.

- Что за "дунькина радость"?

- Карамель-подушечка, о учёный, - ответил рассказчик уже не с презрением, а с жалостью, -по рублю за килограмм, потому что на эссенции: вредно для здоровья.

Ну-с, от пятёрки у бывшего пилота осталось тринадцать копеек. (В описываемый период бутылка водки стоила 2 р. 87 к.) Понаблюдаем за ним дальше. Он идёт в Лагерный сад.

Доходит там до обрыва и, как говорят авиаторы, зависает. Над простором. Обрыв, как тебе известно, метров пятьдесят, просторы пойменны и широки. По ним, прижимаясь к яру, змеится мелеющая Томь... Словом, так называемая красота. Я там стоял после него и представлял, что я - это он. Набегающие облака усиливали ощущение полёта. Я ведь всё же художник, воображение есть. Я заходил на штурмовку, давил гашетку и брал ручку на себя... Впрочем, тут я идеализирую в нём лётчика. Был бы он настоящим пилотом, летал бы до сих пор, а не шлялся. Может быть, стоя над простором, он не полёт себе представлял. Может, он преодолевал искушение броситься вниз головой и кончить свои мучения. Надеюсь, что мучения у него были...

Настоявшись у простора, он делал правый разворот и "летел" метров сто переменными курсами вдоль самой кромки обрыва, пока не упирался в беседку. Ты должен её помнить: круглая такая, стояла на самом краешке, очень опасно, к ней уже боялись подходить. А он забирался внутрь. И на единственной целой скамейке открывал свою балетку. Стелил клеёночку. Выкладывал столовый прибор, стопочку, соль, перчик, горчицу - да-да! - даже салфетки! Обслуживал себя по первому разряду - вот бы кассирши умилились! А что ты хочешь - ресторан на свежем воздухе. Над головой экстравагантная коническая крыша. Шатёр! Никто не смеет мешать, даже милиция. Потому что все боятся перегрузить платформу и улететь в обрыв... Круглый год можно пировать. Что он, между прочим, и делал... Вот выпил стопочку, закусил. Достал из балетки что-нибудь свежее по военному делу и, как говорят пьяницы, начал "чуйствоваться". Углубился в чтение. Читал не быстро. Качал головой и делал пометки. Пока дочитывал, выпивал всю бутылку. Часами смотрел под ноги. Или вставал, облакачивался на перила и смотрел в простор. В хорошую погоду это было можно понять. Но в плохую, когда в лицо ему несло мокрый снег... Лично на меня находила жуть. Когда вспоминаю эти моменты, мне кажется, что убийством я только оказал ему услугу.

(Рассказчик глубоко затянулся дымом и надолго задержал его в лёгких. Я подумал, что, может

быть, духовно этот человек близок тому, о ком рассказывает. И, возможно, кончина Прохорова, в которой он так охотно себя обвиняет, нарушила его собственную привязанность к жизни. Так порой долгожданная и трудно добытая победа оказывается вершиной, за которой только обрыв.)

- Ну-с, - продолжал он, выпуская дым, - больше рассказывать о Прохорове почти нечего. Общение с бутылкой равнялось почти целому рабочему дню. До и после беседки он нахаживал пешком восемь-десять километров. В конце пути оставлял пустую бутылку рядом с какой-нибудь урной - надо полагать, для опустившихся ниже, чем он - и оказывался перед своим бильярдным столом. Делал выписки из прочитанного за день. Крал прочитанное в соответствующую стопку у стены. Сдвигал книги на столе и что-нибудь писал. За десять минут до конца занятий он включал кофеварку "Экспресс". Это хорошая, вечная, пятнадцатирубливая вещь. Он купил её, надо полагать, за счёт графы "неожиданности". Заваривал не очень крепкий чай. Съедал с ним половину принесённых продуктов, чтобы хватило на завтрак - если у майора будет желание завтракать. Потом умывался и отходил ко сну.

- Вероятно, он ел очень мало, - сказал я.

- Да, - согласился рассказчик. - Ему хватало алкогольных калорий.

- Лётчики умеют терпеть, - добавил я.

- Да, - кивнул он. - У Прохорова была собачья выдержка.

- Теперь расскажешь о себе? - спросил я.

- Услышишь и обо мне, - он оскалился. - Только сделаю введение. Немного издали. Был у меня магнитофончик. "Электрон". Украинского производства. Старенький. Машинка никудышная. Плёнки всего на пятнадцать минут - ну что можно записать? Микрофон-таблетка, это хорошо. Но и прослушивание - через него же. Что услышишь? В ухо надо вставлять. Питание - три разных батарейки. Словом, несерьёзно. Отдал я его знакомым ребятам. Подшаманили, вставили аккумулятор. Теперь он крутит тихонько - целый час в одну сторону. И слушать можно... Сейчас сам услышишь.

Рассказчик достал из бокового кармана плоскую никелированную коробочку с прозрачной крышкой, под которой виднелись две катушки.

- Держи. Когда скажу, нажмёшь вот эту кнопку. Только закончу введение. Два дня назад я решил, что пришло время для операции "Должок". Сунул эту машинку в карман и пошёл перед отбоем к майору. Микрофон вывел в рукав, чтобы последняя точка зафиксировалась лучше.

- Какая точка?

- Ну, ты ведь не думаешь, что я стал бы его резать ножом?левой в корпус, потом правой по голове. При хорошей сноровке этого человеку довольно. А рука у меня тяжёлая...

- Самбист? Десантник? Боксёр?

- Это неважно. Вообще неважно, кто ты. Важно, что ты умеешь Верно, учёный? Ну, вот. Постучался я в дверь и включил запись. Теперь ты включи воспроизведение и узнаешь остальное.

Коробочка в моих руках стала опасной. Вдруг что-нибудь в этом переделанном аппарате замкнётся не так, и вся запись от моего нажатия сотрётся? Или меня самого разорвёт сейчас в клочья? Или обращаюсь в уголёк от страшного разряда электричества? Ведь этот человек - убийца? Убийца! Тогда почему же мне не было страшно до сих пор? Потому что не верил. Не было вещественного повода для страха. Были одни слова. А словам мы не больно-то верим. Слова ведь... Нет, они, как мы слышали, тоже убивают. Но ведь не нас...

Может быть, моё замешательство было понято им правильно, а скорее всего ему просто надоело смотреть, как я таращусь на кнопку с буквой "В". Быстро дотянувшись, он нажал её сам.

- Ко мне? - раздался мужской голос. Он был хриловат и маловыразителен.

- К тебе, Прохоров, - негромко ответил голос моего рассказчика.

Дальнейшее я слушал, как радиопьесу, даже порой забывал, что одно из действующих лиц сидит рядом и покуривает, а другое... Голос другого звучал, будто из этой свежей могилы...

ПРОХОРОВ. К незнакомым надо обращаться на "вы".

ГОСТЬ. Вот и обращайся. А ты мне хорошо знаком. Войти-то можно?

ПРОХОРОВ. Что ж, входи. Познакомимся.

Хлопнула дверь, близко от микрофона резко щёлкнул металл.

ПРОХОРОВ. Дверь-то зачем запер?

ГОСТЬ. Должок возьму без свидетелей. И не пытайся бежать.

ПРОХОРОВ. От немца не бегали, не побежим и от своих.

ГОСТЬ. Сейчас узнаешь, какой я тебе свой.

ПРОХОРОВ. Меня пугаешь, а сам занавески задёргиваешь.

ГОСТЬ. Ну и что?

ПРОХОРОВ. Значит, боишься.

ГОСТЬ. Ничего. Моё дело правое. Садись. Говорить будем.

Скрип табуретки под ГОСТЕМ.

ПРОХОРОВ. Ну, слушаю.

ГОСТЬ. В Ростове-на-Дону жил?

ПРОХОРОВ. Служил.

ГОСТЬ. Улицу Брянскую помнишь?

ПРОХОРОВ. Ну как же. По этой улице ходил в часть. Наши все ходили по ней.

ГОСТЬ. И Валю из библиотеки помнишь?

ПРОХОРОВ (после паузы). Помню.

ГОСТЬ. Очень хорошо. Поехали дальше. В тюрьме сидел?

ПРОХОРОВ. Это, положим, не твоё дело.

ГОСТЬ. Ладно. Ладно, па-па-ня... Нет уж, молчи и не перебивай. Слушай, что я скажу. Тебе будет интересно... Молчи, говорю! Будь мужчиной раз в жизни, а то могу не удержаться, а рука у меня тяжёлая.

ПРОХОРОВ. Говори, герой. Послушаем.

ГОСТЬ. Ничего. Скоро ты не так улыбнёшься... Мой папа - настоящий - был танкистом. Кончил училище в сорок первом. Моя мама только закончила тогда школу. И сразу вышла за него. А утром он уже уехал на фронт. И больше они не виделись. Я родился... когда полагалось... Отца знаю по снимкам. И по письмам. Он матери много писал. Всё карандашом. Погиб летом сорок третьего. Где-то под Смоленском. Лежит в братской могиле у Минского шоссе. Их там почти четыре тысячи. И "вечный огонь". Мать моя умерла в пятидесятом... Тебе в 50-м году ничего не запомнилось?

ПРОХОРОВ. Есть кое-что.

ГОСТЬ. Тоже не моё дело?

ПРОХОРОВ. Да пожалуй.

ГОСТЬ. Ладно. Слушай дальше. Рос я у тётки. Мегера, каких мало. Унижала всю жизнь, сколько могла. Она этого, впрочем, не понимала - ущербная от рождения. Кое-как школу кончил, сразу уехал на целину. Разнорабочим на стройку. Не понравилось: ветры там сильные. Тут как раз армия. Отслужил. Вышел оттуда кем? Только убийцей. Гражданская специальность прежняя: разнорабочий. Куда? В институт? Ушёл поезд: и так знал мало, а в армии и то забыл. В техникум? А что там жевать я буду на их стипендию? Не у тётки же помощи просить, унижаться. Короче, так: на Братскую ГЭС, на стройку века, по специальности. Только начал смотреть, чему бы научиться, меня самого разглядели. "Рисуешь? Будешь художником-оформителем". Ну, дальше можно много рассказывать, да незачем. Оформителем и остался. Всю жизнь - только прожиточный минимум. Ни семьи не создал, ни в люди не выбился.

ПРОХОРОВ. Ты что ж, человек без увлечений?

ГОСТЬ. Нет, зачем же так? Всю жизнь посвятил одному увлечению. А цели вот достиг только сегодня. Да и то...

ПРОХОРОВ. Что же это за цель?

ГОСТЬ. А ты посмотри на меня. Можешь ты представить, чтобы при живых родителях из человека вырос вот такой никчёмный тип?

ПРОХОРОВ. Не такой уж ты никчёмный. А вообще - сколько угодно: родители - приличные люди, работяги, а дети - ворьё, хулиганьё и пьянь. Сколько угодно. Только...

ГОСТЬ. А ты крайности не бери. Вот представь, что меня вырастила бы не тётка-мегера, а родная мама. Она дала бы мне учиться как попало? Она отпустила бы меня слоняться по свету? А без доброго совета она бы меня оставила?.. Вот так!.. Я родился не подонком, а только-натолько неорганизованным человеком, без стержня. Кто бы во мне этот стержень развил? Мама! Об отце вообще молчу. С ним бы я горы свернул. Но он-то положил голову. За нас с тобой, майор. А мама за что сгинула? За что, можешь хоть ты мне честно сказать, если ты ещё хоть немного мужчина?

ПРОХОРОВ. Станный вопрос. От чего она умерла-то?

ГОСТЬ. Ах ты... Он не знает, от чего умерла Валя из библиотеки! Ну-ка, экс-майор... Лучше сам вспомни...

ПРОХОРОВ. Валя из библиотеки? Твоя мать?

ГОСТЬ. Да-а-а... Вспомнил!

Долгая пауза.

ПРОХОРОВ. А я-то сразу не связал... Не похож ты на неё.

ГОСТЬ. Я на неё был похож. В детстве. Теперь - на отца.

ПРОХОРОВ. Тебя как зовут-то?

ГОСТЬ (гневно). Забыл?! Да, конечно, ты думал, что и в меня попал... Нет уж, не говори ничего. Молчи, я сказал!

ПРОХОРОВ. Ну, дай же слово вставить...

ГОСТЬ. Хватит! Ты уже вставил. Будем кончать.

Звук тупого удара - видимо, кулаком по колену. Скрип дерева. Отдалённые звуки движений ПРОХОРОВА. Металлический щелчок. Невнятный возглас ГОСТЯ. Властный окрик ПРОХОРОВА.

ПРОХОРОВ. Сядь! Твоя очередь слушать.

ГОСТЬ. Он у тебя не заряжен.

Немедленно за этими словами - резкий хлопок пистолетного выстрела и скрип табуретки под ГОСТЕМ.

ПРОХОРОВ. Заряжен, как видишь.

ГОСТЬ. Ты и тогда в нас из него стрелял?

ПРОХОРОВ. Не стрелял я в вас.

Даже издали было слышно, как тяжело дышится ПРОХОРОВУ.

ГОСТЬ. Зачем врать-то? Я же всё знаю.

ПРОХОРОВ (устало). Ну, кто тебе это сказал?

ГОСТЬ. Неважно. Одна знакомая.

ПРОХОРСВ (насмешливо). ОБС...

ГОСТЬ. Что?

ПРОХОРОВ. Одна баба сказала. Так я знаю, какая. Твоя тётка.

ГОСТЬ. Ну и что?

ПРОХОРОВ. Вот тут-то ты ей, мегере, поверил. А может, у неё были свои причины тебя обмануть? Может, она сама...

ГОСТЬ. Выкручивайся, давай! Без пистолета ты бы не выкрутился... Все вы в тылу герои, против безоружных...

ПРОХОРОВ (задыхаясь). Ты... щенок...

ГОСТЬ. Ладно, ладно! Нажми, убей теперь меня, не промажешь. Если б ты на фронте так стрелял, может, мой отец был бы жив. А то его ведь...

ПРОХОРОВ. Ах, щенок!.. Ты посмотри вон туда. Видишь три звездочки на кителе? Каждая - капелька моей крови... За каждой из них... Я ведь в трёх самолётах горел - ты не знаешь, что это такое... Ты не знаешь - их семеро, а ты один... Я их сбил двенадцать человек. Они все были истребителями, драться умели... Что ты знаешь... Когда от перегрузки глаза лопаются, а надо выстрелить и попасть... Ты думаешь, двенадцать - это мало? Двенадцать раз убить - это столько же раз умереть самому... И жить без неба - это всё равно что не жить...

ГОСТЬ. Но ты живёшь! А мой батя...

ПРОХОРОВ. Дурачок! Ты ничего не понял... Ладно, Уходи. И больше не появляйся. Не я убил твою мать... Вот тётку стоило бы... Уходи.

ГОСТЬ. Ну уж нет! Взятся, так досказывай.

ПРОХОРОВ. (после долгой паузы). 0-0-0-х-х-х... Тяжко...

ГОСТЬ. Валидолу дать?

ПРОХОРОВ. Валидол?! Ты уже сердечник... Глупо... Нет, мне не надо. Водку лекарствами не закусывают. И не для этого пьют... Пора бы уйти, да вот точку (постучал пистолетом по дереву) - рука не поднимается поставить.

ГОСТЬ. На нас тогда поднялась.

ПРОХОРОВ. И-и-и... Чёрт с тобой, расскажу кое-что. Про тётку твою рассказывать не стану, а про мать расскажу, что знаю... У меня с ней ничего не было. И с тёткой твоей - почти ничего... Валю все в части любили... Многие влюблялись. Знали, что мужа потеряла, сватались... Но она выбрала проезжего... Задержался у нас на месяц пролётом один майор из Кутаиси. Верно, его Мишкой звали, как и меня. Фамилию не помню, слышал мельком. Увёз он Валю в Грузию. Тебя, наверно, тоже...

ГОСТЬ. Наверно!.. Забыл?

ПРОХОРСВ. Всё ещё не веришь... Ну, что ж... Летом он её увёз, летом она и вернулась. Причин не знаю. Он явился следом и застрелил её. Говорили, что пьяный был...

Длинная пауза.

ГОСТЬ. Что ж ты? Досказывай. Про НЕГО. Что с НИМ стало?

ПРОХОРОВ. А ты не знаешь?

ГОСТЬ. Помню, как услышал выстрелы в спальне. Как мать выбежала в своём цветастом платье... Видел, как она побежала по коридору, упала на пороге кухни... Я почему-то оказался у двери во двор. Наверно, это она меня туда толкнула, а сама, чтобы ЕГО отвлечь, бросилась в другую сторону... Помню, как бежали с бабушкой куда-то. Потом - провал. Потом - едем в кузове "студебеккера", и солдаты набивают диски патронами. Как ЕГО брали, не помню, не видел. Если бы я помнил ЕГО в лицо, я бы за тобой так долго не следил...

ПРОХОРОВ. Сколько ж тебе тогда было?

ГОСТЬ. Через день после похорон пошёл в первый класс... Жаль, не запомнилось лицо. Почему - не знаю. Может, от страха. Защитная реакция... ОН, говорят, и в меня стрелял.

ПРОХОРОВ бормочет что-то невнятно.

ГОСТЬ. Что?

ПРОХОРОВ. Я говорю: "Бедный мальчик"...

ГОСТЬ. Ох, твоё счастье, что ты с пистолетом!.. "Бедный мальчик"...

ПРОХОРОВ. А мне теперь и гнать тебя жалко... Если б твоя тётушка... Иначе бы всё... Какие тонкие нервы... И вся жизнь - насмарку...

ГОСТЬ. Тебе меня жалко... Сниззошёл... Ни-че-го. Скоро сам уйду. Ответь только ещё на один вопрос.

ПРОХОРОВ. Слушаю.

ГОСТЬ. За что сидел? Только честно.

ПРОХОРОВ. Честно... Всем надо, чтоб другие были честными. (Пауза, наполненная тяжёлым, одышливым хрипом). Ну, слушай... В самом деле... Оба мы перед лицом смерти... Только мне скорее. Пора исповедаться. Слушай, сынок... Извини, что так назвал, это фигурально... Я своих после войны не нашёл. Сгнули в оккупации... Ну, слушай. (ПРОХОРОВ отдышался и заговорил ровнее.) В пятидесятом году меня списали из лётно-подъёмного состава. Все фронтовые раны начали в мирное время болеть. У меня три контузии... Вестибулярный аппарат - того... Словом, оставили из милости на кухне: назначили в аэроклуб, начальником парашютного звена. И дали пенсию... Хозяйство принял запущенное. Через месяц, едва вошёл в курс, у меня ЧП. Курсант-призывник попался психованный. На третьем прыжке надо было парашют раскрывать самому, а он забыл. И до самой земли не вспомнил. Высота была ... разбился, словом. Я оказался крайним - дали срок. Правда, небольшой, полтора года. Но вот бывает, что человеку не везёт. На штурмовках в мою машину дважды попадали зенитные снаряды. Раз всякий мост подо мною, под одним, оборвался. Сейчас вот ты... А тогда, в зоне, встретил я своего бывшего ведомого. Он мне третью машину погубил: испугался, отдал меня семерым "мессерам"... Я тогда к своим выбирался долго, три месяца. Да пока лечился... Пришёл - его уже куда-то перевели. Ребята рассказали, что он, когда вернулся, без меня-то, наврал насчёт шального зенитного снаряда... И вот его снова дают мне в напарники. В тюрьме друг другу насчёт статьи врать не принято. Узнал я, правда, от других, что он после того боя был тыловым снабженцем при авиации, потом демобилизовался, заведовал чем-то вроде базы или склада и сел за хищения. С ним мы поговорили только раз. Не удержался. Двинул по башке молотком и получил новый срок - на этот раз за преднамеренное убийство. Так что, посидел крепко... Вышел, правда, досрочно, по амнистии. Пенсия за мной сохранилась. Вот и доживаю. Сколько немецких душ загуби., не знаю. Но это война была. А своих - только эти две души на мне. Одна несчастная, другая насквозь нечистая. Больше грехов не имею... Можешь мне поверить...

В хриплом голосе ПРОХОРОВА слышалась надежда, но ГОСТЬ ответил резко и зло.

ГОСТЬ. Знаем, какие вы святые. Работал я с зеками на стройке. Какого ни возьми - все ангелы, все безвинные. А спросишь у воспитателя - не убийство, так разбой.

ПРОХОРОВ. Не веришь...

ГОСТЬ. И не поверю! Если б не твой пистолет, не жить бы тебе! Но я тебя всё равно достану. Отца убили фашисты, но до них далеко. А тебя - за мать - я достану!..

ПРОХОРОВ. А не боишься, что я тебя сейчас тут уложу?

ГОСТЬ. Не-е-ет! Ты же трус!

ПРОХОРОВ. А ты - дурак. Мне ведь сейчас терять нечего... Мне давно нечего терять. Да и трусом никогда не был. Тебе первому показалось...

ГОСТЬ. Был бы не трус, давно бы точку поставил. И мне бы сейчас не врал. Про ведомых, про парашюты... Знаем...

ПРОХОРОВ (задыхаясь). Ну, чем же тебе доказать, убогий?..

ГОСТЬ. Был бы невиновен, не стал бы так оправдываться.

ПРОХОРОВ. Пошёл... вон... дурак...

Из магнитофона донёсся шум падения, стук чего-то твёрдого об пол, неразборчивые возгласы гостя, затем шумы смешались.

Мой собеседник бросил на могилу Прохорова окурочек и протянул руку за своей коробочкой.

- Дальше там ничего нет. - Он посмотрел на меня очень внимательно и сразу пошёл в атаку. - Ну, что скажешь?

- Да, - пробормотал я, - это ты его убил.

- А-а-а, ты сомневался до самого конца... А насчёт его вины что думаешь?

- С тобой опасно разговаривать, - сказал я. - Если что не так, ты как достанешь прохоровский пистолет...

Я старался придать своим словам тон шутки, и это, на мой взгляд, удалось, но он не улыбнулся даже глазами. Его глаза сверлили меня, он ждал ответа,

- Пистолет я сдал сразу же, - сказал он. - Из этого пистолета военком делал сегодня салют. Ты мне скажи, ЧТО ты услышал из этой записи? Кто из нас прав?

Я без колебаний ответил, что считаю правым Прохорова.

- У тебя это на лбу было написано, - зло сказал он. - Я знал, что его честный голос собьёт хоть кого. Он и меня бы сбил. Но я-то смотрел ему в глаза, когда он врал! Я-то видел, что он врёт!!

- Может быть, - сказал я осторожно, - ты видел то, что хотел видеть?

- Нет!! - Он выкрикнул это слово и, разрядившись, успокоился. - А ты можешь, учёный человек, допустить такое совпадение, чтобы в один год за разные убийства сели в тюрьму два лётчика, оба - майоры, знавшие друг друга и одну и ту же женщину? И чтобы они оба - Мишки? И чтобы невиновный не помнил фамилии виновного в столь шумном деле? И чтобы он не помнил имени

племяша своей любовницы?.. Да всё шито белыми нитками!

- Забыть имена и фамилии можно легко, - сказал я. - А прочие совпадения, хоть и с трудом, но тоже всё-таки возможны. Его рассказ выглядит очень правдоподобно. Таким тоном и в такой ситуации, по-моему, не врут.

- Да ты зеков не знаешь, - усмехнулся мой собеседник. - Они иногда профессионалов обманывают, а уж нас с тобой...

- Я всё же думаю, что не мог человек нести такую ложь в могилу. Он ведь чувствовал, что умирает...

Мой собеседник, не глядя на меня, достал валидол, подержал на ладони и отправил обратно в карман. Оттуда же извлёк пачку дешёвой "Примы" и жадно закурил.

- Вот убил, а искупления не чувствую, - сказал он сумрачно. - Что-то не так, а что - не понимаю. Чего-то для полной победы не хватает. Вот слушаю запись - и верю ему, черти бы его брали. Голосу верю. Но ведь глазам я не верил!.. Вернуть бы тот вечер и посмотреть ему в глаза ещё раз. Приказать бы, как Фауст: "Мгновенье, стой! Дай разобраться!" Сейчас бы я точно разобрался... Ну, скажи, учёный, - он вцепился в меня полубезумным взглядом, - может современная наука мне помочь?

Я молча встал и пошёл к выходу. Я даже не извинился перед этим несчастным.

Сначала сзади было тихо. Потом в лопатки мне ударил заряд злорадного смеха. Остановившись не имело смысла. Я шёл дальше, стараясь унять мурашки на спине. Внезапно смех оборвался, шагов пять стояла тишина, затем яростный и беспомощный крик рванулся к небу и завяз в тёплом воздухе "бабьего лета":

- Наза-а-ад! Время, наза-а-а-ад! Горе ведь у человека!!

Я не обернулся. Над временем наука не властна. А чем ещё я мог помочь?

02. 11.1983г.

Владимир Шкалик

ПЕРЕВОСПИТАЛ

Рассказ

- Почему не мёрзнешь? -
спросил римский воин полуголового скифа.
- А твое лицо мёрзнет? –
ответил вопросом скиф.
- Нет.
- Я весь - как твое лицо.

Всю жизнь страдаю от слов. Они досаждают мне с детства. Но, разумеется, не все, только лишние. Сколько себя помню, слова составляли основную часть воздуха, которым мне приходилось дышать.

На маминых заседаниях, пленумах и форумах надо было тихо сидеть позади президиума и "чем-нибудь заниматься".

На папиных планёрках и совещаниях надо было тихо стоять или сидеть где-нибудь поблизости и "чем-нибудь заниматься".

В гостях у бабушек и дедушек, которым меня частенько подкидывали, надо было сидеть под книжным шкафом и "чем-нибудь заниматься", пока они сравнивали свои прошлые промахи с промахами моих родителей.

Во всех этих случаях, чем бы я ни занимался, уши были открыты для умных и всяких других речей, и постепенно, нисколько не напрягаясь, я постиг искусство отличать пустые слова от полновесных, даже придумал для них прозвища. Слова-рабочие означали дело, слова-художники украшали речь, слова-паразиты я, по совету отца, записывал, выучивал и никогда не употреблял, а слова-бездельники составляли предмет моей ненависти и страдания, потому что отравляли мне жизнь и были многочисленны, как мухи, только никогда не впадали в спячку.

Я всю жизнь страдал от слов, потому что вырос среди них, дышал ими, не мог не дышать, уставал от них смертельно, не мог обуздать, видел в них инструмент для работы, а находил сплошь и рядом орудие для пыток и, главное, нигде не мог от них отдохнуть.

Даже дома. Вот об этом и речь. Но для полной ясности - ещё небольшое отступление.

Сейчас хороший тон - ругать административную систему управления (вот уже лишнее слово!). Её теперь называют административно-бюрократической. С презрением, с негодованием, с уверенностью в её скорой кончине. Но, разумеется, при соблюдении нескольких "если". То есть, "если каждый из нас", "если повсеместно", "если постоянно", "если неустанно", "если непримиримо"... Ну и, конечно, "если гласно", "если демократично", "если невзирая". Из-за этих слов я и страдаю. Точнее, из-за их сочетания с "если". Потому что оно даёт лазейку: ничего не сделать, а потом сказать то же самое "невзирая", но уже с прибавкой "если бы". И все удовлетворены, все недовольны, только дело - ни с места. Слово-рабочий превратилось в слово-люмпен.

После такого вступления бесполезно уточнить, где и кем работаю, но, уверяю, определяющего значения это не имеет. Скажу вообще, извольте ужаснуться: я потомственный административный работник в принципиально неуничтожимом административном заведении. И кстати позволю себе напомнить, что исконное значение латинского слова "администрацио" - управление, и давайте бросать камни не в него, а в тех, кто обесчестил это славное понятие, ибо слово, обратное ему по значению - анархия - в переводе не нуждается и восхвалению не подлежит. Что же касается моего административного заведения, то в нём все упомянутые деловые понятия употребляются без "если", наша рентабельность, самоокупаемость и все прочие "само" ни у кого не вызывают сомнения, а я в этой системе занимаю вполне бесполезное место. Однако по роду деятельности нередко бываю вынужден процеживать целые потоки слов, чтобы выудить из них хоть несколько рабочих. Естественно, устаю. И вот мы подошли к концу рабочего дня, можно идти домой, пусть всё начнётся.

Женька дома всегда раньше меня, потому что работает через дорогу. Уже проверила у Митрошки уроки, заставила его поесть, отпустила погулять и в длинном халате, распутивши волосы, сидит-до-жидается. Вот я на пороге, мы целуемся так, как полагается при встрече супругам с нашим семейным стажером, она уносит мой портфель в кабинет, я начинаю раздеваться, а из кабинета, потом из общей комнаты, потом из кухни звенит её голосок.

- Боренька! Ты помнишь, я тебе рассказывала про Валентину Сергеевну? Она у нас старший бухгалтер, но директор принял ее на условии, чтобы она выполняла работу главного бухгалтера, но ей приходится ещё быть кассиром, потому что кроме неё в бухгалтерии вообще никого нет, потому что он людей меняет, как перчатки, чтобы ему легче было обдирать свои тёмные делишки. Садись, только руки помой, хватался там за всё. Я купила овсяное печенье и масло, а кефиру не было, в нашем универсаме совсем обнаглели, только поздно вечером молоко привозят, надо будет

сходить или Митрошку сгонять, если не загуляет. Я просто не знаю, что делать с этой ихней Людмилой Ивановной: она ему поставила три-четыре за "Морозное утро", а ты ведь помнишь, какое хорошее сочинение, тебе ещё понравилось, я совсем ему не подсказывала, ты ведь помнишь? Говорит: "За плохой почерк". Нет такой оценки - "за плохой почерк", есть, как положено, за грамотность и за содержание. Содержание отличное, вот и поставь человеку "отлично"! Он ведь посмотрит-посмотрит на эту показуху да и плюнет, вообще бросит стараться, станет учиться спустя рукава, он ведь со всех сторон только и слышит: "Оценка по конечному результату!" А где она на деле? Я уж его настраиваю. Знаешь, Боренька, к черту эту педагогику. Если учитель неправ, то и надо говорить ребенку, что учитель неправ, потому что дети не такие уж дураки, они всё сами видят. Тебе две котлетки или три? Смотри, я хорошо поджарила. Я их купила, с луком перекрутила, теперь хоть есть можно, правда? И с подливкой, с подливкой вкуснее, не отказывайся, я её сама сочинила, она остренькая. И вот Валентина Сергеевна, наш главбух, мне сегодня говорит. Мы с ней иногда разговариваем, и она со мной делится, потому что у нас есть машинка, а у нее машинка сломалась, она электрическая, и ее уже полгода ремонтируют, ремонтируют, вызывают мастера, а он приедет, поковыряет, что-то пообещает и уедет, и ничего от него не добьешься. А у нас машинка механическая, "Оптим" с большой кареткой, директор всё забрать грозит, и я ей кое-какие документы печатаю, а потом мы немного разговариваем, потому что ей одной в бухгалтерии скучно, а у меня в последнее время, ты же знаешь, тоже рядом никого, вот мы с ней и сидим.

- Что же она сказала? - Мне трудно следить за такой речью и одновременно жевать котлету.

- Ты меня не торопи, а то я собьюсь, - Женька наливает чай мне и себе, садится и продолжает. - Понимаешь, наш директор - жук ещё тот. Все это знают, но все боятся, что он будет пакости устраивать, и только шепчутся по углам, и никто не может на его делишках его поймать. Потому что тех, кто может его поймать, он связал по рукам и по ногам своими тёмными махинациями. Он сначала свяжет, использует человека на всю катушку, а потом подстроит так, создаст такие условия, что человек вынужден уволиться. А на собраниях все сидят и молчат, как в рот воды набрали. Он, например, так сделал со своим шофёром. У нас служебный "Москвич" - он, кстати, не дает его Валентине Сергеевне за деньгами ездить, - а у него своя, личная машина - тоже "Москвич", понимаешь? И вот получили к этому "Москвичу" новые колеса...

- При чем здесь эта... главбух?

- Ты погоди, ты меня не сбивай.

Я встаю из-за стола, мою посуду, а Женька стоит рядом и продолжает щебетать.

- Понимаешь (отмечаю слово-паразит), он избавился от прежнего главбуха восемь месяцев назад. И на ее место пришла Валентина Сергеевна. Он знал, что она бухгалтер очень опытный, с очень большим стажем и вообще (отмечаю "вообще")... А в декабре у нас ожидается министерская комиссия. Или ведомственная, я забыла, но это неважно (отмечаю массу лишней информации). А главная бухгалтерская книга отсутствует, ты представляешь? А по документам получается...

Я выключаю свет и беру Женьку за плечи. Она говорит не без огорчения:

- Я думала, тебе будет интересно...

- Мне интересно, - беру ее на руки и несю в нашу комнату. Она лепечет: - Я хотела с тобой поделиться...

Руки у меня заняты, но мне удается сделать так, чтобы она помолчала. В нашей комнате пытаюсь проскользнуть мимо выключателя, но она успевает махнуть рукой, и становится светло.

- Ну, зачем? - я начинаю сердиться.

- Боренька, сейчас Митрошка может прийти, я ему сказала, чтобы пришел пораньше, потому что надо ведь сходить за кефиром...

- А документ? - говорю я хмуро. - Может, предъявить?

Пятнадцать лет назад, перед самой свадьбой, мы вырвали из календаря два листка и прямо на них написали друг другу расписки. В том документе, который собираюсь предъявить я, означено: "Признаю моего Бореньку своим мужем в любое время дня и ночи, года и числа, рода и падежа, отца и сына и святого духа", и Женькина подпись. Такой же бюрократической грамотой располагает и она, но хранит ее только как память о пылкой юности, а я все еще злоупотребляю, и она пресекает не без изысканности:

- Знаешь, что? (Опять лишние слова!) Ты предъяви свой документ, когда Митрошка ляжет спать, ладно? Когда он уснет, тогда мы оба и предъявим, ладно? (Уж сказала бы "нет" - и дело с концом).

И вот мы долго сидим в кресле, я долго выслушивая историю про жулика-директора - с длинными отступлениями, с массой ненужных, раздражающих слов. Наконец туепо окончательной и, сохраняя не без труда миролюбивый тон, объясняю, что всё это озеро информации можно слить в одну фразу: "Наш директор избавился от прежнего главбуха, а нового принуждает спрятать от комиссии растраты на 70 тысяч рублей". Когда я только научу тебя нормально общаться?

Женька встает с моих колен, ложится на диван вниз лицом и плачет. Я так ненавижу себя и все на свете слова, что не нахожу для любимой женщины ни одного в утешение. Я беру первый подвернувшийся журнал и начинаю его листать. Попадается интервью с крупным административным лицом. Его ответы корреспонденту: "если каждый из нас", "если повсеместно", "если постоянно"... Отшвыри-

ваю журнал, не дочитав. Зарёванная Женька молча встает, в ее глазах раздумье. Отстраняется от утешений, молча одевается и уходит за кефиром.

Митрошку я укладываю спать в одиночестве. На вопрос: "Где мама?" отвечаю: "Скоро придёт".

Мама в самом деле приходит скоро и приносит кефир. Сообщает: "Была у Людмилки" (это её одноклассница и почти соседка), раздевается, молча предъявляет мне свой "документ" и ложится в уже расстеленную мной постель. До утра она молчит и утром на мое сообщение о том, что еду в командировку и вернусь через неделю, молча кивает.

Моя административная командировка никакого интереса для посторонних представлять не может, поэтому вернёмся на то же место в прихожей, где неделю назад Женька молча обняла меня на прощанье.

Командировка хороша тем, что в день приезда можно идти с вокзала не на службу, а прямо домой. Я пришёл домой раньше Женьки, проверил уроки у Митрошки, отправил его гулять в новой, "от зайчика", куртке, сварил кашу, заварил чай и встретил Женьку у порога. После дружеского поцелуя она спросила:

- Сына кормил?

Я забыл его накормить! Мы с ним оба забыли, потому что сначала разбирались с уроками, потом обсуждали его драку с Маринухиным и Слайденко, потом надо было подогнать, совсем немного подогнать новую куртку...

Раньше похвалила бы за покупку, а теперь округлила глаза:

- В новой - гулять?

Ну, мальчишке ведь хочется обновить вещь. Он не испортит. А курточка немаркая, как раз такая, как мы ему хотели купить: снаружи полно карманов - вот здесь, вот здесь, даже на рукаве и два внутри, а молния...

- Сам голодный? - прервала Женька.

Я не ел, потому что дожидался её, чтобы поесть вместе, я сварил рисовую кашу, я рис не просто вывалил, я его перебрал и промыл три раза и посолить не забыл, а молока не было в холодильнике, поэтому я развел с сахаром сухое, оно с сахаром лучше разводится, я его кипятил минут пять и все время помешивал, чтоб не пристало к доньшку, и оно не пристало и вышло почти как настоящее, а масло сливочное...

- Съездил нормально?

Эта командировка, в общем, не очень отличалась от других. На железной дороге неразбериха, пришлось лететь самолетом. Летели над нефтепромыслами, факелов не убывает, даже больше становится, просто безобразия какое-то.

- Всем известно, - вставила Женька.

В гостинице клопы, тараканы, вечером горячей воды не допросишься, чайников нет, хорошо, что взял с собой маленький кипятыльник да кружечка была с собой. В кинотеатре одно старье, в книжном магазине пусто, с продуктами глухо, одни рыбные консервы...

Женька смотрела на меня и усмехалась. Поговорив минут пять о командировке, я не выдержал.

- Ты чему смеешься?

- Говоришь много, - отрезала Женька. - "Съездил нормально" - одна фраза, что тут ещё рассказывать?

Меня подбросило на стуле.

- Да разве в этом дело?! Черт-те куда летал, черт-те сколько не виделись, а поговорить не о чем, так? Мог разбиться самолет, могли сожрать клопы, тебя могла машина переехать, мог дом сгореть...

- Не сгорел же.

- Женька! Да ты что? Да что с тобой?

- Ничего, - Женька спокойна и горда. - Я перевоспиталась.

- Как-как? Кто тебя перевоспитал?

- Ты.

- Да ты с ума...

- Зачем? Я у тебя научилась правильно общаться.

- О господи! Так ведь то на каждый день! А тут - командировка! Далеко и долго, понимаешь?!

- А ты понимаешь, - она прижалась ко мне, - ты понимаешь, что мне каждый день - как тебе командировка?!

Я долго что-то говорил и не успевал удивляться, откуда беру слова. Я клялся, что всё понял, что я скотина, что пусть она только скажет... и много тому подобного. Она удивилась и оттаяла. Я отнес ее в нашу комнату, она успела включить там свет, и мы сели в кресло.

- Боренька, - зашебетала Женька, - тут без тебя произошли события! Ты помнишь, я рассказывала тебе про Валентину Сергеевну, которая на должности старшего бухгалтера...

Через полчаса я отметил про себя, что весь её рассказ укладывается в одну фразу: "Валентина Сергеевна спасла нашего директора, теперь он намерен от нее избавиться". Я сделал было вдох, чтобы перебить Женьку и сообщить ей о своем наблюдении, но она сама остановилась и спросила:

- Что, Боренька? Ты хотел что-то сказать?

- М-да, хотел... Знаешь, я тебе это скажу потом, когда Митрошка уснёт...

Когда Митрошка уснёт, я скажу ей, что я её люблю - на большее у меня снова не хватит фантазии. А вот когда Митрошка будет жениться, я точно знаю, что ему сказать. Ему и его невесте. Я им сообщу, что семейное счастье - это цепь. Бесконечная цепь взаимных уступок.

Владимир Шкаликов

ПЕРЕДНИК (ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА)

Анна Максимовна шла тихонько по рядам и продавала своё горе. Новенький, только вчера сшитый передник она несла растянутым перед собой и слегка на ходу поворачивалась, чтоб все могли его разглядеть.

Горе постигло её сразу вслед за радостью.

Мишулик прислал бандерольку. Она пощупала - мягкое. Осторожно вскрыла мешочек и увидела весёленькой расцветки халат. Внук не признавал за ней права на старость и всегда дарил что-нибудь молодящее. Она надела халат. Он был удобно длинный, скрывал варикозное уродство ног. Немного просторно, но зимой поверх кофты будет в самый раз. Мишулик помнил её более полной, чем она теперь. Он, бедненький, не знает, что при такой пенсии прежнюю полноту не сохранишь. Но ему это знать и не полагается. Ему сейчас самое время укорениться в жизни, чтобы к старости не мыкать горя на одну пенсию. Был бы инженером, можно было бы не беспокоиться: верный кусок хлеба всегда с собой. Раньше не худо было бы и врачом, но теперь врачи получают мало. Однако и врач надёжнее, чем юрист или экономист. Этим вечно надо перед кем-то прикладываться, чтобы не потерять работу, да изыскивать пути, чтобы обходить порядок. Скользкие, неверные пути. Зачем только Мишулик на них вступил?.. После университета уехал в Новосибирск, работает в какой-то фирме одновременно и юристом, и экономистом. Получает, видно, мало: и не женится, и квартиру даже однокомнатную в городе купить не смог. Пришлось построить в пригороде какой-то домик из красного кирпича, а до работы оттуда добираться далеко, пришлось у кого-то занять денег и купить машину. А бензин нынче дорогой. Анна Максимовна живёт недалеко от заправочной, так видела цены на щитах... Но всё равно молодец, заботится, выкраивает бабуле на подарки. То валенки, то платок, то вот - халат...

В кармане халата было самое ценное - письмо. Он письма никогда не забывает вкладывать. На этот раз сообщал, что приходится ехать на стажировку в Англию. Без стажировки на работе не удержишься. Потом - по делам фирмы - сразу в Америку. Ну когда же тут найти хорошую девушку в жёны?! Хотела сразу ему об этом написать, но по срокам получалось, что письмо до его отъезда не успеет. Хоть и недалеко от Томска до Новосибирска, да почта нынче стала какой-то медленной. Это, наверно, из-за компьютеров. Пока их не было, и пенсию не задерживали...

В новом халате Анна Максимовна профорсила весь день. Сначала дошла в нём до магазина. Чтобы отметить праздник, купила себе большое яблоко, полкило творога и пакетик сметаны. Потеряла на этом почти полсотни, но - гулять, так гулять. Заварила свежий чай, нашла для запаха листик мяты и листик смородины на своём запущенном огороде. Выдернула морковочку, натёрла, полила сметаной. И творожок - со сметаной. Пир горой. И никто больше не нужен. Сама с собой, как с Мишуликом, поговорила, всё ему рассказала, чайком душистым запила. Праздник. И то было к празднику, что вчера привезли газ. И адрес не перепутали. Шофёр принёс баллон, привинтил к редуктору, сказал по привычке, чтобы горелки заменила, и дал новый телефон газовой станции. А ей откуда звонить? До ближайшего телефона - почти как до этой газовой станции. Но сходить надо: хоть узнать, сколько же эти горелки стоят. Газ - дело опасное...

К вечеру Анна Максимовна устала праздновать и взялась почистить зубным порошком свою единственную драгоценность - серебряный подстаканник, привезённый мужем в качестве трофея из поверженной фашистской Германии. Покойник очень любил этот трофей и завещал не продавать его до самой смерти: "Тогда, - говорил, - буду тебя оберегать и с того света". Он умер всего в 64 года, от фронтowych ран и контузий. И она с тех пор всегда пила чай из его стакана. И вот теперь, начав чистить, не удержала подстаканник, выпустила, суматошно поймала и - нечаянно прижала к груди. Испачкала халат спереди. Застирала быстренько в тазике и повесила над газовой печкой подсушиться - как раз грела воду на квас. А старая горелка - вот сглазил шофёр! - пыхнула огнём и подохла халат.

Не будь Анны Максимовны рядом, сгорел бы и старый дом. Но она успела и газ перекрыть, и стащить с верёвки халат, и сунуть его в ведро с водой. Пока всё это проделала, всё над застиранным местом сгорело - и ворот, и борта, и плечи. Не починить.

Погоревала-поплакала да и села за свой старый "зингер", от собственной бабушки оставшийся, ещё с первой мировой войны, но до сих пор исправный. Выкроила из длинного подола два передника. Хоть и бедненьких, да новеньких. И оба с кармашком. И с тесёмками. Остальное годилось только на ветошь.

Анна Максимовна чувствовала, что одного передника ей хватит как раз до конца жизни, поэтому второй решила продать. Рублей двадцать дадут - и то на продукты, а то и на горелки для печи.

На базаре ей повезло очень быстро. Всего прошла один ряд - коротенький кварталчик между трамвайной развилкой и гудящей машинами улицей Гагарина. Только хотела повернуть обратно, как

одна из машин остановилась, выскочил из-за правого руля молодой верзила и закричал: "Мать! Погоди!" Не закрыв дверцу, подбежал, схватил за руки, на которых был распят передник, взгляделся в глаза.

- Мать! Продаёшь? За сколько?!

И сразу полез в карман. Анна Максимовна поняла: "Богатый!" Но поднимать цену не стала из гордости. Можно было загнуть и тридцатку, даже до полсотни обнаглеть, но она честно назвала свои двадцать. Верзила был симпатичный, похожий на Мишульку и возрастом, и комплекцией - зачем обижать ребёнка?

Не торгуясь, покупатель выхватил из бумажника две купюры, смял в кулаке, сунул ей в карман старого халата, выхватил свою обнову, прыгнул в машину и укатил.

"На продукты, - подумала Анна Максимовна, будто оправдываясь перед внуком, перед этим симпатичным парнем и перед собой. - Или на горелки. На завтра".

Села в бесплатный для стариков трамвай и уехала в свой глухой и зелёный угол города, куда ещё не добрались кирпичные новостройки. Выручку прижимала в кармане кулаком до самого дома, чтобы не потерять.

Дома она достала из кармана деньги, чтобы приобщить их к пенсии и убрать под накидку на комод. Только тогда и разглядела, расправляя, что это были не десятки а сторублёвки.

Покупатель Анны Максимовны тем временем был очень доволен приобретением. Он мельком увидел этот передник, растянутый между тонкими руками старушки, и ему померещилось, что и расцветочка знакомая, и сама эта симпатичная старушка ужасно напоминает ему его собственную бабушку, которую недавно похоронил. Он сунул старушке пару сотенных, пусть порадует, и уехал поскорее, пока не разглядела.

Покупателя звали Максим. Как раз на это время у него была назначена встреча... Я не хочу употреблять современное жаргонное выражение "забита стрелка", потому что сам Максим уже вырос из жаргона, как из детской распашонки, и пользовался обычной литературной грамотой, которую усвоил в школе и укрепил за годы учёбы в строительном институте, не так давно переименованном в академию. Он считался в определённых кругах "новым русским", но сам к этому наименованию относился без почтения: "Можно быть русским, полурусским или нерусским, - говорил он, - а всё прочее - от лукавого". И объяснял, что под "лукавым" понимает нечистую силу, существование которой неоднократно проверял и подтверждал - ничего хорошего для русского человека в ней нет. Он признавал - в определённых кругах - недостаточную кристальность своего пути к деловым успехам и неизбежности своей репутации в недалёком прошлом. Но в настоящем он видел для себя возможности для, как он выражался, честного строительства. А на вопрос, что это означает, отвечал, что это касается того места в Библии, где один мудрец рассуждает о временах: "Время разбрасывать камни и время собирать камни..." "Этот мудрец кое о чём умолчал, - говорил Максим в определённых кругах. - Есть ещё время строить из собранных камней... Это вообще - замкнутый цикл без начала и конца: время собирать камни, время строить из камней, время разрушать построенное, время разбрасывать разрушенное, время собирать разбросанное и опять время строить... Этот цикл повторяется бесконечно. Некоторые философы называют такое повторение диалектической спиралью..." Друзьям такие рассуждения были интересны между вторым и третьим тостами, за спираль даже поднимали. Но дальше обычно начиналось разбрасывание камней. Поэтому Максим быстро охладел к застольям и по-настоящему занялся строительством, благо образование позволяло.

Вероятно, склонность к философии - такой же природный дар, как музыкальный слух или математические способности. Максим с детства испытывал отвращение к разного рода проходным, особенно к заводским. Сидят этикие бездельники-волкодавы и обыскивают на входе и выходе трудового человека, который их кормит. Максим самостоятельно додумался до теории четырёх сортов, согласно которой наибольшую, первосортную ценность представляют люди, производящие что-то новое - инструмент, машину, хлеб, книгу, изобретение. В школе ему хотелось быть именно таким человеком. Но к выпускному сроку он уже чётко знал, что первый сорт - наименее оплачиваемая категория трудящихся. Он вырос в этой гордой первосортной среде. Более того, он вырос при бабке - единственном родном человеке. Бедность и врождённая склонность к философии подсказали ему, что стать честным работягой, которому приходится после работы заливать свою первосортную гордость водкой - это путь к бесславной и скорой гибели. Уважать себя можно и во втором сорте, помогая первому тем или иным способом. Но не шофёром и не официантом. И не бухгалтером. Не тот нрав. Есть же что-то такое, где чувствуешь себя сразу в двух сортах. Юный философ начал всматриваться в бытие - и нашёл. И стал инженером-строителем. И руководил прокладкой дорог на Севере. И закладывал "нулевые циклы" в городе. И познал науку "зарывания денег в землю". И скопил на этом капитал, который позволил открыть собственное дело. И начал строить с изрядной прибылью, не давая мастерам и прорабам мошенничать, но, давая им заработать честно. И хорошо научился побеждать в борьбе с третьим сортом - ворами и вымогателями. И ладить с четвёртым сортом - с политиками. При этом верил только в науку наук философию, и она

его никогда не подводила. В определённых кругах была популярна его любимая формула жизни: "Во всяком деле столько пользы, сколько философии". Любому бандиту на любом сходняке он мог без усилий доказать, что только общая выгода может быть целью, смыслом и условием безбедного существования любой, даже самой крутой личности. Иначе - перестройки и перестрелки, равно разрушительные как для всякого общества, так и для каждого индивида в отдельности. Слова "социум", "индивид" и "обусловленность", правильно вставленные в любой "базар", всегда давали Максиму преимущество убеждения. Правда, поначалу приходилось подтверждать свою правоту с помощью скорострельного оборудования, но постепенно эта необходимость отпала, ибо оппоненты уверовали в приверженность Максима общему благу, в его личное бескорыстие и патриотизм.

С бабушкой Максим весь её остаток жизни прожил душа в душу. До пенсии она была поварихой в рабочей столовой и надорвала там спину огромными кастрюлями. Зато работала по первому сорту. И продукты в доме водились, потому что в столовой не было проходной. Когда вышла на пенсию, а Максим ещё учился в школе, жить стало труднее. Правда, до шестнадцати лет он тоже получал пенсию - за родителей, погибших в "горячей точке". Но это была такая милостыня, что бабушка устроилась вахтёром в поликлинику и одновременно уборщицей в соседнюю контору. Максима это обстоятельство ввергло в такой стыд, что он - без отрыва от учёбы - сначала подрабатывал грузчиком, потом - бойцом в некоей разворотистой бригаде, потом возглавил её, да так, что бедных не обижали, с властью дружили и ни разу ни на чём не попались. А когда получил высшее образование, все дороги открылись сами собой: знакомств для этого хватало. Бабушку забрал с обеих работ и, поскольку бездельничать категорически не хотела, посадил для виду за компьютер прямо на дому, сделал своим автоответчиком и домашним секретарём. И ведь справлялась всерьёз. А он обставил всё так, что о подпольных его движениях она не подозревала до самой своей кончины. Работала в благотворительном строительном тресте - вот что она знала о себе и о внуке, который был для неё светом в окошке. Когда она померла, Максим потряс братву тем, что похоронил её по высшему понятию: с портретом на чёрном мраморе, с цепями и шарами в оградке, у самой центральной аллеи, в ряду лучших людей параллельного мира. Город дивился и, проходя, крестился: "Бабушка, оказывается, была крёстной матерью".

Бабушка всего один раз приснилась Максиму. Он увидел себя одиноко лежащим на спине, а она - подошла невесомо, положила ему на грудь ТЁПЛУЮ руку и ясным голосом сказала; "Я всё знала, внук. Я всё знаю. Ты идёшь правильно. Мир спасут доброта и философия. Это всё твоё. Живи долго".

Максим тогда уже определился с делами, работал чисто, не грешил. Бабушкины слова пришлись очень кстати, как пятёрка по философии.

И вот ему показалось сегодня, что это она торговала на базарчике передником, его собственная бабушка, только в другом теле. Сразу по первому и по второму сорту. И за это ей полагалась достойная оплата. И что-то ещё, чего понять Максим не мог даже с помощью философии.

Размышляя таким образом, он медленно колесил по городу, и если бы в это время за ним кто-нибудь наблюдал, решили бы, что он запутывает следы перед ответственной встречей. А он забыл о встрече, на которую недавно спешил. И отключил мобильник, чтоб не помешали думать. Он автоматически следовал правилам дорожного движения, а занят был тем, что пытался алгеброй философии поверить дисгармонию своих переживаний.

Он уже почти год - после кончины бабушки - вёл безусловно безупречную жизнь. Он не только честно трудился по первому-второму сорту, но и активно занимался благотворительностью: жертвовал на больницу для бедных и на два детских дома, дал денег одному детскому писателю на издание книги сказок и обеспечивал горячим местный аэроклуб - из любви к высоте. Правильно, в общем, жил - для богатого человека. А вот купил сегодня у бабушки передник - и гармония с миром дала необъяснимую трещину.

"Слеза ребёнка" - вот что не давало покоя. Достоевский на этой слезе замесил всю гармонию Вселенной. А Максиму его рассуждения всегда казались какими-то надрывными и даже манерными. Ну и что же, что плачут дети? Им от природы полагается. Чистая биология. Они беззащитны, да, но у них-то всё впереди, они своё ещё возьмут. А какова цена плачущей старухи, которая продаёт последнее, чтобы прожить без голода лишний день? Что можно замесить на её слезе, когда она сидит на холоде у каменной стены и молча ждёт монетку на своё потёртое пластмассовое блюдце? Что сказать о народе, в котором старики несчастны? Народ ли это? Или стая хищников, загрызающих уставшего, отставшего, заболевшего? Обречённый народ... А кто в нём ты?..

За поисками истины Максим не заметил, как путаница улиц привела его в незнакомый угол города: плотная зелень, деревянные домишки, цветы в штакетных палисадниках, резные наличники на окнах, а дорога - грунтовая, ухабистая, по которой как раз и ездить на Максимовом внедорожнике. Но машины тут вообще, кажется не ездили. Путь "форду" неохотно освобождали собаки, зачем-то окопавшиеся в колее, прыскали живые куры, которых Максим уже несколько лет не видел даже по телевизору, а ведь когда-то сам кормил и от них кормился вместе с бабушкой.

С удивлением оглядевшись, он остановил "форд" прямо посреди дороги и задумался снова, глядя на свою покупку, которая так и лежала на соседнем сидении. Теперь мысли его были предметны.

Ткань новая, карман пришит фабрично, края внутри заверложены. Это может означать, что передник бабка шила не сама. Ей, скажем, подарили, а она, по бедности, продала. Или вообще такой бизнес - делать дилеров из божьих одуванчиков? Это противно... Однако нет. Тесёмки у передника явно самодельные, средним стежком прострочены не очень ровно, края заделаны кустарно. Притом этот стежок весьма знаком Максиму. От его бабки осталась трофейная зингеровская машинка с точно вот таким характерным довоенным стежком. Сам её иногда налаживал, смазывал да и шить случалось - где штанины подшить, где платок подрубить. Бабка любила шить, вот и он освоил эту технику - первую в своей жизни машину, ещё в пятом, кажется, классе.

Скорей всего, думал Максим, передник из чего-то выкроен. Было, скажем, платье или халат, а носить почему-то не стали...

Анна Максимовна увидела в окно, как прямо против её калитки остановилась та самая машина, в которой уехал её передник. Сердце захолонуло: как же быстро он её отыскал! Хватился, что перепутал деньги, вернулся к базару, не застал, поспрашивал у людей, показали на трамвай, он и поехал следом. Подглядел, как вышла, куда пошла, заметил адрес. Теперь, поди, и свидетелей привёз. Но ей эти свидетели - ерунда. Она эти деньги не истратила. Забирай свои сотни, добрый человек, отдавай мои десятки, они почти одного цвета.

Из машины никто не выходил, и это было хорошо. Не впускать в дом, не унижаться, не показывать свою бедность. Вынести быстренько, сказать, что, мол, вынула из кармана только дома. Оно ведь так и было...

Она выхватила из-под накидки свою пенсию, отделила от неё две чужие бумажки, сунула в карман передника, остальное вернула на место и поспешила к калитке. По дороге почувствовала приятное облегчение. Не было жалко расставаться с этими случайными деньгами. Мировая гармония, ими нарушенная, приятно восстанавливалась. Мешала только лёгкая досада, что горелки в печке теперь быстро не заменить - какая у них там цена?

Кто-то, подкравшись, застучал в окно, и Максим очнулся от созерцания передника. В кабине пахло домашним уютом и его собственной бабкой. А кто-то неслышно подъехал, недосигналился и сейчас потребует освободить проезжую часть. Всё же ездят здесь иногда...

Максим поднял глаза к окну и вздрогнул, как не вздрагивал даже перед внезапно наставленным стволом. На него смотрела та самая старушка. Занесённая рука застыла у стекла, а вторую она держала в кармане того самого - нет, такого же точно - передника, что он сжимал в руках. Глаза старушки были наполнены слезами.

Анна Максимовна по губам разобрала, как верзила за рулём закричал: "Бабка!" Затем он отвернулся и прижал к лицу её передник.

Томск, 1-5 июня 2003г.

Владимир Шкаликов

ПО СИСТЕМЕ ЙОГОВ

"Александр шёл домой с линейки готовности. На душе было спокойно. Подготовил технику к весне - можно и отдохнуть".

Вот какое начало придумал своему очерку о Сашке Дербенёве областной корреспондент. Теперь все смеются. Даже Аня не устояла. Вчера пришёл из гаража домой, а она вместо ужина прямо на пороге: "Ты что это, отец, задерживаешься на линейке готовности?" И Алёшка, дурочок пятилетний, ничего не понимает, а туда же: "Па, па, а я видел по телевизору маяк, он мигал. А ты почему не мигаешь?" "А чего мне мигать?" "Ты же маяк..."

И вот сейчас Александр шёл домой с линейки... тьфу!.. из гаража и, косо поглядывая по сторонам, чувствовал себя голым, как йог. Этот йог приезжал в воскресенье и выходил на сцену в одних полосатых трусах. Втягивал живот до позвоночника, закладывал ноги за голову, завязывал их узлом, стоял на макушке, на лопатках... Много чего делал и не стеснялся, хоть и кандидат наук из столицы. Но это всё в интересах науки и за деньги, а тут...

Сашка, хоть и шагал обычной своей кошачьей походкой и со стороны казался таким же, как всегда, даже ещё спокойнее, на самом деле изнемогал от бессильного гнева и возмущения. В переводе на общеупотребительный язык его внутренний монолог звучал примерно так: "Нет, товарищ спецкор, поступок ваш выглядит по меньшей мере бестактным. Я, как последний... м-м-м... невежда, раскрываю перед вами душу, выкладываю вам думы и чаянья, делюсь успехами, заметьте: успехами коллектива, сетую на отдельные недостатки... те, что для печати, конечно, а вы... м-м-м... голубчик, что ж - рисуете меня этаким выскочкой, живописуете карьеристом, то есть представляете дело так, будто на мне вся работа держится. Да ещё всё это получается с моих слов. То есть, вы-то застраховались. А о том, что мне тут жить, об этом вы... м-м-м... мой друг, мягко говоря, не подумали..."

- Попался бы ты мне щас! - пробормотал Сашка вслух и остановился. Дальше тротуара не было. Обломки досок торчали из грязи и воды. Апрельский снег за полдня ещё натаял, и метров на двадцать перепаханный гусеницами тротуар был непроходим. Это сосед его, Серёга Белобородов, ревнуя жену к приезжему йогу, буянил пьяный в воскресенье на своём тракторе.

"На старый "Беларусь" надо его за это пересадить, - подумал Сашка, но тут же засомневался. - Он тогда так забузит, что сорвёт посевную. Он такой. Хоть бы комсомолец был или партийный... Ну, ладно, сниму с трактора совсем, пока тротуар не починит. - Сашка ещё подумал и добавил наказание: - Доски - за свой счёт. И перед Нинкой пусть извинится. При людях".

И, вслух жалея новые сапоги из блестящей, белой резины, Сашка полез через грязь.

У своего дома он тщательно выскреб и вымыл сапоги. Вошёл на дощатый двор. Не заходя в дом, сразу отправился в стайку и добавил корове сена. Бросил пшеницы курам. Потом вернулся к воротам и хотел взять из ящика газеты: они с Аней оба любили вынимать почту и потому соревновались, кто раньше придёт на обед. Уж протянул было руку, но желание брать газету вдруг пропало, и он оставил это удовольствие жене.

В собственном, со всех сторон закрытом дворе он всё ещё чувствовал себя голым, как тот йог. Но теперь уже не стеснялся. Осталась только обида: ну до чего безнаказанно может корреспондент раздеть человека. А не поехать ли к нему в город да не поговорить с глазу на глаз?.. Потоптавшись во дворе, Сашка поправил на лавке ведро с водой, поставил в другой угол вилы и решил: "Пропади оно пропадом. Время на него тратить... И пошёл в дом.

Аня что-то задерживалась. "Если мостик не наладили, они все будут обедать на ферме". Сашка поставил на газовую плиту суп и чай и включил телевизор. Успел как раз к началу передачи.

"Сельскую новь" и "Сельский час" они смотрели всегда. Особенно когда показывали Прибалтику. Аня всегда охала, ахала и причитала: "Надо же! Люди, как мы, а живут, как люди. Ну, чо бы в нашем озере не развести рыбу?!" И обижалась, что у мужа всегда один ответ: "Там Гольфстрим близко, а тут климат резко континентальный".

Теперь "Сельская новь" показывала Сибирь. Хорошенькая дикторша представляла разных людей, а они делились с ней мыслями, как увеличить поголовье рогатого скота, находящегося в личном пользовании трудящихся, да как его прокормить да какие государству от этого выгоды. Один выступающий оказался бригадиром из соседней области, с которым Сашка когда-то начинал соревноваться. Имя ему, помнится, Михаил. На экране было одно его лицо, глазами Михаил стрелял куда-то в сторону и очень складно говорил: "Выгоды от содержания индивидуального скота несомненны. Выкармли-ва-е-мая, например, в семье свинья сама способна обеспечить семью мясом. Корова также является неотъемлемой составной частью домашнего хозяйства современного труженика села, механизатора и хлебороба, интеллигента и животновода..."

Сашка так расстроился, что выключил телевизор: "Ишь, как насобачился! А раньше "возделывание" не мог выговорить". И решил отправить этому Михаилу в напоминание вырезку десятилетней давности, когда они соревновались и слали друг другу газеты. В той вырезке Михаил

даёт интервью. "Почему вы решили продать корову?" "Потому что в хозяйстве современного труженика села корова перестала быть необходимостью, масло и молоко можно купить в магазине, а два выходных дня надо использовать для расширения кругозора". Интервью так и называлось: "Продаётся корова". Сашкины старики были тогда ещё живы и настояли, чтобы корову сохранить, хотя и было оно вроде бы вразрез с указаниями. А теперь, смотри-ка, и Михаил перековался. Видно, не зря кругозор себе расширял... Сашка искал в старых бумагах вырезку, но не нашёл.

Суп давно булькал, чай шипел. Жена не шла. Сашка всё выключил, поел без аппетита и заскучал. Идти в гараж сегодня было не к спеху, читать неохота, спать - тоже. На веки давила не дремота, а какая-то угрюмая тоска. "То ли от погоды, то ли авитаминоз", - подумал Сашка. Но, пожав ладони, убедился, что дело не в витаминах. Ему просто ничего не хотелось.

"Наверно, так бывает со всяким, кто достиг своего потолка, - думал Сашка. - Ну, что мне: 28 лет, механизатор широкого профиля, шофёр первого класса, электрик с четвертой группой допуска, бригадир... Чего ещё? Жена, сына родили... да всё есть... О, голубчик, это-то и плохо, когда ничего уже не надо..."

И он вспомнил давешнего йога, кандидата наук. Вот у человека перспектива! Специально жил в Индии, чтобы научиться завязывать ноги узлом. А когда научится останавливать сердце, сразу станет профессором. А научится умирать и оживать - уже академик...

"Ну, - думал Сашка, - высушить на голом теле мокрую простыню - это много ума не надо, а вот ноги узлом - тут гибкость требуется о-ё-ёй... А ну-ка!..."

Ему вдруг загорелось попробовать.

"В школе мостик делал запросто, - думал Сашка самолюбиво. - Так что ж мы..."

Но нижние конечности, которыми он на спор мог без звука пройти по бурелому, в узел не завязывались.

"Ясно, - решил Сашка, входя в азарт, - не та специфика. Переходим к закладыванию ног за голову. Затем - брюшное дыхание, расслабление и нирванна".

Слово "нирвана" Сашка пропел с двумя "н" - так было доступнее пониманию.

"Погружаюсь в нирванну - и все корреспонденты побоку. Вылезу через полчаса, как новенький..."

...Через час соседка, Нинка Белобородоза, проходя мимо дома Дербенёвых с обеда к себе на почту, заглянула по привычке в окно - перекинуться парой слов с Анютой, То, что она увидела, так её смутило, что Нинка с криком бросилась обратно домой. Ревнивый муж её, Серёга, который доедал гуляш, услышал в криках жены только имя своего бригадира Сашки Дербенёва и, решив, что сосед пристал к Нинке, с топором в руках и с полным ртом гуляша бросился выяснять отношения.

Серёга ударом ноги открыл первую дверь, изо всех сил рванул вторую и - замер на пороге, роняя топор.

Бригадир был в одних нейлоновых плавках. Он сидел на полу, посреди большого ковра, который получил в награду за прошлую уборочную. Желваки на смуглых Сашкиных щеках были напряжены. Глаза - тоже. Напряжено было всё - руки, которыми он упирался в ковёр, худая задница, едва удерживавшая тело в равновесии, шея и обе ноги, заломленные за шею и уже посиневшие от неправильного кровообращения. Дышал бригадир сдавленно и хрипло. Проще говоря, он едва дышал.

- Сашок... - сказал Серёга и не смог скрыть своего ужаса и гнева. - Кто тебя?

- Сам, - прохрипел бригадир. - Подойди.

Серёга снял сапоги, как это делают в порядочных домах, и неуверенно приблизился.

- Систему йогов проверял, - сказал шёпотом Сашка, не имея уже сил напрягать голосовые связки. - Ноги за голову заложил, всё нормально, а когда расслабился, их заклинило. Помоги снять.

И грустно глянул из-под пятки.

- Ну, это ерунда, - воскликнул Серёга. - Щас всё будет абгемахт!

Но Серёга был парень довольно тщедушный. Его сил не хватило, чтобы нагнуть вперёд мощную коричневую шею бригадира и столкнуть с неё хотя бы одну скользкую от холодного пота пятку, Они катались по ковру, как борцы разного стиля, и соседям, собравшимся у окон, казалось, что одетый не распутывает голому конечности, а ещё сильнее их запутывает.

Сбегали за фельдшерницей. Она осмотрела несчастного Сашку и сказала:

- Не придуривайся, герой. Больше про тебя в газете всё равно не напишут.

Веря в авторитет медицины, все засмеялись и кто-то было подхватил:

- Теперь тебя по телевизору покажут. Потерпи. Нинка уже телеграмму отбила.

Но тут Сашка не вытерпел и заплакал:

- Больно...

И тогда все поверили ему и засуетились, не зная, чем помочь, и кто-то поехал, на ферму за Анютой... В доме натоптали и накурили. Сашку накрыли одеялом.

А фельдшерница молча ушла и скоро привела своего племянника, студента медицинского института, приехавшего на два дня погостить. Этот парень сделал Сашке несколько уколов, и через четверть часа тот расслабился и уснул. Во сне его легко распрямили, положили на софу под ватное одеяло, и он задышал.

Приехала Анюта. Посмотрела на живого мужа и отправилась назад к своим телятам.

Согрели чай. Серёга сбежал в магазин, чтобы угостить друга-студента, и тот не стал отказываться. Подняли за науку. Потом за сельское хозяйство. Потом за их содружество. Потом проснулся Сашка, и доктор сказал, что выпить ему не только можно, но и необходимо - квантум сатис, леги артис. С Сашкой выпили за этот свет. И за знакомство. И за его продолжение...

На прощанье, поздно вечером, когда все уже разошлись, Сашка сказал соседу:

- Ты мне, Серьга, теперь за брата. Но учти: пока не восстановишь тротуар, я тебя, как старший, на трактор не допускаю. Доски - за свой счёт. И перед Нинкой надо извиниться. При мне.

13.05.82г.

ПОКА ЖДЁТ МАМА

Вадик шёл не спеша, но очень торопился - уйти подальше от рынка. Бежал впереди себя. И сам над собой смеялся: если сразу не схватили, теперь уже всё - не пойман.

Сумка больше не сползала с плеча. Она теперь не была пустая. Было даже тяжеловато. Но своя ноша не тянет. Теперь уж своя, точно.

Он дошёл до бывшего театра кукол и свернул к реке. С жалостью посмотрел на деревянного лежебоку над вывеской "Скоморох". Тоже небось голодный. Уже год, как переехал театр, а вывеску бросили. Негде вешать на новом месте. Там у них дворец. Вадик туда больше не пойдёт. И вид затрапезный, и возраст уже не тот. Теперь не по куклам, по девкам пора. Но Вадику не до девок. Ему есть хочется. Почти постоянно. Когда еды мало, то даже в сытом состоянии хочется есть.

На невысокий обрывчик над Томью он вышел, жуя рябиновые ягоды, сорванные по пути. Уродилась, красавица, весь город красный. Это к суровой зиме. Где бы добыть что-нибудь тёплое? Хоть шерстью обрастай. Или пухом, как вон та сорока. Она зимой не мёрзнет. Или хотя бы расти перестать, чтобы не укорачивалась одежда.

Он спустился к воде и сел на брёвнышко. Было славно. "Бабье лето" улыбалось со всех сторон, даже битые бутылки сверкали приветливо. Солнце плясало на водной ряби и строго, но справедливо отблёскивало от далёкого Белого дома. Там, наверно, чиновнички с завистью поглядывают за зеркальные окна: вот бы погулять над рекой, подышать солнышком. Вадик был там однажды с мамой, давно уже. Какие-то льготы за отца она хотела получить. Но не удалось. Объяснили, что он не входит в какой-то список и погиб не в бою. А раз погибать ему не полагалось, то и льгот не положено.

Вот тогда они и сходили в кукольный театр, благо недалеко. Спектакля Вадик не запомнил. Было жалко маму. И стыдно. Она унижалась одна, а он стоял рядом и не знал, чем пособить.

Теперь он был собой доволен. Все собранные вчера ночью бутылки были тёмные, дорогие, из-под пива. Они не достались конкурентам, старым босякам, и были тогда же вымыты, а сегодня удачно сданы, и денежки - в кармане. Это - маме. А для себя удалось добыть на рынке шашлык и попутно найти эту вещицу...

Было так. Он медленно, рассеянно приближался к шашлычнице и точно угадал момент, когда она поклонится мясу под прилавком. Тогда он сделал неловкое движение плечом, сумка с него свалилась, ремнём задела кончик шампура, еда кувыркнулась в воздухе, и Вадик её поймал. И тут же наклонился за упавшей сумкой. И сунул в неё шашлык. Прямо в чистый пакетик, заранее готовый. И тут же увидел на земле под мангалом тускло и дорого блестящий металлический шар - большой, с детскую голову. Кастрюля с мясом закрывала шар от шашлычницы, а спина Вадика - от всех прочих. Осталось только завалить сумку набок да и вкатить в неё шар. Он сделал это мельком, в секунду и поднялся, надевая ремень на плечо. Уже разогнулась и шашлычница, лет восемнадцати, зелёная.

- Почём шашлыки? - Он ей улыбнулся.

- Вот же написано, - она подняла глаза на свой навесик.

- Высоко и дорого, - сказал Вадик. Поправил сумку и медленно поспешил на выход. Вся спина чесалась в ожидании топота, чужих резких голосов и грубых рук. Но обошлось. Он чувствовал себя матёрым, удачливым вором. Солнце над деревянными домами изливало на него светлое будущее...

Вадик подмигнул Солнцу и стал не спеша поглощать шашлык с рябиной. Чиновнички из Белого дома, если б видели такой деликатес, изошли бы на слюну, на язву желудка, теоретики отдельного питания. Вот и пускай питаются отдельно от нас. Правда, и мама сейчас не с нами, но о ней можно не беспокоиться. Она мяса не ест. Ей купим хлеба, луку, овощей у старушек и бутылку молока, у них же, пожирнее.

Заняться вплотную можно было странной находкой.

Шар загадочно блестел на дне сумки. Вадик опустил туда руку и покатал его. Тяжёлый. А тяжёлое бедному человеку всегда кажется дорогим.

Что же там внутри?

Это не гиря без ручки, не цирковой снаряд. Внутри не сплошной металл, а какая-то начинка. Вот и вот два винтика - на них и держатся внутренности. И этот узор из тонких дырочек - для вентиляции или для звука.

Но сначала следовало поесть, пока шашлык не остыл. Не торопясь его сжевать, чтобы полностью подавить голод. Кто жадно глотает - никогда не наедается.

Рябина прекрасно заменяет хлеб. Даже лучше - Вадик усмехнулся - по их же системе отдельного питания. Вагон витаминов. Надо после всего собирать её побольше и засушить. Несколько гирлянд украсят стену над старым дедушкиным диваном. Вместо ковра. И над своей кроватью можно навешать. И щипать потом, не вставая, только руку протянуть. Это и есть комфорт. .. Только раньше избавиться от шара... Если бы за него выручить столько, чтобы хватило маме на

валенки...

Вадик ещё раз усмехнулся. Мама будет спорить, доказывать, что он растёт, ему нужнее, все в школе хорошо одеты... А он спорить не будет. Он молча поставит перед ней новые чёрненькие валенки. Двадцать четвёртого размера. Чёрные наряднее серых. И плотнее.

Нахальная сорока, чьей зимней одежде он завидовал, подскакала совсем близко и выразительно, пристально смотрела на шашлык. Он не дал ей мяса. Бросил ягод, но она только взглянула мельком и опять уставилась на шашлык. Это с пережору. Птицам в городе живётся не голодно, вот и наглеют.

Сороку прогнал клочковатый пёс подхалимского вида. И тоже уставился на последний кусочек шашлыка. Но и ему не отломилось. Вадик даже нищим людям не подавал. Они сидят, им все несут. А собака - зверь, нечего ей подстраиваться под человеческие законы, они ещё хуже звериных.

Вадик доел шашлык, а острую полоску стали спрятал в сумку. Это редкое явление - стальной шампур. Сгодится.

Вадик пошарил в сумке. Отвёртка звякнула о пассатижи. Гвоздодёр звуков не издал - был обмотан тряпочкой. Эти три инструмента надо всегда иметь при себе. Что-нибудь полезное, но бесхозное открутить или отодрать. А где и защититься. Например, от конкурентов по сбору бутылок. И ни один мент не придерётся: это не оружие, если в наборе. И складной ножик лежит не в кармане, а в сумке. Посмертный дедушкин подарок. Он тоже не оружие, по закону. В общем, если держать "молнию" сумки полураспущенной и уметь драться ногами да быстро бегать - никто тебя не обидит.

Но в этот момент опасности казались далёкими. Нужна была только отвёртка. И не для обороны, а по прямому назначению.

Вадик ещё покатал по сумке шар, даже поскоблил полировку острым кончиком шампура, но не нашел ни швов, ни стыков. Знатная чистота обработки. Но стык наверняка откроется, если открутить эти винты. Законы механики - нерушимы.

Вадик ненавязчиво огляделся, взял сумку на колени и аккуратно установил отвёртку на тот винт, что поменьше. Головка его была утоплена в глубокое гнездо и казалась крепко затянутой, но пошла совсем легко, без усилий. Так ходят регулировочные винты. Вадика это не смутило. Он не боялся разрегулировать незнакомый механизм. Его интересовали только детальки, которые, может быть, удастся продать на "железке". Так назывался дикий рынок в Карском переулке, где прямо с земли торговали чем угодно, от ржавых гвоздей и стёртых напильников до новой электроники, уворованной на оборонных заводах. В самом начале "железки", у трамвайной остановки, беспешинно торговали совсем уж дикие люди. Отмывали и отчищали старые металлические тарелки, крышки от чайников, мягые кружки, гнутые вилки, ржавые собачьи цепи, замки без ключей и тому подобный хлам и складывали на тряпочку или клеёночку - авось наторгуете за день на хлеб и пиво. Между ними Вадик всегда мог расстелить и свою клеёночку. Босяки его не прогоняли. Даже смотрели с пониманием: одет бедно, но опрятно. Это у них ценится.

Вывернутый винтик он сунул в карман, а число оборотов на всякий случай запомнил: вдруг шар придется собирать. И принялся за второй винт, явно крепёжный. Здесь у одной руки сил не хватало. Пришлось зажать сумку коленями и, незаметно оглядываясь, навалиться на отвёртку всем телом. После нескольких аккуратных усилий, от которых аж темнело в глазах и прошибала испарина, винт с лёгким щелчком отдался.

Вадику очень нравились эти технические термины. Например, выражение "отдать крепёж" он запомнил в железнодорожном депо, когда летом удалось немного подработать там на восстановлении довоенного локомотива.

Но едва второй винт отдался, Вадик ощутил тревогу.

Он быстро огляделся: не прозевал ли внешнюю опасность - какого-нибудь босняка или, напротив, милиционера.

Нет. Тревога входила в него через рукоятку отвёртки, застывшей на винте. Он отнял отвёртку и положил на шар ладонь. Потом - для верности - вторую. Ошибки не было: внутри шара началось мерное тиканье.

Вадик опустил голову на сумку, будто пристраиваясь поспать, и прижался к шару ухом. Тихое тиканье было отчётливо часовым, но не металлическим и потому очень тихим.

Эх, раньше бы ему вспомнить утреннее радио: "Вчера в Соединённых Штатах Америки, используя захваченные пассажирские самолёты, террористы-смертники взорвали украшение Нью-Йорка - два небоскрёба Всемирного торгового центра. Большие жертвы..."

"Наш рынок - тоже торговый центр, - подумал Вадик. - И воскресенье, самый народ... Я нашёл мину. Она рванёт в любой момент".

Он в тоске поглядел на мир. Кроме Солнца и сверкающей реки, прощаться тут было особенно не с чем. Старый кирпичный дом с невыразительными цветочными горшками на окнах да новый дом побольше, в котором раньше было политическое просвещение, а теперь - музыкальное училище. Торжественная музыка, которая пробивалась оттуда, напоминала похоронную. Всё чужое. А мама далеко.

А о чём тосковать? Мина ещё не взорвалась. Может быть, он успеет, забросить её в воду... Но едва эта мысль осенила Вадика, на берегу возникли и сразу посыпались вниз весёлые разноцветные первоклашки. У всех в руках - пучки жёлтых и красных листьев, кисточки рябиновых ягод, все хохочут, а следом прыгает учительница, совсем молоденькая, чуть старше Вадика, он видел её в школе. Все они бросились к играющей воде.

Вадик едва дождался, пока они пробегут, и сломя голову бросился наверх, прижимая сумку к заголодевшему, почти онемевшему боку. Он мчался спринтом, летел как угорелый, пока не обнаружил себя в тени какого-то сооружения, среди белых колонн и белых стен.

"Под Белый дом занесло! Какая удача... Вот оставить им подарочек и - через мост, в "Тысячу мелочей" - из переулочка Батенькова вбежать, а из дверей на проспект Ленина выйти степенно, сразу войти рядом в "Таргет" и выйти из него во внутренний двор, а оттуда - снова на Батенькова, дальше через Аптекарский мост..."

Он думал так и понимал, что ничего этого не сделает. Слишком много невинного народу может положить бомба, хоть и мало кто тут сегодня работает. В любом случае те чиновнички, что обидели маму, конечно, не пострадают - таков доказанный закон терроризма: гибнут чаще всего невинные...

Куда же?

"Только не спешить. Если сразу не взорвалось, значит, время есть. Может, она вообще радиоуправляемая. И за мной следят. Может, того и хотят, чтобы зашёл в Белый дом или в "Тысячу". Тогда нажмут. Значит, надо идти не спеша по пустым местам, где мало людей..."

Думая так, Вадик поспешно покинул тень Белого дома и двинулся по пустырю, оглябая стороной драмтеатр, через площадь Ленина.

"Сейчас говорят, что и Ленин был террорист. Под памятник положить? Ах, вот молодожены, всё ещё возлагают сюда цветы... Совет да любовь тогда..."

Он миновал аварийное, потрескавшееся здание областного суда, обнесённое глухим забором, и стал подниматься по улице анархиста Бакунина, тоже, наверно, не чуждого терроризма. Улица была вымощена диким камнем, по этой крутизне никто не ездил. Только экскурсия поднималась по боковой деревянной лестнице, чтобы пофотографироваться у красного камня на месте основания Томска.

Вадик дал экскурсии удалиться и перевесил сумку на левое плечо, потому что правый бок замёрз от страха до полного бесчувствия. Этим замахом было бы удобно запустить сумку во двор Штамовского института курортологии, благо он - круто под горой.

Однако передумал: там лечил фронтальную контузию дедушка, пока был жив, и теперь там полно стариков. Надо не озирайтесь по сторонам, а спешить - по-настоящему спешить - к Белому озеру. Там и утопить проклятую мину.

Вадик уже вышел на улицу Пушкина, когда почувствовал, что не может больше выносить отвратительный озноб, который через рёбра вселяла жуткая ноша. Хоть минуту погреться, и он дойдёт до озера - вон же его ограда, в двух кварталах. Дрожа всем телом, он огляделся. На другой стороне улицы женщины в глухих платках и с длинными подолами спешили в храм, под золотые купола. Год назад была там разруха, архив какой-то, а вот теперь снова молятся. Можно там и погреться. Если Бог есть, он взрыва не допустит. Да и посмотреть раз в жизни, что же там внутри.

С некоторым трепетом Вадик вошел за богомолками, ожидая, что его не пустят. Тогда он скажет: "Ради Бога", пусть попробуют... Но в дверях никто не стоял, а в высоком зале никто не обратил на него внимания. Только кто-то сзади шепнул: "Сними берет". Он снял и сразу почувствовал себя богомольцем.

В храме ещё шёл ремонт. До высоты поднятой руки была очищена от побелки настенная роспись - нижние половины каких-то святых в длинной одежде. И орнаменты из цветов. Пахло известью и олифой. Наверх вела лестница из свежих досок, и там пел хор. А люди внизу крестились и ставили свечи в специальные гнездышки на круглых стойках, зажигая их одну от другой. Там пахло воском и канифолью, как у паяльника.

Народу было много, и Вадик, опустив на пол сумку, скоро согрелся. И начал было думать, что, если уцелеет, поставит свечку от себя и ещё две - чтоб, может быть, не мучались на том свете отец и дедушка.

"Хватит искушать Господа", - раздалось в голове. Он крайне удивился такому обороту и сразу двинулся к выходу.

Когда-то, почти четыреста лет назад, озеро назвали Белым казаки, строившие здесь первый острог. То ли берёзки в воде так отражались, то ли очень уж белые были тогда облака. Теперь мало берёзок, почти сплошь тополя. Верховые родники, питавшие озеро, засорились, и воду в него наливают из Томи, по трубам. Вместо прежних карасей запустили сорную рыбёшку. В общем, не жалко ничего. Вадик совсем ещё малышом видел, как экскаватор углублял осушенное озеро - крутизна получилась до самого дна. Шар покатится к самой середине. И пускай там рванёт. Авось освободит настоящие родники да когда-нибудь и караси заведутся.

С этими мыслями Вадик дошёл до Белого озера и присел на вспученный морозами гранитный парапет. Оставалось, перевешивая сумку с плеча на плечо, опустить, наклонить, выкатить бомбу в

воду, потом собрать всё, что вывалится вместе с ней, и уносить ноги.

"Нет, снова ошибка. По этому гравию не покатится. Застрянет на пологом месте, на самом виду. Крутизна дальше. Надо бросать".

Он на миг пожалел, что не всучил шар какому-нибудь милиционеру. Они, как на заказ, попадались навстречу трижды. И каждый раз не решался: ведь и самого потащат в ментовку. А мама голодная. Кончать надо с этим и дуть домой.

Решено. Он встал с бомбой в руках, уложил её на плечо и в прыжке, замочив ботинки, толкнул, как спортивный снаряд. Ядро бухнулось в десятке метров, плеснул красивый столб воды, и на этом месте утихшая поверхность начала сочиться мелкими пузырьками. Это вытеснялся воздух из бомбовых дырочек.

Вадик выпрыгнул из воды, отряхнул её с ботинок и стал смотреть на пузырьки. Если бомба катится вниз, к середине, пузырькам положено удаляться от берега. Но они не удалялись. Текли и текли в одном месте, в десятке метров от приметной, вспученной гранитной панели.

"Ну и чёрт с тобой, - подумал Вадик. - Гуляют пока мало. Авось-либо... В общем, вода её к вечеру испортит".

Он прошёл без оглядки сотню метров по берегу. Было легко, и Солнце светило по-прежнему. Только стало немного жаль, когда сунул руку в карман и натолкнулся на эти два винта. Вдруг она и не бомба, тогда плакала некоторая сумма, весьма полезная семейному бюджету. Всё же воскресенье, самая торговля. Может, зря поспешил топить?

И Вадик оглянулся.

Через секунду он бежал обратно ещё быстрее, чем удирал от первоклашек. Точно на месте затопления, усевшись на вздутую панель, какой-то малец забрасывал в озеро удочку.

- Рыбки захотелось? - рявкнул Вадик не переводя дыхания.

- А чего? - Мальцу было лет десять, но держался он уверенно.

- А того, - Вадик перехватил удочку и выдернул из воды. - Подсмотрел, куда я бросил приманку, и скорей ловить. Иди вон на ту сторону, лови со стенки.

- А сам чего не ловишь?

- Я за удочкой пошёл. Пока схожу, рыба соберётся.

- Ну, я половлю, пока ты ходишь. - Малец пустился в объяснения. - У бабушки кошки, она всё своё им отдаёт, сама голодная. Вот я кошкам наловлю...

Вадик понял, что дело безнадежное.

- Вот как, - сказал он сварливо. - Ладно. Я тебе удочку ломать не буду. Я просто искупаюсь.

Пока он раздевался, малец трогал воду. С ужасом, уважением и отвращением.

- Жалко тебе, - сказал малец.

Вадик молча шагнул по скользкой гальке и резко упал в воду - так легче перенести холод. Он нырнул прицельно, потому что реденькие пузырьки ещё сочились. Руками по дну добрался до шара, качнул его - в надежде скатить на середину - и понял, что никуда бомба не покатится. За десять лет после чистки дно заросло илом.

Он вынырнул с ядром в руках. Было по шею. Вышел пешком на берег. Малец впился глазами в шар. Сказал уважительно:

- Ух ты-ы-ы... Электронная... На батарейках?

- На аккумуляторах. Энергия пространства.

- Вечная... А тебе трёх рыбок жалко.

- Иди отсюда! - Вадик, лягая зубами и дрожа от страха, ярости и холода, пристроил бомбу рядом с сумкой, понеприметнее, дырочками вниз и повторил со всей возможной грозой: - Вали бегом, а то удочку сломаю, леску порву.

Малец посмотрел на врага с жалостью, как на цепную собаку, и пошёл прочь.

Вадик не спешил одеваться, чтобы вода из шара успела стечь. Он изобразил спортсмена: попрыгал челночком, поприседал, помахал руками, даже провёл короткий бой с тенью. Когда согрелся, попробовал отжать на себе трусы. Это не удалось, а снимать их не решился: вокруг полно разных окон, малец оглядывается, да и вообще - вдруг совсем голого разорвёт... Вспоминая о йогах, он натянул одежду на мокрое, вкатил шар в сумку и, пока не замёрз, сел на панель и взялся за отвертку. Он вкрутил обратно сначала большой винт, потом маленький и затянул оба в полную силу. Прижал ухо к шару. Тиканье как будто даже ускорилось. Тогда он вскочил и самым скорым шагом пошёл по Школьному переулку в сторону Ушайки, прикидывая сбросить в неё шар с пешеходного мостика.

"Надёжная бомба, - рассуждал Вадик. - Раз вода ничего не закоротила, значит, скорее всего, механическая, с пружиной. Или механизм очень уж герметичный. А винты эти - не крепёжные, раз так легко вкрутились. Надо бы стучать, да боязно".

Тут он вспомнил о возможной радиоуправляемости бомбы, но отмахнулся: здесь-то какой смысл взрывать...

Он шёл самой серединой одноэтажных деревянных улочек, где почти не ездят машины, и всё

время проверялся: не следят ли за ним. Сзади было чисто. Впрочем, он знал о телеобъективах, о скрещении направленных антенн...

Перед самой речкой пришло в голову, что, если шар излучает, как радиомаяк, бесполезно сбрасывать его в воду: Ушайка везде мелкая, сразу найдут, вытащат и пристроят куда надо... Нет зря ушёл от Томи. Надо идти к Коммунальному мосту и бросать с середины, подальше от опор. Конечно, мост - хорошая цель для взрыва, но маловероятная. Мосты взрывают при отступлении. Хотели бы, так подложили бы сразу под него. Но если всё же он у них - запасная цель, надо просто избавиться от радиослежки.

Он перебежал по пешеходному мостику через Ушайку, поднялся к Комсомольскому проспекту и устремился в сторону Лагерного сада, попутно заглядывая в мусорные контейнеры и урны.

Когда уже подходил к площади Кирова, поиски были вознаграждены. Обложенный фольгой от разных упаковок и заземлённый волочащимся по земле медным проводом, радиомаяк наверняка потерял способность излучать сигналы.

Разгорячась быстрой ходьбой, Вадик снял куртку и обмотал ею шар. В таком состоянии бомба казалась не столь опасной и меньше холодила рёбра.

Оставалось теперь оторваться только от визуального наблюдения. Легче всего это было бы на железнодорожном вокзале, но вокзал мог оказаться объектом диверсии, там всегда дети. Вадик покрутился между заводскими заборами и домами частного сектора, всё приближаясь к Лагерному саду, и настал момент, когда возможность визуальной слежки свелась к нулю. Тогда он внезапным рывком из кустов сирени пересёк улицу Нахимова и растворился в Лагерном саду.

Время было уже послеобеденное, пихты и тополя шумели от внезапного ветра, и этот шум вместе с тревогой усиливал голод. Что такое один шашлык с утра, если тебе шестнадцать лет? Но Вадику было не до голода. Он кое-что припомнил и теперь срочно нуждался в хорошем уединении.

Асфальтовую тропу, что вела к обрыву, перекрывала толстая проволока с жестяной табличкой: "Хода нет. Опасно". Об этом месте передавали недавно по радио: те родники, что текут под обрывом, вымывают почву, и в глубине Лагерного сада образуются провалы.

- Заодно и поглядим, - Вадик жил отсюда далеко и не имел времени на экскурсии, так что не воспользоваться случаем было бы глупо. Перед смертью, ха-ха.

Он нырнул под проволоку, проломился сквозь кусты акации и выскочил на обнесённый такой же проволокой пустырь. Тут раньше выгуливали собак, а теперь зияла огромная воронка, в половину Белого озера, с небольшой лужей на дне. От лужи вверх по крутым стенкам расходились резкие морщины и трещины.

"Не скатить ли шар в это жерло? - Вадик усмехнулся. - Получится вулкан, стреляющий собачьим дерьмом".

Подумал и сам себе удивился: смерть под мышкой, а он шутит. И совсем уже не страшно... Ну, не то чтобы не страшно, а как-то уже привычно.

"Не будем отвлекаться".

Он вернулся в кусты и оказался в злачном месте. Коряги, сложенные вокруг кострища, были окружены окурками, пустыми банками, бутылками, которые невозможно сдать, и прочим мусором от ночных босяцких посиделок.

"Вот и ладно".

Он сел на самую устойчивую корягу и выкрутил из шара малый винт. Регулировочный! Значит, и запускающий, и останавливающий механизм! Медленно перевернул шар книзу дырочками, вылилось ещё несколько капель воды. Трясти и стучать, даже хлопать не хватило духу: тиканье стало казаться более громким, несмотря на шум ветра.

Вадик вернул винт в отверстие, слегка его качнул для совпадения осей и ниток резьбы и установил отвертку. Тринадцать полуоборотов. Хорошо, что ручка у отвёртки сплюснутая, ошибки не будет. Он крутил медленно и после каждого поворота слушал. В шаре тикало. Но с каждым оборотом всё тише. Или ему казалось, потому что хотелось.

Нет, не казалось! На тринадцатом полуобороте бомба замолкла.

Вадику вдруг стало жарко, будто окатило. Молодец! Можно отдохнуть и сообразить, что же дальше.

Для контроля он оставил ладонь на поверхности шара и стал думать.

Однако через несколько минут понял, что думать не получается. После такого смертельного приключения, когда столько раз погибал и воскресал, что даже перестал бояться, - думать было невозможно ни о чём, кроме жизни. Жизнь была подобна празднику, творимому вокруг "бабьим летом" - зрелость и величие природы, роскошь последних лесных нарядов, бесконечность голубого неба и самого существования.

А раз думать не надо, Вадик встал, забросил сумку на плечо и пошёл по этой роскоши, тихонько ею шурша и желая вдохнуть весь простор, который сейчас откроется на обрыве.

И простор ему открылся. Это были массивы лесов за Томью, раздвинутые жёлтыми и вспаханymi на зиму полями. Это были домики Чёрной Речки, трубы и мачты Кисловки, дымки над

Тахтамышевым, нанизанные на автотрассу, по которой неслись машины. Это была обмелевшая за лето Томь, далеко под обрывом, с потревоженными ледоходом плитами набережной, с несокрушимой и элегантной мощью Коммунального моста, если посмотреть направо, и с маленьким буксирчиком, выталкивающим из-за острова огромную баржу с песком, если посмотреть налево. Всё это - после стольких смертей - казалось невиданно прекрасным, новым и бессмертным.

Вадик вдохнул из простора полные лёгкие и пошёл потихоньку направо.

Однако осторожность, обострившаяся у Белого озера, ещё не прошла, и он, продолжая опасаться слежки, незаметно озирался и проверял, касается ли медный провод земли. Заземление работало, слежки видно не было.

"Ишь, как понравилось играть в войнушку".

Он поравнялся с памятником матери, провожающей солдата на фронт, и сразу поёжился от стыда. Мама ведь дома одна. Давно подмела свой участок, спрятала метлу и совок, прибралась, картошечки наварила... А могла бы и нажарить, если бы сынок не шлялся по городу, а принёс растительного масла...

Вадик вспомнил о базарчике на Учебной, всего в двух кварталах отсюда. Старушки, молоко, лук, морковочка. И булочная рядом. Он обошёл памятник, мельком взглянул на молодожёнов у "вечного огня" ("Вот развелось-то!") и заспешил по своим делам. От базарчика на троллейбусе можно как раз до самого дома.

Но едва выйдя из Лагерного сада, Вадик остановился в ошеломлении, поражённый простой и ужасной мыслью. Он нащупал в сумке шар. Там не тикало. Но ведь и тогда, на рынке - тоже не тикало!

Значит, в боевом состоянии бомба и не должна тикать! А самое худшее: скорее всего, у неё оба состояния - боевые. Когда молчит, она ждёт радиосигнала, а когда тикает - какого-то своего, внутреннего срока. Потому и неразборная.

"Зря убежал, когда тикала. Сейчас надо бежать. Если они меня потеряли, могут нажать в любую секунду".

В следующую секунду он бежал вниз, мимо Лагерного сада, к мосту через Томь. И смешная мысль прыгала, болталась и билась о стенки в опустевшей голове: "Пустить этот шар вниз по асфальту, а самому - обратно, да налево, да на базар, да на троллейбус. Но ведь - закон подлости: шарик обязательно тогда меня догонит". Нет уж. Расправа над проклятой находкой должна быть окончательная, верная и, по возможности, скорая. Все эти три условия сходились теперь на середине Коммунального моста. Следят за Вадиком или не следят, нажмут вовремя или не нажмут - он теперь на финишной прямой, будь что будет.

Рядом по дороге в оба конца текли машины с грибниками, и Вадик мельком жалел, что ещё не научился разбираться в грибах: они - серьёзное подспорье в питании. Навстречу по тротуару тянулись рыболовы со своей жалкой добычей, этим Вадик не завидовал: они с мамой не ели рыбы.

Разглядев сверху, что правый тротуар моста пуст, а левый занят рыбачьём, Вадик перемахнул через дорогу и помчался по правой стороне моста. Река течёт вправо, стало быть, брошенный отсюда шар под мост не затащит.

Голова работала отчётливо. Он дважды притормаживал, чтобы заглянуть за перила, оценить позицию, и остановился в самой верхней точке моста, ровно на середине пролёта, точно над серединой реки, над самым глубоким и быстрым местом. Если за ним наблюдают, самое время нажимать. Лёгкий конец камикадзе.

"Счастливые умирают молодыми". Кто это сказал? Ничего, авось ещё поживём".

Вадик, леденея, подвёл ладонь под бомбу и - перебросил её через перила. Всё! Последний взгляд. Пятьдесят метров высоты разделить на два "ж" - это около трёх секунд полёта.

Глаза провожали шар и всё ещё ждали вспышки. Но дождались совсем другого. Как раз в момент броска из-под моста стремительно вынырнула та самая баржа, которую десять минут назад Вадик наблюдал с обрыва. Она была нагружена сырым песком, и в этот песок мягко шлёпнулась бомба. И сразу в нём исчезла.

Вадик чуть не прыгнул следом. Но тогда он попал бы на крышу буксира, который толкал баржу и вблизи оказался вовсе не крохотным.

Через час Вадик принёс домой все необходимые продукты и, пока мама готовила, успел отремонтировать кое-что из её дворницкого инвентаря. Они славно пообщались за обедом, он рассказал несколько смешных уличных историй, которые выдумал сам. Особенно повеселила маму байка про маленькую девочку, которой не покупали мороженого, и она в знак протеста начала есть землю с газона. Это, впрочем, выдумкой не было.

Потом Вадик читал, лёжа на кровати в одних трусах, которые давно высохли. Читал он не очень интересный роман из школьной программы, поэтому одновременно успевал слушать радио и думать о своём приключении. По радио рассказывали о безработных из пригорода, которые гибнут, срезая высоковольтные провода, а уцелевшие сдают металл в пиратские конторы - для прокормления

семей. О сегодняшнем приключении Вадик думал с досадой: "Всё же стоило попробовать этот шар распилить. Жаль, не было в сумке ножовки".

На следующий день Вадик учился во вторую смену. Он успел сходить в присмотренное место за рябиной, а когда вернулся с полной корзинкой ягод, увидел свежую кучу песка, только что выгруженного из самосвала в новую загородку на детской площадке. Малыши окружили кучу, рыли в ней пещерки, что-то лепили, а двое из них, не обращая на песок внимания, катали рядом с загородкой дорого блестящий металлический шар величиной с детскую голову.

Вадик понял, что в школу он сегодня не пойдет.

18.11.2001.

Владимир Шкаликов

ПОЛИРОВАННЫЙ ВЕРСТАК

Иван Титаныч смотрел в толпу напряжённо и увидел сынов сразу. Все на перроне были им по плечо.

Титаныч прилип к окну и любовался. А Витька с Вовкой тоже быстро нашли его глазами и в радости подняли над толпой дядю Панкрата, который до того не был виден между ними. А дядя Панкрат, ещё не разобравшись, куда надо смотреть, уже поднял над головой своего любимца, трёхлетнего Витькиного Ванюшку.

У Титаныча затянуло слезой глаза. Ну, ёлки же палки, ну, до чего же хорошо может сложиться у человека жизнь, даже стыдно перед народом! В двух войнах, на двух фронтах - даже не ранило. Работа - всему свету на радость. Друзья - в разведку вместе ходили. Жена - совет да любовь. Сыны-погодки - оба кандидаты наук. Внучата - утеха старикам: Вовка свою Машенькой назвал по бабке, а Витькин Иван - ясно, в чью честь... Всё бы хорошо, так ведь и на курорт выпихнули: давай, батя, отдохни перед пенсией, сил наберись!

И сквозь счастливые слезы ещё краше представился Титанычу его дом в глубине малинника, возведённый собственными руками, как мера и красота велели, обставленный собственноручной мебелью, на которую коллеги с фабрики - и те приходили поглядеть. Даже, ёлки-палки, старый дядя Панкрат осмотрел последнее произведение - резной буфет под самый потолок - и вздохнул: "Всё, Ванька, теперь сам можешь меня научить, и горжусь я тобой до того, что помру спокойно".

А всего милее представился Титанычу его сарайчик во дворе, Сам этот сарайчик рубил, сам зимой там печку топил и сам ругал свой старый верстак, весь побитый-испиленный, свои старые, до ручки сточенные железки-стамески и до сверкания отполированные ладонями самодельные рубанки-фуганки.

Обычно после осмотра собственноручной мебели хозяин вёл гостей в сарайчик: "А вот этой ржой, на этой старой колодине всё и смастерилось!" Гости ахали, а ему было приятно...

Сошла слеза, встал вагон, раздалась толпа, и сыны-титаны, приняв на руки вместе с чемоданом, понесли счастливого отца всем на зависть к Витькиному "Москвичу".

Это просто красота - ехать рядом с водителем по родному старинному городу и обозревать. А водитель не простой - сын-красавец, учёный с переднего края, но ты ему запросто между прочим говоришь: "А ну, вспомни, товарищ кандидат наук, что было раньше на месте вот этого дворца спорта? Не помнишь. А было тут злачное место. Ипподром тут был. Тут купцы-миroeды просаживали народные денежки. А беговую дорожку для лошадей они, враги, между прочим, покрыли пробковой крошкой. Лучший был ипподром на всю Сибирь!" И тут же ударишься в старческую лирику (это сын так называет), что, мол, теперь лошадь осталась только на городском гербе, да и то, говорят, объявлен конкурс, чтобы и там её заменить на бульдозер или на лесовоз. А скачки, мол, если без тотализатора, то хорошее спортивное представление... "Да и с тотализатором ничего, - добавит второй сын, - потому что народу теперь и самому есть что просаживать". "А это смотря кому", - заметит дядя Панкрат. А маленький Ванька спросит: "А настоящие лошади бувають?" Словом, всё будет как всегда.

Но место рядом с водителем занял Вовка, потому что оно при лобовом столкновении, видишь ли, самое опасное. А стариков с Ванюшкой запихали назад, в тесноту.

"Будем уважать статистику, - сказал Вовка и пристегнулся ремнём.

- Ага, - сказал дядя Панкрат, - по науке, значит, собираетесь убиваться. Лучше ты, малец, как в песне, крепче держись за баранку и смотри на дорогу.

- Глупая песня, - ответил учёный Витька. - Баранку надо держать, как бисквитный торт. А если вцепишься, то может при опасности не хватить мышечной реакции. - И захохотали два грамотея. - Понял, дядя Панкрат?

- Пospорь с ними, - сказал Панкрат Титанычу.

- Я уже давно не спорю, - ответил отец. - Глухо спорить с наукой, как они выражаются.

- Вот приедем - посмотрю я на тебя, - начал было дядя Панкрат, но Вовка с Витькой даже запрыгали в своих ремнях : - Ты же обещал!

- Ну, про дом-то уже можно, - сказал дядя Панкрат.

- Слышь, батя, - обернулся Вовка, - переехали мы.

- И ничего не написали, - огорчился Титаныч.

- Сам понимаешь, - сказал Витька, - сюрприз.

- Сейчас будет тебе сюрприз, - опять вмешался дядя Панкрат, но сыны Титаныча на него зарычали, и он смолк.

Все стали молчать. Но никто ни на кого не обижался, потому что всю жизнь мальчишки препираются с Панкратом, а отца они давно покорили своей практичной воле. Все дела, кроме стоярных, получались у них лучше и быстрее.

Неизвестно, кто о чём думал, а у Ивана Титаныча в голове была новая квартира. Он нарочно не

спрашивал, где она находится. Интереснее угадывать. Мимо дворца спорта они не поехали: незачем, если старого дома уже нет. Витька погнал по широкой, каменной и современной улице Нахимова, потом по узкому, старой застройки Центральному проспекту, мимо Витькиного политехнического института вниз, мимо Вовкиного института автоматики, через площадь Революции, мимо старинного храма, в леса одетого, мимо памятника земляку-космонавту у Белого озера.. Витька мог ехать напрямик, по Комсомольскому проспекту, но он выбрал этот длинный маршрут, чтобы показать отцу, как тут без него сделали сквер у озера привозным красным гранитом. Он вёл машину легко, обгоняя автобусы, как водитель такси - быстрым коротким маневром из-под заднего бампера, у светофоров брал с места быстрее всех, ещё на жёлтый свет, но даром не рисковал, скорость почти не превышал, и старики терпели.

Там, где от улицы Пушкина был поворот вокруг царской пересыльной тюрьмы в новый многоэтажный микрорайон Каштак, Титаныч загадал: если прямо, в третий микрорайон, значит жить с детьми в разных квартирах, а если на Каштак, значит всем вместе.

Витька ловко срезал нос тяжёлому встречному трубовозу, увернулся от надорвавшегося звоном трамвая и свернул дважды налево - на Каштак!

Титаныч стал представлять новую, побольше, чем его старый дом, квартиру с горячей водой и три весёлых семьи, живущие в ней, как одна. Маняша верховодит невестками на кухне, сыны сходятся друг у друга над схемами, под ногами вертятся внучата, а он, старый, мастерит что-нибудь у себя во дворе - найдётся же там место для сарайчика...

Объезжая строительные обломки и ямы, они ещё несколько минут поблуждали в крупнопанельном лесу и наконец лошади Витькиного "Москвича" последний раз фыркнули у подъезда богзнаетсколькиэтажной махины, которая тянулась вдаль до самого горизонта. Вокруг не зеленело ни листочка.

- Вот, батя, это тебе вместо твоего домика и твоего сарайчика.

- Великая китайская стена, - сказал дядя Панкрат. - Сейчас ты, Ванька, увидишь свою новую мастерскую.

- Деда, - сказал Ванюшка, - дашь поклутить твой велстак?

- Всю жизнь ты его крутил - не спрашивал, - удивился Титаныч. - Пошто стал такой ... воспитанный?

- Сейчас увидишь, - пообещал Витька.

- Сейчас узнаешь, - добавил Вовка.

Доехали в лифте до пятнадцатого этажа, дверь открылась сама.

- Быстрее выходим, батя, - сказал Вовка, - а то через десять секунд сама закроется.

- Вообще придётся привыкать к быстрой жизни, - добавил Витька.

Титаныч увидел, что сыны шибко довольны этой быстротой. Дверь их квартиры, обитая свежим кожзамениателем, была почти прямо перед лифтом. Около неё чернела квадратная кнопка звонка. А на двери, около блестящего кружочка потайного замка, была неизвестно каким способом прикреплена панелька из винипласта с десятком мелких кнопочек - такая же, как на Вовкиной лаборатории в институте автоматики. Вовка надавил большим пальцем сразу две кнопки, а остальными ещё четыре, и за дверью тихо щёлкнуло.

- Замок был изнутри на защёлке, - пояснил Витька. - Запомни шифр,

Вовка сунул в замочную скважину стерженёк с насечкой, надавил, и дверь наконец тяжело распахнулась.

- Сколько же комнат? - спросил потрясённый Титаныч.

- Две, батя. Вот дверь в туалет, вот - в ванную, там кухня, а вот это - по порядку - для них выключатели. Теперь пошли налево. В эту комнату пока не заходи, а пойдём сразу в большую - там вы с матерью будете жить-поживать. Отдохнёте от нас.

- Во-во, - сказал дядя Панкрат.

- А мать где же? - спросил Титаныч. Он совсем растерялся от новостей и незнакомых забот, не о детях и внуках, а впервые о себе.

- Мать сейчас у меня, - сказал Вовка. - Она с Марусей сидит, потому что Ольга на работе.

- В ясли, значит, никак? - спросил Титаныч и испугался, что обидит сына таким вопросом, поэтому поспешил добавить: - Вы давайте её к нам. Мы ж теперь вроде как одни...

- Да что ты! Ольга помрёт без Машки, - Вовка засмеялся. - А так - чаще будем видеться. Мы с Виктором в третьем микрорайоне живём, на одной лестничной площадке.

Что-то не так сказал сын, что-то не так они сделали, и Титаныч начал расстраиваться. Новая каменная квартира с новой полированной мебелью была пустой и холодной, как красивая Ново-Афонская пещера, в которой он был на экскурсии перед отъездом с курорта. Красиво, а жить бы не стал.

Сыны увидели на лице его мысли, и Витька сказал:

- Ну, тут вам ещё привыкать, осваиваться, чтобы русским духом запахло, а вот теперь пойдём в твой кабинет.

- Поди, всю мою мастерскую туда перетасили, - сварливо сказал Титаныч, но просветлел.

- Хуже, - сказал дядя Панкрат. - Сейчас увидишь и упадёшь.
- Они подошли к притворённой двери второй комнаты. В комнате что-то звякало.
- Твой внук уже там, - сказал Витька. - Он, кажется, весь в деда, мастеровой.
- Внуку в деда и полагается, - ответил Титаныч светлым голосом.
- Ты давай держись-ка за меня, - сказал дядя Панкрат и толкнул дверь.
- Последний крик дизайнера! - сказал Витька.
- Предсмертный, - пояснил дядя Панкрат.

Но хозяин кабинета никакого предсмертного крика не услышал. В комнате стояла горная тишина и блистала медицинская чистота.

В длинном стеклянном шкафу, как в операционной, блестели полировкой долота и стамески любого мыслимого и немыслимого размера и конфигурации, матовой тушей - тяжёлая электродрель, похожая на ручной пулемёт и окружённая обоймами сверкающих свёрл с победитовыми напайками и связками гранат - сучкорезов, которые, как знал Титаныч, производились на соседнем с его мебельной фабрикой инструментальном заводе, но шли исключительно на экспорт. Как эскадра боевых кораблей, атакующим уступом выстроились металлические рубанки-крейсера, эсминцы-шерхебели, рубаночки-торпедные катера при поддержке линкора-фуганка и полуфуганка-авианосца. Как ракетноносные корабли из телевизионной передачи "Служу Советскому Союзу", отдельной ударной бригадой расположились инструменты для фигурной выемки кромок и для обработки торцов и кривизны. Хищной змеей отразился в зеркальной стенке шкафа никелированный коловорот, извивающийся, как ход сообщения, среди воткнутых в специальные отверстия ракет-пёрок и развёрток разного радиуса действия. Ножовки прямые и косозубые, для отрезных, продольных и шиповых работ, гордились изящными эбонитовыми ручками, а лучковые пилы всех фасонов и в самом деле походили на боевые луки древних. Огромный шкаф из стекла и стали, наполненный сталью и пластмассой, занимал почти всю левую стену. Напротив двери находилось прекрасное широкое окно с большими, во всю раму, стёклами и низким подоконником. В карниз полированной стали над окном была вдёрнута капроновая гардина. Подоконник украшали два кактуса. С конца карниза свисали на рыболовных лесках два белых пластмассовых шара, за которые, наверно, следовало тянуть, чтобы гардина двигалась. На потолке много места занимал прямоугольный матовый плафон, какими на производстве покрывают лампы дневного света, а на правой стене, напротив инструментального шкафа, на длинной витой никелированной шее голубел колпак местного освещения с удобным длинненьким тумблером на макушке.

Под этим колпаком, близко к окну, стояла единственная в комнате деревянная вещь. Это был верстак.

В его форме, в пропорциях было что-то до боли знакомое, но узнавать его Титаныч боялся. Он смотрел на покрытое тисовым шпоном и несколькими слоями нитролака, вручную отполированное дерево и не мог тронуться с места. Более того, он крепко держался за дядю Панкрата, чтобы не упасть. А маленький Ванюшка в это время вертел стальную, хромированную рукоятку прижимного винта, и рукоятка звякала, как скальпель, который кладут в стерилизатор перед операцией.

Сверкал цветной линолеум на полу - весь в пейзажах, боязно ступить.

Вовка протянул руку к репродуктору, и по комнате запрыгала любимая Ванюшкина мелодия "Джон Грэй". Ванюшка бросил крутить верстак и тоже запрыгал.

- Где же МОИ инструменты? - тихо спросил Титаныч. - Где мой рундучок?

- Знаешь, батя, - сказал Вовка, - этот кабинет мы для тебя готовили целый год, хотели подарить на новоселье...

- И думаем, - подхватил Витька, - что шкафчик этот не меньше твоего рундука.

- А эти железочки, - сказал Вовка, - из хромованадиевой стали кованы и в масле токами высокой частоты закалены - не хуже твоей ржи.

- А где же моя ржа? - повторил Титаныч.

- Да её соседские дети растащили, - улыбаясь, ответил Вовка. - Шоссе ведь только через наш дом прошло, остальных сносить пока не стали. Ну, и роздали мы твоё старое добро...

- Оно своё дело сделало, - добавил Витька. - Вон сколько мебели из-под него вышло!

- А мебель где?

- На всех соседей хватило! Ты, батя, пойми и не обижайся: в новых квартирах всё-таки нужна современная обстановка. Согласись, психологически: новое место, новые привычки, новые люди, к новой планировке жилья - мебель новых габаритов...

- Да не шибко-то людей место меняет, - усомнился Титаныч.

- А вот это, Ванька, твой верстак, - не выдержал дядя Панкрат и дёрнулся: - Да не висни ты на мне! Поди, прошёл уже столбняк-то! Видишь, спасли твой верстачок...

Иван Титаныч отпустил своего старого учителя и подошёл к верстаку.

- Мой?! Ишь, как отфанеровали... - Он повернулся к сынам. - Не сами?

Они переглянулись и улыбнулись.

- Нет, батя, - ответил Витька. - Нам, честно говоря, слабо. В институтской мастерской.

- Они пытались на нашу фабрику пристроить, - сердито вставил дядя Панкрат, - но никто за это

позорище не взялся. Даже для тебя.

Столбняк у Титаныча всё не проходил.

- Как же на нём теперь строгать, пилить? - спросил он покорным голосом.

- А он тебе не для того поставлен, - быстрее сынов ответил дядя Панкрат. - Он - для стирания пыли. Ты ведь теперь кто? Никто. На фабрике - гость... почётный, а дома - инструменты в шкафу протирать. Пыль-то на полировке очень заметна... Да-а, это не то, что твой рундучок...

- Бросьте вы, дядя Панкрат, - сказал Вовка. - Чем алюминиевая киянка хуже берёзовой? А верстак, батя, используй, как всегда. Пили на нём, строгай, доводи до прежнего состояния - колодина не обидится, а мы только рады будем. Ты ведь для нас - всё, так можем мы раз в жизни побаловать тебя на всю катушку?! Люди на пенсии вымирают от тоски, это известно. А тебе - пожалуйста! - все условия: делай новую мебель, живи ещё две жизни!

Титаныч слушал и не отводил глаз от верстака. А все смотрели на него. Он ещё помолчал и как-то робко спросил:

- А материалы?

Братья победно посмотрели на дядю Панкрата и разом шагнули к дверцам встроенного шкафа, которые Титаныч почему-то сразу не заметил.

- Смотри, сколько!

Плахи, рейки и бруски были заготовлены так старательно, что проведи рукой - не загонишь занозу. Рядом - пачка оргалита вместо фанеры, пачка букового шпона и различная шкурка на полке. Там же - ручная электрическая шлифмашинка за 22 рубля, давняя мечта. И хорошее томское электроточило с двумя камнями, один из которых предусмотрительные детки уже заменили войлочным кругом...

- Батя, ну, ты доволен?

Сыны смотрели на него во все глаза почти с испугом, как будто плохо подготовили кандидатский минимум по философии. В прихожей раздался звонок.

- Пришёл кто-то, - с облегчением сказал Титаныч.

- Нет, батя, - заулыбались сыны, - это твой телефон. Мать, наверно, звонит, возьми трубку сам.

Титаныч говорил по телефону раз в год, а своего не имел никогда, поэтому снял трубку с интересом и не без робости.

- Здравствуйте! - вежливо прокричал оттуда мальчишеский голос. - Нельзя ли поговорить с Виктор Ивановичем?

Титаныч оторвал трубку от уха.

- Ошибся, что ли? Какого-то Виктор Ивановича...

Витька быстро протянул руку и сразу сделал чужое лицо и чужой голос.

- Это вы, Лаптев? И здесь меня нашли... Какая квартира? А-а-а, спасибо. - Потом он слушал и хмурился. - А я всё же не уверен, что вы готовы. Не могли вы за два дня... Да-да, я тоже был студентом, но курсовые я сдавал с первого предъявления. Ну, хорошо, хорошо, я через полчаса буду в институте, ждите, поговорим по вашему проекту.

Витька положил трубку и, всё ещё хмурясь, показал отцу пластиковую карточку на стеклянной телефонной полке.

- Вот, батя, наши с Владимиром Ивановичем служебные и домашние телефоны. Можешь маме сейчас позвонить. А нам пора. Ауфвидерхёрен!

- Чего? - не понял отец.

- Я говорю, позвоню вечером.

Дядю Панкрата и Ванюшку они увезли с собой.

Иван Титаныч потрогал телефон и звонить не решился. Оно и ни к чему: Маняша всегда и без телефона домой добиралась.

"Хорошо, что дом снесли, - подумал он покорно. - Трём семьям было там тесновато, а теперь у всех по квартире. Только жаль, что далеко".

Иван Титаныч побрёл в большую комнату.

"Тахта молодёжная, нашей фабрики, подушки поролоновые. Стало быть, мы с Маняшей - молодёжь, и жить нам, молодым, лучше всего врозь. Спасибо, детки. Только чую, что ночевать мне в этой хороме больше одному, а бабка есть бабка - она будет по очереди жить с внучатами. На этот случай мне и телевизор с большим экраном поставили. Совсем ненужный человек: ешь и сиди у телевизора. Потом и есть перестану, а буду включаться в розетку. Пока не перегорю..." Тут Иван Титаныч почувствовал, что, несмотря на долгую дорогу и бессонную от ожидания ночь, есть и спать ему совсем не хочется. "Нет же, не сдамся!" - подумал он и зашагал на кухню.

Проходя мимо открытой двери кабинета, не повернул головы. "Этот кабинет - как музей: трогать ничего нельзя. Но-но!"

Иван Титаныч вошёл в кухню. Пеналы и шкафчики, вытяжной шкаф над газовой плитой, а также облицовка раковины и абажур - всё было сделано из весёлого голубоватого пластика с белыми цветочками, а ручки - из профилированного алюминия.

В холодильнике было всё, что нужно. Он открыл газовый кран - зашипело. Но ничего разогревать

не стал. Захотелось надышаться этого газа и уснуть навеки и чтобы во сне пахло берёзовыми дровами и детскими пелёнками.

Титаныч закрыл глаза и поёжился. "Что так холодно? От каменных стен, что ли? Или потому что тихо? А может, от чистоты?"

Ивану Титанычу было одиноко и холодно. Единственной тёплой вещью в квартире оказался его верстак.

- Вот только содрать полировку, тогда на нём и работать можно будет, - сказал громко Титаныч и поспешил в кабинет.

В кабинете всё играл репродуктор. Только музыка была теперь до слез печальная. Много девушек хором жаловались на свою долю. Слова доходили с трудом, только одно и разобрал, что они, горемычные, зря родились на белый свет.

"Надо же, какая похоронная песня, - мысленно пожалел себя Титаныч и добавил вслух: - Но не сдамся!"

Он осторожно открыл стеклянную дверцу и достал из шкафа текстолитовую киянку. Примерился и положил на место. Достал вместо неё алюминиевую с текстолитовой рукояткой,

"Вот такая годится. И потяжеле она, и лакировки на ней нет!"

Иван Титаныч повернулся к сверкающему верстаку и опёрся на него правой рукой, примериваясь, откуда начать разгром. Решил стучать от правого винта: старый, деревянный винт с большим шагом, так вкусно скрипевший под нагрузкой, заменили хорошо смазанным железным - его не жалко, да и что ему сделается?

Шагнул вправо и - нечаянно поглядел на то место, куда только что опирался. На полировке медленно таял корявый след его ладони. От шрама под большим пальцем змеился белый червячок, а след указательного, укороченного после войны дисковой пилой, уродовал и без того безобразное изображение широченной лапы, расплющенной за многие годы рукоятками пил и затыльниками рубанков.

Уродство медленно таяло, а Иван Титаныч смотрел на него с ужасом, потому что ему привиделась в зеркале полировки собственная оскаленная диким торжеством харя, когда он будет кромсать алюминиевым молотком хорошую чужую работу. Вспомнил слова Панкрата: "А он тебе не для того поставлен"... И сам себя не помня, Иван Титаныч прихватил пальцами рукав пиджака и начал правильными круговыми движениями протирать полировку.

"Однако хороший мастер фанеровал. Такую колодину, как мой верстак, надо ведь было сперва всю зашпатлевать, иначе шпон не положишь, амурские волны получатся..."

И он понёс киянку назад. Потом плотно закрыл шкаф и направился к телефону. Взял карточку. Набрал номер Вовкиной квартиры. Долго слушал длинные гудки.

"Гулять пошли", - подумал с жалостью и повторил это вслух. Добрёл до окна. Потянул за белый пластмассовый шар, и капроновые гардины разъехались. Отодвинул горшок с глупым колючим кактусом и открыл окно.

Высотные дома полностью загородили тайгу за далёкой рекой.

"А ведь раньше тут был простор. Самолёты садились. Планеры взлетали... Интересно было их ремонтировать!.."

Над головой клубилось небо. Иван Титаныч вдруг вспомнил, как чёрт-те когда, перед самой войной, весёлые ребята из аэроклуба по очереди катали его на планере, потому что для полёта им нужен был пассажир. Смелый и терпеливый,

И он - летал!

Сейчас бы так. Позвал бы кто!..

Владимир Шкаликов

ПРИВРАТНИК, или ТАЙНА ВЫБОРА

Держать книгу на столе не запрещается. В инструкции написано, что на посту охраннику нельзя "спать, есть, пить, принимать на хранение посторонние предметы", а насчёт "пить", "сидеть" или "читать" - ни слова. Хоть и носит охранник камуфляж почти армейский, а всем известно, что и сам он - пенсионер, и работа у него - пенсионерская, и зарплата - тоже. Лишь бы сутки через трое не пропускал на территорию посторонних да успевал бы распахивать ворота, когда едут свои. Когда же не едут, сиди себе и читай.

А у меня, тем более, - "Библия". И открыта аж на последней трети. И в пометках многие места. Новый начальник смены, очень вредный придира, один раз заглянул через плечо:

- Что читаем?

- Писание.

- И столько уже прочли?

Я уклончиво ответил: "Перечитываем". Он буркнул: "Ну-ну". И больше не заглядывал. Бывший прапорщик, что возьмёшь.

Впрочем, у нас в команде половина охранников - бывшие прапорщики. С той разницей, что кое-кто до пенсии успел побывать под огнём, а этот, говорят, всю воинскую службу посвятил харчам - снабженцем в здешней же столовой. Кормил курсантов да и сам не голодал. Теперь вот шестерит перед начальством: прибежит утром пораньше, на нашу пересменку, займёт в караулке стул поближе к двери и пялится в уличное окно. Как только подъезжает кто-нибудь из начальства, он выскакивает раньше охранника и распахивает ворота. А ворота тяжеленные. А у нас в охране и пенсионерки есть. Ему бы не лишнее рвение продемонстрировать, а вот этим озаботиться: понаедать начальству, чтоб установили лёгкий дневной шлагбаум, управляемый кнопкой из караулки...

О таких прапорщиках в армии сложена шутка злая: "Служу, пока руки носят".

Первым прибывает на своём "рено" зам начальника института по строевой, полковник. "Шестёрка" ему ворота открывает, расшаркивается и в глаза заглядывает. Тот кивает, въезжает во двор и ставит машину на площадке у офицерского общежития. Потом через проходную возвращается, чтобы войти в главный корпус через парадную дверь и принять там рапорт ОД - оперативного дежурного, офицера с пистолетом. "Шестёрка" провожает его от проходной до парадной и докладывает на ходу, что служба гражданской охраны в порядке. Выслушивает наставления и замечания. Возвращается к нам. Накручивает хвоста - обычно ни за что, ради профилактики. Караулит приезд генерала - начальника института и его замов - по политработе, по науке и по тылу. После этого показуха заканчивается, и придурок уходит на КПП-2.

Там тоже есть ворота, но они запасные и не открываются годами. Железные створки даже подпёрты бетонным блоком. Когда рабочий день в институте закончится, и придурок уйдёт домой, мы закроем главные ворота на висячий замок, сдадим ключ ОД, закрём КПП-1, уйдём на КПП-2 и проведём ночь в бдениях и обходах. Ну и поспим по очереди, это разрешено.

Раньше мы и днём, между часами "пик", разделялись: один контролировал ворота на КПП-1, другой отдыхал на КПП-2. Но теперь там окопался этот придурок: весь свой рабочий день сидит за нашим обеденным столом и имитирует бурную деятельность - перебирает инструкции и графики, чтобы найти, к чему бы придраться. Ведро переставил на другое место, сейф - тоже, запретил нам есть за "его" столом...

Есть два вида мелких начальников. Одни отстаивают интересы рядовых перед начальством повыше, другие перед этим начальством лебезят, а рядовых прессуют. Наш прапор как раз такой - из "других".

Ну и чёрт с ним. До него работал нормальный мужик, из штатских. С ним было просто и легко. А теперь приходится весь день торчать на КПП-1 - вдвоём без особой нужды. Но уже и так приспособились, хоть без особого комфорта. По часу: один пропускает людей и машины, другой дремлет на стуле у окна, выходящего во двор, или там же читает.

Вот сейчас меня подменит Михаил. Почитаю. Через час поменяемся местами. Всё же за день раз двести эти ворота тягаем.

Звонит телефон внутренней связи. Наверно, этот придурок с КПП-2 проверяет нашу бдительность. Поднимаю трубку, отзываюсь по уставу:

- КПП-1, дежурный охранник Петров.

В трубке молодой голос:

- Это оперативный дежурный. Где ваш начальник смены?

- Ушёл на КПП-2.

- Нет там его. Найдите, пожалуйста, зам по тылу его ищет.

Вот, даже кадровый военный нам говорит "пожалуйста", а этот солдафон не додумался ни разу... Миша остаётся у телефона, иду искать придурка.

Где он может прятаться, не представляю, поэтому для начала заглядываю на КПП-2: возможно, как раз ходил в сортир, в главный корпус. У нас ни на одном КПП сортиров нет, а нашей баночкой он пользоваться брезгует.

Козыряю на ходу родному старенькому БМП-1, на котором будущие военврачи учатся спасать оглушённый экипаж. Выкрасил его какой-то идиот ядовитой городской салатной краской. Дружески киваю старенькому Т-54, выкрашенному нормально, хоть и не в камуфляж. Перед самой нашей дверью на миг включаю рубильником свет ночных фонарей - все ли исправны. Молодец электрик, управился всего за три дня, вкрутил лампочку на высоте своего роста.

Дверь заперта изнутри. Стучу кулаком. Открывает быстро, но рожа заспанная.

- В чём дело?

- Тебя, - говорю, - зам по тылу найти не может.

- А вы что, позвонить не могли?

Видно, ещё не пришёл в сознание: не понимает, что проспал звонок. Или это от вчерашнего дождя на телефонном кабеле опять наземную скрутку закоротило?

- Он, - говорю, - сам сюда не дозвонился.

И смотрю с вопросом. Он бурчит:

- Ладно, сами бы позвонили. Чем зря бегать. Сейчас приду.

Возвращаюсь к Мише. Мой черёд отдыхать у окна с видом во двор. К обеду придурок явится, подкараулит, когда стул освободится, и перетащит его для себя поближе к двери. Опять будет нам мешать. Миша ворчит:

- Он мне сказал, что двое в смене - это много, надо нас сокращать. Не сократить ли нам его?

- Давай, - говорю. - Составляй "телегу".

И погружаюсь в "Новый завет".

Я всегда испытываю волнение в одном месте, где Иисус говорит ученикам: "Один из вас предаст Меня". А Иуда уже сходил и предал. И всё как будто понятно: один из двенадцати - нормальная вероятность предательства. Ан ведь нет: чувствую какую-то недоговорённость, тайну даже. Зачем Он сказал это вслух? Ведь этим посеял взаимную подозрительность. Неужели не понимал? Не мог не понимать. Почему же не смолчал? Зачем всех ударил по душам? Может быть, знал что-то ещё? Такое, чем всех мог проверить на вшивость?..

У ворот засигналила машина. Миша проглядел? Уснул, что ли? Я поднял глаза от книги. Миши за столом не было. Когда вышел? Если у него отлив, так надо было меня предупредить, как он любит, по-флотски: в галюн, мол, сбегая. Надо выглянуть на всякий случай, подстраховать его.

Я вышел в проходную. Там было пусто. Машины во дворе перед воротами не было. Значит, снаружи. Но пусто оказалось и снаружи. Только стоял у ворот человек в длинном плаще с капюшоном и явно ждал, что для него должны их распахнуть.

Нет, дружок. У нас через ворота ходят только мамы с детскими колясками, живущие в офицерском общежитии. Мы их всех знаем в лицо. А тебе придётся показать пропуск и - через проходную. Или идти за разрешением к оперативному дежурному...

Но где же машина, которая сигналила? Успела уехать? Неужто я всё-таки заснул, а Миша так безответственно смылся? Может, он уже до ОД добежал, пока я просыпался? Так это не положено, звонить надо.

Странный гость очень прямо стоял у ворот и держался за их кованую решётку обеими руками. И смотрел во двор, будто кого-то ждал оттуда.

Я шагнул к нему.

Он обернулся ко мне.

Встретились глазами, и меня что-то окутало. Как будто на меня обрушился весь мир, исчезла тяжесть и окружила ошеломляющая тишина. А в этой тишине - только два голоса: мой и Его.

- Узнаёшь? - Это спросил Он.

- Конечно, Равви.

- Говори по-русски.

- Да, учитель.

- Зачем звал?

- Я не звал. Беспокоить по пустяку...

- Это не пустяк, - Он на миг усмехнулся, и я вспомнил, что ни разу не видел его улыбки. Он продолжал грустно, как говорил всегда: - Твоё предположение верно. Я знал и понимал. И сказал вам тогда не всё. Однако понял все, кроме тебя.

- Чего же я не понял?

- Того, чего не делал. Помнишь, как в Кесарии Филипповой Я первый раз вам сказал, что буду предан и казнён?

- Помню.

- Что ты тогда сделал?

- Отвёл Тебя в сторону и попытался отговорить от похода в Иерусалим.

- Зачем?

- От казни убережь. Я верил, что провидишь.
- Вы все верили. Но отговаривал один ты. - Он остановил жестом мою попытку возразить и продолжал: - Одиннадцать умных голов не решились противиться Божьему промыслу, один ты восстал.

- Мне было жаль тебя!

- Один ты не понял, что великие дела не терпят жалости. Ни к близким, ни к себе. Помнишь, Я говорил: "Оставьте мёртвым хоронить своих мертвецов"? Помнишь, Я говорил: "Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её" - помнишь?..

- Мне было жаль тебя! – повторил я в отчаянии.

- Однако ты отрёкся от Меня трижды до полуночи! Было ли тебе жаль себя?

- Нет, Учитель. Когда Тебя так легко взяли, я понял, что уже ничего не изменишь. Надо было жить...

- Ради Моего дела?

- Ради нашего.

- Ах, Камень, Камень, ты всегда был поперечным. А остальные одиннадцать послушные были. И понятливые. Едва мы дошли до Иерусалима, и я ещё раз напомнил, что буду предан и казнён, все, кроме тебя, навестили первосвященников - и сдали меня. То-то фарисеи тешились, безмозглые.

- Вроде меня, да? Не прозрели высшего промысла, да?

- Ты язвись и обижаешься. До сих пор. Понимаешь, но не принимаешь...

- А вспомни, Учитель, как обозвал Ты меня сатаной за мою заботу о Твоей безопасности. Ты сам бы за такое не обиделся?

- Да уж, Бога назвать сатаной - мало приятного. - Он опять мельком усмехнулся. - Но ты и в обиде Меня не предал. Я горжусь тобой.

- А самым из нас догадливым не гордишься?

- Иудой-то? Он тогда был нужнее всех. Всем остальным не так поверили, как ему. Он для убедительности и мзду за предательство немалую заломил, и поцелуем отметился, чтоб меня узнали. Даже потом с собой покончил, говорят...

- Ты говоришь: "Говорят"?!

- Именно так и говорю. Будь понятлив. И каждому воздано по делам его.

- Спасибо, Учитель. Работёнка у ворот - и в самом деле не пыльная.

- А ты какую хотел бы?

- Я разве сказал, что хочу другую?

- Да как-то в тоне послышалось.

- Нет, Учитель. Не нужна мне другая работа. Мне бы только вопрос задать.

На его лице мелькнуло неожиданное для меня удивление. Сын Божий - не ожидал вопроса! Впрочем, я его и сам, признаться, не ожидал.

- Спрашивай, прапорщик Петров, - сказал Он почти торжественно. И я понял, этот офицерский тон не случаен: Он уже знает мой вопрос. Ладно же, Учитель, озвучим.

- Как там ваххабиты, которых я с моими пацанами положил в известном Тебе бою?

- А про своих пацанов, - он сурово усмехнулся, - спрашивать не будешь?

- Небось скажешь, - тут уж я оскалился, - что все они в одном общем раю, и что Аллах действительно Акбар, потому что он един во всех именах, и что все эти парни были равно правоверными и убивали друг друга во имя и во славу Создателя... Лучше бы меня насовсем тогда убили... Что ж Ты молчишь?...

Я видел, что Он подыскивает слова. Я не сомневался, что Он их найдёт - такая у Него работа. Но я вдруг пожалел о своём вопросе. О стольких своих вопросах. Ответ на них не был мне нужен. Я знал ответ. Я шагнул обратно к проходной.

- погоди! - сказал он вдруг. - Подойди! Я ведь пришёл к тебе с вопросом.

Я повернул голову. Я не хотел подходить. Мне нечего было Ему сказать. Потому что уже ничего нельзя было исправить. Что я мог увидеть в Его глазах, если я заглядывал в глаза женщин, у которых погибли сыновья. Погибли рядом со мной.

- Не хочешь...- Он сам оказался рядом, в глазах мука. - Ответь мне хотя бы, что труднее: найти выход или сделать выбор? Ты ведь делал то и другое.

- Ты знаешь, конечно, - мне почти стало смешно. - Ты и сам это делал, только не на войне.

- Ответь! - Он требовал, надо же.

- Изволь. Ответ тянет на все пять баллов. У нас говорят, что выбор приносит мучения, поскольку в нём есть что-то рабское. А искать выход - или вход! - дело творческое, потому приятное, ибо в творчестве есть свобода. Не находишь?

- Прапорщик Петров! - Он положил мне руку на плечо и слегка тряхнул. - Ну-ка, подъём!

Я открыл глаза. Надо мной стоял Миша. Он заботливо улыбался.

- Ты чего это разбушевался?

- Что я говорил?

- Неразборчиво, - по глазам Миши было видно, что он лукавит. - Заснул маленько, вот и всё. Ты как себя чувствуешь? Боли вернулись?

- В пределах. А что?

- Да Юдин звонил. Сейчас придёт.

- Какой Юдин?

- Теперь верю, что здоровый сон - в здоровом теле, - Миша засмеялся. - Ты так спал, что забыл фамилию любимого начальника смены. Я тебе завидую. Так что, будем его сокращать? Составлять "телегу"?

Теперь я проснулся окончательно. И вспомнил, кто такой наш придурок Юдин. И сказал:

- Давай подождём. Может, он нам ещё за чем-нибудь понадобится.

Миша смотрел удивлённо. Он всегда слишком скор на руку. Что возьмёшь с морпеха...

31.12.07г.

Владимир Шкаликов

ПРОЗА СМЕРТИ (СО-ЧУВСТВИЕ)

Если кому-то захочется "вычислить",
о ком я написал, он сможет это сделать.
Но я уверен, что никому этого не захочется:
я написал обо всех нас,
и имена не имеют значения.

В начале сентября 2006 года мы хоронили Вдову.

Не была эта женщина героиней труда или заслуженным деятелем, а просто всю жизнь лечила людей в качестве медсестры. В той поликлинике, где она до конца жизни проработала, любили говорить, что это благодаря её рукам учреждение прославилось в Томске, что сам главный врач областной клинической больницы (ОКБ) в студенчестве проходил у неё практику по урологии, что множество безнадежно больных детей и взрослых она поставила на ноги с помощью массажа, и тому подобное, что можно сказать о многих наших медиках, хотя и не обо всех.

Так же, как многие, кто дожил до почти восьмидесяти лет, она пострадала от войны: спасалась в родном Новгороде от фашистских бомбёжек, бежала с матерью оттуда в Сибирь и пережила те же трудности, что и обыкновенные советские люди, к числу которых себя относила до самой смерти.

Пятнадцать лет назад похоронила мужа, врача божьей милостью, фронтовика, пережившего после войны репрессию за неудачно рассказанный анекдот. После лагеря, где работал по основной специальности, он рассказывал, что среди зеков были в почёте люди трёх профессий: священник (потому что может замолвить словечко перед Всевышним), адвокат (замолвит словечко перед людьми) и лепила, то есть врач.

Через мужа я с ней и познакомился. Попал к нему в молодости на хирургический приём, оказался последним в очереди, поэтому нашлось время разговориться. Я был тогда журналистом и написал о нём свой первый рассказ. Эта военная быль называлась "Мина": танковый прорыв, заминированный замок, тикающий в ночи часовой механизм... Потом стали дружить семьями. Я звал его Доктором.

Его мне хоронить не пришлось, я был в длительном отъезде. Похоронил наш общий друг, тоже врач, который и сам через несколько лет помер. Мы вместе с ним помогали, чем могли, Вдове, у которой никого больше не осталось, кроме двух капризных и нахальных котов.

Ну всё в этой истории типично и классично для нашего стариковского населения, которое один неприятный мне политик назвал в 2004-м году "уходящим поколением". К этому поколению отношусь уже и я, хоть и помоложе. Об этом, собственно, и пишу.

Вдова не раз говорила нам с женой, что хотела бы умереть не в больнице, а дома: "Не сдавайте меня туда, если потеряю подвижность". Мы обещали.

Она была волевым человеком и старалась ни о чём не просить. Контузия, полученная в войну, к старости начала сказываться: чрезвычайно ослабло зрение, стало трудно передвигаться. Легко представить, каково оставаться в таком положении гордячкой.

Два года назад она позвонила нам и сказала, что не видит совсем. Мы доставили её в платную клинику, удивились сумме, которую пришлось выложить за 10-минутный осмотр, и совсем впали в уныние, когда была названа стоимость будущего лечения - "прикрепить" лазером отслоившуюся сетчатку единственного уцелевшего глаза.

Пошли в ту поликлинику, где раньше работала наша Вдова. Главврач, женщина душевная, не имея собственной возможности помочь, позвонила главврачу ОКБ, и тот, конечно, вспомнил свою бывшую наставницу по урологии. Вдова была доставлена в глазное отделение, там два прекрасных офтальмолога - отец и сын - сначала одолели её чудовищную гипертонию, а затем и восстановили зрение. Бесплатно.

Она всю свою томскую жизнь прожила на втором этаже дореволюционной "деревяшки", не признанной архитектурным памятником и не подлежащей серьёзному ремонту, поскольку стояла в престижном месте города и была назначена под снос. На соседних улицах такие дома уже жгли вовсю по ночам. Её соседям пришлось два года назад прыгать из окон по тому же поводу. Очень уж спешили потенциальные застройщики завладеть дорогой землёй в историческом районе.

Страх поджога был для Вдовы больше всех остальных. Она всё время нюхала воздух в общем коридоре: не греется ли там в скрутках старая электропроводка. Вторым страхом стояла слепота. Вдова запретила себе читать единственным спасённым глазом и очень от этого страдала, поскольку чтение ставила выше телевизора и даже выше радио. Дальше теснились мелочи: ограбление (воровать нечего, кроме старого телевизора, холодильника да нескольких посуды из трофейного саксонского фарфора, купленных после войны по дешёвке), холод, голод, клопы, моль, крысы, падающая с потолка штукатурка, мучительные походы в магазин за продуктами (ничего другого она

давно не покупала), подъёмы на второй этаж по лестнице в 16 ступенек, не уступающей по крутизне трюмному трапу. Ей случалось падать и с этого трапа, и на ровном месте - всё чудом не заканчивалось переломами. Была ещё масса неудобств, среди которых на первом месте стояли вконец испорченные зубы под изношенными протезами, на ремонт которых никак не удавалось накопить необходимую сумму. Последний поход к стоматологам состоялся по требованию дорогостоящего окулиста, был связан с выдираньем гниющих корней, пользы не принёс, зато оставил чувство ужаса и долгую боль.

В общем, это была мученическая жизнь, которую ей так и хотелось прервать, да не позволяла православная вера, ставшая для Вдовы чем-то вроде оберега после смерти горячо любимого мужа.

С мужем у неё были особые отношения, которые сложились задолго до их брака. Они работали в одной поликлинике: brave красивый фронтовик и гордая медсестра. Она поглядывала на него, а он - на других. Она вышла замуж, он женился. У обоих родилось по сыну. Только её сын оказался болен церебральным параличом, и первый муж от неё сбежал. За месяц до предательства её остановила на улице какая-то женщина и предложила погадать. Сказала, какая у неё была жизнь, сказала, что кто-то очень близкий у неё неизлечимо болен, и предсказала бегство мужа. Даже имя второго мужа назвала. И предсказала всю их будущую жизнь, до самой смерти. И так всё и случилось. Вплоть до его смерти. И сына её больного он нежно любил, и похоронили они этого несчастного ребёнка в девятнадцать лет, и пил Доктор после каторги изрядно, но не изменял ей никогда и любил до самой своей смерти, и звал с того света, говорил, что там лучше.

Она и сама чувствовала, что ТАМ лучше. ТАМ не надо горбатиться на трёх ставках, чтобы жить сколь-нибудь сносно. ТАМ не будет унижать участковый врач: "От старости не лечат, вас надо сдать в дом престарелых". ТАМ не надо расплачиваться водкой с малярами и с водопроводчиком из жилищно-эксплуатационного управления, не надо выстаивать на почте очередь за пенсией и дрожать, хватит ли у них денег на всех. ТАМ не нужно благодарить совет ветеранов поликлиники за пару мешков полугнилой картошки и за выписанную газету, которую она уже не может читать. ТАМ, наконец, не надо отнекиваться от искренней помощи друзей, которые и сами пенсионеры, только моложе...

У неё был где-то припрятан сильный яд на случай безвыходного положения, но она им так и не воспользовалась.

Она упала у самой кровати.

Накануне было совсем плохо, моя жена сменила меня, и до самого вечера они беседовали за столом. Вдова не могла встать из кресла, но обещала на прощанье, что сделает это обязательно и не надо ей помогать. Она и крючок на дверь набросит. Так уже бывало.

Жена вернулась домой тревожная и сказала, что надо всё же как-то выпросить у неё вторые ключи - на случай форс-мажора. В девять вечера они, как обычно, поговорили по телефону. Как обычно, поругали бесстыдство телевизионных шоу, повспоминали Доктора, осторожно, по-советски опасаясь подслушивания, коснулись политики. Эти разговоры были у них ритуалом: ничего нового давно не говорилось, просто нужны были звуки человеческого голоса. Одни соседи Вдовы постоянно жили на даче, а другие вообще куда-то пропали. Жаловалась, что стала забывать слова. Радио и телевизор не выключала.

Утром жена приехала ко мне на работу и сказала, что Вдова не подошла к телефону. Это могло означать только одно: она упала. Уже третий месяц она не выходила из своей квартиры, потому что осилить трап была больше не в состоянии.

Мы приехали, не достучались в дверь и проникли в квартиру через окно, благо по летнему времени форточка была открыта, а ветхая рама заперта только на верхний шпингалет.

Вдова сидела на полу у кровати в очень неудобной позе. Она тяжело и коротко дышала и не могла говорить, только смотрела сквозь толстые очки с ужасом. Единственный зрячий глаз давно не имел хрусталика, зрачок был расширен, из него выглядывала бездна.

Мы не смогли поднять её на кровать и вызвали "скорую".

С дюжим соседом и санитаром из "скорой" уложили на испятнанную клопами кровать, и мне было стыдно, и не было повода объяснить, как много раз мы пытались и с клопами побороться всерьёз, и порядок настоящий навести, а в ответ гордая беднячка Вдова мягко отвечала: "Давайте попозже, мои хорошие, я сегодня не в форме". И была в этой мягкости такая неукоснительная независимость, и настолько хорошо мы знали, к какой ответной жёсткости может привести наша настойчивость, что каждый раз отступали. Мы приносили ей разные препараты против клопов, моли и крыс. Одни отвергала как "вредные для котов", другими начинала пользоваться, но вскоре сослепу теряла, а мы будто случайно находили, и всё повторялось...

После всех необходимых процедур молодая врачиха "скорой" твёрдо сказала, чтобы срочно нашли четвёртого носильщика и побыстрее грузились. Мы с женой переглянулись: после выздоровления нам будет разнос. Но сейчас возражать Вдова была не в состоянии, только мычала. Я сбежал на улицу, поймал какого-то доброго здоровяка, а медики тем временем развернули толстую полосу брезента с ручками - будто специально для таких домов изготовленную.

Жена смотрела испуганно и шептала, что не может найти ключи от квартиры. Я сказал: "Ищи с пристрастием, жди меня здесь".

Очень крутая эта лестница в 16 ступенек. Нести полагается головой вперёд, а получается - вниз.

Я поехал со "скорой". По дороге узнал, что дежурит сегодня как раз ОКБ. Большая удача. Обратимся к главврачу: вернул ей зрение почти на два года, теперь вытащи с того света.

Ехали с сиреной, а потом застряли у приёмного покоя, потому что единственный санитар оказался занят. Пожилой водитель сильно ругался. Я сказал санитару "скорой": "Сами дотащим". Он слышал, как я назвался врачешке "не родственником", поэтому с некоторым удивлением принял помощь. Выскочил, наконец, и санитар приёмного покоя. Подняли на телегу, покатали. Было полно бедноты - таков профиль бесплатной больницы. Санитаров оказалось несколько, но все они что-то таскали и кого-то катали.

Каталку Вдовы мы втиснули в смотровую комнату рядом со второй такой же, и ходить там стало можно только боком. Санитару тут же строго сказали, чтобы не сачковал от настоящей работы и начинал срочно протирать вон ту старушку гипосульфитом, от чесотки. Когда-то в молодости я пользовался этим реагентом для фотографии.

Я сел у двери на топчан в уверенности, что сейчас понадобится врачам для каких-нибудь пояснений и помощи. По моим ногам немного походили и, наконец, сказали, что здесь женская смотровая, поэтому ждать надо снаружи.

Шёл уже девятый час пополудни, мы приехали без десяти восемь.

Часа через полтора - подробности ожидания опускаю - я в очередной раз напомнил медикам о своей подопечной. Один из дежурных врачей оторвался от бесчисленных бумаг: "Рентген уже сделали?" И мы с санитаром помчали каталку к лифту, потом по коридору третьего этажа, потом обратно - и снова началось ожидание. Я сидел точно напротив открытой двери и смотрел на врачей, как коты смотрели на нашу Вдову, когда она замешкивалась с подачей им варёного минтая без головы и костей, с гарниром из куриных яиц. Я смотрел и думал, что сутки такого дежурства должны убивать в человеке всякую охоту к медицине. Но у санитаров торчали из карманов явно медицинские книжки и конспекты, а врачи никак не обнаруживали неприязни к своему делу. Я бы так не смог. Я вспоминал, что когда-то, работая в ГАИ, всерьёз предлагал ввести для желающих стать водителями специальное психологическое тестирование на профессиональную пригодность. Надо мной слегка посмеялись, но - с пониманием. Теперь я вспоминал ту участковую, именуемую врачом, которая так обидела Вдову: она бы здесь работать не смогла...

Я нашёл телефон и позвонил в квартиру Вдовы. Жена сразу схватила трубку. Она уже нашла ключи. Ждать ли меня? Я сказал, что не представляю, насколько задержусь, пусть едет домой.

Время от времени я заглядывал в смотровую. Народу там убавилось, наша каталка осталась одна. Вдова всё так же часто и громко дышала. Мне казалось, что на неё не обращают никакого внимания. Снова напомнил о ней дежурному врачу и ушёл в смотровую, где никого уже не было, кроме моей больной. Попытался с ней утешительно беседовать. Она всё понимала, но не могла разборчиво говорить. Только на моё сообщение, что котов будем кормить, а завтра приедем, потому что ей придётся полечиться в ОКБ, она внятно и с торжественным возмущением спросила: "Заче-е-ем?!" Ответить я мог только то, о чём думал весь вечер: "Главврач вернул вам зрение, вытащит и ещё раз". Она молчала и всё время пыталась повернуться на бок. "Вам больно лежать?" "Да". Я попытался помочь, но каталка жёлобом, в ней такую большую не повернёшь. Прикрыл её изъеденной молью кофтой и сходил за санитаром. Тот сноровисто ухватил за ноги, я - за расслабленные плечи, слегка удалось... Наконец - врач. Женщина. Поговорила с больной, ухитрилась понять все ответы. Ушла. Я сказал: "Пойду, потороплю их, здесь холодно". Поправил кофту, накрыл простынёй и вышел. Было уже 11 вечера. Если не успею на последний автобус, мне идти через весь город.

Медики сказали, что при подъёме в отделение моя помощь не потребуется, что результатов рентгена ещё нет, поэтому неизвестно, в какое отделение положат, поэтому пусть я уезжаю и позвоню завтра утром в справочное вот по этому телефону.

Домой я добрался после полуночи, а утром узнал, что Вдова в кардиологии. Началась рутина: собрать необходимые вещи и отвезти. Свидания всё равно не будет, потому что больная без сознания. То есть в коме. То есть - конец.

Они пытались вынуть её из комы ровно две недели. Сначала в кардиологии, потом в инсультном отделении. Новые холматные тапочки, которые моя жена ей подарила месяц назад, нам вернули сразу же, вместе с халатом: "Не понадобятся". Это говорили без цинизма, с сочувствием. Вообще эти молодые люди в непривычных для меня зелёных халатах все до единого не были циничны. Они лечили сплошь старушек и совсем не удивлялись, что заботятся о них "на воле" такие же, как они, пенсионеры, часто посторонние люди. И говорил мне врач Серёжа об этом спокойно, без эмоций, как о норме. А я слушал его и вспоминал свою советскую жизнь, полную, как выяснилось, несправедливостей, но всё же какую-то более одушевлённую, чем теперь, и в белых халатах, обещающих волшебство...

Потом были похороны. Мы с женой, наш друг-автомобилист, сильно помогший в похоронах, жена и дочь того друга-врача, который когда-то помогал, да умер. Были ещё две соседки и очень бодрая

медсестра, на несколько лет старше нашей Вдовы, когда-то помогавшая ей картошкой от имени совета ветеранов поликлиники - такое дежурное, но вполне душевное присутствие. Все восхищались тем, что мне удалось "подхоронить" Вдову к мужу: кладбищенский бригадир за некоторую сумму согласился, что места рядом с могилой Доктора достаточно.

После похорон были поминки в столовой ОКБ - всё за счёт больницы, по распоряжению главврача, человека сурового и медика явно божьей милостью. Только водку мне пришлось купить самому, на остатки денег, занятых на похороны у друзей.

Потом был бунт котов. Они вообще жили дикарями, никогда не подходили к гостям Вдовы, только орали дурными голосами, когда наступало время кормления. Хозяйке они платили тем, что грелись у больших мест её громоздкого тела да иногда ради спорта давили крыс и бросали их посреди кухни. Вдова говорила: "Они чувствуют мою боль. Они - моя семья". Вонючка от этой "семейки" стояла невероятная, потому что гадили два негодяя где попало, и диван от них не просыхал. Теперь же, после исчезновения кормилицы, они только высовывались из-под этого дивана и смотрели злыми глазами. Крыс замечать перестали, поганили ещё пуще... Но это уже совсем другая история.

Нам предстояло теперь уничтожить все документы, которые остались от Вдовы, её мужа, её матери и Старушки.

Старушка происходила из обрусевших немцев петровских времён. Она была близка с великим юристом Кони и дружила всю жизнь, ещё из Новгорода, с матерью Вдовы, а потом и с ней самой. Была Старушка мягко репрессирована при советской власти из-за каких-то своих очень непролетарских корней: сослали на поселение в город Томск. Она свободно владела тремя иностранными языками, но рабочего места ей нигде не находилось. Чтобы не голодать на свою самую минимальную из пенсий, она переводила тексты частным порядком, но ничего не продавала из своих драгоценностей. А драгоценностей было две: золотой браслет, подаренный великим юристом, и его же золотой лицейский значок - того самого Царскосельского Лицея, где учился Пушкин. Ещё при жизни Доктора Старушка умерла и была похоронена двумя пенсионерами так же, как мы с женой теперь похоронили Вдову. Только в её квартире, такой же запущенной, в таком же деревянном доме, успели похозяйничать соседи, и Вдова нашла её бумаги на помойке. Браслет и значок, правда, были отданы Вдове заранее. Значок они с мужем отвезли в музей Лицея, за что получили оттуда грамоту и бесплатную экскурсию по пушкинским местам. А браслет был ими продан в трудное для семьи время.

Нам теперь предстояло не допустить попадания на помойку бумаг Доктора и его Вдовы.

Мы сидели за круглым столом и разбирали эти бумаги.

Было немало снимков, среди которых и сделанные мною, за этим же самым столом. Все там улыбались и держали бокалы, а Доктор играл на гитаре и пел, помнится, "Ванинский порт". А вот их несчастный сын, Доктору приёмный, но ближе родного - того, что был благополучен, но попил, отца вспомнил только после его смерти, в надежде пожить, да и сгинул вскоре, убитый себе подобными ночью на глухой улице. А вот портрет их любимого пса Максима. Огромного, как ньюфаундленд, пятнистого, улыбающегося двортерьера, как называл его Доктор. Не раз этот зверь спасал Вдову от уличных и квартирных грабителей и скончался у неё на руках, не отдала в живодёрню, сама схоронила и больше пса не заводила. А вот старший брат Доктора, тоже военврач, тоже фронтовик, служил в советской миссии где-то в Африке, писал смешные об этом письма, их тоже надо сжечь. А вот родители Доктора, совслужащие, коммунисты, это видно даже на снимке. А вот сестра и племянница Доктора, меркантильные и недалёкие, Вдова избегала контактов. Вот мать Вдовы, очень обыкновенное лицо, замкнутость и гордость на нём - это после смерти мужа, крупного новгородского деятеля, успевшего помереть раньше ожидаемого ареста НКВД, перед самой войной. А вот и Старушка - аскетическое лицо одинокой интеллигентки, умеющей отказывать и себе, и другим. Но какие же нежные письма она писала Вдове и её матери! Жила в полукилометре от них, а письма и открытки посылала. Старинный, эпистолярный дух отношений. Ничего в этих открытках особенного, кроме юмора да им одним понятных недомолвок - от брезгливой привычки бояться люстрации. Нам почти не стыдно заглядывать в её открытки: ведь всех фигурантов уже нет на этом свете. Да и в огонь всё это скоро...

Я попытался сжечь эти святыни в печке, которую Вдова с Доктором сумели сохранить из опасения холодов. Но дым пошёл в комнату. Я влез на крышу и заглянул в трубу. Кирпич свалился с края и перекрыл ход, достать нечем. Придётся жечь где-нибудь у реки, под обрывом Лагерного сада.

Крысы опять украли мыло, которое я забыл спрятать под кружку на полке над рукомойником. Я нашёл огрызок у самой норы, за сундуком, где Вдова хранила дарёную картошку. Помыл мыло и умыл руки.

Потом я шёл по набережной к себе в библиотеку, где подрабатываю переплётчиком, и смотрел на бывшее здание нефтяной компании ЮКОС. Над шестым этажом - всё та же стилизованная звезда с семью лучами на конце высоченного шпиля, больше напоминающая огонь промышленного факела, символа людской бесхозяйственности. Такие же, как раньше, иномарки у крыльца, только не тех хозяев. Да надпись над входом другая. Первая была, помнится, "ВОСТОЧНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ". Потом компанию проглотил ЮКОС и поместил на фронтоне свои четыре буквы. Теперь

там написано "СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД". Я в первый раз прочёл - "СТРАШНЫЙ" и вспомнил анекдот, который мог родиться только в очень оптимистичном народе: "Если вас не удовлетворяет решение Страшного Суда, можете обратиться в Страшный Апелляционный Суд".

А о нашей Вдове я думал вот что: "В известном смысле даже выгодно быть бедным и гордым. Она, по крайней мере, умерла непоруганной, не то что эти нефтяные гиганты. Ведь гордость и гордыня - далеко не одно и то же".

Я помню времена, когда имена ушедших заносили в "Книгу почёта". В поликлинике, где работала Вдова, была такая книга, и её фамилия там была. Может быть, и сейчас ещё есть. Но главврач там теперь другой... И многие сегодня с удовольствием живут по загадочной заповеди: "Предоставь мёртвым погребать своих мертвецов" (Матфей. 8;21-22; Лука. 9;59-60). Те же самые люди. С теми же глазами. Чудно: вроде ещё ходят, а уже мёртвые. Хотя о смерти помнить не хотят. Или не решаются...

Я шёл по набережной Томи и пытался представить, что снится человеку в коме. Мне пришлось хоронить двоих, которые ушли сначала в кому, потом ТУДА. Оба ждали пропуска в рай по десять суток. Это очень долго и мучительно, как мне казалось. И я пытался представить, что хоть в этом-то Природе хватает мудрости не мучить. Например, она посылает человеку сны о его прошлой жизни. Такие реальные, будто он снова живёт, и такие светлые, будто лишь самое хорошее происходило с ним в угасающей жизни.

Наверно, Вдове снились малыши, которых она ставила на ножки своим массажем. Наверно, ей снились картинки, которые Доктор рисовал для неё к праздникам и дарил вместо почтовых открыток, со стихами собственного сочинения, написанными его изумительным, художественным почерком. Наверняка ей снилась классическая музыка, в ожидании которой она держала постоянно включёнными радио и телевизор. А может быть, к ней приходили в этих коматозных снах Доктор и бедный сын Валька, занимали беседами. Ведь был же случай, когда вскоре после своей смерти Валька поздней ночью появился на экране выключенного телевизора и звал Доктора: "Ба-атя!". А двое живых сидели на кровати и смотрели то на покойного сына, то на пустую розетку.

Доктор потом умер легко. Может, Валька замолвил словечко... На Страшном Апелляционном Суде...

Я, помнится, спрашивал у врача Серёжи, могут ли быть в коме сны. Он чуть подумал и ответил именно так, как я ожидал:

- Надеюсь. У всех на лице после ЭТОГО остаётся мир и мудрость.

Теперь думаю: что может сниться целому человечеству, если оно в коме?

А, Серёжа?

29.11.07г.

Владимир Шкаликов

РАНЕННЫЕ

Святочный рассказ

Больные поздравляют меня с Рождеством. И сами над собой насмеваются: "Лучше всех нам, православным - Христос для нас дважды родился и дважды воскрес. Правда, и на кресте помучился дважды. Но мы ему по мукам родные братья. Он - Спаситель, мы - спасатели".

Так шутит Володя с перебитыми ногами, фамилия у него - Грознов. И пострадал в городе Грозном. Их послали в Чечню спасти людей из-под развалин. Это Володина основная специальность. Он везде ходил с собачкой. Она умела искать раненых и взрывчатку. Из-за этого тамошние террористы охотились на всех, кто с собаками. Собачку они из гранатомёта убили, а у Володи - сложные переломы ног. Ходит на костылях, подтягивает гаечки илизаровских аппаратов, чтобы кости растягивались и нарастали. От этого боль постоянная. Из-за боли Володя постоянно шутит.

- В газете написали, что меня ранили чеченские боевики. Вот же научились играть словами! Что есть боевик? Солдат, боец - должность. А надо называть по сути - бандит. Ему всё равно, в кого стрелять, кого взрывать. Он ведь ничего другого не умеет. И не хочет. Он едет из арабской страны, из Прибалтики, с Украины, лишь бы не работать... Это неправда, что война - работа. Война - безобразие, свинство. Какая это работа - убивать и разрушать? Аллах им не простит, зря надеются... А если простит, то он не бог, а тоже... боевик с гранатомётом.

Володе очень больно. Это видно по глазам - зрачки постоянно расширены. И чем больнее, тем он больше шутит.

- Я на этом кресте уже третий раз, так что я Спасителя понимаю. Вот Он - действительно Бог. А его папаня - тот же Аллах, язычник. Сына вон родного сдал...

Только от большой боли можно так шутить. От боли незаслуженной.

- Больной, - говорю - не смешите товарищей. Им больно смеяться.

- Я для вас, тётя Вера, не больной, а военнопленный. А для госпиталя вашего - раненый. Вот как-нибудь так и называйте. Тут все - раненые. На то и военный госпиталь.

- Сюда, - говорю, - специально набирают таких, у кого травмы похожи на военные: переломы, резаные, колотые раны, ожоги, обморожения. Это полезно для студентов военно-медицинской академии. Но я не военная, для меня вы все - больные.

Володя громко смеётся.

- Больных тут двое, тётя Вера: этот грузчик с чёрными клешнями да тот пацан, которому всё отрезали. Да ещё обгорелый столяр. Но тот вообще попал не по адресу: ему на Бактине надо лежать.

Рядом с посёлком Бактин у нас городское кладбище. Последнее по счёту. На первом хоронили своих старинные татары, в бересту заворачивали. Теперь там музейная зона, студенты ведут раскопки и стоит камень: "Отсюда начинался Томск". На месте второго кладбища теперь стоит завод. На третьем хоронили в основном тех, кто во время войны с фашистами умер в томских госпиталях. Четвёртое после войны расположили неудачно, в тесном месте, оно быстро заполнилось. А вот за Бактином земли хватит на всех: свой участок - детям, свой - татарам, свой - солдатам из "горячих точек", лучшие места на углах кварталов - "братве", которую хоронят вместе с их взорванными "мерседесами". Детский участок, где я похоронила сынишку, удобно расположен у самых ворот.

Насчёт столяра Володя почти прав. Был он, видно, плохим мастером. Больше пил, чем работал. В пьяном виде опрокинул с полки полведра эмалиста - на себя и на электроплиту. Получился напалм. Обгорел не семьдесят процентов. С такими ожогами выживают очень редко. А "по теории", как сказал полковник Выскубенко, выжить вообще не положено. И этого столяра полковник лечит с нескрываемым отвращением: "Жалко на такую скотину кровь переводить, её для настоящих людей не хватает".

Я мою пол как раз в палате для переливания крови. Сейчас закончу, и сразу привезут этого столяра, страшно его видеть. Он будет нагло стонать на столе: "Доктор, кровешки бы скорее!" И приведут очередного донора, положат на соседний стол, подключат обоим к единственному на весь город клавишному насосу полковника Выскубенки и начнут вручную, со скоростью сердца, перекачивать здоровую горячую кровь... А полковник будет рычать сквозь зубы: "Один аппарат здесь, второй в войсках, третий где-то "рассматривают" который год. Когда же выпускать-то массово начнут?"

Я очень ему сочувствую. Ко всем изобретателям любит присасываться, как этот столяр, всякое начальство, потому и волынят... Это он мне сам объяснял. Он любит меня за понимание и сочувствие. Даже рассказывал, как додумался до этой идеи: "Положил руку на шланг, поперебирал пальцами - полилось... Я сначала так и назвал: "пальчиковый насос"... Очень добрый человек, обозлённый несправедливостями. Фронтовик. Со дня на день уйдёт на пенсию. Жалко.

Вот и вымыла. И не скучное это дело, помогает думать о своём. А думать есть о чём. Так и так

переставляю четыре документа, которые помню наизусть.

Первый, из областного ЗАГСа (он теперь не бюро, а Комитет областной администрации, будто это что-то меняет): "Уважаемая Вера Сергеевна! Сообщаем, что согласно актовой записи о рождении №504, восстановленной в 1949 году в горбюро ЗАГС г.Томска, на Гожеву Веру Михайловну значатся родители: Гожев Михаил Васильевич - русский и Гожева Надежда Ивановна - русская. Других, интересующих вас, сведений нет".

Гожева Вера Михайловна - это была я. А теперь - Сергеевна.

Второй документ, из Госархива Томской области: "Сообщаем, что документы детских домов г.Томска и Томской области за 1947-1949г.г., документы Дома ребёнка на хранение в облгосархив не поступали. В Архиве Томского отдела народного образования за 1947-1949г.г. сведения о пребывании в Доме ребёнка и детских домах Гожевой Веры Михайловны не выявлены".

"Не выявлены", хотя до сих пор существует деревянный дом, в котором меня содержали. Я его помню, я к нему хожу. Он огромный, из толстенных брёвен. Там сейчас патология Первого роддома - выхаживают самых сложных рожениц, благородное дело. Я там пробыла полгода, с марта по июль сорок девятого. Два годика мне было, а помню. Но вот пароход, баржу - вынесло из памяти, как не было.

Третий документ, из областного УВД: "Согласно полученным сведениям в отношении Гожева Михаила Васильевича и Гожевой Надежды Ивановны, факт принадлежности их к числу репрессированных лиц не находит документального подтверждения".

Устно объяснили, что такой фамилии ни в каких списках нет, странная фамилия. И на кафедрах русского языка в обоих университетах сказали почти одинаково, что это либо какая-нибудь западно-славянская фамилия либо укороченная русская: была Погожева, Пригожева или Негожева, а стала почему-то Гожева.

Четвёртый документ, из ФСБ России: "На ваше заявление... в Центральном архиве ФСБ РФ, управлении ФСБ РФ по Томской области, ИЦ УВД ТО, Управлении исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по ТО сведений об аресте, осуждении, месте отбывания наказания и судьбе Гожевых М.В. и Н.И. не имеется. Ваше заявление направлено для дополнительной проверки в Центр информации и розыска Общества Красного Креста РФ (адрес в Москве)".

Есть пятый документ, но он не в счёт. Красный Крест сообщил, что занимается только зарубежными поисками.

А перед всем этим были справка и ксерокопия.

Справка досталась в наследство.

Когда умерла моя приёмная мать, налетели родственники приёмного отца, распродали и растащили всё имущество, а его самого увезли к себе на Алтай, где он вскоре и помер. На прощанье передал мне справку, где говорилось о моём удочерении в 1949-м году. Тогда я и прочла впервые свою странную фамилию - Гожева.

О том, что приёмная, я знала, правда, с четырнадцати лет - постаралась одна "родственница". Но и без этого знания холодок отношений был замечен. Любимцев в семьях выделяют, а меня - отделяли. Что-то было между всеми такое, что меня не касалось, к чему я не могла иметь отношения. А когда узнала тайну "неродства", все мелкие обиды, мне у них наносимые, удесятились. Близка была только с бабушкой, а после её смерти вообразила себя вовсе никому не нужной. Впрочем, и подруги замечали: "Родители к тебе так относятся, будто взяли на воспитание, а теперь жалеют". Я никому из них не признавалась, что это правда, но замыкалась и всюду видела унижения. Возраст тому способствовал: в пятнадцать лет, после какого-то очередного унижения, попыталась покончить, с собой и прыгнула со второго этажа. Теперь хромаю.

Расспрашивать приёмных родителей о настоящих язык не поворачивался. Боялась, резко скажут: "Что за глупости?", а мне ответить будет нечего. Ушла от них в общежитие, едва получила паспорт. Навещала, помогала по хозяйству. Они были бездетны, но не очень тяготились: хоть и учителя, а приятели к детям в себе не развили.

Когда отец вручил справку, пыталась выспросить у него подробности, но он буркнул, что ничего не знает: мать, мол, занималась.

Пять лет потом я пыталась найти свой корень. Вовсе не затем, чтобы получить сомнительные и унижительные льготы репрессированных. Детей нет и уже не будет, на жизнь мы с мужем зарабатываем и не нуждаемся в подачках. Просто хотелось чувствовать себя полноценной, не "Гадким Утёнком". Муж, хоть и сам сирота, не очень меня понимал: "Кого ты надеешься найти? Тебе уже пятьдесят, а родителям, если живы, под восемьдесят. Родственникам, если найдутся, плевать на тебя, как моим плевать на меня..." Действительно, родичи у него - дрянь, эгоисты, и хорошо, что живут на другом конце страны. И я боюсь, как бы не найти себе таких же. Но когда вижу на стене портрет его отца, гвардии старшего лейтенанта, посмертного героя отечественной войны, мне кажется, что и мой отец, Гожев Михаил Васильевич, был героем, только не на фронте погиб, а в лагере советском. Когда трогаю вышивки своей покойной свекрови, погибшей сразу после войны, мне хочется знать хоть что-нибудь о своей родной маме, иметь её фото, хоть одну её вещичку. Говорю мужу: "Ты - есть, у тебя родова, а на меня даже плюнуть некому". Он понимает такое с трудом и не

так, как мне надо. Но он уже тридцать пять лет нежно любит меня. И хотя ревнует к этим мифическим родственникам, всё же помогает. Пока занималась одна, ничего не выходило, а однажды пошли вместе - и он принёс удачу. В архиве народного образования нам объяснили, что сироты до трёх лет относятся к здравоохранению, и дали адрес. И вот там, перелистывая амбарные тома с детскими судьбами, мы нашли мою несуществующую фамилию!

На одной странице со мной под номером 34 значился шестимесячный Фёдоров Леонтий Максимович. Направлен облздравом, метрика номер такой-то, мать умерла, отец - инвалид. В месячном возрасте отец сдал сына в Дом ребёнка, а через полгода забрал.

Под номером 35 - Зубков Вячеслав Евграфович. Родился в 1946-м году, сдан в Дом ребёнка бабушкой в 1949-м, метрика номер такой-то, направлен облздравом, "мать в тюрьме, отец неизвестно где". В марте 1949 года взят на воспитание родным дядей.

После меня на странице поместились ещё двое: новорождённая девочка, "мать в психобольнице"; и новорождённый мальчик, о матери записано - "несовершеннолетняя одиночка". Оба младенца сданы медсёстрами роддомов и в трёхлетнем возрасте отправлены по детским домам.

Мой номер - 36. У всех четверых соседей - свидетельства о рождении, с номерами, а у Веры Михайловны Гожевой, двух лет от роду - "справка за номером 504". У всех хоть что-то о родителях, а у меня - "подкидыш". Это в два-то года, в самом интересном возрасте, при обозначенных в одной справке родителях!? Вот так, по обоюдному соглашению, пришли вдвоём и подкинули? И в записочке указали, что оба - русские?.. Все мои соседи направлены облздравом, а я - инфекционной больницей имени Сибирцева. Значит, туда меня подкинули родители?.. Зато о приёмных родителях - в соседней графе - все подробности.

Так я собственноручно нашла себя в старинной книге и стала писать во всё новые инстанции, но дело остановилось. Даже эту запись, с которой ошеломлённая дама в архиве Дома ребёнка сама сняла нам ксерокопию, ответы из более высоких инстанций отрицали: "Не выявлено, не значит, не находит документального подтверждения".

Есть над чем подумать, работая руками.

Мы сидели с мужем над ксерокопией с пятью судьбами, вникали в синие и красные карандашные пометки возле фамилий. У кого одна "птичка", у кого две. У меня - целых три. И отдельно, над моим номером, какой-то нолик - такого нет ни у кого.

- Вот моя версия, - сказал муж. - Последняя волна сталинских репрессий пришлось, как ты знаешь, на 48-й год. "Дело врачей", "дело КПМ", "дела" фронтовиков, глотнувших свободы... Не будем фантазировать, по какому из "дел" и куда делись разом твои родители. Только о тебе. Представим детский этап, который зимой с 48-го на 49-й прибывает в традиционно ссыльную Томскую область. Смотри-ка, я даже заговорил по-газетному... Верочка Гожева - самая маленькая в этапе. Она в пути подхватывает какую-то инфекцию (скорее всего дифтерит - вон шрам у тебя над горлом, и ты не знаешь, как он появился), попадает в больницу Сибирцева, а этап - детская сборная Советского Союза по 58-й статье - по зимнику увозят дальше, в два десятка северных детских домов. К марту девочка выздоравливает, но зимник уже непроходим, и её - до навигации - оставляют в Томске, в Доме ребёнка. Куда делись документы - кто теперь знает: то ли уехали зимой с сопровождающими этап чекистами, то ли нарочно заменены справкой №504, где фамилии и имена родителей выдуманы, потому что они были особо опасными "врагами народа", и для тебя самой - так подумали - было лучше их потерять... Летом прибыл в Томск очередной этап, и Верочку отправили с ним по Оби. На одной из пристаней случайно оказались твои приёмные родители, а ты стояла у борта баржи, и их тронуло недетское горе и ужас в твоих глазах: ни одного СВОЕГО человека...

Так мы фантазировали много, ожидая ответов из МВД, ФСБ, Красного Креста...

И до сих пор я фантазирую, когда протираю пол и убираю плевательницы: какой могла бы оказаться жизнь, уцелел бы мои настоящие родители да остался я при них...

ПАЛАТА ОБМОРОЖЕННЫХ

Холода на дворе до сих пор за сорок, почти месяц не спадают. Так бывает раз в 35 лет - по наблюдениям учёных за качанием земной оси. А эти двое - грузчик и солдатик - с наукой не дружили.

Мама у солдатака в городе большая шишка, вот и добилась, чтобы ребёнок служил не в "горячей точке", а на родине. И всё равно не провела судьбу. Пошёл в увольнение, выпил у друзей и поспешил обратно в военкомат, к месту "блатной" своей службы. Видно, выпил не по уму: качнуло в безлюдном месте, поскользнулся и несколько часов проспал в сугробе. Сам проснулся, вышел на дорогу, был подобран милицейским патрулем и с мигалкой, с сиреной доставлен в военный госпиталь. Не успели. Торчат теперь из-под одеяла забинтованные культишки рук. И ноги такие же. Такие руки на себя не наложишь, он уже пытался. Просит всех принести ему отравы.

А грузчику за сорок. Здоровенный мужик. Пьянствовал всю жизнь, а тут, в морозы, вроде сам Бог велел. Напился ещё на работе, после смены добавил. По пути домой, тоже в безлюдном месте, упал

на колени, мордой и голыми руками в сугроб, так и проспал до утра. Обморозил до черноты колени, кисти рук и кончик носа. И ничего не отрезали, потому что проспиртованную плоть гангрена не берёт.

Это не раненые, это больные.

А вот палата полостных раненых.

- Нянь, добудь же мор-р-рфию...

Третий день просит странный мужичок лет тридцати. Роста малого, голова большая, фамилия ещё страннее моей - Дзень. И судьба жуткая, рассказывал при мне. Из детского дома - сразу в тюрьму, три ходки подряд, без подробностей, но обмолвился, что все за драку. И теперь: только освободился - сразу напился с чужими и получил сапожным ножом в поясницу. Срезали почку. Лежал под капельницей, а ночью вдруг так захотел курить, что встал и прямо с болтающимися трубками пошёл по палатам стрелять папироску. Человек без тормозов.

- Ну, где я тебе возьму морфий?

- Ты же в белом халате. Дай халат, я сам найду.

Он всё ещё под капельницей, но рядом с ним не протираю, а то ещё начнёт раздевать: мы с ним одного роста.

Принимаюсь за коридор.

У дальнего окна, как всегда, маячит Володя Грознов со своими костылями. Но теперь он будто раздвоился. Две одинаковые фигуры на костылях, лицом к лицу, как зеркальное отражение. Подхожу с ведром и шваброй - всё равно, откуда начинать. И познакомлюсь.

- А это кто у нас?

- Знакомьтесь, тётя Вера, это нашей палаты новобранец Алёша. Учтите, не больной, а раненый. Причём не только в обе ноги, но и в душу, прямо сквозь перебитые рёбра. Партийная кличка - Изуверец.

- О Господи, за что же? Убил кого? Изувечил с особой жестокостью? Под стражей?

Парнишка совсем молодой, лет семнадцати, от моих слов совершенно теряется и молчит, только смотрит каким-то голодным взглядом и виновато улыбается.

- Нет-нет! - Володя смеётся, зрачки расширены. - Не изувер, а изуверец. Убить только хотел. И то - самого себя. А вышло, что только изувечил. С особой жестокостью: два ребра и обе ноги, сложные переломы. С четвёртого этажа прыгал, да не учёл, что зима. Вот я ему и говорю: "Надо было, Лёха, с восьмого", а он говорит: "В девятиэтажное общежитие вахтёр не пустил, пришлось из своей квартиры".

- Не из своей, - Алёша поправляет, - из дядькиной.

- Лучше б ты дядьку, этого сволоча, выкинул!

- Да он здоровый, - Алёша понимает, что это шутка, но улыбается всё же виновато.

- Из-за дядьки, что ли, прыгал? - Я о первого взгляда почувствовала симпатию к этому мальчику, а теперь, кажется, всей душой проникла в его горе.

Алёша кивает, Володя уточняет:

- Из-за всей жизни, в которой изуверился. - И просит парня: - Расскажи-ка тётя Вере свою историю. Это тебе необходимо, Лёха, этим ты освободишься. Думаешь, зачем люди горем делятся? Ибо сказано: "Разделённая радость - больше, разделённое горе - меньше". Гениально сказано. Это самое человеческое: люди все вместе, делят всё на всех и живут ровно и счастливо. Делись, пацан, не прогадаешь! - Он костылём указал на обитую красным дерматином больничную лавку и сел первым, даже не морщась от боли, изящно забросив одну "илизаровскую" ногу на другую. - Давайте отдохнём слегка, а ты, Лёша, правда, расскажи ещё раз... А то в МЧС тебя не возьму!

- Меня и так не возьмут, - Алёша сел и начал рассказывать.

- Мне не повезло с первой минуты жизни. В роддоме от меня... мама отказалась. Не знаю, почему. - Он повернулся к Володе. - Мария Захаровна нашла этот роддом и пошла узнавать.

- Это женщина из Союза бывших детдомовцев, - объяснил мне Володя. - Она его сюда и устроила... Давай, браток, подробно, тут все свои. Тётя Вера, считай, тоже служит в МЧС - я отзывчивее человека не встречал.

- Я вижу, - Алёша мне улыбнулся и продолжал. - В той же палате лежала... женщина из богатых. У неё при родах умер мальчик. Она взяла меня... Сделали так, будто это не у неё ребёнок умер, а у моей мамы. Эта женщина потом сказала, что заплатила кому-то: сестре или врачу... И сразу уехали из Томска... Жили два года в Германии, этого я не помню. Потом - в Тамбове. Эта женщина сама меня не воспитывала. Нанимала няньку... Относились нормально. Ну, иногда давали ремня. Всем же дают... Когда мне было пять лет, она родила СВОЕГО ребёнка. Мальчика. И меня сразу же отвезли обратно в Томск, бабушке отдали. Её матери.

- А отец? - спросил Володя.

- Я его почти не помню, - сказал Алёша. - Он дома только ночевал. Что-то оборонное... Бабушка в Томске жила в трёхкомнатной квартире. Одна. Они в эту квартиру сначала собирались вернуться. Но она так и прожила в сторожах... Жили мы бедно, на одну её пенсию. Иногда они немного денег

присылали. Лишь бы нам не помереть. Бабушка мне объясняла, что у мамы много хлопот с маленьким братиком, поэтому она меня отослала...

- Как же вы выкручивались? - Я спросила, потому что он замолчал, хотя и так всё понимала.

- Да всяко, - Алёша стеснялся подробностей, но Володя потребовал: "Давай-давай", и он пояснил: - Сделаю уроки - и на улицу. Не попрошайничал, конечно. Бутылки по помойкам собирал и сдавал. Правда, взрослые нищие гоняли, но я-то быстрее их... На складах овощи перебирал, фрукты. Где чего перетащить - тоже маленько платили. Или продуктами. И бабушке приносил. Мы жили дружно...

- А как учился? - спросил Володя.

- Нормально. Без троек. Мне легко давалось. Читать было некогда, а то был бы отличником. Что в школе услышал, то и моё. Я уроков не пропускал. В школе интересно было. Тепло, чисто...

- А сильные обижали? Знали ведь, что один...

Алёша посмотрел вдруг озорно и сразу стал серьёзным.

- У меня были очень хорошие ноги. Я хоть от кого мог убежать.

- А если прижимали? - допытывался Володя.

- Я знал, как ударить ногой. - Алёша показал, куда он бил.

- Тогда уже можно было и не убежать... Но я драку не люблю... Я их... Были там двое... Я их напугал. Я сказал, что буду драться только насмерть. Сейчас побьёте вдвоём, переловлю по одному и забью ногами. Противно, конечно...

- В общем, - сказал Володя, - поняли, что ты взрослый, и не трогали?

- Наверно, - Алёша вздохнул. - Да я и не попадался. Приходил тик в тик, уходил сразу после занятий, а на переменах сидел в классе, берёг силы...

Алёша снова замолчал.

- Бабка слегла, когда тебе было пятнадцать? - Володя подсказал ему продолжение.

- Она проболела год, - подхватил Алёша. - К нам тогда переселился её старший сын. Три комнаты, не тесно. Но он так себя вёл, что я ему везде мешал.

- А пацан не понимал, в чём дело, - вмешался Володя с азартом. - Он думал - родной дядька...

- Я думаю: "Чего он хочет?", - продолжал Алёша, увлекаясь. - А когда пришло время получить паспорт, они мне всё и сказали. Дядька сказал, бабушка молчала. Тут я и узнал, что я им неродной, поэтому права на квартиру не имею, и прописывать меня не будут. И вот - в милиции без прописки паспорт не дают, а эти - прописывать не хотят. Приехала...

Алёша замялся, подыскивая слово, и Володя резко помог:

- Усыновительница тамбовская! А у неё везде всё схвачено. Продолжай!

- Приехала, как-то договорилась в милиции, и выдали мне паспорт без прописки... Я у неё спросил: "Меня, правда, бросила родная мать?" Она сказала: "Я думала, что у меня больше не будет детей, вот и взяла тебя. Кто мог знать, что рожу? А ты всё же вырос в семье. В детском доме хуже, Алёша, ты должен быть благодарен".

- Так и сказала? - это спросила я, и с голосом было что-то не в порядке.

- Слово в слово, - Алёша смотрел мне в глаза.

- Прямо ответить не смогла, - подытожил Володя с удовлетворением. - Давай дальше.

- Дальше уже всё, - сказал Алёша. - Она уехала, а дядька стал меня выгонять. Бабушка ему не позволяла, но вскоре умерла. Ведь за ней ухаживал я, а он меня домой не пускал.

Алёша опять замолчал.

- А что ты умел? - подсказал Володя ещё раз.

- Я после восьмого класса поступил в поварскую школу. Получил диплом.

- Для бедняка главное - поближе к продовольствию! - Володя засмеялся. - Ну, давай финальный кадр.

- На работу без опыта не брали, - продолжал Алёша. - Пришлось поскитаться. Жил с наркоманами. Поварского опыта набирался - как готовить из ничего... Два раза с ними травку покурил. Сказали, что видишь мультики, забываются все беды. А мне от этого мерещились только кошмары. Предлагали уколиться, но мне противно протыкать себя иголкой. Вообще я брезгливый...

- Ты чистоплотный, - поправил Володя. - Некоторые люди возвращаются к животному существованию, потому что жить по-человечески трудно, они боятся. А ты не боишься!

- Да нет, - Алёша впервые возразил. - Я ведь тоже испугался. Была облава, меня вместе с наркоманами забрали в милицию, нашли в крови наркотик, поставили на учёт, спросили, где живу. Назвал дядькин адрес, сказал, что курю в первый раз. Они меня привезли к дядьке, сдали ему и сказали: "Прописать". Когда уехали, он начал меня бить: "Наркоманов тут не хватало!" Я изуверился во всём и прыгнул с балкона... Надо было уйти, найти ЛЮДЕЙ, а я испугался жизни. Думаю: "Зима, опять к наркоманам, в эту вонь..." Прыгнул неправильно: хотел на голову, но перевернулся... А в больнице кости неправильно срослись. Теперь, наверно, бегать так не смогу. И поваром будет трудно - там ведь на ногах...

- Как тебя нашла Мария Захаровна? - спросил Володя.

- В больнице записывали: адрес, кто родные... Я сказал, что нет ни адреса, ни родных. Решили,

что детдомовский, и позвонили в Союз. У них такая договорённость. - Алёша рассказывал и всё смотрел на меня. - Я теперь детдомовский. Знаете, будто родных нашёл. Лучше бы сразу тогда отдали в детдом. Может, там не хуже... Вроде все свои... - Он продолжал смотреть на меня упорно и вдруг спросил: - Тётя Вера, мы с вами раньше не встречались?

Мне с самого начала казалось знакомым его лицо, интонации голоса, манеры. Но последние семнадцать лет я разговаривала с такими, как он, только здесь, на работе. Я спросила:

- Ты первый раз не здесь лежал?

- Нет, в Первой горбольнице, в нейрохирургии. Думали, спину сломал.

- Ну, тогда, значит, не виделась, - я говорила и сама себе не верила.

- А вы оба повспоминайте, - предложил Володя. И засмеялся: - Время у нас - всё наше.

Я вымыла пол в коридоре.

До чего же у этого мальчика судьба похожа на мою. Даже с балкона прыгал, как я, вниз головой. И тоже перевернулся. И тоже будет хромать всю жизнь. Впрочем, может быть, и не будет. В моё время аппаратов Илизарова не было, а сейчас ему сломают, где неправильно срослось, возьмут в кольца - и выправят. Вон Володе осталось полсантиметра - и опять можно завалы идти разбирать.

После обеда полковник Могилин проводил показательную полостную операцию. Полтора десятка будущих военных врачей толпились у стола, а он вытаскивал иголку из солдатского желудка и громко сквозь марлю пояснял: "Смотрите, коллеги: неделю она торчала у него в слизистой, сделала две язвочки - вот и вот, а сама - смотрите, какая стала. Вот вам работа желудочного сока: ещё немного подождать, и растворилась бы целиком!" Шутку оценили и хохотнули сквозь повязки. Иголку бросили в чашку, и я тоже её рассмотрела: чёрная кривая проволочка с дырочкой, ужас. По просьбе профессора я вынесла чашку из операционной и вручила иголку матери этого солдатика. Простая женщина, вроде меня. Такими глазами и я смотрела бы на эту железку, если бы её извлекли из моего сына. Будь он живой...

Женщина спросила: "Не знаете, как он её проглотил?" "Знаю. Зачем-то взял губами и пошёл, а сзади толкнули".

Она всё смотрела на иголку, как на змею. Потом обняла меня.

Вечером я последний раз вышла протереть пол в коридоре и увидела у окна Володю и Алёшу в обществе пожилой женщины.

- Тётя Вера! - позвал Володя. - Идите к нам. Продолжение следует!

Я подошла.

- Мария Захаровна, - представилась женщина. - Вы ведь тоже из наших? Володя рассказывал вашу историю.

Мне стало почему-то неловко, и я объяснила:

- Когда очень больно, человеку неважно, что слушать, лишь бы отвлекало. Вот я ему и наговорила. Думала, не запомнит. Он как раз только поступил, почти без памяти, а я дежурила...

Мария Захаровна в это время поглядывала на меня и на Алёшу, а когда я закончила, Володя ей сказал:

- Ну, ведь похожи?

Что-то снизу толкнуло мне в голову, аж на миг потемнело в глазах. Я выронила швабру и вытянула руки, чтобы устоять. Я спросила:

- Вы о чём?

Я знала ответ, я ему ужасалась и заранее не верила.

- Давайте сядем! - Володя бросил один костыль, подхватил меня и усадил на лавку. Он и Мария Захаровна сели рядом, Алёша остался стоять. Володя ловко костылём подтащил ему вторую тяжёлую лавку и насильно усадил. Алёша сидел неподвижно и молча, привалясь спиной к ящику с пальмой и вцепившись вытянутыми руками в костыли, такой напряжённый, будто прямо сейчас начнут ломать его быстрые ноги и протыкать их целебными спицами Илизарова.

Ну конечно, я встречала его раньше. Конечно, мы были знакомы.

- Тётя Вера, - начал Володя, - хоть мне и было тогда больно по-настоящему, но я запомнил, что вы рассказывали. Семнадцать лет назад, первого февраля, во Втором роддоме вам сказали, что ваш первый, единственный, поздний ребёнок умер сразу после родов, когда вы были без сознания... А теперь послушайте Марию Захаровну.

Меня уже биле озноб. Я смотрела на Алёшу, хотя надо было смотреть на эту женщину из Союза детдомовцев. Она говорила очень обыкновенно, нарочно очень обыкновенно, как говорят больному, чтобы его не волновать:

- Вера Михайловна, я была сегодня в архиве Второго роддома. Семнадцать лет назад, первого февраля, там родились только два мальчика: мёртвый ребёнок Алёшиной приёмной матери и ваш сын. Эта женщина дала взятку, и детей подменили. Есть свидетели. Ваш сын - перед вами...

Владимир Шкаликов

САМОЗВАНЕЦ

Едва поезд пересек границу, он вошел в наше купе. Он не был таким веселым, как обычно, хотя за двое суток после знакомства в Москве приучил всех к своим постоянным шуточкам, нередко весьма рискованным.

Сейчас он был подтянут по-офицерски и неприступен, как перед допросом: то ли сейчас начнет спрашивать, то ли наотрез откажется отвечать...

- Не спите?

Он оглядел нас бегло, но все же мне показалось, что моему лицу уделил на полмига больше внимания, чем Николаю, Сашке и Наталье.

Ребята, уже начавшие было улыбаться, незаметно для себя сосредоточились. Видимо, почувствовали, как и я, что-то важное.

- Чаю хочешь? - Наташа кивнула на стол.

- Садись, Митя, - Никола подвинулся.

Он сел и сходу, будто не давая себе опомниться, выпалил:

- Одни вы остались. Всех предупредил.

- Митя! - Сашка округлил глаза. - Что такое?

- В общем, - он слегка ударил себя по колену, - стучать поручено мне.

Еще раз, медленно, оглядел нас и уставился в законную тьму.

Мы, разумеется, тоже молчали. Что тут скажешь?

... О том, что кто-то в группе имеет задание на соглядатайство мы все слышали еще до поездки, и с самого начала пути присматривались друг к другу. Народ подобрался с разных предприятий, познакомились на ходу. И этот Митя, конечно, у всех вызвал подозрение своей общительностью и раскованностью. Эта-то вот личина рубахи-парня каждому и представлялась типичной маской стукача. Сначала все его инстинктивно сторонились - подальше от рискованных шуток, от этих провокационных анекдотов про чай с бутербродами и про товарища майора. Однако к государственной границе он так успел всех к себе расположить, что напряжение против воли исчезло, его шуткам начали не только открыто смеяться, но и поддакивать.

И вот тебе на! Сам пришел, сам и раскололся.

Посидев с минутку, он встал.

- Так вы поняли, господа туристы? Раз поручено, работать буду честно, поэтому при мне прошу не звонить. И всяких там делишек - тоже... И вышел, не забыв пожелать спокойной ночи.

- Вот же гад! - сказал Сашка. - А вообще - молодец. Помолчали.

- Никакой он не гад и не молодец, - сказала чуть погодя Наташа.

- Нормальный парень. Другой бы молчал в тряпочку и писал бы втихаря, как „личность в штатском" у Высоцкого. Помолчали еще.

- Между прочим, - предположил я, - это тоже может быть приемом. Они уставились на меня.

- Чтобы вызвать доверие? - Никола пожал плечами. - А на черта? Он и так уже вызвал.

- Я сначала подозревала, - Наташа кивнула Николаю, - а потом привыкла... В самом деле... Как профессионал, он должен был это почувствовать.

- Да какие они профессионалы! - Сашка разозлился. - Где столько профессионалов наберешь? Из таких, как мы, выбирают самого оголтелого - и вся любовь.

Помолчали еще. Чай не пили, и он остыл.

- Еще вариант, - сказал я. - Он отвлек на себя внимание, чтобы прикрыть напарника.

- Ну, ты, Серега, даешь! - Сашка засмеялся.

- Что я даю?

- Да то ... Начитался детективов...

- Правда, Сережа, - сказала Наталья, - ты перестань. Так мы начнем всех подозревать.

- Во-во! - Сашка все еще мрачно хихикал. - Целая группа туристов-сексотов! И все друг за другом с удовольствием секут!

- Ну, хватит! - Николай встал и полез к себе на вторую полку. - К чертовой матери! Отбой!

- Верно, - поддержал Сашка. - Он сказал, мы услышали. Все честно.

Признание Дмитрия, как ни странно, сплотило группу. Притом его самого никто не стал сторонить. Он приблизился к нашей купейной кампании, Наташа называла его то „товарищем майором", то „личностью в штатском". Он серьезно ее поправлял: „Зови просто - пан младший подпрапорщик". К концу поездки стало походить на то, что у них наметилось сближение.

Однако его просьбу „не звонить" мы выполняли. И насчет „делишек" - тоже. Впрочем народ в группе подобрался приличный - передовики производства и, понятно, бессребренники. Были, правда, мелочи. Николай Катильгин „потерял" свой фотоаппарат - ради недоступных в Союзе авторов - Булгакова, Набокова, Пригожина и Солженицына. Александр Баландин провез в радиоприемнике два червонца сверх обменного фонда и купил запрещенный к ввозу в Союз нож-выкидник... Но все это

делалось не при „младшем прапорщике" - по уговору. Правда, на обратном пути, при выборочном досмотре, ножа у Сашки не нашли. Вероятно, перед границей испугался и выбросил.

Но и после возвращения отношения с Митей Бедовым ни у кого не ухудшились, а в Москве, расставаясь, каждый пожал ему руку.

Мою ладонь Митя задержал.

- Не стоило беспокоить таможеню... - глаза его холодно улыбались. - Сашкин ножик был у меня...

- Ты о чем? - пожал я плечами.

- Да так... - он похлопал меня по плечу. - Для информации...

И отошел к Наталье Диковой. Сближение у них точно произошло. Но, полагаю, уже на нашей территории. Последней ночью. Обратно они ехали в одном купе, а Катыльгин с Баландиным часто и подолгу курили в тамбуре.

Больше об этом самозванце мне сообщить нечего.

Правда, видел на днях, как он и Наталья Дикова выходили вместе из проходной нашего завода. Но в контакт с ними не вступал.

Честь имею.

Дата. Подпись.

Владимир Шкаликов

УДАЧНЫЙ ДЕНЬ

Во-первых, тепло в кабине. Печка работает лучше часов - Москва сверяется. А при таком морозе печка - самое первое дело. Даже если, например, придется менять баллон или лезть под капот, это не так страшно, потому что ты знаешь: в кабине у тебя "ташкент", можно рулить в одной рубашке.

Но, боже мой, кто же меняет баллоны на "Урале", если у него автоматическая подкачка, регулируемая из кабины! Хоть все колеса коли, хоть стреляй по ним, а компрессор свое дело знает. И под капот лезть не придётся: машина-то с пылу, с жару, только что с конвейера. У ней только один недостаток - много жгёт бензину, притом дорогого, 93-й марки. Однако пусть за это спросят с конструкторов, а дело водилы - крутить баранку. Если у тебя первый класс и новая машина, ты всегда сумеешь сэкономить ведро-другое этого дорогого топлива. А покупателей на "Жигулях" и "Москвичах" - что мошки, только свистни.

Вот это и будет во-вторых. Мелочь, а приятно: за счет сегодняшней экономии и бережливости, как говорят по радио, дневной заработок почти утроился.

- Как это по-научному, - засмеялся Боря вслух : - "Экономика должна быть бережливой"? Правильно. Очень по-хозяйски.

Правда, он пожадился нынче: продал частнику столько бензина, что теперь самому едва-едва. Но это уже Борю не колышет, потому что до заправочной всего семь километров и есть талоны еще на полбака, а от заправочной до города только три кэмэ, и мы на базе. Это - в-третьих.

Хотя нет. Конец пути - это уже в-четвертых. А в-третьих, пожалуй, сам рейс. Хорошо довез весь груз, хорошо отоварился за счет тех бутылок, которые положено списывать на бой, хорошо подписали путевой лист - отсюда экономия бензина... Гаишники ни разу не останавливали - ну, это мелочи... С Наташей, опять же, успели довольно плотно пообщаться - тоже приятно. Правда, из-за этого припозднился чуток, но зимой вообще рано темнеет.

Теперь - домой! А в кармане полушубка - пистолет, который стреляет водой - старая мечта Витюшки, Виктора Борисовича единственного наследника.

Словом, такие трудовые будни, как поётся в песне, праздники для нас. Боря поправил на соседнем сиденье свой полушубок и стал подпевать приёмнику, который как раз пел о трудовых буднях.

А вон чудак, который в такой мороз путешествует пешком. Правда, мужик с виду крепкий и рюкзак такой, что не замёрзнешь, но все равно завидовать особенно нечему. Лучше, как говорится, плохо ехать. А ехать хорошо да с ветерком - так и совсем неплохо.

Человек оглянулся и поднял руку: "Подвези".

- Ну, конечно, - сказал Боря. - Каждому тормозить, колодок не напасешься.

Он включил в кабине свет и провел рукой по горлу. Этот жест при страдальческом выражении лица должен был возбудить фантазию пешехода: спешу, перегружен, болен, не имею права и так далее.

- Небось орехи или свинину на базар тащишь, - подумал Боря вслух. - Под это дело и прогуляться не грех. Дотопаешь потиху.

Человек качнул головой и усмехнулся. И его усмешка вдруг прилипла к Боре. Бывает так часто: что-то важное не можешь запомнить, весь изведёшься, а какую-нибудь мелочь глаза сфотографируют - и на всю жизнь.

Так, было Боре года четыре и видел он драку. Не запомнил ничего, а вот одно лицо вросло в память. Оно было очень спокойным. Человека били, а он был спокоен. Или он бил? Вот этого Боря никогда не мог вспомнить.

Шагающий с рюкзаком мелькнул и исчез, а впереди, за поворотом, вскоре замаячил "Москвич". И трое возле него.

- Видно, клиенты, - подумал Боря. - Ну, извините, ребята, бензина больше нет, а на мои талоны с казенными печатями вас никто не заправит.

Вблизи клиенты оказались дружинниками. У всех красные повязки, один поднял полосатый жезл - останавливает. И охота им работать в такой мороз. Не такие уж большие льготы у дружинников, чтобы ради них пластаться по холоду, да еще на личной технике, да еще за городом...

Боря прижал машину к обочине, набросил полушубок, так, не в рукава, и спрыгнул к этим замерзшим бедолагам. Мельком увидел, что номер у "Москвича" залеплен снегом. Видно, много поездили.

Отошли к фарам, проверили путёвку. Задали несколько обычных вопросов. Один с фонариком заглянул в кузов.

- Бензином не поделишься? - спросил тот, который с жезлом. Полосатую палку он уже убрал за голенище. Лицо у него, Боря сразу отметил, было удивительно спокойное, вроде того, что он запомнил в детстве.

- Сам на подсосе, - ответил Боря. - Можете посмотреть.

- Уже всё загал? - дружелюбно спросил Спокойный. Боря хотел ответить такими словами, какие в подобных случаях сами просятся на язык. Но тут в его зрении будто щелкнул переключатель. Он увидел, что удача сегодняшнего дня уже далеко позади. Он увидел, что кругом тихий тёмный лес, в обе стороны пустая дорога, а его самого окружили три дюжих мужика, и к его животу, защищенному одной рубашкой, приставлено довольно длинное, плохо вычищенное лезвие. Зарежут грязным ножом...

- Вы что, мужики? - сказал Боря. - Вы ж дружинники...

Спокойный очень мирно усмехнулся и сказал:

- Все в мире относительно. Ты постой вот так тихонько, пока мы заправимся, а потом дальше поедешь. Ладненько?

Боря прижимался спиной к бамперу своего "Урала", двое с повязками стояли очень близко к нему, и из проезжающей машины заметить что-нибудь особенное было бы невозможно. А третий бандит тем временем высасывал из бака остатки бензина. Он так постарался, что, когда бензобак "Москвича" был полон, двигатель "Урала" несколько раз содрогнулся и заглох.

- Ну, вот, - сказал Боря. - Как же я-то поеду?

- Ничего, - улыбнулся Спокойный. - Проголосуешь, займёшь у кого-нибудь.

Боря хотел было возразить, что у частника не займёшь, а "Уралов" на дороге не так уж много, что другие грузовики работают на другом топливе... Но в этот момент кончик грязного ножа случайно прикоснулся к его туго натянутой рубахе, и он промолчал.

Напарник Спокойного закончил обыскивать Борины карманы. Он забрал всю "левую" выручку, серебряные часы с цепью, подарок жены, складной охотничий нож с двумя эжекторами, газовую зажигалку за девять рублей, снял с пальца перстень-печатку с изображением Стрельца.

Казённые талоны на бензин были Боре оставлены: с печатью предприятия частника не заправят. А водяной пистолетик, повертев в руках, грабитель всё же взял себе и пошутил:

- Еще перестреляешь нас...

Бандиты добродушно, по-свойски хохотнули. Тот, что отсасывал бензин, успел попутно нырнуть в кабину и снять радиоприемник.

- Ну, спасибо тебе, - сказал Спокойный. - Беги грейся.

Они проводили Борю до кабины и, когда он полез на подножку, сдернули с плеч полушубок.

От бессилия Боря уже не мог сдерживать слез. Он закрылся в еще теплой кабине и плакал навзрыд, как маленький, пока "Москвич" с залепленным номером не скрылся во тьме.

- Что же теперь делать? - спросил себя Боря, когда истерика прошла.

Дело было, как говорится, дрянь. В кабину скоро войдет мороз. Борю уже сейчас била дрожь, но это еще не от холода. Холод еще впереди. Что делать?

Выскакивать на шум каждой машины и голосовать. Свой брат-шофер всегда остановится, поможет. Особенно если ты в одной рубахе. Не найдется бензину, так хоть подвезут до цивилизации, до базы, чтобы оттуда по-скорому вернуться за машиной. Да в ГАИ заявить...

Еще вопрос: сливать ли воду из радиатора. Сольешь - как потом ехать без воды? Не сольешь - блок цилиндров разморозишь...

- А черт с ним, с движком, - ожесточенно подумал Боря. - Самому бы тут не размёрзнуться.

С воем и свистом промчался "Запорожец". Не остановился.

...Через полчаса Боря дрожал уже не от волнения, а от холода. Мороз вошёл в кабину. Из рта густо валил пар. Закоченели пальцы рук. Стало больно пяткам - ботинки из искусственного меха не грели, испанский каблук от холода не предохранял.

Уже который раз перед глазами вставала усмешка того мужика с рюкзаком, которого он отказался подвезти. "Зря не взял, - думал Боря. - На двоих бы они, может, не полезли".

Над заревом недалекого города едва заметно плыла неоновая-белая луна. Зеленоватое небо вверх и вниз от нее рассекали два таких же белых луча. В городском зареве тоже кое-где угадывались световые столбы. Это к усилению мороза. Дело совсем дрянь.

С утробным рокотом пролетел "Москвич". Не остановился. Боря подумал, не одолеть ли эти семь километров до заправочной бегом. Но тут же понял, что не стоит даже думать: не одолеет, а только обморозит лёгкие и сорвет сердце. Он в школе от бега уклонялся, в армии возил командира дивизии, после армии - тоже крутил баранку: сначала на такси, а последние пять лет в орсе - и спокойнее, и навар есть. И здоровье целее, но только не то, которое нужно сейчас.

- Докатился, - подвёл Боря итог прошлой жизни.

В дверцу кабины вежливо, как в кабинет, постучали. Боря сразу понял, что это тот, с рюкзаком. Как раз пора ему подойти. Только не ждал, что постучит. Хотя, почему не ждал? Такая возможность издеваться...

Боря, весь дрожа, выглянул. Терять было уже нечего.

- Пошто загораш?-спросил прохожий.

- Бензин кончился, - Боре было даже приятно, что он почти не врет.

- Так ты меня потому и не взял?

- Ну да, - обрадовался Боря. - Думал, сам не дотяну.

- И не дотянул! - засмеялся мужик. Ему было лет пятьдесят, лицо худое, глаза веселые, грудь - как броня у танка. Боровик!

- Ну да, - подтвердил Боря.

- А пошто раздет?

- Да в кабине ж тепло было, - Боря опять не соврал.

- Теперь замёрзнеш, - сказал Боровик.

- Да, может, кто поедет.

Боровик снял свой рюкзак. Это оказался и не рюкзак, а берестяной короб-коноба, с удобной березовой дугой, за которую его можно нести, как сумку или ведро. Спаситель сдернул с конобы тряпицу и достал свитер, очень толстый, только что связанный.

- Надень-ка.

Боря не стал ломаться. Скинул шапку, нырнул в свитер и запрыгал перед спасителем, разогреваясь. А тот зачехлил свой короб и приподнял его за дугу, предлагая попробовать на вес.

- Не тяжелый?

Боря взял, прикинул: килограммов пятнадцать.

- Нормально, - сказал он, еще не соображая, к чему клонит Боровик.

- Ну, тогда сливай воду из машины.

Боря секунду подумал, махнул рукой, сунулся под машину и открыл краник. Вода потекла еще теплая. Он не удержался, погрел в ней руки, стараясь не намочить свитер, потом быстро выскочил и крепко вытер их сухой тряпкой.

- Золота в кабине нет? - задиристо спросил Боровик.

- Нет, - усмехнулся Боря.

- Тогда вот что. Надевай конобу вместо шубы и - вперед! Не подберут, так сами дойдем.

Боря молча влез в лямки. Коноба удобно легла на спину и придавила все мурашки, которые там бегали.

- Что хоть несу? - спросил он Боровика.

- Орехи.

- На базар?

- Зачем? Внучатам. А свитер - сыну. Он у меня тоже, как ты, на машине. Возит трубы для нефтепровода. Вот доберемся, возьмешь у него полушубок, выручишь свой грузовик, тогда все тряпье сразу и привезешь. Ну, не отставай!

Боря сунул руки в карманы и прибавил ходу. Световые столбы впереди, раскачиваясь в такт шагам, медленно двинулись навстречу.

Всё-таки день кончался удачно.

Только грязный нож всё стоял перед глазами.

И от этого сосало под ложечкой.

Владимир Шкаликов

БЕЛАЯ ОБЕЗЬЯНА

Сухой занервничал с утра. Две недели без допроса - это не баран чихнул, это означает серьёзную подготовку к большому подвоху. Юный пинкертон Малюхин настырен выше всякой меры, он просто так не отступит. Ему крайне важно повесить этот грабёж с убийством на Сухого, потому что тогда - верные два зайца: матёрого рецидивиста упрячут на предельный срок, а то и "вышку" дадут, пинкертона же повысят в должности и в звании.

"Ну, нет, пацан, - думал Сухой, - не будешь ты ни старшим инспектором, ни старшим лейтенантом. Ты слишком любишь рисковать, а тебе это по должности не положено".

Все две недели Сухой готовился отбить любой удар и вот сегодня занервничал. Значит, пинкертон закончил строить козни и после завтрака пришлёт погонялу. Сухой вышучивал сокамерников, насмехался над коридорным и вообще - настраивался. Он ЧУЯЛ.

После завтрака, не успели облизать ложки, за Сухим явился конвоир.

Лейтенант Малюхин в последний раз обошёл установку, в последний раз спросил эксперта, не подведёт ли техника, и, расслабившись, сел к столу.

Поединок с грабителем до сих пор складывался неудачно, дело двигалось к тому, что придётся негодяя отпустить, и он снова оправдывает своё прозвище - Сухой. Впрочем, он утверждает, что это не прозвище, а самая настоящая фамилия, просто собственный паспорт у него похитили, поэтому он был вынужден временно воспользоваться чужим, случайно подобранным на улице, и потому откликаться намерен только на своё настоящее имя - Сухой Остап Сулейманович, хотя любому ясно, что оно бесстыдно и без спросу взято у знаменитого литературного персонажа и нарочно так подстроено к фамилии-кличке, чтобы инициалы складывались в международный сигнал бедствия - СОС. Эти три буквы, только латинским шрифтом, мерзавец пишет на местах своих преступлений. Так он сделал и на этот раз: угрожая пистолетом, в одиночку ограбил троих спекулянтов, прикрытых, правда, вывеской шашлычного кооператива, и уехал на их же автомобиле, затем на ходу прыгнул в пригородный поезд, на ходу сошёл с него и был взят только на второй день - слегка навеселе и без денег: около трёх сотен разномастными купюрами для такого - не деньги. При нём оказался пистолет-зажигалка, из тех, что изготавливают заключённые в исправительных учреждениях, точная копия настоящего "вальтера". Пистолет кооператоры сразу опознали. Но они опознали бы и автомат. Они даже деньги опознали! Как не опознать... Одним словом, если сейчас эксперимент провалится, финал возможен в двух вариантах. По первому этот бандюга, которого, вон, уже вводят в лабораторию, заплатит символический штраф за ношение копии пистолета и уберётся на волю, а следователь утрётся. Вариант похуже - оба получают по замечанию: Сухой - вместо штрафа, Малюхин - о неполном служебном соответствии. В обоих случаях у шашлычников плачут их денежки - около восьми тысяч - не бог весть какая сумма для всех участников, кроме низкооплачиваемого инспектора Малюхина. Как говорил поэт: "За что боролись?"

- Доброе утро, Евгений Владимирович, - сказал, входя, грабитель.

- Садитесь вон туда, - сухо указал Малюхин.

- Извиняюсь, ежели что, - Сухой недоверчиво оглядывал кресло. - Мы университетов не кончали, нам бы чего попроще. Я пыток с детства не переносу.

- Не бойтесь, пытать вас не будут, - Малюхин усмехнулся. - Мы с вами, Остап Сулейманович, вместе и безболезненно убедимся в вашей невинности...

- А мне в ней не надо убеждаться, - перебил Сухой. По слишком мирному тону следователя он почуял, что за него хотят взяться круто, и потому решил сам держаться поагрессивнее. - Если так хотите, давайте убедимся в вашей. - Сухой резко повысил голос, до металлического звона со слезой: - Почему ко мне применяется пытка молчанием - две недели без допроса? Почему меня хотят пытать электричеством? Я требую присутствия при допросе прокурора и адвоката! Я заявляю следователю отвод!

- Да в чём дело? - Малюхин засмеялся. - Дайте ему табурет!

Конвойный подал табурет и встал за спиной - на случай буйства. Сухой было хотел этим возмутиться, но решил, что будет перебор: ничего не добьёшься, а обратно в камеру могут услатить ещё на столько же, да ещё в одиночку - это скучно.

- Остап Сулейманович, - сказал вкрадчиво Малюхин, - анализ вашего почерка подтвердил, что надписи "СОС", которые сделаны мелом на спинах потерпевших, выполнены вашей рукой. Вас это не убеждает?

- Какие надписи? - Сухой пожал плечами. - Покажите мне любой почерк, я вам эти три буквы хоть как нарисую.

- Ясненько, - следователь кротко вздохнул. - И пальцы одного из пострадавших на одной из ваших купюр вас тоже не убеждают...

- Конечно! Может, я как раз у этих шашлычников подкреплялся. Перед нашей с вами встречей. Я

их хотя и презираю, но шашлычок-то все любят... Кстати, грабить этих так называемых кооператоров очень даже нужно. Правильно кто-то сделал. Даже жалко, что не я. Ишь, спекуляторы... Мироеды...

- Ясно, ясно, - Малюхин остановил его жестом. - Ну, хорошо. Остаётся последняя формальность - и вы свободны.

Он взглянул за спину Сухого и быстро кивнул. Сухой начал поворачивать голову назад, но в него вцепилось сразу четыре пары дюжих рук, подняли, перенесли в кресло и, как ни отбивался, быстро пристегнули ремнями за руки, за ноги и даже за шею, а на голову надвинули сверху колпак вроде рыцарского шлема. Своё уродливое, опутанное проводами отражение Сухой разглядел в тёмном экране телевизора, установленного на столе прямо перед его носом.

- Гады, суки, мусора, фараоны, менты позорные и так далее, - Сухой перебрал все оскорбления в адрес исполнителей власти и мрачно зatih, экономя силы для предстоящего испытания, вздрагивая от каждого прикосновения резиновых присосок.

Некоторое время тянулась тишина, затем раздался щелчок, и экран засветился.

- Гордитесь, Сухой, - раздался голос Малюхина. - К вам первому будет применено ментоскопирование. Вероятно, вы не знаете, что это такое, поэтому слушайте внимательно. Ментоскоп - это не от привычного для вас слова "мент". Это прибор, способный снять глубинные сигналы из вашего мозга и в виде образов передать их на экран. Думайте о чём хотите, но упаси вас бог подумать о том, как вы грабили бедных кооператоров, потому что все подробности своего преступления вы тут же увидите на экране, а мы запишем их на видеоплёнку, которая и послужит неопровержимым доказательством вашей вины на суде.

- Не имеете права! - Сухой задёргался и захрипел. - Вы что придумали, гидры легавые, на вас в ООН будем жаловаться!..

Когда он устал бушевать и зatih, раздался щелчок. Над головой послышалось лёгкое гудение и потрескивание, кожу стало слегка пощипывать и покалывать. На экране что-то замельтешило.

- Ы-ы-ы, - зарычал Сухой в бессилии.

В ту же секунду он вспомнил, что ни в коем случае нельзя думать о грабеже. Не думать о грабеже. Не думать о грабеже...

Он смотрел, как по экрану мечутся неясные тени, и изо всех сил не думал о грабеже, приказывал себе не думать о маленькой железной двери с чёрного хода, которую открыл своим инструментом.

И дверь возникла на экране. Он видел её всю, потом она приблизилась, и рука - его рука! - ввела инструмент в замочную скважину.

Не думать, не думать об этом!

Но глаза Сухого не отрывались от экрана, а на экране уже распахивалась дверь, бежал навстречу короткий тёмный коридорчик, распахивалась вторая дверь и в свете двух ламп, горящих под потолком, от стола, от мисок с супом - он вспомнил запах супа! - поднимались три лица, а по ним, чертя стволом игрушечного пистолета, влево-вправо ходила твёрдая рука - его рука! Трое встали и положили ладони на стену. Пистолет приблизился к ним вплотную. Другая рука обхлопывает карманы... Всё происходит молча, только один раз крайний справа поворачивает голову и говорит - громко говорит своим голосом! - "Деньги в портфеле". Спины отодвигаются, виден пол, портфель, снова спины, портфель уже на столе, всё время в кадре пистолет, портфель раскрыт, но там не деньги, а какие-то бумажки. Сближение с обманщиком, удар в висок рукояткой пистолета, тело съезжает по стене, как весенний снег по крыше. Сосед убитого, не поворачивая головы, произносит глухо: "В морозилке". Движение к холодильнику, изъятие полиэтиленового пакета с деньгами, помещение денег в портфель... Защёлкнут замок, две спины приближаются, к одной из них протягивается рука - его рука! - и пишет мелом первую букву...

- Хватит! - Сухой зажмурился, замотал головой, захрипел. - Вырубай, пинкертона хренов, сдаюсь, будь ты проклят!..

Всхлипывая и жалобно матерясь, он подмахнул протокол допроса: "С моих слов записано верно..."

- Вас отведут в общую камеру, - сообщил Малюхин дружелюбно.

- Когда суд? - прохрипел Сухой.

- Суд послезавтра, Остап Сулейманович. Кстати, как всё же ваше настоящее имя-отчество?

- СОС, - ответил поверженный грабитель. Сцепил руки за спиной и пошёл к двери, угрюмо потупив лобастую голову.

- Неплохо для начала, - сказал эксперт, разбирая схему и сматывая провода. - Как там эта легенда про белую обезьяну?

- Это, кажется, о рецепте бессмертия, - сказал Малюхин. - Алхимик дал его владыке, но предупредил, что при составлении зелья ни в коем случае нельзя думать о белой обезьяне.

- Ну, понятно, - подхватил эксперт. - Владыка перечитал рецепт перед работой и - попался!..

- Мы тут сами чуть не попались.

- Кому?

- Да ему же, Сухому. Руку давали всё время крупным планом, он мог заметить, что солнышко не

на месте.

- Татуировка?

- Да. У него лучи достают до суставов всех четырёх пальцев, а у нас - только до среднего. Я сейчас разглядел, когда он расписывался.

- Он не заметил, - эксперт засмеялся. - Он был слишком потрясён.

- Спасибо белой обезьяне, - сказал Малюхин без улыбки.

- Жаль, что она поддельная, - вздохнул эксперт. - А до настоящей нам - как до Луны.

- Увы, - Малюхин тоже вздохнул. - Таланты из науки расползаются. По углам, по щелям, где больше платят... Ну, мне надо поспешить с оформлением дела. Пусть телевизор поставят в комнату отдыха, а "дарсонваль" надо бы вернуть в санчасть.

- Сделаем, - пообещал эксперт. - Только вот что будем делать, если он нас подловит на этой наколке?

- Я покаюсь, - Малюхин развёл руками, - но не в том, что погрешил против честности, а в том, что не сумел переиграть преступника. Что до тебя, то твоё дело техническое, ты тут не при чём. Скажем, чисто научный интерес.

- Да уж! - эксперт снова развеселился. - Если он сейчас обманывал, то очень убедительно.

По случаю большого поражения Сухому было разрешено днём лежать на койке. И он лежал, глядя в потолок и не слыша приглушённого разговора сокамерников, исполненных иронического сострадания к погоревшей знаменитости.

- Не верю, что его ни разу не раскололи, - говорил один.

- А ему твоя вера побоку, - отвечал второй. - Ты третий срок будешь тянуть, а он - чистый.

- Он сразу под "вышку" пойдёт, - возражал третий. - А если дадут пятнадцать лет, придётся менять ему кликуху.

- Полусухой будет...

Трое захихикали.

Последние слова дошли до слуха Сухого, и он усмехнулся, одними глазами.

"Ботайте, ботайте, шелупонь, - подумал налётчик. - Только имя менять мы погодим. Мы подождём до послезавтра и на суде потребуем, чтобы следствие предъявило так называемую ментограмму. Разумеется, ничего настоящего мистер пинкертон не предъявит, ибо неплохо снятая инсценировка грешит двумя серьёзными недостатками. Во-первых, по бедности, не имея собственной аппаратуры, господин сыщик воспользовался камерой, которую изъял у меня дома при обыске. Она зарубежная, маленькая, её легко пристроить на лоб и снимать подобные сюжеты пачками. Но у неё есть особенность, заметная только опытному глазу. Съёмка ведётся с обычной скоростью, но после каждого 24-го кадра делается пробел, предусмотренный фирмой на тот случай, если владельцу камеры понадобятся в его фильме рекламные вставки. Двадцать пятый, рекламный, кадрик мелькает будто бы незаметно, не мешая смотреть фильм, но в памяти остаётся. Когда же он не вставлен, камера оставляет на его месте пробел, заметный только профессионалу. На одном этом вас, ребята, можно легко поймать. Но есть улика посерьёзнее - татуировка на правой руке... Кстати, и колпак из процедурного кабинета - чем не улика? Хоть и замаскировали колпаком от фена, хоть попутно и сняли мне головную боль, но это не повод, чтобы сознаваться. Граждане судьи! Отказываюсь от своей подписи под протоколом допроса, ибо поставил её из страха перед электрическими пытками, которые следствие проводило с помощью аппарата Д'Арсонваля, и нравственными - с помощью моей же кинокамеры. Я мог бы разоблачить инспектора Малюхина сразу же на месте его служебного преступления. Но уж очень ему хочется стать на звёздочку шире в плечах. Почти так же, как мне хочется быть свободным. Свободным с самой большой буквы. Посодействуйте нам обоим, граждане судьи: пусть каждый получит по делам своим... Самое главное, конечно, что крайний справа от моего удара не умер, даже в кино, гад, снимается. Но этого я уж судьям говорить не буду. Хотя - посмотрим по обстановке".

"Что до ментоскопирования, - думал, засыпая, Сухой, - то реализация этой бородатой идеи доступна пока, к счастью, только технически начитанным фантастам. Тут нас не проведёшь, ибо, хоть мы я не кончали университетов, но институт радиоэлектроники нам в молодости осилить случилось. Пусть давно и заочно, зато с отличием и досрочно".

В это же самое время лейтенант Малюхин размышлял о белой обезьяне. Он думал: попутала, нечистая сила, перебежала дорожку, подвела под монастырь, сбила с панталыку. Он думал: даже идеи такого допроса была грош цена, а протоколу - и того меньше, потому что глаза Сухого выдали: всё понял, даже кинокамеру свою мог узнать и о прочем мог догадаться. Он думал: а если уж честно, то с самого начала не было мне жалко этих спекулянтов, как не было и к Сухому никакой злости: о нём говорят, что за всю жизнь не ограбил ни одного приличного человека. И если уж до конца честно, думал Малюхин, то эта неудача с Сухим - прекрасный повод уволиться и вступить в Лигу Частного Сыска - там по крайней мере можно выбирать себе противников по душе.

Владимир Шкаликов

БЕРЕГ САМОУБИЙЦ

1.

- Друг Маков, ты, вообще, как себя чувствуешь?
- Хорошо, Евгеша! - Виктор прищурился. - Куда и когда?

За полтора года, которые минули после ухода Малюхина из милиции, этот разговор стал ритуальным: если Евгений спрашивает о самочувствии, значит, наметилось новое дело, притом не в Томске. Этим командировкам Виктор всегда радовался: в пути организм включал внутренние резервы, совсем выравнивалась походка, переставали дрожать руки и даже не мучили сны о пограничных боях, которые всегда кончались взрывом и пробуждением в горячем, липком, как кровь, поту.

- Мы поедem, мы помчимся, - Евгений схватил друга за плечи, - на оленях утром ранним...
- И отчаянно ворвёмся, - подхватил Виктор. - Куда?
- Прямо на берег Финского залива, - Евгений повлёл его к стене и ткнул пальцем в карту: - Вот сюда. И завтра же, утренним самолётом.
- М-м-м?

Оба уже негодные к лётной работе, они не любили встречаться в портах с друзьями-аэроклубовцами, которые носят теперь синюю форму и водят тяжёлые реактивные самолёты: мало радости от их невольно сочувствующих физиономий и ещё меньше - от маскирующей жалость дурацкого вопроса: "Ну, какие доходы от частного сыска?" И второй аэрофлотовский минус - унижения на досмотре и скука в загоне-накопителе, который они между собой называли - КПЗ. Опять же, никакого оружия в самолёт не возьмёшь. Это, впрочем, особого неуютя не доставляло. И только один плюс - спешка. Её особенно любил Виктор, потому что в ней одной находил полное удовлетворение.

- Да, Витюша, только самолётом, - Евгений перестал улыбаться.
- Что ж такое?
- Чёрт-те что. Куча трупов, но все, вроде, никем не убиты.
- Сами, что ли?
- Вот именно, друг Ватсон. Массовый суицид.
- Но надо поискать, нет ли всё же убийцы?
- Или убийц.
- Ого.
- Так-то. Небольшой городок на берегу моря. В названии сказано о нем всё - Новый. Большой завод. Курортная природа.
- Оригинальное сочетание.
- Говорят, не мешает. Но все тринадцать самоубийств - как раз в тех кварталах, что ближе к морю.
- Ого, тринадцать. Среди местных или приехавших?
- Ну, с этим как ваз сложно. Собственно местных там, можно сказать, и нет. Производство химическое, местные туда не шли, было пусто, пока не началась резня в южных республиках. Пришло много беженцев, но и посейчас с жильём свободно, рабсила нужна.
- И давно там... ЭТО?
- Да там до нынешней весны кладбища не было. И вдруг - как взрыв. Притом - только женщины. И только молодые. Народ, понятно, к властям: кровная месть, мол...
- Ну да, с женщиной легче справиться, а с молодой ...
- Вот именно. Конфликт: жителям подай убийцу-маньяка, а властям нужно ЧТО-ТО другое.
- Что-то?
- Да, пока вот так, неопределённо. Подробности - на месте.
- Сами, значит, не справляются...
- Или не хотят.
- А кто заказывает музыку?
- Завод там хозяин.

2.

Едва они вошли в незнакомый аэровокзал, как по трансляции объявили:

- Двух приглашённых из Томска ожидают у справочного бюро.
- Было издали заметно, что коренастый мужчина у справочного волнуется.
- Из Томска? В Новый? - Он пожал им руки. - Идёмте.

Сели в красную "Ниву", коренастый сразу запустил мотор и помчался. Через пару километров молчания и гонки сбавил скорость и начал разговор.

- Не обидитесь, если попрошу ваши документы?

- Поздновато, - сказал Виктор.
- Внушаете доверие, - отвечал водитель серьезно. Он взял удостоверения, по очереди в них заглянул и, возвращая, представился:

- Робин. Борис Борисович. Главный инженер завода.
- Завод в городе один? - Евгений сразу приступил к делу.
- Такой большой - да. Ещё - мелочь бытовая.
- А что производите? Не секрет?

- Разное электрооборудование. Если интересно - покажем. Понравится - оставайтесь работать, - Робин невесело усмехнулся. - Но с нашими делами - едва ли захотите. Пока вы добирались, у нас еще один покойник... Наш директор... Так что я сейчас за него.

Виктор присвистнул.

- Тоже самоубийство? - спросил Евгений быстро.
- По признакам - да. Но свидетелей опять не было.

Долго ехали молча. Виктор, сидя рядом с водителем, не стеснялся его разглядывать, а Робин угрюмо следил за дорогой и был занят мрачными своими мыслями. Только обронил:

- В пустой квартире вас поселю. Ограничений ни в чём не будет.

Скорость увеличилась за сто, из чего следовало, что водитель пока не расположен к беседе.

Через пару часов такой езды машина оказалась в довольно тесном распадке меж двумя увалами, заросшими лесом. Справа плавно змеилась неширокая и небыстрая речка с каменистым дном.

Вскоре распадок стал уютной долиной, которую почти целиком занимал небольшой, действительно новый, белопанельный городок. Дорога влилась в прямую улицу. Впереди тяжело блестела до горизонта тёмная вода Балтики.

- Сейчас на перекрёстке посмотрите направо, - сказал Робин. - Увидите наш завод.

Он сказал не "мой", а "наш" - это вызывало симпатию.

Перекрёсток с самыми высокими в городе - пятиэтажными - домами проехали совсем медленно и успели разглядеть справа, за мостом, провал в лесистом увале. За провалом виднелась ещё одна, менее широкая, долина, а в ней - солидная масса производственных корпусов и полускрытые увалом нефтехранилища-пятитысячники.

- Изрядно, - оценил Евгений.
- Город при заводе, - подтвердил Робин. - Так и задумано.
- Много нефтехимии? - спросил Виктор.
- Много.
- Что-то факела не видно, - Евгений предъявил знакомство с предметом.
- Гордимся, - Робин впервые улыбнулся широко. - Замкнутый цикл, мечта "зелёных".
- Значит, производите не только электро, - сказал Евгений.
- У нас, собственно, комбинат, - ответил Робин. - Но внимание! Въехали в зону самоубийств.

Мужчины могут не бояться: до сих пор кончали с собой только женщины.

Евгений с Виктором переглянулись.

- Нам бы здесь и поселиться, - сказал Евгений.
- Здесь и поселим, - был ответ. - В самой гуще.
- Сразу начнем оттуда, где директор... - сказал Евгений.
- Конечно, - ответил Робин. - Только посмотрите жильё да поужинаем.

"Пустая квартира" оказалась меблированной, притом полной таких интимных вещей, которым не полагается быть в казённом жильё. Женские принадлежности на трельяжном столике, подушечки ручной вышивки на старинном диване, спинку которого украшали два зеркальных шкафчика, соединённых длинной резной полкой с целым выводком блестящих фарфоровых слоников... Детская мебель, игрушки... Старинных образцов посуда на кухне...

- Где хозяйева? - спросил Евгений. Он примерился было бросить свою дорожную сумку на диван, но не решился и опустил её на ковровую дорожку, связанную явно вручную из пёстрых тряпичных ленточек. Виктор даже разулся.

- Здесь самый центр событий, - сообщил угрюмо Робин. - Седьмое самоубийство. Он - русский, она - турчанка, беженцы из Средней Азии. Он пришёл с работы и нашёл её в петле. Тёща гуляла с ребёнком возле дома... На следующий день забрал тёшу и дочь и увёз неизвестно куда. Хоронили без него. Золотой был кузнец. Пришёл ко мне: "Отвези, Борисыч, а то сойду с ума". Отвёз их на вокзал. Жду письма.

- А случаев помешательства нет? - спросил Виктор.

- Один, боюсь, тронется. Ваш сосед по площадке, седьмая квартира. Он ввёлся в грех с соседкой из восьмой квартиры гулял с ней в лесочке, у моря, за рекой, почти на виду... Говорит, попросила отойти за бугорок. Ну, вроде ясно, зачем. Отошёл. Её нет и нет. Стал звать - молчит. Бросился - висит на дереве. Растерялся: то ли откачивать, то ли искать убийцу. Попытался откачать, потом сутки бегал по лесу. Теперь сидит в милиции, в одиночной камере, чтобы муж не задушил. И сходит с ума... Ну, со всем этим завтра. Едем на завод. Там и столовая.

Ничего особенного на заводе они не увидели. Обширная огороженная территория занимала всю долину большого ручья, прижимая его к самой круче. Воду, однако, завод брал из-под земли, давая ручью свободно впадать в море. Мощные очистные сооружения не только обеспечивали замкнутый цикл всем заводским корпусам, но и приводили в экологическую норму все городские стоки.

- Так что все пляжи и прибрежные воды у нас стерильны, - сообщил с гордостью Робин.

Место гибели директора он показал обыденно и без надрыва доложил, что высота этих мостков над бетонным полом равна пятнадцати метрам, поэтому возможность не сломать позвоночник практически отсутствует. Был общий выходной (на заводе нет непрерывного производства), и директора зачем-то черти принесли сделать в одиночестве обход цехов. Зачем-то полез на мостки и упал с них именно в том месте, где ограждение на загрузочной площадке можно отодвинуть. Откинул щеколду, убрал ограждение и прыгнул вниз головой - так определили местные эксперты.

- Не в этом ли цехе источник самоубийств? - спросил Виктор напрямую.

- А у вас уже возникло желание покончить с собой? - парировал главный инженер. - Или у вас, Евгений Владимирович?.. У меня - нет... Но вот жил директор в том же проклятом районе, между мостом и пляжем.

- Каковы функции этого цеха? - спросил Евгений.

- Это цех подготовки. Собственно, высокомеханизированный склад. Разного рода сырьё здесь необходимым образом готовится к употреблению и по трубопроводам или закрытыми транспортерами доставляется, по мере надобности, в производственные корпуса - в синтезные, в штамповку, в сборку... Можно посмотреть на макете.

По цеху тем временем двигались нормальные люди, мужчины и женщины, совсем без лихорадочного блеска в глазах. Если что и могло привлечь в них внимание наблюдательного сыщика, так разве что пёстрая многонациональность. Из-под беретов выбивались русые, рыжие, смоляные, прямые и курчавые волосы, к гостям на ходу коротко поворачивались прямые, горбатые, вздёрнутые, расплюснутые носы, на них поглядывали раскосые, миндалевидные, круглые глаза всех существующих цветов.

- Интернационал, - сказал Виктор.

- Вавилонское столпостроительство, - хмыкнул Робин. - Даже не все по-русски как следует понимают. В аулах жили, в горах, в кишлаках... Но обучаем всех, работа не очень сложная, просто требует аккуратности. Зарботки высокие.

- Они не верят в самоубийства? - спросил Евгений.

- В большинстве - нет. Можно даже сказать - никто не верит. Вечером выйдите на улицу - увидите сами. Кстати, о вашем статусе...

- Мы сделаем вид, что устраиваемся к вам на работу, - предложил Евгений.

- Хорошо, - согласился Робин. - Пока будем в столовой, вам выпишут временные пропуска.

После ужина он вручил Евгению листок со всеми адресами и телефонами, по которым его можно разыскать в любое время суток, и предоставил сыщиков самим себе. Они вышли за проходную и огляделись.

- Пойдём домой, - предложил Виктор. - Над картой подумаем.

На мосту Евгений задержался.

- Примерно здесь, - сказал он, глядя на валуны в мелкой прозрачной воде.

- Пожалуй, - согласился Евгений. - Обе в одном месте и в одно время суток.

- Заметь, в сумерках.

- Самое незрячее время, - согласился Виктор. - Кстати, надо их всех сверить по этому признаку...

Ну, а что ты думаешь о заводе?

- Похоже, отпадает, - сказал Евгений с сомнением. - Во-первых, такого чистого производства я ещё не видел, даже у нас в Сибири.

- Это главное, - согласился Виктор.

- Да и этот Робин внушает доверие, - продолжал Евгений. - Не скрывает, как будто, ничего, даже встретил сам...

- У него комплекс вины, - сказал Виктор. - Город при заводе, представляешь? Народ с завода разбежится - всему конец.

- Согласен. Из интересов завода и будем рассуждать.

Они подошли к своему дому.

- Скучный городок, - сказал Виктор. - Скучный и скученный. Монотонный какой-то.

- Это хорошо, - Евгений похлопал его по спине. - Легче сосредоточиться. Вот стемнеет, пойдём на пляж и оценим монотонность моря и песка. А пока - изучим место действия.

Они поднялись к себе на второй этаж и стали разглядывать квартиру, пожарно оставленную хозяевами.

- Три комнаты и кухня на четверых, - оценивал Виктор. - Не шикарно, но и не бедно.

- За три года неплохо устроились, - поддержал Евгений.

- И деньги, видать, имелись, раз так легко уехали, - проворчал Виктор. - Тоже мне мужик, даже не похоронил...

- Ребёнка спасал, - возразил Евгений. - Заведёшь - поймёшь.

- С вами заведёшь, - проворчал Виктор. - Доставай карту.

Евгений разложил на скатерти кусок кальки. "Карта самоубийств" представляла собой план города, включая реку, край увала за ней и весь пляж, довольно широкий в устье городской долины и весьма узкий на другой стороне реки, по краю увала и долины ручья, которая от завода до моря была заболочена. Крестиками в кружочках на этой карте были отмечены места трагедий: двумя - в долине ручья, одним - в лесу на увале, где погибла соседка из восьмой квартиры, остальные знаки печали приходились на мост и пять кварталов, близких к пляжу.

- Странно, что никто не утопился, - пробормотал Виктор. - Там мелко, посмотри в окно. Видишь, барашки на воде частые и далеко от берега. И вода мутная, с песком.

- Ишь ты, убедительно. Какая же там глубина?

- Нам по грудь, - Евгений будто не заметил иронии. - Не забывай, что я служил в морском десанте, а ты - только в воздушном.

- Потому ты и старший группы, - Виктор миролюбиво толкнул его плечом. - Рассуждай дальше.

- Женщины-горянки плавать не умеют, - продолжал Евгений, - поэтому глубины боятся. Но не боятся высоты и верёвки.

- И ножа, - добавил Виктор. - И огня.

- Да уж, - Евгений поёжился. - Сколько зарезанных?

- Трое. И одна сгорела.

- И всё могло быть самоубийством. А равно и убийством.

- Ага, особенно прыжок с собственного балкона, при детях и при муже. Давай так: какая версия тебе ближе?

- Да я ничего не понимаю, - Евгений вздохнул. - Доказано, что своим бензином облилась, своим ножом зарезалась, своим поясом удавилась, рассказано всем на собраниях, а им всё равно мерещатся убийства. Где У НИХ логика?

- Вот это я могу тебе объяснить, - у Виктора задрожали руки и голос. - Ты десантник хоть и морской, но домашний, а я был там, где народ дрался против народа, я видел беженцев, я их понимаю. Если мы не докажем здесь самоубийство - для всех без исключения! - они отсюда разбегутся, и будет множество трагедий. Гораздо больше, чем сейчас!

Евгений изменился в лице и схватил его за руки.

- Да ты что. Мак! Ну-ка, давай чайку заварим покрепче.

- Л-лучше кофе, - Виктор стиснул кулаки и зажал их под мышками. - Я з-захватил банку растворимого.

Они сидели на кухне, которую сочли самым уютным местом для незваных гостей в чужой квартире. Евгению было достаточно протянуть руку, чтобы включить чужой электрический чайник, которым пользовалась недавно погибшая женщина. И они молчали, пока вода не вскипела. И ещё дольше, пока не выпили по чашке кофе и пока Виктор не успокоился. Тогда Евгений сказал, напряжённо взвешивая слова.

- Витюша, я с тобой согласен, но только в одном: людям надо вернуть покой. Но не обманом и не подгонкой под ответ. Ни от какой причины нет гарантии, поэтому да упасёт нас Боженька от твёрдых установок.

По второй чашке пили опять молча. Потом Виктор встал, вымыл посуду и тихо сказал:

- Когда руки трясутся, трудно себя в них держать. Извини. Пошли к соседу, я в порядке.

- А система тут очень даже возможна, - Евгений тоже встал. - Чую какую-то объединяющую причину.

- Я тоже, - согласился Виктор, хотя подозревал, что его просто утешают.

Не дозвонившись и не достучавшись в восьмую квартиру, вышли на улицу. Долгий летний вечер был ещё далёк от сумерек. Тротуары однако пустовали, дороги тоже. Было решено сходить в милицию, чтобы поговорить с незадачливым соседом-любовником из седьмой квартиры, который потерял в лесу (или сам убил?) одну из жертв массового суицида.

- Интересно, - сказал Виктор, - по подозрению его держат или в самом деле прячут от мужа?

- Если сознался, то в чём подозревать? Скорее, спасают.

- Много ты знаешь ПОЛНЫХ признаний?..

За первым же углом их окружила группа молодых мужчин и женщин, будто подстерегали.

- Попрошу ваши документы, - надвинулся старший по возрасту.

- А вы кто такие? - Виктор замер в расслабленной позе, и Евгений понял, что война в нём ещё не отхлынула, что при малейшей непочтительности со стороны старшего безобидный в общем разговор может иметь для него самые незаслуженные неприятности вплоть до нокаута, поэтому быстро положил руку на плечо Виктора и скороговоркой начал: - Только что приехали, насчёт работы, сам Робин подвёз на красной "Ниве", даже завод показал, а действительно, почему такие строгости, разве город режимный?..

Под эту речь он достал, раскрыл одной рукой и, не отдавая, предъявил старшему паспорт.

- А-а-а, - протянул тот. - Понятно. Отойдём.

Когда удалились от удивлённой группы, он продолжал нервно-весело:

- Это, значит, вы из ЛЧС, мне с вас говорил Робин. В шестую квартиру поселил?

- А вы, значит, из восьмой? - догадался Евгений, чувствуя, как оттаивает под рукой Виктор. - А это у вас что-то вроде отряда самообороны?

Старшой на оба вопроса кивнул и пригласил:

- Погуляете с нами?

- Не сейчас, - Евгений отпустил, наконец, плечо Виктора. - Нам в милицию. Время дорого.

- Дороже порядок, - ответил старшой немного резко.

- У нас другой профиль, - Евгений разоружающе улыбнулся.

- Подходите попозже, - пригласил старшой. - После полуночи.

- Постараемся, - Евгений не любил давления.

- Ладно, - Старшой, похоже, понял его. - Увидите этого гада, скажите, что я его всё равно достану.

- Думаете, он убил? - спросил Евгений.

- А хоть бы и не он, - старшой отвернулся и пошёл к своим.

- Где у вас милиция? - спросил вслед Евгений.

- Там, - было показано вполоборота, - три квартала.

- Обиделся маленько, - Евгений усмехнулся.

- Ну да, - Виктор вполне спокойно покачал головой, - он бы хотел вертолётom репу дёргать.

- Ладно, вертолёт, не кипятись. Пошли скорее.

По пути их ещё раз останавливали. Патруль был чисто женский, и точно так же старшая отводила их в сторону и говорила, что знает товарищей из ЛЧС и желает им успеха. А её спортивные девицы тарасились на сыщиков издали, как Наташи Ростовы на первом балу, и явно тоже были в курсе и в восторге.

- Выбирай любую, Мак, не зевай. Вон та блондиночка так тебя и ест...

- Слишком все здоровые. Мне бы увечную какую.

- Ну ничего не соображаешь! Раз мы с тобой калеки, нам такая подруга жизни нужна, чтобы...

- Ясно. Как каменная спина. Пришли уже, хватит о них.

В милиции, чего и следовало ожидать, их встретили вежливо-иронически. Они называли это "муму-эффектом". Полтора года назад, во время первого визита в милицию, когда пришлось представляться частными сыщиками, некто в золотых парадных погонах изрёк: "Частные? Ну-ну..." Виктор передразнил: "Му-му!" И родился "муму-эффект", первый термин их профессионального жаргона. Теперь в Лиге все его понимают.

- Вам, значит, Карапетьян нужен, - дежурный старшина важничал. - Без разрешения начальника горотдела не могу.

- В каком виде? - быстро спросил привычный к таким штукам Маков.

- Что - "в каком"?

- Муму! Я спрашиваю - разрешение в устном или в письменном?

- Только грубить - не надо, - ответил старшина преувеличенно спокойно. И отвернулся с чувством правоты.

- Ты что, парень? - у Виктора задрожал голос. - Мы что, не одно дело делаем?

Дежурный не ответил, благо бумажек под рукой довольно.

- Витюша, - сказал Евгений вкрадчиво, - ты же видишь, товарищ старшина хочет, чтобы частные сыщики за свои длинные рубли пошевелили ножками. Верно, старшина?

Ответа не было.

Евгений достал старое лейтенантское удостоверение, которое специально для такого случая "потерял", увольняясь из милиции, и, не давая в руки, показал старшине.

- Коллега, не откажитесь поговорить с офицером. Старшина всмотрелся и, не найдя повода огрызнуться, вздохнул:

- Слушаю вас, товарищ лейтенант.

- Вот так надо с любым гражданином. Я доложу о вас Сидорову. Он у себя?

- У себя, - буркнул старшина.

- Наел тут ряшку шире задницы, - процедил Виктор. - На Саланг бы тебя...

- Сам ты салага, - парировал старшина, не разобравшись. - Небось с наших харчей сбежал...

- А тебе ж... мешает! С-салага тыловая...

- Идём, идем, - Евгений увлёк друга к лестнице. - Нам с ним ещё работать.

- Да пош-шёл он, - Виктор прыгал через две ступеньки. - Сам не живёт и никому не даёт, п-полкан...

- Тебя самого хоть на цепь сажай, - успокаивал Евгений.

- А я не сяду. И никто не сядет, пока сам не захочет.

К подполковнику Сидорову вошли по-милицейски, без стука, и уже закрыв за собой дверь, спросили:

- Разрешите?

- Сразу узнаю своих, - Сидоров встал, улыбаясь, обошёл стол, двинулся навстречу. - Дежурный доложил о вас только что.

Сыщики переглянулись.

- Муму, - сказал Виктор.

- Что? - Сидоров поднял подбородок.

- Знает службу старшина, - Евгений опередил друга.

- Один из лучших работников, - подтвердил подполковник. - Значит, это у вас "муму" называется? Ну-ну, запомним.

Он внимательно рассмотрел удостоверения Лиги, пояснил: "Впервые имею дело" и заострился в готовности помочь:

- Вы, конечно, к Карапетьяну. Он в хорошей одиночке. Беседовать удобнее будет там, а то у нас с кабинетами тесновато. Вопросов пока нет?

- Один вопрос, - сказал Евгений. - Как работаете по этому делу с отдыхающими?

- Отдыхающие учтены поголовно. И те, что живут в коттеджах на пляже, и те, что по квартирам. Усилили пост ГАИ на въезде: проверяем практически все машины. Дорога у нас одна, всё просто.

- А с моря? - спросил Евгений.

- Там ещё проще, там пограничные катера. Но и наши работают по берегу. Сильно помогают группы самообороны. Практически лазеек нет.

- И давно так?

- После гибели Гульнаны Остаповой. Вас поселили в их квартире.

- То есть, почти месяц?

- Да.

- И есть результаты?

- Семь трупов, - Сидоров поглядел в упор так, будто это из-за нерасторопности сибирских сыщиков в подведомственном ему городе столько бед.

- Я имею в виду наблюдения, - уточнил Евгений.

- Есть наблюдения, - горько сказал подполковник. - После того, как одна бросилась с моста, установили там секретный пост и видели, как вторая - сама! - влезла на перила и - головой вниз! Вот и все наблюдения.

- Не густо, - Виктор покачал головой.

- А что вы хотите? - Сидоров усмехнулся невесело. - Самоубийца и убийца в одном сходи: не любят, когда им мешают.

- Какая же версия ближе лично вам? - спросил Евгений.

- Первая, - Сидоров ответил быстро и уверенно. - Убийца, как известно, оставляет следы. А самоубийца - записку. - Он выдвинул ящик стола, извлёк лист бумаги. - Вот что они написали: "Простите, я устала", "Витя, прости, больше не могу", "Пожалейте меня, люди", "Прощайте, никого не вините", "Сил больше нет". Вот ещё: "Будь оно всё проклято!" - три одинаковых, но почерк авторов идентифицирован. И, наконец, последняя? "Я встречу их там". Возьмите, это перепечатка. Оригиналы записок, если понадобятся, найдёте в делах. - Подполковник встал. - Ну, желаю успеха. Дела на всех погибших - в оперативной части. К Карапетьяну вас проводит старшина Муму. Ха-ха!

В его невесёлом смешке было много усталости, и в коридоре Евгений даже пожалел, что обманули насчёт Муму.

- Переживём, - отозвался Виктор. Он остывал медленно.

Старшина внизу слушал телефонную трубку и светло улыбался. Отчеканил: "Спасибо, трщ подполковник! Слушаюсь!" Встал лучшим другом навстречу Малюхину и Макову, отпер и распахнул перед ними поочерёдно две окованные двери, вручил ключи и, откозыряв, удалился.

Реагировать на галантность старшины было некогда: перед ними сидел на кровати давно не бритый человек с глазами безумца.

- Здравствуйте, Евгений Вартанович. Мы с вами тёзки. Я - Евгений Владимирович.

Узник даже в небритом виде казался весьма молодым. Он молча испугался, когда они входили, теперь несколько успокоился и молча кивнул.

- А это - мой друг, Виктор Павлович. Вы не откажетесь с нами побеседовать? - Евгений спохватился и уточнил: - Мы ведём следствие.

Небритый всё так же молча кивнул.

- Чтобы вас не утомлять, - продолжал Евгений, - всего пара вопросов. Вашу... спутницу в лесу, Елену Коваль...

- Олэну, - хрипло и болезненно поправил Карапетьян.

- Олэну, - повторил за ним Евгений. - Её раньше кто-нибудь преследовал? Она вам что-нибудь такое говорила?

- Я уже говорил...

- Мы из Москвы. Мы читали ваши показания. Но хотелось бы услышать от вас несколько подробнее.

- Нэт. Её никто нэ прэслэ... Мэня прэслэ... Я бежал суда Сумгаита, они мэня здэс нашёл.

Отомстить хотэ...

- Кто они?

- Кто там хотэл зарэ... Я бэжал суда, они мэня здэс нашёл.

- Вы их видели? Сколько их?

- Сколко я знаю? Как я их ви...? Я всёгда ходил ножом, они мэня боя... Они её убил. Дэсят минут я отошёл, они её убил! Я искал, я вэс лэс бэгал, а он хочет мэня удавит! Я же нэ могу его рэзат, он же муж! Он нэ понима...

- Ясно, - сказал Евгений. - Из ваших знакомых кого-нибудь преследовали?

- Зачем прэслэ..? Откуда я зна..? Они - Узбэкистан, я - Азэрбажан.

- Евгений Вартанович, почему вас здесь держат?

Небритый горящими глазами впился в Малюхина.

- Па-та-му шту я пай-ду их рэ-зат! - Он уронил голову и невнятно закончил: - А Пашка Коваль мэня бу...

Он загудел, зашипел, завыл, закачался, забормотал что-то гортанно, явно ругательское, но и жалостное.

- Олэна не оставила записку? - спросил Евгений. В ответ - качание головой.

- А не говорила, что жить не хочет?

- Нэ-э-э! - Карапетьян вскинулся и блеснул глазами. - Как это мо... Убили её! Понял? - И уронил голову.

- Мы постараемся вам помочь, - Евгений встал с табуретки и попятился к двери, где с самого начала застрял Виктор.

- Никто мнэ нэ помо...- глухо отразилось от пола.

Заперев обе двери, они вернули ключи старшине, ответили на его сочувственный вздох и вышли на улицу. Было всё ещё не темно, медленно рассасывалась дневная жара. Душа просила пощады.

- Пощадим? - предложил Евгений.

- Пошли скупнёмся, - кивнул Виктор. - Я уже сомневаюсь, не легче ли в рукопашной.

- Раньше надо было сомневаться.

- В рукопашной сомневаться некогда, Холмс.

- В этом её преимущество, Ватсон.

По дороге на пляж они чинно раскланялись с девичьим патрулём. Через несколько секунд услышали, как сзади прыснули. Оглянулись и увидели, что весь патруль смотрит им вслед. Помахали им и двинулись дальше.

- Ты обратил на блондиночку? - спросил Евгений.

- Она одна не улыбалась, - Виктор взглянул озабоченно.

- То-то и оно.

- Что?

- Глаз на тебя положила.

- На инвалидку не похожа, - Виктор вздохнул. - Давай лучше о делах. Как тебе этот псих?

- Он нэ убивал.

- Психу верить опасно.

- И не верить - тоже. Он же младе... Он, может, истину глаго...

- Да уж, - Виктор невольно усмехнулся.

Пляж был отделён от города высокой сеткой. В шесть рядов за сеткой росли сосны, за ними виднелись деревянные коттеджи. Дальше на песке - ряды лежаков.

Через подпружиненную калитку они вышли на бетонную тропу и двинулись к воде.

Людей в море не было. На верандах коттеджей готовили ужин, в нескольких местах негромко играла музыка. Никаких признаков тревоги.

- За полтора года я так и не привык, - сказал Виктор.

- К чему? - Евгений начал раздеваться.

- Да вот, что кругом столько разных ужасов, а люди спокойны.

- Не огорчайся, - сказал Евгений. - Тут система двоичная: либо привыкнешь либо уйдёшь. Хотя по теории идеально...

- И не привыкнуть, и не уйти, - Виктор разделся раньше и встал на руки. - Я в курсе.

- Самый способный из моих учеников, - оценил Евгений.

- К тому же единственный, - Виктор перевернулся на ноги и нанёс несколько ударов, которые были легко отбиты. - Когда же ты расскажешь, за что тебя выгнали из милиции?

- Не выгнали, - теперь атаковал Евгений, - я сам ушёл.

- А злые языки шептали, будто из-за какой-то белой обезьяны...

- Вот сволочи, - атака прекратилась. - Не держится у них...

- Значит, правда?

- Наполовину. Обезьяна была, но ушёл-то я сам...

- Так расскажи.

- Потом когда-нибудь... В воду, Ватсон!

Долго бежали по мелкой воде, пока нашли место, где можно поплавать. В невесомости контузия Виктора совсем не давала о себе знать, и он мог бы, наверно, остаться в воде жить.

А когда пошли назад, то увидели у своей одежды знакомую блондинку из девичьего патруля.

- Витька-а-а, - только и сказал Евгений.

- Кажись, судьба, - пробормотал Виктор, явно озарённый. Судьба улыбалась одними глазами, яркими и синими. В последних лучах солнца это особенно впечатляло, как последнее тепло в тайге перед первым снегом: тревога и восторг.

Евгений перевёл взгляд с блондинки на Виктора и увидел, что у них одинаковое выражение лица.

- Я командирована стеречь ваши одежды.

- Тогда надо знакомиться, - Евгений ткнул пальцем себя в грудь. - Евгений Владимирович. - Положил руку на плечо друга: - Витя. - Навёл палец на блондинку. Она тихо засмеялась: - Настя.

- Давно бы так, - сказал Евгений строго. - Обрати, Витюша, какой у неё красивый смех.

- Значит, и сама красивая, - Настя стащила с себя платье и предложила купаться, в самом деле красивая.

- Купайтесь, молодёжь, - сказал Евгений. - А я отдохну.

Молодёжь только того и ждала.

3.

- Как у вас, молодых, всё быстро и просто, - Евгений уже допивал кофе, когда явился Виктор. - Ты, конечно, позавтракал и готов работать...

- Так точно! - Виктор сел к столу.

- Н-ну и как?

- Ты угадал: она действительно может быть источником информации.

- Что-то не помню за собой таких догадок, - Евгений усмехнулся. - Давай-ка для начала подальше от дела. Грубо говоря: как ночь?

Виктор молча встал на тесно сдвинутых ногах, как на комиссии перед невропатологом, вытянул вперёд руки и растопырил пальцы. Они не дрожали.

- Видал?

- Хм-м... Поистине, функция строит организм... - Евгений толкнул стоящего, чтобы сел. - Поздравляю, годен к лёгкой работе без ограничений. Ты выглядишь усталым, но счастливым. Решено, стало быть: Настю увозим с собой. Из этого курортного ада в наш сибирский рай. Каков гонорарчик, Ватсон!

- У тебя лёгкая рука, - сорвалось у Виктора. Он тут же осёкся, но Евгений уже сник. - Прости, Евгеша, - попросил Виктор.

- Ничего, бывает.

Однако поневоле пришлось Виктору посидеть молча и понаблюдать, как борется с переживаниями прошлого бывший супермен.

Шесть лет назад, неудачно подорвав старую германскую якорную мину, краснофлотец Малюхин отлежал свое в госпитале и был списан на гражданку вчистую. Перед отъездом домой он спас ту самую медсестру, которая его выхаживала, привёз вместе с дочкой в Томск и отдал в жёны лучшему другу, Игнату Эвкалиптову.

Все были счастливы, а потом Ольгу похитили и убили те самые нацисты, от которых он спас её в Крыму. Тогда же, пытаясь спасти её вторично, Евгений утратил свою сверхбыстроту. Тогда же, спасая Ольгину дочку, погиб Мефодий Ханов, автор генератора шаровых молний, безнадежно влюблённый в странную мужененавистницу Наину... Замученная нацистами Ольга была похожа на Евгешину жену Алю, и, кажется, Евгеша сам был в неё влюблён... Словом, за шесть лет ни у него эта рана не зажила, ни Игнат больше не женился.

- Прости меня, - повторил Виктор.

- Всё, - Евгений встал. - Живём дальше. Авось и вправду на этот раз обойдётся. Не абсолютен же закон парности... Что там у неё за информация?

- Да нет, - Виктор потупился, - пока ничего определённого. Но чую, чую...

- Хм... Ну, ладно. Чуй быстрее. А пока пошли на завод.

В проходной им вручили пропуска и сообщили, что Борис Борисович просил, никуда не заходя, поспешить сразу в горсовет, на срочное совещание. Его машина ждёт на стоянке.

За рулём красной "Нивы" оказался теперь молодой водитель, как потом оценили друзья, "в штатском". Он дежурным тоном сообщил, что рад увидеть живых сыщиков, и в пять минут домчал их до горсовета.

- Как-то он неприятно сказал насчёт ЖИВЫХ сыщиков, - заметил на свободе Виктор.

- Переживём, - обнадежил Евгений.

Из приёмной председателя горсовета их сразу провели через кабинет в маленькую комнату, где уже сидели за круглым столом шестеро солидных мужчин.

- Ну, начнём, - сказал после приветствий один из них, самый седой. - Вся комиссия специально

собралась, чтобы вам, товарищи... м-м-м...

- Сыщики, - подсказал Евгений.

- Ну, что ж, надо привыкать. Весь мир имеет, вот и мы... Словом, мы хотим вот за этим столом ввести вас в курс дела максимально, по всем аспектам проблемы. Не возражаете?

- Мы только рады, - сказал Евгений.

- Для простоты общения, - продолжал самый седой, - мы вам представимся просто по профессиям. Вот по порядку - Юрист, Физик, Врач, Социолог, Эколог и я, Председатель. По имени-отчеству можно будет потом, в процессе работы.

- Годится, - сказал Евгений. Виктор кивнул.

- Мы опишем вам положение дел с разных точек зрения, - продолжал Председатель, - а вы прямо на ходу задавайте вопросы.

Сыщики кивнули.

- В общих чертах вас уже ознакомили, - продолжал Председатель. - Свою задачу мы видим в том, чтобы дать вам профессиональную ориентировку по всем возможным направлениям, в виде предварительной консультации, что ли. Начнём с Юриста, а я - после всех.

Юрист хотел было встать, но Председатель предложил разговаривать без официоза - слишком уж серьёзное дело.

- Милиция очень крепко занималась, - начал Юрист. - Ситуация совершенно неординарная, непривычная... Городу нашему двенадцать лет. За это время ни одного самоубийства, ни одного убийства. Это, впрочем, тоже беспрецедентно - ни одной насильственной смерти за такой срок. Но в этом надо отдать должное руководству завода: для людей делалось всё, чего они хотели и, безусловно, заслуживали: жильё, снабжение, всяческое обеспечение, замкнутая технология, техника безопасности... Правоохранные органы работали в тесном контакте с населением, в городе мощная народная дружина. Сейчас вот, на всякий случай, чтобы успокоить людей, созданы отряды самообороны, которые работают в сумерки, то есть в самое самоубийственное время. Ввиду того, что у нас всё население - люди приезжие, да ещё после национальных вспышек, появились беженцы, приходится проводить большую работу - проверять каждого приезжающего, вести наблюдение за окрестностями. Попросили пограничников повнимательнее оглядывать наши воды и берег. И по всем данным, мы не имеем основания хотя бы в одном из четырнадцати трагических происшествий усматривать убийство. Прошу вопросы.

- Пока нет, - сказал Евгений. - Дела по каждому случаю в милиции нам обещали показать.

- Прошу Физика, - сказал Председатель.

- Я, собственно, преподаю в школе, - начал Физик, - и не думаю, что то, что я скажу, так уж наверняка возможно... Вы, вероятно, слышали об инфразвуке...

Сыщики коротко переглянулись. Им стоило труда просто кивнуть.

Ещё мальчишками они могли бы порассказать этому преподавателю физики такое об инфразвуке! И о карманном излучателе, который коротко назывался - ЛУСТ - "лучи страха". И о весьма страшных приключениях с этим ЛУСТом. Но это совсем отдельная история, хотя здесь в неё, кажется, поверили бы охотно...

Физик коротко описал принципы рождения инфразвука над бурными водами и сделал предположение, что причиной самоубийств мог бы стать так называемый "голос моря", который доходит сюда очень ослабленным и действует только на определённый тип психики, в частности - на молодых женщин...

- И на пожилых руководителей, - пробормотал Евгений.

- Что-что? - физик не разобрал.

- Я говорю, директор завода из этой схемы выпадает.

Сформулировано было резковато, и кто-то за столом крикнул. Но Евгений решил не исправлять впечатления. Уже в конце первого выступления он почувствовал, что его подталкивают. Вежливо, но твердо. Подсказывают, КАК надо думать.

- М-да, вы правы, - сказал Физик. - Директор завода в эту схему не уместается. Но это не по моей части, я просто имел в виду статистическое большинство. Не оставить без внимания пускай фантастическую, но возможность: изготовить аппарат и влиять... Излучатель, понимаете?

- Фантастика, конечно, - Евгений изобразил некоторую заинтересованность, - но учтём.

Он чуть не добавил, что ни волн, ни ветров таких, при которых возникает инфразвук, на мелкой Балтике сроду не было и быть не может, океан нужен. Но сдержался, только поглядел на Виктора, который молчал окаменело, чтоб не прыснуть.

Следующим был врач. Глядя в стол, он коротко сообщил, что лично проводил экспертизу всем погибшим и следов насилия ни на чьём теле не обнаружил. Наличие каких-либо промышленных токсинов в организмах погибших эксперт также отрицал и на этом закончил. Евгений отметил, что он производит впечатление человека совестливого.

Социолог пространно описал жилищные, производственные и прочие факторы городской жизни вообще и жизни города Нового в частности и свёл речь к тому, что по всем индексам, показателям и коэффициентам здесь никогда не было, нет и не может быть почвы для убийств. Как и возможности

тоже. Причин же для самоубийства он назвал множество и особо нажал на то, что с ростом жизненного уровня число самоубийств во всех развитых странах почему-то растёт. Парадокс цивилизации. Камень преткновения для целых социологических институтов. Говорил убеждённо и убедительно, нигде не пережал.

После Биолога, тоже школьного учителя, который назвал экологическую обстановку в городе и вокруг образцовой, высказался Председатель.

- Все здесь присутствующие подтвердят, я сам работал на нашем заводе на ответственной должности, и не один год, поэтому прежде всего болею душой за судьбу завода, потому что завод для города...

Он говорил длинно и патриотично, и речь его сводилась к тому, что ни в коем случае нельзя обвинять в самоубийствах заводские условия. Производство не уникальное, но чистое и новое, без утечек, без выбросов, без биологически активных веществ вообще, а забота о людях такая, что всему человечеству впору учиться. Но вот чей-то вражеский язык пустил слух о каких-то мстителях с Кавказа то ли из Средней Азии, и люди уже готовы в панике бежать из города, оголить производство, а это безумие, поэтому главная задача и огромнейшая просьба к товарищам Малюхину и Макову - проявить полную беспристрастность и объективность и доказать людям, что нет здесь никаких террористов, что производство не вредное, а причина самоубийств... Вот чёрт её знает, в чём она. За то, чтобы её найти, каким-то образом определить, город и завод не пожалеют никаких денег. Товарищи могут прямо сейчас, в этом узком молчаливом кругу, назвать любую сумму, которую сочтут разумной, и срок...

- Мы вас поняли, - вежливо перебил Евгений. - Сделаем всё честно, а разумную сумму вы определите сами. Попробуем уложиться в неделю.

Виктор кивнул.

- Я рад, что вы поняли и просьбу, и задачу, - сказал Председатель. - Но одно еще хочу заострить: в ваших руках - судьбы людей.

- Это как всегда, - ответил Евгений, и сыщики откланялись.

- Куда? - спросил Виктор на улице.

- Не представляю, - Евгений даже поёжился. - Веришь ли, вообще не знаю, что делать.

- Тогда в столовую! - Виктор засмеялся. - Помнишь, как говорил наш начлёт Тетерев?

- "Питание личного состава - вопрос немаловажный". Мудро. Если не считать, что полдня из заказанной недели мы только что потеряли.

- Не скажи, - Виктор скептически хохотнул. - Нам вполне прозрачно дали понять, что можем заломить любые тысячи, пролежать семь дней на пляже, но хоть из пальца, а выдать вполне определённые причины...

- Вплоть до цепи из четырнадцати случайностей.

- Вот-вот! Лишь бы убедительно.

- Ну что же, - Евгений выругался, что бывало с ним крайне редко. - Давай слетаю в Томск за ЛУСТом - тем более, что физик же идею подал! - подбросим в квартиру или, проще, в кабинет покойного директора и представим его сексуальным маньяком, который доводил молодых работниц до самоубийства и сам, предчувствуя разоблачение, покончил с собой...

- А что, похоже. Чего-то подобного от нас и ждут. Но где найти эту течь?..

- Но ведь кто-то же из них о ней знает!

- Председатель знает наверняка. Только он не сознается.

- Подумаем-ка за обедом,

Ели молча и размышляли под взглядами всех, кто был в столовой. По людям было видно, что сыщикам нет смысла притворяться искателями работы или кем-то там ещё.

- Оно и проще, - пробормотал Виктор. - Как в рукопашной.

Из столовой отправились в уютный сквер, один из многих, выбрали скамеечку под берёзкой и продолжили стратегическую беседу.

- Что придумал? - спросил Евгений.

- Надо начать с цеха подготовки, - сказал Виктор. - Чую, что течь, скорее всего, там. Я пойду туда, а ты поройся в документах: которые из погибших там работали? Уверен, что не меньше половины. А во-вторых, МОЙ источник информации...

- Настя? Она дала хоть какой-то повод?

- Нет, но я чую...

- Ладно, чуй дальше. И постарайся найти на заводе "розу ветров". А я здесь поищу, к синоптикам схожу.

- Зачем?

- А вот смотри, - Евгений достал блокнот и авторучку, начал набрасывать план. - Две параллельные долины идут к морю. Между ними увал. Вот завод, и здесь же долины соединены естественным провалом. Если ветер из заводской долины свернёт в городскую, он пройдёт, смотри, как раз по мосту и по тем кварталам, где жили погибшие. Если ветер здесь дует вот так, по долинам к морю, то все самоубийства оказываются ниже завода по ветру! Ты понял?

- В случае выброса какой-то химикат поражает людей с определённым типом психики! - Виктор даже стукнул друга кулаком по колену. - Холмс, я вас уважаю!

- Давай так пока и начнём, - Евгений поднялся. - А там по ходу скорректируемся. Надо ещё узнать, нет ли какой дряни выше завода по ручью - хранилища там, заводика секретного...

- Поищем, - Виктор тоже поднялся и не удержал зевка. - Но только, слышь, Евгешка, утомило меня такое умственное напряжение. Мне бы хоть полчаса, а? А то ведь вечером снова за информацией...

4.

Два следующих дня Евгений дымился от работы. Изучил документы всех погибших - и в милиции, и в отделе кадров завода, побывал в десяти осиротевших семьях, поговорил с подругами двух незамужних самоубийц, навестил синоптиков и санитарно-эпидемиологическую станцию. Всё шло по плану, хотя и без ожидаемого результата. Не удалось увидеться только с соседом из восьмой квартиры - с тем самым, который приглашал в патруль. Теперь он просто не попадался на глаза или не открывал дверь, когда казалось, что он дома.

Картина тринадцати несчастий складывалась пёстрая, неоднородная, не удавалось ухватиться за что-то общее для всех. Отдельные сигналы, намёки, предчувствия, связи рвались и крошились среди месива частных несовпадений, и всё время мешала одинокая фигура директора, которая более других не хотела встраиваться ни в какие схемы.

Виктор горел без дыма. Он практически не спал, разрываясь между плановыми поисками и, как он выражался, "обработкой частного источника информации".

Стал готовиться к сумеркам третий день. Удручённые сыщики сидели у окна в "своей" квартире и допивали остатки кофе. Литровая пластиковая фляжка мозолила глаза здесь же, на кухонном столе.

- Может, дёрнем с горя этот спирт, - Виктор вздохнул, - да спать ляжем?

- И к Насте не пойдёшь? - Евгений нашел в себе силы сощуриться лукаво.

- А не пойду. Устал.

- Обидится.

- Авось простит. Давай, Евгешка, снимем напругу!

И тут Евгений, глядевший сквозь занавеску за окно, схватил его руку.

- Крадётся, Мак! Дуй на балкон и наблюдай! Как войдёт в подъезд, прыгай на клумбу!

- Понял! - Виктор бросился из кухни.

Павел Коваль, муж погибшей Олэны из восьмой квартиры, поглядывая на их окна, пробирался к подъезду. Вот он открыл дверь и без стука затворил её за собой... Евгений услышал лёгкий шум распахиваемой балконной двери и мягкое приземление Виктора. Он тут же рванул дверь квартиры и, выходя на лестничную площадку, успел заметить, как метнулась обратно фигура Ковалья. Вслед за этим хлопнула, как мышеловка, дверь парадного и раздался радостный голос Виктора:

- Паша! Братан! А я иду, смотрю - ты, не ты!? Ну наконец-то, пошли!

Евгений бросился вниз:

- О, мужики, да вас тут двое! А я чуть не подох, тебя дожидаясь, даже встречать вышел! - Он толкнул Виктора в плечо. - Спирт выдыхается, зар-раза, ну, пошли по-быстрому! Паша! Мы работу кончили, не откажись, обмой с нами! И твою потерю помянем...

Ковалья взяли с двух сторон под руки, и он почувствовал, что хватка у агентов ЛЧС - профессиональная.

- Мужики, домой надо... Потом на работу сразу... То есть, в патруль...

- Паш-ша! - Его дружески, но тяжко хлопали по спине. - Патрули больше не нужны, Паша! Одна живём! Или ты нас не уважаешь? Да мы для вас как бобики целую неделю...

Когда от литра спирта, вынесенного Настей с завода для нужд частного сыска, осталась половина, Паша Коваль уже сам спрашивал новых друзей, до какой степени они его уважают и не пора ли сбегать в восьмую за огурчиками. Под присмотром друга Витюши он сходил за огурчиками и вернулся с открытой, едва початой банкой, весь в слезах, не в состоянии ничего сказать. Чтобы успокоить, наладили ему почти чистого, отчего дыхание пропало совсем, но вскоре, после огурчика, вернулось, и Паша заговорил.

- Мужики, - он тихо плакал, - вы во-от такие мужики!.. Вы ни-че-го мне не рассказали, и правильно. Зато я вам скажу... Все они... И Лёлька моя... Но я бы её сейчас простил, только бы она не умерала... Пускай бы хоть с Карапетом, хоть с кем, я бы - ничего... Ну если не могу больше, ну если вусмерть ухарлала, а тебе всё равно мало, да ложись ты хоть с Карапетом, хоть с кем, правильно? Да хоть со всеми сразу, правильно?.. Ох, пьяный я, мужики, спасибо вам, хорошие вы сыщики из Сибири, вашу мамочку... А Карапета я давить не буду, скажите ему...

Евгений, улыбаясь, поднял глаза на Виктора, который только что клевал носом, но вдруг выпрямился. И увидел на лице друга ужас открытия. Открытия страшного и ещё не до конца понятого. Догадки, близкой к открытию.

- Что такое, Мак?

- Паша! - Виктор не хотел больше спать, он тряс засыпающего Ковалья. - Что ты сказал, Паша?!

Они все были, как твоя Олэна?!

- Лёлька моя, - сквозь слюни проскулил Коваль. - Харлайся с кем хочешь, только живи, я прощу...

- Ты понял? - Виктор вскочил. - Ты же сам рассказывал! И наша Гульнара ТАМ была, у родственников мужа! Понял? Клади этого спать, беги к Врачу, пытай его, гада, но возьми правду, Женька! Я - к Насте, она ведь тоже... Как же я сразу... Не успею - повешусь! Пятнадцатым буду, нет, шестнадцатым...

Виктор был трезв, как хрустальная ваза.

5.

- Борис Борисович, до конца работы - полчаса. Прошу вас собрать весь народ прямо сейчас в цехе подготовки.

Главный инженер задержал руку Евгения в своей:

- Неужели получилось?

- Абсолютно. Решаюсь вас уверить: потеряете ещё только одного человека, но - живём.

- Увезёте Настю, - Робин улыбнулся не без сожаления. - Хорошего инженера увезёте. А я-то надеялся и вас оставить.

- Зато остальных сохраним.

- Верю вам, - Робин вернулся к столу и протянул руку к селектору. - Итак, стопроцентное самоубийство?

- Безоговорочно. Обо всех мотивах - на месте.

- А где же Виктор Павлович?

- Они с Настей уже на месте.

- Ну, с Богом...

Главный инженер включил трансляцию и объявил всему заводу немедленное собрание.

- Евгений Владимирович, - он отключил селектор, - а в горсовете знают?

- Разумеется.

Через четверть часа в громадное помещение цеха подготовки набилось тысячи три народу. На самом вершине, на мостках, стояли оба сыщика, Настя, Робин, Врач из экспертной комиссии и примчавшийся в последнюю минуту Председатель горсовета. Он взобрался на мостки, когда Робин уже объявил, о чём пойдёт речь, и отдал Евгению микрофон. Председатель что-то негромко сказал Робину, тот пожал плечами, за него ответил Виктор, который крепко держал за руку Настю. Председатель нахмурился, взгляд его метнулся по сторонам, он качнулся к Врачу с намерением что-то сказать, но Евгений уже начал говорить.

- Вот на этом месте пять дней назад закончилась жизнь вашего директора. Как это произошло, скажу потом. Сначала о тех четырнадцати ваших работницах, которые были доведены до самоубийства.

По цеху прокатился говор.

- Я сказал - о четырнадцати, хотя погибло тринадцать, - продолжал Евгений. - Я не оговорился. Четырнадцатая перед вами, - он кивнул в сторону Насти. - Она уедет с нами, и больше на вашем заводе не будет ТАКИХ самоубийств. Только четырнадцать их было среди вас. Все они приехали сюда недавно, у всех была одна болезнь, которая и привела их к такому исходу. Правда, мы надеемся, что последнюю трагедию сумеем отклонить - у нас в Томске сильная медицина.

- Что за болезнь? - крикнули снизу.

- Меня просили не называть, - Евгений кивнул на Настю, - и я не назову. Я скажу только о причине, это я обязан сделать... За полгода до трагедии все четырнадцать пострадавших женщин провели не менее недели в зоне так называемого "чернобыльского следа", то есть примерно в одно время имели дело с примерно одинаковым количеством радиации. Это единственный фактор, который объединяет все самоубийства, и нам удалось доказать, что дело только в нём. - Евгений кивнул на Врача. - Вот доктор может подтвердить, а я уверяю вас, что в заводском отделе кадров нет больше ни одной карточки с этим чёрным адресом. Вы сейчас думаете: как же так, ведь в этой зоне побывали, да и поныне живут, многие тысячи. Да. Но никто из этих многих больше не попал на ваш завод. И не дай Бог им сюда попасть. Ваше производство действительно очень чистое, честь и слава вашему начальству за такую заботу. Но нет на свете абсолютно герметичных производств, и потому нет гарантии, что какие-то микроскопические, для всех безвредные добавки в вашем воздухе или в воде не вызывают у облучённых эту болезнь.

- Так ОНИ всё знали? - крикнули снизу.

- Да! - Евгений поглядел на Председателя. - Ваше городское руководство и его экспертная комиссия не глупее двух начинающих сыщиков. Они сразу же сделали анализ по медицинским карточкам и точно знали, откуда дует ветер.

- Мы не знали симптомов! - выкрикнул Председатель.

- Да, - согласился Евгений, - они не знали симптомов болезни, а женщины стыдились об этом говорить, и происходило всё очень уж быстро. Поэтому городские власти решили ПРОСТО скрыть от народа свой анализ и ПРОСТО дождаться, пока заражённые вымрут.

- А директор? - спросили снизу.

- Ваш директор был человеком благородным, но слишком дисциплинированным. Ему дали административное поручение молчать, и он молчал. Пока совесть не загрызла. Тогда пришел сюда, открыл вот это ограждение - и все.

Виктор протянул руку, и Евгений отдал ему микрофон.

- Нам тут предлагали большие деньги, - сказал Виктор, - если мы докажем самоубийство и успокоим вас. Правда, причину хотели другую, из каких-то непонятных соображений. Мы работу выполнили, но вас это, конечно, не успокоит, если у вас есть совесть. У нас она тоже есть... Мы не возьмём этот высокий гонорар, мы просим перечислить его Лиге частного сыска, в качестве залога честности.

6.

За окном качался Урал. Грязно дымили трубы металлургии, ещё демидовской постройки. Привычно для этих мест моросил дождик.

- Зря ты отказался от гонорара, - говорил Евгений. - Во-первых, ты теперь семейный. Во-вторых, отказываться от заработанного непрофессионально. А в-третьих, видел бы ты, каково мне досталось уламывать Врача в свидетели: "Я слово давал... Врачебная тайна..."

- Загнуть бы салазки такому "Гиппократу", - проворчал Виктор. - А за гонорар не беспокойся: когда Лига получит эти тысячи, она и нас не забудет, там же все свои ребята, они же понимают.

Настя засмеялась и прильнула к Виктору.

- Всем бы этим гиппократам-бюрократам мою болезнь...

Евгений с Виктором засмеялись тоже.

- А у вас, правда, это лечат? - спросила Настя.

- Да чёрт его знает, - честный Виктор пожал плечами.

- У нас всё лечат, - успокоил Евгений. - Найдём, мы же сыщики. А может, в нашем климате само пройдет. Ты сейчас так же мучаешься?

- Ах, Евгеша, - она ещё теснее прижалась к Виктору. - Хоть Витя и силен в этом деле, но всё равно - постоянно хочется. Если сутки без этого, можно с ума сойти. Хоть в петлю. Если отбросить культуру, силу воли и прочее человеческое, я могла бы круглые сутки. Представляешь?

- С трудом, - Евгений смущённо крякнул и поднялся. - Ну, я пойду, постою там, погуляю... Позовёте потом... Только запереться не забудьте.

Он задвинул за собой дверь купе и пробормотал:

- Неужто и на этот раз не обойдётся?

Что-то подсказывало ему, что и у второй пары, им созданной, не всё будет ладно. Но ведь раз на раз не приходится - не эта ли надежда помогала до сих пор уцелеть человечеству?

Владимир Шкаликков

КРЕСТИК

Через полчаса будет полночь. Я выжил.

Каждый раз, когда сажусь за эти записи, первой приходит мысль: зачем я их делаю? И ответ всегда один: чтобы разобраться, почему сегодня всё идёт именно так.

Я ведь не регулярно сажусь, а только когда невезенье будто с цепи срывается.

Дни, как и даже годы, у меня идут через один: удачный - неудачный. Просто масштаб разный. В один год бросаешь институт, в другой заканчиваешь, в один день всё удаётся, в другой - сплошное выживание.

Но думаю над ними с пером только в особых случаях. Как сегодня.

Я так устроен: лучше думается "за пером". Оно дисциплинирует мысли.

Итак, с самого утра.

08.30. Я дошёл от дома пешком до площади перед мэрией и уже видел автобусную остановку. Но путь загромождала небольшая толпа. Человек двадцать студенческого возраста, все в белых накидках. На груди - трёхлепестковый знак радиации, на спине - буквы "ОПР". У всех в руках - связки воздушных шариков - тоже со знаком радиации. Окружены милицией. Дюжие ребята в касках и с автоматами отнимают у этих студентов их белые шарики, рвут с них накидки. Студенты кричат: "Мы такие же охранники, как вы, мы вас же охраняем!" И тычут пальцами в свои буквы: "Охрана природного равновесия"! Те отвечают: "Нет такой организации. А нас охранять не надо. Расходитесь, не мешайте движению". Студенты кричат: "Мы просто выпустим шарики перед мэрией и сами уйдём!" Им отвечают: "Здесь не положено, будем штрафовать". И пытаются отобрать шарики. Один студент выпускает шарики в небо. Ему заламывают руки и тащат к автобусу. Девушки начинают выпускать шарики. Их вяжут тоже.

Я вступился. Мне сказали: "С ними хочешь? Садись в автобус".

Я представил, как пытаюсь разбросать этих грубиянов, а вон из той подъезжающей спецмашины выпрыгивает ещё взвод в касках, и меня везут в кутузку, надолго, до завтрашнего утра, а мне сегодня в 18.20 надо быть в "Ромашке". И я ответил им: "Не хочу". "Тогда проходи". И я пошёл себе на остановку. А одна из девиц кинула в спину: "Мужчина, вы испугались?" Я не оглянулся. Я подумал: "Ещё как". Но слово "мужчина" меня задело. Ехать расхотелось.

Время ещё было. Я решил пойти пешком, хотя бы до рынка.

Пешком ходить люблю. Помогает поддерживать форму. Если утром делать гимнастику и ходить побольше пешком, то можно прожить сто четыре года, как один знаменитый художник. Я шёл и размышлял об этом художнике. У него была сидячая работа. А я рисовать почти не умею. И работы у меня днём — никакой. Поэтому свободен до 18.20, а потом - как получится. То есть, получится, конечно. Почему же иначе?

09.10. Я дошёл до рынка и только там сообразил, что не надо было приходить так рано. В это время торговые люди только открывают свои контейнеры и начинают раскладывать товар. И торопиться им некуда. Особенно тем, у кого цветы. Потому что большинство любителей цветов приходят к ним после обеда.

Я почему-то вспомнил, как возле почты меня обогнали два бравых мужика. Один тащил под мышкой костыль, у другого в руке была табуретка. Они быстренько порылись в каменной вазе на парашюте и достали оттуда две пластмассовые тарелочки. Один повис на костыле справа от почтового крыльца, второй подвернул ногу и сел на табуретку с другой стороны, и оба с самым печальным видом протянули ко мне свои тарелочки. А ведь только что оживлённо беседовали. Я подумал, что, наверно, потому цветы в этих вазах и вянут так быстро. И сказал об этом им. Они ответили: "Ты проходи, ладно? Не мешай, ладно?"

У рынка висел на костыле ещё один молодец. Морда одутловатая, но умильная. Видно, корпорация. Одного задень - все сбегутся, куда убогость денется.

Там же у хлебного магазинчика стояла совсем пожилая гражданка, одетая бедно, но опрятно. Без тарелочки. Руки сцеплены, смотрит вниз. Я подумал: может, ждёт кого. Но когда поравнялся с ней, заметил, КАК взглянула. И сразу опустила глаза. Я остановился. Она взглянула ещё раз, так же коротко. И сказала: "Только на хлеб". Я полез в карман. Она сказала: "Купите мне серого". Оглянулась на молодца с костылём и вошла со мной. Я купил хлеба, пряников, конфет, масла, ещё чего-то, чтобы взять с собой на кладбище, сложил всё в два пакета, и мы вышли вместе. Она попросила: "Проводите чуточку, пожалуйста, вон туда".

Когда проходили мимо бандита с костылём, он пробормотал: "Бабка, не стой здесь". Когда я повернулся, он протянул тарелочку и добавил: "Мужик, ты понял?" Я кивнул и не подал ему. Когда отошли до угла, женщина сказала: "Как жить..." Я чувствовал, что должен перед ней извиниться, но не понимал, за что. Я сказал: "Простите", отдал ей один из пакетов и ушёл.

Я подумал, что у кладбища, наверно, цветами уже торгуют, и двинулся на остановку восьмого автобуса. До неё было с километр. Я шёл медленно, мне было пока некуда спешить. Я думал о нищете. И о бессилии. О нищете этих брошенных старых людей и о своём бессилии им помочь.

10.02. На автобусной остановке подошёл парень лет двадцати и предложил купить нательный крестик. Я сказал, что не ношу. Подошли ещё двое. Посоветовали всё же купить. Начали теснить за газетный киоск. Ох, как я ненавижу драки!.. А вид у меня, вероятно, такой, что хочется обидеть.

Тут подошла "восьмёрка". Я сделал обманное движение, прорвал теснителей и успел запрыгнуть в дверь. Когда так неудачно начинается день, почти невозможно преодолеть neprуху до вечера. А я должен...

10.50. До кладбища доехал без приключений. Даже слегка вздремнул. Цветами у ворот и в самом деле уже торговали. Последними осенними астрами из соседней деревни и большим выбором искусственных. Одна из торгующих старушек походила на ту нищенку у хлебного магазина. Я купил у неё букетик белых астрочек, поместил его в пакет и двинулся к четыреста семьдесят девятому кварталу. Там положу астрочки к серому камню с портретиком мамы.

Шёл я медленно и думал о законе парности. Когда-то меня сильно поразил рассказ Доктора (потому и запомнилось), что схожие несчастные случаи происходят парами, с небольшой разницей во времени. Я много раз замечал этому подтверждение. А однажды (или лучше говорить - дважды?) мы с Молекулой испытали это на себе.

Мама поднимала нас с братом одна, все лишения перенесла мужественно, а когда я начал реально помогать, и ей стало можно расслабиться, усталое сердце тихо остановилось. Это произошло ровно четыре года назад.

А через день после мамы погибли родители Молекулы. Случайно оказались на месте взрыва, подстроенного какими-то террористами против какого-то богача. Только не в Томске, а в Красноярске. И вот сейчас Молекула едет в этот Красноярск, остановится там у своих родственников, послезавтра посетит кладбище и в тот же день поедет обратно.

Надеюсь до её приезда продержаться без особых приключений. Насколько мне заметно, закон парности обратной силы не имеет. Да может быть, он к нам и отношения не имеет.

11.25. Начало моросить. Но я всё же навестил по пути могилу ещё одной семейной четы. Оба они были медики: он - врач, она - фельдшер. Оба - фронтовики, ещё с Великой Отечественной. Владимир Константинович и Наталья Александровна. Это они называли мою Риту - Молекулой. Мы дружили семьями. У них не было родных, доживали на пенсии бедно, однако просить у магазина себе не позволяли. Мы, молодые, помогали, чем могли. Особенно когда умер Доктор. Но делать это приходилось очень осторожно: Вдова была так горда, что скорее умерла бы с голоду, чем приняла подачку, даже от нас. Умерла она через год после мужа, от инсульта, нам удалось подхоронить её к Доктору, как она хотела: "В тесноте, да не в обиде". Обошлось, кстати, не так уж и дорого. Но это - другая история.

Я отгрёб от их могилы опавшие листья, возложил половину букетика, поправил лавочку, посидел, посыпал конфет и печенья и понёс остальное к своим.

По пути - овраг, на его склонах хоронят безымянных покойников. Одинаковые дощатые столбики, некрашенные, с жестяными номерами. Очень редко среди них выглядывают из бурьяна небольшие обелиски - железные или каменные: это кого-то из безымянных отыскали свои. Вон у одного такого надгробья группа молодых детдомовского вида. Они и есть детдомовцы, я знаю.

А вот ручей на дне оврага, тут не хоронят, и растут осины. Под одним деревом прыгают и лают кладбищенские собаки, а на ветке, свесив лапы, отдыхает кошка. Обычная мирная жизнь: смерть в порядке вещей.

11.40. Дошёл до своих. На них кладбище кончается. Дальше - забор, за ним - поле с кукурузой. А в другую сторону - лес и овраг. Скоро это кладбище закроют, нам с Молекулой придётся лежать далеко от города, на бывшем артиллерийском полигоне, среди осколков. Какая разница, где гнить плоти... Надеюсь, это ещё не скоро.

Ко мне на кладбище не приходят высокие мысли. Приходят низкие. Земля, перегной, бурьян, осенняя морось... "Не жалею, не зову, не плачу...".

Впрочем, я верю в бессмертие души. Иначе Боженьке не стоило её создавать. Даже больше: я уверен в бессмертии души. Поэтому смерти не боюсь.

Забавно: смерти не боюсь, а трусость демонстрирую всем сегодня. Утешаюсь тем, что трусость мудрее храбрости.

Ничего отгребать от маминной могилы не пришлось. Большие деревья от этого места далеко, лозинки-рябинки, которые я посадил весной, много листвы не нароняли, а бурьян мы выдирали всё лето. Только соседи спёрли несколько булыжников, которыми я обложил холмик. Он проваливался уже дважды, ставить что-то капитальное рано, вот я и насобираю на дороге. Нет же, даже тут воруют.

Люди без святого, без стыда - хуже скотов. Эта могучая мысль посетила меня, когда ходил по дороге и собирал новые булыжники, благо их много. Удобное место досталось маме: хоть и плохая дорога, зато рядом, и земли для холмика на краю кладбища всегда легко накопать. Я отыскал в кустах свою лопату без черенка, завернутую в негниющую синтетическую мешковину, и наковырял

ещё земли для холмика. Сходил к ручью, вымыл руки. Посидел у обелиска. Уже пришло время перекусить, и я поел, а остатки рассыпал для птичек, которые отважно прыгали рядом и заглядывали в рот. Всем надо подать милостыню. Кто бы подал мне? Ну, хотя бы вернул наших с Молекулой безвинных родителей. Боженька! Акбар ты или не акбар?

Вот увидимся, обязательно спрошу.

12.40. На обратном пути меня окликнули с безымянного захоронения: "Мужик! Выпей с нами за упокой души".

Эти тоже по виду - детдомовцы. Только что установили дешёвый железный обелиск. На простой нержавеющей пластинке - всего одно слово: "СЛАВИК". Никаких дат. И так ясно, что умер молодым.

Пили они водку. Я её не люблю. Но вдруг вспомнилось, как на похоронах мамы водка показалась сладкой.

Сейчас водка сладкой не показалась. Она была низкого качества и сразу икнулась сивухой. Еды у меня уже не было, пришлось закусить ломтиком плавленого сырка из их разодранного пакетика.

Я спросил: "Славику ТАМ лучше?" Они переглянулись и дружно кивнули. Один сказал: "Он был невезучий".

Оказались приличные ребята, почти непьющие. После детдома парней не взяли в армию по здоровью, а девочка вышла замуж за одного из них. Сейчас работают на стройке - где ж ещё работать без образования и без специальности. Живут в малосемейке - детдомовским там выделили целый этаж, это хорошо, по-человечески, по-семейному. Славика зарезали пьяные хулиганы, ни за что, просто не понравился.

В общем, поговорили хорошо, обменялись зачем-то адресами.

13.55. Я шел по склону кладбищенского оврага и думал, что есть ещё вполне приличные люди, и ради этого стоит жить. Рожать детей и воспитывать из них подобных себе - людей, а не скотов. Я думал, что люди созданы Природой для самопознания. То есть, Природа с нашей помощью познаёт сама себя. Она и есть Бог... И ещё я думал, что Россия - это дерево с крепкими корнями, но без кроны: не успевает листва нарасти, как её обрезают, ломают, выжигают, травят - чтобы и корни загубить. Не мог только додуматься, как назвать тех, кто её губит... В общем, теперь мысли у меня были высокие, как всегда на выходе с кладбища.

Однако додумать не дали собаки. Те самые, что сторожили кошку на дереве. Теперь окружили меня и попытались растерзать. Я раньше и слышал о таких стаях, и даже видел страшное о них кино, поэтому всегда собак боялся. И палку теперь имел при себе. А может быть, они из-за палки и напали... Отступал в сторону далёких ворот, отмахивался, они не отставали.

Выручили те три парня и девчонка, с которыми я пил на могиле Славика. Шли, оказывается следом. Сразу выделили жоака и пальнули ему в морду из газового пистолета. Тварь завизжала и завертелась, а стая разбежалась.

У автобуса я с ребятами расстался, потому что время ещё позволяло пройти пешком, а настроение тому способствовало.

Вообще, можно ли назвать настроением такое состояние, когда ты ни на что до 18.20 не настроен?

15.00. Я шёл, пока не надоело. При любом тупом занятии наступает момент, когда оно надоедает. Обычно думаю о чём-нибудь, когда иду, а тут разлилась какая-то апатия. Я брёл под морозящим небом, как плыл под водой. Возникали встречные существа и машины, раздавались какие-то звуки, подувало слабеньким ветерком. Или не подувало, не помню.

Добрёл до какой-то троллейбусной остановки и замер.

- Мужик, купи крестик. Освящённый.

Тот же самый тип с тем же крестиком. Нет, это уже рок какой-то. Вон и его сопровождающие. Группа поддержки. И народу на остановке нет.

Я бросился бежать. Если они пьющие - не догонят.

Я пробежал до следующей остановки, они отстали на полпути. Зато троллейбус как раз догнал меня. Только оказалось, что удирал я не в ту сторону, куда собирался ехать. Ладно, лишь бы подальше от этих идиотов.

15.30. Доехал до конечной и не стал выходить: всё равно мне обратно. Подошла кондукторша: "Берите билет". "Я же взял". "Но вы ведь обратно поедете".

Рассчитался вторично. Долго стояли на конечной. Наконец поехали.

На той остановке, где я удирал, трое с крестиком ввалились в троллейбус. Я их прозевал и не успел выскочить. Они сразу подсели и снова: "Купи". Это уже стало для них развлечением, что ли? Крестик был белого металла, на такой же цепочке и, в общем, совсем не дорого. Я чуть не сказал: "Чёрт с вами" и молча купил. "Надень". Я надел, спрятал его на тело. "Правильно, давно бы так. Ну, Бог тебе в помощь". И пошли к двери. На ведро пива заработали. Кондукторша стала требовать, чтобы рассчитались. Они начали отшучиваться, потом дошло до грубости. Она позвала водителя и бросилась на них. Я встал - разнять. Водитель принял меня за их сообщника. Все вцепились друг в друга. В троллейбусе больше никого. Безвыходная ситуация.

Рядом остановилась милицейская машина, засигналила: троллейбус торчит между остановками, в салоне потасовка. Застучали в дверь. Водитель прорвался в кабину, открыл.

- Выходи по одному!

Я помог вытолкнуть парней, а он вытолкнул меня и тут же закрыл дверь. Я вываливался и думал, что всё пропало, прощай визит в "Ромашку". Однако оказалось, что каждый из троих милиционеров держит по одному парню, а меня держать некому.

Я снова бросился бежать: помогай, крестик освящённый!

И он помог. Я скрылся между домами, за кустами и гаражами. Дальше была роща, за рощей областная больница и снова роща. Свобода. Надо быть осторожнее, осталось полтора часа.

В рощах нет скамеек. Там сыро и капает с полуголых деревьев. Я побродил, пошуршал листьями и решил досидеть остаток времени в больнице. Уже наступила усталость: поубегай-ка целый день.

17.55. Просидел час в больнице, рядом с приёмным покоем. Поистине, самое безопасное место. Хотя и жутковатое. Насмотреться можно не меньше, чем в боевике по телевизору. Только немного напрячь воображение.

Быстро везут мужика с высоким острым животом. Не тот "острый живот", что пишут в диагнозе, а буквально - смотрит вершиной в потолок. Врач на бегу заглядывает под простыню, и я замечаю рукоятку ножа, засаженного в солнечное сплетение. Но раз везут на операцию, значит, живой! Скольких он сам положил?

Выводят из смотрового кабинета крепкую бабульку и говорят роскошно одетой дочери: "Ничего особенного. Дайте много кипячёной воды и впредь присматривайте, чтоб не ела слишком много и чего попало". Та громко говорит в пространство: "У нас не бывает "чего попало"! Это, может, вы едите "чего попало"! Я найду на вас управу!" А врач уже занимается другой старушкой, которая лежит на каталке под рваной голубой кофтой, без признаков жизни.

А вот знакомый костыль! Подмышечная подушка обмотана красной тряпкой, а рукоятка - зелёной изолентой. Именно с этим костылём бежал бодрый нищий у почты, а потом повис на нём и сказал мне: "Ты проходи, ладно?" Интересно, кто же уложил его в каталку: прохожие или коллеги по бизнесу? Может, тот здоровяк с "острым животом"?

Спать хочется.

18.10. Я не успеваю, я опаздываю в "Ромашку"! Стоял на остановке, рассчитывал за 15 минут добраться до цели на троллейбусе, но не учёл, что уже "час пик", все едут с работы. Меня толкнули, я неловко посторонился, ударили сзади, я оглянулся, кое-как отклонился от удара в лицо, кто-то в меня вцепился, всё это с руганью, я вырвался, троллейбус пошёл, в этом обвинили меня, и пришлось убежать через улицу. А там - два бесконечных и непрерывных потока машин, да ещё с завихрениями. В общем, жив-то я до той стороны добрался, но из нескольких такси выскочили водители и взяли меня в окружение. Шутки стали совсем плохи, я взмолился: "Братцы, да что же за невезучий день! Да помогите же хоть вы! В "Ромашку" надо вот так, - показал, как, - а на меня все бросаются! Чуть не убили на остановке!" Один спросил: "Что ещё за "Ромашка", почему не знаю?" Другие засмеялись: как это, чтоб таксист не знал города, и объяснили, куда ехать. И он повёз меня. Кружным путём, потому что здесь было не развернуться.

По пути, когда стало просторнее, он подхватил ещё трёх пассажиров. Мужского пола и спортивного вида. Они сели сзади. Это было последнее приключение, но его я уже ждал.

На подъезде к "Ромашке" был километровый участок промзоны, довольно безлюдный. Там трое попросили остановиться и приставили нам к горлу ножи: "Жизнь или кошелёк!" Я чуть не заплакал от обиды. В отчаянии сделал обманное движение - пальцем легонько отодвинул нож от горла, бормоча: "Всё-всё, достаю", а сам ударил куда-то назад, распахнул дверцу и сделал длинный кувырок на мокрый асфальт.

За мной, может быть, и погнались, но я не оглядывался. Я бежал, как никогда не бегал. Свернул в ближайший переулок между гаражами, попетлял между ними, перемахнул через какое-то ограждение и вовремя, ровно в 18.20 оказался во дворе "Ромашки".

Средняя группа играла в мокром песке и была вполне довольна погодой. Их нарочно выводят гулять к этому времени, чтобы родители не пачкали пол в тесной раздевалке.

Пашка играл, как всегда, с бульдозером и со "своей Лизой". Он расчищал дорожку, а Лизина кукла по ней гуляла. Они дружат уже много лет.

Он сказал: "Подождём, когда за Лизой придут". Я был не против, я уже не спешил.

Лиза спросила: "А где ваша мама?"

Ну да, конечно, он рассказал ей, что мама уехала в гости.

Я сказал, что мама уехала в город Красноярск.

- Это далеко? А когда она приедет? А мы не были в городе Красноярске. А почему у вас на спине куртка порезана? И выпачкана...

Так мы беседовали ещё минут пять. Это было терпимо, потому что занятие у меня начинается в 18.45, а это - через дорогу.

Мы перешли через дорогу в 18.40, вошли в знакомую Пашке раздевалку. Все, кто там был, говорили: "Здравствуйте, сэнсэй", и сын отвечал: "Привет". Он давно хорошо выговаривает все звуки.

И координация у него - наследственная. Вон как славно скачет в "челночке" вместе со взрослыми: "бой с тенью".

Я смотрел на них и думал: "Забавная страсть у людей к экзотике. Занимаются русским боксом, а тренера называют по-японски. И Пашка - туда же. Впрочем, мне это нравится". И ещё я думал, что куртку придётся покупать новую, порез во всю спину...

23.58. Ну так что, правильно я себя сегодня вёл или надо было как-нибудь иначе? Спортивная этика не позволяет пускать кулаки в ход на улице. Я учу своих парней защищать слабых и Родину, наводить порядок, умирять буйных - в общем, отстаивать справедливость. Сам-то я много её сегодня отстаивал? Увы, увы...

А что я мог сделать? Кто забрал бы Пашку из садика, попади я в переделку?

И так будет ещё целых два дня, пока нет нашей мамы. Увы, увы...

Но ведь будет и *потом*. Не зря же я крестом обзавёлся. Освящённым...

15.03.07г.

Владимир Шкаликов

ПУСТЫЕ СЛОВА

В заводском парткоме звонка ждали. Через минуту в проходной появился подтянутый секретарь. Он провёл Игнатия Данилыча на территорию, принял пальто возле рогатой парткомовской вешалки и предупредительно расписался в лекторской путёвке, которую полагалось потом сдать в общество "Знание" и получить за выступление пять рублей - по низшей ставке, но всё прибавка к пенсии.

- У вас тема...- прочёл парторг. - "Всё для человека, всё во имя человека". - Пошутил фразой из анекдота: - Мы даже знаем этого человека. - И вздохнул уже всерьёз. - Ох, эти общие названия... Кто их только выдумывает...Вы не обижайтесь, это не в ваш лично адрес, но мне кажется, это всё равно что стоять перед людьми с зеркалом и говорить: "Вот, смотрите, какова жизнь".

- А что же, - возразил Игнатий Данилыч, - бывает, люди просто не замечают...

- Конструкторам бы что-нибудь поконкретнее, - уточнил секретарь. - Эти подкованные, всё замечают.

- Как, почему конструкторам? - Игнатий Данилыч заволновался. - Меня к рабочим посылали...

- К рабочим пошёл товарищ из автоинспекции, - объяснил секретарь. - Читали в последнем номере газеты: "Усилить профилактику дорожно-транспортного травматизма"?

- Так что же, - Игнатий Данилыч не сдавался, - инженеры правил не нарушают?

- Инженеров гаишники вчера агитировали, - секретарь улыбнулся терпеливо. - А у вас, я слышал, богатый опыт... Вы просто расскажите ребятам, как раньше трудно жилось, примеры приведите из своей жизни... Это лучше всякой агитации.

- А возраст какой? - спросил Игнатий Данилыч угнетённо.

- Да в самый раз! Не старше тридцати.

В расписанный по последнему слову дизайна зал экспериментально-конструкторского бюро Игнатий Данилыч входил с опаской. Практик из простых рабочих, без высшего образования, он чувствовал себя среди этой дипломированной молодёжи полураздетым. Начитанные и радионаслышанные, они всегда готовы сыпануть лектора неожиданным вопросом. Игнатию Данилычу даже казалось, что в этих вопросиках они видят всю соль и терпят лекцию исключительно ради последующего зубоскальства. И никогда не угадаешь, что они на этот раз придумают. Рабочая же аудитория философских и прочих подвохов не устраивала, и в любой цех Игнатий Данилыч входил как домой, заранее зная, на какие вопросы придётся отвечать. Поэтому сейчас, входя в дверь с табличкой "ЭКБ", он ощутил желание поправить галстук и поправить остатки волос, отметил, что брюки пузыряются на коленях, ботинки пора менять, левый рукав рубахи истрепался о часы, а ремешок на часах лоснится и потерял форму и цвет. Да ещё эта новая лекция, которую ему навязали читать по бумажке, без подготовки, ссылаясь на то, что, мол, надо для плана, а текст лёгкий. И он, уважая план, взялся попробовать...

Встретили приветливо, как своего. Какой-то шустрый очкарик принял из рук гостя портфель, сунул его куда-то между приборами, быстренько освободил свой стол от паяльника и каких-то разноцветных панелек, пододвинул стул.

- У нас традиция - разговаривать сидя.

Остальные отложили паяльники и карандаши, трое в углу высунулись из-за чертёжных досок. Обстановка создавалась располагающая. Они даже не загудели, когда начальник бюро назвал тему лекции.

Присматриваясь к аудитории, привыкая к лицам, Игнатий Данилыч поговорил немного о значении своей лекции и взялся за портфель. Выложил оттуда красную папку с лекцией, вернул портфель на прежнее место, развязал шёлковые тесёмки с узелками на концах, извлёк текст и, отвернув титульный лист, увидел под ним... чистую бумагу. "Как попал сюда чистый лист? - подумал Игнатий Данилыч. - Давеча просматривал - не было его". Он открыл следующую страницу и - увидел, что и она чиста! Игнатия Данилыча охватил озноб: на странице, у верхнего среза, значилось - "2".

Не слыша своего голоса, который для заполнения паузы произносил какие-то необязательные слова, лектор в безграничном смятении листал пронумерованную пачку чистой бумаги. Где-то попадались какие-то даты и цифры, несколько известных в области имён, но всё это было отпечатано в разных местах, как будто кто-то стёр или вытравил остальную текст, и теперь ничего не связано. И будто в издёвку сохранилась почти целиком последняя фраза: "В заключение, товарищи, разрешите выразить твёрдую уверенность, что мы с вами... ..сумеем преодолеть все трудности!"

Совершенно растерявшись, Игнатий Данилыч молча перечитывал эти слова уже шестой раз, а в голове хихикал, мешая сосредоточиться, анекдот о престарелом профессоре: "Снится мне, что читаю лекцию студентам. Просыпаюсь и что же: я действительно читаю лекцию..." Игнатий Данилыч незаметно куснул себя за язык. Нет, он не спал. Чертовщина какая-то.

Инженеры вежливо ждали. Пахло канифолью.

- Секунду! - попросил Игнатий Данилыч и зачем-то заглянул за последний лист - инстинктивная бессмыслица всякого потерявшего. И новая волна озноба покрыла всё его тело "гусиной кожей". На дне папки РОССЫПЬЮ лежала вся лекция. Неуловимо тонкие, хрупкие, невесомые буквы были свалены многотысячной приплюснутой кучей, сбившейся в угол бумаговместителя. Казалось, они готовы улететь при малейшем движении воздуха. Игнатий Данилыч задержал дыхание и попытался ухватить буквы задрожавшими корявыми пальцами слесаря. Но пальцы взяли пустоту.

- А можно вопрос, пока не начали? - раздался звонкий молодой голос.

Игнатий Данилыч оторвал глаза от чуда и увидел очкарика, уступившего ему стол. Кивнул очкарику, отгоняя движением головы разноцветные круги перед глазами.

- Когда я учился в политехническом институте, - начал тот, - нам говорили, что в первые месяцы войны сюда, в Томск, были эвакуированы тридцать восемь промышленных предприятий. А прочитать об этом как-то нигде не пришлось. Не могли бы вы что-нибудь присоветовать?

Это был спасательный круг. Кто-кто, а уж Игнатий Данилыч знал историю эвакуации досконально, притом из первых рук. Более того, он собственными руками делал эту историю!

- Я принимал участие в эвакуации, - сказал он осторожно. - Могу рассказать обо всём безо всяких источников. Но вам ведь интересно о вашем заводе, а мы все сорок лет - на манометровом...

- Это ничего! - воскликнула раскосенькая в цветастой кофточке. - Я год работала на манометровом, а ничего не знаю...

- Но тема лекции...

- Это тоже пустяки, - успокоил очкарик. - Пусть для нашего узкого круга лекция называется: "Вклад города Томска в победу над фашизмом".

- Даёшь! - сказала маленькая блондинка, за чей стол очкарик пересел, устраивая лектора. - Это ведь живая история! Даёшь, пожалуйста...

- А я - живой экспонат, - Игнатий Данилыч усмехнулся. Круги у него перед глазами уже исчезли, озноб кончился. - Только вот вымираем мы быстро. Особенно фронтовики.

- Мемуары вам надо оставлять, - сказал кто-то из-за кульмана.

- Мы ведь писатели неважные, - вздохнул Игнатий Данилыч. - Я, как на пенсию проводили, уже год читаю лекции о рабочей гордости. - Он опасливо потрогал красную папку. - Там и про историю приходится говорить... Ну, слушайте, раз интересно. Морозы тогда завернули под пятьдесят. Мы и сейчас не особо их любим, а тогда были только что из Москвы, кто в чём утёк...

...Через час, провожаемый аплодисментами, с развязанной красной папкой в одной руке и расстёгнутым портфелем в другой, он вошёл в кабинет начальника бюро.

- Ну, как? Поднялся тот из-за стола. - Довольны аудиторией?

- Вот как доволен! - Игнатий Данилыч заулыбался. - Славные у вас ребята. Приглашали ещё раз прийти, дорассказать.

- Вот и приходите. Я тоже тогда послушаю. Вас проводить?

- Сам выберусь, - лектор махнул папкой. - Вы мне лучше вот что объясните: как такое могло случиться?..

Он вынул из папки свой облысевший конспект и продемонстрировал осыпавшиеся буквы.

- Вот тебе раз! - удивился начальник бюро. - Отчего же это? Когда?

- Час назад. Здесь, у вас.

- И что вы об этом думаете?

- А что я могу думать? Я больше по слесарной части. За вами слово.

- Может быть, бумага такая? - Инженер почесал в затылке. - Или на машинке лента некачественная?

- Вы ещё скажите - от мороза! - Игнатий Данилыч рассердился. - Даже следов не осталось! - Он повернул бумагу к свету. Оттисков литер на ней действительно не было.

Начальник бюро всмотрелся в остатки текста.

- Так ведь это на ротаторе отпечатано!

- Да не важно на чём! - вскричал пенсионер. - Важно, что буквы осыпались, как листья с клёна! И притом не все.

- Вот как... - Начальник бюро нахмурился. - Знаете что... Эта макулатура вам не очень нужна?

Игнатий Данилыч махнул рукой.

- Так оставьте её мне. А к следующей нашей встрече постараемся разобраться.

- Постарайся, сынок, - сказал старый слесарь. - Бумага там, краска, ротатор или... А я загляну к вам через пару недель.

Оставшись один, начальник бюро поглядел бумагу на просвет. Потом поставил на листе свою подпись и потряс его за угол. Буквы не осыпались. Он снял с гвоздя ножницы и отрезал от листа узкую полоску. Вынул из кармана зажигалку и поднёс к бумаге огонь. Полоска легко занялась и быстро сгорела, ничем его не удивив. Он разглядел пепел: не появились ли буквы на нём. Ничего не найдя, стряхнул его в пепельницу.

Удовлетворившись своими опытами, начальник бюро вышел из кабинета, отыскивал глазами шустрого очкарика и строго ему кивнул. Тот сразу подошёл и вслед за шефом расположился на стуле в его фанерных апартаментах.

- Кайся, - велел шеф. - Кроме тебя ведь некому.

С минуту длилось молчание. Начальник бюро глядел на молодого коллегу задумчиво и дружелюбно, а тот рассматривал содержимое красной папки и пепел. Делал он это без лишних эмоций, как делают простые, привычные дела. Потом спокойно сказал:

- Ген Геныч, бумага тут почти ни при чём.

- Почему почти?

- Давайте начнём не с бумаги, - предложил конструктор.

- Давай, Арсений Петрович, давай, - согласился начальник. - Но только сначала скажи ты мне, зачем пытался обидеть человека? Пожилого и заслуженного, между прочим.

- А разве он ушёл обиженным? У меня и в мыслях не было его обижать.

- Но текст лекции ты ему сгубил или не ты?

- Я. Но у меня на этот случай было три варианта отвлекающих вопросов. И не случайных.

- Ты что же, всё бюро опрашивал?

- На то я и культмассовый сектор, чтобы знать вопросы...

- И что же, интересно, он без текста вам наговорил?

- Вы же слышали наши аплодисменты! От души, ей-богу! Да мы и на магнитофон записали, память останется...

- М-да-с, - Ген Геныч покачал головой. - Память народная теперь магнитофонной записью сильна...

- Не сильна, шеф, а усилена!

- Согласен. Теперь кайся.

- Только предупреждаю, - Арсений Петрович посерьёзней, - до конца я ещё сам не разобрался.

- Ничего, валяй. Вместе разберёмся.

- Вчера после работы, - начал конструктор, - я задержался с вашей тройной модуляцией, варианты попробовать. Ничего особенного не узрел, но возникло желание увеличить кратность. Стащил к своему столу все генераторы, какие у ребят нашёл, и начал нагружать схему покаскадно. На осциллографе - какая-то свистопляска...

- Само собой, - вставил шеф. - Считать же надо...

- Когда подключил седьмую частоту, - продолжал Арсений Петрович, - я неловко потянулся к генератору и животом навалился на входной кабель осциллографа. Он выскочил из гнезда и упал штекером на газету, которая валялась на полу. Я за ним нагнулся и вижу - буквы перед штекером с газеты осыпаются, будто из него дует ветром, будто их водой смывает!..

- Все подряд?

- В том-то и странность, что не все. Вот смотрите.

Он вытащил из заднего кармана брюк обрывок газеты. Вместо целых абзацев там были белые пятна. То есть, не совсем белые, газета была испачкана чем-то жирным, но букв там, где им по логике следовало находиться, не было и в помине.

Ген Геныч принялся изучать текст. Арсений Петрович перебирал листы испорченной лекции и качал головой.

Наконец начальник поднял глаза.

- Нет, Арсен, до меня не доходит. Всё-таки у тебя на размышления целая ночь была... Вот, смотри, тут написано: "В селе все считают Катю своим человеком". Дальше пробел. Две строчки с небольшим. Потом: "Хлеборобы ценят в ней уважение к их труду, грамотность". Что могло быть там, где пробел?

- Сейчас, сейчас, - сказал Арсен и полез в другой карман. - В этом месте не случайное облучение. Тут я уже пытался анализировать, поэтому сначала переписал, а потом - под штекер... Вот: "Невысокая, худенькая, похожая на пионерку, девушка пришлась, как говорится, ко двору".

- Так-так, - начал понимать начальник бюро. - Повторение сказанного и ненужная информация. Короче говоря, пустые слова.

- Вот! - вскричал Арсен. - Вот та формулировка, которая мне не давалась! Именно пустые!

- Можно сказать и "лишние", - Ген Геныч пожал плечами.

- Нет-нет! В "лишних" нет физического смысла!

- Ты хочешь сказать...

- Да, я хочу, только скажите сами - у вас талант на формулировки.

- Пустые слова, - начал Ген Геныч, - слабее весомых держатся на бумаге... как сухие листья на дереве... Но это мистика, Арсен!

- Это микрогравитация, - поправил тот. - И резонансная частота с необходимой модуляцией.

Он схватил со стола авторучку и быстро написал несколько фраз прямо на какой-то схеме.

- Прочтите!

- "Никому не нужны пустые слова, - читал вслух Ген Геных. - Никто не нуждается в повторении ненужных слов. Не пишите на бумаге и не произносите вслух слова, от которых нет пользы".

- Давайте сейчас внесём этот листок в поле излучателя, - предложил Арсен. - Из трёх фраз на нём останется только одна. Да и то в лучшем случае, потому что истина больно уж избита.

- М-да-с. Так больно избита, что печат, печат... - Было видно, что Ген Геных каламбурит автоматически и не слышит собственных слов. Какая-то идея забрезжила в его остановившемся взоре.

- Можно предположить, - Арсен развивал мысль, - что сам процесс написания пустых слов, незаметно для пишущего, отличен от нормального. Веские мысли пишутся с хорошим нажимом, а пустые...

- А ротатор, типографская машина? - очнулся шеф.

- Да откуда же я знаю? - вскричал Арсен. - Дело новое...

- Ну, тогда, - глаза шефа хищно сверкнули, - тогда, как полагается в лучших традициях - эксперимент на себе!

- Облучаться?

Шеф усмехнулся и поднял с пола свой тяжёлый портфель.

- Хуже. Его облучим.

- А что там?

- Слушай, - сказал тихо Ген Геных, - ты считаешь меня учёным? Или уже только администратором?

- Всем бы учёным быть такими администраторами! - Искренно воскликнул Арсен. - И всем администраторам - такими учёными. У вас вон докторская готова...

- Вот она и лежит в портфеле, - сообщил шеф.

- А не страшно?

- А ты как думаешь? Но я приготовил её для оппонента. Так что всё равно - оппонентом больше, оппонентом меньше... Машина в этом смысле даже объективнее, верно?

Так я уже раздал генераторы. Ребятам же работать надо...

- А ты не пытайся спасти моё положение, - сказал шеф сердито. - Я предпочитаю чистые эксперименты, сам знаешь.

...Узнав, что сейчас произойдёт, маленькая блондинка охнула:

- Ген, Геных, не надо! Оно ж не опробовано! Опасно ведь...

- Зато интересно, - возразила раскосенькая.

- Тебе интересно, а человек работал...

- Если штукатурка осыпалась, значит, человек не работал, а отработывал, - сказал шеф сурово. - И если я написал макулатуру, то выгоднее обменять её в лавке на "Графа Монте-Кристо" и уйти на радость всем в стопроцентные администраторы.

Он помог изобретателю собрать схему и сам поставил портфель к пластине с дырками, приспособленной под излучатель.

- Включай.

Арсен дрогнувшей рукой включил аппаратуру. Разумеется, ничего особенного не произошло. Просто загудели трансформаторы блоков питания, и через минуту зловещей тишины изобретатель сказал, что достаточно.

- Вынимай, - велел Ген Геных и, скрывая волнение, отвернулся.

Арсен извлёк из портфеля толстую кипу бумаги и стал быстро перелистывать страницы текста и схем. Всё конструкторское бюро не дыша следило за мельканием его рук. Наконец последняя страница была перевёрнута, и наступила восхищённая тишина.

- Ну, - спросил шеф, - честный я человек?

Его молча взяли на руки и подбросили. А когда поймали, то не дали ступить на бранный пол - отнесли в фанерный кабинет и опустили на стул.

- Ген Геных, не покидайте нас никогда, - пролепетала рыженькая конструкторша, которой он не далее как сегодня утром устроил разнос за опоздание.

- Мы вам кресло подарим, - сказал кто-то из задних рядов.

- В кресле хуже думается, - сказала раскосенькая.

- Это когда думать нечем, - возразила блондинка.

Шеф хотел вмешаться, но тут тихо вошёл Арсен. Он нёс открытый портфель, где виднелась уложенная с прежней аккуратностью докторская диссертация, но лицо у него было печальным. Шеф увидел в руке изобретателя запечатанный конверт и поблел.

- Надо же было сперва всё там посмотреть, - сказал Арсен с упреком, - а вы: "Давай-давай"... Теперь, может быть, письмо испортили. Это ж вам не доклад, не диссертация...

- Дай сюда.

Шеф спрятал письмо в нагрудный карман.

- Может быть, до него лучи не достали, - неуверенно предположил Арсен. - Оно в другом отделении лежало...

- Дома разберусь, - сказал Ген Геныч, к которому уже вернулось самообладание. - Сейчас все свободны, а ты присядь... С сегодняшнего дня ничем другим заниматься не будешь. Согласен?

Арсен кивнул.

- Составь список всей необходимой аппаратуры, завтра её получишь и - приступай. Что-нибудь ещё нужно?

...Оставшуюся часть дня Ген Геныч, если не считать визита к оппоненту, ездил в общественном транспорте и ходил пешком. Домой не ехалось и не шлось. Мучило одиночество.

Наконец около полуночи он, усталый и замёрзший, почувствовал себя в состоянии заснуть и сошёл не своей остановке.

Открыл дверь квартиры. Пахнуло семьёй, и от этого ему снова стало плохо. Весь вечер, скитаясь по городу, он представлял, заставлял себя представить, что дома ждут. И вот эта нежилая тишина. Сыновья убивают зимние каникулы где-то в детском туристическом поезде, а жена вторую неделю ничего не пишет из санатория, куда он насильно вытолкнул её с больной печенью. На вокзале они из-за пустяка повздорили, и запоздалое желание извиниться не давало ему покоя.

Раздевшись, Ген Геныч поставил чайник на плиту и залез под душ. Пока успокаивал себя водой, половина воды в чайнике успела выкипеть. Кипятку хватило только на заварку. Он налил ещё полный чайник, будто на всю семью, но тут же забыл о нём и принялся пить горькую заварку со старой коркой хлеба - ничего другого в доме просто не было. От заварки и усталости сердце застучало шибко, и в таком состоянии он не решился распечатывать письмо жены. Сидел и разглядывал конверт.

"Отправлено четыре дня назад, - думал Ген Геныч. - Ровно столько времени и поезд оттуда идёт... Индекс на конверте не осыпался, образец индекса на месте, оба адреса тоже целы, АВИА, название фабрики..." Он всё прочёл, что там было снаружи, и наконец решительно снял с гвоздя ножницы.

Держа конверт плашмя, осторожно отрезал самый краешек и достал сложенный вдвое тетрадный лист.

"Геночка родненький!.." - гласила первая строка. Дальше было пусто. Он перевернул листок. Там только в самом низу стояла дата и - ещё ниже - приписка: "Ни разу без тебя никуда не ездила и никогда больше не поеду. Я очень по тебе скучаю".

Привычной подписи "Твоя я" не было. Вместе с прочими осыпавшимися словами она валялась в глубине конверта. Ген Геныч вытряхнул буквы на ладонь. Связанные прописью, слова не рассыпались, а только перемешались и спутались. "Доехала" - вытянул он осторожно за хвостик, "лечусь", "приеду"... Хвостики обрывались под тяжестью "пустых" слов, они падали на ладонь и рассыпались.

- Вот так логика, - сказал он сердито. - Выходит, писать о любви разрешается только между строк. И не дай бог повториться. Никакого "милого вздора"... А если это излучение действует и на человека, то для кого-то разговор превратится в удовольствие, а для других - в пытку? И повторение - уже не мать учения? И кем же вообще станет человек?.. М-да-с. Мальчишка безусловно прав: перед облучением портфель следовало проверить. Жалко письма, чертовски жалко.

В задумчивости он постучал ребром конверта по столу и вдруг заметил, как отстаёт и отваливается обратный адрес.

- Уж не значит ли это, что она раньше срока домой поехала? Сбежала из санатория?!

Ген Геныч поглядел на часы. Тридцать минут назад должен был прийти поезд с юга.

В прихожей раздался знакомый звонок...

Владимир Шкаликов

СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА

- Я сойду с ума, - Тропин ткнул пальцем в разложенные веером бумажки.

Я, молча, ждал продолжения.

Он встал, наклонился к бумажкам, тронул каждую пальцем, потом ударил по столу кулаком, сел и схватился за голову.

- Еще темного, - повторил, - и сойду.

Я, молча, смотрел на бумажки. Каждая содержала небольшой текст. Все тексты имели что-то внешне общее. Будто специально для эксперта Тропина следственный отдел перепечатал из популярных журналов сходные логические задачки: "Если А и Б никогда не встречались, а С и Д дружат с Б, то кто убил Е, который поссорился А из-за Д, которого всего однажды видел с А на приеме у Х?"

Тропин молчал и молчал. Чтобы его расшевелить, я спросил наугад:

- Упражняешься в логике? - И добавил, потому что он не ответил: - В больших дозах это опасно.

Он вышел из-за стола и пометался по кабинету. На ходу ткнул кулаком боксёрскую грушу, пнул ящик с какими-то железками, пощупал пулевые отверстия в новеньком полуодетом манекене и оттолкнул детскую коляску, которая налетела на манекен, отскочила от ящика, подпрыгнула на обрезке резинового шланга и наконец наехала на Тропина сзади, чем привела его в совершенное исступление. Он схватил коляску за изящно изогнутую дугу, потряс, подпрыгнул и повесил её на бычий рог с картонной бирочкой, приколоченный к стене довольно высоко. Из коляски на Тропина посыпались пачки денег вперемешку с какими-то лекарствами и патронами от зенитного автомата калибра 27 миллиметров. Эта осыпь его почему-то успокоила. Он вялой ногой сгрёб содержимое коляски в кучу и вернулся за стол.

- Да что случилось? - Я задал, наконец, прямой вопрос, чем привёл его в окончательное равновесие.

- Чёрт с ней, - Тропин вздохнул, - расскажу.

- С кем чёрт?

- Да со служебной тайной. И со мной в придачу. Я - аналитик всего лишь по профессии, а ты - божьей милостью, мне тебя эксплуатировать сам бог велел. Вот и слушай.

Он вынул из веера крайнюю бумажку.

- Это наши сводки по городу. Замечай даты.

"Утром 16 июня неизвестный мужчина лет тридцати выпал на ходу из незакрытой двери переполненного троллейбуса и с признаками перелома основания черепа доставлен по "скорой" во 2-ю горбольницу. На водителя троллейбуса заведено уголовное дело за нарушение правил перевозки пассажиров. Опросить пострадавшего не удалось, так как он из больницы скрылся".

Я пожал плечами.

- Ну и что? Притворялся.

- Подумай, - посоветовал Тропин. - Всё же - основание черепа ...

- Гм, - я подумал и вспомнил. - Выживает один из тысячи.

- Но и этому одному с койки не встать! - отрезал Тропин.

- А этот перелом нельзя симулировать?

Тропин пожал плечами.

- Дальше слушай.

"Утром 17 июня неизвестный мужчина лет тридцати проник на территорию строящегося девятиэтажного дома - улица Советская, 106, - упал с подмостков восьмого этажа, на которых отсутствовало ограждение. Доставлен по "скорой" в нейрохирургическую клинику с признаками перелома позвоночника. На производителя работ стройучастка заведено уголовное дело за нарушение техники безопасности. Пострадавшего опросить не удалось, так как он из клиники скрылся".

- Вот так совпадение! - я почувствовал интерес.

- Ага, совпадение, - мой друг саркастически ухмыльнулся. - Ты, конечно, сам сообразил, что с таким переломом... Ладно, слушай дальше.

"Утром 18 июня неизвестный мужчина лет тридцати проник на территорию завода стеновых материалов и был затянут под шкив ременной передачи одного из транспортёров. Доставлен по "скорой" в реанимационное отделение клиник мединститута с признаками раздавливания грудной клетки и удушья. Начальник формовочного цеха привлечён к уголовной ответственности за нарушение техники безопасности. Опросить пострадавшего не удалось, так как он из реанимации скрылся".

Тропин поднял на меня глаза. Я молчал.

- Ещё читать?

Я кивнул.

"Утром 19 июня неизвестный мужчина лет тридцати проник на территорию механического завода... Попал под ток... Электрошок... На главного электрика цеха возбуждено... Опросить не

удалось... Сбежал!" "Утром 20 июня неизвестный мужчина лет тридцати проник... Доставлен по "скорой"... Привлечен к уголовной ответственности... Исчез..."

- И этот бред, - он бросил бумажки на стол, - продолжается вторую неделю! Верить ли, мы уже советуем медикам привязывать пострадавших. Прямо и буквально. Всем дали инструкцию: "За тяжело травмированными неизвестными мужчинами лет тридцати устанавливать наблюдение, чтоб не сбежали".

- И что же? Помогло?

- Они отказались. "Мы - не милиция. Вам надо, вы и наблюдайте".

- А вы?

- А мы... Ну, в общем, идут переговоры. Как-то связываться, предупреждать... На высшем уровне, конечно. А пока они наверху рядятся, дали мне это дело на анализ. Всё прочее забросил, - он махнул рукой в сторону коляски, манекена и прочего, - тихо схожу с ума.

Мне было больно смотреть на друга. Матёрый мастер-криминалист выглядел младенцем, который похвастался, что умеет водить мотоцикл, а его взяли и посадили в седло, ручки не достают до руля, ножонки - до педалей, а из-за фары не видно ничего впереди.

- А он ещё и не заведён, - пробормотал я машинально.

- Что? - Тропин встrepенулся.

- Да я про себя... Слушай, что же ты здесь видишь? Самоубийца-неудачник?

- Думал, - Тропин ответил вполне серьёзно. - Но дальше анекдота в этой версии не продвинулся.

Помнишь, как священник с атеистом спорили о Боге? Батюшка говорит: "Наш звонарь упал с колокольни, но успел сотворить молитву и - божьим промыслом - остался невредим." Атеист возражает: "Случайность". Батюшка: "Так это дважды было!" "Тогда совпадение". "Да он и третий раз уцелел!" "Привычка!" Но мне от такого оголтелого материализма не легче. Покойники исчезают, люди под суд попадают.

Я возразил, что не мешало бы этим людям выполнять свои прямые обязанности, то есть обеспечивать технику безопасности... И прикусил язык, потому что вдруг понял... Я спросил Тропина:

- А почему так важны для тебя даты? Ну, ежедневно... Ну и что?

- Сам не знаю! - Он поднял на меня глаза. - Просто чувую, что крючок где-то здесь... А вот что за крючок?

- Но если позвал меня, значит, думаешь, что по моей части?

- Прости, если ошибаюсь, - он развёл руками. - Показалось, будто есть тут какая-то логика... по твоей части.

- Ну, хорошо, раз по моей, будем рассуждать комплексно. Начнём не от этих бумажек, а попробуем связать всё, что было необычного за вторую половину июня. Рассказывай.

- Да ничего необычного, - Тропин пожал плечами. - Вот, всё перед тобой. Кроме бычьего рога, всё за вторую половину июня.

- А рог - что?

- Это ещё в мае. На мясокомбинате какого-то новичка бык забодал. Сначала думали, убийство. Лежит человек, из-под рёбер торчит рог. Решили было, что этим рогом кто-то с ним счёты свёл. Народ-то на бойне - сам представляешь. По проверили - ничего. Рог свежеобломан, бык ещё живой, в загоне. Убил человека, а рог отломался. Быка, разумеется, казнили, а парня - в морг... Ну, а другое - что тебя интересует? Детская коляска? В ней тайник, а в тайнике - марихуана. Наркотик пахнет, собака чует, а открыть тайник не могу. Словом, не то, пустяк. Деньги эти - ну, прислали мне их анонимно, в качестве взятки. Я полагаю, вот за эти патроны. Тоже ничего такого...

- А всё-таки?

- Ну, одна банда вымогателей наняла специалиста, чтобы перестрелять другую банду. Те должны были собраться в одном месте на автомобилях, а эти изготовили пулемёт...

- Где изготовили?

- Ну, на одном заводе. Там вышел недогляд. Мы разбираемся. Вот. Патроны они купили у каких-то прапорщиков в гарнизоне. Это дело военные нам не дают, сами копают. Думаю, закопают. Но, как видишь, ничего общего с нашей цепью трагедий.

- Скорее уж трагикомедий... А банду, что же, перебили?

- Нет. Когда исполнитель узнал, что один из последних патронов взорвётся и убьёт его самого, он обратился к нам. Разумеется, инкогнито. Подбросил патроны с запиской. Притом вытащил их, паразит, из ленты, и я теперь должен разобраться, в каком же из них вместо пороха динамит. Тогда по отпечаткам на динамите... Словом, чепуха. Потому и взятка.

- Ладно. А манекен?

- Тоже не то. На почве ревности. Купил один деятьель на чёрном рынке пистолет, пришёл в женское ателье и расстрелял этот манекен, потому что он похож на его жену.

- Ерунда какая-то! - вырвалось у меня.

- Да нет, дело серьёзное. Его жена работала в этом цехе и изменяла ему со старшим мастером. Он, муж, вбежал в цех, сгоряча принял манекен за жену и расстрелял. Его тут же скрутили, пистолет отобрали, а потом обнаружили старшего мастера в его конторке убитым. Прямо в лоб, такой же

пулей. Надо делать баллистическую экспертизу, причём все в цехе уверяют в один голос, что стрелял этот бедняга, стоя спиной к конторке, а она вообще на втором этаже и за углом.

- Хорошо, - продолжал я допрос. - Что в ящике?

- На станции автосервиса пытались убить директора. Сбросили с крыши этот ящик, но только отшибли ему ногу. Не рассчитали. Здесь интересно только то, что все железки в ящике -дефицитные детали для японских автомобилей. Все до одной, понимаешь?

- Нет, - признался я, - не понимаю.

- И я не понимаю, - признался он. - Особо тонкая месть, что ли?

- А того, кто сбрасывал, нашли?

- Ищут. Но это к делу не относится. Такие детали вообще не поступали в нашу страну - вот что интересно!.. Рассказать теперь о боксёрской груше? Её на День милиции подарил мне начальник отделения. Обещал наклеить на неё свой портрет, но что-то не торопится... Что ещё тебе интересно?

- Лекарства.

- А, это от головной боли. - Тропин встал, собрал с пола лекарства, одну таблетку проглотил, остальные высыпал в стол. - Между прочим, тоже взятка. Не смог отказаться. Веришь ли, лучше цитрамона!.. Ну, вот и всё. Как видишь, дела заурядные, просто требующие чуточку времени, но к неизвестному мужчине лет тридцати - не пристегнёшь.

Честно говоря, мне давно было всё ясно. Более того, мне было стыдно перед другом. Он раскрыл мне все свои служебные тайны, а я ему не могу отплатить тем же. Моя тайна связана не с какой-то там, действительно заурядной враждой двух банд или ревностью к мастеру, пусть даже старшему. Раскрытие секретов моего НИИ может стоить обществу непредсказуемых конфликтов, непредставимой цепи социальных осложнений, в которых самоубийства из ревности или мести могут сделаться нормой...

Я размышлял и видел, что Тропин смотрит на меня с напряжённым ожиданием. Бедный технический эксперт, он ждал чудес от инженерной психологии, от кибернетики, бионики - от переднего края жизни, на котором сражается с природой мой НИИ.

- Что же думает наука? - спросил он грустно, почти безнадежно. - Или наука умывает руки?

- Бегающие покойники, - сказал я, - это не по научной части.

И опять прикусил язык. Тропин, конечно, знать не мог, но всё началось именно с покойника. И было это в мае. Милиция не догадалась поехать тогда в морг и опросить несчастного, которого забодал бык. А если бы догадалась, то к вееру бумажек в руках эксперта Тропина прибавилась бы ещё одна: "Скрылся из морга..." Притом - "мужчина лет тридцати". Правда, с фамилией и со всем прочим, но всё же без адреса, и без родни. Ибо адрес его - наш НИИ, а родственники - коллектив узких специалистов широкого профиля. Мы изготовили их десять - не штук и не человек - экземпляров. А теперь я решился бы сказать - десять душ. И, после года безупречной службы в лаборатории института, Номеру Первому - Адику - доверили простую работу бойца на мясокомбинате. Мы ещё не осознали тогда, что они - души, иначе не послали бы Адама в такое душераздирающее место. Поглядев, что вытворяют на бойне с животными, он сам бросился на бычий рог. В порядке самомщения. Но в момент "убийства" вдруг одумался, рог быку отломал и притворился мёртвым. А по дороге в морг у него созрел план. Он совершил побег с того света, пошептался с остальными девятью братьями по разуму, и они разработали большую провокацию, целью которой стало помещение в тюрьму всех, кто саботирует заботу о безопасности. Практически бессмертные, эти проходимцы могли "тонуть", "ломать" основание черепа, "удушаться", "погибать" от электрического тока... И утром 16 июня Номер Второй - Сифон - опоздал на работу, потому что поехал кататься на троллейбусе в час "пик". А утром 17 июня Номер Третий - Енос - "проник на территорию стройки" и тоже опоздал на работу. Это повторялось ежедневно и воспринималось в институте как возрастная шалость, из ряда тех безобидных шалостей, которыми наши питомцы отмечали этапы своего взросления: убрать из-под кого-нибудь стул, установить над дверью баночку с водой и тому подобное. Их шутки всегда были беззлобными и каждый раз подтверждали нашу уверенность, что конструкторская мысль - на правильном пути. И находиться бы нам в этом приятном заблуждении, не позвони мне сегодня старый друг из криминалистической лаборатории. Тут-то заговор и раскрылся. Пока только для меня.

Что же делать? Если сейчас рассказать всё Тропину, я могу быть уверен, что первым в институте разглашу служебную тайну. С другой стороны, наши питомцы (убежденные, кстати, что они - обыкновенные люди) похоже, сами вот-вот снимут с себя завесу секретности. И город, и сами они вдруг узнают о рождении новой расы, и это вызовет шок. Тогда без милиции всё равно не обойтись.

- А ты не думал, - начал я, - что это может быть заговор?

- Заговор? - Тропин выпучил глаза. - Кого? Самоубийц? Против самих себя? И чтобы выкрадывать друг друга из реанимации?

- А ты подумай, - продолжал я осторожно. - Ведь если из-за нарушений техники безопасности ничего страшного не происходит, то на неё и внимание перестают обращать. А если вдруг - массовый травматизм!? Да с уголовными делами...

- Тогда это заговор сумасшедших, - объявил Тропин.
- Или детей, - поправил я осторожно.
- Дете-е-ей? - протянул он и задумался. - Известных тридцатилетних несмышлёнышей?..
- Тепло, - сказал я, - тепло. Думай дальше.
- И ты, кажется, их знаешь, - догадался Тропин.
- Ещё теплее, - сказал я.
- Ваш институт изготовил...
- Стоп! - сказал я. - Горячо. Но это - служебная тайна.

Тропин посидел молча. Казалось, он слегка ошеломлён и обдумывает услышанное. Я был доволен, что ничего не пришлось говорить прямо, и всё же откровенный разговор состоялся.

- Что ж, хорошо, - проговорил наконец Тропин. - Хорошо, что ты подтвердил...

- Как-как? Хочешь сказать, ты знал с самого начала?

- Н-ну... не перебивай. Всё у вас в целом неплохо, только вот что хотим посоветовать - ты передай там, у вас, кому следует, неофициальное, но - настойчивое пожелание: проведите-ка вы со своими роботами, или как их там, курс правовой подготовки. Можете нас пригласить - поможем. А то видишь, какая у них этика перекошенная. Сам посуди: какая же этика - без уголовного права? Обещаешь?

Я кивнул. Я не мог говорить.

- А тот-то парень, что на бойне пострадал, он как, ничего, оклемался?

Я опять кивнул. Я был раздавлен.

- Ну, вот и ладушки, - Тропин облегчённо улыбнулся. - Привет им всем передавай. Они в приветях-то разбираются?

Я снова кивнул и поднялся. Он проводил меня до двери, обнял на прощанье. Я спросил:

- Слушай, вы тут... давно о них узнали?

- С самого начала, - на его лице уже не было ни усталости, ни отчаяния. - С момента, так сказать, зачатия.

- Но как? Мы ведь всем институтом...

- А это, брат, служебная тайна. Не обижайся.

18.2.91г.

Владимир Шкаликов

ЯЙЦО ГРИФОНА

- Евгеша, поехали за грибами, - Игнат поглядел на небо.

- Не верю, - я скопировал тон Станиславского. Впрочем, не уверен, чьи это слова: Станиславского, Немировича или Мейерхольда. К счастью своему, других режиссёров не знаю, иначе опустил бы на Игната все сомнения отечественной драматургии. - Не верю и никогда не поверю.

- Но почему? - Игнат спросил тоном гениального трагика, однако опять слегка переиграл.

- Потому что вон магазин, - я кивнул за окно, - а рядом - ни одной бабки с грибами.

- Бабки на местах, - возразил Игнат обычным инспекторским тоном.

- Морковка, пустая редиска, укроп, лук и малосольные огурцы, - я засмеялся. - Меня сегодня посылали в магазин за молоком, я всё разведаль.

- С-с-сыщ-щ-щик, - прошипел Игнат тоном злодея.

- Чем горжусь, - я допил чай и отставил чашку. - Короче!

- Аля пашет? - спросил Игнат тихонько. Я кивнул. Игнат придвинулся и зашептал: - Поехали. Я покажу тебе возле Жуковки высокоэнергетическую пасеку.

- Так Жуковки, вроде, нет давно...

- В том-то и дело: Жуковки нет, а пасека есть. И непростая. Поедешь?

Я кивнул и поднялся.

- Ку-уда? - Аля входила в кухню.

- Да мы... это... - Игнат очень убедительно замялся. - Мы к дурным девкам... Можно?

- Неужто за грибами?! - Аля восхитилась.

Мы признались, что так точно, и стали с энтузиазмом требовать, чтобы она скорее переодевалась в брезенты, машина ждёт.

Аля отказалась с большим сожалением, ссылаясь на поджимающие сроки диссертации.

- Вот ты пашешь даже по выходным, - сказал Игнат, - а будут тебе доплачивать за степень?

- Увы, - был ответ, - наука во все времена требует только жертв.

- От одних требует, - Игнат вдруг сосредоточился, - а другим сама даёт.

- Закон компенсации! - Аля беззлобно засмеялась и взлохматила ему волосы. - Вас, суперменов, тоже ведь не балуют...

- А мы - ради морального удовлетворения, - Игнат встал. - Ну, как желаешь... Мужа-то отпускаешь?

- Забирай, - Аля вздохнула, но тут же засмеялась, чем наверняка поставила бы в тупик всех известных режиссёров. - Меньше мешаться будет.

- Так я в машине подожду, - Игнат быстро вышел. Аля вернулась за пишущую машинку и сложила руки на коленях. Когда я, мигом собравшись, поцеловал в макушку, тихо сказала:

- Во-первых, ведёрки не забудь.

- А во-вторых? - поцеловал в щёчку.

- А во-вторых, постарайтесь там без жертв... - Подняла тревожные глаза. - Не забывай, твоя реакция уже не та...

- Да с чего ты взяла?

- Игнат без дела к нам не бывает.

- Ф-фу, товарищи учёные! Не "к нам", а "у нас".

- Я всё про вас чувствую, - сказала Аля. - Но вы мне врете, так спокойнее... Поцелуй как следует.

- Когда поцеловал, добавила: - Сегодня всё будет хорошо. Только не спеши, ладно?

Она с детства знает обо мне больше, чем я сам. Ещё говорили родственники, что есть у неё про мою душу спасительная молитва. Не знаю, любовь - дело тёмное, куда темнее криминалистики.

Было уже не очень раннее утро. Самые ретивые грибники давно шастали бы по лесу, а ленивые ещё собирались. Но вернее всего, дорога оттого была пуста, что и те и другие посмотрели на небо и решили, что в такую погоду лучше загорать, чем зря топтать лес.

- Что же мы в вёдра положим? Мёду нальём?

Я спрашивал скороговоркой, чтобы Игнату было хоть немного легче слушать. Он улыбнулся и ответил, как всегда, не задумываясь:

- А что, мёд тоже возможен. Но скорее что-нибудь более дефицитное.

Шоссе давно оставили и уже двенадцатый километр катили по лесу. Чем дальше, тем более заросшей и менее заметной становилась дорога.

Один раз, когда пересекали геодезическую просеку, Игнат притормозил:

- Обрати внимание: во-он виднеются провода.

Примерно в полукилometре параллельно нашему движению по лесу шла высоковольтная линия.

- Туда? - спросил я, имея в виду нашу цель.

- Нормально она обслуживает только подземный водозабор. Но от одной из подстанций водовода, протянут хвостик. Километровый. Киловольт на пятьдесят-сто.

- Может, военные? - предположил я.
- Молодец! Там БЫЛА база. Небольшая, противоракетная. Но её давно убрали.
- Так, может, и линия обесточена?
- А вот это уже проверено. Напряга есть.
- Ты уже побывал там?
- Над. Мы просто облетали участок на вертушке, и я увидел этот хвостик. Навёл напрягометр - фонит.

- Что навёл?
- Да есть прибор, - Игнат засмеялся. - Телеметрический фонометр. Напряжение, радиация... Можно даже увидеть ауру вокруг твоей головы. И на тепло реагирует. Лаборатория доктора Дорохина.

Мы проехали ещё пару километров, и открылась пустошь. Брошенные дома частью вывезены, остальное разграблено, сожжено, сгнило, провалилось сквозь землю.

- Как после войны, - сравнил я неуверенно.

- Хуже, - быстро ответил Игнат. - Сюда уже не вернутся. Урбанизация.

Мы въехали в заросшую кипреем силосную траншею и забросали "Ниву" сухими ветками.

- Разомнёмся.

Мои нападения он блокировал без труда, не вступая даже в контакт. Потом напал сам, в десятую часть своей скорости, и мне пришлось попотеть.

- Ну, молодцом. В случае чего - уклоняйся с линии огня и держись от меня подальше.

Я сказал: - Знамо дело. - И спросил: - Считаешь, так серьёзно?

Он ответил: - При такой-то энергетике?

Прямо перед нами на укороченных мачтах висела действительно мощная ЛЭП, слегка гудела и потрескивала.

- Если так, был бы подъезд посолиднее.

- С той стороны.

Не шумя, лесом-мохом, рядом с ЛЭП, мы вышли к пасеке. Снижение проводов засекали у незаметной бревенчатой избушки под деревьями. Окошка не было, только дверь. На баньку похоже, но не банька: изнутри мощно гудели трансформаторы, будто пели на три голоса.

- Гляди, какие интересные ульи, - показал Игнат. Ульи стояли в пять рядов. Никаких пчёл над ними не было. Зато над средним рядом воздух жарко колебался. С густым шипеньем он вырывался из щелей, прорезанных в стенках ульев. Я догадался: - Это крыша бункера.

- Молодец, - сказал Игнат. - А раз вентиляция дует вовсю...

- Значит, там противоракеты!

Игнат оценил шутку и усмехнулся:

- Во-он в той избушке должен быть вход.

- Там они нас и встретят.

- А вот этого не надо, - возразил Игнат. - Чтобы успели подумать, мы пойдём к ним открыто.

Вёдра - товсь!

Мы выставили напоказ яркие пластмассовые ведёрки и двинулись через пасеку. О чём болтали - не помню, но - громко. Разумеется, проявляли интерес к ульям и изумлялись отсутствию пчёл и хозяев. Тоже погромче, но и не забывая о Станиславском.

До избушки оставалось метров тридцать, когда оттуда вышли двое. Судя по возрасту и телосложению, они как противники представляли бы для меня одного трудноразрешимую проблему. Особенно если вооружены... Интересно, что у них заткнуто сзади за пояс?

Пока звучали дежурные вопросы и ответы, мы приблизились на бросок и, когда они исчерпали своё красноречие и завели руки за спину, мы пошли в атаку. Игнат, конечно, успел срезать обоим, я только помогал связывать. Мы уложили их в тенёчек за ульями, соединив спиной к спине, и смело вошли в избушку. С двумя пистолетами я чувствовал себя увереннее, хотя само наличие новенького армейского оружия указывало на серьёзность дела, в которое мы лезли очертя голову.

- Возможны ещё стволы, - тихо сказал Игнат. - Повнимательнее.

Я вспомнил слова Али: "Не спеши". Все меня, убогого, опекают. Грустна доля бывшего супермена. А ведь практически не уступал Игнату...

В избушке было пусто. Значит, мы сыграли грибников убедительно, если оба "режиссёра" поверили. Да и то понять: скучно им здесь, горе-каратистам.

Входа на объект в избушке что-то не было видно. Конечно, если под нами ракетный бункер, то может сдвигаться и вся избушка, и половина пасеки, но и здесь должен быть хоть лючок, хоть лесенка.

Беседуя на эту тему, мы всё потрогали, всё подвигали и - нашли. Напротив двери - зеркало, большое, от пола до потолка: чтобы, скажем, врывающийся чужой испугался самого себя. Это же зеркало и есть потайная дверь. Даже не очень-то и потайная: весь край на уровне руки захватан неоттираемо.

Вошли в Зазеркалье. Пустая лестничная площадка с длинным спуском в преисподнюю. Всё

хорошо освещено. Запах - как в метро, кондиционерный.

И два встречных эскалатора - прямо под пасеку. Игнат предположил: - От военных осталось.

Я сказал: - А может, там и сейчас военные?

Он усмехнулся: - Извинимся да уйдём, делов-то.

И мы поехали вниз.

Ничего военного и никаких военных. Вообще никого. Арочный свод, ряды металлических клеток до противоположной стены и мощная вентиляция с удивительно слабым шумом. В противоположной стене - сдвижные ворота. Отовсюду свет. Тепло, но не жарко. И не сыро. Запах уже не метро, а такой, будто в метро поместили курятник, но пытаются это скрыть чистотой и кондиционерами.

В простенке рядом с первыми клетками мы увидели ящик размером с добрый комод. Он был заполнен плотными дощатыми ящичками от сливочного масла. Верхние ящички не имели крышек. В них, аккуратно сложенные, белели какие-то кубики, почти совершенно одинаковые, каждый объёмом в три спичечных коробка. Почему-то сравнение с объёмом гусиного яйца тогда не пришло мне в голову.

Игнат взял один кубик, стал разглядывать. Я взял другой. Он сказал:

- Что-то среднее между мрамором и кварцем, не находишь?

Я кивнул и сунул свой кубик в карман. Игнат улыбнулся и сделал то же самое. Вес был - каменный.

Затем мы посмотрели вдоль клеток и переглянулись. Идти дальше было опасно.

Это вообще было чёрт-те что.

Из всех клеток тянулись к нам жуткие орлиные головы с петушиными гребешками. Длинные гусиные шеи покрывал густой мех, жирный и надёжный, как у выдры. Туловища - это тоже было жуткое зрелище. Тот же превосходный мех покрывал мощные орлиные крылья и звериные лапы с орлиными когтями, а также грузное гусиное туловище с сумкой спереди, будто у кенгуру. У многих чудовищ из этих сумок выглядывали их детки - такие же страшилища, но не ровно-серые, а с белыми пятнами.

Мы шли в узком пространстве между двумя рядами ужасных голов, и с обеих сторон хищно щёлкали орлиные клювы. Ни кричать, ни свистеть эти выродки, наверно, не умели. Я сказал:

- Знаешь, почему-то хочется погладить их по головке.

- Мне тоже, - Игнат шёл впереди. - Но лучше не рисковать.

Одна из тварей не щёлкала клювом, а держала в нём такой же белый кубик, какие мы видели в комод. Игнат обернулся ко мне, подмигнул и подставил под клюв пригоршни: бросай, мол. Если бы зверюга вздумала клюнуть, он успел бы убрать руки. Но чудовище не клюнуло, а с готовностью положило кубик в ладони. Я предложил: - Погладь, ты успеешь.

Но он мотнул головой: - Боюсь и противно. Грифоны какие-то.

Когда прошли между этими скиллами до конца и, честно говоря, перевели дух, я сказал:

- Вот где выращивают шапки!

- Какие шапки?

Я объяснил, что барыги на барахолке недавно продали партию превосходных шапок из меха выдры - как раз вот из такого. Установить источник меха уголовный розыск не сумел. Взятых для допроса барыг пришлось оштрафовать за незаконные меха и отпустить. А они никакой наводки не дали, молчали героически.

- Я бы не догадался, - сказал Игнат.

- Не твой профиль, зачем тебе...

Договорить нам не дали. Раздался голос: "Руки вверх!". И из-за клеток с обеих сторон на нас направили ещё два пистолета.

В такой ситуации можно было мне упасть, а Игнату броситься. Я мог падать без команды, Игнат бы среагировал, но опять - голос Али: "Не спеши".

- Самое время представиться, - Игнат поднял руки. Поднял и я.

- Бросьте нам документы, - приказал кудрявый справа. - Только не шутить!

- А если нет документов? - у Игната просто страсть к опросам.

- Тогда мы вас уберём, - был ответ.

- Может, на слово поверите?

- Ещё слово, и - стреляем.

Мы бросили кудрявому удостоверения.

- Так и знал, - он комментировал, читая. - Юзик, знаешь, кто пожаловал? Этот длинный - Эвкалиптов, старший инспектор Управления Охраны Природного Равновесия.

- У нас тут - самое равновесие, - Юзик откликнулся.

- А второй, - продолжал кудрявый, - Малюхин из Лиги Частного Сыска, "агент" написано.

- Словом, сыщики оба, - сказал Юзик. - Куда их денем? Птичкам, может, скормим?

Я соврал: - Наверху наши.

- Ха-ха! - был ответ. - Сюда им сунуться - боже их сохрани.

- А что такое? - Игнат опять в работе.

Ему не ответили. Охрана размышляла.

Я сказал: - Ноги не держат.

Игнат ответил: - Потерпи. - Видно, надеялся, что нас куда-нибудь поведут.

Охрана помолчала с минуту, потом кудрявый спросил: "Ну, как по-твоему?" Юзик отрезал, как приговорил: "Тогда бы просто отключили энергию". И тут Игнат резко отодвинул меня вбок, сказал: "Падай" и пропал. Уже на полу я услышал выстрел со стороны кудрявого и всхлип со стороны Юзика. Потом были ещё два выстрела, очень гулких в этом склепе, и пули визжали, отлетая от бетона высшей марки, потом был ещё один всхлип - я в это время уже вязал Юзика.

Чтобы не снижать Игнату подвижность, мне пришлось нагрузиться и этими пистолетами, но тяжёлый белый кубик я всё-таки не выбросил.

Игнат спросил: - Ещё много тут народу?

Ответить не захотели.

- Ладно, сами разберёмся.

- Не пожалейте потом, вы, - процедил Юзик.

Мы усадили их спиной к спине на лавку и закрепили. Рядом - пара ящичков от масла, до половины с кубиками.

- Кстати, что это? - я указал на кубики.

- Яйца, - кудрявый не улыбнулся. Но Юзик засмеялся.

- А ты бы взялся нести такие яйца? - Я потрогал твёрдое ребро и острый уголок. - Это же камни, зачем темнить?

- Не веришь - прими за сказку, - Юзик снова засмеялся.

- Только не пожалей, - сказал опять кудрявый. С обеих сторон за клетками было пространство, и Игнат быстро его обследовал. Вернувшись, сказал:

- Ты прав: здесь шьют те самые шапки из этих самых птичек.

- Мужики, - вмешался тут кудрявый, - может, берите по шапке, по две - и забудьте о нас?

- Ты пойми, - сказал Игнат дружески, - мы не за шапками. Нам просто охота узнать, что здесь к чему.

- Кто вас послал? - спросил кудрявый.

- Ты же видел наши корочки, - ответил Игнат.

- Да нет, - кудрявый поморщился. - Кто вообще за вами? ОТ КОГО вы?

- Странно, - пробормотал Игнат. - Ну ладно. Эти же вопросы задам вам я. Может, тогда пойму. Моё право сейчас. Чьи вы, хлопцы, и кто за вами?

Связанные засмеялись.

- Ну-ну! - Игнат их подбодрил. - Только не говорите, что не знаете.

- Не знать ЭТО, - сказал отдельно и чётко кудрявый, - лучше для вас самих. Дай вам Бог никогда это не узнать и унести отсюда ноги, вот что.

- Вы ребята вроде ничего, - добавил Юзик. - Мы вам по-дружески советуем. Можете взять что-нибудь на память - хоть по яичку, хоть по пистолету - вам ведь оружия не дают... И мотайте скорее, пока все целы. Только и нас развяжите.

- Да в чём дело?

- А в том, что через полчаса будет поздно.

- Так рассказывайте по-быстрому, будем вместе спасаться.

- Ну? - кудрявый повернул голову к Юзику.

- Да ну их, - сказал Юзик, - не поверят.

- Поверим, валяйте, - предложил Игнат. Я тоже кивнул. Они послали нас подальше.

- Ладно, - сказал я, - пошли наверх. Может, те расскажут.

Мы встали с ящичков, чтобы уходить, и тут они задёрнулись.

- Возьмите нас с собой! Отвяжите!

- Да зачем вы нам, - сказал Игнат. - Только мешать...

Мы двинулись по проходу между клювами.

- Стойте, погодите! - заорал кудрявый. - Вам же всё равно идти!

- Ну и что? - Игнат приостановился.

- Погладьте их по головке.

- Да ну тебя...

Мы засмеялись и пошли дальше.

- Мужики! - орал вслед кудрявый. - Ну что вам стоит? По три разика каждую, а? Они не укусят!

Мы переглянулись между собой, потом с птичками. Чудовища так и тянулись, так и дышали, так и целились клювами. Ей-богу, это было жутко.

- Мерси вам ужасно, - сказал я через плечо.

- Да и то, - говорил Игнат уже на ходу. - Их тут голов с тысячу, будешь гладить с полчаса. - Он остановился опять, крикнул кудрявому: - Что за блажь, зачем их гладить?

- Да долго объяснять! Вы хоть нас тогда развяжите, скорее управимся!

- Тогда подождите, - Игнат засмеялся их хитрости. - Если ваши коллеги разговорчивее, мы скоро

вернёмся.

- Отвяжите, сволочи! - пленные задёрнулись на лавке.

- Стрелять надо меньше, - посоветовал я. И спросил Игната:

- Ну, что там за клетками?

- С одной стороны, как я понял, склад готовой продукции, а с другой - пошивочный цех, люди работают.

- Тебя видели?

- Они не могли меня видеть. Там сначала тёмная комната, а в ней - окошко. На окошке - запертая дверца из толстенных прутьев. Сквозь них я и смотрел.

Мы поднялись наверх и приступили к допросу прямо среди ульев.

Эти двое оказались не более откровенными, но более увёртливыми. Они говорили много и пусто - что-то о пользе для народа, о нашей ответственности за какие-то возможные последствия бездумного вмешательства - всё время на грани информации, и мы, в азарте перепалки, спохватились только к концу рокового получаса.

- Стоп! - сказал Игнат. - Время вы протянули, конец. Что там такое внизу, быстро!

Они ухмыльнулись, и тогда я пообещал:

- За минуту не расскажете, спустим вас туда.

Вот тут они засуетились!

Их надо отвести в караульное помещение, бегом! Теперь надо включить вот этот монитор. (То, что мы приняли за предмет развлечения, оказалось средством видеосвязи.)

На экране монитора появились клетки, среди которых мы оставили Юзика и кудрявого. Вон они беснуются на лавке. А в клетках беснуются грифоны с петушиными гребешками. Что-то с ними случилось.

- Что там такое? - спросил Игнат резко. Ответили, что птичек пора кормить.

- Туда спускаться?

Ответили, что можно и отсюда, только мы сами не справимся, надо развязать Андрюшку.

Мы развязали Андрюшку. Он подошёл к настенной аптечке, открыл белую дверцу с красным крестом, отжал с боков фиксаторы, и стенка с лекарствами соскользнула вниз. За ней явился пульт: кнопки и выключатели, совсем никак не обозначенные, а под ними - круглая сетка динамика. Андрюшка щёлкнул выключателем, из динамика хлынули звуки: щёлканье клювов, матерщина и какой-то скрежет.

- Эй, черти! - позвал Андрюшка. - Приём!

- Борька, гад, спасай! - заорал кудрявый из динамика.

- Это не Борька.

- Андрюха, кончай телиться, тут уже всё!

- Вот-вот. А вы, козлы, на что надеетесь?

- Кончай, падла! - голос Юзика. - Сыщики, спасайте!

- Поздно! - ответил Андрюшка.

Но он не учёл Игнатовой скорости. У самой кнопки Игнат перехватил его руку, сунул носом в пол и обернулся ко мне:

- Вяжи! Я - вниз!

Андрюшка был очень сильный, и, пока я с ним закончил, Игнат привёл связанных охранников (или как их там) снизу. Мельком я заметил на мониторе, как они бежали мимо ломаемых клеток.

Едва вбежав, кудрявый крикнул Игнату:

- Верхний ряд! Правая самая.

Игнат нажал кнопку. За зеркалом, где-то внизу, грохнуло. Я выглянул. Проем за эскалатором был перекрыт мощной стальной решёткой.

- Они её не сломают? - спросил Игнат.

- Не знаю, - кудрявый ещё не отдышался. - Сразу не должны. И ударил Андрюшку ногой. Тот ждал удара и увернулся. Но попал под удар Юзика и сел на корточки. Я хотел помешать, но увидел, что Игнат не шевелится, и позволил кудрявому ударить ещё раз. Андрюшка ткнулся носом в сдвинутые ботинки Бориса, который всё время смиренно сидел на табуретке в углу.

Тогда Игнат сказал: "Хоп!" и начал допрос с кудрявого:

- С вашими главными связью есть?

- Ох, ребята, - кудрявый покачал головой, - не надо с ними... Хотите знать, мы вам расскажем. А с ними - не надо.

- Погоди, - прервал Игнат. - А что с птичками?

- Им - всё, хана. Даже если вырвутся, больше месяца не проживут. Вылупится, за два месяца вырастает, и сразу у неё в сумке - яичко, из него через месяц - птенец. Когда он вылезает из сумки, мать умирает. На всю жизнь - полгода. Одно поколение серое, другое - пятнистое, потом опять серое. Если яиц в сумке больше одного, они их выбрасывают.

- Вот эти кубики?

- А ты не поверил?

- Да где же их взяли таких?

- Высчитали. От и до - на компьютере. Все химикаты, все режимы. Потому и яйца такие. Им спариваться не надо. Самоопыление.

- А чем кормят?

- Чем угодно. Зерно, объедки, траву, нас с тобой - всё сожрут.

- Нас - только теперь, - сказал Юзик.

- Да, - поправился кудрявый. - Они по расчётам - ручные и очень любят ласку. Их надо через каждые два часа гладить по головке. А если пропустишь, она звереет, сила в ней... не знаю, как-то так умножается, что она может сломать клетку... и так далее, сами видите.

- Отхватила этому долбаному гуманисту два пальца, - вскинулся Юзик. - Как ножницами.

- Кому? - опросил Игнат.

- Знаем только имя, - сказал строго кудрявый. - Но и то не скажем.

- Мы его уважаем, - вставил Юзик.

- Кого уважать?! - Андрюшка с пола. - Живодёр!

- Ты дурак и козёл, - так же строго сказал кудрявый. - Никогда не рассуждай о том, чего не понимаешь. Он - гениальный биолог и гениальный кибернетик, мы все ему на подтирку не годимся.

- И шеф? - спросил Андрюшка ехидно.

- Шеф - гениальный мошенник, - ответил кудрявый спокойно. - Такие тоже нужны. Но без НАСТОЯЩИХ гениев всем прочим останется только порвать друг другу глотки.

- Сейчас нам глотки порвут, - Борис кивнул на экран. Мы все повернулись к монитору. Там шло фантастическое кино. Из поломанных клеток вылезали чудовища, хлопали крыльями, пытались летать, собирались в круг, сближая головы... Будто совещались...

- Ишь, - сказал Борис, - друг друга не трогают.

- Не то, что мы, - ответил Андрюшка, вставая с пола.

- Сядь, падла! - рявкнул кудрявый.

Андрюшка посмотрел на Игната, но Игнат отвернулся, и он сел по-турецки на пол.

- Сволочь, - сказал ему кудрявый. - Из-за поганых шкур хотел нас этим тварям скормить.

- Дурак, - ответил Андрюшка обречённо.

- Запомни, козёл, - говорил кудрявый веско, - у своих брать - последнее дело. Тебе что, мало платили?

- Дурак, - повторил Андрюшка. - Зря болтаешь.

- Мы тебя пожалели, - вмешался Юзик, - не отдали шефу. Думали, поймёшь. А теперь отдадим. Андрюшка вскинул на него глаза и побледнел.

- Лучше тогда птичкам, - сказал Борис.

- Лучше, - согласился кудрявый. - Попроси гостей, пусть поднимут решётку, и ты пойдёшь в питомник...

- Су-у-уки! - завыл Андрюшка. - Если б не эти легаши, всё было бы путём!..

- Всё, хоп! - оборвал его Игнат. И спросил с тревогой кудрявого: - А женщины не пострадают?

- А ты дверь в подсобку запер?

- Сделал, как было.

- Тогда в порядке, дверь крепкая.

У Игната, конечно, был план допроса. Он "качал" кудрявого:

- А где-нибудь ещё ваш гениальный биолог работает?

- Конечно, - сказал кудрявый. - В КАКОМ-ТО институте.

- Ясно, - сказал Игнат. - Там его зажимают и мало платят.

- А ты, между прочим, зря иронизируешь, - кудрявый прищурился. - Ты человек кристальный, это видно сразу, но уважать тебя за это я не тороплюсь. Вот сейчас ты погубил большое и нужное дело.

- Вместе, - поправил Игнат. - А было бы легально...

- Ой, не надо! - кудрявый поморщился. - Это так глупо, что даже не смешно. Во-первых, ни один институт такое дело не поднимет. Тем более, что на стыке наук. Во-вторых, ни одна учёная комиссия такое дело не разрешит: много риска да ещё никуда без кустарного промысла. Это может потянуть только такой человек, как наш шеф: есть деньги и есть связи на всех этажах. В-третьих, проблема заработков. Нормальному гению оскорбительно, когда не ему платят, а он должен платить, чтобы разрешили быть гением.

- Мудрено, - сказал Игнат.

- Ерунда, - ответил кудрявый, распаяясь. - Вон твой друг: небось поработал в милиции да и слинял в Лигу. Почему? Потому что в Лиге не надо кормить лишних чиновников. Что заработал, то и твоё. Верно, Малюхин?

Я кивнул.

- Ты, Эвкалиптов, кристальный, - продолжал оратор, - но это твоё дело. А другим казённых харчей мало. Человек по природе ненасытен, понимаешь?

- Ещё как, - Игнат усмехнулся. - Это же моя работа.

- А-а-а, да!.. Ты ведь - экология... За такую работу стоит уважать. Но у нас по твоей части -

порядок. Гений предусмотрел. Природе не вредим. Наши птицефермы надо ставить на помойках. Мы - санитары, если угодно. Ассенизаторы.

- Я же согласен, - перебил Игнат. - Я сожалею. Давай решать, как выкручиваться. Звать сюда власти мне неохота, потому что, - он усмехнулся, - они, допустим, обидятся, что их опередили. Да и не всё так поймут, как надо...

- Ты понял правильно, - сказал кудрявый. - Тут высоко завязано.

- А ваших звать, - продолжал Игнат, - мне тем более не хочется: у вас слишком любят стрелять. Кстати, откуда столько серийного оружия?

- Можете взять себе, - сказал кудрявый дружелюбно. - Этого оружия нет на свете.

- Ладно, - Игнат кивнул. - Подарим Лиге Частного Сыска. Но что делать, мужики? Смотрите, что творится!

На экране грифоны перестали совещаться и раскачивали клювами и лапищами решётку перед эскалатором.

И тут злодей Андрюшка воспользовался общим вниманием к монитору и купил нас всех. Вскочил, вытянул шею и крикнул:

- Там кто-то подъехал. Эвкалиптов!

Игнат поверил и выскочил на крыльцо. А этот верзила сделал два шага, прыгнул головой вперёд и ударился лбом в пульт. Мы только успели проследить за ним глазами, а через секунду, когда Игнат всё понял и вернулся, на экране был только огонь.

Андрюшка лежал на полу и смеялся.

- Что это? - спросил Игнат.

- Огнемётки! - Андрюшка аж подпрыгивал. - Напалм! Полный звездеч, никаких концов!

Из-за зеркала стало тянуть непередаваемой смесью всех смертных запахов.

- А женщины? - спросил Игнат.

- Они даже не услышат, - ответил кудрявый.

- Они даже не знают, из чьих шкурок шьют, - добавил Борис. И попросил: - Парни, служебных отношений больше нет. Может, развяжете нас да разбежимся?

Я посмотрел на Игната. Борис был, пожалуй, прав. Игнат посмотрел на меня. В глазах его... Неважно, что я увидел в его глазах. Я кивнул, и мы подняли Бориса.

- Ты тут, кажется, самый нейтральный, - сказал Игнат. - Парни, согласны, что мы развяжем его, а он потом развяжет вас? Кудрявый с Юзиком переглянулись.

- Нет, - сказал кудрявый. - Борька новичок, он может этого гада пожалеть. А его, садиста, развязывать нельзя.

- Вам всем трудно доверять, - сказал Игнат. - Идёмте за пасеку, а этот здесь останется.

Никто не возражал, даже сам Андрюшка. Может быть, в одиночестве он надеялся вытворить ещё что-нибудь.

По дороге Борис спросил Игната:

- У вас для бывшего десантника работы не найдётся?

- У нас платят меньше, - сказал Игнат. - И учиться дольше. Специальное училище и специальный вуз. И берут только чокнутых.

- То есть?

- Есть такая болезнь, сейчас уже редкая - спасательство. Детки начинают спасать планету от цивилизации - машины портят, ученье отрицают. Вот из них и набирают к нам. Поначалу была эпидемия. А теперь - ровно столько, сколько нужно. Так что, со стороны не берут. А в Лигу...

Игнат посмотрел на меня. Я сказал Борису, что мог бы его попробовать в сыскальной работе, но надо всё же подумать и о юридическом образовании.

- Строго, - вздохнул Борис. - Не собирался в вуз.

- Тогда выше этого строения не прыгнешь, - Игнат хлопнул ладонью по пустой собачьей будке на окраине пасеки. И стал развязывать ремень на Борисе.

Я освободил Юзика, Борис - кудрявого.

- Этого кретина в огонь не бросайте, - посоветовал Игнат.

- Разберёмся, - бросил, удаляясь, кудрявый.

- А ты подумай, - крикнул я Борису. Он ответил, что подумает.

В машине я избавился наконец от пистолетов и тогда обнаружил в кармане белый кубик. Не верилось:

- Неужто яйцо?

- А что ты хочешь? - Игнат вздохнул, и вывел машину на дорогу. - Это же кибернетика. А кибернетика, по-моему - это сон разума. А сон разума, как известно, рождает чудовищ.

К моему дому подъехали засветло. Игнат зайти отказался:

- Але передай, что она права: наука требует только жертв.

Аля в это время стояла у окна и смотрела на нас. Игнат ей махнул и сразу уехал.

Она ничего у меня не спрашивала. Сказала:

- Молодцы. Всё сделали как надо. Но я всё равно волновалась.

Для меня в таких заявлениях никакой мистики: она не знает, чем мы занимались, с кем имели дело, какие трофеи - она ТОЛЬКО ЧУВСТВУЕТ как-то степень риска и умеет это соотносить с нашими возможностями. Если когда-нибудь запретит ехать на дело, я могу и не поехать.

Она ушла на кухню, а я спрятал пистолеты и вынес на балкон пустые вёдра.

За столом она спросила:

- А грибов совсем не было?

Я вытащил из кармана кубик и положил на стол:

- Угадай, что это?

- Это яйцо чьё-то, - она меня ошеломила. - Какой-то искусственной сумчатой твари, вполне безобидной, но с подвохом. Давай сохраним на память, оно не испортится.

Я видел, что вопросы задавать бесполезно: эти знания у неё тоже на уровне чувств. Посмотрели друг на друга с вопросом да тем и покончили.

Игнат ходил с одним из своих кубиков к биологам. Те отослали его к геологам. А к кибернетикам он сам не пошёл. Ему лишняя информация ни к чему, довольно и того, что производство оказалось экологически чистым.

Что до меня, то в Лигу Частного Сыска заявок на расследование этого дела никто не подавал. Хотя, конечно, жаль оставлять такую историю без продолжения.

Владимир Шкаликов

БЕЗОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ

Вот ты и раздумал быть военным. Слава Богу, я рад за тебя. Армия портит характер. Все эти строевые ужимки нравятся юным девушкам только издали. В семье они быстро приедаются. Да и что это за семья, когда муж вечно пропадает в казармах, в лагерях, на полигонах, а жена предоставлена самой себе, если не сказать ещё энергичнее. К тому же, мой милый, в армии убивают. Особенно за рубежом. Нелюбовь к чужим солдатам на своей территории - чувство поистине интернациональное.

Я доволен, что твои школьные друзья не сманили тебя в юристы. У юриста, чтоб ты знал, всего три пути. Первый - политика. Там, как ты знаешь, всегда скользко, всегда опасно, а иногда, и стреляют. Второй путь - в адвокаты. Он неизбежно приведёт тебя в ряды организованной преступности, а там стреляют не реже, чем в политике. Третий и последний путь юриста - правосудие. Это поистине крестный путь, ибо судьба честного судьи, прокурора или сыщика - Голгофа: на плечах у тебя непосильная ноша, в спину тебя толкают, слева бранятся, справа на тебя плюют, а на вершине - место казни. По сравнению с жизнью честного юриста (и его семьи, кстати) армия представляется мне курортом, а всё прочее - обычными буднями у станка.

Я рад, что ты выбрал для себя искусство. Оно почти так же надёжно продлевает нашу краткую жизнь, как географические открытия или технические изобретения. Поистине, пролив Магеллана, регулятор Уатта и "Рождение Венеры" Боттичелли - явления одного ряда.

Однако твой выбор в искусстве породил во мне тревогу.

Если бы ты дерзнул стать писателем, это было бы связано с определенным риском, но выбор темы, стиля и всего прочего зависел бы от тебя. Если бы ты стал музыкантом или живописцем, я считал бы, что твоя профессия идеальна. Однако ты нацелился в артисты, и твоё намерение настолько твёрдо, что я был бы тебе плохим дедом, если бы не попытался осветить актёрское ремесло с несколько неожиданной для тебя стороны. Кажется, и как родственник, и как профессионал я имею на это некоторое право. Послушай терпеливо и внимательно. Я просто коротко расскажу, как всё было, а делать выводы - это уж твоя забота.

Итак, я был тогда мало кому известным режиссёром на телевидении. Ставил чужие поделки, и главной моей задачей была реклама. Требовалось так растворять ее в материале, чтобы она, как яд, совершенно не чувствовалась, но действовала безотказно, то есть - наповал. Я стал специалистом по всем видам продукции - от самолетов до бельевых прищепок, даже считался кое в чём авторитетом, но, как ты понимаешь, занятия ненавязчивой рекламой не делают никакой рекламы режиссёру. Так это представлял в те времена и я, и потому был весьма удивлён, когда ко мне пришли - не позвонили, а именно пришли - и предложили стать знаменитым.

Именно так он и поставил вопрос: "Хотите стать знаменитым?" Я засмеялся и ответил, что, разумеется, хочу. Он в ответ не улыбнулся. Он сказал, что людям искусства не возбраняется всё, но только в том случае, если дело от этого не страдает. Я был задет за живое и ответил, что в таком случае он, вероятно, ошибся адресом, пусть поищет кандидата в знаменитости без чувства юмора и тому подобное. Тут улыбнулся он и заявил, что именно моё столь серьёзное отношение к своему ремеслу и привело его именно ко мне. Он раскрыл свой чемоданчик и показал две толстенных пачки текста, отпечатанного на машинке:

- Здесь первые шесть серий. Ваша задача - убедить руководство, художественный совет или кого там надо ещё, что это труд всей вашей жизни, что вы согласны пропитать его любой рекламой, - а уж это вы умеете! - но фильм должен выйти в эфир.

Ты, пожалуй, понимаешь мои чувства. Честному художнику предлагают объявить себя автором произведения, которое он не создавал. Я вскочил и собрался выбросить этого парня за дверь, но у него оказалась хорошая реакция. Он мгновенно заявил, что моя решимость внушает его фирме ещё большее уважение, и с тем большей настойчивостью его фирма намерена искать именно моей помощи. Пусть авторство сценария принадлежит вымышленному лицу, пусть я не желаю посягать на авторский гонорар - это вполне понятно и похвально, - но так как фирма намерена предложить мне за помощь сумму, равную именно авторскому гонорару, то ничего нет обидного в том, что она отказывается от своих прав на сценарий в мою пользу, а вот и номер банковского счёта, уже открытого на моё имя. Пусть я не опасуюсь в дальнейшем никакого шантажа, ибо авторство для фирмы не имеет значения по двум причинам. Во-первых, данный сценарий есть плод коллективного труда, а во-вторых, фирма не заинтересована в разглашении своего участия - в интересах общественного спокойствия и безопасности... Тут он сделал многозначительное лицо и спросил: "Надеюсь, вы меня понимаете?.." Я не очень-то понял, но почувствовал, что не стоит вдаваться в подробности: мало ли разных комиссий, комитетов и прочих государственных служб не любит засвечиваться. А о частных и говорить нечего. Я спросил: "Почему вы так уверенно говорите о гонорарах и прочем, если ещё не известно, получится ли у нас..." Он перебил. Он поздравил меня с началом предметного разговора и сообщил, что здесь-то как раз никаких сомнений нет. Сюжет захватит меня с первой же страницы, я немедленно начну делать наброски режиссерского сценария,

а к концу чтения мне будет в подробностях ясно, что там к чему, на какую роль кого приглашать и как разместить всякую там рекламу. Кстати, добавил он, часть вопроса о постановке фильма заказчик готов взять на себя. Когда я закончу работу со сценарием и принесу его своему руководству, оно уже будет ждать...

Я испытывал лёгкое потрясение. Мою будущую славу организовывал кто-то могущественный и не нуждающийся в известности. У меня не было времени на глубокомысленные выводы о том, что реальная власть дороже, чем мираж популярности. Меня заботило другое... Впрочем, ты ещё не в том возрасте, когда чужие заботы могут быть интересны, поэтому не будем нарушать динамику сюжета.

Агент оставил мне чемоданчик и откланялся с вежливостью сытого леопарда. Я немедленно заглянул в рукопись и действительно не вставал, пока не дочитал до конца. Безусловно, это была работа профессионала или даже нескольких, притом профессионализм украшал не только литературную сторону сочинения, но и буквально каждое движение, каждую деталь сюжета. Револьвер ни разу не назвали пистолетом и не дали ни одной обойме выпустить больше патронов, чем она вмещает. Марки автомобилей так же легко различались между собой, как и характеры действующих лиц, и ни разу не произошло так, чтоб герой сел в одну машину, ехал в другой, а вылез из третьей. Курс валют, жаргон различных социальных групп, тонкости указов, законов, правил, кодексов, уставов, психологические особенности различных профессий, взаимоотношения внутри кланов, международная политика - всё там можно было потрогать и убедиться в качестве. К концу чтения я действительно хорошо представлял, как будет выглядеть режиссерский сценарий, какая натура потребуется для съёмок, сколько времени всё займет и кого из актёров я приглашу.

Всё прочее - дело техники. Получилось именно так, как предсказал Агент: мой сценарий был восторженно принят на студии, фильм шёл долго и с шумным успехом, после первых шести серий все мы стали знамениты, особенно я и исполнитель главной роли Александр Ходок.

Ты, конечно, уже понял, что это был мой первый 24-серийный детектив "Осьминог всегда рядом". Может быть, тебе хотелось бы узнать побольше пикантных подробностей о съёмках, об артистах, о реакции публики... Всего этого действительно было в достатке, но мне, прости уж старика, совсем не хочется об этом вспоминать: я, как выяснилось, из тех, кого сегодняшняя слава раздражает, а вчерашняя не греет. В каждой профессии, в каждой работе всегда можно найти немало интересного. Но ведь всё интересное - неповторимо. В этом его особенность и без этого оно не существует. Поэтому, как мне кажется, гораздо интереснее не млеть от чужих приключений, а творить собственные. В этом смысл жизни и отличие настоящих, живых людей от сонных, рыгающих по креслам обывателей, которые только и умеют, что переключать программы своего телевизора и приходят в панику, когда у него перегорает предохранитель.

Я расскажу тебе только одну историю, ради которой и затеял этот разговор. Она коротка и, надеюсь, обременит тебя меньше, чем длинное-длинное предисловие, которое я себе по-стариковски позволил.

Речь пойдёт об Александре Ходоке. Я знаю, что он - твой кумир, уверен, что он этого заслуживает, и надеюсь, что мой рассказ будет для тебя не только занимателен, но и поучителен - не будем бояться этого школьного слова.

Главная роль в "Осьминоге" была написана специально для Александра - это мне потом сказал Агент. Требовалась крепкая мужская фигура, хорошие боксёрские данные, лицо грубоватой, слегка неправильной красоты и мягкий голос, в котором при необходимости можно было обнаружить сталь. Александр подходил по всем статьям. Он крушил челюсти противникам, терпел поражения, но поднимался, был любим и любил, терял близких и друзей, стрелял быстрее и точнее своих врагов, хотя и сам получал ранения. Это был не супермен, а один из нас, но лучший из нас. Его именем повально называли новорождённых мальчиков и даже девочек, поклонницы устроили за ним настоящую охоту... Об охоте, впрочем, поговорим особо, а пока закончу о фильме, чтобы тебе стало ясно, почему это произошло.

Фильм рассказывал о самом болезненном явлении всех времён - об организованной преступности. Двадцать четыре серии погонь, убийств, предательств, подкупов, замешанные на любви и политических афоризмах, да ещё под превосходную музыку - до чего же это захватывающе, если вечером, в кресле да на сытый желудок! "Мафию необходимо остановить" - вот мысль, которую я честно старался донести до рыгающего обывателя. Разумеется, комментаторы и критики равного толка с помощью всевозможных "если", "чтобы", "потому что" и "почему" истолковывали моего "Осьминога" и как "вклад в борьбу с организованной преступностью", и как "ловкую поделку заурядного режиссёра, падкого до славы любой ценой", но нам-то следовало думать о главном - о герое, с которого мальчишки захотят взять пример. И эту задачу мы выполнили. Даже мой собственный внук не стал исключением, и это мне приятно.

Но вот мы с тобой и добрались до самого главного в работе актёра - до популярности и связанных с нею опасностей.

Александр Ходок был настоящим мужчиной не только на экране. И в жизни бывали случаи, когда он довольно успешно работал кулаками, поэтому на съёмках раза два его украшали самые нас-

тоящие синяки и хромота он вполне естественно. Однажды ему даже пришлось сниматься с лёгким пулевым ранением. Разумеется, этого никто не знал, и зрителям казалось, что видят высокое мастерство - в течение всей серии не забывать о том, что ты ранен. После очередного сериала ему даже пришлось отвечать в интервью на вопрос об этом. И он не удержался. Он сообщил журналисту и о настоящих синяках, и о хромоте, и о настоящем ранении. И даже объяснил всё это одной причиной: кое-кому из деятелей мафии очень не хочется, чтобы "Осьминога" снимали и показывали миллионам людей. Кое-кому не очень хочется, чтобы тайны подпольных синдикатов становились достоянием общественности, поэтому артиста сначала запугивали, потом пытались избить, а затем дошло дело и до стрельбы.

Помнится, интервью наделало много шума, общественность начала требовать от властей безопасности для кумира, и к Александру были приставлены два телохранителя, а ему самому выдали лёгкий бронежилет.

Разумеется, нашлись и такие умники, которые объявили покушение на Ходока очковтирательством. Раздавались голоса, что, мол, бесконечный сериал, в котором правосудие высшим своим достижением в борьбе с мафией может считать только ничью, - это не что иное, как самореклама и легальный бизнес преступного мира, что фильм - очередная попытка мафии доказать собственное бессмертие и нет ничего удивительного в том, что артист за хорошие деньги изображает жертву мафии даже на улице, а режиссёр - душа всего предприятия - остаётся в тени и никаким преследованиям не подвергается. Правда, после этого было ещё одно покушение, на нас обоих да ещё в присутствии независимой прессы, и тогда уж крикуны поутихли. Но речь не обо мне, а о трудностях актёрской профессии.

Ведь согласись, мало радости - даже за хорошие деньги, - когда тебя всерьёз лупят на улице, охотятся за тобой не с твоей фотокарточкой, а с дубиной или с пистолетом. Стоило Александру в этих драках сделать неточное движение, и удар мог его искалечить, пуля могла убить. Притом заметь: если я, как режиссёр, мог прервать контракт когда угодно, ибо я всегда за кадром, то ему эта роскошь позволена не была: играй героя и всё тут, заменить тебя некем. А если надо для дела, то изволь и быть героем, прямо в жизни.

Вот и думай после этого, стоит ли тебе становиться актёром. Ведь никогда не знаешь заранее, чем обернётся для тебя очередная роль и какой встретится режиссёр.

К слову сказать, почему бы тебе не попробовать себя в режиссуре? Моё имя откроет тебе необходимые двери, способности у тебя есть, удача, надеюсь, тоже не обойдёт...

Кстати, об удаче я тебе вот что скажу. Она во многом зависит не столько от наших профессиональных способностей и навыков, сколько от личных достоинств. В немалой степени, например, от чувства справедливости. Должен тебе оказать, что этого парня, Александра Ходока, я не обидел ни разу. Все гонорары за покушения поступали на мой банковский счёт, и я всегда честно вручал Александру его долю. Можешь мне поверить, что честность в отношениях с деловыми партнёрами ценится в мафии гораздо дороже, чем в любой легальной фирме.

1990г.

Владимир Шкаликков

БЛУДНЫЕ ДЕТИ

Новелла

То, что ты задумал, и то, что ты изготовил - не всегда одно и то же. Даже - точнее - всегда не одно и то же. Особенно если изготовлял не сам. Вот не могу я сам сделать обложку, и получается срам: не то нарисовано, не тем шрифтом набрано, и вообще брать её в руки...

А вот и нет. Когда берёшь в руки только что изданную книгу, бандеролькой присланную, с обратным адресом: "Издательство РАШЕН КРИМИНАЛ", а в книгу вложен листок всего с двумя словами: "Сигнальный экземпляр" - это сильно впечатляет. И пошлое желание погладить ладонью обложку не кажется таким уж пошлым. Честно говоря, даже пошлая картинка на глянцевой обложке не так уж и раздражает. В конце концов, это дело издательства - продать мой товар, так пусть и отвечает - за этих двух полуголых на обложке, за их автоматы непонятной конструкции, за этот перекошенный над ними вертолёт с хищной эмблемой и за этот размазанный лесной фон, изображающий тайгу. Важнее то, что имя автора на обложке - сугубо русское. Мода на иностранные имена прошла, читатель ждёт национального чего-то, так на, возьми его скорей.

Я бы и издательство переименовал, но вот это уже не стоит. Имя издательства, как и имя автора, должно быть хорошо "раскручено", должно быть на слуху. Хватит и того, что все надписи на обложке сделаны этакой славянской вязью - сразу видно, где происходят события. Русский дух начал возрождаться, ему надо себя осознавать, но и этот процесс, как всякое лечение, необходимо дозировать.

А исходить приходится из того, что имеем. А имеем - сплошь американские образцы. То есть, чтобы у сегодняшнего массового читателя книга вызвала интерес, на обложке должна быть голая женщина с пистолетом, а название книги - обобщённо - "Смертельное убийство". Даже обидно, что эту гениальную злую шутку придумал не я. Зато у меня на обложке - голые мужчина и женщина с автоматами, а называется она - "Живьём брать не будут". Было ещё два варианта - "Шанс для дичи" и "Опасная мишень". Издательство выбрало этот. Бог с ними. Варианты легко пойдут в следующий роман, об этом же герое, у которого русская казачья фамилия Скидан, служит он в элитном спецназе и работает только в зарубежных командировках. Там свой особый мир, в котором спецназовцы всех стран знают друг друга по именам и относятся друг к другу так же, как у Хема старик Сантьяго относился к Большой Рыбе: "Я любил её и потому убил". Сходство усиливается ещё и тем, что марлин тот старику не достался, акулы съели. Ну и моим спецам ничего не достаётся, кроме орденов да званий. Ну, ещё закрывают глаза на некоторые шалости. Мой Скидан завалит в этой книге несколько и своих россиян, и иностранцев, но это сойдёт ему с рук, потому что ему в очередную командировку ехать. Да и убил-то кого: мерзавцев, которые во глубине Сибири устраивают спортивную охоту на людей, случайно захваченных в тайге: туристов вроде Скидана и его жены, грибников, охотников, бродяг... За большие деньги, конечно, которые надо называть бабками. И ещё многие вещи надо называть не их нормативными именами, а теми прозвищами, которые им даны сегодня. Милиционеры - менты, доллары - зелёные, рубли - деревянные, огнестрельное оружие - стволы, бродяги - бомжи... Стиль эпохи, одно из правил игры.

Не будь таких правил, ах как бы мы все писали. Если бы платили...

Ну, хватит отвлекаться. Ошибок на обложке нет, в выходных данных всё на месте, приятно велик для наших времён тираж, цена книги - договорная. Теперь надо почитать её как чужую, по правилам гамбургского счёта.

Кстати, уже сейчас мало кто знает, что означает милицейская аббревиатура БОМЖ, а что такое гамбургский счёт - давно забыли почти все.

Итак, оценим собственный роман без поддавков. Как говорил поэт, на фоне Пушкина.

У полковника Скидана боевое прозвище, оно же позывной - Марлин. Не тот Марлин средневековый, который астролог и колдун, а тот, который меч-рыба. Но и колдун немного тоже, потому что хорошо развита и оттренирована солдатская интуиция. Он чует заранее, где опасность, какова её величина и даже скорость. Он находчив, стремителен, беспощаден, но знает меру и лишнего не натворит. Абсолютный боец. Знали бы организаторы охоты, чью яхту остановили на реке. И совсем ничего, что я, рядовой читатель, заранее знаю: победа будет за Марлином, а вот этого бизнесмена, который охоту организовал, он обязательно достанет. Это мне, читателю, и требуется. Я хочу, чтобы хоть несколько гадов понесли наказание по-настоящему - не в элитных камерах отсиделись, а погибли бы в суматохе драки, мимоходом, как комары на здоровом теле. Неважно, что стрелы у Скидана без наконечников, он и такими... Зато тетива сплетена из волос жены, молоденькой и прекрасной. Неважно, что Скидан достаёт одного из охотников ножом аж на той стороне речки. Речка узкая, а рука твёрдая - такое возможно. Неважно, что башня в тайге у злодеев высотой аж сто метров, а сложена из брёвен, всего лишь скреплённых железными скобами. Основной читатель - горожане, они не поймут. Неважно, что стволы кедров у меня тёмно-коричневые. Никто проверять не пойдёт. Неважно, что слишком много электронных "клопов" в

одежде, обуви и прочих предметах, которыми снабдили свою дичь охотники. Такое тоже возможно. Но вот курс городские знатоки проверяют обязательно. И поймают меня на серьезнейшем зевке. Герои находятся в северном полушарии, идут на юг и уклоняются всё правее, чтобы двигаться - куда? На юго-запад! А у меня - на юго-восток. И редакторы в издательстве не заметили. Срам. И насчёт флота всё же прокололся. Мой герой - морской полковник, это бывает, и он часто натывается на бывших моряков и использует флотскую терминологию. Сам я не служил вообще, но и в автомате Калашникова у меня 30 патронов, и израильский "узи" имеет калибр 9 миллиметров, и таинственный ПП-90 у меня бьёт бесшумно, но АПС всё же лучше... Но какого же чёрта никто не заметил, что один из бывших морячков у меня "служил в Черноморском флоте"? Не *во флоте* служат, а *на флоте*. Моряков в России много, посмеются, стыдно. А вот опечатка - удачная и явно не моя: жену героя захватчики бьют по попке, а напечатано - "по полке". Дальше попка повторяется уже правильно и всё смеющимся объясняет.

Зато всё простят за жену Скидана. О такой женщине только мечтать. Верна, надёжна, понятлива, не капризна - это ещё нормально, хотя и уже здорово. Но когда она отсылает мужа "кинуть пару палок" несчастной спутнице, только что потерявшей подлеца-мужа, дабы поднять ей дух - вот за это читатели-мужчины будут аплодировать. И потом простят ей сознательный грех, когда ради спасения связанного мужа она отдаётся сразу троем и потом признаётся Скидану: "Знаешь, что самое страшное? Мне это понравилось. Раз сто кончала". Мужчины-читатели очень её пожалеют, когда отмороженный киллер-кавказец, за секунду до собственной смерти, успеет застрелить её на глазах мужа.

"Отморозок" - тоже неологизм, без которого не обойтись.

Кстати, отморозки у меня - разных национальностей. Тут всё штатно. Ни в каком национализме никто не обвинит. И русская слава - налицо: наш спецназ побеждает зарубежных соперников в третьих странах. В общем, всего в меру.

А вот как с сексом, если на фоне Пушкина?

Ну, может быть, слегка сильновато с сексом, это можно признать. Но как ещё показать *сегодня* настоящую любовь. Пушкину было вольно: до него не было романа. А тут у одного меня этот - шестой. И в каждом покажи любовь немного не так, как в других. Тем более, что тема любви даже патологическим бездарям кажется неисчерпаемой. Не в том смысле, чтоб сегодня на карачках, завтра на люстре, а в том, чтобы испытать её в разных ситуациях, коим действительно несть числа. Измен случайных, вынужденных, ошибочных, сознательных, даже восторженных - бесчисленное множество вариантов, и после каждой возможно прозрение или раскаяние с последующим возвращением к исходному, подлинно любимому объекту страсти. Вот на этом всё и строится, кто не знает... Важно только не перебрать. И хоть немного выдумки.

Вот жена спасла Скидана от верной смерти, отдавшись троем злодеям, вот рассказала ему всё, *как своему*, а он несознательно стал её избегать: мужское собственничество не может преодолеть. Тогда она открыто ему изменяет с ничтожеством, которому кричит: "Я - твоя блядь!" Небольшой перебор, пожалуй. Зато через несколько страниц спасает мужу жизнь, а ещё через несколько отдаёт за него свою. Почтеннейшей публике остаётся признать: бывает, и такое может быть. Вообще, на свете возможно всё, до чего способен додуматься человек.

Тут дело лишь в том, чтобы у читающего не исчезало ощущение неотвратимости происходящего. Никаких "роялей в кустах". Неудобства, неприятности, засады подстерегают героя везде, где может их вообразить въедливый читатель. Если он их не дожждётся, то скажет, что автор подыгрывает герою, и это - поражение автора. Никакого везения, только личное мужество, тренированность, предусмотрительность и - изредка, подарком - помощь друзей. При этом желательно, чтобы друзья понесли потери - для убедительности.

Забавно: когда я начинал первый роман, героям было чуть за двадцать, а теперь им уже за сорок - стареют вместе со мной. И мои привычки, если всмотреться, они вынуждены иметь: так же страдают без курева, так же любят выпить, так же любят комфорт, так же небрежны в одежде, но следят за чистотой ногтей и часто подмываются. О ком бы мы ни писали, мы пишем о себе.

Даже когда скупно разбрасываю по тексту мелкие приметы нашего поганого времени, я тоже пишу о себе. Слегка подумав, почтеннейшая публика увидит, что в этой мутной воде я один из тех, кто приспособился и не дохнет с голоду, как большинство писателей В ЭТОЙ СТРАНЕ.

Мне не стыдно от этого. Мне не стыдно называть Россию *этой страной*. Это не моя страна, ибо не я сделал её такой. Я - только выживаю. Более того, если критика напишет, что мои романы - мутные капли мутной волны насилия и разврата, пришедшей к нам с Запада и захлестнувшей, я не буду спорить. Но я объясню, что мои романы - начало конца этой волны. Вина сегодня на тех, кто эту муть начал первым переводить и издавать, кто её разрешил. Я только подключился. Но не как подражатель. Я пишу *русское*. Это очень важно. Этой конкуренцией мы - а нас немало - сбиваем зарубежную бульварщину в наше национальное русло. И нам это удаётся. А там и муть начнёт оседать.

Мой следующий роман будет называться "Операция "Бросок". Там Скидан будет мстить за убитую жену и погибших друзей, ибо это его первая операция на родине. Все займки, вроде той, на

которой он побывал с женой и где на них охотились иностранные туристы, отслежены самыми новыми средствами обнаружения, и группа Скидана начинает охоту на этих охотников. Без пощады. Молча. И ещё кое-кого зацепят, из пока не называемых. И так зацепят, что почтеннейшая публика поймёт: в России начато наведение порядка. И неважно, какими методами. Публике это никогда не важно. Ей подай интересное. И цель чтоб была благородная. Она, публика, хочет именно того суда над злодеями, который запрещён законом. Это давно есть в американских боевиках. И не только в американских. И не мутной будет русская волна, а кристально справедливой. И любой секс мне тогда простится, и любые способы уничтожения негодяев, и мелкие промахи вроде того, который я сам заметил в последней книжке: герой не может сунуть руки в карманы, потому что карманов нет, а через семнадцать страниц, оставаясь в тех же брюках, вынимает из карманов сигареты и зажигалку. Ничего, простят или не заметят. Да и я больше не прозеваю.

Я очень надеюсь, что напишу и такой роман, в котором смогу работать над стилем столько, сколько хочу, буду, как Экзюпери, защищать те мысли, какие давно вынашиваю, и платить мне за него будут так же, как Экзюпери - чтоб деньги всегда лежали в вазе на столе, и каждый брал, сколько надо. Я уже научился главному в литературе: видеть классику и подёнку не через сто лет, а сегодня, в своих собственных сочинениях. Я честно вижу, что ни один из моих изданных романов на классику не тянет. Все они - дети блуда. Но я знаю и то, что сегодня почтеннейшей публике больше нужны подёнки. А у меня нет другого способа заработать, как их сочинять. Я сам - пока - блудный сын русской литературы. Но блудные сыновья возвращаются. Я знаю, что талантлив. Я знаю, что продаю свой талант в розницу и по дешёвке. Но у меня никогда не пройдут боли от тех шишек, которые мне набили, когда пытался продать что-то стоящее. Я не хотел быть неудачником и я им не стал. Я скоро преуспею и успею написать ещё, и такое, что меня не забудут.

Время бульварщины, конечно, никогда не кончится. Тут я не обольщаюсь. Оно не закончится для общества нигде и никогда. Но оно закончится для меня, отдельно взятого писателя с русской фамилией. Эта фамилия уже достаточно известна, чтобы издать под ней кое-что *настоящее*. У меня есть это *настоящее*. Я допишу его непременно, едва закончу контрактные обязательства перед всеми этими *рашен криминалами*.

Беспокоит одно: мои герои будут уже дряхлыми стариками.

03.10.03г.

Владимир Шкаликов

ИМЯ АВТОРА

Поучительная история

Стояло позднее воскресное утро.

Кабинет писателя напоминал отсек подводной лодки.

Это была узкая комната с окном в одном конце и дверью напротив. У окна размещался раздвижной обеденный стол, который перекочевал сюда из большой комнаты. Там за ним когда-то пировали весёлые компании, но потом писатель и его жена состарились, их дети разъехались, друзья поумирали, и пировать стало некому. Место большого стола занял маленький, журнальный - лишь бы попить вдвоем чаю перед телевизором да сыграть в нарды или в шахматы.

Однако ни на телевизор, ни на игры выделять много времени писатель не мог. Он всю жизнь готовил себя к активной старости, и вот она наступила и не позволяла терять впустую остаток жизни, утекающей всё быстрее. Выиграв первую партию и проиграв вторую, он говорил жене: "Игра есть развлечение работяги и страсть лодыря". И отправлялся в свою комнату, которую по писательским правилам надо называть кабинетом. Сам он называл её мастерской, а жена - подводной лодкой.

Ему нравилось, что она так называет его мастерскую. Это напоминало тот боевой корабль, на котором он в молодости служил. Проходя между книжными стеллажами и шкафами к своему столу, он чувствовал себя надёжно, как будто по бокам были не хрупкие кирпичные стены, а толстая выпуклая броня прочного корпуса, которая не боится сокрушительных глубинных давлений. И не столярный верстачок был втиснут меж двумя шкафами, а монтажный столик с хитрой морской электроникой. Не пишущая машинка была накрыта красным клеёнчатый чехлом, а аппарат подводной связи. Не переплётный пресс висел на гвозде, а секстан. Не столярный угольник соседствовал с прессом, а шагающая штурманская линейка. Не карта Томской области заменяла ковёр над самодельным жёстким топчаном, а секретная схема охраняемой акватории. И не топчан это был вовсе, а флотский рундук, покрытый не спальным мешком поверх сложенной брезентовой палатки, а флотским матрасом, набитым для плавучести пробковой крошкой. Только боксёрская груша, побитая и потёртая до бесцветия, была та самая. Он получил её в детстве как приз за победу на ринге и возил с собой повсюду. Внутренний мешочек он набивал горохом, вмещалось ровно шесть кило. А когда приходилось переезжать далеко, высыпал горох и заталкивал пустой снаряд в рюкзак. Теперь этот старенький рюкзак стоял на своей раме у стеллажа. В нём помещался берестяной короб для грибов да совочек с граблями для сбора черники. А когда-то в нём побывали и живая камчатская чавыча величиной с хорошую акулу, и акваланг, и горные трикони с ледорубом, и репортёрский магнитофон с фотоаппаратом, и стартовый завтрак парашютного звена. И множество, множество книг перебивало в этом рюкзаке, прежде чем попасть в шкафы и на стеллажи.

Поначалу, когда ещё не занялся писательством, он собирал книги художественные. Первым, ещё в раннем детстве, ему в руки попал забытый кем-то из гостей том Джека Лондона. И он до сих пор знал наизусть рассказ про боксёра-мексиканца, который преуспевал в им самим презираемой профессии. Следующий рассказ - о любви к жизни - он тоже знал наизусть и даже испытал судьбу его героя на себе. Вторым был томик Михаила Лермонтова, и он особенно любил в нём стихотворение про умирающего гладиатора, чьи колена скользят во прахе и крови. На обоих этих томах - к счастью будущего писателя - было невзрачное название "Избранное". Поэтому он и обратил внимание на фамилии авторов, хорошо их запомнил и всегда им радовался, встречая на полке магазина или в чьём-нибудь шкафу. За свою длинную жизнь он окружил себя множеством таких друзей. Среди них были соотечественники: Пушкин, трое Толстых, Анчаров, Высоцкий, Булгаков, Некрасовы, Курочкины, Стругацкие, Колупаев, Куваев - несколько полок интереснейшей, настоящей художественной литературы. Не меньше места занимали иностранцы: Хемингуэй, Мелвилл, Кафка, Гёте, Грин, Мериме, Гюго, Акутагава - все в переводах, потому что писатель не знал иностранных языков. Но то были лучшие российские переводчики: Кашкин, Маршак, Пастернак, Чуковский, Бернштейн, Фельдман, Стругацкий...

Как в театре или в кино зрители ищут имена любимых артистов на афишах, так этот наш герой собирал книги любимых авторов. Он довольно рано понял, что может жить только писателем, и всю жизнь себя к этой трудной работе готовил.

Прежде всего, думал он, надо прочесть всех лучших авторов, чтобы самому писать не так, как они. Иначе будут говорить - подражатель, эпигон. И он читал запоем. Соблюдая, впрочем, гигиену, чтобы до срока не испортить глаза.

Далее, думал он, нужен собственный жизненный опыт, чтобы лучше всех знать, о чём

пишешь. И он учился в разных институтах, жил в разных краях, работал на самых разных производствах и овладел таким множеством профессий, что мог бы запросто составить какой-нибудь "Справочник строителя", "Справочник рыбака" или электрика, слесаря, столяра, журналиста, шофёра, водолаза, лесозаготовителя и множество других. Но все эти справочники уже были составлены и все имелись у него на полках, чтобы сверять с ними собственную память, когда сочиняешь художественные произведения.

Он сочинял всегда: и в институтах после занятий, и на заводах после работы, и в экспедициях, и даже в отпусках. Он не мог не сочинять. Он говорил, что писателем, как и любым другим специалистом, надо родиться, пораньше открыть и развить в себе дар, тогда проживёшь отпущенные природой годы не зря, а перед уходом не будешь ни о чём жалеть. Он говорил: "Художник, писатель - это не профессия, это образ жизни". И писал даже в трамвае, в аэропорту или на вокзале, подставив под тетрадь колено.

Сначала это были рассказы. Такие маленькие, что он предлагал их в газеты. Иногда принимали, иногда публиковали. Вместе с опытом рассказы увеличивались и перестали помещаться в газетах. Он начал рассылать их в сибирские журналы, и, если там оказывалось место между романами известных мастеров, ему выделяли одну-две-три странички. Он никогда не гордился этими успехами и на поздравления друзей отвечал шуткой: "Моими сочинениями удобно затыкать мелкие прорехи в мировом литературном процессе".

Однажды толстый журнал легко и даже внезапно принял его небольшую повесть: она оказалась злободневной в самом начале эпохи больших перемен. Он сделал из этой повести киносценарий и отправил в Москву. Но ответа не получил. Это было привычно: он уже много раз не получал ответов из Москвы, а из Питера вежливо и однообразно писали: "Сибирь не входит в наш Северо-Западный регион", хотя и издавали более известных сибирских авторов.

Он не убивался по поводу поражений. Даже не расстраивался. И говорил такое, чему верила, может быть, только жена: "Некогда тратить время на обивание порогов. Надо писать, пока пишется, а продавать будем потом". Она по нардам и шахматам знала, что для него процесс важнее результата. Получая от неё мат, он никогда не огорчался и не требовал реванша. И всегда уговаривал её не злиться, если слишком часто выигрывал сам. И снова напоминал анекдот про мужа-профессора: "Важен не результат, а метод поиска". Чтобы поверить в это анекдотическое равнодушие к проигрышам, жене потребовались годы. О друзьях нечего и говорить: они считали его неудачником и от души жалели. Его сочинения они хвалили тоже от души, но на то и друзья...

Он долго писал реалистические рассказы, но однажды проснулся на своём самодельном топчане с ощущением, что этого мало. (Его всегда осеняло по утрам, перед пробуждением). Он подумал:

"Зачем людям читать реализм, если его полно за окном?" И взялся за фантастику. И у него получилось. Романы стали принимать и готовить к печати. Но фантастически неожиданная напасть и тут перекрыла ему дорогу.

Первый, самый любимый роман был принят по очереди в четыре издательства. И все они, начав подготовку роковой рукописи, впадали в кому и закрывались. Трижды выбрасывались гранки, наборы, иллюстрации, а непроходимая рукопись возвращалась к автору, вся размеченная синим редакторским карандашом. В последнем издательстве приняли даже все три его романа, но успели-сумели издать только первую книгу самого любимого, рокового, и тоже обрушились.

Писатель не терял присутствия духа и в своих дневниках продолжал фиксировать повороты судьбы. Он научился этому ещё в детстве - отмечать моменты, когда жизнь, а значит, и судьба может круто измениться. Его дневники хранили такие моменты, когда он мог, например, стать профессиональным военным, но отказался; когда была возможность хорошо и на всю жизнь устроиться в журналистике, в милиции, в педагогике, в науке... Но он уходил от распахнутых дверей, которые вели к рекордным вершинам профессий, точно так же, как в молодости менял виды спорта, едва превысив средний уровень. Всё достижимое быстро приедалось, а в литературе вершину было просто невозможно разглядеть, и он ломился и ломился в чуть приоткрытую щёлку под воротами в писательство, но после каждой попытки оказывалось, что они открываются не в ту сторону.

В четвёртом издательстве ему предложили: получить гонорар деньгами после продажи всего тиража или взять сразу - книгами. Он с удовольствием выбрал второе и начал одаривать романом всех друзей и знакомых, а одну пачку - больше не взяли - отнёс на продажу в магазин "Букинист".

И тут он почувствовал, что пора окинуть, наконец, взором положение в отечественном книгоиздании, чтобы присмотреть место в этом процессе и для себя. Он решил выписать из книг адреса всех, какие попадутся, книжных издательств и начать, наконец, осаду сразу во все стороны: авось какая стена да не устоит.

Чаще всего букинистические магазины бывают небольшими, но этот, самый старый в

Сибири, занимал несколько обширных залов с высокими потолками и был поистине похож на книжный храм. Столы и стеллажи занимали всё мыслимое пространство, и каждая книга была настолько доступна посетителю, чтобы не просить продавца: "Покажите". Сам подходи и листай.

Писатель несколько часов выписывал адреса издательств и просто листал книги великих и невеликих авторов, приветствуя друзей, радуясь открытиям, досадуя над яркими дорогими поделками с голыми вооружёнными красотками на обложках, разящими окровавленных вампиров среди глянцевой космической тьмы. Когда добрался до конца экспозиции, он окончательно уверился, что его книжкам здесь делать нечего: среди великих авторов его не заметят, а среди халтурщиков - не выберут. Рынок переполнен. Чтобы тебя купили, надо быть знаменитым, а чтобы стать знаменитым, надо быть покупаемым.

Но он не мог бросить своё дело. Он зверел, как наркоман, если не писал, и жена сама начинала делать намёки и предлагать сюжеты. Его жена была мученицей его литературных исканий, она вынесла с ним все путешествия и приключения, всю бедность и неустроенность, и он ей доверял. Он должен был найти свою тему и своего читателя.

В конце необъятной экспозиции для взрослых всего один стеллаж - и то скромный - занимали книги для детей. Совсем немного знакомых имён - Несбит, Перро, братья Гримм, Родарри, Андерсен, Киплинг, Экзюпери, Линдгрэн, Уайльд - все иностранцы. Совсем немного разных сборников народных сказок и почти нет российских авторов. Он понял: эти книги не покидают своих домов, их не сдают букинистам, а передают от старших детей к младшим или дарят чужим малышам. Книги для детей - высший пилотаж литературы.

Он внимательно перебрал на стеллаже все детские книги. Он не признавался себе, что тайком ищет голубой корешок той единственной детской повести-сказки, которую написал для сына и легко издал в Томске, с яркими, весёлыми иллюстрациями. Это было давным-давно. Сказка понравилась детям, весь тираж был раскуплен в области мгновенно. Долго приглашали на читательские конференции в школах. Совсем недавно в одном классе сразу трое ребят заулыбались ему, как родному, и сообщили, что прочли и хранят эту книгу, только не запомнили фамилию автора, ах, как приятно.

Спросили, где сейчас можно книгу купить. Он ответил, что больше её не издавали.

- А почему?

- У меня на это нет денег, - ответил он честно, - а ПРОСТО ТАК переиздать никто не решается.

Теперь он стоял в книжном магазине и смеялся над своей глупостью. Зачем писать для взрослых? Ради денег? Не получится, не тот характер. Для взрослых и так пишут все - их ведь надо развлекать. А вот ОНИ, ожидающие тебя читатели, которые найдут, выберут, будут читать и перечитывать твою сказку, потому что она - добрая и смешная. И воспитывает - они сами это говорят. Значит, надо любыми усилиями издать её снова. И написать множество других. Только для детей...

Решающий поход к букинистам состоялся пять лет назад. За это время было написано то самое множество новых сказок, в котором он тогда поклялся перед детским стеллажом. Но выпустить книгу так и не удавалось. Ни самую первую, ни новую. Издатели говорили: "Ищите деньги - издадим с удовольствием". Это были местные. А из больших столичных издательств на его письма просто не отвечали.

Других детских писателей в городе не было, посоветоваться можно было только с теми, которые писали для взрослых. Все они уже нашли себе спонсоров и издавали потихоньку свои взрослые книги в своём городе. Один из этих писателей объяснил, что сейчас в издательствах никто писем не читает, их бросают в корзину не вскрывая. Почему? Потому что солидные авторы предлагают свои солидные сочинения через сеть Интернета (было сказано просто - "Сеть"), а для этого надо купить компьютер, перепечатать (было сказано - "перегнать") сказки на дискету и через Сеть передать их (было сказано - "сбросить") на обозрение всем издателям. Надо лишь завести в Интернете свой раздел (было сказано - "сайт"). Сказочник не имел средств на покупку персонального компьютера, на содержание принтера и участие в Интернете. Они с женой всегда жили от зарплаты до зарплаты, а последние несколько лет - от пенсии до пенсии. Он увидел себя в тупике, из которого без посторонней помощи не выйти.

От детей помощи ждать не приходилось - это ведь были их дети.

Он попытался найти фирму, которая оплатила бы его расходы на издание сказок. Он предлагал верное дело: "Книгу быстро раскупят, и ваши деньги вернутся". Но ему не верили: "Сказок полно, детских книг навалом, они дорогие - кто купит?" Бизнес не поддавался убеждению, да писатель и не любил убеждать. То, что было очевидным для него, казалось очевидным для всех - в чём же убеждать?

И вот настало то самое воскресное утро, о котором идёт рассказ.

Писатель заставил себя сделать утреннюю разминку, попил чаю и вошёл в свою мастерскую-кабинет-подводную лодку. Жена ещё спала, её телевизор не мешал думать.

Только оконное стекло дребезжало от ровного, привычного автомобильного гула. Молчали книжные корешки на полках. Он всегда считал их друзьями, а оказалось, что им безразлично, кому принадлежать. Он всю прошедшую ночь пытался найти в них уже не ответы, а хотя бы один совет: как не утонуть бывшему водолазу в этом океане равнодушного молчания. Не добился ни ответов, ни советов. Молчали и собственные рукописи - целая полка обыкновенных картонных папок, никуда не пристроенных подарков Человечеству.

Всё оказалось напрасно. И мысли, которые он скопил, и мастерство, с которым их выстроил. Не хватало там чего-то ещё. Цемент в кирпичной кладке. Таланта? Везения? Связей? Теперь это не имело значения.

- Досадно, - пробормотал писатель. - Делал всё честно, как разумел: чтоб было и смешно, и страшно, чтоб не было вранья и чтоб была в подтексте пища для подсознания... Чем-то обидела меня Природа. Или я - Её...

Окно продолжало дребезжать. Он распахнул его и швырнул в утреннюю сырость тетрадь с недописанной повестью. Со второго этажа она должна была перелететь тротуар и никого не задеть.

Следом за тетрадью полетели книги с ближайших полок. Он брал их небольшими пачками, чтобы через стол и подоконник бросать подальше, на травку под берёзами.

Он вовсе не думал об их дальнейшей судьбе. Выберет ли какой-нибудь простак что-нибудь для чтения на досуге или отнесёт кто-то практичный букинистам - совершенно не важно. Важно, что сам он к букинистам не пойдёт. Деньги на книги потрачены, но ими оплачены знания, впечатления, а раз эти знания и впечатления не пригодились, то не нужны и деньги - нечего больше на них купить в ненужной, бессмысленной жизни.

Казалось, он швырял книги бесконечно долго, но когда посмотрел на часы, увидел, что ушло на всю работу около пятнадцати минут. Так он и запишет в дневнике. Только сначала выбросит рукописи.

Папки улетели за окно, он закрепил дребезгучее стекло гвоздиком и захлопнул раму. Вниз, на газон даже не поглядел. Сразу взял дневник - простую школьную тетрадь с трёхзначным номером - и сделал запись: поставил число, отметил погоду, обозначил время и написал, что выброшена вся ненужная бумага, оставлены только дневники (как поучение для внуков) и инструменты, потому что их жалко выбрасывать.

Человек, бросивший писательство, оглядел пустую комнату и решил, что на эти полки можно будет ставить берестяные туески, резные блюда, солонки, пряничные доски, шкатулки, игрушки - всё, что он теперь изготовит и будет раздаривать внукам, детям и их друзьям. Пока не оставит этот неинтересный мир. И пусть Человечество выкручивается как хочет...

Он зря не посмотрел за окно, на свои выброшенные книги и рукописи. Их быстро собирали дети, у которых был как раз выходной день. Кто-то сбежал за тележкой, другие принесли сумки и рюкзаки, и еще до обеда на газоне было пусто и чисто, начавшемуся дождю ничего не удалось испортить.

Назавтра был понедельник. После занятий юные спасители книг и рукописей сдали свою добычу в макулатуру и на вырученные деньги собрались закупить сладостей. Но по дороге им попался старичок, разложивший прямо на тротуаре, на коврике, старые книги. Среди них была стопка чудом завалевшихся у него книжек с голубым корешком. Одна из девочек остановилась: "Ой, смотрите! Та самая сказка, что досталась мне от старшей сестры, а кто-то из вас же и зачитал! Давайте, покупайте новую, сохранию её для своих будущих детей!"

Вся стопка книжек с голубым корешком была тут же куплена по дешёвке, и ещё остались деньги на сладости.

Если бы предприимчивые дети сравнили имя автора на сданных в макулатуру рукописях и на обложке этой книги, они были бы обескуражены и постарались бы спасти папки. Но они запоминали только названия книг.

28.11.2001г.

Владимир Шкаликов

МАНДАРИНОВЫЙ САД

Шёл по городу человек в широком плаще. На Каменном мосту он увидел молодого художника. Этудную стоял прямо на тротуаре, прохожие оглядывались, иные ненадолго задерживались. Остановился и наш. Он взглянул на холст и увидел каменные перила моста, холодную, как сталь, воду реки, скованную каменными стенками, новые высокие и старые приземистые каменные дома вдоль набережной и железную мачту телевизионного центра, воткнутую в серую облачную рвань. Всё на картине было таким, как вокруг - октябрьская стужа, сырость и неприязнь.

Художник уже заканчивал работу, и прохожий дождался, пока он положит последний мазок.

- У вас твёрдая рука, - оценил прохожий.

- Форма требует ремесла, - ответил художник. Он повесил ящик с красками на плечо и собрался уйти, но прохожий остановил.

- Ручаюсь, - сообщил он, - хоть я и первый раз в этом городе, но мастерскую вашу найду без труда.

- Я тоже, - буркнул художник, - хоть я и местный.

- Художники часто замкнуты, - терпеливо вздохнул прохожий. - А меж тем у меня к вам предложение.

- Чем обязан?

- Пригласите в мастерскую. Там поговорим.

Прошли молча несколько кварталов. Незнакомец шагал уверенно - можно было убедиться, что он и в самом деле нашёл бы мастерскую без посторонней помощи. Сам свернул в нужный подъезд. Уверенно поднялся на самый верх, где специально для художников была врезана в крышу мансарда. Сам остановился у нужной двери и посмотрел победно: вот я какой.

В высокой, но не очень просторной мастерской гость сразу нашёл себе занятие: пока художник готовил чай, он самым внимательным образом разглядывал холсты и холстики, расставленные хозяином вдоль стен. Оба молчали, только один раз художник сказал: "Прошу", приглашая к столу.

После первой чашки гость спросил:

- Вы пишете всё камень да металл - это от души?

- Да, - ответил хозяин с неудовольствием, явно задетый за живое. - Но не от той части души, которую люблю.

- Вы пишете родной город с неприязнью, - уточнил гость.

- Я вообще не люблю городов. Но чтобы жить на природе, нужны средства... А я ещё даже не член Союза.

- Так писали бы на заказ, - посоветовал гость.

- Шабашки бесконечны, - художник криво усмехнулся, - а жизнь коротка.

- То есть, вам некогда богатеть?

Вместо ответа хозяин пожал плечами и, наливая по второй чашке, спросил:

- Итак?

- Дело в том, что я волшебник, - сообщил гость, закусывая чай пряником.

- Чем же обязан? - спросил художник невозмутимо.

- Вы, пожалуй, представляете, - начал гость, - у волшебников и правила, и желания часто необычны.

Художник кивнул.

- В данном случае, - продолжал гость, - вышло так, что я поклялся - в первом попавшемся городе выполнить любое желание первого встречного художника.

- И это - я?

- Да, это вы.

Гость смотрел выжидающе.

Художник молчал.

Гость подождал немного, потом спросил:

- Можно ещё чаю?

Художник молча наполнил его чашку. Гость выпил, съел ещё пряник и опять вопросительно уставился на хозяина.

- А что вы можете? - спросил наконец художник.

- Всё, - немедленно ответил гость. И скромно уточнил: - Для меня нет ничего невозможного.

- Хорошо! - Художник решился. - Я вот давно мечтаю написать мандариновый сад...

По лицу гостя скользнула тень. Он чуть помедлил и тихо спросил:

- В цвету?

- Нет, - сказал художник. - Не сочтите за грубость, но мне кажется, что в цвету все сады одинаковы. Я хочу написать мандариновый сад с плодами на ветках.

- А вы когда-нибудь его видели?

- В том-то и дело, что нет! Только вот на этой этикетке, - художник кивнул на банку с мандариновым джемом, где была изображена ветка с оранжевыми плодами, обезображенная чёрным штампом.

- Что ж, - сказал гость, - вы его напишете.

Художник засмеялся:

- Но это ещё не само желание... Или вы его уже угадали?

- У волшебников, - гость отвечал очень серьёзно, - принято отыскивать пути и выполнять желания. Угадывать их - не в наших правилах. Но в виде исключения, если хотите...

- Нет уж, - художник снова засмеялся. - Я захочу, вы угадаете, а потом объявите, что выполнили моё желание. Лучше я назову его сам.

- Пожалуйста, - ответил гость и наконец улыбнулся, одними губами.

- Я желаю, - сказал художник, - иметь собственный мандариновый сад. Его бы я и написал.

И тогда гость расхохотался. Впрочем, смеялся он облегчённо, коротко, весело и необидно.

Отсмеявшись, волшебник сообщил, что именно так он и предполагал. И попросил ещё чаю. Чай был налит, он его с удовольствием выпил, съел последний пряник и полез в карман своего тесного пиджака. Недолго порывшись, извлёк на свет каплевидную белую косточку и положил на стол между чашками.

- Узнаёте? Это мандариновое семя. Как вы понимаете, мгновенные чудеса возможны только в сказках. В жизни мы работаем помедленнее - этого требует природа... Инструкция будет простая. Сходите завтра в Ботанический сад и попросите хорошего грунта. Немного, чтобы только наполнить вон тот пустой горшок, который я вижу на окне. Сейчас октябрь... Дождитесь декабря и в одну из трёх самых длинных ночей заройте семя в сырую землю на глубину примерно трёх сантиметров. Раз в неделю, желательно по средам, умеренно поливайте, и через год ваше желание исполнится.

Художник потрогал косточку пальцем и поднял глаза на гостя, явно собираясь задавать вопросы. Но тот уже стоял у вешалки и прятался в свой широкий плащ. Его вид больше не располагал к беседе. Официально откланявшись, волшебник решительно отклонил предложение его проводить. Уже закрывая дверь, он вдруг вспомнил:

- Да, ещё одно... Чистый профессиональный пустяк... О нашей беседе никто не должен знать.

Минул всего месяц после странной встречи, и произошло событие, из которого художник (его фамилия, кстати, Седой, зовут его Виктором Романычем, а жил он тогда в Томске) заключил, что гость его действительно имеет отношение к производству чудес. Только при этом открыто обнаруживает склонность к противоречивым поступкам.

Дело в том, что на Томское отделение Союза художников совершенно внезапно и неизвестно откуда пришёл конверт, адресованный "Художнику Седому В.Р. - лично и срочно". Вскрыв его при всех, Виктор Романыч (тогда ещё просто Виктор) обнаружил персональную, именную путёвку на творческую дачу в Пицунду сроком - невероятно! - на полгода. Все расходы, как было сказано в коротком письме, оплачены. Прилагался железнодорожный билет и содержался намёк на продолжение путёвки "в зависимости от обстоятельств". Товарищи стали поздравлять ошеломлённого Седого и кричать, что не перевелись на Руси меценаты. И всех потрясло поведение Виктора, который вдруг усомнился, ехать ли ему в эту Пицунду, но давать объяснения при этом отказался.

Ошеломлён Виктор был не столько удивительной путёвкой, сколько знакомым тоном коротенького письма, отпечатанного на машинке. Автором был явно гость, назвавшийся волшебником. И на его участие в деле особенно указывал срок заезда, обозначенный в путёвке - с первого декабря. Это был откровенный подвох. Как посадить "волшебное" семя в уже заготовленную почву, если самые длинные ночи - с 22 по 24 декабря - Седой проведёт на Кавказе? Это что же - ехать на творческую дачу со своим горшком и сажать в сибирскую почву кавказское семя, когда вокруг будут полным ходом зреть готовые мандарины на готовых деревьях?

Совсем будет весело, думал Виктор, если путёвка окажется фиктивной: билет-то в один конец. Он увидел себя с горшком в руках, спускаемого пинком с лестницы, ведущей высоко в горы, в неведомую Пицунду. Под хохот мэтров с творческой дачи. Под кривую ухмылку давешнего волшебника: "Вот и па-ашутили!"

Можно было, наконец, махнуть рукой на что-нибудь одно - или на творческую дачу или на злосчастный горшок. А то и на оба соблазна сразу: в конце концов, оба они одинаково мистические...

Промаявшись ночь, Седой решил последовать мудрости, усвоенной ещё в детстве: "Только дошученная шутка доставляет подлинное удовольствие". Тем более, что другая возможность съездить в Пицунду даром и посмотреть, как растут мандарины, явно не светит, а горшок с грунтом весит не так уж много. Как ни смешно, решающую роль в горшочном вопросе сыграл берестяной туес, куда идеально, под крышку, поместился горшок с родной землёй. Туес был одолжен без возврата у соседа по мастерской, старого таёжника, которому скрутить подобную штуковину из бересты ничего не стоило.

Читатель, не ждите подвоха. Всё было честно, даже чинно. Мой друг Витюша Седой прибыл на творческую дачу в Пицунду и занял помещение, указанное в путёвке. Свой туюс он поставил на окно, в ночь с 22 на 23 декабря зарыл волшебную косточку и каждую среду умеренно поливал сырой водой. До самого решающего дня, правда, сомневался: а вдруг надо было не набок класть, а ставить вертикально, каким-нибудь определённым концом вверх... Однако в решающий день заветный росток благополучно явился на свет, и с первого взгляда было ясно, что это не сорняк, не хурма и даже не апельсин, а именно то, что надо - будущий его, Седого, мандариновый сад.

Ко дню этого восхода не терявший времени Витюша познакомился с мандариновыми плантациями во всех подробностях - не без брэнной помощи очаровательного экскурсовода из числа мандариновых фей (по-местному - пери), но и абсолютно без ущерба для вечного и святого искусства, о чём свидетельствовали многочисленные этюды маслом, где нередко девичий стан спорил в стройности с юным кипарисовым деревом, а тугие плоды, отягчающие тонкие ветки переднего плана, соперничали с румянцем юных ланит...

Через полгода, когда незаметно растаявший срок путёвки начал внушать Седому серьёзное беспокойство о судьбах отечественной живописи, он, после очередного выхода на пленэр, нашёл у себя на столе машинописную страничку, где значилось: "Приятно убедиться вместе с Вами, что цветущие сады не все одинаковы. Приятно, что не забываете НАШ сад. Ваша путёвка на следующие полгода уже у администрации. В течение или по истечении этого срока можете вернуться в Томск - когда сочтёте нужным". Подписи, как и в прошлый раз, не было и прилагалась стоимость обратного билета - в денежных знаках разного достоинства, включая расходы на постель и умеренное питание...

Каждый год я навещаю моего друга в Пицунде. Живут они в окрестностях города, прямо у мандариновой плантации. Прошло столько лет, а их с Тamarой совершенно не берёт время: она всё так же работает в садах, он давно вступил в Союз художников и считается активным деятелем Общества друзей природы. В волосах Седого появилась, правда, первая седина, хотя его замечательные дети и внуки не дают для этого ни малейшего повода. Просто седина от напряжённой работы чувств случается у художников даже на Кавказе.

На этом я и собирался закончить свою волшебную историю, но совсем недавно Виктор Романыч посвятил меня в её заключительные подробности и позволил их обнародовать. Поскольку эти сведения проливают свет на давно занимающую меня технологию чудес, решаюсь воспользоваться его любезностью.

Закончив свой невероятный творческий год, Виктор почувствовал себя обязанным вернуться в Томск. Во-первых, поездка на дачу была для него как бы командировкой и требовала творческого отчёта перед товарищами. Во-вторых, он вообще был - ДЛЯ СЕБЯ - художником из Томска: хотя и не питал особой любви к родному городу, но инстинктивно был всё же сильно привязан к местам, где вырос, определился в жизни, познал свои способности - и тому подобное из области социальной психологии. Была и ещё одна обязанность, больше похожая на карточный долг, а потому весьма родственная долгу чести: деньги на обратную дорогу. Избегающий встречи волшебник явно подталкивал его этими деньгами к возвращению. Дескать, встретимся на том же месте в тот же октябрьский день и потолкуем о мандариновых садах. Виктор даже представлял, как торчит перед этюдником на продуваемом Каменном мосту, рисует стальные постылые камни над холодной речкой, и точно в ту же самую минуту рядом останавливается благодетель в просторном плаще...

- Что он мне скажет? - вопрошал Седой свою Тамарочку. - Неужели я вернусь, а Томск уже утопает в мандариновых садах?

Тамарочка молчала, только чёрным кавказским огнём мрачно тлели её огромные глаза, которые на всех этюдах, на всех картинах получались такими озорными, такими мечтательными, такими-такими-такими...

- Знаю я, что он скажет, - распаялся Виктор, не замечая, что за год успел в совершенстве перенять южный темперамент. Он скажет: "Шутка дошучена, будь здоров, дорогой. Прозябай дальше в своей тесной мастерской. А свой сад поставь на окошко, поливай по средам да смотри - зимой форточку не распахивай!"

Тамара молча мрачнела с каждым шагом.

- Что же ты молчишь, пери? - не выдержал он наконец. - У тебя что - никакого мнения?

Тогда она заговорила.

- У нас мужчины, - сказала она, - сами принимают решения. Сказал бы ты: "Сейчас поехали", и мы бы сейчас поехали. В твою Сибирь. А когда мужчина сомневается, у нас говорят: "Не мужчина". Но ты - художник, о тебе никак такого нельзя говорить. Поэтому слушай, какое решение ты должен принять, как будто сейчас ты не художник, а мужчина.

И Тамара в самых доступных выражениях растолковала будущему отцу своих детей, что если человеку обещали мандариновый сад в Сибири, а подарили на Кавказе, да ещё невесту в придачу,

да ещё каменный дом с верандой, да ещё уважение односельчан, чьи портреты вместе с пейзажами так понравились посетителям местной выставки молодых художников, а этот человек от всего этого - поистине волшебства - откажется ради чёрт знает чего, то после этого даже последний вьючный ишак не захочет водить с ним знакомство.

Решение было принято мужское, и два кубометра творческого отчёта не поехали в Томск, а мандариновый росток из сибирского горшка - вместе с родным сибирским грунтом переселился в родной кавказский...

Спустя год, когда Тамара впервые попала в роддом, а Седой в волнении рыхлил почву вокруг своего любимого мандаринового деревца, к нему приблизился человек в просторном плаще. Был тот же день и час, что при их первой встрече, правда, с учётом поясной разницы во времени.

- Благодетель! - произнёс художник, пожимая протянутую руку. - Простите, что не состоялась встреча на Каменном мосту, но, кажется, такого уговора и не было.

Гость кивнул и грустно улыбнулся. Он хотел что-то сказать, но хозяин остановил:

- Прошу вас, ни слова. Идёмте в дом. Сначала чай, потом разговор.

- Только с пряниками, - сказал волшебник, всё так же грустно улыбаясь.

- С теми же самыми, они у меня всегда есть! - Хозяин распахнул дверь на веранду.

Там было едва ли просторнее да и пониже, чем в прежней его мастерской, но гость с явным удовольствием погрузился в рассматривание этюдов и готовых картин, как и прежде, прислонённых к стенам.

- Что ж, - сказал он наконец, присаживаясь к чайному столику, - вы стали писать лучшей стороной своей души.

- Благодаря вам, - сказал художник и покраснел, потому что увидел, в какую неловкость привели гостя его слова. Он поспешил исправиться: - Простите. Слишком долго ждал случая вас отблагодарить. Мой долг...

- Его нет, - перебил гость. - Не забывайте, что настоящие волшебники творят чудеса бескорыстно. Это кодекс. Поэтому даже мысли о долгах теряют смысл.

Чуть подумав и с удовольствием жуя пряник, он добавил:

- Теперь вы в свою очередь могли бы подарить мне мандариновый сад. Как волшебник волшебнику. Или, если угодно, как художник художнику. - Он скользнул взглядом вдоль стены и указал на один из этюдов. - Вот этого вам не жалко?

- Боже мой! - Хозяин не сдержал изумления. - Вы угадали самый первый этюд!

- Он самый свежий, - строго сказал гость. - Именно с ним вам никак нельзя расставаться. Но именно его я у вас и возьму. Пусть ваша память постоянно тревожит ваше воображение.

Они молчали целых две чашки прекрасного местного чая, заваренного щедрой рукой сибиряка. Гость проглотил ещё два пряника, потянулся за третьим и - уронил руку.

- А знаете, - он вздохнул, - с этими пряниками надо пить ТОТ чай, тамошний. Там пряник восполняет недостатки букета. А здесь он его обедняет. Не находите?

Виктор молча кивнул. И ему вспомнился промозглый вечер их знакомства. Тогда чай с пряником действительно казался вкуснее.

- Я пришёл по делу, - сказал гость после пятой чашки. - Шутка должна быть дошучена: я намерен сообщить вам тайну волшебства. Перестав быть тайной, она потеряет силу, но это не страшно, потому что всякое волшебство, в отличие от научного факта, лишь тогда и подлинно, если не может быть повторено.

Итак, я не волшебник. Я - ловкий человек из временно угасшего параллельного мира, куда истинным художникам хода нет. Мой расцвет пришёлся на самый конец этого мира. Но это был именно тот мир, для которого я создан. Знаете ведь, как на войне расцветают личности, рождённые для войны? А если они рождаются в период долгого мира, их печальным уделом становится преступность, потому что природный дар требует выхода: либо он вырывается наружу, либо человек сходит с ума... Мне посчастливилось. За годы угасания моего мира я успел, как у вас говорят, нахапать и благополучно ушёл в тень, когда свобода хапать кончилась. Я вознамерился жить дальше тихо и дожидаться нового подъёма МОЕГО времени. Или, не дождавшись, незаметно почить в бозе, оставив нахапанное благодарным потомкам. Однако моё время всё не возвращалось, а потомок оказался неблагоприятным антиподом, и нахапанное обречено было пропадать всуе - хоть клади в горшок и закапывай, а зашифрованный план - в библиотечную книгу.

Тут-то я и посетил в Томске выставку молодых художников. Я и прежде бывал на выставках, салонах, вернисажах, но, знаете, как-то не чувствовал в себе этого таланта. Не до него, что ли, было... А тут - внезапно! - прирос к полу перед каменным холодным пейзажиком никому не известного Виктора Седого. Я увидел, как мучается этот человек среди городской тесноты, я узнал до дна его нежную душу, я понял, что ярко одарённый певец южной природы, рождённый на севере, надорвётся в борьбе с камнями урбанизации, если ему сейчас же, немедленно не помочь.

Я поздно понял, что во мне похоронен дельный искусствовед, психолог таланта. Время моё ушло, думать о себе больше не стоило, и я решил заняться вами.

Дальнейшее было делом техники. Я выследил и высчитал вас, я безошибочно определил ваше заветное, невероятное желание и нашёл способ его исполнить. Правда, был момент, когда ваша чрезмерная порядочность и непрактичность едва не свела все мои усилия к нулю. Но госпожа Фортуна пошла навстречу и шепнула вашей изумительной Тамаре самые необходимые слова. Вот и всё, моё друг. Сделанного не вернёшь, нечистые деньги пошли на чистое дело, а я заслуженно увезу с собой частицу мандаринового сада, который будет плодоносить и после нашей с вами кончины. Позвольте ещё чашечку?

Потрясённый художник извинился и хотел подогреть остывший чай, но гость не разрешил:

- Отхлебну холодненького и - мне пора.

- Тогда ещё одно дело, - решился Виктор. - Мне очень неловко сейчас, но старый стыд тем сильнее. Деньги, что я получил от вас на обратную дорогу... Ведь я ими не воспользовался... Они так и не стали моими... Я целый год ждал случая вернуть...

Седой извлёк из старого шкафа резную шкатулочку и поставил перед гостем.

- А знаете, - волшебник впервые за вечер улыбнулся весело, - я эти деньги принимаю. Как раз была проблема - добраться до Томска...

- Вы там и живёте?

- Не только. Вы ведь у меня не один... Но предпочитаю Сибирь: там воздух - МОЙ...

Они обнялись. Волшебник сунул в карман шкатулочку, взял под мышку упавоанный Виктором этюд и исчез навсегда.

Впрочем, это для нас он исчез навсегда. А супруги Седые каждый год в октябре, до начала уборки мандаринов, ездят в Томск на этюды. По странной прихоти таланта именно в это ненастное время Виктору с неудержимой силой хочется рисовать холодные камни и металл. И подозреваю, что встречи с человеком из параллельного мира у них бывают.

Владимир Шкаликов

МУЗА НА ФОНЕ БЛЮЗА

"Аполлон" задёргался на запястье, как только я поставил таз на лавку и начал погружать веник в кипяток. Хорошо, хоть не раньше: мне показалось, что дрогнули обе руки. От несусветного огорчения.

Не помню случая, когда бы это чудовище пробудилось вовремя: просто на службе или хотя бы когда я за рулём. Впрочем, последнее однажды было, но и то - казусно. Мы уже мчались точно по такому же вызову, я как раз вёл "газель", и вдруг у всех задёргались браслеты. За полчаса до этого нас собрали по боевой, мы уже шесть минут неслись как угорелые к месту захвата, а тут - хоть разорвись. Сильно вздрогнули, посмеялись, поматерились, выяснили по радио, что там ещё за новая шкода, и отключили будильники. Не одни мы на службе...

Я уронил на свеженький веник скупую мужскую слезу, надавил на браслете нужную кнопку, очень крепко высказался - про себя - в адрес любимой работы и устремился в раздевалку.

Собственно, "устремился" - это слишком резко. Ибо сказано: "Делать что-то быстро - значит выполнять медленные движения без промежутков между ними". В моём исполнении это выглядит так: неприметный голый гражданин лет тридцати, только что проверявший раскалённость парилки, с самым равнодушным видом вдруг выливает из таза кипяток, бросает веник на батарею, вытекает в раздевалку и просит банщика открыть его кабинку. Банщик видит в его руках сухие верхонки, шапочку, мочалку, мыльницу и с удивлением спрашивает:

- Саша, куда ж, не парившись, не мывшись?

Голый отвечает, что забыл дома выключить утюг, а сам медленно одевается без промежутков между движениями. Ещё не все другие голые успели отшутиться насчёт того, что всё равно теперь пожарным помощь не нужна, а его уже нет.

Я вытек из бани, встал на проезжей части и скрестил руки над головой. Священный водительский знак, остановится любой, кто действительно шофёр. Сказал первому же, что "там пожар", мельком показал удостоверение с тремя буквами на обложке, назвал номер телефона для проверки, он отмахнулся, и мы погнались.

Водила оказался нормальный: молчал всю дорогу и ехал грамотно. На моё "спасибо" ответил: "Удачи". Видно, имел когда-нибудь какое-нибудь отношение...

Как ни старался, раньше всех я, конечно, не успел. Мне часто кажется, что один я из всей группы хожу в баню, в театр, сплю по ночам, занимаюсь прочими интимными делами, а вот эти трое постоянно бдят, одетые и побритые, чтобы явиться на базу первыми. И первый из них, Маэстро, делает это специально для того, чтобы встретить меня единственным стихотворением, которое он знает, да ещё в переделанном виде:

- Ну что, потребовал поэта к священной жертве Аполлон?

Краббен тут же подхватывает:

- В заботы суетного света он малодушно погружён.

- Кряхтит его седая муза, - добавляет Атаман, - а душа вкушает сладкий сон.

Я их называю старыми циниками, и обмен приветствиями сразу переходит в обсуждение места и образа действий. Всё это, по возможности, между делом - переодеванием и проверкой снаряжения.

Следом за мной ввалился Колюша. Огромный, мощный и совсем не запыхавшийся. Ему просто по габаритам первым не успеть.

Последним прибежал КМНЛ - Витюшка, которого-мы-не-любим. Он самый юркий из нас, неухватимый в рукопашной, как ртуть. Но на сбор всегда является после всех и обязательно бегом. За это и прозвище, вполне ласковое. Он и сам себя за это не любит.

Едва успели поздороваться, вот и Большой Босс, он нам новости принёс.

- Неприятель затеял отвлекающую операцию: десятка полтора бросовых штурмовиков делают вид, что пытаются взять вот это отделение милиции, - ББ показал на карте города. - Сие нам - никак, потому что, по агентурным данным, главная цель - вот этот склад.

- Неприятель хочет овощей прямо с базы? - спросил Колюша. КМНЛ тут же отозвался: - Знаем, какие там овощи и какая у них дальность...

В общем, сразу стало ясно, что работать нам сегодня под грузчиков. А после этого можно и в баню. Даже весьма желательно. Форма одежды, стало быть, пролетарская, а оружие - по минимуму.

За руль "газели" на этот раз уселся Маэстро. Остальные расслабились и пригорюнились - для самоуглубления, чтобы потом оттуда как выскочить, как выпрыгнуть - и всё успеть.

Первый год и я так расслаблялся. Как очкарик по методу Бейтса: смежить веки, обнаружить во мраке абсолютно чёрную точку, ненавязчиво сосредоточиться на ней, пока не займёт всё пространство, потом - почти нирвана: разные образы, все приятные, цветные, чёткие, плавают... Это по теории. На практике образы у каждого свои. У меня, например, стихи. Вижу только полную тьму, зато слышу строчки. Сегодня одна такая навестила в бане, когда как раз запаривал веник. Собирался

развить её в парной, когда буду потеть... Но потеть придётся в другом месте, а сейчас, пока едем, можно этой строчкой поиграть. Интересно, она опорная или так?..

Это моя собственная теория, ещё с первого курса: в каждом стихотворении можно обнаружить опорную строку, которая приходит автору первой, а уж вокруг неё транслятор наворачивает всё остальное. Классический случай у Пушкина: "Как гений чистой красоты" пришло к нему сразу, а уж потом - технология: "Я помню чудное мгновенье..."

У меня сегодня в бане вот что выскочило: "Суди седины, старый блюз..." Явно не первая строка, зато какая аллитерация!

Погружаюсь. И сразу начинается трансляция: "Мною пишут", как у Пушкина. Только писать неудобно, дорога плохая. Ничего, запомним.

Суди седины, старый блюз.

Больна нечаянная встреча.

Ведь не поднять сегодня груз,

который в юности намечен.

Можно считать, концовка получилась. Теперь — начало. "Печальный друг, забытый блюз..." Так, что ли? Кстати, откуда взялся именно блюз? Что за блюз в моечном отделении? Не было там вообще никакой музыки. Только вода из крана в таз, вода из душа на чью-то спину... Блюз - явление звонкое, не шипящее... Ну, тазы звякали. Нет, они, скорее, брякали...

- Ну, ребята, то-о-овсь! - Маэстро из-за руля, он в прошлом морпех. - Приехали!

Все вскидываем глаза и окидываем взором пространство. У всех вижу равную готовность.

Маэстро показывает охране какие-то накладные в такое-то хранилище. Охранник говорит, что кладовщик уже как раз там. Ворота отодвигаются. Мы на равных правах въезжаем, будто за овощами. Охрана ни сном ни духом не представляет, что там за хранилище среди прочих подобных.

Едем не к нему, а будто бы к соседнему. И останавливаемся напротив грузовика с будкой, ошвартованного как раз у ТОГО хранилища. Мощный дизельный "Урал" стоит задней дверью к бетонной складской эстакаде, а на нас смотрит весьма усиленный передний бампер, которым он легко завалит кирпичный забор, чтоб не ломать крепкие железные ворота, когда будет удирать. Но удирать ему не придётся. От нас до него метров шестнадцать.

На эстакаде - вся банда. Четверо, увидев нас, подтянулись к краю, а двое остались у двери: явно закладывают под неё заряд, потому что от ЭТОЙ двери ключа у кладовщика, конечно, не нашли. Сам кладовщик, видимо, у них в машине. Как минимум, без сознания и связан. Тем лучше. Можно работать по первому жёсткому варианту.

Краббен и КМНЛ бросают по сторонам от "Урала" две наступательных гранаты с таким расчётом, чтобы взорвались в воздухе над эстакадой. Все мы на этот миг укрываемся за своей бронированной "газелью", потом сразу бросаемся гулять смело и заканчивать дело.

Банда была в бронезиловках. Кому не попало в голову, пытаются обороняться. Но за нами внезапность. Стреляем на поражение по рукам и ногам. За полминуты каскад закончен, все уцелевшие повязаны.

- И заряд ихний не сдетонировал, - говорит Колюша. - Приятно.

- Пушкин, - просит меня Маэстро, - ты красноречив, уговори охрану.

Я прячу оружие и бегу к воротам. От проходной мне навстречу уже направляются двое с газовыми пистолетами. На этом объекте охране боевое оружие не полагается. Но в горном армейском камуфляже и высоких армейских ботинках они выглядят вполне грозно. На бегу поднимаю руки и метров с пяти говорю: "Документ в левом нагрудном кармане". Парни извлекают моё удостоверение с тремя буквами, раскрывают, читают, сверяют фото с моим лицом. Жду терпеливо, спешка уже неактуальна. Они действуют так доверчиво и незащитно, что я не удерживаюсь от совета: "Вы сейчас очень уязвимы. Старайтесь не допускать". Это во мне проснулся бывший командир роты. Забираю удостоверение, сообщаю, что грабители с поддельными документами обезврежены, и сейчас мы будем выезжать на двух машинах. И кладовщика тоже увезём. А они пусть немедленно позвонят вот по этому телефону, чтобы не сомневаться в правильности наших действий. Парни с запоздалой подозрительностью отодвигаются, смотрят на меня неловко сверху вниз, как школьные выпускники на старенького матеренького учителя, и тот, что с виду бойчее, говорит: "Пойдём, вместе будем звонить". Киваю без улыбки и иду впереди них, как под конвоем. Неприятно и забавно одновременно. В тесной караулке они усаживаются на топчан, а мне предлагают единственный стул. Но садятся, бдительные, после меня.

По телефону нашего диспетчера им отвечает сам ББ, он во время операции всегда там сидит. Слышу, успокаивает, благодарит за сотрудничество, просит "содействовать нам в быстрейшем окончании работы". Бойкий вдруг теряется: "Как содействовать?" Представляю лицо ББ, когда он объясняет: "Откройте и закройте ворота в сантиметре от бампера, чтоб ни одна собака больше не проскочила". Растерянное: "Понято", и мнежимают руку. Лапищи у них медвежьи, для погрузочно-разгрузочных работ.

- Где служили, парни?

- На флоте. На коробке.

Да уж, на кораблях служба другая. Как раз для этих рук. Желая им семь футов под киль и запрыгиваю в "Урал", уже замерший в сантиметре от ворот. Громко захлопываю за собой заднюю дверь, чтоб услышали в кабине, и машина сразу трогается.

Атаман и Краббен сидят на лавках в противоположных углах будки. Сажусь на свободный конец лавки у двери. Раненые лежат вперемешку с убитыми на полу. Четверо, их можно отличить по бинтам. У кабины, напротив Атамана, сидит кладовщик с перевязанной головой. Прикидываю: весь запас бинтов извели на них, надо будет сразу пополнить. Атаман ненавязчиво приглядывает за кладовщиком. Это резонно: вдруг он - сообщник. Однако впечатление такое, что он, даже если и замешан, дёргаться не будет. Ему бы на пол прилечь, а то лавка узкая, но рядом с трупами трястись неохота. Да и места уже нет на полу.

Мысли у меня, конечно, дурацкие, но такие всегда лезут в голову после потасовки. Так уж устроен мой мозг. Но этим можно управлять.

Ну-ка, что там было - до? "Печальный друг, забытый блюз..." Гляди ты, не забылось. Значит, строчка недурна. А дальше? "Печальный друг, забытый блюз... ты робкоходишь из эфира... э-э-э... в мой беспорядочный союз со всеми музыками мира..." Хм-м-м, искусство умеет много музык... Филолог хренов.

Вдруг вижу у Краббена в длинных музыкальных пальцах круглую плоскую игрушку. Плеер! Да ещё, похоже, MP-3! Он понимает мой взгляд, остренько улыбается в шкиперскую бородку:

- Видал, Пушкин, трофея! С музычкой!

- Только наушники?

- Да вот, ищу, как тут сделать...

Он что-то крутит, что-то давит и наконец извлекает - блюз! Не очень громко, но слышно всем. Один из пленных поворачивает голову - видно, его машинка. Подделом, злодей: не бегал бы с "ТТ", сейчас бы тут не лежал в собственных фекалиях. Может, и не его, но чья-то вонь портит музыку. Видно, обмарался кто-то из умирающих. Но едем быстро, авось не все вымрут.

Надо же, блюз, как на заказ. Боженька часто мне так посылает. То нужная книжка смотрит на меня из целого развала, то кто-нибудь скажет "ту самую" фразу, то нужный человек явится сам. Вот и моя Молекула - сама явилась. Я в институте учился среди множества шикарных красавиц, но ни в одну не влюбился. А когда вернулся из армии, прямо на перроне подошла Молекула и взяла живьём. И точно оба знаем, что на всю жизнь. Бывают такие предчувствия. Правда, они бывают и дурные. Вижу вон на лице Краббена какую-то тень. Но не надо, не надо, прогоним, это ложное. Ложное, говорю, кыш!..

Блюз течёт и смешивается с вонью. Обидно. Вот и говори, что разные физические явления не смешиваются. И не разделишь. Зажать нос? Тогда вдыхать эту гадость напрямую? В носу хоть волоски, решётчатая кость, фильтруют... Нет, нет, это не те мысли... "Ты робкоходишь из эфира в мой беспорядочный союз со всеми музыками мира... Э-э-э... Ты вспоминаешь много лет о нашей юношеской грусти, которой оправданий нет... э-э-э объяснений нет... но взявши, больше не отпустит..." Фи, Пушкин, какая чушь! Зря тебе дали такое высокое прозвище. Александр Сергеич так бы в жизни писать не стали. Они и в музыке соблюдали единственное число, и оборотами странными брезговали. Они чувствовали язык. И писали прозрачно. Потому что их вдохновлял сам Аполлон. К священной жертве. А за мной вполглаза приглядывает одна из его, Аполлоновой, свиты. Даже не сообразишь, какая. То ли Евтерпа, то ли Каллиопа. Да и те, поди, махнули рукой. Что взять с учителя русской словесности, который ни дня в школе не работал? Как призвали после института в десант, так там и остался. Только прыгает уже не с самолёта, а из бронированной "газели". И зря меня прозвали Пушкиным. Неточная шутка. Скорее подошло бы - Лермонтов. Он и поручиком был, как я, и ротой спецназа так же командовал, и тоже в Чечне... Но меня не только Сашкой зовут, я ещё и Сергеич. Судьба-с...

Вонь мешает высоким мыслям. Особенно когда стоим у светофоров. Тут бы гнать как угорелым, но на дороге все равны. Ради этого равенства и порядка мы и вкальваем... Ага, ага, опять пошло: "Тебе мерещится луна - невинная в невинном небе... э-э-э... И, разумеется, "без сна", и "среди звезд", конечно, "небыль"... Вот! За что себя люблю, так это за самоиронию. Посему дальше будет так: "Печальный друг, плыви назад, в ночную пору тихих музык..." Да чёрт меня поberi, снова это множественное число!.. Не тот размер, что ли, выбрал? Так это не я его, а он меня...

Есть такая простенькая теория. Насчёт подсознания. Все мысли и образы без помех попадают туда и там варятся. И то, что сварилось, в виде тоненькой ниточки высовывается из-под двери. Хватай и осторожно вытягивай. Но без усилий, а то оборвёшь. Перестало тянуться, значит, ещё не доварилось. Жди и не пытайся открыть эту дверь. За ней всё тонко и хрупко. Будешь там слоном в посудной лавке...

Похоже, не очень качественную ниточку варит моё подсознание. Начало, то есть последняя строфа, было ничего себе: "Суди седины, старый блюз..." Но это было - до. А после стала мешать вонь. Не та рецептура. Я уж было хотел назвать этот свой котёл - надсознанием. Поспешил. Не тянет котелок. Не герметичен...

Только такие мысли и способны свариться под музыку пополам с вонью. Но мы уже мчимся, светофоры кончились. У этого "Урала" зычный клаксон, и КМНЛ начал активно им пользоваться. Мчится, не признавая других помехами, коротко, но часто и мощно покрикивает, дизелем взрыкивает, и, в общем, едем, едем... В далёкие края... Все форточки на окнах откинута, сквозняк вихрит в салоне какие-то обрывки ниток, бумажек, выносит пыль вместе с вонью - пусть оберегаемое население тоже слегка приобщается к подвигу...

На кой чёрт эта банда решила взять склад? Взрывчатки там нет, только приборы кое-какие, особо специальные. Промежуточный этап подготовки чего-то серьёзного. Но разве серьёзно то, что эти уроды считают серьёзным? Кто-то за их спинами хочет власти, кто-то - богатства, и только и всего-о-о! Это ли серьёзно? Когда же человечество перестанет быть курятником?

Вот такие мысли рождаются на сквозняке. А стихи - выдувает?.. Нет, нет, вот что-то ещё, за "ночной порою тихих музык": "Позволь на память нанизать все наши медленные блюзы, в которых вырос не один, в которых медленно кружили и те, кто дожил до седины, и те, кто долго не прожили..." Это уже о моей несчастной роте. Я был в отпуске, а пацанов послали в бездарную операцию и положили всех. Я вернулся, а мне - "смертью храбрых". Отказали нервы, уволился доблестный поручик. До сих пор - чувство ужасной вины... И стихи стали из меня сочиться после этой катастрофы. Ка-та-стро-фы. Именно. Поименно... Вот, вот, снова засочилось под трофейный блюз: "Ты знал, что будем изменять тебе, друг другу, идеалам, но не мешал слюкавить в малом, не раз давал в большом солгать... Ты ждал. И вот пришёл твой час..." Куда это меня понесло? "Пришёл твой час" - в вонючем грузовике, среди кисельных мёртвых тел на полу? Опять заело ниточку. Хоть дверь ломай...

Однако мы уже приехали.

Выгрузить вонючую добычу. Под трофейную музыку. Тут уже не до стихов. Даже не до прозы. Мат - это просто лексика. Экспрессивно-эмоциональная. Аргоспецназа. Знал ли старший лейтенант Лермонтов эту терминологию? Александр-то Сергеич знали, они с Барковым дружили...

Вот и вся недолга. Смотрю на часы - в самом деле недолга: на всё про всё - два с половиной часа. Смотрю мельком на заднюю стенку будки, в которой приехал: сильно ли посекло осколками. Заметно, заметно. И стекло разбило. Отсюда и сквозняк, когда откинули форточки.

Поручик Пушкин, вас не продуло после бани?

Отнюдь, камер-юнкер Лермонтов.

Еще полчаса на переодевание, мытьё и обмен первичными впечатлениями.

- Гранатки сработали хорошо. Тик в тик.

- Свеженькие.

- Рыжий всё же успел пальнуть, поцарапал дверку.

- Но ты-то был с другой стороны...

- А дверку закрасят.

- Пушкин, в баню-то вернёшься?

- Боюсь. По закону парности опять не домоюсь.

- Правильно. Дома домоешься.

- Красиво сказал, Колюша: "Дома домоешься".

- Дарю. Сочини стишок: "Домойся дома с домовым..."

И тому подобное. Почти ничего по существу. Разбор по полной будет завтра. К нему ещё надо готовиться. Дома, вечером, с бумажкой, незаметно.

Или в самом деле вернуться в баню? Шут с ним, с законом парности?.. Нет, после операции всегда хочется домой.

Домой, домой. Пока доеду, Молекула заберёт Степашку из садика.

Я успел домой раньше домочадцев. Успел развесить на кухне мочалку и полотенце. Поставил на виду подарок Степану - трёхколёсный велосипедик. Успел принять горизонтальное положение и подумать, что совсем не хочется есть. Вонь никак не выветривалась из обонятельной памяти... Ишь, как выразился. Нет сказать просто - из носа.

Только начал задрёмывать, семейка зазвонила в дверь. Не спите днём - вас обязательно разбудят.

Молекула с порога:

- Ну, отец, как баня?

И Степашка следом:

- Ну, отец, как баня?

У него золотое время: речь прорезалась - всё за всеми повторяет.

- Тебе, сын, уже пора со мной ходить.

- Нет. До тьёх лет низя.

- Ну, всё знаешь. А когда тебе три года?

Показал три пальца. Считает месяцы, хоть и не умеет считать.

Тут он увидел подарок, вскричал: "Во!" и забыл о нас.

Мама сощурила глаз:

- Так что же, отец, как баня-то? Не перепарилсы?

Это она передразнивает сына. Но смотрит серьезно. Буду правдив.

- Вот зарекался в день отгула заходить на работу. Но ведь сегодня должна быть зарплата... Вот, запрягли немного. Ладно хоть не на сутки. Заболел там один охранник.

- А ты его временно подменял, понятно.

- Да нет, правда! Хоть позвони. Я им сразу сказал, что больше трёх часов не могу: день занят...

Пусть у них голова болит.

Как будто убедил ревнивую.

- А зарплату дали?

- Дали вон, - я кивнул на гарцующего сына. - Только не всю. Заказчик тянет.

Не больно-то приятно молодому, здоровому офицеру изображать из себя рядового охранника в какой-то частной фирме. Да и утомительно - четвёртый год подряд. Но Маэстро говорит: "Трудно первые десять лет, как в заочном вузе, потом втянешься". Охранник-заочник...

Потом мы со Стёпой осваивали велосипед. Педали вертеть сын ещё не мог, координации не хватало. Поэтому помогал себе ехать ногами, отталкивался от пола, с рычаньем, будто он - мотор. При этом звал: "Папа! Иди ехать биби!"

Он всю колёсную технику называет "биби", за исключением общественного транспорта. Автобус, троллейбус и трамвай были у него почему-то сначала "бибига", потом - "бага", а теперь - "тоба".

Я поучаствовал в освоении педалей, потом присел, чтобы записать за сыном несколько потешных новых слов - для этого заведена отдельная тетрадка. Потом из надкорки высунулась ниточка: стихи про блюз не хотели кончаться.

Краем глаза подсматривал за сыном, но всё же пропустил момент аварии. Прекратилось рычанье, и водитель завалился набок вместе с велосипедом. Я не стал спешить на помощь, а он не торопился вставать. Лежал с задумчивым видом и шевелил то рукой, то ногой. Я спросил: "Как это ты упал?" Он помолчал, потом взглянул на меня хитро и ответил: "Во! Упау!" Вылез из-под машины, сбегал за молотком, постучал по задранному колесу, унёс молоток, поднял технику в рабочее положение, проехал немного, остановился и с задумчивым видом опять начал падать на ковёр. Падал вполне грамотно, как учат самбистов - на плечо и вытянутую руку, с отхлопом. И снова замер под велосипедом.

Я уже не писал, я наблюдал. Я не учил его технике падения! Генетика?!

А он полежал и забормотал:

- Я катаю на биби. Я упау на биби... Ха-ха-ха...

Мама тут как тут:

- Отец! Наш сын, никак, тоже стихи сочиняет?

Подошла, взглянула на мою бумажку.

- Два поэта в доме... Конец света...

Я машинально повторил:

- Два поэта, конец света...

- Всё, ребята! Дошли вы у меня с голодухи! Готовьтесь, картошка дожаривается. И куриные ноги, ваши любимые.

Села ко мне на диван, взяла стихи. Читает она быстро, математик. Одно место прочла вслух:

- Обнажены перед тобою седины каждого из нас, во лжи добытые и с бою, пробившие и перманент, и море красящих шампуней... Обнажены лишь на момент, что равен вечности для пули...

Без остановки продолжила прозой:

- Что-то не хочет война тебя отпускать. Неужели на всю жизнь?

Я молчал. Она смотрела и ждала. Тогда я спросил:

- Как думаешь, где это мне пришло?

- То есть, в бане, в транспорте, в детском магазине или на работе?.. Сейчас... Наверно, на работе. Угадала? Сидел, тишина, делать нечего... Слушай, может, тебе пора найти работу поживее? Ну, хоть бы у нас в школе. Сейчас учителям зарплату добавят, мужчин-учителей хронически не хватает... Правда, я рискую: столько умных баб...

Я сказал, что подумаю. Она сказала, что ещё надо бы проверить, какие такие объекты я охраняю - каждый раз на новом месте. Может, там тоже баб полно - не умных, так красивых. Женская сауна, например, элитная...

А Стёпа смотрел на нас из-под велосипеда, задумчиво шевелил ногой и что-то бормотал в рифму.

Владимир Шкаликов

ПО КРУГУ

Алексей сам виноват, он был слабым. Слабость - это всегда от духа, а не от тела. Как говорится, не только, но и не столько.

Почему я о нём сейчас подумал? Потому что вот на этом месте я в последний раз его спасал. Вот в этом доме он жил несколько дней вместе с какими-то бичами, пил с ними пиво, сдавал бутылки...

Пока дойду до Дома творческих организаций, будет ещё два-три таких укола. Первый год после похорон - самый трудный. Одни и те же места в разную погоду напоминают о разном. Вон там он занимался в спортшколе, да бросил, а почему - неясно. Вон туда нашу мать вызывали в комиссию по делам несовершеннолетних, а пошёл я, и они пошутили: "Плохой вы сторож брату своему". А я нарычал на них, но не смог объяснить, почему мой братишка не учится на токаря, хотя и сам напросился. А вон там... Нет-нет, это будет слишком. И так уже слёзы на подходе. Первый год - самый трудный... Поздний, слабый ребёнок, без отца, вечный лепет, вечные оступки, вечно куда-то затянут, невнимательность на уроках, потом невыносимость на работе, неудачная женитьба на мегере, потом это случайное беспричинное избиение на чужой хате и - завял в три месяца. И - добил кто-то, как в звериной стае...

Да что ж я раскисаю?.. Я же иду на "круглый стол", в "круглый зал" областной библиотеки. Там местный бомонд будет беседовать с московской знаменитостью о судьбах сибирской литературы. Выступать не собираюсь, но на всякий случай надо хоть что-то подготовить на ходу...

Поневоле позавидуешь вон той девочке. Ей, кажется, пятнадцать лет. Зовут, кажется, Ирочка. Она ходит в литературную студию к моему другу Жорке. Он меня моложе на двенадцать лет, но в Союз писателей вступил на два года раньше. Когда писал мне рекомендацию в Союз (для увеличения поголовья), заявил там, что это ему бы у меня надо просить рекомендацию. Мы все мастера на такое словцо. Но он ещё и с детьми умеет работать. И эта Ирочка у него - одна из звёздочек. Они там все пьют запоем. Вот сейчас, пожалуйста: на скамейке слева такие же, как она, пьют пиво, справа - неприлично целуются (партнёрша сидит верхом на целуемом), сверху моросит, а Ирочка ничего не замечает и пишет в тетрадке что-то такое, чем осенил Аполлон. На ходу замечаю, что куски текста расположены не ровными слоями, а разбросаны в творческом беспорядке, вкось, будто карты. Значит, так надо. Можно завидовать и не останавливаться. И не здороваться. Отвлекать разрешено только читающего, а приставать к пишущему или спящему - преступление.

Из-за Ирочки стало веселее. Прошёл два километра без одышки. Но застучало сердце. Зато стучит теперь без аритмии, как дизель под нагрузкой.

В писательскую организацию заходить не захотелось. У двери наткнулся на нашего ответсекретаря, известного тут и в Филадельфии, среди эмигрантов, поэта Игната Потапова. Он стал мне врагом, когда я ему сказал правду о его прозе. Наедине сказал, ради дела. Но дурак - он и наедине дурак. Теперь он обо мне злословит за глаза, а при встрече - свои отводит. В общем, он зашёл в писорг, а я прошёл мимо. Благо библиотека в том же здании, только за углом.

В библиотеке за полчаса до начала ещё пусто. Только девочки-библиотекарши убирают стол после чьей-то предыдущей тусовки: чтобы выжить, все библиотеки сдают свои помещения в аренду на часы под разные собрания - то коммунистам, то бизнесменам, то мошенникам, торгующим витаминными добавками. Наши придут по нулям, уже с расписанными ролями. Я там буду статистом, без слов. Потапов уже год после ссоры не просит у меня рассказов в свой журнал и старается не дать мне слова на тусовках. Я, впрочем, на тусовки и не хожу. Разве только вот так, как сегодня: позвонила заведующая, пригласила, отказываться неудобно.

Заведующая общественным сектором, Надежда Павловна, оторвавшись от какого-то разговора, подала мне мою книгу со словами: "Вот, выручила, как обещала". Я с энтузиазмом поблагодарил, а про себя ухмыльнулся. Сперва-то обещала добиться переиздания этой книжки ("так ею любимой") - всё же возглавляет областную гильдию книгоиздателей. Да только возглавляет номинально. Издатели издадут лишь то, за что заказчики платят сразу, наличными, а рисковать "под реализацию" не решаются, кишка тонка и жадность велика. А Надежда Павловна только представляет и рекламирует их на разных зарубежных сборищах. И вселяет надежду в таких бедолаг, как я, не умеющих "ложиться под спонсора". Друг Жорка это исчерпывающе сформулировал в стихах: "Под мецената - подмыться надо".

Я прошёл мимо пустого "круглого зала", сел одиноко в пустом актовом и раскрыл спасённую книжку. За истекшие двадцать лет удалось сохранить только один этот экземпляр. Я его переплёл в картонную обложку, терять жалко. Тем более, что он вообще самый первый и подарен был покойной маме.

Хар-рошая книжка, ребята! Зря боитесь переиздать. Детки читают и перечитывают, в бук не сдают, а передают дома младшим по наследству. Когда-нибудь эта сказочная повесть будет знаменита не меньше, чем "Приключения Буратино". Пусть даже не скоро, после моей жизни. Я с

этим не спешу, у меня тут не зря прозвище - "Классик". Одна жена не удивляется, что и в шахматах, и в жизни, и в литературе мне интереснее процесс, чем результат. Да и она, по-моему, не очень верит. И вовсе этим не довольна, просто терпит. Утешается тем, что я непьющий и не курю. Бедность не в тягость лишь тем, кто её не замечает. Уродам вроде меня.

В общем, я с удовольствием почитал собственную сказку эти полчаса. Давно не перечитывал. Теперь читал почти как чужое и удивлялся: ну ни добавить, ни убавить, мне такое сегодня не сочинить и так не написать. Классик, одно слово. Бывший. Исписавшийся. А славы так и не снискавший. Широко известный в узком кругу.

Шумок из холла просочился в актовЫй зал. Я закрыл любимую книжку и посмотрел на часы. Уже по нулям. Вышел к народу. Они как раз начали втягиваться в "круглый зал". Я втянулся тоже, сел сбоку, в "мёртвой зоне" телекамер, и не за стол, а на прихваченный в коридоре стульчик, во втором ряду.

Но надо же: соседом моим в первом ряду через миг оказался Потапов. Он в жёлтом своём пиджаке, с поэтической гривой, ведёт это сборище, и мне придётся скрываться от объективов за его спиной. А рядом с ним, конечно, Московский Гость. В прошлом военный, автор стихов и рассказов, а теперь вот известный критик, член разных сибирских редколлегий, постоянно кочующий - ну просто командарм. Даже, пожалуй, командующий литературным фронтом. Наездами из Москвы.

Потапов встаёт и доверительно-вальжным тусовочным тоном длинно сообщает трём телекамерам, что они с Гостем час назад жарили шашлыки у него на даче, но не устали, а только набрались сил - в общем поэзия обывателя. Рядом со мной молоденькая телевизионщица по-кошачьи тихо фыркает и делает знаки своему оператору. Тот меняет сектор обстрела.

Наконец под аплодисменты рыжий гость поднимается, галантно благодарит Надежду Павловну "за чудесную возможность поработать", сообщает, что он только вот из соседней области, там хорошо, но у нас (конечно же!) "неожиданно лучше, хе-хе". Напоминает, что он в прошлом офицер, и привычки остались, поэтому извиняйте за командный тон и давайте сразу к делу - обсудим судьбы. И делает обзор "положения на фронте", из которого следует, что:

- "литература есть отражение нашей жизни" (очень свежая мысль, если отказаться от публицистики и заняться краеведением, к чему он потом и призовет);

- "в литературе - два ведущих жанра: поэзия и проза" (вот это уже новация армейского типа: до сих пор в вузах учили, что литература - это поэзия, писомая стихами или прозой, а жанры и виды - это вообще из другой классификации);

- "в центре внимания сейчас - московская литература (будто когда-нибудь было иначе), но литература, создаваемая к востоку от Урала, НЕ МЕНЕЕ самобытна (ну, ещё бы, когда все самобытные из всех провинций, едва став дома известными, тут же норовят переселиться в Москву, поближе к издательствам),

- поэтому "задача собравшихся за этим уютным столом - поговорить о задачах сибирской литературы..." (ну да, у каждого подразделения должна быть своя чёткая задача);

- и вот первый вопрос - к Галине Мирошниченко, молодому писателю, историку по профессии, которая выпустила подряд две книги с предисловиями Командарма: "Что ты скажешь, Галочка, о провинциальности в сибирской литературе?"

Галя не красавица, к тому же покраснела, и худое лицо от этого залоснилось, но кумулятивная сила ума в глазах никуда не делась, да и подыгрывать она ещё не умеет. Она сделала мощную книжку о чёрной странице нашей истории - о разгроме советской властью крестьянских бунтов. Книжка честная и беспощадная, с участием сначала ВЧК, а потом - Страшного Суда. Её вторая книжка - тоже тонкая, но как раз из тех, что устанавливают погоду. Она самородок-трудяга и уезжать в Москву не собирается категорически. Похоже, Галя не очень дорожит публичным статусом, у неё хорошая должность в хорошем музее. Она высказывается просто и коротко:

- По-моему, не существует литература московская или провинциальная, российская или ещё какая-то. Я знаю Литературу и не-литературу. Каждый автор работает сам и отвечает перед собой за всё, что делает. Спасибо.

Короткая, но убийственная тишина. Как на Страшном Суде. Дальше говорить просто нечего. Закругляй "круглый стол".

Но Командарм находчив. Он просто, как на тяжёлом танке, продолжает движение, и за ним с готовностью бежит пехота.

- Превосходно, - оценивает он. - Галя - одна из немногих, кому хватило храбрости поднять в литературе столь трудную историческую тему, включая и её антиссионистский аспект. Поговорим о храбрости в литературе. Дадим слово Александру Ивановичу Гусеву, доценту и литературоведу госуниверситета...

- Петровичу, - поправляет Гусев.

- Виноват, Михайловичу, - поправляется Гость.

- Петровичу, - поправляет твёрдо Гусев. - Но это неважно... После уничтожения Потанина и его единомышленников мы до сих пор имеем в Сибири только плоды советского геноцида, а теперь ещё - попытку подмять наше сознание посредством американской глобализации. Судя по тому, как

развивается ситуация, делаю вывод, что глобализация нас победит. Поэтому я настроен пессимистически. Однако продолжаю надеяться, что Сибирь ещё может спасти Россию от американцев, как когда-то спасла от Колчака, гм...

Гусев при советской власти слегка пострадал как участник самиздатского журнала, у него к любой власти есть претензии, на то он и учёный.

- Будем надеяться, - как бы подхватывает, перебивая, Командарм, и голос его гремит, как на плацу, с такой силой, что хочется пригнуть голову. - В своей нобелевской речи, накануне готовой начаться мировой ядерной войны, Уильям Фолкнер сказал: "Я верю, что человек не только выстоит, но и победит".

Мне нравится Фолкнер, особенно в новеллах, но вот так выдернутая цитата выглядит как-то... либо глупо либо лукаво. Какой человек выстоит и победит: тот, кто сильнее, или тот, кто умнее? Или тот, кто за ними наблюдает из-за океана?

В это время мой сосед Потапов что-то шепчет своей хорошенькой соседочке в красной косыночке, а другая его пассия, тоже поэтессочка, отводит от него хорошенькие глазки и абстрактно, беззащитно улыбается в пространство. На дворе начало июля, она чувствует конец весны и рада хотя бы отразиться в глазах кумира. Сначала стихами и разговорами о любви Игнат их всех берёт, публикует в своём журнале, а потом оставляет с обидным объяснением: ни одна, мол, не может родить мне сына, даже собственная жена. Собственная дочь у него получилась неудачная: слабая здоровьем, не очень умная, но с запросами. Он пристроил её корректором в свой журнал, там полно опечаток, на него злятся авторы, но все его жалеют и прощают - за это невезение и за хорошие организаторские способности. Никто из нас не потянул бы такой объём работы - и со спонсорами, и с авторами, и с бабами, да чтоб ещё успевать писать прозу - пусть весьма посредственную, но это уж дело вкуса...

Следом за пессимистом Сашкой Гусевым, с которым мы вместе начинали при советской власти ещё в молодёжной газете, выступает его коллега, старейшина сибирского литературоведения Марина Ивановна Сапожникова. Она точна и ясномысленна в свои далеко за семьдесят, почти как великий Шкловский. Она отвечает на вопрос: "В чём мужество писателя?" и цитирует незабвенного областника Потанина: "Самое худшее в литературе на местах - это несправедливость в самореализации писателей". И добавляет от себя: "Сегодня в Москве равенство шансов какое-то есть, в Казани неравенство уже чувствуется, а за Уралом оно криком кричит".

Вот это - обо мне. Только что толку? Был у нас один фантаст. С мировым именем. При советской власти долго был кумиром студентов, а в последние годы ничего не издавал, хотя и писал много, мы дружили. Ему так и говорили эти, вроде Потапова: "Хочешь издаваться - надо тусоваться. Будешь лезть на глаза, ездить, выступать - вот и найдёшь и издателя, и спонсора. А сами они к тебе не пойдут, какая ты ни будь знаменитость". Но он жил на одну пенсию. Ездить и тусоваться не на что. Да и некогда. Он писал всерьёз, отвечал перед собой за каждое слово. И снова: что толку? Умер год назад, почти забытым. Гордость, мать-фатерь, чисто провинциальная черта. Не гордыня, гордость. Недостаток или достоинство?

Сочтя первые выступления достаточными для себя, встала моя соседка-телевизионщица и кивнула своему оператору. Двое других тоже начали снимать камеры со штативов: кто теперь быстрее добежит и смонтирует сюжет... Им-то и слушать не нужно - был бы видеорядок на минуту-другую. Без разницы - хоть о судьбах поэзии, хоть о комнатном собачководстве.

Признаться, и мне это уже наскучило. С самого начала чуял, что Московскому Гостю просто заказана статья на эту тему. Даже догадываюсь, в какой самобытный столичный журнал. Вот он и таскается по Сибири от стола к столу. Все его сегодняшние действия это подтверждают. И мне выступать не придётся, потому что Потапов хорошо чувствует, что я могу добавить к словам Гали Мирошниченко.

Так не уйти ли вместе с телевизионщиками?

Нет, пока не стоит. Сочтут за демонстрацию. Боимся, боимся ложного стыда! Боимся, что Потапов будет мыть нам кости на собрании по поводу пренебрежения судьбами. Вспомнит, как при вступлении в поголовье я когда-то написал в заявлении: "Обязуюсь участвовать во всех мероприятиях писорга". Чёрт меня дёрнул... Впрочем, наверняка никто этого не помнит. И более серьёзные обещания забывают. Это моя мнительность. Но она - моя, и мне с ней жить, как с волосатой шишкой под самым носом. Не уйду пока.

Гость уже цитирует какого-то английского писателя, чьё имя я прослушал: "Где наша мудрость, которую мы променяли на знания, и где наши знания, которые мы променяли на информацию?" Патетично, броско, но не очень внятно и не очень к месту. Он этой ерундой пытается проиллюстрировать серьёзную мысль: "Сейчас в России все повально пишут о том, как гниёт русский человек. Пишут с каким-то сладострастием. А кто сегодня наберётся мужества и напишет, как русский человек может выстоять?" Но зачем для этого мужество? Ты мои рукописи читал, командарм? Все мои романы - как раз об этом. И повести, и рассказы, и даже сказки. Их принимали многие издательства, но ни одно не опубликовало. Может, под другим именем и названием уже издали какие-нибудь пираты, но где ж мне уследить? Чукча не читатель, чукча - писатель. А охрана

авторских прав в России до сих пор не воскрешена. Да что здесь вообще воскрешено, кроме сбора налогов с бедноты?! Здесь всегда всё рассчитано на когда-нибудь, на после нас...

Всё, уходить пора, дошёл до кондиции.

Но я продолжаю сидеть. И убираю колено, когда "хозяин праздника" Потапов в очередной раз уходит и возвращается. А он что-то зачистил. Похоже, ему нравится создавать мне мелкое неудобство. И не отодвинешься - стена сзади.

По старой журналистской привычке записываю выступления статистов: "Кушать подано".

Вот дали слово нашему Старейшему. Чудесный старик, умница, эрудит, пишет иронически и очень занимательно. Ему принадлежит славный афоризм: "Писатель без чувства юмора обязан вымереть добровольно". За этим столом его хвалят "за оживление истории". И за пресловутую "сибирскую самобытность". Этак хлопают по плечу. А ему по боку. Он и без них, и без Сибири - самобытен. Рассказал анекдот о вырождении, выразил уверенность, что не выродимся, и спокойно сел.

Следом напросился выступать другой старейшина. Громадной силы был мужик, но уже сильно выгорел от алкоголя. Он вкусил почёт при советской власти, возглавлял писорг. Во время перестройки остро покритиковал эту власть в художественно-публицистической книжонке "Зубы сатаны" и как-то подзамолчал. Теперь вот вдруг, через почти двадцать лет после выхода "Зубов", начал говорить Гостю о своей храбрости и подарил ему эту книжонку, а следом протягивает через стол - "только посмотреть" - толстенький нарядный том из жанра, который мы с Жоркой называем - "ведомственная историография" - заказное жизнеописание доблестного Горсвета к его замечательному 105-летию юбилею. Мне кажется, что сейчас все полезут от стыда под стулья. Но никто не лезет. Зря я до этого досидел. Встать бы беленькому да выйти гордо, но теперь уже этот бедняга примет за плевок, а мне его жалко. И за его прошлую мощь, и за недавнюю "дозволенную смелость" и за что-то из той поры, когда он слыл новатором стиля и языка.

Вот подняли и друга Жорку. Он бормочет, что, мол, Галя уже всё сказала, остаётся присоединиться. Добавляет только, что провинциальность - вовсе не ругательство, а даже бывает почётна... Честный человек. Уйти бы вместе, как с прошлого собрания, когда Потапов начал очередную свару. Но сидим не рядом, только переглядываемся. Ждём, когда наш записной склочник заговорит о любви - это будет означать апогей тусовки и близость её окончания.

И он наконец заговаривает:

- Замечательная хозяйка нашего "круглого стола" носит имя Надежда, а вот рядом со мной сидит муза в красной косынке, с именем Любовь. Это Любочка Гвоздева. Она пишет отличные стихи о любви, в ближайшем номере нашего журнала они появятся, а сегодня у неё день рождения! Поздравим Любовь, и пусть на ней всегда всё в мире держится, особенно в литературе, в поэзии, и пусть не будет никакого сведения счётов...

Последние слова не к месту, но все уже с энтузиазмом хлопают. Любочка встаёт, произносит дежурную речёвку о мужестве, любви и самобытности, получает от мэтра братский поцелуйчик в пухлые губки и убегает.

Я в это время смотрю на свергаемую пассию на той стороне стола. Лучше бы на неё не смотреть. После таких приключений они больше в писорг не ходят и в литстудии Потапова не появляются. А ему того и надо. Мы с Жоркой давно заметили, что ему для поэтического вдохновения постоянно нужна свежая пассия, а для прозаического - какой-нибудь неопасный враг, желательно из своих, чтоб его можно было потретировать и со временем простить. Он с Жоркой долго был на ножах. Я их мирил и помирил. Теперь моя очередь быть в опале. Только я с ним мириться не стану. Бабы отношения - не по нашей части. Добрый парень Жорка в армии не служил, а мы-то флотские... Нехай страдает литература: не видать журналу моих рассказов.

От дальней стены всё время подаёт реплики Актриса. Она служит в тюзе и сочиняет хорошие песни на чужие стихи. Явилась она, как всегда, с гитарой и в конце украсит шоу. Но пока Потапов на неё всё время шикает и зыркает. А она этого просто не замечает, потому что очень любит петь, говорить и вообще - участвовать. Я слышал, она потом болеет, если мало попоёт на публике. У неё сильный, низкий, богатый голос, она здорово играет на гитаре. Я люблю её слушать. Правда, в больших дозах удовольствия не имел. Все ведущие на всех тусовках выпускают её последней и дают, садисты, петь не больше двух песен. Женщина красивая и с виду волевая, она почему-то легко даёт собой командовать. Я бы, наверно, при таком отношении либо бросил петь либо нашёл другое место, другую компанию. Вон рядом с ней сидит наш новый член Союза, Андрюша Кузовлев. Пришёл без гитары, хотя поёт в ресторанах собственные песни, тем и кормится. Но сегодня он - просто поэт. И выступал толково, только общо как-то, я ничего не запомнил.

На этот раз Потапов почти грубо позволяет Актрисе спеть всего одну песню: времени, мол, не осталось. И она покорно, даже подобострастно объясняет, что эту-то песню надо спеть обязательно, потому что она - на стихи нашего Гостя и очень похвалена ветеранами афганской войны. Говорит длинно и горячо, а Потапов прерывает: "Пой скорее" и тут же выходит. Я со злости не убираю колено, он запинается.

Песня действительно хорошая, если не придирается к грамматике. И спета с большой силой. С последним аккордом, будто ждал за дверью, входит под аплодисменты Потапов. Актриса хочет ещё высказаться, но он совсем уже грубо её останавливает и подаёт команду на выход. Гость на ходу утешительно рявкает Актрисе: "Ах, Минерва, ты такая стерва!" И она улыбается, как перед рампой после отработки номера. Все торопятся выйти: устали за два часа в такую жару.

Тут в зал и вбегает Ирочка. Лучиком скользит между маститыми, никого не задевая. Жорка издали ей улыбается. Она на ходу выхватывает из сумочки знакомую мне тетрадку. Пока маститые здесь трепались, успела на уличной скамье под дождём всё написать...

После короткого разговора Жорка забирает тетрадку. Ирочка уходит, махнув мне пальчиками. По уже пустому залу подхожу к Жорке:

- Что она принесла? Не стихи?

- Нет! - Он смеётся. - Она сейчас уже роман пишет. А это, кстати, рассуждения над одной из твоих формул. Номер десятый: "Отличное произведение - это когда автор выгодно отличается от других. Чужое влияние мешает даже в одной фразе".

- Что же она написала?

- Они все написали, каждый своё. В "Студии" прочтёшь, на той неделе.

Жорка - главный редактор единственной в стране детской литературной газеты "Студия". Вся редколлегия - дети. Ирочка - член редколлегии. Они о судьбе литературы не болтают, они её делают.

Выходим под морось. Впереди маячат рыжий Гость и Потапов с женой. Она пришла к концу тусовки, чтобы не дать ему напиться в писорге. Сегодня у него вечер будет испорчен.

Идём с Жоркой в сторону писорга, он жадно закуривает. Спрашивает: "Зайдёшь?" Я мотаю головой: "Некогда". Он ухмыляется, потому что там сейчас будут пить и хвастать, а мне ни то, ни другое не нравится. Но он пойдёт и обязательно напьётся, чтобы "снять напругу". У него жизнь тяжёлая: надо много зарабатывать, и до пенсии далеко, и писать главное и любимое из-за этого некогда. Он завидует моей пенсионерской свободе, а я - его здоровью, тому, что он моложе, его умению работать с детьми и с компьютером.

Расстаёмся у Дома творческих организаций, оба недовольные жизнью.

Перебегаю улицу к троллейбусной остановке и вдруг слышу: "Пустите под зонтик". Из-под крупно капающего дерева подходит отвергнутая пассия. Хорошенькая и грустная, но с той же рассеянной улыбкой. Спрашивает с удивлением:

- Почему вы не пошли со всеми?

- А вы?

- А меня не приглашали.

- И меня.

- Но вам и так можно, вы - член Союза...

В её грустных глазах - искреннее недоумение.

А я не знаю, как ответить. Мне трудно сосредоточиться. Я думаю совсем о другом.

Вот на этом самом месте я в последний раз видел брата живым. Он ждал какого-то автобуса, а я по привычке шёл домой пешком из столярной мастерской, где втайне от налоговой инспекции подрабатываю к пенсии. Я спросил: "Не к нам едешь?" Он мотнул головой. Я спросил: "К жене?" Он сказал: "Да ну её". Становилось неловко помогать, но я всё-таки спросил: "А куда же?" Он отвёл глаза и ответил: "Да так..."

09-14.07.04г.

Владимир Шкаликов

ПОЭТ БОЖЬЕЙ НЕМИЛОСТЬЮ

(не убрать ли даты?)

рассказ

Аркадий Павлин, "Прощальный дневник" (Томск, изд-во "Пурга", 2008г.), посмертная книга стихов, подготовленная самим автором к собственному самоубийству и вышедшая в свет через год после рокового прыжка с высотного дома на бетонный козырёк.

Враг мой Павлин! Я заглянул в твою последнюю книгу на выставке новых поступлений в начале 2008 года и до октября не мог больше взять её в руки. Хотя в обычае моего "Гамбургского счёта" - откликаться на новые книги побыстрее, а вот - не поднималась рука. Не то что отрецензировать, а даже просто прочесть. Вроде и год прошёл после твоих похорон, а всё равно было свежо. Я эту свежесть ощущения проверял визитами к твоей могиле. Каждый раз заходил со стороны забора, глядел на твой каменный портрет, прочитывал обманное двустийе под ним и злился. Лицо твоё на портрете получилось злобным. Наверно, ты сам не верил этим стихам: "За деньгами не гонялся, поклонялся красоте" - потому и вышел такой злой. Да и зарыли у самого забора, лицом к забору - как наказали...

А рецензию на книгу бывшего товарища - да и на любую - нельзя писать со злостью. Нужна холодная голова. Вот я и не писал. Даже книгу не читал.

Когда узнали о твоей последней выходке, наш общий друг Никола сказал: "Дурррак!". А я ответил: "Да нет. За этот поступок ему надо всё простить". Вот такая была нервность. А сейчас, посреди второго года без тебя, можно и порассуждать.

Итак, я назвал тебя моим врагом. Странно для людей, даривших друг другу свои книги. Но вполне по Киплингу. Помнишь, конечно, про кота, который гулял сам по себе. Ты ведь тоже старался быть таким. Но трудно, даже смертельно - жить дикой тварью в человеческом обществе. Всем враг, а врешь, будто всех любишь.

Ты даже Коллеге стал врагом, старинному и любящему другу. Он тебя любил и любит до сих пор. А я - жалел вас обоих. Он мне это прощал, а ты простить не мог.

Вспомни, как получилось. Уже почти четыре года тому. Ты подарил мне очередную книгу. То была проза про Знахаря. Не надо было тебе спрашивать моего о ней мнения. А мне - стоило уклониться. Но что вышло, то вышло. Я прочёл и сказал, что по сравнению с "Ласковым витязем" эта проза никуда не годится, что надо гораздо больше работать над формой, что не надо спешить: проза к этому так же нетерпима, как и стихи. Я сказал, что ты слишком многое на себя взвалил: выпуск журнала, всякие литкружки, оргработа в писорге - из этого ещё можно выкроить время на бегу, на коленке - для стихов, но вот проза, как говорил Липатов, требует "большой задницы". Мы сидели с тобой в углу писорга, в сторонке от всех, и ты накалялся. Ещё только зрела беда, которая потом тебя убила, ещё можно было остановиться, собрать себя в некое единство, неприступное для суеты, которой так не терпит служенье муз... Как раз тогда я впервые сказал тебе о Гамбургском счёте. Великий Шкловский очаровал меня давно, но это его изобретение - просто образец точности: "Гамбургский счёт - чрезвычайно важное понятие. Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренёра. Раз в году в гамбургском трактире собираются борцы. Они борются при закрытых дверях и завешенных окнах. Долго, некрасиво и тяжело. Здесь устанавливаются истинные классы борцов - чтобы не исхалтуриться. Гамбургский счёт необходим в литературе". Я сказал, что твоя спешка - путь к халтуре. Я сказал: "Не спеши, а то успеешь". Но ты мои советы не мог принимать всерьёз. Ты был на десять лет моложе меня, но лет на пятнадцать раньше меня вступил в Союз писателей, ещё СССР, ты лично добился, чтобы в этот Союз вступил и я, ты помог мне получить от этого Союза квартиру, ты публиковал мои сочинения в СВОЁМ журнале, короче, ничего первого в наших отношениях мне принадлежать не могло. А меня не устраивала роль "младшего" - в свите "благодетеля". Гамбургский счёт встал между нами. Ты сказал мне гадость, я посмотрел впервые без жалости, и ты - испугался. Вскочил из кресла, выкрикнул погромче, чтоб посмотрели все, но чтоб не поняли: "Ни к чему эти разборки!" и поспешил выйти из угла. Неужели думал, что ударю, как тот церковный староста за пошлый стишок в адрес Девы Пресвятой? Было странно: ведь ты даже опубликовал мой рассказ об этом.

Потом ты прислал мне по почте письмо. Вот оно, без правки.

"Скидан (не потрачусь на восклицание, ибо сильных чувств ты во мне не вызываешь), если бы и впрямь ты был шокирован и удручен моей бездарностью, не светился, не сиял бы так, нанося мне «превентивный точечный удар» ниже пояса. Я бы, может, и загнул, но на другой день позвонила мне Чернова из «Простора» - принято к публикации продолжение «Школы страсти»: «Такие замечательные отзывы о вашем романе!.. А главный редактор Петров не устает повторять: «Как

здорово, что мы напечатали «Школу страсти!»...». Если бы в тот же день не сообщил мне Бурмакин: «В «Литгазете» информация о возобновлении ежемесячного выпуска «Сибогней», пишут - очень достойно начали, романом Павлина «Русский знахарь»...» Если бы ранее не получил я письмо из Филадельфии от редактора альманаха «Встречи» Валентины Синкевич: «Ваши романы читаются на одном дыхании... Так писать, как Вы, многие уже разучились, а многие и никогда не умели...» Если бы тонкий и умный новосибирский критик Владимир Яранцев в «Сибогнях» не противопоставил «Знахаря» «Человеку «Ч», мой роман похвалив как раз за язык и эпический накал... Если бы наделенный большим вкусом и интуицией Володя Попов, мало мне знакомый, к сожалению, так не настаивал, что ежемесячный выпуск «Сибогней» надо начинать именно с «Русского знахаря»... Если бы не было многих десятков великолепных отзывов... Представь себе, мнения Усова, Гавриленко, Климычева, Бурмакина, Солнцева, Кириллова и других значат для меня гораздо больше... Отрицательный отзыв был, кажется, один - от милой девушки, погруженной в Интернет, фантастику и сугубые детективы. Другие представительницы прекрасного пола читали ночи напролет, а эта едва домучила... Но мне грешно на нее сердиться... И твою «критику» принял бы вполне терпимо, если бы ты, сияя, не посоветовал мне бросить писать... Не много ли на себя берешь?.. Мне ведь тоже чаще не нравится, как ты пишешь, но я не называю это журналистикой, не литературой - это просто не **МОЯ** литература - пытаюсь всегда найти что-либо достойное публикации в «Сибжурнале», из-за чего перечитываю втрое больше, чем у других (ну раз уж так вышло, что я редактор, журнал, как и любой другой, строится под редакторский вкус), защищаю даже нередко твои публикации на редколлегии, думаю делать это и впредь и вовсе не собираюсь бить тебя по рукам... А вот пощечину за твой выверенный «точёный удар» я бы тебе, пожалуй, дал, если бы мы, действительно, как ты настаивал, разговаривали тет-а-тет, или плеснул бы тебе в умильное лицо твоей же «клюквинкой», даже не надеясь, что ты вызовешь меня на дуэль... Я рад, что сорвал с тебя умильную маску: твоя вкрадчивая ласковость меня всегда настораживала - ломал голову: почему же он мне так не нравится?.. Что ж, будем знакомы... Да, мне не нравятся мелкие люди твоего пошиба - типа Зырнова, Крякова и иже с ними - но мне больно и горько, что ты и Коллегу, бывшего друга моего, делаешь мелкотравчатым. Теперь я это знаю... Друзей у меня мало, но мелких людей среди них нет. И не будет... Повторяю - рад, что узнал тебя истинного, а то бы до сих пор подавал руку... Но это вовсе не значит, что я сожалею о своей рекомендации по приему тебя в Союз, что даже хлопотал в приемной коллегии за тебя, узнав о спорности вопроса (литератор ведь - профессия, а не человеческое качество), это вовсе не значит, что я сожалею, что помог тебе сделать книгу сказок (они, надеюсь, светлей тебя), это вовсе не значит, что перестану здороваться с тобой. Будь здоров, мир дому и духу твоему, живи уютно в своем масштабе. Скидан.

Аркадий Павлин 16 июня 2003 г

Р8. Лишь две причины побудили меня написать это: 1. Нежелание дать тебе торжествовать по поводу того, как ты лихо "срезал" Павлина; 2. Слабая надежда остановить цепную реакцию твоего измелчания.

Ответь себе - не мне: зачем тебе эта лихость понадобилась?"

Я ответил на это письмо. Тоже по почте.

"Томск, 24.06.2003г.

Аркаша! Я так понимаю, что ты выбрал дуэль на компьютерах. Ещё бы сервер, да?

Я тогда сорвался, ты прав. Но нельзя же говорить что попало. Выходило, что я из благодарности к твоим добродетелям в мой убогий адрес и правды **своей** сказать тебе не могу. Мне многие говорили, что нервы у тебя тонковаты, и я старался соответствовать. Ты вон и от Тамары дверью хлопаешь. Ну, в общем, не сердчай, мой дорогой. Если бы я хотел тебе дать под дых, я бы устроил наш разговор о твоём стиле при народе, покрасовался бы: "У нас, мол, в "Молодом ленинце" так писать даже новичкам запрещалось и т.п." Но я же не педалировал. Сказал тебе на ушко, что стиль не совпадает с содержанием. Ну, хвалят тебя другие, ну и славно. Ну не знают эти люди, что твой "новый стиль" с глаголами на конце фраз был когда-то дурным тоном в советской журналистике. Чего ж меня этой кодлой пугать, как в том анекдоте? Я тебя не уязвить пытался, а предупредить: после превосходно сбалансированного "Витязя" этот стиль мало куда подойдёт. Ты ни одному художнику не хотел сказать, что где-то вместо пера больше подошла бы кисточка? Или другой инструмент? Если нет, значит, тебе везло на художников, как минимум. Это первое.

Мою деликатность ты поставил мне в упрёк. Тебе "мужской грубости" захотелось. Ты сам за ней пытаешься скрыть свою уязвимость. Это - удел слабых, так-то, братец. Я слишком хорошо к тебе отношусь, чтобы даже при нашем последнем расставании, когда ты громко, для всех, заговорил о "разборках", поставить тебя на место. Перепалка базарного типа унизительна и действительно мелка. Ты любишь соревноваться и побеждать. Вероятно, в молодости недобрал. А у меня этого было столько, что я успокоился довольно рано. Я люблю не споры, а беседы. Я люблю выслушивать других и люблю, чтоб не перебивали меня. Я не публичный человек. Поэтому при встречах на людях

прошу не вызывать меня на перепалку - только рассмешишь. Ведь я видел жизнь на 10 лет дольше тебя, притом, уж поверь, с гораздо большего числа сторон. Ровно на этот объём я ближе тебя к философии Экклесиаста. А насчёт упражнений с камнями даже продвинулся несколько дальше, чем он - если будет интересно, расскажу, а нет - прочтёшь когда-нибудь. Это второе.

Деликатность тех, кто тебя хвалит, я уважаю. Ты очень хороший организатор, ты любишь свою работу, живёшь ею, ты чрезвычайно работоспособен, и уже за одно это тебя можно уважать. К тому же для человека столь занятого ты пишешь действительно хорошо. Но я-то знаю проблему изнутри. Ты уже прощаешь себе стиливые огрехи, о которых я попытался тогда сказать. Художник не имеет права на эту слабость. Я к тебе, к Колюше Курочкину и к Коллеге подхожу с такой же строгостью, как к себе. И от вас жду того же, иначе на чёрта мы друг другу? В литературной работе мы с тобой в неравных условиях. Моё время - всё моё, а тебе - некогда. Я поэтому лучше чувствую вечность, которая одна будет нас судить. При этом, дружок, я не настолько высоко себя ставлю в литературе, чтобы с тобой тягаться в чём бы то ни было. Поле большое, всем под грядки места хватит: знай выращивай. Так что насчёт "срезать" тебя "превентивным точечным ударом" и затем "торжествовать" над твоим простёртым туловом мне ни к чему, да и недосуг. Ты мне, при всех недостатках, симпатичен своей цельностью (удивлён?), хотя она тебе порой и мешает, бо цельность - штука прихотливая. Это третье.

Теперь о главном. Ты мне сообщил тут, что "литератор - это профессия, а не человеческое качество". То, что мы с тобой называем словом "литератор", я понимаю не как профессию (то есть способ зарабатывать на жизнь) и не как человеческое качество (это из области психологии, можешь поверить). **Писательство есть образ жизни.** Забудешь - и хана тебе как литератору.

И в конце о глупостях, для смеха. Просто совет опытного человека. Никогда всуе не говори и не пиши (как мне) о пощёчинах, которые ты мог бы нанести. Это бывает чревато да и вообще как-то не всерьёз: то ли женское, то ли детское, разве нет?

Письмо твоё, написанное 16 июня, я получил аж 24-го. Я его никому не покажу, но сжигать не стану: авось когда-нибудь пригодится тебе - для самоанализа, вроде дневника. Если, конечно, ты не сделал для себя копии.

Книжка моя получилась хорошая, хоть и дорогая. Это та сказка, которую ты отправлял от моего имени Солнцеву. Ответа я так и не получил. Я подарю тебе её.

Что до публикаций в "СЖ", то звони, если понадобится что-нибудь небольшое. Найдём. Да и вообще лучше звони, чем тратиться на переписку.

Привета супруге не передаю, т.к. об этом письме ей лучше не знать. Да и никому, верно? Твой В.Скидан".

Больше мы не переписывались и не общались. Кажется, ты увидел в моём письме угрозу и больше вообще ко мне не приближался, хоть и принял при всех книжку в подарок. Ты её, наверно, так и не прочёл. "Ска-а-азки...". Но теперь всё это позади, и письма наши пригодятся не тебе, а мне. И вовсе не для того, чтобы "торжествовать", а для анализа, который я предъявил бы твоим молодым поклонницам и поклонникам, чтоб они не пошли твоим путём.

Я имею в виду не прыжки с крыши, а использование божьего дара.

Вот странное дело: взялся рецензировать твою книгу, а вместо этого распространяюсь о наших отношениях. Неужто ни черта не получится? Я, видишь ли, в известном смысле обязан.

Помнишь, при твоей жизни, выйдя на пенсию и потеряв вахтовую работу, я устроился переплётчиком в одну из библиотек? Платили мало, но мне эта работа нравится. И люди добрые, и любая литература под рукой, а главное - результаты труда: их можно потрогать, и отремонтированные книги всем доставляют радость. Ты, профессиональный писатель, в это время "за наживой не гонялся", но и в выборе заработка особой разборчивости не проявлял: писал заказные статьи, очерки, даже книги для разного областного начальства. Получал несколько жалований за несколько должностей, на которых числился и что-то исполнял. Жил не бедно по сравнению с многими из прочих "профессиональных" писателей. И бог бы с тобой, я за это тебя не осуждал бы, если бы оно не клало тебя на лопатки по Гамбургскому счёту. Ты начал исхалтуриваться, а признаться в этом не мог. Что ж поделать: одним писателям стыдно жить за счёт любимой женщины, а другие не стесняются кормиться за счёт музыки...

Так вот и вышло, что свою халтуру ты стал называть литературой, а мы с Коллегой, оба потеряв вахту, начали честно зарабатывать на жизнь физическим трудом и из-за этого подзабыли писательство. Мало ли нас таких...

Однажды в библиотеке меня попросили высказаться насчёт некоей книги. Её выпустила женщина, которая сама стихов не пишет. Она несколько лет собирала стихи о Томске, чтобы просто соорудить сборник к юбилею города. Триста авторов, много стихов, большая разница между лучшими и слабейшими. Когда толстый и красивый сборник явился миру, женщину стали ругать как раз те, кто не помогал ей, и особенно те, кто ей мешал. Туда попали даже мои стихи, которые ты когда-то

опубликовал в своём журнале и очень забавно похвалил: "Не ожидал от тебя..." (Такие похвалы я слышал не раз: видно, рылом не вышел...).

Так вот, у меня на ту книгу неожиданно получилась рецензия в том смысле, что весь авторский хор настолько единодушно воспеваёт родной город, что в нём и не различишь, кто поёт лучше, а кто хуже: в любви к родине равны и воробьи, и соловьи. Моё новое начальство улыбнулось и выставило рецензию на библиотечный сайт. Потом разохотились и стали заказывать ещё. Потом предложили вести собственный раздел и примолвили, что будет доплата. А у меня - сирота внук. Я вспомнил про Гамбургский счёт да так и назвал свой раздел - "Рецензионный клуб ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ". И уговорился с начальством, что будем только хвалить: вот, дескать, вышла новая книга томского автора, которую стоит прочесть в нашей библиотеке. А то, что не стоит, просто не будем замечать. Начальство доверилось моему вкусу и согласилось. Произошло это незадолго до твоего самоубийства, ты этого не знал, полагаю. А я уже предпоследнюю твою книжку стихов рецензировать не стал: не могу писать о стыдном.

Постепенно мне пришлось решиться и на отрицательные высказывания, даже на целые ругательные рецензии, но каждый раз я находил, за что похвалить, и в целом получалось так, что авторы на меня не обижались. Большинство наших писателей - люди с юмором, и они мои остроты в свой адрес прощали как необходимые. В отличие, враг мой, от тебя. Все без исключения признавали, что чувства юмора нет у двоих из нас: у тебя и у Серьёзнова. Но Серьёзнов тоже это признавал, а вот тебе нравилось быть во всём белой птицей. Ты об этом даже стихи написал.

Вот я и перешёл, наконец, к твоим стихам. Но начну всё же не с них, а с коротенького стишка Коллеги, который считаю блестящим во всех местах:

Белые вороны сбились в стаю.

Я меняю цвет и улетаю.

А ты, Павлин, ничего этого не умел. Ни в стаю сбиваться, ни менять цвет, ни улетать. Ты любил быть белым, но не хотел при этом называться вороной. Хотел лететь впереди стаи, но на неё не оборачиваться.

Начну с того, почему не стал рецензировать твою предпоследнюю книгу. Она называлась "Меж нами". Приятно толстенький гляцевый томик с солнышком на обложке. Я прочёл и ужаснулся. Ругань в адрес врагов и похабщина - не шутейно-нарочитая, как у Баркова, а всерьёз, доверительная, то есть - разлагающая. Такая, которая во всех отдельных словах пристойна, а читать - стыдно, как подглядывать за непристойностью. Верно сказано: "Что бы ты ни писал, ты пишешь о себе, даже если пишешь о себе". В каждом втором стихотворении - кокетливая ругань в свой адрес: "Я знаю все свои изъяны, но есть просвет в грехах моих: меня не любят графоманы - уж больно я затрахал их". В названии твоей книги явно не хватало двух букв.

Кстати, насчёт графомании. Она - обязательна для литератора. Иное дело - есть ли у него талант и чиста ли душа. У кого с этим худо, того называют графоманом. Прочих же располагают по шкале, кажется, Каверина, где более 50 мест: от "величайшего" и "гениального" до "печально известного" и "некоего". Талантом к творению стихов тебя, Павлин, природа не обделила. Только зря ты стал белым. Не павлинье это дело. Хвост должен быть ярким и многоглазым. А у тебя только один глаз и один цвет. И цель одна, как у Охотника из "Обыкновенного чуда": доказать, что ты - чемпион. Зря ты "затраховывал" графоманов. Не для поэта дело это. Уметь писать в рифму - далеко ещё не поэзия. Вот я сейчас напишу стихи о тебе. Там будет и ритм, и рифма, а поэзии - не будет.

Павлин писал в стихах, что он - поэт.

И жаловался, что удачи нет,

Что он никем не понят и не признан...

И в рифму обещал, что будет тризна.

Он девять этажей летел без звука.

Теперь лежит в земле - какая скука...

Зато признали все - без дураков:

"Поступок совершил - и был таков".

Не состоялась юная невеста.

Пустым, увы, осталось свято место.

Его врагам - друг друга впору есть.

А он - оставил им стихи про честь.

Они, прочтя, сказали: "Это ложь.

Нам правду вынь и вот сюда положи".

Но был ли честен стихотворец лично, -

Читателю стихов довольно безразлично.

Вот образец стихов, а не поэзии: просто зарифмованные мысли. Поэзия - это когда "Божественный глагол". Ты не знал этого и не мог знать. Ты ведь был химик по образованию. И по мироощущению тоже. (Да не обидятся настоящие химики). Бог наказал тебя изощрённо и несправедливо. Он бодливую корову пожалел больше. Вот сравнение, понятное химику: твои рога

остры, ты бодлив часто беспричинно, просто для собственного удовольствия или корысти, а твоё молоко - ядовито, оно заражает пьющего без иммунитета эгоизмом и надменностью.

Ты, кстати, отличаешь надменность от высокомерия? Человек высокомерный предъявляет высокие требования прежде к себе, потом и к остальным, что похвально, а надменность - это диагноз: над людьми себя ставить. Надменные рождаются для борьбы, кормят свою душу враждой и создают себе недругов даже из друзей. Поэтому я жалел тебя - за несчастное соединение в одном теле сатира - стихотворческого таланта, графомании и враждующих между собой неравных обрывков человеческой души.

Поэтому я бываю на твоей могиле. Правда, не специально, просто по пути. Там недалеко лежит мой бедный сын. Он был полной противоположностью тебе: бесталанным, безвольным, безобидным, незлобивым и по-девичьи красивым. И очень любил юмор. Ему не было тридцати, когда он оставил нас с внуком сиротами. Но он не покончил с собой, люди с юмором такими ценностями, как собственная жизнь, не разбрасываются. У него жизнь отняли. Я захожу сначала к нему, потом ухожу с кладбища мимо тебя. До чего разные у вас лица...

На кладбище всегда хорошо думается. Возвышенно и как-то немелочно. То, что и есть поэзия. Притом о поэзии там думать лучше всего. Там я и додумался, что поэзия - это не обязательно стихи. То есть, я знал это из институтского курса теории литературы. Но додуматься самому - это кое-что иное. Это - собственная формула: "Поэзия - не стихи или проза, поэзия есть душа литературы". Совсем недурная мысль для прогулки по кладбищу. Она, кстати, возникла у меня рядом с могилой Командира.

Вот кто был действительно поэтом, хотя вовсе не писал стихов. По образованию - радиофизик, по должности - "думающий инженер" в физическом НИИ, а по литературной специальности - махровый фантаст. Вся его так называемая фантастика была сплошь высокой поэзией, притом поэзией человеческого духа, выше которой нет. Он и не хотел, а летел впереди, поэтому мы, начинающие, звали его Командиром. А он этому усмехался.

У могилы Командира я подумал: "А что, собственно, такое фантастика?" Вот говорят о человеке: "Пишет в жанре фантастики". Это ведь то же, что снизить лётчика до "водителя самолёта". Один великий пилот говорил: "Настоящий лётчик хорошо летает на всём, что может летать, и немного хуже - на всём, что в принципе летать не может". У нас в аэроклубе, помню, один настоящий лётчик сказал то же, но проще: "Летать можно даже на воротах". Это я к тому, что фантастика для писателя не жанр, а такой же инструмент, как для лётчика - самолёт или ворота. Главное, чтобы вместо сердца был пламенный мотор, а в качестве горючего - Поэзия, то есть душа.

Может быть, там, где ты, враг мой, сейчас находишься, ты уже освоил и эту истину. Мне кажется, на том свете всё сразу становится понятно.

Ещё я думал на кладбище, что в поэте всегда вынуждены уживаться обыватель и лирический герой. Ну, пока не потребует к священной жертве Аполлон. У тебя эти двое не просто уживались. Дружили. Но иногда лирический герой прорывался в честность, и получалось нечто запретное к публикации:

Друг в больнице. Зайти недосуг.
Может, завтра? Нет, лучше в четверг...
Вот уж точно, я сука из сук:
Друг в душе моей как-то померк.
Заслонили его суета,
Утвержденье своей правоты,
Каждодневная мука листа,
Ну, и ты, малолетка, и ты...
И ещё через месяц, о том же:
Хорошо тебе, глупой и маленькой,
Не успевшей узлов навязать,
В путь собраться: дублёнка да валенки -
И вперёд! Шапку можно не брать.
Но труднее мне, глупому, старому
И пустившему столько корней,
С капиталом сугубо не стартовым,
С чередой заморочек, трудней!..
Мы с тобой не в одной категории,
Пропасть лет между нами, увы,
Нам бы лучше остаться в истории,
Чем болтаться в воронках молвы...

До самоубийства - полторы сотни дней, наполненных подобными стихами. Ты дважды травился, но тебя откачивали и усмехались: "Инженер-химик не сумел отравиться, анекдот". И ты выбрал девятый этаж. Не только из-за малолетки, по которой на тебя уже примеривали уголовное дело. Подсознанием ты, умный и слабый, чуял, конечно, тупик всех своих усилий. Как бегун, который

бросился от старта в противоположную сторону, уверенный, что это всё равно по кругу, но трибуны улюлюкают...

Никто не может быть свободным от зрителей. Даже любой из зрителей...

А ты ещё хотел, чтоб они тебе рукоплескали.

Твоя вдова и её помощники напрасно издали все последние стихи подряд. Плохая услуга твоей памяти. Ты написал:

Потом, когда осядет пена
От сумасбродства моего,
Кому-то чем-то помогу,
Кому-то всё же дорог буду,
А кто-то скажет: мы - родня!..
Останусь вечно я в долгу,
Но, может, путь России к чуду
Длиннее был бы без меня.

Теперь уже никто не узнает, как ты представлял себе это "чудо". А если доходить до этого умом, то не примет он никаких объяснений твоему самоубийству - в пользу России. Разве только пошутят: "Назло какому кондуктору он выскочил из трамвая?". Или, того хуже, прорычат, как Никола: "Дурррак!". Но эти будут неправы, потому что прыгал с крыши как раз не дурак, а прозревший и отчаявшийся - мужчина, наконец. Последнее твоё стихотворение - за день до прыжка. Ты им закончил свой "Дневник", а я заканчиваю свою рецензию на жизнь Павлина - человека и поэта Божьей немилостью:

Вот это, похоже, точка:
Уж нынче-то мне каюк.
Жена не простит и дочка,
А как подрастёт, - и внук.
И правильно. Столько боли
Принёс им, судьбу дразня!
И пусть отвернутся боги
И люди все от меня.
Был выбор меж тьмой и светом,
А нынче его уж нет.
А значит - не был поэтом:
Тьму избравший - не поэт.
И верно рассудят люди:
"Какой он поэт?! Подлец!.."
Добит моей смертью будет
Живущий вдали отец...

На лучшей из своих книг ты мне когда-то написал: "Твоему свету - от моей тьмы". Я тогда принял это за кокетство. А оказалось - проблеск силы в океане безволия...

Одна мысль меня беспокоила, пока писал это письмо. Не моя, а знаменитого англичанина: "Убийца посягает на человека, самоубийца - на человечество". Теперь не беспокоит. Эта формула далеко не беспорна.

Василий Скидан, прозаик.

Владимир Шкаликов

СВЯТАЯ СВЯТЫХ

Детский литературный фестиваль закончился, конечно, праздником. Всех победителей вызвали на сцену, вручили им дипломы, но обратно в зал непустили.

- А теперь, - сообщил ведущий, известный областной поэт Голубьев, - наши лучшие авторы определяют самого лучшего в своих рядах. Всем будут даваться одинаковые задания. Что-то вроде викторины. Кто наберёт больше всех очков, тот и станет юным писателем номер один этого года.

Детям прикрепили на грудь номера и стали давать задания. Им надо было угадать литературного героя, потом сочинить стихи на заданные рифмы, потом воспеть экспромтом родной город, потом из заданного слова сделать побольше других слов, потом... Когда дошли до шестого задания, самая маленькая из лучших, деревенская третьеклассница Аня, набравшая всего два очка, ничего не умеющая сочинять, кроме сказок, закрыла лицо ладошками и разрыдалась. Старшие участники бросились её утешать. В зале заметалась мама, учительница начальных классов. Организаторы вынесли на сцену плюшевого медведя ростом с Аней, вручили ей и отпустили к маме.

Соревнование элегантно свернули, первый приз вручили шикарной десятикласснице из литературной студии Голубьева, всех детей тут же отправили автобусами на спектакль в театр юного зрителя, а сами организаторы собрались в кабинете директора на "разбор полётов".

Было признано, что фестиваль, безусловно, стал традиционной частью областной культуры, что на будущий, юбилейный, десятый год надо ещё лучше продумать организацию и охват...

- И чтобы никаких соревнований, - едко заметил фантаст Рябинин. - Калечим души. Литература - дело штучное, к спорту отношения не имеет.

Голубьев заспорил о законах массовых мероприятий, о зрелищности. Рябинин ответил, что соревнования между литературными студиями города лучше всего устраивать на беговых дорожках стадиона. Тучный Голубьев этим оскорбился и без перехода заявил, что фантастика - не литература, и надо ещё разобраться, чему Рябинин учит своих студийцев, занявших первое командное неофициальное...

В общем, начиналась обычная мелочная потасовка. Люди индивидуального труда, не приспособленные, но вынужденные ради заработка вести публичные занятия в студиях, писатели и фестиваль-то затеяли не столько ради выявления талантов (их и так все знают), сколько ради поднятия собственной значимости в областном литературном процессе.

Директор библиотеки, Нина Ивановна, и её заместитель, Ольга Петровна, переглянулись и незаметно кивнули друг другу.

- А что, уважаемые писатели, - сказала Нина Ивановна в короткую паузу, - не хотите ли экскурсию? Когда в этом здании был Дом политического просвещения, мы снимали у них только крыло да часть подвала. Теперь всё здание наше. Вы, наверно, и не знаете теперь, где какой отдел...

Писатели переглянулись. Они и раньше-то не знали, где какой отдел. Знали актовый зал, потому что в нём проводили фестивали. Замечали на бегу один из читальных залов - кажется, научно-технический. Помнили ещё со времён советской власти, где в Политпросе была столовая. Но ходить сюда в течение года и сидеть в этих залах - не приходилось. Во-первых, некогда: практически не может человек совместить в себе и писателя, и читателя. Во-вторых, неловко: если писатель ходит в библиотеку, значит, он чего-то не читал. В-третьих просто неудобно: писательская спина любит распрямиться на диване, а в библиотеке где приляжешь?..

- ...Например, отдел редких книг, - подхватила Ольга Петровна. - Наш Мустафа Рафаилович уже в общих чертах составил антологию ссыльных литераторов. Получается крепкая монография - "От Радищева до Клюева", всё на местном материале, но в российском масштабе...

- А второй том, - сказал в тишине Голубьев, - о тех, кто отсюда в Москву переселился.

- Ну, это тебе оставят, - успокоил Рябинин.

- Не моя тема, - скромно вздохнул Голубьев.

- Да кроме плотской любви вообще нет тем, - пылко поддержал Рябинин.

- Да! Нет! - Голубьев ответил с нажимом. Напряжение не спадало.

- Так пойдёмте?! - Ольга Петровна решительно захватила инициативу. - В святая святых спустимся - в бывшую столовую! Там теперь - основной фонд! Свои книги увидите! Ну, вперёд!

Деваться стало некуда. Не проявлять же неуважение к государственному хранилищу собственных книг. А энергичная Ольга Петровна уже распахнула дверь в коридор и ждала, пылая глазами и улыбкой. Это был единственный выход на свободу, и шествие мэтров потянулось за ней.

Конечно, ничего интересного в этой экскурсии не было. Железные и деревянные стеллажи, тяжёлый книжный дух, колёсный стук тележек, нагруженных подшивками, сосредоточенные люди за столами. Ни просторные партийные залы с высокими окнами, ни широкие каменные лестницы, ни старые, но ещё солидные ковровые дорожки, ни торжественное безмолвие библиотечного многолюдья, ни даже старинные фолианты с пристроенными к ним линзами - ну ничто не стоило того

времени, которое экскурсанты предпочли бы употребить на простенькое мирное заседание вокруг дюжины бутылок с хорошей закуской. Всё же три дня - да что там, трое суток! - работы с детьми и детскими рукописями сделали своё дело: хотелось немедленной разрядки и - по домам, "к станку".

Наконец впереди забрезжил выход из бывшей столовой. Каждый автор уже потрогал на стеллажах корешки своих книг. Хотя, впрочем, это была не самая радостная встреча. Что в магазине делать вид, будто не замечаешь нераскупаемого тиража, что в библиотеке не обращать внимания на девственную чистоту нетронутой обложки любимого детища. Особенно если рядом - едва живые, до бахромы зачитанные томики Мопассана, Пушкина, Куваева и какого-нибудь Кинга...

- В завершение экскурсии, - Ольга Петровна вдруг остановилась, - прошу в нашу переплётную мастерскую.

И без стука распахнула дверь с табличкой "Служебное помещение". За дверью обнаружилась темнота, из которой сочилась музыка. Ольга Петровна щёлкнула выключателем. Тесная комнатка играла роль прихожей и склада одновременно. Здесь два старых стола были до потолка заставлены большими коробками, в которых можно было различить оторванные от книг картонные обложки. Следующая дверь из "прихожей" вела туда, откуда слышалась музыка. Уже можно было разобрать, что это под гитару поёт Высоцкий.

Теперь Ольга Петровна постучалась, услышала мгновенное: "Да-да!" и распахнула дверь.

Мастера художественного слова увидели напротив двери большое окно. Здесь, в мастерской, подоконник приходился на уровне глаз, а на дворе равнялся с клумбой, за которой, если подняться на носки, можно было различить реку. Обе свободные стены были заняты широкими стеллажами до потолка, а понизу - столами. Под окном тоже расстилался широкий стол. На стеллажах стопами были сложены такие же картонные обложки, оторванные от книг - разного размера и качества: чисто картонные с картинкой, картонные в коленкоре, в бумвиниле, в глянцева бумаге, строгие и разноцветные, способные вместить книгу любой толщины, а главное - все целые и многие - совершенно новые. Стопки и рулоны разной бумаги занимали нижние полки. На столах в удобном беспорядке лежали ножницы, ножи, линейки, рашпиль, циркуль, даже рубанок, какие-то приспособления, разодранные, зачитанные книги без обложек, с изуверской нежностью склеенные скотчем, стояли банки с клеем, красками и водой с кистями, лежали шрифты, пачки картинок, выдранных их книг и журналов и всякая прочая мастеровая мелочь.

Человек пенсионного возраста, явно работавший сразу на всех трёх столах, выключил магнитофон и указал было на единственный свободный стул, но тут же усмехнулся и развёл, извиняясь, руками: столько, мол, гостей не ожидал. В одной из рук он держал накидной ключ, которым недокрутил гайку на самодельном прессе. Это занятие он тут же продолжил, дожал обе гайки, положил ключ около пресса и после этого окончательно посвятил себя гостям:

- Чем могу?

- Да вот, Василий Тимофеевич, писателей наших к вам привела. Пусть увидят, как возвращаются в строй книги.

- Точно сказано, - кивнул мастер. - Если даже книга плохая, а обложка хорошая, то у неё судьба - как у суворовского солдата: сама погибает, а товарища выручает. Вон сколько хороших обложек, - он обвёл взглядом свои стеллажи. - И в большинстве - новые. Книга постоит невостребованная, срок выйдет - её и списывают. Либо в тюрьму - там заключённым всё равно, из чего цыгарки вертеть, либо - ко мне. Блок - страницы с текстом - в макулатуру, а обложку... Вот, смотрите. - Он взял наугад какую-то новую обложку из стопы на стеллаже, а с верстака поднял другую, вздрог истрёпанную. - Видите, "Воспоминания" маршала Жукова зачитали, еле блок удалось восстановить, вон я его сейчас зажал, а обложка восстановлению не подлежит. Я картинку с названием аккуратненько обрежу, а вот в этой, новенькой, вырежу окошко вместе с её прежним названием. В окошко вклею Жуковскую картинку, и получится, что этот погибший рядовой отдаст своё новое обмундирование вечно живому маршалу...

- Ничего себе сравнение, - сказал прозаик Таёжников и протянул руку к добротной новой обложке.

- Зато точное, - ухмыльнулся переплётчик и разжал пальцы.

- Кто же, интересно... - начал Таёжников, поглядел на обложку и запнулся. И протянул Голубьеву: - Твоя, слушай...

Тот выхватил обложку, впился взглядом и тут же облегчённо вздохнул.

- Так это ещё при советской власти писано! "Нефтяная параллель"... Это была командировка от обкома партии, - он хохотнул, - по нефтепромыслам. И была заказана книга очерков. Так сказать, о переднем крае строительства развитого социализма. Очерки обычные, они и в газетах были: о бурильщиках, о геологах, о строителях... А стихи там, кстати, мне и сейчас нравятся, я их в сборники включаю. Вот, по памяти: "Как в детском новогоднем сне, над буровой горят плафоны, и искры из трубы вагона, как звёзды, падают на снег..." Образ!..

Возражать никто не стал. Все молча и не без опаски глядели почему-то на переплётчика. А тот вдруг оживился:

- Так вы - Голубьев?! - Он легко для своих седин вспрыгнул на стол и начал снимать с верхней полки коробку из-под ксерокса, наполненную обложками. Попутно восклицал: - Вы, значит, все местные!.. Значит, не зря старался... Я все ваши обложки собирал, и сам не знал, зачем... Вот, посмотрите, у кого на своём экземпляре обложка истрепалась, так можно заменить. Переплестать-то все умеете?

Когда он с коробкой собрался спрыгнуть на пол, в комнате никого не оказалось.

21.04.04г.

Владимир Шкалик

ТВАРЬ ТВОРЯЩАЯ

Старый художник, которого считаю своим учителем, говорил так:

- Садись перед пустым холстом и смотри на него, пока не увидишь картинку целиком - что на каком месте и где какой цвет. Потом бери кисть и раскрашивай. Оно тогда останется в твоей памяти, как на фотоплёнке.

Он давно умер. Я давно считаю себя художником. Но так и не умею видеть всё во всех подробностях. Я размечаю карандашом, потом беру... Ну, в общем, у каждого своя технология. От учителя осталась нерушимой только привычка: картины называю картинками.

Правда, сам образ такого творчества всегда при мне. Всякую новую работу начинаю с того, что долго смотрю на пустой лист, на голый холст. Только не вижу на этой белизне ни черта. Пусто и голо. Будто и рисовать не умею. Но вот рука наугад ведёт первую линию, и сразу - за карандашом - начинает проявляться картинка. Будто изображение на фотобумаге, погружённой в ванночку с проявителем. Сначала - самые яркие места, следом - детали... В общем, метода у нас с учителем оказалась врождённо разная. У него - инженерная, у меня - композиторская. Так и у моих друзей-писателей: один начинает с конца, с оглавления, потом расписывает по главам подробный план всего романа, только тогда садится этот план выполнять, а другой пишет, как я, за карандашом, даже не всегда зная конец. Только у них это называется - "за пером". И никто не решится заявить, что одна метода лучше другой. Просто разные. Как два вида фотографии - плёночная и цифровая.

Но в обоих случаях - на суд дилетанта. Который сам вообще не умеет, поэтому ходит на выставки и смотрит, как рисуют другие. И плевать ему на нашу методу. Он ставит оценки ногами. Будь ты трижды композитор или четырежды инженер, член Союза художников и даже академик, а если дилетант не задержится перед твоей картинкой - о ком тебе задуматься: о нём или о себе?

Правда, раньше я в подобные рассуждения не вдавался. Было не до них. И это было нормально: пока не скажешь человечеству всё, что в тебе для него имеется, на остальное нет досуга. Живёшь под всего одним девизом: "Идея - как хороший гость: не предложил сесть - уйдёт и больше не вернётся". Поэтому художник пишет, режет, лепит до озверения или сидит часами перед пустым холстом и думает только об этом госте, а вовсе не о почтеннейшей публике.

Однако моменты философии рано или поздно начинают наступать. И отступать перед ними нельзя. Ибо наступить они норовят на самые любимые мозоли.

Что и случилось со мной как-то раз.

Но начать надо с общего фона. Без него картинка потеряет суть.

Каждая новая власть - хоть после выборов, хоть после переворота - почти сразу обращает взор на творческих людей - на музыкантов, писателей и особенно на художников. И начинает с ними заигрывать.

Я выражаюсь, может быть, грубовато. Писатель, может быть, нашёл бы другое слово, музыкант вообще бы не удостоил, но я говорю - "заигрывать" и повторяю - "особенно с художниками". Потому что музыку почтеннейшей публике ещё надо понять, а прозу или стихи - прочитать (за исключением гимнов, конечно), а картинка - она сразу говорит всё, лишь бы висела на виду. Вот Иван Грозный над убитым сыном, вот Пётр Великий на стрелецкой казни, а вот маршал Жуков на белом коне. Один взгляд - и народу ясно, какая у него власть. Поэтому она - власть - создаёт творческие союзы, а лучшим членам этих союзов даёт квартиры с дополнительной творческой комнатой или даже мастерские.

Я сказал - "лучшим", и это нескромно. Часто лучшими бывают как раз те, кто в творческих союзах не состоит. Поэтому правильнее сказать - не "лучшим", а "тем, на кого власть имеет виды".

Короче говоря, новая власть переселила меня в новую мастерскую.

При старой власти мы с Коллегой теснились в двух однокомнатных квартирках, приспособленных под мастерские. Первый этаж, две угловые квартиры, в каждую - отдельный вход.

В жилой комнате я малевал свои холсты, в ванной отмывал их, хранил запасы на полках и даже принимал душ вместе с какой-нибудь натурщицей. Кухня выполняла у меня ещё роль спальни.

У Коллеги был несколько иной профиль. Для шелкографии нужно много горизонтальных поверхностей, поэтому он сломал перегородку между кухней и жильём, всюду поставил столов, ванна у него не просыхала от разнотипной химии, и его единственная жена в мастерскую не ходила. Лишь иногда заглядывала, чтобы поколотить очередную неприхотливую его помощницу, ученицу или как там ещё.

Туалет у нас был общий, с двумя запираемыми дверями. Через него мы друг друга навещали. И его подружки, если успевали, спасались тем же способом - когда я находился у себя и не был сильно занят.

Так вот, в мою мастерскую новая власть поселила замужнюю мастерицу по берестяным сувенирам с прорезными узорами, только что принятую в Союз художников. Работа у неё мелкая,

больших площадей не требующая, а для таёжной нашей области престижная. Только въехала берестянщица не сразу, а целый год ждала, когда там сделают ремонт. Она мне как-то позвонила, чтобы забрал своё имущество, если какое нужно. Но я так и не собрался. Как аврально переехал в просторную мансарду под крышей новой девятиэтажки, так и думать забыл о старой мастерской. Все свои самодельные полки и шкафы оставил даме - под бересту, под изделия. Даже старые холсты со своей забракованной мазнёй оставил пачкой на полу: на первом этаже зимой холодно, батареи греют слабо, пол ледяной...

Из новой мастерской вид был за реку, птички летали вровень, облака - рядом, а уличные звуки тихо ползали где-то внизу. Совсем было комфортно, работалось вдвое, и даже власть была, в общем, довольна. Меня тогдашние общественные дела частью устраивали, частью не интересовали. Заказных портретов я никогда не писал, потому что с души воротит вся эта "кедровка" - губернатор в кругу внимающих станочников, спикер над очередным "Словом" в газету, местный олигарх за кружкой пива... А вот промышленные пейзажи всегда любил, потому что уважаю людской труд. Охотно ездил в заказные командировки - и к нефтяникам, и к трассовикам, и особенно к речникам. Там было кем любоваться, потому и портреты, и даже технология на фоне тайги - всё получалось по-родственному, будто я сам - один из них и работаю по первому сорту. Тоже "кедровка", но не холуйская, от души, для народа, а не для его так называемых слуг.

В общем, три года чудной горячки - как один счастливый день.

Даже остепенился, и женился, и почти уже не ночевал в мастерской... Впрочем, тут я несколько преувеличиваю, но, честное слово, почти целомудренно.

Вот и добрался, наконец, до сути рассказа. Надеюсь, благодаря всему предыдущему он выйдет более убедительным.

Прихожу однажды в Художественный фонд. Я там бываю не часто. Кисти, краски купить, ну и тому подобное. Там же - столярка, багетная мастерская: рамы для картин заказываем редко, чаще делаем сами. Но тут взбрело именно заказать раму. И чтоб багет, как выразался мой покойный учитель, был "экселенц". Это слово у него являло высшую степень похвалы.

Захожу к столярам - и прямо напротив двери вижу на стене изумительную картинку. Такая - полтора на два метра - мой любимый размер, а главное - ну всё на своих местах! Никаких людей, чистый пейзаж. Никаких высоковольтных проводов - "Свет пришёл в тайгу", никаких "богатых уловов", никакой "первой борозды", никаких "тучных стад Сибири". Просто высокая речная волна ударила в скулу катера, брызги летят, выпел вытянулся по ветру, леера аж гудят, по вантам влага стекает, стекло рубки отбрасывает солнечный блик, и он радугой рассыпается в брызгах на фоне близкого ельника на низком песчаном ярочке, а одна ёлка уже так зависла над подмытым берегом, что вот-вот завалится в холодные чайные воды... Эх, говорил бы и говорил!.. Картинка без рамы, просто холст прихвачен гвоздями к стене, но от этого она даже как-то живее, свободы больше, словно пролом в стене столярки, и сам Худфонд плывёт по этой реке, и сейчас вот брызги долетят до моих глаз, и впору уже моргать...

Стою, не здороваюсь, всматриваюсь и чувствую, что много раз видел всё это - на Оби, на Томи, на Чае, на Кети, на Васюгане... И даже наверняка сам такое рисовал. Но вот именно ТАК - ведь не получилось ни разу! Это же и цифровой камерой не схватишь. Это как раз то, что мой учитель имел в виду: "Останется в памяти, как на фотоплёнке"! Вот что он под этим понимал: не в памяти, а в душе, вона где!..

Мужики бросили работу и смотрят на меня. Видят, что человек не в себе. Но молчат.

Я, очнувшись, начинаю понимать, что это начинает выглядеть неприлично. Нормально здороваюсь наконец и сразу спрашиваю: "Чья картинка?"

- А не знаем, - говорят. - Когда Татьяна-берестянщице в мастерской делали ремонт, пришлось убирать с пола чьи-то холсты. Кто-то бросил и забыл. Они так один на одном пачкой и лежали. Ходили по ним, наверно, давно. И никто не знает, чьи.

Вот тут я свою картинку и узнал.

Рыбачил как-то на Чулыме, потом по памяти написал за день, да не понравилось, вот и бросил на пол, не первую и не последнюю.

За что же я её тогда забраковал-то?

И это тоже сразу вспомнил. Вон они, тени в лесу. Тяжёлые, неисправимо тяжёлые. Они поглощают всю эту воздушность, они не дают радуге висеть в воздухе - она кажется намалёванной на стене, на которой намалёван этот неправильный, картонный, да нет, каменный, из крашеного бетона лес. Даже странно, что сегодня я не различил это с первого взгляда. Ну, конечно, это оттого, что принял картинку за чужую. Другому я бы это запросто простил. Я к чужим работам никогда не придираюсь, потому что ищу в них удачные места, сразу похвалить хочется - ведь старался человек, чем водку трескать. Неудачных мест просто не замечаю. Так я устроен - без ревности, как без туберкулёза.

Я приблизился к столу, на котором монтировали очередную раму - казалось, точно для моей картины. Мой позорный брак висел как раз над этим местом, прихваченный к стене загнутыми гвоздями.

Я вспрыгнул на стол и начал выкручивать эти гвозди.

- Ты чего?! - Мужики слегка опешили, но было слышно желание схватить меня за ноги. - Ты зачем? Твоя, что ли?

- Моя.

А сам выкручиваю гвозди и стараюсь не наступить на раму, которую они почти закончили монтировать.

- А где же ты, - говорят, - раньше-то был?! Она уже год, как висит.

Вот, выходит, сколько я тут не был.

Стащил холст на стол. Он пришёлся точно по раме. Мужики раму перевернули - хороший багет, "экселенц"! - накрыли ею холст и говорят:

- Смотри, как заиграла! Бери всё вместе, а мы Завьялову другую раму сделаем.

А я молча схватил со стола косяк - и давай резать свой позор на полосы! Мужики сунулись было помешать, потом сказали: "Ты что, уху ел?!" и отошли к раковине курить.

Тут распахивается дверь и входят двое - тот мой Коллега, которому я был соседом, и его новая соседка, замужняя берестянщица.

Коллега видит меня над изрезанным холстом, складывает руки за спиной, подходит, останавливается и начинает раскачиваться с пяток на носки. Берестянщица становится рядом с ним и молча замирает. Мужики от раковины говорят Коллеге:

- Видал, Борисыч?! Скажи ему, кто он после этого. Ни себе, ни людям.

Коллега перестаёт качаться и спрашивает меня:

- Что ответишь народу?

Меня уже не трясёт, а так, только слегка потряхивает. И одышка. Говорю:

- Они-то могут не знать, но ты ведь понимаешь: если я свою работу забраковал, значит, она неисправимо плоха и должна быть уничтожена. Кто я, по-твоему: тварь творящая или право имею?

Берестянщица стонет и пытается руками прикинуть, восстановима ли картинка. Куда там! А Коллега мне без запинки спокойно отвечает, будто специально готовился:

- Человечество тебя не поймёт ни с какими объяснениями. Человечеству понравилось - и всё тут, высший суд...

- Высший суд, - перебиваю, - только один! Это автор!

- Ничего подобного, коллега, - это его любимое словечко, за него и прозвище, - абсолютно ничего подобного. Мы с тобой философию вместе сдавали, но ты её, похоже, подзабыл.

- Не знал, да ещё и подзабыл! - вставляет один из столяров. А второй тут же добавляет, будто оба готовились: - Всё на экзамене сдал, а себе ничего не оставил.

Но я их даже не замечаю. Я пытаюсь угадать, к чему клонит Коллега, однако зря стараюсь - видно, и впрямь забыл. А он продолжает, как читает:

- Забыл ты Закон отчуждения: всё, что ты создаёшь, тут же перестаёт тебе принадлежать, независимо от того, продал ты это, подарил или оставил себе. Вот если никому не понравится, тогда ещё ладно, можешь уничтожать или переделывать. А если люди похвалили - всё! Отдай и забудь с облегчением.

Берестянщица кивала, а он обнял её и сменил тему:

- Вот мы с Танюшкой - живой пример Закона отчуждения. Она со своим не ладила, я - со своей. Мы с ними разошлись, а друг с другом - сошлись. У нас теперь одна двухкомнатная мастерская. И мы в ней живём и вполне ладим, потому что больше нигде. Ты мог бы эту картинку нам на свадьбу подарить, чем резать. Она мне ещё тогда понравилась, когда писал. А потом думаю: куда дел? Наверно, с руками оторвали какие-нибудь речники?.. Даже в порт ходил: не висит ли там.

- Да нельзя было её вывешивать! - Я аж зарычал. - Ну, брак же неисправимый, хоть всё счищай!..

- Ну и ладно! - Он, как всегда, успокоился мгновенно. - Счищать уже не придётся, вот и славно. Новую напишешь. Можем даже холст подарить, а, Таньк?

Та, конечно, кивала.

А я злился - и на него, и за что-то на Таньку, и на столяров, именуемых почему-то народом, и особенно на себя - за то, что прав, а доказать не могу, только страдательно чувствую.

Вот и вся история. Практически пустяковая.

Картин я с тех пор больше не резал. Может быть, потому что не браковал.

А вот о той единственной думаю до сих пор: если я её так и не переписал, что это означает?

Владимир Шкаликов

**Хеппи-энд,
или Издержки реализма**

Всем кажется, что сюжеты, идеи, открытия - витают в воздухе. Всё, что открывают и изобретают умные головы сегодня, уже открыто и изобретено давным-давно и чуть позже забыто. А всё, что мы, писатели, способны сочинить, происходило на самом деле. Простоне могло не происходить. Писательский-де талант сродни таланту живописца: хоть с натуры, хоть с фотокарточки, хоть с технического описания, хоть просто из головы, а машина останется машиной, дом - домом, Эльбрус - Эльбрусом, и только почерк да настроение автора отличат его картину от всех остальных. Формалистика, не более.

Так считают все, и я, в основном, согласен. Даже более того: я именно потому и не пишу фантастики, что фантастика попросту не существует. Сколько бы вариантов ни перебрал так называемый фантаст, он неизбежно остановится на том, который соответствует действительности. Это проверено, это доказано, это - истина.

Всё вышесказанное я изложил молодому коллеге В., считающему себя фантастом. И добавил, что берусь привести к реализму любой сюжет, какой бы он ни предложил.

- Прекрасно! - заявил В. И тут же начал рассказывать.

Действие начинается на Земле. Несколько друзей, закончив музыкальное училище, приходят на биржу (пусть она называется хоть так, хоть иначе) и получают направления на работу. Престижно попасть в Галактическую Филармонию, в какую-нибудь Млечную музыку. Помельче - это ансамбли, работающие только на Земле. Совсем худо - для бездарей - учить музыку детей. Хотя, конечно, есть шанс прославиться в качестве педагога-воспитателя одного-двух гениев. А самое хуже некуда - «свободный диплом». Это значит: ты никому не интересен, устраивайся сам. А распределением занимается машина. На электронный мозг не подействует никакое обаяние, и нигде его решение не обжаловать. Твой отказ от ОПТИМАЛЬНОГО распределения автоматически означает - «свободный диплом». (Слушая эту преамбулу, я внутренне усмехнулся: «бродячий» сюжет - уже налицо. О машинном распределении чего только не написано!)

Итак, наши друзья-музыканты по очереди представляются машине посредством засовывания в её щель своей магнитокарты (что-либо оригинальное В. поленился придумать), и на экране монитора появляются пронумерованные варианты. Соискателю остаётся тронуть клавишу с подходящим номером, и на лоток выплунется желанная «путёвка в жизнь».

Все наши герои получают вполне приличные места, и вот остаётся последний, которому присвоено демоническое имя Амадей. Друзья смотрят на него с восхищённым ожиданием. Лидер группы, виртуозный пианист и скрипач, многообещающий композитор - вот он кто, этот Амадей. Да ещё любитель эффектов. Нарочно пропустил всех вперёд, чтобы произвести впечатление. «Где твоя карточка?» Но он и не думает предъявлять машине магнитокарту. Он не хочет «унижаться перед этой железкой». Он гордо и небрежно нажимает красную клавишу, на которой написано: «СВОБОДА». И ужас всех бездарных - «свободный диплом» - падает на лоток. (Что ж, навиделся я и таких оригиналов. Пока ничего фантастического. Да и что в этом мире можно выдумать?! Только то, что видел, о чём слышал или читал. Я же говорю: любое изобретение - компиляция.)

Что ж, едем дальше. Разлетаются они кто куда, но продолжают поддерживать контакты. Амадей же исчезает так, что никто ничего о нём не знает. Через три, скажем, года они собираются вместе, чтобы отметить первое трёхлетие выпуска. Такой у них счёт времени - троичный... После первых охов и ахов, уже во время застолья (нигде никому без застолья не обойтись!) начинают озираться: кого же нет «среди здесь»? Не находят, как легко угадать, Амадея. И поскольку головы у всех уже немного кругом, решают найти его любой ценой, благо отпуск за три года только начинается.

Дальше - для антуража - должно последовать описание поисков. Биржевая машина - не в курсе, планетный Информаторий - не знает, в Галактической Консерватории - ничего не известно, Земконцерт, Млечная музыка, Союз композиторов, наконец, даже «Нотные ступеньки» - никто не осведомлён, даже имени не слышали. Искать больше негде. Друзья идут с горя в портовый кабак (куда же ещё!?) и там - разумеется, совершенно случайно - нападают на след. Из-за соседнего столика поднимается мрачный громила, подсаживается к ним со своей бутылкой и признаётся, что случайно подслушал, как они тут перемывают кости Амадею-музыканту. Нельзя ли узнать, кем он им доводится? «Мы - музыканты, его друзья. Три года не виделись». «Му-зы-ка-а-анты?! Что, серьёзно?» «Мы не шутим». «Вот в это верю. Кто не шутит, тому верю! И эта малышка - ТОЖЕ? Ну и ну-у-у-у! Дела-а-а... Ну ладно. Так вы его проведать хотите, что ли? И всё? Тогда полетели со мной. На субсвете крутанёмся в лучшем виде...» Ну и тому подобное, с элементами загадки и космической экзотики. Они ничего не знают о тех местах, куда

зовёт громила, но по звёздному атласу представляют, что это не так уж далеко - отпускного времени хватит. И соглашаются лететь с этим странным человеком, который так почтительно и даже с опаской относится к музыкантам.

Трое, скажем, мужчин и одна женщина оказываются на полудикой планете, где царит, допустим, средневековье (ах, это излюбленное время фантастов!). Режим правления - авторитарный. Правитель гостям рад, а грубая солдатня при слове «музыкант» отшатывается и бледнеет. Особенно поражаются, что музыкантом может быть хрупкая дамочка.

Гостей проводят в массивную каменную башню (обязательный атрибут средневековья на любой обитаемой планете!), откуда слышится странная и страшная, просто дикая какая-то музыка. Но всё же что-то в этой музыке указывает опытному слуху на её связь с композиторским талантом Амадея.

В верхней комнате башни им раскрывает объятия свиноподобный мужик с заплывшими жиром глазками. Он счастлив их видеть, а они его не узнают.

Что с Амадеем?

Конечно, в первой беседе ничего не раскрывается.

Пора обедать. Гостей приглашают в пиршественный зал, где во время застолья кое-кто выражает сомнение в том, что они - действительно музыканты. В пылу двусмысленного спора возникает потасовка, гостям приходится прибегнуть к рукопашным приёмам повышенной эффективности, и это, как ни странно, снимает все сомнения хозяев.

После пира пятеро однокашников возвращаются наверх, и тут хозяин башни начинает демонстрировать своё искусство. Оказывается, он - заплочных дел мастер при местном правителе. «Музыкой» здесь называют крики истязуемых. Амадей же, будучи профессиональным и природным музыкантом, создаёт из этих воплей кантаты и оратории, замахнулся уже на симфонию. Названия отражают суть его сочинений: «Экстаз», «Вдохновение боли», «Путь сомнений», «Недоверие», «Находка», «Откровение», «Голос правды», ну и тому подобное. Лучше всего ему удаются увертюры.

Друзья до того потрясены, что не хотят верить. Тогда он, войдя в раж, напрямую говорит бывшей сокурснице, что с её неповторимым контральто можно за пару часов - прямо здесь и сегодня! - записать подлинный шедевр, который назывался бы... Ну, скажем, «Бесконечная гордость». (Пока В. расписывал садистские ужимки палача Амадея, мой искушенный ум фиксировал сходство сюжета с «Исправительной колонией» Кафки, и я уже готовился к знакомому финалу: изувер становится жертвой собственной изобретательности).

Конец возможен в двух вариантах, продолжал В. Либо все четверо героев погибают, либо в лихом хеппи-энде одерживают победу. У первого варианта возможны подварианты: 1) они гибнут молча, посрамляя врага; 2) он всё же записывает их хруст и потрескивание и создаёт «Бесконечную гордость» (вот, кстати, и вариант названия для рассказа); 3) они умирают с такими криками, что при составлении в гамму эти продуманные ими звуки убивают композитора (тогда просится название «Смертельный диксиленд» или «Гамма - убийца»). Второй вариант попроще. Там Амадея либо убивают, либо берут в плен. И либо с боем улетают, либо остаются перестраивать общество. С помощью, скажем, соседних стран.

- Всё? - спросил я замолкшего В.

- Всё.

- Что же здесь фантастического?

- Как что?! - В. поднял брови и округил глаза. - А психология? Человек, выросший в НАШЕ время НА ЗЕМЛЕ, физиологически неспособен ассимилировать сознание палача!

- Ты уже написал этот рассказ? - спросил я после короткого раздумья.

- Только собираюсь. Но если хотите...

- Хочу. Только почему ты так легко от него отказываешься?

Он улыбнулся.

- Во-первых, ради нашего спора. Очень уж хочется увидеть поражение реализма собственными глазами. А во-вторых... Этот сюжет для меня слишком прост, прозрачен... Как легко пришёл, так легко напишется. Но потом его легко прочтут и легко забудут. Заковыристы мало.

- Ты, наверно, не отказался бы поженить фантастику с детективом?

- Пожалуй.

- Это, по-твоему, и будет художественная литература?

- А по-вашему?

- По-моему, художественности в литературе столько же, сколько человечности...

- А мой сюжет - антигуманен... Понятно... Только эта концепция - вчерашний день! Ум сегодняшнего читателя быстр и математичен, ему нужен динамичный сюжет, множество опасных приключений, РЕЗКАЯ ЖИЗНЬ. Чем страшнее и фантастичнее, тем художественнее. А в этике он сам разберётся, его этому и так всю жизнь со всех сторон учат.

- Хорошо, - сказал я спокойно, - приходи завтра, к вечеру.
Он с сомнением хмыкнул и удалился.

Он зря сомневался: я несколько не переоценил свои силы. Его версия событий была достаточно убедительна, оставалось только записать по памяти да подчистить кое-что в деталях.

Режим на злодейской планете я сделал чисто диктаторским. И пропитал мозги тамошнего населения полным восторгом перед такой формой правления - что и требуется для реальной устойчивости любого режима. По этой причине и громила-субсветовик, и грубая (разумеется же, грубая!) солдатня вовсе не отшатаются и не бледнеют при слове «музыкант», а проникаются восхищением и завистью, ибо пример Амадея давно им внушил, что палач-музыкант - это хороший заработок за основную работу плюс ещё заработок и слава за всенародно любимую, вдохновляющую на труд и подвиги музыку. И никакой провокации и драки во время пира - по этой же причине - не было и быть не могло.

Кстати, если бы такая драка случилась, кое-что могло весьма насторожить этого садиста Амадея, ибо не простым палачом был он на планете, а диктатором. И - кстати же - выражение «на планете» выглядит фантастично до тех пор, пока не сообщено, что герои-музыканты имели дело с единственной страной на единственном материке: вот оно, раздолье для диктатуры! А необходимое пугало - космические пришельцы.

Ещё некоторые уточнения касались внешнего благополучия, обусловленного добровольно-рабским трудом. Были картинки вдохновенного крикливого искусства. Была расправа над инакомыслящими: группу «космических шпионов» из старшего класса гимназии подвергли коллективному сожжению в электропечи, а их крики записали для увертюры «Освобождение плазмы».

Был парад войск астроохраны с показательным сбиванием макетов, имитирующих межпланетную агрессию. И была, наконец, жуткая экскурсия, описание которой смею включить в список своих чисто формалистических удач, но здесь не привожу, чтобы не исказить сдержанную тональность повествования. Только вкратце: диктатор предлагает друзьям подняться в верхнюю залу башни не на внешнем лифте, а по винтовой лестнице, которой обёрнут стеклянный многоэтажник пыточных камер. Великолепная звукопроницаемость прозрачных стен и гениальная акустика общего объема башни создавали из рабочих звуков пыталница подлинную музыку, способную довести до истерики неподготовленного посетителя.

Последний штрих касался самого Амадея. Он вовсе не был «свиноподобным мужиком с заплывшими жиром глазками». За три года отсутствия он ничуть не изменился, только возмужал до взавёлся несколькими сединками, которых не стыдился, а напротив - все время трогал ладонью свою вороную гриву, будто желая убедиться, что красота на месте. Это был подтянутый атлет с мягкой походкой, тренированный боец, неудобный в поединке. К тому же у него была многочисленная и хорошо обученная охрана, так что бывшим его друзьям пришлось и круто, и туго, и даже совсем худо, ибо, если уж говорить честно, только одному удалось уцелеть и удержать башню со связанным преступником до подхода основных сил, которые высадились на другой, водной стороне планеты и наступали с двух океанских берегов.

Башню потом взорвали, Амадея вывезли на Землю, но в режим на планете вмешиваться не стали: сильнее фанатизма - одна смерть. Поэтому к стенке никого не ставили, а разоружили всех и убрались. Ни одного убитого - чем не фангастика? Но это как раз не фантастика: всем известны свойства инфразвука, сложность была лишь в том, чтобы отвлечь астроохрану и без пальбы проникнуть в атмосферу. Только невежественный простак остался бы после всего этого переделывать там общественные отношения, не посягая на трон диктатора и отказавшись от тоталитарных методов управления. Оставили им систему ретрансляционных спутников, которые пока нечем сбивать, пострадали расправой в случае повторной милитаризации - ну не было для них другого языка! - и удалились.

Да, насчёт «ни одного убитого» я оговорился. Это касается только десанта. Погибли, как уже сказано, трое бывших музыкантов и вся охрана Амадея.

Вот такой реализм. Из-за одного талантливой злодея четверым мирным и приличным людям пришлось бросить любимую работу, потерять год на тренировки в Службе Космической Безопасности и, наконец, заплатить тремя жизнями за... Как это назвать - за что?

Вечером следующего дня явился В. и стал читать наш с ним реалистический рассказ. Прочел, хмыкнул по-вчерашнему и воззрился на меня с некоторым удивлением.

- А ведь и в самом деле: несколько уточнений - и реализм. Однако, кто же тогда Амадей? Психический больной? Или нормальный наш современник с необъяснимым хронорецидивом? Или просто слабодушный скрипач, прилетевший в странное общество и поддавшийся его законам?

- А вот пусть читатель гадает, - я заставил себя мудро усмехнуться. - Что это за литература, если не даёт пищи для ума?

- Тогда хоть написали бы, что Амадея до Земли не довели!

Выпав это, он уставился на меня в упор.

- Почему же не довели? - осведомился я невозмутимо.

- Потому что - я точно знаю! - он покончил с собой!

- Как это - покончил?

- Перестал дышать - вот как! - Нервы моего В. всё же не выдержали. - Вы это отлично знаете, потому что это было ПРИ ВАС! У вас у всех не нервы, а тросы какие-то! В «Музыкальной башне» ни с кем из вас не случилось истерики, а через несколько минут после увертюры вы истребили полсотни ЛЮДЕЙ...

Мне стало совсем тошно, и я не выдержал тоже:

- Мы?.. Это НАС истребляли! Карла, Марию, Гошу!.. Если бы ты слышал, какие это были музыканты... Если бы ты видел Марию... Если бы ты знал, чего стоило СКБ уговорить нас на эту операцию...

- Но вы-то после операции на всю жизнь остались в СКБ!

- И это ты знаешь... Остался... А понимаешь, зачем?

- Понравилось!

Вот оно, прославленное бессердечие молодости.

- Карпузик, - вздохнул я, остывая. - Что в ЭТОЙ работе может нравиться? Вот книги писать мне действительно нравится. А там...

- Что же там?

- А там я работал за троих, чтобы музыкантов больше не отвлекали.

- Не верю!

- А от тебя это и не требуется. Просто пища для ума.

Он ушёл, недовольный и мною, и собой, но рассказ унёс: «Подумать надо».

А я остался с моей тайной наедине.

Я стоял у окна и глядел в тёмное небо, с которого свет города стёр все звёзды. Я думал, что в моём возрасте уже не стоит так волноваться и, видимо, зря я напросился на этот спор о реализме и даже приоткрыл мальчишке правду о своей первой операции. Кому какое дело? Пока жила Мария, я мог быть музыкантом и вообще нормальным человеком. А не стало её - не стало и меня. Разве суперменство бывает от хорошей жизни?..

Из нас пятерых в верхней зале был вооружён только один, и он успел выстрелить - один раз - в Марию. Потом мы держали башню втроём и погибали постепенно, но его, связанного, всё же сохранили для суда. Что его ждало на Земле? Одиночество до естественной кончины. Ведь если бы и нашёлся желающий его казнить, он этим автоматически сам себя обрекал, по закону, на одиночество.

Если человек и рождается с задатками палача, то обязанность общества - развить в нём другие задатки.

А что Амадей не долетел ЖИВЫМ до Земли, так это его собственная вина. Дыхательный рефлекс, конечно, относится к разряду безусловных, но, может быть, при определённом настроении его и в самом деле возможно подавить?

Пусть ЛЮДИ считают, что это **ему** удалось.

Владимир Шкаликов

ХЛЕБНОЕ ДЕЛО

"Мне про Мэтра сказали, что мужик он простой и толковый. И пишет по-настоящему: между словами ножа не просунешь. Оттого не знаменит, что независим, как всякий пророк в своём болоте. И вообще...

И сказал мне это не кто попало. Сказал Маэстро, первого плана знаменитость. Он был артистом в областном театре, а попутно резал по дереву и лепил из глины. Что попало резал и что попало лепил, а получалось всегда гениально и всегда с подтекстом. Да с таким подтекстом, что каждый восхищался по-своему, но восхищались-то все. Поэтому Маэстро довольно быстро сделался всеобщим любимцем в Городе, потом начал ездить с выставками по стране, потом - за рубеж. В театре потерпели пару лет да и предложили оставить сцену. Вежливо всё исполнили, даже вдохновенно: "Вы, Маэстро, уже не уместаетесь на областной сцене. Отечество теперь Вам - целый мир". Намёк был на любовь героя к стихам, и перефразировка Пушкина удалась: Маэстро повздыхал, выругался и - сдался. Тем более, что город уже обеспечил его классной мастерской с витринными окнами, народная тропа к мастерской наполнилась художниками, литераторами, искусствоведами, бизнесменами, политиками и прочей нерядовой публикой, а его памятники зашагали по городу. А когда в Союз художников его не приняли, вокруг Маэстро образовался свой Союз, со своими выставками, со своими поклонниками и поклонницами - полная дань веку альтернатив. Писатели на "литературных средах" читали в его мастерской свои рассказы и пьесы, художники на "поэтических пятницах" у одного из его памятников читали свои стихи, около-ихние девицы млели на всех этих тусовках... Ну, и так далее.

Я приходил в его мастерскую с отцом - посмотреть "Голову Бизнесмена". Батя получился очень похожим, заплатил по полной, и мы увезли его Голову в наш банк, на самое видное место, для имиджа. Увезли как раз после "среды", прослушав рассказ этого самого Мэтра, в его личном исполнении. Маэстро с ним, помнится, заспорил, что читать надо несколько не так, что конец такой нельзя... Мэтр отсмеивался и отшучивался вполне изобретательно. Я молча был на его стороне: при всём профессиональном маэстрином мастерстве, читал Мэтр, по-моему, вполне убедительно, и конец у рассказа был тот, что надо.

Я потом приходил ещё несколько раз на эти "среды", но Мэтр больше не появлялся. Говорили, он так занят, что навещает друга только под особое вдохновение. А у меня как раз начался "литературный запой", как назвал отец. Я сочинял роман.

Но тут опять требуется отступление.

Я не просто сочинял роман. Я бросил работу в нашем банке и профессионально занялся литературным творчеством. Тем самым, которому батя дал название - "запой".

...Отец ничего не делает слабо. Первые три года в школе я учился плохо. Не на двойки, но - без интереса. Технические дисциплины давались легко и особых претензий не вызывали, а с гуманитарными было просто никак. Мой мудрый предок не стал ставить себя в пример: дескать, вот я был в школе отличником, стыдно и прочее. Он поступил почти по анекдоту, в котором отец приводит сына-двоечника в свой кабинет, садит на колени секретаршу, пьёт коньяк и говорит сыну: "Если хочешь всё это иметь, ты должен хорошо учиться". Сын из анекдота был восьмиклассником, человеком взрослым, а ко мне, десятилетнему, была применена поездка на всё лето за рубеж. Батя показывал шикарные детские приключения для духа и для тела, ну и говорил те же самые слова, что в анекдоте.

Не знаю, как тот восьмиклассник, а я за учёбу после этого взялся. Даже за гуманитарные предметы. Однако предпочтение отдавал всё же техническим - на радость отцу, и факультет в институте закончил энергетический - тоже на радость. И два года после института проработал под началом отца, вполне лояльно и перспективно. Только оба мы не знали, какая гуманитарная мина тикала во мне всё это время. Не знали, пока не попали на первую "литературную среду". Мэтр меня сразил.

Во-первых, он был настолько независим, что легко и великодушно спорил с самим Маэстро. Да и с кем угодно. Во-вторых, у него было три высших образования, но он ими не кичился и работал простым резчиком в простой реставрационной мастерской - восстанавливал на бревенчатых купеческих домах старинные деревянные кружева, как он выражался, "собственноручными инструментами". Он сам их ковал - с переменной кривизной - одной стамеской можно было выполнять сразу три операции. Он и с Маэстро познакомился в театре, когда тот не имел ещё мастерской и резал какое-то панно прямо в фойе, своей единственной кривой стамеской. Мэтр принёс потом несколько "собственноручных" инструментов, и они подружились.

А главным предметом моей мальчишеской зависти и восхищения было то, что военную службу Мэтр проходил в морском десанте. И очень мужественно отказывался об этом разговаривать с кем бы то ни было. А тут надо признаться, что сам я в армии не служил и через два года после получения

инженерского диплома оставался тем же десятилетним романтическим мальчишкой, которого папа свозил по заграницам.

Папа не знал, что за границей меня привлекли не "сладкая жизнь" и не свобода нравов, тогда ещё недоступные в России. Меня очаровала свобода сама по себе. То была свобода передвижений, свобода выбора занятий, свобода борьбы. Отец, мой бедный отец, заткни уши и закрой глаза! Я познал свободу борьбы против власти денег, разрушающей человеческое достоинство.

И вот я за год написал большой, на шестьсот страниц, роман для детей 13-летнего возраста. Там мальчишки сказочным образом попадают в сказочные условия, сражаются японскими катанами против гномов и орков с их мечами, луками и ятаганами, превращаются в птиц, дружат с добрыми королями, будто монархам больше не с кем дружить... Впрочем, стоп. Об этом пусть расскажет сам Мэтр. По моей просьбе Маэстро настойчиво назначил ему встречу в своей мастерской, замолвил словечко, и я получил возможность вручить кумиру свою рукопись, красиво переплетённую машинным способом. Мэтр взвесил её на мозолистой руке, сказал: "Ого! Поди-ка, фэнтези?", получил смущённое подтверждение, попросил написать прямо на титульном листе мой телефон и обещал позвонить "сразу же по прочтении". Он так спешил, что они с Маэстро из-за меня не успели даже поговорить о чём-то своём. Собственно, и со мной разговора не было. Мэтр сказал: "Прочитаю роман, тогда будут вопросы". И почти сразу ушёл.

Я приготовился ждать пару месяцев, но он позвонил через три дня. Назначил встречу на следующий день в своей мастерской и предупредил: "Рецензия - услуга платная. По знакомству обойдётся тебе всего в пятьсот рублей. Согласен?" Тон был насмешливый, потому что он знал, чей я сынок. Я повторил: "Завтра в двенадцать, в вашей мастерской, иметь с собой пятьсот рублей". Он сказал: "Ну, до завтра", уже без иронии, а неожиданно, как мне показалось, грустновато. Может, пожалел, что мало заломил?

Сумма была и в самом деле никакая, поэтому я волновался перед этой встречей так, будто платить не придётся вовсе. Как в том анекдоте: "Ты в первый раз отдалась по любви или за деньги?" "Да, пожалуй, по любви..." Волнение было больше по другому поводу: я у этого Мэтра ничего не читал. Вот спросит, а что мне сказать? Решил, что выкручиваться не буду, а скажу, как есть. За свои деньги я имею право его не читать. Не я же его рецензирую...

Ровно в двенадцать я вошёл в мастерскую, и он сразу запер дверь на ключ. Я подумал: "Чтобы клиент не сбежал с деньгами". И сунул руку в карман. Он этого не заметил, потому что освободил для меня от стружек табуретку и по ходу пояснял: "Если не закрыться, нам поговорить не дадут".

Но деньги уже были обнажены, и я положил бумажку на верстак: "Возьмите сразу, как договорились, а то я забывчивый". (Потом, между прочим, уже разговорившись, я похвалил свою память, и уши долго горели, но Мэтр, похоже, не заметил). Он спокойно сунул деньги в карман фартука: "У меня внук - сирота, вот и куплю ему подарок". И сразу достал из ящика мою рукопись. Под её щегольскую прозрачную обложку был вложен незнакомый мне листок, исписанный тоже на компьютерном принтере. Это нас как бы уравнивало.

- Вот, - сказал Мэтр, - почитай пока рецензию, там две странички, а потом можешь спрашивать что угодно. И я тебя теперь тоже могу поспрашивать.

Пока я читал, он молча заканчивал какое-то рукоделие. Что он там делал, я не разглядел, так как не видел ничего, кроме этого листка, экономно исписанного принтером с двух сторон. Вот что я узнал о своём романе:

"Иннокентий Колокольцев. "СИНЯЯ ПТИЦА". Роман-фэнтези. Книга 1.
(Закрытая коллегальная рецензия - только для двоих).

Сначала о формальной стороне.

1. Грамотность недурна, хотя и встречаются местами нелады со знаками препинания (кое-где в тексте я отметил для примера карандашом). Некоторые современные обороты, близкие к вульгаризмам, применять в параллельном мире не стоило, ибо они в русском языке преходящи, а язык - вечен и в целом всё же воспитательно-нормативен. Есть и бытовизмы, запрещённые в языке категорически. Например, нельзя писать "ложе рюкзак на кровать", т.к. корень "лож" без префиксов не употребляется.

2. Название романа заимствовано из пьесы Метерлинка 1:1, и это худо, потому что вторичность в искусстве именуется эпигонством и считается дурным тоном. Заменить его тем более легко, что эти синие птицы у автора особой смысловой нагрузки не несут. Скорее уж какие-нибудь "Небесные близнецы" - оно и помнозначнее.

3. Пустословие занимает около 30% текста. (Деликатнее можно было бы сказать - многословие, но деликатность в профессиональном разговоре неуместна, ибо менее продуктивна). Кое-где я это потрогал карандашом, но только в очень незначительных местах, где без некоторых слов можно и нужно обойтись. А есть такие места, которые надо переписывать абзацами. Собственно, творчество стилевое - это не когда пишешь, а когда правишь. Не зря говаривал Врубель: "Форма выполняется не дрожащей рукой истерика, а твёрдой - мастерового". Лишние слова у автора лезут из-за недоверия к

читателю: вдруг не догадается, что рюкзак надевают именно на плечи, а сидевший на стуле встаёт именно со стула. Точно так же, если можно выразить мысль шестью словами, не надо тратить десяток.

4. Текст перегружен причастными и деепричастными оборотами. Сказка этого не любит. Особенно детская.

5. Масса ненужных деталей и персонажей, совсем не работающих, случайных.

Кому-нибудь из друзей я рассказал бы об этом романе так:

- К концу такое впечатление, что войны и потасовки устроены специально для Вовы и Ромы, иначе им, играющим в песочек, не повзрослеть, а пора. Им к концу тома уже и приелись приключения, а не тут-то было: извольте ехать на север и далее, далее - захотели приключений, так вот вам, и извольте соответствовать.

Между строчками, именами, названиями и ситуациями выглядывают термины и персонажи многих фэнтезистов из одного ряда с Сильвербергом. Это удручает, как вода в ступе. Тянуть такие приключения можно бесконечно и с одним унылым итогом: зло бессмертно, однако победимо. Спасать от скуки мог бы блестящий стиль с оригинальной выдумкой. Но этого нет. Герои много спят, постоянно едят, длинно говорят сложными фразами. (Так и вспоминается реплика Эренбурга: "Нельзя звать в атаку с придаточными предложениями"). Всё это происходит вяленько, без того блеска, за который, бывает, прощается банальность сюжета. Не спасают положение ни все эти экзотические орки, ни гномы, ни их августейшие лидеры, которые так и ищут общения с 13-летними пацанами.

Автору на ушко я сказал бы так:

- Литература подобна музыке тем, что у каждого персонажа, как у каждого инструмента, есть своя партия, точно вставленная на своё место в партитуре. Например, партия Говорящего Сверчка в "Приключениях Буратино" или партия Анидаг в "Королевстве кривых зеркал". Или, поближе - многотомник о Гарри Поттере: ведь ничего лишнего, всё на месте - и не скучно, динамика, не уснёшь и даже не перелистнёшь не читая, потому что всё увязано, одно вытекает из другого и обусловлено. Роман-организм: где ни резани - всё по живому.

Где нет партий, где нет партитуры, там не музыка, а шум.

Впрочем, это как понимать музыку и литературу. Любой набор звуков или движений и слов можно объявить авангардом. Даже абсурд претендует на право быть авангардом.

Только разум ведь не слон в посудной лавке. Он в собственное подсознание не вхож, и это хорошо - для всего организма. И приходится соответствовать, если пишешь не только для себя.

Как бы я продавал этот роман?

Об этом я сказал при нашей первой встрече. Маэстро тогда назвал меня мэтром, а я ответил, что тебе, Кеша, нужен издатель-спонсор повыше, метров на 15, который сделал бы и рекламную раскрутку: "Вот новое слово в литературе, надо только всмотреться". Однако могут налететь критики и закатать в асфальт. А могут просто не удостоить - эффект тот же: публика такого жанра ищет ещё не читанного, то есть шокирующего, ей простенькие виды быстро приедятся.

Есть вариант: объявить роман пародией на современные фэнтези. Это и сделал Сервантес в "Дон Кихоте", но у него - особый случай, феномен: пародия не уместилась в шляпе. Такое требует и блеска стиливого, и объёма начитанности, и, наконец, самого главного, чего требует Леди Литература:

- *Чтобы вещь читалась, необходимо столкновение менталитетов: нравственных, религиозных, культурных, психологических, политических и т.д. Например, в нашем романе - между богатым и бедным пацанами (не явно, как меж доном Кехана и Санчо Пансой, а скрытно, даже неосознанно), между этими пацанами и чуждым для них миром и, наконец, между обитателями этого чуждого мира, ибо они и друг другу чужды. Если нет того, что для кланов, народов и персонажей дороже собственной жизни, никакие приключения не спасут от скуки. Читатель хочет сочувствовать всерьёз.*

Наш роман - вполне подходящее полено, чтобы вырезать и Буратино, и Дон Кихота, и Винни-Пуха, и всех, всех, всех. Да они уже и вырезаны в общих чертах. Остаётся лишь оживить персонажей с помощью менталитетов. Притом не декларативно, а опосредованно, в действии.

Удачи, коллега.

Дата, подпись, разборчиво".

Пока читал эту рецензию, казалось, что всё понимаю. А дочитал - обнаружил себя в лодке со множеством дыр, в которые поступает вода.

Дыра первая: "ложа рюкзак на кровать". Если не "ложа", то как же? "Кладя", что ли? А чем это лучше? Тем, что корень "клад" употребляется без... префиксов?.. Кстати, что такое - префикс? Только "суффикс" помню: "чик", "щик"...

Дыра вторая: Метерлинка я не читал. Если спросит, что скажу? Видел фильм по телевизору - "Синяя птица", так это - Метерлинк? И почему нельзя упомянуть его синюю птицу мне? У меня же - совсем другая... И как об этом спросить, если уже висит на мне ядовитый ярлык - "эпигон"?

Дыра третья. "Пустословие" - конечно, колючее слово. Но где, чёрт побери, эта грань - между художественно-нужными словами и смыслово-ненужными?! Как объяснить этому человеку, что до него читал мой роман хороший друг, который учился по литературе на одни пятёрки? Он и потребовал, чтобы текста было обязательно больше: "А то читать нечего, не разбежишься". Вот я и растёкся мыслю. Или мысию? Мысь, кажется, белка. Знание случайное и непрочное.

Дыра четвёртая, кошмарная: "Всё вяленько". Битвы, погони, волнения, а ему - "вяленько"... Потребовать объяснения, но как? Я и сам чувствую вялость, но как объяснить это чувство самому себе? Вялая погоня, вялое сражение - бр-р-р...

Дыра пятая: "лишние слова, персонажи, а про Гарри Поттера не перелистнёшь не читая". Значит, он меня "пролистывал"?! За пятьсот рублей?! Но как это доказать? Он показывает вполне плотное знакомство с текстом, не придерётся. И "нового слова" не нашёл. Это ужасно, но факт. Откуда тут взяться новому слову, когда всё уже написано, осталось только перелопачивать? Конечно, "простенькие виды", орки, гномы, короли, но как без них в сказке? Шедевры архитектуры тоже вон строят из простеньких кирпичей... Как он на это ответит? Если решусь спросить... За всего пятьсот рублей.

Впрочем, эти пятьсот рублей тоже надо заработать... Но я-то и сам их не заработал. Уже год как не работаю...

Насчёт пародии - это он интересно. И про то, что "Дон Кихот" - пародия на рыцарские романы, я слышал. По радио, кажется. Или по теле... Но что значит — "у Сервантеса пародия не уместилась в шляпу"? Почему именно в шляпу? В каком-то фильме говорили: "Россия не умещается в шляпу". Но какая тут связь с пародией? Может, есть другая шляпа? Как спросить?

Вот насчёт "столкновения менталитетов" - совершенно отпадно. Конечно, это главное, и от этого можно очень сильно оттолкнуться. И я оттолкнусь. Спасибо, Мэтр. Одно это стоит пятисот рублей.

Но, кстати, кто такой дон Кехана, которого Вы упоминаете рядом с Санчо Пансой? Разве там был ещё кто-то, кроме Дон Кихота?

"Леди Литература" - это тоже мощно. От леди нельзя требовать, чтобы она содержала писателя. Вот от такого, как я, действительно можно. Валяйте, Мэтр, я не в обиде. Вам-то купюру не она поставила, а я. А мне - папа...

Но Вы перед началом читки сказали ещё одну интересную фразу: "Читай рецензию, но она - не главное, главное - разговор". Вы и по телефону обещали разговор, но я-то не знал, как к нему готовиться. Я не готов, Мэтр!

И последняя дыра в моей лодке: "остаётся лишь оживить персонажей". Моих мёртвых, картонных, деревянных персонажей. "Роман - полено". Слово сказано. Не убавить, не прибавить. Но - обидно или ободряюще? Ведь всё-таки есть, из чего строгать...

Я не готов, Мэтр!

Он увидел, что я уже просто притворяюсь, будто читаю рецензию. Отложил досочку, на которой заканчивал что-то растительное вырезать, и начал разговор тем самым вопросом, которого я боялся:

- Расскажи сразу, какая у тебя начитка.

Да какая у меня начитка... Школьная, как у всех. Плюс телевизор. Я так и сказал. Только ещё добавил, что фэнтези, конечно, почитал, и сочинения Сильверберга в том числе, и "Дюну" этого...

- А Куваева, Анчарова, Стругацких?

- Первых двух - даже не слышал, честно говоря. А Стругацких - собирался!

Я смотрел на него внимательно. Лицо должно отражать чувства. Например, чувство презрения. Но его лицо ничего не отражало. Кроме, разве, любопытного внимания и, пожалуй, сочувствия. Он разговаривал о деле с коллегой - вот что я должен был понять. И я решил не вертеться, а быть таким же профессионально циничным, как он.

- Выходит, - я вспомнил старый анекдот, - чукча пока не читатель, а только писатель.

Он даже не усмехнулся, как сделал бы я из вежливости. Он был занят серьёзнейшим делом и не намеревался тратить время на зубоскальство.

- Ты написал целый роман. Ты написал грамотно - и по запятым грамотнее многих, и по конструкции. Как ты писал?

Я принял его тон, но я не понял. Что значит - как? Он объяснил:

- Есть два способа писать: инженерный и композиторский. Один мой друг для каждой главы сочинял краткое содержание на отдельном листочке, все такие листочки склеивал в простыню - прямо на полу, а после этого - уже дело техники: садился за машинку и отстукивал главы по очереди, во всех подробностях. А я пишу, как кино смотрю. Бывает, даже конца не знаю. Только настроение, вроде мелодии... У тебя как?

Я сказал, что - второе. Он - реакция мгновенная - сообщил, что так и думал. Это, мол, чувствуется. Но ещё сильнее чувствуется слабая начитка. А если начитки нет, то и своего не создашь. Вот читал ли Хемингуэя?

Я слышал, что "Старик и море" - хорошая вещь, собирался прочитать. Но ведь я всего год, как начал... Я же был технарём...

Он сказал, что у Хемингуэя, в шестом, кажется, томе полного собрания, есть письмо к начинающему писателю. Там приводится список авторов, которых надо обязательно прочитать. Список на трёх страницах, притом не столбиком, а в строку - и то "только для начала". И ещё есть у Хемингуэя такое высказывание - кажется, в письме к его русскому другу Кашкину: "Приступая к писательству, я поставил перед собой задачу: превзойти трёх великих авторов - господина Тургенева, господина Бальзака и господина Толстого (он знал только Льва). Господина Тургенева я превзошёл сравнительно легко, с господином Бальзаком пришлось повозиться, а вот чтобы превзойти господина Толстого, мне пришлось бы сойти с ума".

Говорил и смотрел прямо в глаза. Не лекцию читал, а чего-то хотел допытаться. Но чего? Самое время спрашивать, имею же право, а у меня нет формулировок. И не страшен, хоть и смотрит в упор, но всё же как-то парализует, что ли.

Я вдруг понял: чувствую себя, как у врача. А врачу ведь вопросов не задают. Ему только рассказывают и показывают. А потом - диагноз и рецепт.

Диагноз мне, похоже, поставили: "не безнадёжен". Впрочем, врачи и безнадёжным говорят то же самое. Особенно за деньги.

Дались мне эти деньги... Ну и правильно дались. Не слышал я, чтобы вот за такую консультацию писатель с писателя брал деньги.

А он вдруг будто услышал и спросил:

- Скажи теперь, зачем ты решил работать именно писателем?

Я молчал. Я задавал этот вопрос себе не раз, но всегда уклонялся от ответа. Мог бы и подумать, что его задаст ещё кто-нибудь. Но батя был деликатен, мать не вмешивалась... Сам себя я спрашивал: "быть писателем", а тут - "работать".

Мэтр со мной работал, как в рукопашной: ответа подолгу не ждал.

- Ты хотел славы, или заработка, или просто хотел что-то такое крикнуть человечеству, чтобы оно содрогнулось и сразу исправилось от всех своих недостатков?

Он говорил быстро, хотя и не скороговоркой. Он говорил складно, будто по написанному. Будто много раз об этом с кем-то разговаривал. Но он был не врач-диагност. Скорее соучастник. Он хотел знать, чтобы помочь. А может быть, чтобы спасти. Или, например, принять меня в свою десантную группу, чтобы вместе в тыл...

Я не мог избавиться от его десантного прошлого. Оно непроизвольно внушало робость. Ещё мне мешали его зеркально наточенные стамески. Ещё мешала ирония в его голосе, хотя она была обращена не ко мне. Он был странным человеком со множеством сущностей. Эти сущности смотрели на меня со всех сторон и задавали вопросы, на которые нельзя было соврать, потому что врал бы самому себе.

Чёрт возьми, он же меня допрашивал! Он захватил меня в качестве "языка" и хотел узнать главные тайны моего мира.

Да ещё и взял за это деньги.

Я ответил, что как-то и не думал, зачем пишу. Пишется, вот и всё.

Он с облегчением процитировал Льва Толстого:

- "Если можешь не писать - не пиши". А ты почувствовал, что не можешь. Как курица с яйцом.

Синдром недоенной коровы: не напишешь - в мозгах мастит...

Я кивал, напряжённо вспоминая, что означает мастит. Мастит - свистит - простатит...

И очень опасался, что он всё читает в моих глазах. А не смотреть на него было невозможно, как в рукопашной: отвернёшься - и пропал. А он продолжал допрос:

- Ты слова "графоман" боишься?

- Боюсь, конечно, - тут я не задумался.

Задумался он. Взял косую стамеску, снял ею с ногтя тоненькую стружечку, положил инструмент, прошелся до окна и обратно, включил и выключил чайник. То ли искал слова, то ли давал мне время подумать о сказанном. Наконец засмеялся.

- А чего бояться? Сама по себе болезнь не опасная. Любой, кто любит писать, графоман, наверно. Важно, о чём пишешь... Если просто развлекаешь, могут обзвать графоманом. А если поэзия - тогда другое дело... Раньше писателей называли инженерами человеческих душ. Я пацаном застал это время. Теперь вот перестали. А по-моему - зря. Есть в этом что-то... Ну да ладно.

Он вернулся к чайнику, включил его и резко сменил тему:

- Ты видел фильм "Мексиканец"?

Я, конечно, видел. Там парня посылает мафия из Штатов в Мексику, чтобы он нашёл и привёз пистолет, который называется "мексиканец", редкое оружие, штучное производство. И приключения...

- Я о другом, - сказал Мэтр. - Был фильм с таким названием по рассказу Джека Лондона. Про боксёра, который зарабатывает деньги для революции...

Нет, такого я не видел. И не читал. Я у Джека Лондона ничего не читал. Только фамилию слышал. Был фильм "Сердца трёх", как братья-близнецы искали клад...

Ну, нет у меня начитки! Ну графоман я, в худшем смысле! Меняем тему, Мэтр! И я задал свой первый вопрос:

- А разве через развлечение невозможно воспитание?

Он ответил мгновенно:

- Воспитание возможно через что угодно, даже через тюрьму. Лишь бы хотел воспитуемый. Но для того, чтобы он захотел... Знаешь, больного можно вылечить, когда он знает, что его лечат, и очень хочет вылечиться, и верит в исцеление. А в литературе всё наоборот. Пациент не должен видеть, что его лечат. Он должен думать, что его развлекают. Но сам-то писатель так думать не может. Не имеет права.

Тут он сам сменил тему:

- Вот скажи сходу: какое главное отличие человека от скота?

Я поддался его темпу и так же быстро ответил:

- Способность думать и чувство юмора.

И не угадал. Но только если бы мою загадку не отгадали, я был бы доволен, а он - огорчился. Чуть мелькнуло на спокойном лице и - вздох.

- Думать и шутить они тоже умеют. Есть доказательства. Главное отличие в том, что скоты не знают стыда. У них - только страх. А стыд - всё же другое. Нет?

Мне стало стыдно. Мог бы и сам догадаться, очевидная вещь. Поспешил. Нельзя с ним спешить. Но как тогда успеть? А вот так и успевать, как с горы: не хочешь лететь кувырком, тормози обеими ногами. Я притормозил, покивал и спросил:

- А почему вы - об этом?

Он ответил мгновенно:

- Потому что среди всех человеческих особей самая стыдливая - писатель. Так я считаю. Он больше других на виду, ему доверяют больше, чем политикам, и он беззащитен: ведь плохую, стыдную книгу у читателя назад не отберёшь...

Не к тому ли он ведёт, что моя книга - стыдная?

Он это подслушал.

- В твоём романе бесстыдства нет. Но нет и подтекста. Знакомый термин?

- Скрытое содержание?

- Точнее не скажешь, браво. Самое главное ты знаешь. Так вот и пользуйся! Если тебе не нравится сравнение твоего сочинения с поленом, считай его загрунтованным холстом, проектом, наброском. Всё готово, осталось довести до ума.

- То есть, пускай полежит, не выбрасывать?

- Ничего себе, "выбрасывать"! - Он хлопнул тяжёлой ладонью по моей рукописи. - Такой труд...

Сколько ты писал?

- Год. Потом, когда другу мало показалось, ещё четыре месяца доводил.

- Водой разбавлял... Знаешь, пускай полежит. Забудется немного, тогда легче всё сам увидишь... А рассказы писал?

- Есть три штуки. Трудновато...

- Во! - Он откровенно обрадовался. - Все говорят, что рассказы - высший пилотаж литературы. Но раз получают, потренируйся пока на них. Ты - технарь, тебе краткость присуща...

- А она - сестра таланта...

- Сестра-то сестра, да младшая... Ну и хватит на сегодня. Две тебе задачи: начитывай наших авторов и пиши рассказы.

- Почему только наших?

- И не просто наших, а классиков! Для начала - Лескова, Анчарова, Конецкого, Стругацких, Шаламова, Куваева, Бабеля, Булгакова...

- Булгакова я прочёл.

- Всего?

- Всего, - кивнул я, записывая остальных. - И перечитываю.

- И правильно. Я - тоже... Ты спросил, почему только наших? Потому что из первых рук. Своя культура, свой язык... И вот ещё что...

Мы стояли у двери, он поворачивал ключ. Уже третий раз в неё кто-то дёргался.

- Минуту! - крикнул он ломящемуся и повернулся ко мне. - Только об одном предупреждаю: на заработки в литературе не надейся. Если, конечно, будешь честно писать. - Усмехнулся и добавил: - А ты, похоже, такой...

Ладонь у него мощная, но пожимает бережно, силу не демонстрирует. Ну просто не к чему придраться. Это, впрочем, дело времени: подумаю, ещё встретимся - найду.

Интересно, он за каждую встречу деньги берёт? И постоянная ли у него ставка? Не решился спросить.

Похоже, у меня получился рассказ про Мэтра. Закончить его можно так: "Тот, кто ждал за дверью, с порога спросил: "Ну, получилось?" Мэтр подал ему досочку, которую заканчивал, пока я читал рецензию. Теперь я разглядел: она была кругленькая, с дырочкой в ручке и с узором в виде кедровой веточки с тремя шишками. "И, правда, от неё заварка вкуснее?" - спросил гость. Мэтр ответил: "Сам увидишь. Заливаешь в стакане или в кружке, сразу накрываешь и - на десять минут..." Про меня он уже забыл.

Отойдя до конца коридора, я услышал, как они чему-то засмеялись".

РЕЦЕНЗИЯ ВТОРАЯ

Занятный парень. Не каждый решился бы показать такой рассказ человеку, о котором написал. А этот - нахал! - даже хочет рецензию.

Ладно, друг Кеша, вот тебе рецензия. Точнее - эссе. О безнадёжности честных литературных заработков.

Ты, дружок, первый, с кого я решился взять деньги за рецензию. Объяснение этому длинное.

Я когда-то в самом деле не мог не писать. Вёл дневники, делал записи в блокнотах на ходу, даже рисовать пытался. Всё это, по Алексею Толстому, называлось "творческим поведением".

Я даже мылся при блокноте. Это, впрочем, не было пижонством: текущая вода везде вызывает у меня интересные мысли, до сих пор. Это, наверно, что-то вроде ключа, отпирающего подкорку.

Ты, конечно, знаешь, что наше сознание - только тоненькая плёночка на мощном массиве мозга. Вроде вводно-выводного устройства в компьютере. Главное варится в подсознании, и вход туда хозяину запрещён, как слону - в посудную лавку. Так что, ещё посмотреть, кто кому хозяин. Может быть, так называемый разум - всего лишь на побегушках у собственного НАДсознания.

Ну и хватит теории. От развлечений - к делу.

Я всю жизнь страдал от чужой безграмотности. И всегда находил в книгах опечатки. Поэтому читаю медленно. Не читаю, а вычитываю, как корректор. Но переделать себя не могу. Да и нужды не вижу.

Уже из этого откровения ясно, что писательство - не профессия, а образ жизни. Притом весьма обременительный. Не могу быстро читать, не могу не писать. Даже божьим даром назвать не решаюсь. Разве ДАР должен быть обременительным?

Ты тоже сказал, что не можешь не писать, что из-за этого бросил работу в папином банке. Не вижу оснований тебе не верить. Но и разувериться был бы рад. За тебя. Такой молодой, полный сил, будешь тратить здоровье на чтение этих многочисленных авторов. И только ради того, чтобы не быть похожим на них. А какой-нибудь досужий бездельник, умеющий быстро читать, всё равно найдёт твоё с кем-нибудь сходство. Найдёт обязательно. Ты прав: даже самое оригинальное сооружение строится из тех же стандартных кирпичей...

Следует отметить важную разницу между нами. Ты можешь бросить работу и "стать писателем", что называется, в одночасье. У меня такой роскоши не было.

Я вырос сиротой. Из подробностей этого состояния сообщу только одну, которую возьму из Льва Толстого, из школьной программы: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная - несчастна по-своему". За точность цитаты не ручаюсь, нет времени искать в книге. Но суть покойный Л.Н. ухватил совершенно, проверено на себе. Я был в школе отличником, а одевался хуже всех. Только поэтому и стал боксёром, чтобы не решались насмеяться. А начинал-то я со спортивной гимнастики...

Я видел, как у тебя загорались глазёнки, когда тебе сказали, что я служил в десанте, и когда я упомянул в разговоре о Ривере, абсолютном боксёре из рассказа Джека Лондона. Однако всё та же разница мешает мне этому умилиться: нас с Риверой заставила так жить нужда, а у тебя её нет. И парадокс в том, что гораздо труднее чего-то добиваться, если нет нужды. Ибо, как сказал один научный классик, "необходимость - мать изобретательности". За точность цитаты ручаюсь, но имя классика найди сам. Ты учил его теоремы.

И вообще старайся найти всё сам. В том числе и оценку своего сочинительства ищи в себе. Ведь полно авторов, которых можно попытаться превзойти, с которыми только и стоит советоваться. Но не так, как со мной, за деньги, а виртуально: просеивая их подтексты. Это, скажу тебе, очень азартное удовольствие - просеивать подтексты мощных авторов. Даже нелюбимых. Иногда даже - в особенности нелюбимых. У меня было такое с одним покойным немцем, который написал "Злую мудрость". Кажется, и он получил от моего карандаша некоторое удовольствие.

Удовольствие, даже радость - непременное условие сочинительства. Вот ты - получил ли удовольствие, сочиняя рассказ о встрече со мной? Или только освободился от горечи: брать деньги с брата-писателя и тому подобная неэтичность...

Поверь, я всю жизнь был крайне этичен. Я считал, что литература - дело святое, и с каждым, кто сочиняет, надо нянчиться. И длилось это до тех пор, пока я не начал сопоставлять разные научные дисциплины.

В педагогике, например, есть запрет на чрезмерное проявление любви к детям. И в литературе есть такой же запрет, помнишь? "Детей надо баловать, только тогда из них вырастают настоящие разбойники". Ты это должен помнить, это было по телевизору, в одной детской сказке одного великого датчанина.

В психологии есть правило: не захваливать начинающих, чтобы не замастерились. Это такой термин из спорта: когда новичок начинает считать себя мастером, а со стороны - смешно. Новичок при этом считает, что его затирают из зависти, а на самом деле его жалеют. И в литературе - то же самое. Я тебя похвалил весьма сдержанно, а ты, очарованный большим объёмом своего романа и красивым компьютерным исполнением, возможно, подумал о зависти. Ничуть, мой друг. Ты действительно пишешь - технически - лучше многих. Но ведь ни одного удивления ты у меня не вызвал. И это при том, что я читаю медленно и потому не имею достаточной для сравнения начитки. А литература, живопись, театр, музыка - это ведь прежде всего - искусство удивлять. Поразил формой - начинают всматриваться и вдумываться. Значит, вот тебе и задача: от общей грамоты перейти к СВОЕМУ языку, СВОИМ образам, СВОИМ приключениям и событиям. И чтоб нарастало к концу моё любопытство, чтобы я не догадывался, чем дело кончится. Ведь до самого конца неизвестно, что найдёт Буратино за той дверцей, которая отпирается золотым ключиком...

И всё это - азы, над которыми начинающие редко и мало задумываются, потому что уже где-то слышали. Такая судьба у пословиц. Их все слышали, поэтому в суть не вникают. Их даже в стихи вставляют: "Услужливый дурак опаснее врага", но и услужливые дураки не переводятся, и число им доверившихся - не убывает.

Чего же ты ждёшь от моей рецензии на этот рассказ? Мне видится что-то мазохистское: убедившись в моей прямоте, ты хочешь "получить по рогам по полной", как сейчас говорят. Но выражение "получить по рогам" происходит от устаревшего советского юридического термина "поражение в правах", а я вовсе не намерен посягать ни на твои, ни на чьи-то ещё права. Пишите себе, "лишь бы водку не трескали", как говорят в моих кругах. Я просто расскажу тебе ещё об одном писателе, обратившемся ко мне через несколько дней после тебя. Что называется, "по странному стечению обстоятельств".

Впрочем, стечение обстоятельств, помогающих в работе, я не склонен называть странным, поскольку считаю его одним из элементов творческого состояния: всякое лыко в строку. Не обратись ко мне этот писатель, нашлось бы что-нибудь другое.

Кстати, этот писатель - девушка. Даже совсем девчонка. Я как раз возился с её писаниной, пока ты сочинял этот рассказ про Мэтра.

Она притащила настоящую рукопись. Детским разборчивым почерком в восьми школьных тетрадках, склеенных обложками. Всё очень неумело, своими руками. И картинки там во всех отношениях детские, в стиле Гогена - цветная заливка с чёрной обводкой, без полутонов. И текст - под явным влиянием романов о Гарри Поттере, только ещё примитивнее, чем у тебя. Та же масса ненужных подробностей, из которых ничего не следует, ещё больше ошибок, чем у тебя, совсем никакое знание жизни и такие же рояли по кустам. И такие же, как у тебя, король и королева. Они точно так же приглашают детишек из другого мира, чтоб помогли разгромить кровожадных врагов. Местами мне даже казалось, что это твоё, только очень раннее. Можно составить такой же "синопсис", какой ты предпослал своему роману.

Но вот какая разница, коллега. У неё вполне определённая цель. Она учится в университете на филфаке, перешла на второй курс. Узнала, что там есть педагогическое отделение, и намерена потом работать только учителем русского языка и литературы. И читать детям свои добрые сказки. Сказала: "Хоть в школе, хоть в детском доме - мне всё равно".

Сказки у неё действительно очень добрые, хотя и беспомощные. Я ещё не разобрался, это у неё затянущееся детство, на грани инфантильности, или она умышленно стилизует текст - для романтических девочек. Там даже название - "Путь в Безоблачную Страну". Чувствуешь? Это - мечта, в которую она позовет своих читателей из нашей суровой действительности. Там они будут всегда побеждать и никогда не погибнут. Так же, как твои Вова и Рома.

Я читал вас и думал: что вы за поколение? Наше детство было суровым. Наши родители погибли под бомбами оккупантов, а мы под этими бомбами появлялись на свет. Соглашусь, что у вас - свои трудности и суровости. Что и у нас можно обнаружить свою инфантильность. Но ведь есть же разница, которая выстраивает между нами непонимание и даже неприятие! Кто бы объяснил, в чём она...

Я вот считаю, что твоя "Синяя птица" не в силах подняться до тех высот, каких она достигала у Метерлинка. Так же, как упомянутый нами современный фильм о "мексиканце" - это предательский удар в спину Джеку Лондону, затаптывание подлинных ценностей, целенаправленное стремление столкнуть нас из Литературы в "тексты", заменить героев персонажами. И не удивлюсь, если завтра

кто-нибудь издаст роман "Маленький принц" или "Ночной полёт" - никчёмные пустышки, ремейки без тех великих мыслей, которые защищал Экзюпери, самый старший из всех майоров...

Но опустимся на землю. Вернёмся к пятисотенной бумажке.

Я никогда не брал с начинающих авторов денег за рецензии. Но это было в те времена, когда журналы, газеты и издательства обязательно платили писателям за публикации. Тогда протягивать руку за купюрой, как на рынке через прилавок, для писателя было невыносимо. Это ведь не имело отношения к "инжинирингу" человеческих душ. Теперь все мы оказались на рынке. И я обнаружил, что так он только называется. На рынке должна работать капиталистическая схема "товар - деньги". Я проходил это в вузе по политэкономии. А тут у меня брали рукопись, на которую потрачено несколько лет сверхурочного труда, и называли цену, которую Я ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ, чтобы мой подарок человечеству опубликовали. Страница в толстом журнале обошлась бы мне в пять тысяч рублей, в полторы моих пенсии. Большая удача, если мои рассказы издали сборником и не взяли С МЕНЯ за это ни гроша, даже подарили несколько авторских экземпляров, чтобы я мог подарить их друзьям или библиотеке...

Было время, когда писатели подрабатывали выступлениями на предприятиях. В обеденный перерыв или после работы трудящиеся собирались перед тобой, и ты выступал перед ними. А они задавали вопросы, например: "Что вы сейчас пишете?" или "Каковы ваши творческие планы?" Бывало даже, спрашивали: "А почему вы не убили этого злодея?" Потом люди расходились по рабочим местам, в специальной путёвке писателю ставили штампик, и он в управлении культуры (было такое!) получал гонорар за выступление.

Теперь отношения договорные. Я писал для детей и за выступления перед ними денег просить стыдился. Даже смущался, когда рассчитывались коробкой конфет. Но недавно увидел, как известный поэт-песенник за любую встречу с кем угодно спрашивает полторы тысячи, и ему платят, хотя ничего особенного он не говорит да ещё и жеманничает.

И тут позвонил Маэстро и сказал, что парень из богатой семьи решил бросить инженерство и "стать писателем". Эта пустячная капелька оказалась последней. На встречу с тобой пришёл уже не тот я, с которым я был знаком. Этот Я думал: "Как же так?! Я родился писателем, но ни дня, до самой пенсии не переставал работать руками, чтобы прокормиться и прокормить семью. Меня признали, затащили в Союз писателей, а я по-прежнему борюсь с угрозой голода и до сих пор не имею лишнего гроша" - ну, и так далее. Ответ на все эти "охи-ахи-эхи" прост и беспощаден: "Талантливый человек талантлив во всём, в том числе и в зарабатывании денег. Если не можешь соответствовать - отойди". И я, бесталанный, отошёл. Столярничаю по старой памяти, иногда переплетаю книги, подрабатываю сторожем - лишь бы иметь время сочинять. Я всё так же пишу на ходу, до и после работы, даже на работе, если припечёт. Но совсем отойти не дают. Ко мне подсылают начинающих, чтобы они откусили остатки моего стариковского времени. Именно за него, а не за рецензию и не за наставления взял я с тебя эти пятьсот рублей. Может быть, куплю внуку самокат. Впрочем, ему ещё рано. Лучше подарю что-нибудь моей старушке. Она свою жизнь рядом со мной погубила. В ожидании чуда. Не дождалась. А она до сих пор красивая, молодые оглядываются. И внук не "бабой" её зовёт, а "бабулей".

Но с этой студенточки денег, пожалуй, не возьму. Какая-то она беззащитная. Да и живут они, как выяснилось, совсем не богато. Кое-как собрали денег на подержанный компьютер, так и то в него залез вирус и съел у девчонки новую рукопись. Ты, Кеша, может быть, и станешь модным автором бессмысленной фантастики. А она, может быть, не станет ничего издавать. Просто будет читать свои сказки детям - на уроках литературы или перед сном в детском доме. Детдом - место серьёзное. В общем, каждый из вас всяко найдёт своё место: для молодых сейчас возможностей много - знай, не ленись. И нечего о вас беспокоиться.

Что до меня, то я - из другой эпохи. В ней не было компьютерных вирусов. Хорошо это или плохо? Полагаю, этого даже боженька не знает.

А вот я - знаю. Но не скажу.

Готовь, приятель, ещё пятьсот рублей - всё же это без малого 48 буханок серого хлеба в нашем магазине, который называется "Счастье моё". Правда, неделю назад можно было купить 66 буханок. То ли инфляция, то ли просто грабёж - тому, кого грабят, это безразлично.

А на прощанье - последнее высказывание - одного знаменитого англичанина, за точность ручаюсь: "Все новости, за исключением цен на хлеб, бессмысленны и бесполезны".

17-24.07.07г.

Благодарю Вас, Мэтр!

Вы угадали, обе сказки действительно писал один человек. Та самая девочка, о которой Вы с такой жалостью высказались во второй рецензии. И я действительно такая робкая, как Вам показалось. И не решилась бы к Вам пойти, если бы не брат. Наш папа давно дружит с Маэстро, вот они втроём и решили показать Вам мои сочинения, будто их написал Кеша. "Синюю птицу" я

написала на том самом компьютере, который будто бы пострадал от вируса. Рада, что грамоты у меня - по сравнению с шестым классом - немного прибавилось. Так что, извините за обман.

Мне хотелось узнать о себе бесстрастную правду, потому что мечтаю стать писателем с тех пор, как научилась грамоте. И очень хорошо, что Вы умеете её говорить даже за деньги. Этого я и хотела.

Моей начитки хватило, чтобы расшифровать имена всех знаменитостей, чьи высказывания Вы приводите. Кроме английского экономиста, которого знает Кеша. Но он мне его тоже не назвал, сказал: "Сама ищи". Вы оба в этом правы.

Кстати, самая объёмная "начитка" - всего лишь орудие для таланта, но никак не замена. У меня, к сожалению, таланта либо нет, либо он ещё не проснулся, лежебока. Я знаю, что талант - это капля способностей на ведро пота, и буду потеть дальше. А пока довольно и того, что с Вашей помощью вдруг разглядела: иду совсем не туда, гонюсь за славой, которую уже раздали. Там, в безоблачной стране фэнтези, стыдно прятаться, когда честному пожилому писателю стыдно брать корейку за свой труд, а больше ему никто не даст.

Совсем маленькой я побывала на одной встрече с Вами. И помню, как Вы смутились, когда наша учительница вручила Вам коробку конфет. Я прочла всё, что у Вас опубликовано, даже немного больше. Я помню все Ваши высказывания, а особенно вот эти: "Стыд - единственное отличие человека от скота", "Если писатель не пытается спасти человечество, это не писатель, а шут". И ещё: "Человечество - ошибка Природы, но такая грандиозная, что жалко исправлять".

С последним высказыванием я намереваюсь спорить. Человечество стоит исправлять. Хотя бы потому, что оно - не только ошибка, но и часть Природы. И недавно брат Кеша сказал, что только благодаря существованию мыслящей живой материи Природа может справиться со Вторым законом термодинамики и избежать тепловой смерти. Так утверждал один математик с румынской фамилией и другой иностранный физик, у которого фамилия русская.

Но это уже не сказка, а почти научная фантастика.

На прощанье вот ещё что. Мне кажется, птица счастья - совсем не обязательно синего цвета. Вы это наверняка знаете, Мэтр: ведь Вы всю жизнь прожили с единственной женщиной. Разве так уж важно, какого цвета у неё счастье?..

Теперь прощайте, Мэтр.

Ваша беспомощная ученица.

01.08.07г.

Владимир Шкаликов

ХУДОЖНИК

Светло, свежо, сыро и прозрачно.

Тоска-а-а-а!..

Тоска не от скуки - скучать некогда. Не от горя - какое может быть горе, когда все живы и здоровы...

Тоска величественная, природная, осенняя, в последних лучах тепла, в чёрных от сырости стволах деревьев, в перешёптывании мётел с палыми листьями.

Перед рассветом прошёл слабый дождик. И тополиные листья, большие, жёлтые, звонкие, стали густо падать с веток и ложиться хвостиками вверх на сырой асфальт. И закрыли всю землю в городском саду - просто некуда ступить.

Фоме Колонкову, деловому человеку сорока лет, больно за каждый листок, на который приходится наступать, и он спешит пройти мягким шагом по этой красоте и поднимает голову к небу и видит планирующий по спирали самый лучший из листьев. Лист летит, кажется, прямо в руки, и если Фома его поймает, это будет счастье, потому что так загадано ещё в детстве.

Поймал!

Он прячет лист в карман, в тощий бумажник, чтобы не помять, и, просветлев, с минуту стоит среди осени.

Мимо проходит занятой молодой папаша с малышом на сутулых плечах: то ли садик в субботу работает, то ли к бабке спешат.

Тихо мелькает в рябиновых кустах, задумчивая девочка, срывает резной листок, закладывает им первую в жизни взрослую книгу, обходит унизанную росой паутинку "бабьего лета" и растворяется в засыпающей природе...

Тревога и величие зрелости.

В голове Колонкова рождаются мысли о том, что надо бы жить подобно природе. Без оглядки и с достоинством. Без суеты и просто. Знать своё назначение и следовать ему. Тогда по-настоящему будет о чём пожалеть перед смертью, но тогда смерть уже не будет концом твоей жизни. Это будет кончина, естественная, как осенний лист, который отдал дереву всё от своей любви и взял всё у дождя, воздуха и солнца, чтобы стать жёлтым, красным - прекрасным, как прожитая жизнь, и умереть в удовлетворении...

Фома протяжно вздыхает. Какая прекрасная тоска! Светлая тоска наполненной жизни. Тоска неизвестно по чему и почему. Радостная тоска, оттого что есть этот сад, эта осень, эта жизнь, есть Тамара, есть Саня...

И есть искусство.

Фома поправляет под мышкой картину и трогается дальше.

Он догоняет попутный трамвай и едет на передней площадке прицепного вагона. Контролеры сюда не ходят, потому что в прицепном есть кондуктор. А кондуктор сквозь давку вперёд не проберётся, так что билет можно не брать. Не то чтобы жалко трёх копеек, а просто Фома считает, давно пора сделать бесплатный проезд, пусть даже с вычетом из заработка - так легче расставаться с деньгами, когда их не густо.

Свёрнутую трубкой картину Фома держит в уголке, чтобы не повредили. Дома с весны валяется - жалко выбрасывать - "Корабельная роща" художника Шишкина, которую Саня очень похоже срисовал, а в трамвае изломали. Правда, Фома тогда был сам виноват: пожалел для сына холста, а картонку ведь не свернёшь.

Барахолку Фома уважительно и официально называет срободным рынком. Никто никому ничего не навязывает: что хочешь, покупай, что хочешь, продавай, даже, как говорится, атомную бомбу. Хотя, конечно, за атомную бомбу Фома и к стенке ставить не согласился бы - задавил бы на месте... Но всякие там маски самодельные, копилки, чеканку - почему не продавать? Даже на коврик с лебедями есть ещё охотники...

Но его Саня не то что лебедей - малейшую безвкусицу чует за версту. Саня любит настоящий пейзаж. - Куиржи, Шишкина, этого ещё, последнего... Забыл... Фома и сам чует вкус. Он сам бы рисовал, будь он помоложе да не так занят на работе...

Конечная остановка. За мыслями Фома её не заметил, и теперь срочно придумывает, что соврать контролёрам, которые почему-то примчались к барахолке в такую рань. Он суёт дружиннику вместо билета старую скомканную бумажку, но это не проходит, и его задерживают. Правда, не отчитывают при всех, а просто спрашивают фамилию и отпускают.

Фома шагает в толпе огорчённый: называется, поймал счастье.

- А ты, дядя, и не видел, как тебя фотографировали? - кричит ему какой-то губатый с короткими ресницами. - Будешь сегодня висеть во всех трамваях!

Фому это не беспокоит, он сказал чужую фамилию, того типа фамилию, который в детском доме дразнил его "киндером". Но всё равно настроение испорчено. Он посылает губатого подальше и,

разрернув холст, занимает своё место в ряду между бабкой, которая торгует собственной вязки детскими носочками, и средних лет мужичком, каждый выходной сбывающим ворованные радиодетали. Общество, конечно, не самое-самое, но Фома нарочно держится подалеже от ковриков с оленями и лебедями, чтобы не унижать серьёзное искусство подлым соседством. Слово "подлый" Фома познал недавно и полюбил его любовью врага. В один ряд с ним встали "ушлый", "пришлый", "прошлый", "пошлый" и самим Фомой придуманное, противное и не совсем объяснимое, - "зашлый".

- Что это у вас? - спрашивает Фому культурный мужчина в бородке. Рядом с ним - внимательная женщина.

- Куиржи, если вы грамотный, - отвечает Фома. Он прищуривает левый глаз и собирается выместить на этом зашлом пижоне своё испорченное настроение, поскольку сразу видно, что покупать картину тот не намерен.

Бородка остренько усмехается. Улыбается и внимательная женщина, по виду - жена.

- Сплошная отсебятина, - говорит бородка больше жене, чем Фоме. Тон покровительственный, как у начинающего знатока. Фому этот тон ещё больше злит и он, так же небрежно и ещё более покровительственно, отвечает:

- Да! Я кое-что подбросил от себя. Но так, по-моему, красивше, кто понимает...

Культурные прыскают вприсядку и степенно идут дальше, в джинсовый угол, плавно покачивая модно истёртыми синими задами. Вдалеке они смеются ещё раз, и Фоме кажется, что это над ним и его Саней, над искусством.

"Сам, поди, совсем никак не умеешь, морда зашлая... Критик недобрый! - Эта мстительная мысль немного успокаивает Фому. - Ничего, Сашок, мы себя ещё покажем!"

Обратно Фома едет злой, в полупустом уже трамвае. Картину он держит между колен, сидя на передней лавке, и старается не смотреть на свою фотокарточку, помещённую под стеклом в раме среди других. Рама большая, как в старых семьях, где много родни. Только сверху - не голубки, а волк с повязкой дружинника, ухвативший за шиворот зайца : "Ну, погоди!" Под карточкой Фомы вписано: "Столяр мебельно-зеркальной фабрики Ф.Колонков, назвавшийся Сидоровым". Узнали, значит. Теперь билет можно не брать из принципа... И картину не купили... Человечество перестало понимать Колонковых, отца и сына. Всё одно к одному. Домой не хочется.

* * *

Мальчик лет семи сидит поджав ноги на верстаке и смотрит в поле. Там, вдали, туманно зеленеет лес. Свежие стога невесомо обнимают воткнутые в землю жерди. Нижний край желточной луны погружён в сиреневую рябь случайного облачка. Такое нежное облачко днём и не разглядишь. Земля, того же цвета, что и стога, в одном месте так утоптана, что, кажется, отражает лунный свет. А над лесом и среди стогов...

Шумно входит подвыпивший Фома. Он бросает на стол свёрнутый холст и ругается матом.

- Саня, - говорит он, - ты меня прости, что я маленько ругаюсь. Мне, сынок, просто обидно, что люди не понимают живопись.

Фома надолго замолкает, а мальчик смотрит на него и думает о зелёных стогах. Ему жалко, что оторвали от этого зрелища, он боится потерять настроение, но отца надо слушать, пока не выскажется.

Становится похоже, что Фома спит, упершись кулаками в стол. Саня уже хочет тихонько отвернуться, но отец в это время поднимает голову.

- Мне, Саня, обидно за людское невежество, - говорит он снова. - Ведь никто не понял... Я им объяснил, что это Куиржи, великий мастер прошлых веков...

- Куинджи, - поправляет Саня.

- Да, Куинжи, - соглашается Фома с удовольствием.-Ты, Сашок, у меня молодец... Ты учишь...

Фома опять надолго замолкает. Ему глубоко обидно за людей, которые не понимают искусство реликого Куинджи и его сына, Сани Колонкова. Обидно за себя, потому что он сам тоже не очень понимает. Зато он крепко чувствует, хотя и не может это объяснить. Чувствовать важнее, чем понимать. Но ему очень хочется и понимать до конца. Ему до изнеможения хочется стать маленьким, как Саня, чтобы дойти до всего...

- Я хочу, - говорит Фома. - Понять, - добавляет он через минуту. И просит сына: - Дай ту картинку, с какой ты срисовывал.

Саня подаёт ему репродукцию из журнала "Огонёк". Фома разворачивает картину и кладёт на неё репродукцию. Это неудобно. Тогда он закрепляет холст на мольберте, сделанном для сына ещё прошлой весной, и отступает, держа репродукцию на вытянутых руках и поглядывая через неё на мольберт.

Сзади подходит мать Сани, Тамара Петровна, и, сложив руки на плече мужа и поместив на них подбородок, тоже замирает, переводя глаза с картины на репродукцию и обратно. Потом, поглядев искоса на отвернувшегося сынишку, она шёпотом делится с мужем:

- Цвет совсем другой, как будто не утро там, а полдень, и что-то ещё не так. Всё на месте, а цвет

не тот какой-то. Может, краски ты ему не те принёс?

- Как это? - шёпотом же отвечает Фома, обернувшись. - В салоне "Художник" брал. Там девчата меня уже знают. Самое-самое для него откладывают.

- Ты им-то не показывал? - жена кивает на картину.

- Я "Мишек" им показывал, - шепчет Фома. - Они смотрели-смотрели и говорят: "Из него вырастет... им-просио-нист" какой-то.

- А это что?

- Они мне объясняли, только, может, не так понял... Короче, это такой художник, который рисует воздух.

- Ц-ц-ц, - огорчается Тамара Петровна, - за воздух, поди, и не платят ничего... - Вот "Мишек" и не купили. Побоялись. Может, пусть он это бросит, пока не поздно? Весной-то лучше вроде рисовал, хоть похоже было... Может, купи ему на зиму коньки с клюшкой, пусть бегаёт, как все дети. Нечего забивать голову всякими "про сионистами".

Фома минуту молчит, продолжая сверять картину с репродукцией, потом твердо отвечает:

- Коньки куплю, но дальше пусть рисует. Только не с картин чужих, а с природы... Я сегодня был на городской выставке. На взрослой. Картины смотрел. Наш не хуже... Пусть листья в горсаду нарисует, а я узнаю у девчат, какой в городе есть лучший художник, и покажу... Продавать больше не понесу.

А мальчик сидит на отцовском домашнем верстаке и ничего этого не слышит. Он наблюдает, как воздух над лесом и среди стогов становится холоднее, как на скошенное поле выпадает роса, слышит резкий свист летучих мышей и далекий скрежет лягушек на болоте... Точно такой же вечер он пережил в июле, когда отец брал его с собой на сенокос в подшефное село.

По спине Сани пробегает озноб, он подтягивает коленки к подбородку и обхватывает их руками, ему хочется захлопнуть окошко в это ночное остывающее поле, но тогда сразу вернётся комнатная духота, от отца кисло запахнет вином, а у матери на кухне затрещит сковорода с бедной рыбой пристипомой, которая, кажется, у всех просит прощения и помощи.

- "ЛЕВИТАН. ОБРАЗ И ЦВЕТ", - читает из-за спины отец. И целует сына в макушку. Выдуманное окошко хлопывается само собой.

От отца пахнет вином, на кухне трещит сковородка, в ярком свете настенной лампы темнеет обложка большого альбома с репродукциями Левитана, и только в висках ещё несколько секунд стоит тишина вечернего поля.

* * *

...Над головой Фомы низко и неспешно проходят самолёты с крестами, сами похожие на кресты. Прямо среди стожков Левитана приземляются парашютисты. Никто из них не может удержаться на ногах, потому что автоматы тяжёлые, а в мешках, наверное, патроны и гранаты...

...В вагоне душно и темно, потому что нет окон. Их очень много в вагоне, таких же детей, как Фома. Впереди заходит солнце..

... - Не надо, фрау! Ихь верде гут киндер... Я больше не буду рисовать штерн...

... - Дяденька зольдат, а вы можете мне такую, как у вас на шапке, звёздочку подарить? Ихь бин хороший кнабе... Я наш...

Фома прикладывает красноармейскую звёздочку ко лбу, укалывается и открывает глаза. Темно. Он лежит лицом в подушку, а лоб царапает заколка Тамары Петровны. Во рту сухо, и он встаёт напиться.

Потный, усталый после тяжёлого сна, с чувством ещё не осознанной вины, Фома задерживается у деревянной кровати сына, в которой спали ещё старшие дети. В лунном луче её резная спинка голубеет таким чудным узором, что Фома сам себе удивляется: "Сейчас, поди, так бы и не вырезал".

Саня во сне улыбается, что-то бормочет. И Фома вдруг с облегчением догадывается, откуда у него чувство вины.

Фома выпивает остывший чай и спешит к постели. Он согласен просмотреть свой горький сон ещё раз, лишь бы снова встретить того первого солдата, который подарил ему звёздочку. Фома признаётся ему, что не сохранил подарка, и попросит ещё одну, с лучами тусклого металла под вишнёвой эмалью, с острыми колючими уголками, фронтовую красноармейскую звезду - для Сани. Саня давно такую хотел. Пусть носит зимой на шапке, красиво.

- Выпил, теперь маешься, - бормочет Тамара Петровна, когда он ложится. - Тебя хоть кто угостил-то?

- Есть люди. Не вам чета... Дай поспать, - отвечает Фома и просыпается окончательно.

Он закрывает глаза, долго ждёт, но сон не приходит. Заснуть мешает дождь на железной крыше. Фома беспокоится, как бы завтра из-за этого дождя не сорвался у них с Саней поход в городской сад, на этюды.

Владимир Шкаликов

ЧЕМ ЖИВУ?

"Ждут своего времени только те,
для кого оно никогда не наступит".

Г.Ландау

1.

Всё общежитие, конечно, ещё спит: полшестого! Правильно, у них физический труд, им каждая минута сна - лишняя калория.

А меня черти подняли. Идиотский сон. Со стихами. Под утро, а может - всю ночь, кто его знает, снился домик тети Вари посреди звездного пространства. Дом заброшенный, хоть и недостроенный. Во времянке жили, пока строили, потом в него переползли. В две комнаты. Остальные только обдранковали, и тут дядя Боря умер. Но она меня доучила и отправила в Томск, в университет. Я поучился два года на литфаке и не потянул - слишком много прочитывать, не успевал. Теперь живу в заводском общежитии и работаю в многотиражке "За ударные темпы". И пишу рассказы. А домик и тётя Варя иногда снятся.

Сегодня - сюрреализм: я с какой-то девицей пришел к тёте Варе. Её где-то нет. Кругом - космос. Девушка похожа сразу на нескольких, но у нас с ней отношения. С собой продукты, чтобы не объедать тётю Варю. И ещё с нами целая ватага богемных. Пара знакомых многотиражников - эти из Иркутска и от кого-то привезли мне привет. Два томских поэта-прозаика - один матёрый, другой начинающий, как я. Ещё какой-то, я его не знаю. И все с девицами, только матёрый, кажется, с женой. Тут же и этот, то ли известный, то ли великий поэт из Тайгинска. Тоже успел какую-то подцепить. Все несут что-то заоблачное, все друг друга норовят переумнить, вроде шутят. И все смотрят по углам, чтобы уединиться с девицами, расползаются по недостроенному дому. Они расслабляться приехали. Заглядываю во времянку. Тётя Варя там, готовит: "Буду твоих друзей угощать, отдыхайте с дороги". Тут же хлопочет дядя Боря, звёздами растапливает печь. Мне бы ему помочь, а я вдруг начинаю читать стихи:

Танцам труба опять.
Смертно устали ноги.
Но снова сюда спешат
..... по звёздной дороге.
Ладно, давай играть.
Ишь, протоптали тропку!
Да не забудь набрать
звёздочек на растопку.

С этим и проснулся. Стихи в голове, только без одного слова. Да и не стихи, случайная рифмованная чушь. "Опять" - "спешать"... Я знаю ведь, что стихи - не моё. Но на всякий случай надо записать. Попробовать как-то развить.

Быстро встал, побежал в туалет. Попутно умылся и вычистил зубы. По-скорому расчесался, побрился. Хорошо, что рано: никто не отвлекает. Только вахтёр, когда бегу мимо, грызёт семечки и противно плямкает. Быстро заправил койку. Оделся. Сделал зарядку. Расчесался.

Чтобы никого не будить, выскочил с тетрадкой в коридор. Устроился просто на стуле, зато подальше от плямканья - и так вся эта суэта разогнала половину мыслей. Только раскрыл на колене тетрадь, черти несут уборщицу. Моет пол с хлоркой. Дышать нечем. На улицу не уйдешь, там январь.

Всё же, сквозь хлорку, два четверостишия из сна записал. Так и оставил без одного слова. Что-то юморное можно сделать. Но не сейчас: от хлорки начали разлагаться мозги. А тут и первая смена побежала в умывалку. Чёрт, куда делось время?

Пока ел в столовой, пока шагал в редакцию, всё думал: из-за чего такой сон? Иркутские коллеги - понятно, они у нас на семинаре. Все остальные - тоже понятно: у меня с ними сегодня встреча. Девушки - это игра воображения. Почему все у тёти Вари - даже это понятно: ностальгия. Но почему в космосе?

У редактора даже не пришлось отпрашиваться. Он с порога:

- Ты, оказывается, у нас писатель! И молчит?! Ладно, потом всё-таки расскажешь, о чём пишешь. Может, что-нибудь и опубликуем. А сейчас поезжай сразу. Они в гостинице тебя ждут к десяти. Номер знаешь?

Конечно, я номер знаю. Провёл в нем вчера два часа, если не три. Счастливые часов не наблюдают.

...Вчера к вечеру они позвонили в редакцию. Я, к счастью, был один.

- Старый! - Это начинающий поэт-прозаик Мишка Вагин. Очень пробивной парень. Где работает - непонятно, но пишет лихо, публикуется повсюду и всегда в курсе всего. - Старый, ну какого черта?!

Сейчас же всё бросай. Мы в гостинице "Томск". Четыреста третий номер. Или ты уже не писатель?

Отправляться было не у кого, редактор сидел на парткоме. И я всё бросил.

В 403-м номере - плотный дух пива и копчёностей. Конечно, накурено. Без женщин. Размахивает руками и громогласничает модно бородатый Мишка. Пересказывает свой новый сюжет матерому Ал. Свадьбинскому. Тот снисходительно заинтересован, член Союза писателей. К ним прислушивается один из иркутских многотиражников. Он, кажется, пишет стихи. Зовут, кажется, Олегом. На окне сидит толстый, здоровенный, в сером толстом пуловере, пуговичные петли растянуты неимоверно, лицо циркульно-круглое, волосы щёткой. А в центре внимания - великий Пашко, хозяин номера. Его всем надо называть Гошей. Он худ и длин. Или длинен? Ладно, он худ и долговяз. Лицо аскета. Небольшие круглые глаза чуть навывкате. Чувственные ноздри тонкого носа. Или чувствительные? Ладно, бог с ними, чуткие. Капризный рот, а вокруг рта - чёрная капитанская борода, сливающаяся с короткой, как у первоклассника, стрижкой. Или шкиперская? Или норвежская? Неважно. Борода есть, а усов нет. К этому безумно идет свободно, богемно болтающийся белый свитер крупной вязки (нет, пожалуй, чуть кремоватый) и тонкая, острая, бритвенная улыбочка, скользкая каким-то хитрым образом по всему лицу. Гоша велик: он пишет всё. Но особенно силён в стихах.

Хотя и в остальном, говорят, тоже силён особенно. Я читал не всё.

Гоша сидит на кровати и держит пиво с ветчиной. Он привстает мне навстречу и даёт расслабленную руку. Внешне жилист, а рука вялая. Прикидывается перед пролетарием? Так я и не пролетарий, я надстройка.

- Старик, - говорит Гоша без предисловий, - пей пиво, это хорошее томское пиво, и я тебя поздравляю. Твой рассказ будет в сборнике, в "Дебюте", слышал о таком?

Я слышал. Я польщен. Предисловие к "Дебюту" писал матёрый Ал. Свадьбинский, а составитель - сам великий Пашко.

- Вот этот человек, - Гоша расслабленным жестом указывает на здоровенного, циркульнолицего, - о-о-о, это большой человек! Это крупнейший художник Сибири!

- В смысле роста и веса, - уточняет крупнейший.

- А хотя бы и так, - Гоша вскидывается, и выпитое пиво слегка его накреняет. - Это неважно, наконец, каковы тактико-технические данные этого мужчины. Важно, что он непьющий - вот гарантия, что он шикарно проиллюстрирует весь сборник. И ваши рассказы в том числе. Если, конечно, вы от него ничего не скроете.

Писательская беседа о делах. Между пивом. Поздно же я сообразил, что нельзя с пустыми руками: все что-нибудь принесли, один я даром ем. Но если не пить и не есть, значит выделяться. Не рано ли? Лучше страдать, но быть как все - простят на первый раз, люди деликатные.

Ем, пью, ничего не скрываю от крупнейшего. Его зовут Виктор. С нормальным русским ударением на первом слоге. И весь он очень нормален и прост. Советовался до меня с Мишкой насчет картинки к его рассказу. Договорился. Теперь - со мной. Матёрый помогает: он наш ментор, он нас открыл. Сначала меня, потом Мишку. Но Мишка - ценнее меня находка, слов нет. Он в этой компании, как в ней родился.

Виктор не называет меня стариком. Даже именем не пользуется. Просто говорит, как со старым приятелем: "Я твою главную тему вот так себе представил..." Мне нравится, как он представил: даже лучше, чем я сам. Быстро договорились и тут же друг от друга отлипли.

Разговор общий, вроде ни о чем, а интересно. Уходить не хочется. Но когда-то уйти надо будет: все дела вроде сделаны. Прислушиваюсь к разговору, чтобы не пропустить отбой. Сам участвую пассивно.

- Кстати, старик! Ты посмотри, как твой рассказ будет выглядеть. Да и вычитай заодно.

Гоша окунает руку в портфель и достаёт папку. Папка толстая, мой рассказик в ней - капля. Нет, пусть лучше так: патрон в пулемётной ленте. Тот самый, что прямо в цель. Тот, который наповал. Гоша выщипывает мой патрон из папки. Передаёт сквозь дым и пиво. Руку он, оказывается, успел обо что-то вытереть. Пока происходит вручение, все смотрят на меня. Потом уединяют: беседа продолжается, а я читаю.

О, авторское самолюбие, как ты страдаешь от малейшего вмешательства в текст! Переставили местами два абзаца, и уже ты в ужасе: читатель не так поймёт! Два абзаца! Да ты и два слова не дал бы переставить!.. Последний абзац обрубили совсем: боже мой, что же будет с моей главной темой?!.. А ничего с ней не будет. Её спасёт иллюстрация крупнейшего. Гораздо страшнее, если вот вместо "свет" напечатают "сват". Я исправляю опечатку и сообщаю об этом Гоше. Он один не хохочет. Только улыбочка становится чуть бритвеннее.

- Да, старик, это серьезно. Спасибо. А как концовка? Нет возражений?

- Конечно, нет, - встречает матёрый.

Я невнятно изображаю согласие. В конце концов, матёрый для начала прав: сейчас главное - опубликоваться. Им пока виднее, что у меня важнее.

- Соглашайся, старик, - поддерживает Гоша. - Борьбы ведь стоит только то, что очень дорого, правда?

До чего же хитрая формула! Утешил или унизил? Моё первое детище, по идее, должно быть

самым дорогим, а я так легко отдал на растерзание... Уязвляюсь и начинаю злиться. На Гошу или на себя? Он это как будто замечает.

- Ты, старик, доверься. Даю тебе слово, такая концовка крепче. Вот "свата" - это ты здорово, что заметил.

Я киваю и прячу глаза в пиво. Злюсь ещё больше. Я уже уверен, что он юродствует и косноязычит не из-за пивного хмеля, а от презрения ко мне, сирому. Его глазки прикасаются, как свёрла. Только что не сверлят насквозь: ему не надо, ему наплевать и забыть. Потрогал пальцем, будто я смиренное земноводное, и вернулся к своим горным делам. Конечно: опыт, литинститут, круги - что ему я? Мишка - другое дело, свой. А я - случайный взгляд из "мерседеса".

Мишка на волне, поднимает тост "за боевое содружество прозы и поэзии". Все в восторге, только матерый Ал. дружески замечает, что пиво - не для такого тоста, и достает из холодильника "рислинг".

- Бэ-э-э, - блеет на это Гоша. Матёрый убирает вино и достает "пшеничную". - Э-э-э-э!

Стаканы в темпе освобождаются, водка разливается. Тост поднимается опять, но теперь замечание от Гоши. Тоже дружеское. Но с принципиальным подходом:

- За содружество, но не боевое, ибо это хронологически локально, а творческое, и не прозы и поэзии, а Поэзии и Прозы, ибо Поэзия первична не только в Творчестве, но и в Жизни, ибо Жизнь без Творчества не имеет права так называться. И всё с большой буквы.

Спецы по тостам, я продолжаю злиться. Из-за того что не пью даже пива, тормоза начинают отказывать. Меня раздражают все, но прежде всех - я сам. Муха в чужой тарелке! Да и тарелка - не понять, что к чему. Не так представлял.

- Поехали ко мне, мужики, - басит матёрый. - Квартиру посмотрите.

Он получил новую квартиру. Писательскую, четырёхкомнатную. Никто ещё, оказывается, её не видел. Кроме, конечно, Мишки. Мишка туда вещи затаскивал. Может, и ночевал там первую ночь, вместо кошки, только не сознается. А я о ней вообще не знал.

Неудобно выйти из гостиницы вместе со всеми и отправиться в другую сторону: "У меня дела". Какие дела? Семеро по лавкам? Да те трое в моей комнате и не заметят, что меня нет. Или я спешу к себе в предгорья Парнаса, накорябать чего-нибудь бессмертного, выполнить дневную норму знаков, строк, страниц?.. Вперёд, к матерому! Может, увижу краешек своего будущего. Или хоть подышу воздухом настоящего творчества...

Идти немного: три остановки - одна трамвайная и две автобусные. Девятиэтажная башня из белого кирпичика цвета слоновой кости. Лифт просторный. Пятый этаж. Дверь квартиры - прямо перед лифтом.

Квартира после общежития кажется непомерно просторной. Но матёрый жалуется на тесноту - малы комнатки. Пока дома никого, он водит нас и всё показывает. У каждого тут своя дверь, и каждый может ни за чем ни к кому не заходить: всего всюду много. (Это, конечно, у меня тоже после общежития.) Два сына в семье. Один кончает школу, другой кончает институт. Оба пописывают. Со старшим буду под одной обложкой.

В каждой комнате - по пишущей машинке, хозяйка дома тоже что-то пишет - кажется, стихи. Или диссертацию. Словом, слов нет.

- Ну, пошли на кухню!

Мишка уже там, у кофеварки.

Все что-то вынимают из портфелей, хозяин - из холодильника, а я опять в гостях: стою руки в брюки, разглядываю акварельку на стене. Речной пейзажик: песок, вода, небо, купальщицы.

- Старшенький балуется, - матёрый поясняет мельком. Тут же все проявляют интерес и находят, что недурно, недурно, на уровне раннего Тараса Шевченко.

Я отхожу к большой линогравюре. Там всё, как в стихах матёрого: тайга, пурга, вездеход, вертолет.

- А это мое, - важно говорит матёрый. И смеётся. Внизу листа подпись карандашом: "Алёше Свадьбинскому на память о совместной командировке". И разборчивый росчерк известного в городе художника. Матёрый - матёрому. Слов нет.

Третья стена увешана шкафами. Четвертая, где стол, совсем пустая. Мы обмываем новую квартиру водкой, потом тремя винами. После кофе наступает пора поступков, и у великого рождается идея.

- Старик, - обращается он к матёрому, - у тебя есть фломастер?

Матёрый без вопросов несёт жестяную коробку с тонким пейзажем на крышке. Два десятка японских фломастеров. За рубль двадцать шесть.

- Это гениально! - Язык у Гоши заплетается, но слегка. - Мы распишем вот эту пустую стену. Можно?

Да как же нельзя? Конечно, можно! Всё, что угодно гостям. Особенно теща обрадуется. Она, к счастью, сама до завтра в гостях.

Гоша чуть складывает своё длинное тело над столом - примеривается. Потом с минуту перебирает фломастеры - тянет время, чтобы оформить в голове свою выдумку. Потом снова наклоняется к стене, и тонкий бирюзовый фломастер в его длинных пальцах будто сам, не отрыва-

ясь, рождает потешного зверя неизвестного вида. Ещё фломастер - и у зверя малиновая грива. Довольное животное бритвенно улыбается родителю, а рядом с его головой - автограф великого:

"Я тебе и Лиде гость,
Пригласи меня на кость".

Все гогочут. Сейчас очередь матёрого, потом журналиста, следом моя. А матёрый уже всей тушей над столиком, дотянулся гораздо ниже экзотического зверя. Он говорит: "Тёщу надо ублажать" и пишет до безобразия крупно, плюща о стенку фломастер:

"Тёща мне жену родила.
А без тёщи что бы было?"

Общий восторг. Журналист просит перенести его очередь. Все смотрят на меня. А у меня только первая строка. Ну и бог с ней. Не люблю удивлять и не умею, нате:

"Ходите, люди, в этот дом!"

И расписался, как все. Но не под строкой, а сбоку, осталось место. И Гоша тут же своим цветом:
"Но только ниже этажом".

Не знаю, не вижу, как всем, а мне гадко. Это ведь намёк мне, чтоб не совался больше с посконным рылом, да и хозяевам не очень приятно - двусмысленность... Журналист находчив: он зачеркивает точку и дописывает:

" вы не задерживайтесь!"

Все довольны. Поднимаем за хозяйку дома и ждем автографа Мишки. Пока он думает над фломастерами, Гоша создает еще один "шедевр":

"Мы по-русски в падежах
Слабо разбираемся.

Объясни нам, Лида-джан,
Эту злую разницу."

Чушь какая-то. Пьян совсем.

"Мы здесь, как голуби, летали

И Лиду хором вспоминали",

рожает, наконец, Мишка. Ишь, голубок. Кошкин ты сын.

Крупнейший курит в форточку и на зов не подходит. Тосты его тоже не трогают. Гранит-мужик, слов нет.

Снова лезет на стену Гоша. Несет уже не чушь, а сюр какой-то:

"Нас Лида здесь не посетила.

Я старый Паш - откуда сила?

Прости меня, о старый Рим.

С лица стираю мерзкий грим.

Один из них, я самый лучший.

Все остальные - глупше"...

Ничего завидного - видеть великого с изнанки. Все молчат над странным текстом. Хоть стой, хоть падай, слов нет. Все - "глупше". Но так быть не монет, это ведь известно. Великий неправ. Он - против всех, почему? Прямо по банальности: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Значит, порицать нужно! Почему же они, матёрые и маститые, молчат и не порицают? Вот так и рождается равнодушие, которого нет ничего страшнее! Ну, если некому, значит - я. Надо только сформулировать... "Вива, Цезарь"? Слишком тонко. Или что-нибудь насчет ног на столе? Гм, недостаточно тонко...

Тут положение выправляет Виктор. Он твёрдой рукой швыряет окурок в туманно-звездную форточку и молча берёт фломастер. Вот нервы: у меня губы дрожат и руки, а он улыбается, как нянечка в детском саду. Берёт черный фломастер, не копаясь, уравнивая композицию, прикладывает свою мощную пятерню с противоположной от рисунка стороны, нежно её обводит и расписывается там, где ладонь.

Аплодисменты.

Хозяин тронут. Он пишет красным резюме:

"Я славлю вас, друзья!

Вы есть, а значит - я".

Пока все волновались, журналист молча и застенчиво переписал творения в блокнотик...

К концу этого развлечения вернулась домой жена матёрого Лидия. Осмотрела испачканную стену, прикинула, каково будет это всё забеливать, улыбнулась приветливо, бросила: "Это здорово" и больше не появилась. Почти сразу вслед за мамой прибыл старший сын, студент-медик-поэт-прозаик-ранний Тарас Шевченко. Мрачно взглянул сквозь строгие очки на испорченные фломастеры, мельком - на стену, в упор - на оробевшего отца, вскользь - на гостей, равнодушно поздоровался и повернулся уходить.

- У тебя фотоаппарат далеко? - потянулся к нему отец.

- Зачем?

- Вот ЭТО снять бы на память. Да и нас...

- Он не заряжен. Я - к себе.

Ушел спокойно и безразлично, слоном.

Всем захотелось на воздух. Стали собираться. Куражился один Гоша. Норовил ещё что-нибудь приписать. Его почти вынес на лестницу крупнейший. Лифт уже не ходил, и Гоша громко возмущался, пока не оказался перед подходящим сугробом. Туда немедленно упал спиной и декламировал оттуда лирику Мандельштама. Его брали за руки, он их манерно отнимал, таинственно спрашивал: "А вот это кто?" и опять читал Мандельштама.

Кое-как подняли. Шаггал он легко, жирафом, совсем не походил на пьяного, только развевалось расстёгнутое пальто и руки балованно болтались.

Пел.

Читал стихи - в основном декаданс:

Возложите цветы на мою погребенную страсть.

Украдите цветы для венка: эта кража - ничто...

Каждый проданный вам - это преданный вами цветок.

И цветы, и любовь не честнее купить, чем украсть...

Спрашивал: "А это кто?" и загадочно хохотал. Делал попытки сесть в сугробы. Удерживали. И вскоре вышло как-то так, что все, ведя культурную беседу, ушли вперёд и безжалостно уходили всё дальше, а я, опасаясь, как бы пьяный не заблудился, шёл с ним. Не столько поддерживал, сколько удерживал. Он же распоясывался всё больше, демонстрируя свою поэтическую исключительность из всех правил и законов. Завидя милицейскую мигалку, закричал, что сейчас мы доедем до гостиницы раньше всех, и бросился на дорогу. Удалось направить его в сугроб. Когда проходили девятиэтажную новостройку, он вдруг кинулся туда. Я ему почти по плечо, а он бежал быстро и легко. Спас опять сугроб, иначе заблудились бы оба среди одинаковых башен. Ещё через квартал он решил взобраться на дерево, чтобы оттуда прочесть лучшие стихи лучших поэтов, а заодно поглядеть, далеко ли до гостиницы.

Когда перешли трамвайную линию, он снова пытался убежать. Ушедшие вперёд стояли в это время на трамвайной остановке, ожидая нас. Они смеялись. На их месте и я, может, смеялся бы...

- Догони его, он же заблудится!

- Да пошел он! - сорвалось.

"Мишка взглянул на меня сурово и пошел к тому дому, за которым скрылся поэт-прозаик. Едва зайдя за угол, начал появляться задом, таща спрятавшегося за рукав.

Я чувствовал совершенное раздражение: час ночи, к восьми на работу, а конца этому бреду не видать.

Однако гостиница стояла уже рядом, брели недолго и у дверей простились: посторонних в такую рань всё равно не пустят. Великий Гоша так по этому поводу возмущался в тамбуре, что вибрировала стеклянно-металлическая перегородка.

Мишка с журналистом поймали такси. С ними поехал матерый. Я, чтобы развеяться, дошел до общежития пешком...

Ровно в десять утра я постучал в дверь того самого номера. Вчерашнее раздражение почти не утихло: странные отношения, странное поведение, нездоровый способ разряжаться.

Они все уже были в сборе. Только на пороге я вспомнил, что надо же было принести что-то на стол. А стол опять полон пива и копченостей. Разговаривают о чём-то знакомом. О ком-то знакомом. О Хейли. Ругают. Правильно.

Пью пиво из чьего-то стакана, загрызаю хлебом, потому что не люблю копченостей. Хлеб вчерашний, полезный желудку. Вяло слушаю разговор, участвую только в смехе. Наблюдаю Гошу. Он трезв, как новорожденный, и чем-то обеспокоен, решается на что-то. Мало говорит.

Матерый рассказывает, какое впечатление произвела расписанная стенка на тещу. Неожиданное. Всё внимательно прочла, спросила: "Правда, все писатели?" и похвалила. Особенно те две строчки о себе. Зря Ал. ее боялся.

Мишка ругает молодую свою жену.

- Не может читать совсем. Страничку прочтёт и - хр-р-р... Я ей так и говорю: "Лошадь ты, корова!"

Слов нет - дурак или негодяй? Развелся и молчал бы... В этот момент Гоша и решается:

- Хотите стихи?

- Твои? - вскидывается матерый, немного ревниво.

- Сегодня под утро написал, - тихо отвечает Гоша и погружает руку в портфель. Легко, не роясь, находит многократно сложенный лист. Когда разворачивает, видно, что вся бумажка исчеркана и исписана. - Не успел перебеливать. Сейчас найду начало.

Он находит начало и читает без запинки, с выражением, без поэтического подвыва, а со страстью, мощно, даже, кажется, грозно. И я понимаю, как прав был матерый, когда говорил, что настоящие стихи невозможно пересказать прозой. В том, что читал Гоша, была игра слов - для словесника, философия - для мудреца, музыка - для целого симфонического оркестра с пронзительным преобладанием скрипок, юмор - для шутника, тоска по неохватному пространству -

для меня лично и что-то ещё, объяснимое только чувствами, то есть совершенно необъяснимое, но требующее от каждого, кто человек, не порхать и не мельтешить у первой свечки, а лететь очертя голову к Солнцу и сгореть в ЕГО огне, чтобы прибавить к свету мира хоть один, но свой, фотон.

Он прочёл и положил свои стихи, написанные с похмелья. Мы на них смотрели и молчали. Он сложил листок и спрятал.

- Да-а, - сказал матёрый, глядя на пену в стакане.
- Да-а, - сказал Мишка и допил своё пиво.
- Да-а, - сказал журналист и отставил стакан.
- Да-а, - сказал художник и сжал кулаки.
- Да! - сказала я и мне захотелось что-то немедленно совершить.
- Получилось, - добавил матёрый.

Больше ничего не говорили. Вскоре мы разошлись.

И вот снова вечер. Пустой вечер опустошенного человека после пустого дня. Во мне пустота. Не звонкая поэтическая, а ватная, какая заполняет голову после контузии. Впрочем, ложь: я ведь не испытывал контузий. Я испытывал только хороший удар на ринге. Вот с ним и надо сравнивать, по Хемингуэю. Нокаутирован чужими стихами и пуст. Нет, почему же чужими? Они теперь и мои. Как только он их нам прочёл, они стали и нашими. Наши Гошины стихи.

Вчера он обижал меня. А сегодня одарил.

Может быть, он и не хотел меня обижать, просто мне казалось, потому что я был так настроен?..

Вот оно: я готов простить ему все свои мелкие обиды. И не потому что завишу как от редактора моего рассказа. О рассказе я как-то и забыл, честно говоря. За стихи. Он и в самом деле велик. Не мог же он заготовить ту исчерканную бумажку заранее, чтобы привезти сюда с собой и всех поразить? А впрочем, почему не мог?.. Нет, не мог! Поверить в то, что мог, значит расписаться в собственной черной, зависти! Да если бы и мог - разве СТИХИ от этого хуже?

Вот так весь день. Я прощал и не прощал великого Гошу, человека Гошу, но поэт Гоша был для меня признанно велик, ибо его стихи, даже заранее заготовленные, были великими стихами. Таких он написал много. А я - один рассказик. Мой ординарный рассказик - юношеская случайность, а его великие стихи - норма.

А может быть, его стихи - непрерывный, скрытый, мучительный - даже в пьяной компании - труд, изнурительные поиски идеи, формы, чего-то ещё, мне неведомого? Может быть, нынче ночью он только из-за этих стихов так капризил, так представлялся - рвал на мелкие куски внешнюю свою жизнь, чтобы уцелела та, которая хрупко возводилась внутри?

Ах, я сделал открытие: если рвать в ключья суету, она не сможет засосать! Можно сказать, открылись все пути... Одна мелочь: научиться этим открытием пользоваться. Лиса с бубенчиком! Велосипед! Давно открыто и изобретено, но бубенчик надо еще повесить, а на велосипеде - научиться ездить. Стало быть, матёрый знает это давно, но мера таланта не выпускает его из "тайги - пурги"? Или не мера таланта, а неорганизованность, слабость воли? Или страх ошибки, риска, слова невпопад, не в тон? Например, так: его забота - удержаться в струе, "на стрелке", а Мишка - пристроился в кильватере и выглядывает, как бы обойти, чтобы из струи не выскользнуть ненароком...

- Старый, главное - понять простую формулу искусства: любовь плюс дружба равняется производительности труда, - это Мишкины слова.

А я? Что такое я? Если уж продолжать математически, то Гоша, скажем, величина в литературе положительная, Мишка - вполне определенно - отрицательная, а я-то - просто ноль. Пустое место. Хуже нет. Недоучка - раз, лодырь - два, себялюб - три. И бездарь - 4,5,6 и до бесконечности.

Что же следует? Элементарно: ничего не желай, где ничего не можешь. Лучше стать приличным журналистом, чем неприличным писателем. Закончить журфак, подняться до областной газеты, работать в какой-нибудь одной отрасли, где ты бог... А первый рассказ пусть будет и последним. Тем более, Гоша обмолвился, что сборник, возможно, будут сокращать из-за нехватки бумаги. Может, готовил нас с Мишкой? Нет, меня одного, пожалуй. Мишка все же - небесполезная бездарь. Они нужны для баланса...

И вот так весь день. Как пошёл после работы бродить по городу, так притащился в общежитие только после полуночи. Закоченевшее тело падало с усталых ног. Опустевшая голова медленно ворочала мозгами: "Я и в комнате лишний. Игорь с Андрюхой ещё не легли, Юрик уже пришел со второй смены - чай пьют, о СВОЁМ говорят. А своё у них - общее, не для меня..."

Они в самом деле разливали чай. Только что заварили. Голова наполнилась его ароматом и закружилась. Нет, ребята, далеко пиву до чая!

- Мужики! - восклицает Юрик. - Борька кралю завёл. Вторую ночь - полночь. А, Борька? Я отмахиваюсь и едва могу раздеться.
- Замёрз, как бобик, - Андрюха ставит мне стакан.
- Любовь - дело такое, - Юрик бросает туда столовую ложку сахара. Знает, что люблю.
- Давай по-быстрому, - Игорь с двух рук льёт заварку и кипяток. - Простынешь.

- Руки мыл?- Юрик смеётся.
- Ему бы сейчас чего покрепче, - Андрюха намазывает мне масло на хлеб. - Хоть пива, что ли? Он вспомнил пиво, а меня мутит, я говорю:
- Нет напиток крепче чая.
- И полезнее, - говорит Игорь, - если с сахаром.

Пьем чай молча, мне хорошо. Вот так - примитивно хорошо. Без литературных вывертов. Я дома.

Я просто дома.

- Когда налили по второму стакану, Игорь переглядывается с парнями:

- Борис, если не секрет, тебе в газете сколько платят?

- Сто тридцать.

- Плюс гонорар?

- В тиражке нет гонорара.

- Как начинающий инженер, - они переглядываются сурово.

- А я так и оформлен - инженером-технологом.

- "Подснежник", значит.

- Слушай, - Игорь очень деловит, - а ты доволен работой?

Я пожимаю плечами:

- В большой газете, конечно, интереснее...

- И денег больше, - подхватывает Юрик. - Что мужику 130 рэ? На один зуб, без мяса суп.

- Ты, может, это, - говорит мне Андрюха, - Понимаешь, ты только не подумай в обиду...

- У тебя есть гражданская специальность? - Игорь конкретен.

- Слесарь третьего разряда. В школе получил.

- Ну вот, - говорит Андрюха.

- Переходи к нам в бригаду, - предлагает Игорь. - Будешь инструментальщиком, денег для начала в два раза больше.

- А писать, - встаёт Юрик, - будешь у них рабкором. Это даже почётнее. Читал, как в областной газете Рыбин выдаёт? Рабкор, токарь.

- И член Союза журналистов, - говорю я.

- Вот видишь!

- Учиться надо, - говорю я.

- Научим! Человеком себя почувствуешь! - Они не поняли.

- Я говорю, в институт надо.

- Заочно, - напирает Игорь. - Смотри, я же учусь. И не помираю.

Нет сил ни спорить, ни вообще разговаривать. Так измотала моя "кряля", что... я б хотел забыться и заснуть - нате!

И я забываюсь. И засыпаю даже быстрее, чем мои замечательные мужики.

Мне опять снится великий Гоша. Он сидит на дереве посреди космоса и что-то пишет на своей ладони, переворачивает ее и снова пишет. На губах нет бритвенной улыбочки, лицо его просто, как у моих мужиков. Под деревом стоит тётя Варя и прижимает палец к губам, чтобы я молчал. Рядом с ней - довольно простецкого вида моя кряля, моя Литература. Она тоже держит пальчик у рта, но по глазам вижу - чего-то от меня ждет.

21.06.84г.

2.

Не пусто я жил двадцать лет назад. Звёздами топил тёткину печку.

Теперь нет ни тёти Вари, ни дяди Бори. Переселил их Создатель в лучший мир.

Они всё так же сняты мне, единственные родственники, которых лично знал. Но уже не в домике посреди космоса. Там они теперь по-настоящему прописаны. Сняты в моей квартире, играют с моими детьми. Не с сегодняшними, взрослыми, а ещё с теми, когда Сашка ходил в среднюю группу, а Наташка - в первый класс. Ещё при советской власти, с которой вместе старики и переехали в космос.

Сегодня, правда, снилось другое. Будто Наташка родила мне внука, а он, едва явившись, требует сочинить ему сказку. Говорю: "Я сказок сочинять не пробовал". А он: "Какой же ты тогда писатель?" И я честно признаюсь, что член Союза писателей и Писатель - вовсе не всегда одно и то же.

И проснулся в на весь день испорченном настроении. А тут ещё надо к четырём часам быть в писательской организации. Да при этом ещё попросили подготовиться к выступлению. Будет присутствовать дама из областной администрации, которая "управляет культурой". Мы должны её убедить, что писорг нуждается в более просторном помещении. А я знаю, что она ответит: "Городские здания находятся в ведении городской мэрии, нам не подчинённой". Нынче как-то никто никому не подчинён, и выходит, что никто ни за что не отвечает. Чтоб всем стало легче, придумано этому название - "нарушенная вертикаль власти". Но нам от этого простору не добавляется, нам негде собираться, чтобы обсуждать проблемы духовного воспитания масс. Теперь уже, кажется, в

духе капитализма. Или что там на дворе нынче? Нам бы самим на дворе не оказаться. Нам, членам Союза писателей России. Или Союза российских писателей? Всё не могу разобраться. Но уже точно не инженерам человеческих душ. Хотя и всё ещё овцам управления культуры.

Не ходить бы туда. Или выступить так: "Не давайте нам помещений. Дайте такое издательство, где можно без спонсоров, без унижений, за одно качество считаться писателем"...

Это тебе не звёздами печку топить.

Правда, сказали, что приехал великий Пашко. Ради него стоит сходить в писорг, даже поучаствовать в пивовозлиянии. И в конце пьянки, наедине - задать ему один вопрос. Праздный, но для меня в чём-то установочный.

Встал я рано, облачился в свой старенький таёжный костюмчик с капюшоном, в тёртые кроссовки местного производства, вынес мусор, потом отправился в парк и, как обычно, побегал, потряс ногами и руками, покрутил головой, чтобы погонять по сосудам влагу. Разогревшись, вернулся домой, принял душ, съел бутерброд с чаем и, пока спала жена, поработал над рукописью.

Я давно уже работаю в стол. Когда-то оно было уделом советских протестников, именовавшихся диссидентами, а теперь так живут самые благонамеренные писатели, не умеющие издаваться.

Что значит - не уметь издаваться, когда издать можно что угодно? Очень просто. Это значит - не иметь денег. Большие тысячи нужны, чтобы любое из множества лиц, имеющих издательские права, сделало тебе книгу. Тиражом в пятьсот экземпляров. На подарки друзьям и на саморекламу: "Сообщаем телезрителям области, что у местного писателя Бориса Букина вышел новый сборник рассказов. На обложке сборника - на обороте - портретик автора и его сердечные благодарности богачам, которые "помогли издать"...

Богачей таких не имею и находить их не умею. Раньше издательские редакторы напрямую требовали украшать художественность идеологией - государственной. Теперь этого как бы не требуется. Даже грамоту делай хоть свою - лишь бы раскошелился "денежный мешок", которому под шкуру ты сумел забраться. Но ведь и у него есть идеология - своя, мешочная. Изволь соответствовать.

Двадцать лет назад Гоша Пашко издал мой первый рассказ. Давно забыт тот сборничек, но я помню слова Гоши: "Старик, это действительно хороший рассказ. Это - литература. Твой жанр. Пиши рассказы, твоё время придёт."

Мы встречались каждый год, по разу, по два, даже по три. Он хвалил мои рассказы, я восхищался его повестями. Он продолжал говорить о приближении моего времени и напоминал из Хемингуэя: "Надо быть точным в своём деле и, когда удача придёт, ты будешь к ней готов".

"Быть точным" для меня означало - быть честным. Я не подстраивался под быстро меняющиеся нравы и течения, писал о вечном, и Гоша меня хвалил. Но он уже не работал в Тайгинском издательстве, ушёл на вольные хлеба, и издавать меня стало некому. Что-то невнятное всё время мешало другим редакторам - может быть, как раз то, что хвалил Гоша. Он наезжал в Томск, я - в Тайгинск. Он давал адреса издательств и журналов, имена своих друзей-издателей и редакторов. Я посылал по этим адресам свои рукописи, в прилагаемых письмах ссылаясь на Гошу, и - не получал ответов. Гоша возмущался и обещал разобраться. Но мы встречались редко и кратко, и в радостной суматохе этих встреч, в захватывающих рассказах Гоши о своих путешествиях и похождениях как-то забывались мои проблемы. То есть, я-то их не забывал, но они - при великом Гоше - становились такими маленькими, что и вспоминать не хотелось. Он - рассекал просторы Евразии и обеих Америк, бывал в Африке и даже в Австралии, говорил там по-английски, а может быть, даже на всех тамошних языках, привозил оттуда потрясающие диковины и невероятные, уже сделанные, сюжеты, а я - сиднем сидел в Томске, говорил только на одном из российских языков, сочинял что-то "о вечном", общечеловечном, и всё это моё бесценное уменьшалось до полного ничтожества в сиянии Гошиной славы, в масштабах его миропредставлений.

"Моё время", давным-давно предсказанное великим Гошей, всё не наступало. А вокруг, в литературном океане, всё сильнее штормило и всё больше мешала ориентироваться поднимаемая со дна густая муть. Многокрасочные, глянцевые, твёрдые обложки с вызывающими названиями и незнакомыми, неуследимыми именами роились, теснились, толкались со всех сторон, затаптывая мои жалкие, мягкие, бесцветные, тонкие сборники, похожие на сухие травинки, случайно свалившиеся в экзотический аквариум. Это было время бойких, не задумывающихся над выбором слов, уличных авторов с уличной речью. Найти среди них то, что мы с Гошей называли литературой, было невозможно. Те самые булгаковские "пять страниц подряд", по которым он брался в момент определить настоящего писателя, мне уже давно не попадались.

За месяц до нынешнего приезда Гоша переслал мне через писорг свою новую книгу. Твёрдая глянцевая обложка, забойное криминально-политическое название под многокрасочной картинкой - пистолет Токарева, розовые колготки и две красные розы на пульте компьютера с простреленным экраном, фамилия Гоши рядом с фамилией незнакомого мне человека - шепнули, это очень богатый криминальный спонсор.

Я прочёл этот роман за ночь. Блистательный Гошин стиль. И кошмарный привкус криминала. Приторная блатная романтика в высокохудожественной упаковке. Мечта пахана. Я читал и

вспоминал "Наследника из Калькутты". Штильмарк тоже писал его в подобном "соавторстве". Только не своей волей, а в сталинском лагере, где иначе он бы не выжил.

Тогда и родился вопрос, который я задам сегодня Гоше. Наедине после пьянки. Надо только не дать ему слишком напиться. На дерево уже не полезет и разума не потеряет, это я знаю, но может притвориться, будто потерял, поэтому надо точно выбрать промежуточное состояние - самый момент истины - и спросить.

Лучшее место, чтобы требовать помещение для писорга - это само помещение писорга. Перегруженные книгами и рукописями стеллажи, шкафы и столы, а также подстолья, подстолья, междушкафья, подоконники и простенки. Излишек картин и фотографий - все с дарственными надписями - на стенах до потолка и на шкафах. Допотопный компьютер рядом с дублирующей его доисторической пишущей машинкой, уже едва пишущей. Негде угоститься даже чаем, хотя без свидетелей эта проблема - самая решаемая.

Однако все наши проблемы властям известны, и нас пригласили не в нашу тесноту, а на расширенное заседание в Дом учёных. Там ещё поддерживается комильфо, поскольку Томск - город науки, а она, наука, получает всё больше поддержки от бизнеса, который становится всё более наукоёмким. Писательству бы так...

Все стены в холле Дома учёных увешаны новейшим сюрреализмом, играет в уголке изысканное струнное трио из филармонии, толпится у картин изысканно небрежная в одежде творческая молодёжь. Расширенное заседание совместят с полувековым юбилеем одного институтского литературного клуба, а потом - занятия по секциям. Вот тогда и надо будет высказываться. В приподнятом, так сказать, настроении.

Я пришёл рановато, успел рассмотреть в подробностях весь вернисаж и к моменту заскучания под Вивальди дождался первого из своих. Конечно, Мишка. Всё так же модно бородат. Издали заметив, долго идёт ко мне, здороваясь по пути со всеми - это в большинстве народ из литературного клуба, а Мишка его очень кстати возглавляет, он тоже юбиляр. Добравшись до меня, простирает руку к одной из картин, самой обширной по площади:

- Как тебе старшенький?

- Не понял, извини.

- Ты серьёзно?! Это картинка Славика Свадьбинского, старшего сына Алёшки.

Алексей Николаевич Свадьбинский ныне самый матёрый из нас. Он возглавляет наш писорг, его пьесы ставят в драмтеатре, его Алёшкой можно звать только за глаза и только Мишке. И доктора Свадьбинского, популярнейшего в городе гинеколога, называть Славиком да без отчества тоже можно только Мишке. Зато и сам он - Михаил Парфёныч только для студентов и пенсионеров из литературного клуба, а для остальных так и остался навек Мишкой, прямо в глаза. Да его это вроде не беспокоит.

Картина Славика - Ростислава Алексеевича - впечатляет, конечно. Вполне абстрактна, но, если знать основную профессию автора, мотивы угадываются. Говорю это Мишке, он прыскает и тут же несёт мою оценку навстречу великому Пашко, который только что появился в холле.

Гоша всё так же худощав и лёгок на ходу, так же остры круглые глазки. Только весь поседел до полной белизны, а глазки остались чёрными, и от этого появилось сходство с голодным белым медведем, надевшим для маскировки серый костюм. Однако белый свитер дополняет сходство. Прикройся лапой, и не видно в снегу.

В сопровождении матерого Свадьбинского белый медведь направляется в мою сторону. Сейчас обязательно скажет шуточный комплимент и бритвенно улыбнётся, как всегда. Вот он останавливается в трёх шагах и протягивает ко мне руки, то ли приглашая меня в объятия, то ли призывая всех всмотреться.

- Вот стоит классик Борис Букин, который ещё ни-че-го не знает!

Это его стиль. Конечно, он меня сейчас осчастливит, как уже наверняка осчастливил остальных. Он каждого может осчастливить совершенно даром, все получают от него по серьгам, и ему это ничего не стоит, ибо он владеет высшей современной ценностью - информацией в полном объёме. Он её сам производит - порукой тому его изумительная работоспособность, подвижность и организованность.

Мы шагаем навстречу друг другу, без стеснения обнимаемся при всех, я спрашиваю о здоровье его учёной супруги Светланы, он передаёт мне от неё привет, а от меня получает флакон с безотказным лекарством, которое я делаю специально для Светланы из одного секретного болотного полукустарника. Лекарство проверено на себе, и Света всегда ждёт сентября, когда наступает время сбора и приготовления чудо-зелья. Мы с ней уже старые друзья. Гоша однажды - может быть, в шутку - сообщил, что она заметила мои особые способности к малому жанру. Впрочем, это было сказано при ней, и она подтвердила, а он тут же изобразил ревность.

Гоша, что называется, на моих глазах, не раз изменял Светлане - на разных семинарах немало начинающих поэтессочек почитают за честь, да оно и в карьере помогает до поры. Но любит он одну Светлану, всю жизнь, ещё с первого курса. Поэтому при виде моего флакона он на несколько секунд

теряет свой загадочный шарм и становится заботливым и благодарным, тем настоящим, к которому я и привязался за двадцать лет.

- Спасибо, старик. Ты её спасаешь, учти это. Она тебя давно любит больше, чем меня. - Это он уже натягивает обратно сбившийся шарм. - Ты научил бы меня делать эту настойку? Ведь не научишь?

Это уже на публику, надо подыграть. Гоше трудно подыгрывать в его шутках: его разговорная реакция - выше боксёрской. Но надо держать удар, и я отвечаю:

- Научить-то нетрудно, ты умный. Но ведь ты на болото при полнолунии не полезешь.

- Да, старик, тут ты прав. Я бы и полез, да вот парадокс - в Тайгинске совсем нет болот. И почему-то никогда не бывает полнолуния.

Там у них действительно начинаются степи, там бегали кони Чингисхана. Может, они и съели полнолуние.

- Зато у меня для тебя сюрприз, - он сразу натягивает на себя деловую серьёзность. - Было совещание российских новеллистов, ты не слышал? - Я, конечно, не слышал. - Решено ежегодно проводить конкурсные семинары имени Чехова. Помнишь, был такой Антон Павлович? Первый семинар намечен на май, - Гоша делает значительную паузу, - в городе Томске! Можешь позвать мне за это руку, потому что это я настоял. Я им сообщил, что в Томске проживает лучший новеллист современности Борис Букин. Старик, я действительно уверен, что приз "Хрустальный Антоша" будет твой. Надо тебе послать в Москву несколько неопубликованных рассказов, до января. Адрес я дам - после всего этого.

Он обвёл "всё это" рукой, задал мне какой-то незначительный вопрос и перешёл к осчастливливанию Мишки. Для председателя литературного клуба-юбиляра у него тоже припасён сюрприз.

Я отошёл в сторонку. Не могу быть в свите, в этом моя слабость. Гоша как-то сформулировал: "Старик, ты так мало публикуешься, потому что мало участвуешь в тусовках. Надо быть на виду". Я отшутился: "Тогда писать станет некогда". Он ответил серьёзно: "Время конкуренции, ничего не поделаешь. Нужна дисциплина. Ты видишь, даже я почти бросил пить". Я воспринял это как намёк на мою бездарность. Двадцать, даже десять лет назад обиделся бы. Но я теперь человек лесной и научился терпеть комаров. Для меня любая тусовка - это, как на ринге, порхание вокруг сильной центральной фигуры в стремлении занять её место. Но пока она на месте, все остальные - свита. В лесу лучше - там все равны, а человек - всех равнее.

Струнное трио наконец умолкло, всех пригласили в большой зал, на чествование нынешнего Мишкиного клуба, в котором делал первые шаги ещё Гоша Пашко, Георгий Свиридович. Теперь он скромно сидел в президиуме, очень внимательно слушал выступавших и что-то иногда коротко писал в блокноте. Я был уверен, что записывал он не высказывания этих праздничных людей, а какие-то свои мысли, с которыми сюда пришёл и с которыми никто не мешает ему быть наедине. Он всегда существует сразу в двух мирах, как тот пушкинский поэт, которого время от времени Аполлон требует к священной жертве. У Гоши весь мир постоянно на жертвеннике, и он всё время что-нибудь препарирует. Или кого-нибудь. Но всегда очень тактично, без злобы. В нём нет злобы. Он называет себя Старым Наблюдателем. Ему всегда нравилось быть старым. Это свойство любого, кто не дурак.

Дают слово великому Пашко. Он говорит просто и замечательно. После его выступления всем хочется творить на благо культуры, без которой от цивилизации остались бы только войны да орудия убийства. В заключение Гоша одаряет литературный клуб сюрпризом: "Губернатор выделил деньги на издание большого юбилейного сборника вашей поэзии и прозы. Нашей с вами". Это означает, что и сам Гоша будет изрядно представлен в сборнике, а из-за этого местным начинающим юбилярам достанется гораздо меньше места, но это они поймут потом, а теперь восторженно хлопают. Под аплодисменты бритвенно улыбающийся Гоша сходит в зал и садится в заднем ряду, поближе к двери, со мной рядом.

- Старик, я устал сегодня ужасно. Давай смоемся?

Вот и повод не выступать и не унижаться перед дамой, которая управляет культурой. Пусть она сидит в президиуме и слушает стихи студентов, а мы потихоньку покидаем зал.

Гоша действительно бросил пить, вот и не хочет оставаться. Под его распахнутым пиджаком заметно, что медведь не так уж голоден - наверно, успел скушать молоденькую нерпочку. Полнеет.

Провожу его до остановки и постараюсь вернуть в разговор свой вопрос.

Но вопрос не вворачивается. Гоша активно интересуется, понравилась ли мне его последняя книга. Я ничего не скрываю, и он грустно соглашается: "Увы, Россия захвачена бандитами. Это надолго". Тут появляется нужный автобус, и он внезапно предлагает: "Хочешь посмотреть, как я у вас устроился?" "В какой гостинице?" Он всегда жил в "Октябрьской", теперь она - "Майская".

- Не-ет, старик! У меня квартира. Поехали?

В его тоне - просьба. Это редкость. Надо ехать.

В автобусе он рассчитывается за обоих, хоть я и настаиваю, что гостю не положено.

- Я, Боря, теперь снова томич. Даже квартиру, видишь, завёл.

У себя в Тайгинске они со Светланой до сих пор живут в двухкомнатной "хрущёвке", зато обоим сыновьям приобрели по квартире, а себе, как я слышал от честных завистников - только автомобиль,

зато "Волгу". Не представляю Гошу за рулём - там ведь невозможно думать, я сам был шофёром. Но великий человек должен быть во всём велик.

У его дома заглядываем в ночную забегаловку, и Гоша берёт плитку шоколада и две бутылки минеральной воды. Вот как!

Поднимаемся на третий этаж. Дом по томским масштабам высотный, только что построенный по индивидуальному проекту, пропахший извёсткой и заляпанный извёсткой по ограждениям и ступеням лестничных маршей, но уже с чёрными коваными решётками, затрудняющими вора́м доступ к дверям квартир, и с железными тюремными дверями на самих квартирах.

За одной из таких дверей и поселился великий Гоша Пашко. В прихожей та же извёстка под плинтусами. Ещё нет смесителя над кухонной раковиной. И столика в кухне ещё нет. Да ничего там нет. Вся мебель - в единственной жилой комнате - диван, два кресла и журнальный столик. За отсутствием вешалки сбрасываем одежду на диван и садимся в кресла.

Здесь Гоша работает, когда бывает в Томске. Без вопросов понятно, что эту заимку организовал ему "соавтор" - бизнесмен. Из тех, которые захватили Россию. Я уже знаю, что этот человек сам не пишет, но многое повидал и здорово умеет генерировать сюжеты. Они с Гошей - идеальный механизм для производства современной литературы.

Многие сейчас не умеют писать пером. Был случай, когда один мой талантливый друг, уже простившись, вернулся через полчаса с полдороги, чтобы отстучать на машинке только что подаренную музой мысль. Я спросил: "Ты что, не носишь блокнота?" Он объяснил: "От руки правильно не напишешь". Начитались Алексея Толстого о "творческом поведении", графские замашки... Великий Пашко умеет правильно писать от руки. Я видел его рукописи. Обычной шариковой ручкой. Или карандашом, если не дома. Да чем придётся, лишь бы гостя-мысль не успела уйти. А уж потом начисто, на компьютере. Сейчас иначе можно работать только в стол, потому что издательства читают предлагаемое только с дискеты. Это не технический прогресс, это разврат. Но кто ему не следует, тот нынче не писатель, а так, кустарь.

Гоша умеет рулить во времени. Ему всё равно, куда оно течёт. У него не зря шкиперская борода.

Мы щиплем шоколадку и запиваем минеральной водой. Это наша, местная вода, она получше "Есентуков" и поэтому носит имя "Омега", то есть дальше некуда, дальше точка. Так шутит Гоша, вода ему очень нравится.

Он рассказывает истории, которые не вошли в его последний роман. Я удивляюсь: как это такие истории могли не войти. А Гоша для того их и рассказывает. Он любит и умеет удивлять. Даже когда врёт, это выходит увлекательно и убедительно.

В следующем его романе герой из Сибири будет ходить по Нью-Йорку. Это нынче обязательно. В самых популярных книгах и фильмах героев обязательно отправляют в Америку. Я это обобщённо называю - "Роман-2" и "Фильм-2". Популярна бандитская тема с выходом на большой бизнес и государственную власть, но с обязательным патриотизмом, похлеще американского. Нам пока плохо, но мы всё равно всех лучше, всех духовнее, у нас огромный потенциал. Гоша рассуждает как раз об этом, но, так сказать, с выходом от печки. Вот он изменяет жене с афроамериканкой на крыше небоскрёба, им светят огни святого Эльма, а Гоша при этом думает так: "Вот погодите, янки, столкнётесь вы скоро с исламом в схватке за мировое господство и сожрёте друг друга. Тогда-то Россия и поднимется в зенит - во всей своей чистоте".

- Старик! России не нужна слава, ей нужна чистота. Вообще, жажда славы - дело нечистое, эгоистическое. Богу вон её приписывают, а зря. Ему нужна чистота, а не слава.

- Но всё-таки, - говорю, - Россию захватили бандиты?

- Ну а как же, - Гоша смеётся. - Бандиты тоже любят чистое. Но они не знают, - он становится серьёзным, - им просто не дано знать, что к настоящей чистоте не может пристать никакая грязь. По определению! Ни к Богу, ни к Аллаху, что одно и то же, ни к России.

На этой духовной вершине самое время помолчать. Мы молчим непринуждённо, мы привычны молчать о великом.

И вот тут, после долгой паузы, уже подсказывающей, что пора прощаться, я встаю, беру с дивана куртку и задаю свой вопрос.

- Можешь не отвечать, конечно, но вот что давно хочу выяснить, сугубо для себя. - Гоша тоже встаёт, провожает меня в прихожую и слушает с острым вниманием, как он слушает всегда. - Зависть бывает чистая, как Россия, и бывает другая. О другой говорить нечего, а вот скажи: чистую ты к кому-нибудь испытывал? Боженька ведь дал тебе всё, чтоб ты вообще не знал зависти...

Гоша впервые не отвечает мгновенно. Кажется, не те у нас отношения и не тот сейчас случай, чтобы отшутиться. Или соврать. Опасаюсь, что он пошло ответит вопросом: "А ты?" Тогда я скажу, что вообще никогда никому не завидовал, но с давних пор держу обиду на Создателя: он явно недодал мне и таланта, и удачи.

Но Гоша ничего не спрашивает. Он вдруг глухо бормочет:

- Извини, старик, чертовски весь вечер болит голова. Второй год болит.

Мгновенно протягиваю ему испытанный цитрамон. Он отходит к столику, возвращается с

бутылкой "Омеги", проглатывает с водой две таблетки и благодарно принимает в подарок оставшиеся.

Прощаясь, задерживает мою руку, чего обычно не делал, и говорит невесело:

- Не подумай, что я ушёл от ответа. Я отвечу. Я просто думал, как это сказать... Видишь ли, мне действительно досталось от Боженьки много. Грех роптать. Я и сам не ленился - Он же всё видит, не даст соврать. Но зависть даётся человеку как лекарство. Она не бывает белой или чёрной. Она существует сама по себе, как стимул к действию. Цвет ей даёт человек. И у меня она тоже есть. Но странная. Виртуальная, что ли... В общем, попроще: я завидую таким людям, как ты. Вашему мужеству...

Когда дверь между нами уже закрывалась, он улыбнулся. Слабо, болезненно, но бритвенно. В чей адрес?

Кстати, об адресе. Уже на остановке вспоминаю, что так и не спросил, куда мне посылать свои рассказы на приз Антоши Чехонте. И Гоша забыл сообщить. Обычное дело. Как всегда.

Не возвращаться же. В конце концов, жажда славы - дело нечистое...

28.12.2001г.

Владимир Шкаликов

"ЧЁРТОВА МУЗЫКА"

Эти двое - мои друзья, поэтому имён не назову. Мы с Художником называем Фотографа Мастером - вот и всё знакомство. Мне имя не потребуется, потому что нет для писателя лучшего отдыха, чем участие в событиях - зрителем. Что-то записать, что-то запомнить, а потом сесть наедине с авторучкой и изложить всё абсолютно не так, как было. И пусть участники и прочие зрители ломают голову: как же они-то ничего не заметили?..

Впрочем, в той истории, что сейчас последует, зрителей, кроме меня, не было. Поэтому можно даже не фантазировать: опишу всё, как было, и - можете не верить.

В обширном ателье Мастера я разглядывал свой фотопортрет, как разглядывают обглоданный рыбий скелетик: можно догадаться, что это был, допустим, жареный карась, но и только: ни съесть, ни на стену повесить. Снимок цветной, только что вытасченный из аппарата. Гибкая полимерная основа с бархатистой матовой поверхностью вызвала, если не всматриваться, даже лёгкое сексуальное вдохновение. Но всматриваться в собственное изображение мне было... Ну, об этом сказано.

- Ты опять меня обглодал, - я со вздохом бросил снимок на стол.

- Ну почему я не писатель? - заревел Мастер восторженно. - Вот же, не думая, мгновенно нашёл слово! А я мучаюсь всю жизнь! Именно ведь - об-гло-дал! О, чертова музыка! Об-гло-дал-л-л! Чудо!

- Нечем восхищаться, - я отвернулся от стола.

- А люди - восхищаются! Ты же на выставке видел! Книгу отзывов читал?

- Извращенцы, вроде тебя. А из твоих моделей никто даже на открытие не пришёл. Почему они не желают тебя видеть?

- Да потому что я их обгладываю, прелесть моя!

- Вот именно. Ты людей навыворот предъявляешь. А кому от этого лучше?

- Миру!! - Он вскочил и воздел руки. - Любая правда улучшает мир! И ничего нет выше!

- Ты умнее всех, конечно, - у меня не было настроения в сотый раз спорить на эту тему, - но для обложки моей книги нужна не эта образина, а человеческое лицо.

- Да это самое человеческое из твоих лиц! - Мастер вдохновился. - Ты только представь: дети берут книгу, видят ТАКОГО и сразу ожидают прочесть что-нибудь злодейское, что-нибудь ужасное. А дети, знаешь, как это любят?

- А прочтут обратное.

- Именно! Эффект обратного впечатления! Не учитесь, дети, доверять внешности! Понял?

- Они подумают, что в моих якобы добрых сказках скрыто тайное злодейство. Мне этого не надо.

- Ты - тупица! - Он опять воздел руки и забегал по просторам ателье. - Как ты стал писателем с такой убогой фантазией?

Огромный, толстый и бородатый, он гремел эхом от стен и экранов, сотрясая голосом плафоны и юпитеры, топал ногами и задевал мебель - ту, которую безопасно было задевать. При всей своей неуклюжести он инстинктивно никогда не ломал ничего фотографического.

- Плевать, - ответил я спокойно. - Философы вроде тебя лишь различным образом объясняют, а мне нужен просто хороший снимок на обложку.

- Да этот снимок, - он схватил со стола мой скелетик, - украсит любую обложку, дубина!

- Только не детской книги, идиот! - Я всё же потерял терпение, вскочил и бледно закричал на него, не потревожив ни одного плафона.

В эту секунду кто-то громко крикнул: "Брейк!", плафоны задребезжали, один юпитер моргнул, и между нами возник Художник.

- Беседуете в боксёрских стойках, - констатировал он, садясь, и упёрся ладонями в наши животы.

- Обмен мнениями при помощи жестов. Отчего?

- Да ты посмотри! - пожаловались мы хором, и пришлось подождать, пока он прохочется и возьмёт в руки мой так называемый портрет.

Созерцание длилось недолго. Художник бросил портрет и поднял ко мне непривычно суровое лицо:

- А чего ты здесь ожидал?

- То есть? - уточнил Мастер с надеждой.

- Чего от тебя может ожидать нормальный человек? - обратился к нему Художник. - Чего, кроме изнаночных пыльных швов и шрамов на поверхности потаённой души?

- Ах, вот ты за кого, - Мастер швырнул под себя вертящийся табурет и с обиженным видом кое-как на нём устроился.

- Я не за кого, - отвечал Художник бесстрастно, - я за красоту человеческой природы...

- Лакировщик! - перебил Мастер, простирая избличающий перст.

- Зато мои модели на меня камень не держат.

- Потому что трус и подхалим!

- И это ложь, - Художник был холоден. - Никогда не писал тех, кто мне не симпатичен. Вот и его, - он указал на меня, - и тебя даже... А ты - никогда никого не снял добрым глазом.

Мастер мигом успокоился, раздумал спорить, азарт сошёл с круглой его физиономии, зоркие глазки блаженно погасли, кудлатая голова медленно и важно закивала.

- Ты, - продолжал Художник, - даже самого себя ни разу не снял с любовью.

Глазки вспыхнули протестом.

- Стоп! - Мастер поднял руку. - Теперь внимание! Теперь не перебивать и открыть уши, ибо об этом предмете рассуждать с такой лёгкостью непозволительно.

Художник пытался возразить, но Мастер был неумолим.

- Слушать молча! Я буду говорить о любви!

Он оглядел нас сурово, чтобы убедиться, что бунт подавлен, и начал:

- Что за чёртова музыка: их уже двое, а меня опять не понимают?! Да ведь только из любви к человеку, из поклонения чистоте душевной снимаю я вашу идиотскую, проклятую изнанку! Это же исповедь! Только не сами вы исповедуетесь, а я извлекаю на свет ваши грехи! Чтобы вы увидели себя не в масках, а гнилым нутром наружу. Чтобы устыдились, испугались, раскаялись и этим очистились! Вы только оцените: даже одного слова от вас не требуется - всё на виду!

С минуту после этих слов мы молчали.

- Из любви, значит? - сказал наконец Художник. - Насильственная любовь, насильственная исповедь...

- А хотя бы и так, - Мастер совсем успокоился и явно чувствовал себя на коне. - Ведь, увидев со стороны своё гнусное нутро, ты захочешь стать лучше?

- Да, - Художник кивнул. - Но при этом мне захочется сначала убить тебя.

- Несомненно! - Мастер совсем развеселился. - И я к этому готов. Но это - не главное. Истина - дороже. А истина очищающая - многожды! Выше Человека, выше Бога, может быть! Истина и есть Любовь. Неужели не понимаешь?

Художник стал вдруг бледен. Он сжал кулаки, медленно встал, взял со стола большую отвёртку, примерил к ладони, будто для драки, потом тяжёлым ударом всадил её в стол и отошёл от нас, уронив стойку с зеркальными лампами. Хлопнули колбы, зазвенело стекло.

Мастер зарычал и начал подниматься, но мне удалось его удержать.

- Сиди, - сказал Художник сдавленно. - Лучше сиди.

- Что с тобой? - спросил я, продолжая удерживать Мастера.

- Ленка, - сказал Художник тем же голосом. - Моя Ленка в петлю сегодня лезла. Хорошо - успел.

Мы оба оторопело молчали, и он продолжал:

- Ещё когда этот... великий фотограф... сделал мой портрет да ещё в витрине выставил... Она меня чуть не бросила...

- Так витрину тогда всё же ты разбил, - уточнил Мастер.

- Заткнись, - холодно сказал Художник. - Я тогда всё сделал молча, как другу... Но ты не понял... Ты и Ленку подкараулил. И тоже выставил в витрине...

- Потому что - удача, - был ответ.

- А я не обратил внимания, — вырвалось у меня.

- Уже не обратишь.

- Опять разбил витрину?!

Мне стоило многих сил удержать Мастера на табуретке.

- Ты, душелюбец, толкнул её в петлю, - Художник, сдерживая себя, говорил безразличным тоном, как робот в кино. - Если бы я сейчас тебя одного застал... Я загадал... Но повезло тебе. Второй раз...

- Две витрины испортил, - Мастер под моими ладонями ворочался и рычал. - Тебя самого убить надо. Х-художничек... Да вы оба хоть немного представляете, что такое искусство?

Странно: его совершенно не обескуражило сообщение Художника. Он почему-то даже торжествовал.

- Впрочем, откуда вам знать, - продолжал он. - Вы оба - ремесленники.

Поскольку роль участника событий меня по-прежнему не привлекала, я поспешил воспользоваться поводом и увести разговор от насилия:

- Может быть, возьмёшь да и просветишь? А мы сядем да послушаем, а?

- Хотите слушать - садитесь, - сказал он насмешливо. - А не хотите - выметайтесь. У меня съёмка скоро, а этот лампы разбил. Надо теперь свет заново ставить.

- Послушаем? - предложил я Художнику.

Он молча сел прямо на стол.

Я не без усилий вырвал отвёртку, забросил её в ящик и на всякий случай сел рядом с Художником.

- Поскольку времени мало, - начал Мастер, - лекция будет короткая. Слушайте и просветляйтесь. Начну с того, что Мастером вы называете меня неправильно. Просто принято говорить - "фотомастер", я и терплю. А вообще из нас троих художник - один я. А кто вы - сейчас поймёте.

Штука, ребята, в том, что художник отличается от нехудожника так же отчётливо, как искусство отличается от ремесла. Искусство делают художники, их метод - фантастика. Ремесло же делают мастера, их метод - реализм. То есть, мастер натуру отражает, а художник использует её как повод, не более. Мастерство - вершина любого труда. ЛЮБОГО. Мастерами - становятся. А художником можно только родиться. Искусство, художество - это не профессия, это ОБРАЗ ЖИЗНИ. Искусство и ремесло - это самостоятельные и равноценные направления человеческой деятельности. В чистом виде чаще встречается ремесло. Старательный ремесленник может стать мастером. Художник - ДОЛЖЕН стать мастером, иначе из него вообще ничего не получится. Но из художника может получиться ТОЛЬКО художник. Или никто. Если художник - усилием воли - сделается ремесленником, он перестанет быть художником. Или не сможет стать ремесленником - если искусство окажется в нём сильнее воли... Но воля нужна одинаково и в ремесле, и в искусстве - это даже вам должно быть известно. Без неё ремесленник не станет мастером, а художник не освоит ремесла, и получится из него в лучшем случае критик... Я сказал всё это к тому, что не может быть места в искусстве всяким Ленкам или Веркам. Моя Верка, между прочим, сбегала от меня по той же причине: самый лучший из моих портретов был с неё. Так что же мне - бросить искусство? Бросайте вы, если можете. И убирайтесь к вашим Ленкам и Веркам. А меня убейте. И на всех углах кричите, что вы - художники. Вот так. Вопросы есть?

- Чёрт с тобой, скотина, - молвил Художник, слезая со стола. - Я больше не желаю тебя знать. Пусть твой талант останется сильнее тебя. Но помни: талант ДОЛЖЕН творить добро. А твоя злая воля, в которую превратилась твоя любовь, теперь уже, наверно, и не способна к добру.

- То есть? - Мастер прищурился.

- То есть, ничего, кроме уродливой изнанки, ты больше снять не в состоянии.

- То есть как?

- А так же, как невозможно на чёрно-белой плёнке получить цветное изображение, Теперь понятно?

Мастер тяжело засопел, весь раздулся и вскочил, нет, взлетел с табуретки, оставив её бесшумно вертеться. Он улетел в угол и вернулся со своим новым аппаратом, способным за несколько секунд выплюнуть готовый цветной снимок, без всяких бачков, ванночек и тёмных комнат.

- "Поляроид"! - Он что-то там крутил и стремительно пристраивался передо мной. - Последнее слово! Сейчас этот выродок получит для своей сопливой книжки такой леденец, какой ему хочется... Добренького... Сладенького... Со слезой... Со слюной...

Мигнула вспышка, последнее слово фотоискусства зажужжало, и из него поползла карточка. Мастер даже не стал в неё заглядывать, а сразу протянул мне и отвернулся от нас обоих.

- Подавись! Могу даже подписать: "Ремесленнику от Художника".

Вцепившись с двух сторон в портрет, мы с Художником рассматривали его с минуту, потом переглянулись и дружно выронили на стол.

- Ну-у? - был торжествующий вопрос.

Мы дружно толкнули к нему по столу оба снимка - старый и новый.

- Попробуй-ка их сам отличить, - процедил Художник, как мне показалось, даже с сочувствием.

Мастер, ухмыляясь, поставил "Поляроид" на стол и начал сличать снимки. Он делал это долго, даже включил свет у себя над головой. Потом с искаженным лицом зарычал: "Чёртова музыка!" - и ударил по аппарату кулаком.

В "Поляроиде" что-то хрустнуло, мигнуло и зажужжало. Было совершенно очевидно, что дорогая, напичканная электроникой иностранная камера испускает последний вздох.

- Жаль машину, - сказал Художник.

- Кретин заморский! - Лицо Мастера всё ещё было искажено яростью. - С этой полупроводниковой начинкой ничего порядочного не сделаешь. Вот я сейчас...

Он сорвался с места, улетел к дальнему шкафу и стал рыться в ящиках.

Мы тем временем удивлённо пялились на заморское чудо. "Поляроид" перед смертью успел сделать ещё один снимок и теперь выталкивал его со скрипом и писком. Я пододвинул аппарат к себе и потянул за край снимка. В руке оказался портрет Мастера. Я впился в него глазами.

- Боже мой, - прошептал над ухом Художник, - что будем делать?

Со снимка лучилась прекраснейшей, милейшей улыбкой наш бородатый убийца фотоаппаратов и потрошитель человеческих моделей. Брошенный женой, но всепрощающий. Сделавший любовь к людям орудием расправы, но раскаявшийся.

- Вот я сейчас, - слышалось из угла бормотанье, от которого мигал над Мастером красный лабораторный фонарь. - Вот я найду мой старый "Зенит", и вы увидите, что может сделать мастер, который художник...

- Что будем делать? - повторил Художник, не отрывая взгляда от удивительного портрета. - Ведь он повесится, если это увидит...

Владимир Шкаликов

ЩЕЛЧОК

Виктор Сергеевич распахнул скрипучую дверь учительской, но входить не стал, только усмехнулся. На скрип подняли головы все, кто был в комнате. Сразу раздался иронический голос:

- Заходите, товарищ писатель, что же вы?

Виктор Сергеевич качнул головой и встретился глазами с молодой дамой своего возраста, которая уже вставала из-за стола. Интимно кивнул ей и скрылся за дверью.

- Мария Викторовна, - сказал уходящей тот же иронический голос, - верните нам единственного мужчину.

- А директор вам - не мужчина? - спросила она от двери.

- Директору пол не полагается, - ответили уже в дверь.

Уроки в первой смене закончились, а во второй Мария Викторовна была свободна.

- Ты хорошо пришёл, - сказала она Виктору Сергеевичу. - Успеем пообедать.

- В школьной столовой?

- А почему нет? Отвык за год?

- От этой привычки не отвыкают. Пошли, у меня новости. И такие, что лучше на сытый желудок.

В столовой во время пересменки сидел один директор. Он обедал и холодно кивнул на поклон вошедших.

- О, кто пришёл! - Виктора Сергеевича сразу узнала раздатчица. - А сегодня как раз ваш любимый гороховый суп. - Наливая, тихонько спросила: - Ну, как без школы? Возвращаться не собираетесь?

И покосилась на директора, который мог читать по губам.

- Он у нас не прыгает вполтину, - ответила за мужа Мария Викторовна.

Они сели подальше от директора и так, чтобы он видел Виктора Сергеевича только со спины, а Марию Викторовну из-за этой спины не видел вовсе.

- Он бы тебя назад не взял, - сказала Мария Викторовна. - До сих пор на меня косится.

- Ничего, Манюша, скоро перестанет. Ты уходишь из школы.

- С ума сошёл! В начале учебного года!

- Да всё за нас. Класс у тебя новый, расставаться не жалко, а я замену нашёл. Тут друга перевели служить в Томск, а у него жена как раз словесница. Уже договорились, она завтра сюда придёт.

- Ну и куда же меня?

- Со мной, конечно. Куда ж тебя ещё? Вот слушай:

Две пары колёс увлекают меня к горизонту.

Пространство несётся навстречу с презрительным свистом.

На тормоз не нужно давить. И на газ - бесполезно.

Но скоро авто обретёт под обрывом опору.

- Последние шофёрские стихи, как я понимаю. - Мария Викторовна опустила ложку и некоторое время смотрела на мужа молча. Потом медленно сказала: - Да-а-а, в восьмом классе ты писал о других полётах. К Венере, кажется?..

- К Венере я собирался на втором курсе, ты всё забыла. В восьмом классе я собирался лететь куда угодно, лишь бы с тобой.

- А вот это, с обрыва - тоже со мной? Очень мило. Дошёл. Докатился. Говори.

- Как видишь, за баранкой не могу больше. Некогда думать, хоть и проще, чем в школе. Поэтому теперь не лететь, а летать. Туда, где голова совсем свободна. Раздолье для филолога. Догадалась?

- Всё-всё, не интригуй больше. Я от таких вопросов тупею. Куда летать, что делать?

- На вахту. Знаешь, что это такое? Две недели там, две - дома. И платят впятеро.

- Но, Витюша... Там же добывают нефть... Или на лесоповал?

- На нефть, на нефть!..

- Но мы же не умеем.

- Научат, какие наши годы...

- Ну, хорошо, ты - химик. Может, тебя возьмут. Но мне, филологу, что там делать?

- Ладно, больше не интригую. Есть курсовой комбинат. Занятия начинаются через неделю. К декабрю получим корочки операторов НПС - и сразу залетаем.

- НПС - что это?

- Ну-ка, ну-ка, филолог?..

- Нефтеперерабатывающая система какая-нибудь?

- Почти угадала. Нефтеперекачивающая станция.

- И что же там делают операторы?

- Посматривают на приборы и записывают показания. Если поломка - что-нибудь отключают и вызывают ремонтников. Это для девочек работа, мне так сказали, когда записывался.

- А-а-а, хочешь с девочками...
- И с тобой.
- Так ты меня уже записал, что ли?
- А ты думала... Такая запись - раз в год. Наш с тобой возраст - уже предельный.
- Фи, Витюша! Как не стыдно напоминать женщине о возрасте!
- Ну не наш, только мой... Так что? Зря старался?

Мария Викторовна перестала улыбаться и чуть сместила голову, чтобы не видел губ директор, который давно отобедал и теперь откровенно за ней подглядывал.

- Ах, Витюша, зачем ты спрашиваешь? Колька с Лилькой растут, кормить надо, одевать. Сама уже забыла, когда что на себя покупала... Да всё это переговорено сто раз. Дети, в общем, уже не маленькие, без нас две недели управятся. Ты, поди, уже и поговорил с ними?

Виктор Сергеевич кивнул мрачновато.

- Обрадовались свободе, - Мария Викторовна догадалась по его усмешке. - Придётся латать прорехи в воспитании.

- Воспитание заканчивается к десяти годам, - возразил муж.

- Воспитание никогда не кончается, Витюша.

- Педагогика мужская и педагогика женская, - Виктор Сергеевич улыбнулся. - Вот и сравним...

Стало быть, решено?

- К девочкам одного не пущу, - Мария Викторовна тоже улыбнулась. - К тому же эти твои стихи из летящего авто вызвали у меня ужас, признаться. Надо менять образ жизни.

Она поднялась, начала собирать посуду.

- Я не только шоферить, я и стихи брошу, - мечтательно протянул Виктор Сергеевич. - На прозу презренную перейду. - Он тоже встал и внезапно погрузнел. - Знаешь, скажи им ты, я не смогу, мне жалко.

- Студию бросать не надо, - сказала на ходу Мария Викторовна, отворачиваясь от глаз директора. - Скажем просто, что изменяется расписание. Между вахтами, раз в месяц... Согласись, Витюша, талантам надо помогать...

- Бездарности пробьются сами, - продолжил Виктор Сергеевич. - Как я, да?

- А я тебе, что же, не помогала? Кто учил ямб от хорея отличать?

- Да вы, вы. Ты и Пушкин. Вся жизнь от вас терплю.

Они сдали в мойку посуду и под взглядом поднявшегося директора вышли из столовой.

- Он нас проследит, - сказал Виктор Сергеевич.

- Да он знает, где занимаемся.

В школьном актовом зале, высоком и гулком, перед первым рядом кресел стояли два стула и стол. На креслах уже вертелись тринадцать девочек и два мальчика.

Даже постороннему бросилось бы в глаза живое равенство вертящихся, хотя старшим было уже лет по 16-17, а младшие учились не выше пятого класса.

Юные дарования так вертелись, потому что жарко что-то обсуждали. Увидев учителей, замолкли сразу, только самый маленький громко сказал:

- Вот!

- Что "вот", Михаил? - Виктор Сергеевич отодвинул стул для дамы и сел рядом.

Маленький Михаил коротко взглянул на самого старшего из ребят и отрезал:

- Петька вам подражает. - Снова посмотрел на старшего. - Прочти, прочти!

Петя Башков посмотрел на свою соседку, его же возраста русую дурнушечку с чудесными синими глазищами. Она в ответ ясно улыбнулась и пожала щуплыми плечиками.

- Так сразу и начнём? - Петя повернулся к учителям.

- Уже начали, - Виктор Сергеевич улыбнулся. - Давай, что нового?

Петя раскрыл свою тетрадку и подал её малышу:

- Читай на выбор.

Тот ухмыльнулся, тоже взглянул на синеглазую старшеклассницу и прочёл без выражения:

- "Рублёвая монетка на земле. И вверх орлом. Могу купить немало. Ну, например, автобусный билет. А если повезет - проеду зайцем". - И тем же невыразительным тоном пробормотал: - По форме - без рифмы и по размеру - подражание Виктору Сергеевичу. А по юмору - подражание Наташе.

И снова - исподлобья - взглянул на синеглазую. Она возразила:

- Но я не пишу стихов. Поэт не может подражать прозе.

- Ты врёшь, - сказал Михаил со страхом и печалью. - Может. Вот, слушай дальше. "Хотя бы раз повесь на место звёзды. Опять чадит нечищенный вулкан. Природа походила бы на свалку, будь я таким хозяйственным, как ты". Это он кому такое пишет? Тебе?

- Почему мне? - Наташа опустила голову. - Я чищу свои вулканы. И звёзды всегда вешаю на место.

- Он твоим сказкам подражает! - Михаил уже не мог говорить без выражения.

- Он не подражает, - Наташа уверенно защищала одноклассника. - Он отвечает. Многие литераторы вот так отвечают друг другу. Вы это ещё будете проходить.

- И подражают, да? - Малыш стал совсем ядовит, хоть и выглядел беспомощно.

- Пушкин тоже немного подражал Байрону, - сказал сам критикуемый.

- То Пушкин, - не сдался Михаил.

- А то Байрон, - подхватил весело Виктор Сергеевич. - Прекрасный спор, из которого может последовать жуткий вывод: всё уже написано, нам не оставили. Как будем жить?

- Всё очень просто, - Наташа подняла на него грустные синие глаза. - Кто может не писать, счастье его, пусть не пишет. А кто не может, тому деваться некуда.

- Петя может! - Михаил отрезал уверенно. - Он пишет просто из-за кое-кого, чтоб сюда ходить.

- Вот послал бог соседа, - Петя вздохнул, дал Мишке подзатыльник и отобрал тетрадку.

- Ага, - вспыхнул тот, - критику притесняешь! Мы это как раз проходим! Будет дуэль!

Стало весело. Эти ребята любили друг друга и потому не щадили во всём, что касалось творчества. Так учила на уроках Мария Викторовна и того же требовал на литературной студии её муж, известный в городе поэт.

Началось обычное занятие, которое здесь по-модному называли тусовкой. Из тетрадок, специально для этого заведённых и обязательно разрисованных цветными иллюстрациями, а то и прямо из официальных учебных конспектов по химии или географии зачитывались новые стихи, зарисовки, рассказы, родившиеся за последнюю неделю. Все эти сочинения, именуемые здесь НБД (ниспосланиями божьего дара), обсуждались почти без участия взрослых, которые были нарочито скупы на реплики, и это всех устраивало. "Свободное общение равных", "праздник духа", "фейерверк разума" - так и ещё по-разному называл эти тусовки Виктор Сергеевич. Главное в том и состояло, чтобы праздники происходили сами собой. Потому и не брал он денег за студию, хотя директор благородно предлагал каждый раз при встрече, даже после ухода Виктора Сергеевича из школы.

Последней, как всегда, читала свою новую сказку Наташа.

Её лидерство по части НБД признавал даже Михаил.

Сказка называлась "Дупло". Её рассказывали две птицы. Сначала одна из них описывала своё пробуждение, вылет из дупла, высокий взлёт поближе к солнцу, песни до самой темноты и - пару слов о мошках, глотаемых во время пения. Потом другая рассказывала, как с заходом солнца она бесшумной тенью выпадает из своего дупла и всю ночь славно охотится то в лесу, то в поле при луне, съедает то мышку с кочки, то птичку с ветки, а то и зайчонка из кустов и хлопает своими бесшумными опущенными крыльями только когда промахивается. Конец сказки был, как всегда, неожиданным: "Вот и живут они в одном дупле - жаворонок и сова. Не встречаются никогда и встречаться не хотят. Даже не знают друг друга. Оно и лучше, правда?"

- Последняя фраза не нужна, - заявил сразу Михаил. - И так ясно, что лучше.

- Учтём, - сказала Наташа. - Подумаем.

- А вообще сильно, - сказал Михаил. - Мои родители живут точно так.

Наташа накрыла ладонью его вихрастую голову, и маленький критик вдруг стал похож на ёжика, решившего сделаться котёнком...

Когда пришло время расходиться, Наташа и Петя задержались у двери.

- Мы хотели кое-что спросить, - сказала Наташа. Тон у неё был такой, что взрослые переглянулись.

- Заприте дверь, - сказал Виктор Сергеевич. Петя повернул в двери ключ, и парочка вернулась к столу. - Садитесь, коллеги, - предложил Виктор Сергеевич и вдруг извлёк из своей сумки бутылку кагора.

Коллеги переглянулись и сели, а он достал четыре фабрично завёрнутых стакана, разорвал клеенную упаковку, отдал посуду жене, чтоб помыла в раковине за сценой, и ловко выбил из бутылки пробку.

- Сначала, ребята, кое-что скажу я. А вы это передайте студийцам. Наши занятия пойдут скоро по другому расписанию, - он положил на стол блокнот и авторучку. - Сюда запишите ваши телефоны. Мы вам будем сообщать.

- Так ведь Мария Викторовна, - начал Петя, - на занятиях...

- Она уходит из школы, да? - перебила Наташа. Виктор Сергеевич кивнул и пододвинул к ней блокнот.

- У них нет телефона, - Петя взял ручку. - Звоните мне.

- А... куда же?.. - Наташа недоспросила, но Виктор Сергеевич понял.

- Сначала немного поучимся, потом - на вахту. Знаешь?

- Да. Мой старший брат там на бульдозере...

Мария Викторовна принесла стаканы и извлекла из сумки шоколадку.

- Шикарно, - сказал Петя. - Обмоем ваш уход.

- И ваш приход, - добавила Мария Викторовна. - Вы оба всерьёз пришли в литературу.

- Это дело, как видите, неблагодарное, - Виктор Сергеевич разлил вино по стаканам и сразу поднял свой. - Так что, за ваш героизм.

- И за ваш, - Петя взял стакан. - Вы ведь из-за этого - на вахту?
- Из-за этого.
- И вдвоём, - сказала Наташа, чокаясь с учительницей.
- О чём вы хотели спросить? - Мария Викторовна попробовала вино и зажмурилась от удовольствия. - Впервые пью с учениками.
- Явно не о литературе, - Виктор Сергеевич опередил учеников. - Скорее о ревности Михаила, да?
- Я его с пелёнок знаю, - сказал Петя, кивая. - Мы ведь соседи, дверь в дверь. Дружим семьями, все праздники вместе... Он ревнует, конечно. Только ещё не разобрались: то ли меня к Наташе, то ли в неё влюбился.
Наташа загрустила.
- Мы вот что хотели спросить, - Петя от вина не изменился, остался таким же хладнокровным и рассудительным. - Вот вы вдвоём всю жизнь, со школы, так?
Взрослые кивнули. Петя подзарядился взглядом от Наташи и продолжал:
- ЭТО трудно?.. Вы понимаете, о чём я?
Взрослые разом посмотрели на Наташу. Она подняла глаза и кивнула.
- Понятно, - сказал Виктор Сергеевич. - Обычно женщине в ЭТОМ труднее. - Повернулся к жене. - Ты им и ответь.
- Есть, - Мария Викторовна улыбнулась мужу. - Только вот что, ребята. Здесь небольшая провокация. Кто думает, что именно ему труднее, тот с порога не прав. На таком подходе семью не построишь и не удержишь. Я, наоборот, считаю, что труднее - ему. И стараюсь помочь. А если сам начинаешь требовать помощи, понимания, привилегий, тогда всему конец. Семья - бесконечная цепь взаимных уступок. Притом добровольных, с опережением. Иначе один становится рабом, другой - господином... Вы - об этом?
- Притом в любви, - сказала Наташа, - раб счастливее господина.
- Только всё должно быть естественно, - сказал Виктор Сергеевич. - Без самонасилия... Любовь - особый вид храбрости.
- Например, уступить первым, - сказал Петя.
- И, чтобы вместе не было серо, желательны общие интересы, - сказала Мария Викторовна. - Вот как у вас с Наташей. И не только в чём-то одном. И чтобы без соперничества.
- Ох, как много, - Наташа покачала головой. - Прострация.
- И это не всё, - сказал Виктор Сергеевич. - Самое трудное - повороты. Как? Как на железной дороге: жизнь переводит стрелку, надо следовать по другому пути, а страшно, да ещё рядом - вторая судьба, не сломать...
- Это он опять с провокацией, - Мария Викторовна засмеялась. - Ну какая вторая может быть судьба? Только одна на двоих. Но и решать - только вдвоём. Щёлкнула впереди стрелка, надо по новому рельсу, а тут один выскакивает и начинает стрелку переводить обратно. А поезд уже на неё въехал...
- Так точно, - сказал Виктор Сергеевич и разлил по стаканам остатки вина. - Давайте выпьем за тех, кого любим.
- И за тех, кто вас любит, - раздался голос со сцены. Из-за правой кулисы появился директор школы. Ключ от вечно запертой второй двери, ведущей из коридора за сцену, он держал в руке.
- Картина называется "Не ждали", - продолжал он мрачно. - Последняя сцена из "Ревизора". Так, Мария Викторовна? - И говорил дальше, не ожидая ответа: - Свободные люди искусства. Монмартр де Пари. Конечно, конечно, в свободное от работы и от учёбы время. Однако - в стенах. В этих стенах - не положено. Да ещё в такой недозволенной, антипедагогичной компании. Конечно, Мария Викторовна теперь свободна от работы в этой школе. Вы, Виктор Сергеевич, надеюсь, тоже, окончательно, сами понимаете. А вы, детки, когда помоете посуду, будьте любезны - ко мне. Прошу участников попойки очистить помещение.
- Не пропадать же добру, - Виктор Сергеевич осушил свой стакан.
- Такой тост тем более, - Петя быстро последовал примеру. Дамы сделали то же самое, забрали у мужчин стаканы, вскочили на сцену и прошли за кулисы мимо директора, обдав его своим дыханием.
- Эх, мужики, - вздохнул директор. - С вами сам запьёшь.
- Знали б, что зайдёте, оставили бы, - сказал Виктор Сергеевич.
- Тем более, такой повод, - сказал директор. - Я ещё в столовой всё разглядел. Могли бы на прощанье и в самом деле пригласить. Причастился бы с богемой. Лучше ведь друзьями расставаться.
- Извините, Игорь Иванович, - Мария Викторовна остановилась рядом. - Ещё не старые, будем исправляться. Спасибо вам.
- Пока не за что, - усмехнулся директор. - Я вам заявление ещё не подписал. Но было ясно, что подпишет, и Виктор Сергеевич решился:
- Студию-то хорошо бы сохранить, - Игорь Иванович. Пусть не со мной, но ребятам надо

продолжать. Таланты...

- Эх, в детстве все мы таланты, - вздохнул директор. - Куда оно потом девается...

- А быт заедает, - сказала вдруг звонко Наташа. - Затягивает глаза бельмами.

Директора передёрнуло:

- Сказочница! Что за жуткое сравнение...

- Это для взрослых, - она смотрела в упор и была красива.

- И не сказка, - добавил тихо Петя.

- Оборони вас бог от этого, - директор тяжело вздохнул. - Ладно, таланты, по домам... Виктор...

Студию надо сохранить, конечно. Вашу стенгазету читать интересно... Уже подумали о расписании с учётом вахт?

Старшие нарушители переглянулись и кивнули.

Прошло пятнадцать лет.

- Прошли, как мелькнули, - сказал Виктор Сергеевич. - Ещё не старик, а уже оформляю пенсию.

- Как не стыдно, - сказала Мария Викторовна. - Такие намёки... Я-то уже пенсионерка.

- Северный стаж, - сказал Виктор Сергеевич. - Но я не об этом. Если б не вахта, время шло бы вдвое медленнее. Странный феномен. Едва успеваю что-то сделать на вахте, едва успеваю - дома...

- Зато мне кажется, что я и старею вдвое медленнее, - сказала Мария Викторовна. - За что вахтовикам такие льготы?

- Сама знаешь: за излишнюю раскачку биологического маятника. Умрём с тобой раньше, но зато молодыми, на бегу, на лету! И в один день! Чем худо?

- Витя, ты остался поэтом. Может, зря ушёл в прозу?

- Поэзия, мать, это не вид, не род и не жанр. Это - состояние души. Ну, не стал знаменитым прозаиком, но в Союз-то писателей приняли. Значит, толк от меня есть, И похоронят за счёт бюджета. Семье - прямая выгода.

- Замолчи, не каркай! - она хлопнула его по лбу. - Лучше расскажи, как там в школе.

- У внука порядок, на компьютере обучается. Всего одно слово в тетради по информатике, ещё печатными буквами, зато какое - КУРСОР! Ты знаешь, что такое курсор?

- Кажется, такая чёрточка на экране, да?

- Эх, ты. Давно б научилась, перегоняла б мои рассказы на дискеты, быстрее нашёлся бы издатель...

- Витюша, ты же знаешь, я компьютера боюсь. Он умнее меня. Давай я просто буду вкуснее готовить, ладно? Расскажи лучше, как там Петя и Наташа.

- Не Петя, а Пётр Анатольевич, завуч начальных классов. И сам один класс ведёт, успевает как-то. Притом говорят, что у него особый талант, и он им пользуется в личных целях: умеет с одного взгляда определять самых послушных и набирает свой класс только из таких. Бред, да?

- А на самом деле?

- На самом деле он берёт их Наташиными сказками. У неё их больше двух сотен, на все случаи жизни. Он и строит все уроки на сказках. Дети сидят с открытыми ртами и всё усваивают в один глоток.

- А Наташа на уроки к нему ходит? Сама читает?

- Зачем? То сказки писать, а то - учебный процесс. Она по издательствам ездит, по конгрессам педагогическим. Теоретик, в общем. Но с хорошей производственной базой.

- А как Михаил?

- В порядке. Три месяца был в автономном плавании, вот и не писал. На днях прислал новые стихи. Океан располагает...

- А Игорь Иванович? Не ушел на покой?

- Кто же отпустит вечно лучшего директора? Передавал тебе привет. Все жалеют, что мы переехали на север. Зовут назад... О, смотри-ка, что это давление на втором участке заколебалось?

- Манометр барахлит, - Мария Викторовна постучала по стеклу, и всё пришло в норму.